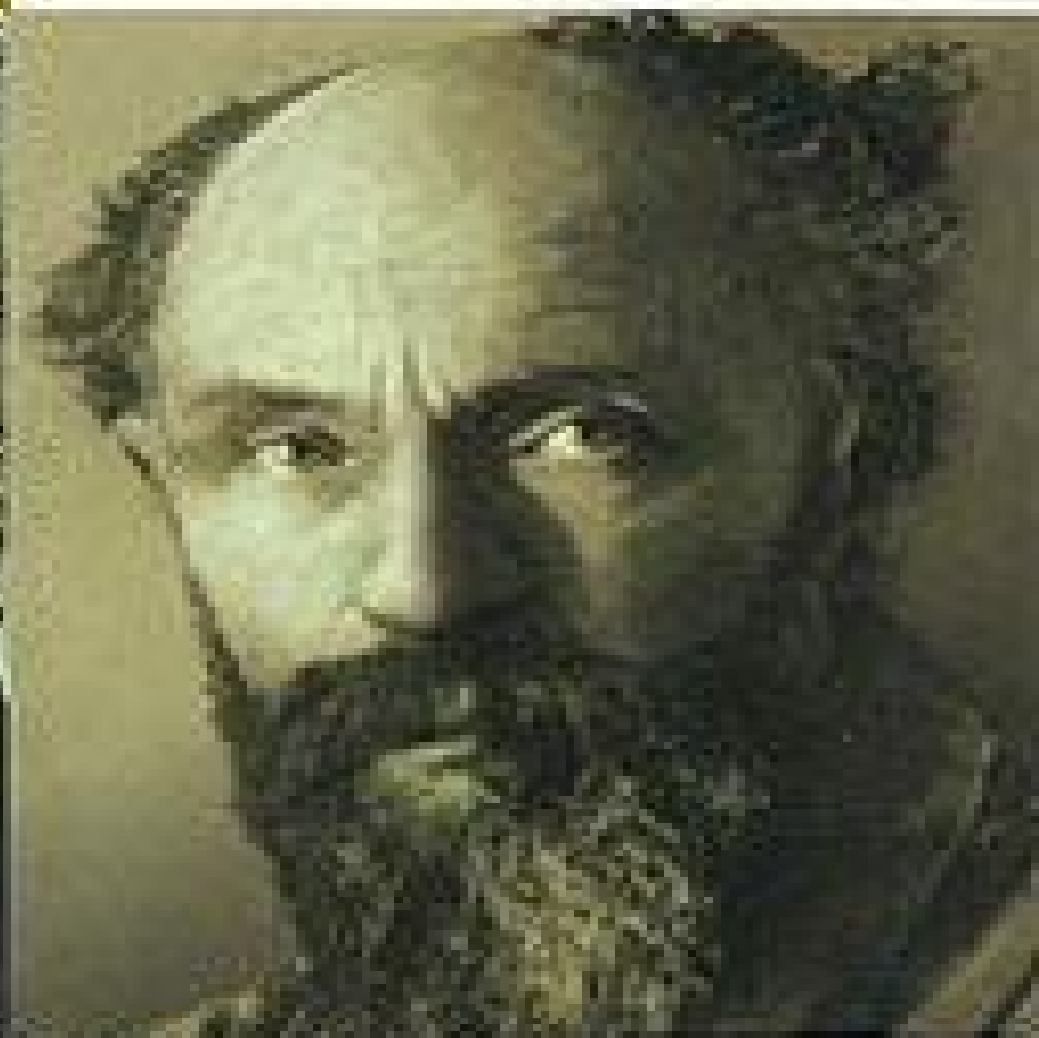


# ПРИШВИН



Алексей  
Вармалов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула.

Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.

- 
- [Алексей Варламов](#)
    - [ВСТУПЛЕНИЕ К ТЕМЕ](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [Глава I](#)
      - [Глава II](#)
      - [Глава III](#)
      - [Глава IV](#)
      - [Глава V](#)
      - [Глава VI](#)
      - [Глава VII](#)

- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)
  - [Глава XV](#)
  - [Глава XVI](#)
  - [Глава XVII](#)
  - [Глава XVIII](#)
  - [Глава XIX](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [Глава XX](#)
  - [Глава XXI](#)
  - [Глава XXII](#)
  - [Глава XXIII](#)
  - [Глава XXIV](#)
  - [Глава XXV](#)
  - [Глава XXVI](#)
  - [Глава XXVII](#)
  - [Глава XXVIII](#)
  - [Глава XXIX](#)
  - [Глава XXX](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Д. ПРИШВИНА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН](#)
- [УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. М. ПРИШВИНА](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)

- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)

- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)



- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)

- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)

- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)

- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)

- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)

- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)

- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)

- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)



- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)

- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)

- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)

- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)

- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)

- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)

- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)

- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)
- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)
- [761](#)



- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)

- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)

- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)
- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)
- [848](#)
- [849](#)
- [850](#)
- [851](#)
- [852](#)
- [853](#)
- [854](#)
- [855](#)
- [856](#)
- [857](#)
- [858](#)
- [859](#)
- [860](#)
- [861](#)
- [862](#)
- [863](#)
- [864](#)
- [865](#)
- [866](#)
- [867](#)
- [868](#)
- [869](#)

- [870](#)
- [871](#)
- [872](#)
- [873](#)
- [874](#)
- [875](#)
- [876](#)
- [877](#)
- [878](#)
- [879](#)
- [880](#)
- [881](#)
- [882](#)
- [883](#)
- [884](#)
- [885](#)
- [886](#)
- [887](#)
- [888](#)
- [889](#)
- [890](#)
- [891](#)
- [892](#)
- [893](#)
- [894](#)
- [895](#)
- [896](#)
- [897](#)
- [898](#)
- [899](#)
- [900](#)
- [901](#)
- [902](#)
- [903](#)
- [904](#)
- [905](#)

- [906](#)
- [907](#)
- [908](#)
- [909](#)
- [910](#)
- [911](#)
- [912](#)
- [913](#)
- [914](#)
- [915](#)
- [916](#)
- [917](#)
- [918](#)
- [919](#)
- [920](#)
- [921](#)
- [922](#)
- [923](#)
- [924](#)
- [925](#)
- [926](#)
- [927](#)
- [928](#)
- [929](#)
- [930](#)
- [931](#)
- [932](#)
- [933](#)
- [934](#)
- [935](#)
- [936](#)
- [937](#)
- [938](#)
- [939](#)
- [940](#)
- [941](#)

- [942](#)
- [943](#)
- [944](#)
- [945](#)
- [946](#)
- [947](#)
- [948](#)
- [949](#)
- [950](#)
- [951](#)
- [952](#)
- [953](#)
- [954](#)
- [955](#)
- [956](#)
- [957](#)
- [958](#)
- [959](#)
- [960](#)
- [961](#)
- [962](#)
- [963](#)
- [964](#)
- [965](#)
- [966](#)
- [967](#)
- [968](#)
- [969](#)
- [970](#)
- [971](#)
- [972](#)
- [973](#)
- [974](#)
- [975](#)
- [976](#)
- [977](#)

- [978](#)
- [979](#)
- [980](#)
- [981](#)
- [982](#)
- [983](#)
- [984](#)
- [985](#)
- [986](#)
- [987](#)
- [988](#)
- [989](#)
- [990](#)
- [991](#)
- [992](#)
- [993](#)
- [994](#)
- [995](#)
- [996](#)
- [997](#)
- [998](#)
- [999](#)
- [1000](#)
- [1001](#)
- [1002](#)
- [1003](#)
- [1004](#)
- [1005](#)
- [1006](#)
- [1007](#)
- [1008](#)
- [1009](#)
- [1010](#)
- [1011](#)
- [1012](#)
- [1013](#)

- [1014](#)
- [1015](#)
- [1016](#)
- [1017](#)
- [1018](#)
- [1019](#)
- [1020](#)
- [1021](#)
- [1022](#)
- [1023](#)
- [1024](#)
- [1025](#)
- [1026](#)
- [1027](#)
- [1028](#)
- [1029](#)
- [1030](#)
- [1031](#)
- [1032](#)
- [1033](#)
- [1034](#)
- [1035](#)
- [1036](#)
- [1037](#)
- [1038](#)
- [1039](#)
- [1040](#)
- [1041](#)
- [1042](#)
- [1043](#)
- [1044](#)
- [1045](#)
- [1046](#)
- [1047](#)
- [1048](#)
- [1049](#)



- [1050](#)
- [1051](#)
- [1052](#)
- [1053](#)
- [1054](#)
- [1055](#)
- [1056](#)
- [1057](#)
- [1058](#)
- [1059](#)
- [1060](#)
- [1061](#)
- [1062](#)
- [1063](#)
- [1064](#)
- [1065](#)
- [1066](#)
- [1067](#)
- [1068](#)
- [1069](#)
- [1070](#)
- [1071](#)
- [1072](#)
- [1073](#)
- [1074](#)
- [1075](#)
- [1076](#)
- [1077](#)
- [1078](#)
- [1079](#)
- [1080](#)
- [1081](#)
- [1082](#)
- [1083](#)
- [1084](#)
- [1085](#)

- [1086](#)
- [1087](#)
- [1088](#)
- [1089](#)
- [1090](#)
- [1091](#)
- [1092](#)
- [1093](#)
- [1094](#)
- [1095](#)
- [1096](#)
- [1097](#)
- [1098](#)
- [1099](#)
- [1100](#)
- [1101](#)
- [1102](#)
- [1103](#)
- [1104](#)
- [1105](#)
- [1106](#)
- [1107](#)
- [1108](#)
- [1109](#)
- [1110](#)
- [1111](#)
- [1112](#)
- [1113](#)
- [1114](#)
- [1115](#)
- [1116](#)
- [1117](#)
- [1118](#)
- [1119](#)
- [1120](#)
- [1121](#)

- [1122](#)



**Алексей Варламов**  
**Пришвин**

## ВСТУПЛЕНИЕ К ТЕМЕ

У этой книги несколько героев. Самый главный – конечно, тот, чье имя вынесено на переплет. Но человек этот обладал такими удивительными свойствами, так хорошо знал природу вещей, людей, деревьев, птиц и зверей, так умел прятаться и маскироваться, что голыми руками его не взять. И я, принимаясь за книгу, не знал, чем она окончится и куда заведет меня мой загадочный персонаж, сумею ли понять его и проникнуть в его тайну.

Казалось бы, чего проще – перед нами восемь томов его сочинений, и среди них добрая половина автобиографических, несколько книг его жены Валерии Дмитриевны и книга воспоминаний о нем. Наконец, перед нами четыре изданных тома его дневников, охватывающих период с 1914 по 1925 год (всего этих томов должно быть двадцать пять!). Писали о нем многие замечательные русские и советские поэты и прозаики (хотя, как увидим дальше, писали весьма противоречиво), высоко ценили критики, литературоведы и литературные начальники.

С легкой руки некоторых из них в нашем сознании долгое время существовала легенда о Пришвине как тайновидце, волхве и знатоке природы. Однако сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. И пишет вообще о другом. А место свое в литературе определил так: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все...»<sup>[1]</sup>

Сказано это было в 1937 году, что в комментариях не нуждается. И так возникает еще один сюжет и еще один герой – Василий Васильевич Розанов, образ которого тянется через долгие годы пришвинской

жизни. Культура развивается в диалоге, и Пришвин, хотя и стоял особняком в литературе (даже дачи в Переделкине у него не было, не участвовал он в писательских комиссиях, разве что в Малеевке бывал иногда), не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого с легкой руки законодательницы высокой литературной моды начала века Зинаиды Николаевны Гиппиус часто упрекали в *безчеловечности*, болезненном самолюбии и самолюбовании, был насквозь диалогичен, и только через диалоги и полемику может быть оценен и понят. Поэтому писать о Пришвине – это писать об эпохе, в которой он жил, и о людях, с которыми он спорил, у кого учился, кого любил и кого недолюбливал. Это верно по отношению к биографии любого писателя, но к Пришвину приложимо вдвойне, потому что не одну, а несколько эпох прожил этот человек, родившийся в семидесятые годы XIX века и умерший в пятидесятые XX, много чему был свидетель и испытатель и все, что видел, кропотливо заносил в свой великий Дневник – главное и до сих пор не прочитанное произведение, бережно сохраненное для нас его женой Валерией Дмитриевной.

Традиционно принято считать, и эта точка зрения находит отражение во многих исследованиях, что творческий путь Пришвина – это путь от модернизма к реализму. Или так: от реализма к модернизму и опять к реализму. Но что-то здесь не сходится. Ни «Осударева дорога», ни «Корабельная чаша» не укладываются в рамки реализма, как бы широко и благожелательно мы это понятие ни толковали.

Пришвин, и в этом едва ли не главная его особенность, осознавая свою органическую связь со старой дореволюционной русской традицией («Старый писатель, как превосходный старый трамвай, но гордиться тут нечем советскому человеку – сделан при

царском правительстве»<sup>[2]</sup>), полагал не переменным условием таланта, сущностью его – чувство современности и уподоблял это чувство способности перелетных птиц ориентироваться в пространстве. В 1940 году он сказал: «Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувства – он лишается всего, как продырявленный аэростат».<sup>[3]</sup>

Тем более удивительно, что в 1943 году в деревеньке Усолье под Переславлем-Залесским он записал в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей...

Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов».<sup>[4]</sup>

Появление Бунина на страницах пришвинского Дневника и закономерно, и неизбежно, и поразительно. Поразительно тем, что, в отличие от устремленного к современности Пришвина, Бунин до конца дней любил Россию древнюю, и чем древнее, тем она ему была дороже, и не переносил России новой, советской, которую пытался не только понять, но и принять Пришвин и которой служил если не он сам, то его любимые герои. А неизбежно имя Бунина в контексте пришвинского творчества потому, что здесь столкнулись не просто две крупные личности, два мировоззрения или даже два класса, но два русских времени: прошедшее и будущее.

Оба они принадлежали к одному поколению, были земляками и прожили долгие, хронологически совпадающие жизни; в судьбах этих писателей есть странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внутренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости, и едва ли не первая и главная из них – бедность и неровные, изломанные

отроческие годы, из которых трудно было выбиться в люди. Есть удивительные точки сближения в их дальнейшем творческом пути, поразителен их глубочайший диалог о России, русской революции, народе, вере в Бога, который заочно, сами того не ведая, вели они и в своих дневниках, и в художественной прозе.

С помощью Бунина, как мне кажется, Пришвина легче понять. Михаил Михайлович был человек таинственный и непростой, мало перед кем раскрывался, если не считать Дневника, – но ведь даже дневник, каким бы искренним он ни был, освещает лишь часть человеческого «я» и под вполне определенным углом зрения, многие вещи затеня и пряча.

Бунин – величина абсолютная как солнце, Бунин – резкий свет, Пришвин – кладовая полдневного светила, переход от тьмы к свету и от света к тьме, и как тень невозможна без света, так таинственное царство подземных корней невозможно без солнца... Но не только в этом дело.

«Есть люди такие, как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их самих так знаешь, как они установились в себе, что не особенно и важно узнать, живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее», – писал он ровно за год без трех дней до смерти Бунина.<sup>[5]</sup>

Был у Пришвина и злой его гений, противник. Тоже замечательный писатель – тезка Тургенева и Шмелева, Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это именно он обронил о Пришвине, которого долгие годы хорошо знал: «Пришвин (...) на своем эгоизме, со своей эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и „своим книгам“, питаюсь, впрочем, „соками“, (...) был красив, но вряд ли храбр... как городской барин



и интеллигент».<sup>[6]</sup> Про внутреннюю связь Бунина и Пришвина он высказался так: «И в человеческой, и в писательской жизни шел Пришвин извилистым сложным путем, враждебно несхожим с писательским путем Ивана Бунина – ближайшего его земляка (быть может, в различиях родового и прасольско-мещанского сословий скрывались корни этой враждебной непохожести). Пришвина иногда называли „бесчеловечным“, „недобрым“, „рассудочным“ писателем. Человеколюбцем назвать его трудно, но великим жизнелюбцем и „самолюбцем“ он был несомненно. Эта языческая любовь к жизни, словесное мастерство – великая его заслуга».<sup>[7]</sup> Впрочем, здесь, кажется, примешалось личное. Хотя о главном в Пришвине – той самой любви к жизни – сказано, несомненно, точно.

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЕНИЙ ЖИЗНИ**

## Глава I ДЕТСТВО

Писателями не становятся – рождаются. Сам Пришвин, правда, при этом оговаривал: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня».  
[8]

В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг – автобиографический роман «Кашеева цепь», и в первых ее главах, вернее звеньях – ведь речь идет о цепи – перед нами предстанет нежный и отважный мальчик Курымушка, влюбчивый, живой и внимательный. Прозвище свое дитя получило от кресла, стоявшего в комнате и названного взрослыми загадочным и непонятным словом «Курым». Насколько Курымушка соответствовал Мише Пришвину, равно как Алпатов (фамилия героя романа) – отроку Михаилу, сказать трудно, но Пришвин об этом соотношении оставил в Дневнике такие поэтические строки: «Есть семя, жаждущее влаги и ожидающее своего расцвета: вот из этого непророщенного семени и цветов, не расцветших в своей собственной душе, я создам своего героя, и пишу историю его как автобиографию, оно выходит и подлинно, до ниточки верно, и неверно, как говорят, „фактически“».  
[9]

Верно или неверно, этого вопроса мы еще коснемся, но именно так, рука об руку шли в его жизни творчество и собственная судьба, и говорить о пришвинском детстве – значит говорить о его автобиографическом романе, и наоборот.

Людам свойственно идеализировать свое детство и окружающих его людей. Есть этот благостный налет и в «Кашеевой цепи», однако больше в этих описаниях

драматизма. В детстве Пришвин был впечатлителен, нервозен, рано потерял отца, как всякий росший без отца мальчик от сиротства страдал и всю жизнь эту потерю пытался восполнить.

«Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы».

Подробность необыкновенно важная – с начала двадцатых годов и до самой смерти Пришвин вел фенологический дневник и соотносил с жизнью природы все подробности человеческого бытия, видя в них единое целое, по ошибке разделенное ущербными людьми.

Но последуем за автором дальше.

«Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой – церковь, рядом с церковью – „Поповка“, где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая – в Поповке и третья в усадьбе».

Пришвин родился в усадьбе, однако место его рождения имело и другое, более широкое значение. Он появился на свет в той благословенной части Русской земли, что подарила нашей литературе великое соцветие писательских имен. Замечательный ученый В. В. Кожинов в своей книге о Тютчеве заметил, что на сравнительно небольшом пространстве Русской земли, занимавшем всего три процента ее европейской территории, родилось по меньшей мере двенадцать классиков русской литературы: Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев

Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин. К апостольскому числу можно добавить тринадцатого – Леонида Андреева. А из писателей советского времени – Андрея Платонова, Евгения Замятина, Константина Воробьева, Евгения Носова.

Счастливая для литературы земля была не так уж приветлива к населявшим ее людям – недаром именно в этих краях проходило действие одной из самых трагичных и безжалостных книг русской литературы – бунинской «Деревни».

А вот что писал о родных краях Пришвин: «Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза».

Как и на Пришвина, родные места навевают тягостные мысли на Бунина. В «Жизни Арсеньева» читаем: «Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой – и дивился ее заброшенности, пустынности. (...) А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее...»

В детстве Пришвина окружали разные люди – многих он потом с благодарностью вспоминал, о многих писал, над одними посмеивался, других превозносил – но вырос в странной атмосфере, где причудливо переплетались вещи, казалось бы, несовместимые, и,

быть может, именно оттуда проистекает та сложная картина мира, какая предстает в пришвинских произведениях. Самое сильное влияние на мальчика, безусловно, оказала мать, Мария Ивановна Пришвина, урожденная Игнатова, энергичная и сильная женщина, происходившая из староверческого рода белевских купцов-мукомолов (еще одно географическое совпадение: в крохотном Белеве появилась на свет «декадентская богородица» Зинаида Гиппиус, чьи слова о его без-человечности Пришвин не забывал до конца дней).

Мария Ивановна вышла замуж в девятнадцать лет по выданью, мужа своего никогда не любила и воспринимала супружество как долг, так что, размышляя о судьбе матери, Пришвин записал в Дневнике: «...стыд личного счастья есть основная черта русской культуры и русской литературы, широко распространившей эту идею. Тут весь Достоевский», <sup>[10]</sup> и хотя ни религиозного духа, ни отношения Марии Ивановны к жизни Пришвин не унаследовал, тягу к старообрядцам, к этой цельной, воинственной и глубокой культуре воспринял, и позднее эти впечатления и воспоминания о другой жизни, иначе говоря, родовая память, повлекли его в край непуганых птиц на Выгозеро.

Рядом со старообрядцами, на том же материнском русском корню подвизались самые настоящие революционеры. Именно старообрядцы, казалось бы, далекие от революции и революционеров, снабжали русских экстремистов деньгами, и два эти духа – раскольничий и революционный – слились воедино в пришвинском семействе.

Как знать, быть может, именно это сочетание образовало ту гремучую смесь, которая разорвала Россию. Недаром Пришвин, всегда находившийся в эпицентре исторических событий, отправился изучать

русское старообрядчество и сектантство и впоследствии находил немало общего между сектантами и большевиками.

Мать Пришвина была из староверов, порвавших с древней отеческой верой, а ее племянник, Василий Николаевич Игнатов стал одним из организаторов печально известной группы «Освобождение труда», другой пришвинский кузен женился на Софье Яковлевне Герценштейн, сестре известного революционера Герценштейна, и стал газетным магнатом. Не отсюда ли ранний настойчивый интерес Пришвина к еврейской теме? Во всяком случае, говоря о Пришвине всерьез, тему эту обойти никак нельзя.

Так получилось, что женщины оказывали на мальчика гораздо большее влияние, чем мужчины. И кроме матери за его душу боролись две его сестры – две прекрасные героини «Кашеевой цепи».

Первая из них – Дунечка, Евдокия Николаевна, была старше кузена на пятнадцать лет, и оттого он воспринимал ее как тетку. Судьба этой женщины была тихо, по-русски трагична. Она получила образование в Сорбонне, вернулась в Россию и вслед за братьями из чувства милосердия и справедливости вступила в народовольческий «Черный передел». Когда же организация была разгромлена и многие ее активисты уехали за границу, молодая и очень красивая женщина оказалась никому не нужна. Ее тяга к революции была увлечением не головным, но сердечным – русская идеалистка, уверовавшая в благие цели заговорщиков, тургеневская девушка из знаменитого стихотворения в прозе «Порог» («О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? (...) Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и сама смерть? (...) что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую

жизнь?»), но не столь решительная, не нагрешившая на тюремное заключение или хотя бы ссылку, она уехала в деревню, чтобы продолжать делать революцию там.

На свои деньги купила столы, скамейки, сняла флигель в одном из имений Елецкого уезда и устроила в нем школу. Что поделать, наше знание о жизни и уж тем более о русской истории насквозь литературно, и когда мы читаем о живых людях, так или иначе невольно соотносим их с известными литературными персонажами. Мытарства русских интеллигентов, идущих в народ, подробно, хотя и очень по-разному, описаны у Тургенева, Чехова, Горького, Вересаева. История Дунечки окончилась счастливо. Поначалу дети ходили в школу неохотно, но потом потянулись, и вот однажды к ней пришли мужики и предложили устроить школу на выделенной ими для этого общинной земле. Она построила школу на деньги, взятые из приданого, разбила фруктовый сад и проучительствовала сорок лет. А ученики ее становились кем угодно – учителями, агрономами, полицейскими, попами, но только не революционерами.

Жаль, мало было в России таких Дунечек...

Сама она, правда, так и придерживалась всю жизнь народовольческих иллюзий. «Тетенька, вы же хорошо понимаете, что я отказалась от жизни не для того, чтобы создавать попов, дьяконов и полицейских»,<sup>[11]</sup> – говорила она Марии Ивановне Пришвиной и, судя по воспоминаниям писателя Андрея Пришвина, племянника Михаила Михайловича, к образу, созданному в «Кашеевой цепи», относилась скептически: «Господи, сколько он напридумал там! И я выведена какой-то весталкой из времен Нерона. И от всего-то я отказываюсь, и вечно на всех ворчала, и принесла я себя в жертву... Все это не так было, далеко не так».<sup>[12]</sup>



Советская власть, надо отдать ей должное, не забыла скромную труженицу, ненавидевшую большевиков. Когда Евдокия Николаевна уже не могла работать, ее поместили в «Дом Ильича» для ветеранов революции, где она провела десять лет, и в день ее похорон 10 июля 1936 года Пришвин записал: «Хоронили Дуничку, слушали речь, вроде того, что хороший человек, но средний и недостаточной революционной активности. Сам не мог говорить перед чужими, боялся разреветься. И не надо было говорить. Вечером хватил бутылку вина и так в одиночестве помянул Дуничку».<sup>[13]</sup>

Она, без сомнения, была сентиментальна, любила Гарибальди, и Миша над ней до своего позднего прозрения и покаянных слез обыкновенно посмеивался и предпочитал другую кузину – Марию Васильевну Игнатову, названную им Марьей Моревной. Известно о ней не так много, как о Дуначке. Она также кончила Сорбонну, много лет жила в Италии, отличалась способностями к искусству, однако ни в чем проявить себя не успела и сравнительно молодой, в 1908 году, умерла. Память о ней Пришвин бережно хранил и художественно переосмыслил, возвысил («И Марья Моревна, которую он вывел в своем романе, вовсе не была такой уж безгрешной», – говорила о своей кузине Евдокия Николаевна<sup>[14]</sup>) и, сравнивая двух этих женщин, писал: «Дуначка была застенчивая, она всегда жила и пряталась за стенкой. Маша, напротив, жила свободно в обществе. Маша была в искусстве, Дуначка в морали и связана была любовью к брату, а Маша любила свободно. Дуначка пряталась, как бы виноватая тем, что сама не жила для себя и боялась жизни. Маша была правая, свободная, неземная».<sup>[15]</sup>

Она была для него образом «неоскорбляемой женственности», ее появление озаряет неземным

светом страницы «Кашеевой цепи». Прекрасная и загадочная женщина, и не случайно ее описание в реалистическом и прозрачном романе окрашено в символистские, декадентские тона: «Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: „Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кашееву цепь?“»

Этот образ будет преследовать Пришвина всю его жизнь и определит важные для писателя вещи – здесь закладывалась основа его мировоззрения – отношение к Богу, к женщине, к смыслу и тайне жизни. То, что Марья Моревна, говоря языком церковным, была прелестна, находит подтверждение и в других эпизодах автобиографического романа. Не случайно соседка Алпатовых, Софья Александровна, единственный последовательно религиозный персонаж «Кашеевой цепи» (при всем скептическом отношении к ней повествователя), послушница старца Амвросия, говорит об алпатовской любимице: «Знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, – видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования, – право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее».

Слова эти тем более замечательны, что мечта в пришвинской философии – понятие чрезвычайно важное и неоднозначное. Будучи сам человеком мечтательным, он противопоставлял мечтательности, приведшей к революции, взгляд на жизнь людей практических и сметливых. Один из представителей могучего пришвинско-алпатовско-игнатовского родового древа сибирский паромщик Иван Иванович

Игнатов укрывает беглого революционера, спаивает гостей, пытается отправить мальчика в публичный дом, но в то же время испытывает сильное волнение, повстречавшись с наследником престола, будущим императором Николаем Александровичем, и заявляет племяннику:

«- Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

- Каким безобразием?

- Обыкновенным безобразием, что Бога нету, что царя не надо».

Отца своего Миша Пришвин знал совсем немного и вряд ли мог в детстве в его отношениях с матерью разобраться. Позднее он написал: «Мать моя не любила отца, но, конечно, как все, хотела любить и, встречая нового человека, предполагала в нем возможность для своей любви.

Так это в ней осталось до смерти, и с этим самым богатством нищего – возможность в каждом существе найти любовь для себя – родился и я». [\[16\]](#)

Она овдовела в сорок лет, Миша осиротел в восемь. Об отце он вспоминал, что это был человек мечтательный и бездеятельный, «страшный картежник, охотник, лошадиный – душа Елецкого купеческого клуба», [\[17\]](#) «человек жизнерадостный, увлекающийся лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, поигрывал в карты, проиграл имение и оставил его матери заложенным по двойной закладной». [\[18\]](#)

Этой бедностью, точнее, разоренностью родовых гнезд, купеческого у Пришвина и дворянского у Бунина, схожи обстоятельства жизни пришвинского и бунинского героев.

У Бунина:

«Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много „промотал“ в Крымскую кампанию, много проиграл,

когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее „затрещит“ с молотка...»

У Пришвина:

«Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверное, для такой веселой свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк»».

В «Кашеевой цепи» Пришвин написал о смерти отца: «... под утро стало тихо, но все – не так, что-то большое случилось в доме. И с этим предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

– Уходи, уходи!

– Надо бы...

– Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

– Царство небесное! – перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

- Маленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота*.

- Ну что ж, - ответил Курымушка, - зато у меня вот что есть.

- Что это?

- Папа вчера мне дал: голубые бобры».

Хотя мать долгие годы выплачивала долги мужа, она не только сумела своим невероятным трудом поднять имение, но и дать пятерым детям приличное образование.

«Мать, как вдова, обреченная на деревенскую жизнь и кормежку детей, приняла этот долг, не любя вообще долга. Мало-помалу ограда ее усадьбы стала оградой ее вдовства, а за оградой лежала свободная и прекрасная жизнь».<sup>[19]</sup>

Отец оставил ему перед смертью рисунок - голубых бобров, порождая в нем тягу к творчеству, самовыражению, и так в душе мальчика возник первый мифологический образ, пронесенный им через всю жизнь.

В 1928 году он написал о том, что предопределило всю его жизнь:

«Я знаю это в себе: страх и ужас от борьбы крови моей матери с отравленной кровью отца: „тут ничего не поделаешь!“»,<sup>[20]</sup> а в 1951-м, возвращаясь незадолго до смерти к «Кашеевой цепи» и размышляя о своей изломанной юности, добавил: «Дети как жертвы переустройства женщин с домашнего мира на мужской. Дело, заменяющее дом, получает характер суеты, подмены чего-то главного и настоящего».<sup>[21]</sup>

«Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом - уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую

сторону от белых столбов – в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть простым мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий»».

В середине жизни судьба предоставила ему возможность побыть мужиком, среди мужиков пожить, от мужиков же и настрадаться в годы русской смуты, наконец в последние годы жить почти что барином в Дунине, где к зажиточному советскому классику деревенские жители относились по-разному. Мужиков Пришвин очень хорошо знал и нимало не идеализировал.

Детство его проходило на солнцепеке – на первый, обманчивый взгляд, что-то от ранних лет Петруши Гринева: вольное, ничем не стесненное, но в глубине совсем иное, и позднее, вспоминая эти годы и глядя на фотографию, где изображен восьмилетним, Пришвин записал: «Мне кажется теперь, будто мальчиком я не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал».<sup>[22]</sup>

А еще позднее, незадолго до смерти, размышляя о счастливых «дворянских гнездах» с их божественным (семейным) ладом, добавил: «Я с этой тоской по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги»<sup>[23]</sup> – книги, в которых картина мира была куда более радостной, чем в жизни, книги, призванные эту радость в печальный мир привнести.

Самое первое образование мальчик получал вместе с крестьянскими детьми в сельской школе, а дальше пути их расходятся: они остались в деревне, и встретился он с ними через много лет, изгнанный из

родительской усадьбы восставшими против помещичьей власти однокашниками, он же в безмятежные еще годы, как и положено барчуку, отправился в елецкую гимназию. Для того чтобы в нее поступить, надо было получить разрешение в церкви, нечто вроде характеристики или справки о том, что ребенок благонадежен, ходит к исповеди и причастию, и сцена из «Кашеевой цепи», когда Курымушка с матерью приходят в Ельце в храм, составляет одно из лучших мест пришвинского автобиографического романа.

Потеряв в храме мать, Курымушка повсюду ее ищет, по ошибке вбежав в алтарь через Царские врата (что по канонам Церкви является серьезным прегрешением), священник заставляя его класть поклоны, затем выводит к матери через боковые двери и делает ей наставление.

«- Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? - спросил батюшка.

- Мы в деревне живем, - конфузливо ответила мать, - в городе никогда не бывал.

- Ну, ничего, - заметив смущение матери, сказал батюшка, - всему свое время, а признак хороший - через Царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет».

И хотя в романе ранее упоминалось, что церковь в Хрущеве была (в этом отнюдь не единственная несообразность повествования) - сцена в храме описана так живо и достоверно, что на противоречие читатель внимания не обращает. Кстати, у Бунина таких неточностей не найти - он относился к фактам с придирчивостью ученого-естествоиспытателя, и немало страниц его прозы и литературной критики посвящены яростной защите ее величества действительности, которая ничуть не ограничивала творчество Пришвина.

Далее следует не менее трогательная и чуть комичная сцена исповеди, знаменательная еще и тем, что писалась она в 1923 году, в эпоху разрушения церквей, массовых убийств и арестов священников, монахов и мирян:

«- Веруешь в Бога? - спросил батюшка.

- Грешен! - ответил Курымушка.

Священник будто смешался и повторил:

- В Бога Отца, Сына и Святого Духа?

- Грешен, батюшка.

Священник улыбнулся:

- Неужели ты сомневаешься в существовании Божиим?

- Грешен, - сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: - Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

- Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава Тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит».

Собственно на этом светлая и безбедная, счастливая полоса пришвинской жизни, какой она показана в романе, и, по-видимому, куда более печальная в действительности, закончилась; гимназические годы его оказались тяжелыми, если не сказать трагичными...



## Глава II

# ОТРОЧЕСТВО

Сегодня многие вспоминают дореволюционную Россию с теплым чувством, а старая гимназия видится едва ли не лучшей моделью школьного образования, так что иные школы, чаще всего без всяких на то оснований, называют гимназиями; в русской же литературе рубежа веков гимназия предстает местом скорее угрюмым, нежели радостным. В таком именно месте, в елецкой гимназии, в одно время оказались (как после этого не верить в неслучайность всего на свете происходящего) по меньшей мере три личности мирового уровня – Розанов (в качестве учителя), Бунин и Пришвин; несколькими годами позднее здесь учился будущий величайший русский богослов XX века о. Сергей Булгаков.

Розанов свое учительство ненавидел и – как только это стало возможно – с превеликой радостью его оставил, («Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. „Не ко двору корова“ или „двор не по корове“ – что-то из двух»<sup>[24]</sup>). Бунин гимназию бросил и занялся домашним самообразованием,<sup>[25]</sup> а Пришвин был из нее исключен, причем из-за конфликта с Розановым.

В мае 1919 года, через несколько месяцев после смерти Розанова Пришвин так написал об истории их давнего знакомства:

«В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Нынче он скончался в Троице-Серг<иевой> лавре, и творения его, как и вся последующая литература, погребены под камнями

революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения.

Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмости и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое столкновение с ним было в 1883 году.<sup>[26]</sup> Я, как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в «Азию». На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту».<sup>[27]</sup>

Благодарность благодарностью, но образ Василия Васильевича в автобиографическом романе «Кашеева цепь», написанном несколько лет спустя после смерти Розанова, скорее неприятен, тенденциозен и этим отличается от более сложных дневниковых записей, относящихся к Розанову. «Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на

ум взбредет, и с ним все от счастья». И несколькими страницами далее дается его портрет: «Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица».

Это больше похоже на единственно странную и, быть может, действительно выдававшую некоторые черты в характере Розанова фотографию 1905 года, где писатель выглядит растрепанным и взвинченным. Или на впечатление, которое произвел Розанов на Пришвина в начале 1909 года в Петербурге, покуда карты не были еще раскрыты, и Розанов видел в Пришвине не своего бывшего ученика, а молодого, «ищущего» писателя, а Пришвин все еще не мог удержаться от мучительного подросткового воспоминания об их столкновении, несомненно наложившего отпечаток на его петербургское впечатление, и только готовился снять маску.

«Извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и <1 нрзб> дряблый, и все это дряблое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой похотью... это его сила».<sup>[28]</sup>

На фотографии же 1883 года, к которому относится действие романа, Розанов совершенно иной. Аккуратно подстриженный, с зачесанными назад волосами и высоким лбом, короткими усами и маленькой бородкой – ничего демонического. Разве что взгляд болезненный, страдающий. Но как бы там ни было, в «Кашеевой цепи» именно этот странный человек, которого ученики не любили (по свидетельству одного из гимназистов, он был с ними «сух, строг и придирчив»<sup>[29]</sup>), обращает на

Курымушку внимание, выделяет его из гимназической массы, ставит пятерку за пятеркой и на одном из уроков фактически подстрекает ученика к невероятному авантюрному действию – совершить побег из гимназии и пробраться в Азию.

С точки зрения романической – ход блестящий: Пришвин очень точно обозначил роль Розанова в русской литературе. Автор журналов с противоположными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами («Великая тайна, а для меня очень страшная, – то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливость, и дух... „Нового времени“»<sup>[30]</sup>), едва не отлученный от церкви горячий христианин и печальный христородец был по натуре великим подстрекателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно стал его жертвой.

Кстати, замечательно и то, что в качестве места назначения избрана именно Азия.

«– Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? – спросил очень удивленный картой учитель.

– Америка открыта, – ответил Курымушка, – а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

– Нет, в Азии все открыто, – сказал Козел, – но там много забыто, и надо это вновь открывать».

И, наконец, Азия, в отличие от Америки, – это реально, осуществимо.

Итак, трое отроков готовят побег. Один бежит от неразделенной любви, другой – по бунтарской натуре, а третий – от латыни, полицейских порядков и обязательного Закона Божьего, по которому непременно надо иметь пятерку. Любимая книга его – «Всадник без головы», и весь этот сюжет напоминает

чеховских мальчиков. Только если у Чехова заговор раскрывается и пресекается, не успев осуществиться и повлечь за собой неприятные последствия, то в «Кашеевой цепи» побег почти удается.

В первую же ночь беглецы замерзают, потому что, опасаясь погони, договариваются не разводить костра и даже не выходить на берег, и тот, кто бежит от несчастной любви, уже готов покаяться и вернуться домой.

«От бабы бежал и к бабе тянет его», – презрительно говорит другой.

Но вот светает, мальчики начинают охотиться, проходит день свободы, за ним еще один, а на третий путешественники слышат на дороге звон колокольчика. Они быстро причаливают к берегу, залезают на дерево и видят погоню.

Хитроумному Курымушке приходит в голову отличная идея: мальчишки вытаскивают лодку на берег, переворачивают вверх днищем и под нее залезают, но за поиск взялся не простой полицейский, а знаменитый на всю округу становой и истребитель конокрадов, которого на мякине не проведешь. «Ночью дождя не было, а лодка мокрая», – соображает наблюдательный полицейский, переворачивает ее и обнаруживает беглецов. Он не бранит их и руки не скручивает, а устраивает с маленькими преступниками пикник, стреляет уток, угощает водкой и между прочим рассказывает, как его самого выгнали из шестого класса гимназии.

Бог ты мой, какая тут «полицейская Россия», какая «тюрьма народов»! – здесь симфония, радость жизни, бьющий отовсюду свет – другой такой радостной, человеческой книги о детстве «бесчеловечный» Пришвин не напишет, хотя будет пытаться сделать это в «Осударевой дороге». Отношения между суровым чекистом Сутуловым и мальчиком Зуйком близко не

лежат рядом с теми, что установились у Курьмушки с веселым становым, распеваящим с беглецами «Гаудеамус».

«- Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?

- Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем - и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись».

Действительность выглядела куда более суровой и прозаической, нежели ее романная версия.

«Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопровождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице на второй этаж, где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александровича Закса. Третьеклассники шли с понурыми головами и хмурыми лицами, а второклассник Пришвин заливался горькими слезами», - лаконично повествует об этом событии учащийся той же гимназии Д. И. Нацкий, коренной житель Ельца, впоследствии работавший многие годы врачом в железнодорожной больнице. [\[31\]](#)

Один из участников побега, Константин Голофеев, в своих показаниях заявил: «Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому сообщил о ней проживавший с ним летом кадет Хрущов, а Пришвин передал об этом Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов». [\[32\]](#)

Всего этого - как пришвинские мальчики раскаивались и друг друга «сдавали», как позорно плакал один из них, - в романе нет, и ничто не бросает тень на гордый бунтарский дух маленьких гимназистов. Однако безжалостная история сохранила для нас два документа.

Первый - точку зрения обеспокоенного начальства, выраженную в постановлении гимназического совета от 16 сентября 1885 года:

«...Педагогический совет, рассмотрев все вышеизложенные обстоятельства, признал, что ученик Чертов был главным руководителем всех поименованных учеников и, располагая денежными средствами, приобрел на остальных влияние, которым и воспользовался для задуманного им путешествия, что им же, Чертовым, куплены револьверы, ружья, топор, порох, патроны и лодка; остальные ученики, по убеждению педагогического совета, были только исполнителями задуманного Чертовым плана, увлекшись заманчивостью его предложений, а потому совет постановил: ученика II класса Николая Чертова уволить из гимназии... а остальных, Пришвина, Тирмана и Голофеева, подвергнуть продолжительному аресту с понижением отметки поведения за 1-ю четверть учебного года. <...>»<sup>[33]</sup>

И второй – еще более примечательный: автор его сам Михаил Пришвин, и этот документ, создателю которого не исполнилось и тринадцати лет, интересен тем, что является, по-видимому, наиболее ранним дошедшим до нас пришвинским текстом:

«Нынешнее лето проживал у нас в деревне кадет 3-го Московского корпуса Хрущов со своею матерью. Хрущов рассказывал мне, что у них в корпусе бежали два кадета и возвращены были назад. Это я, когда приехал в город, рассказал Чертову, как новость. Чертов сказал, что кадеты дураки, потому что не умели бежать. Спустя неделю Чертов во время классных перемен начал подговаривать меня, Тирмана и Голофеева к бегству, говорил, что это очень заманчиво, что можно бежать так, что не воротят, и сказал, что у него уже все готово, что есть деньги, оружие и что есть; сказал, что поедем с переселенцами, а потом сказал, что на лодке по Сосне в Дон, а из Дона по берегу Азовского моря.

Револьвер (два) Чертов вместе с Тирманом купил на свои деньги в лавке Черномашенцева, рядом с Богомоловым. Это он говорил сам и Тирман...

По дороге к Сосне мы остановились около кузницы, где Тирман сошел с извозчика, чтобы взять заказанные в кузнице мечи. Около моста Чертов дал лодочнику за лодку 25-рублевую бумажку и получил сдачи 6 рублей, и лодочник отдал лодку, в которую Чертов положил три ружья, ранец, в котором находились три пистолета, патроны, порох (5 фунтов), табак, спички, пули, дробь и отдельно мечи и топор.

Когда мы спрашивали, откуда у Чертова деньги, он сказал, что продал часы золотые. Мы спросили, чьи часы, он ответил, что родителей <...>.

Ночью, когда мы ехали по Сосне, Тирман испугался и просил Чертова, чтобы он отпустил его домой и дал ему один револьвер. Чертов рассердился сначала, а потом начал над ним смеяться. Тогда Тирман согласился остаться.

Ни у кого денег не было, мамаша мне денег не дает. Платил за все Чертов. Одно ружье он купил на базаре, как говорил Тирман, а где взял 2 другие ружья, не знаю. Он сам сказал, что топор взял из дома. Хлеб и соль на дороге покупал Тирман за деньги, которые дал ему Чертов. За перетаскивание лодки через плотину платил Чертов.

Когда мы увидели, что нас догоняют, мы очень испугались. Чертов сказал, что нужно пристать к другому берегу, потопить лодку и бежать.

Но в это время явился становой пристав Крупкин, нас задержали и возвратили в город.

Револьверы были заряжены, но их разрядил Крупкин, когда нас задержал, и положил в телегу, в которой ехали Тирман и Голофеев. <...> М-те Шмоль, у которой я с Голофеевым квартировал, тотчас же дала знать о моем побеге моей маме, и мама моя приехала из



деревни в тот же день ночью, так что, когда нас возвратили, я застал свою маму у м-те Шмоль. В этот же день меня вызывали в гимназию, и после меня в этот же день ходила в гимназию мама. Ученик второго класса Елецкой гимназии Пришвин Михаил». [34]

Самое неожиданное и расходящееся с более поздней пришвинской версией – не этот безыскусный и в то же время обстоятельный рассказ напуганного подростка. Пришвин и в Дневнике, и в письмах утверждал, что в той драматической ситуации не кто иной, как Розанов, поддержал его, заступился и спас от отчисления.

«Страна обетованная, которая есть тоска моей души, и спасающая и уничтожающая меня – я чувствую – живет целиком в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве я не знаю. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в „Америку“...

– Как я завидую вам, – говорил он мне». [35]

Это запись 1908 года, а в 1922-м по просьбе философа и литератора, редактора берлинского эмигрантского журнала «Новая русская книга» А. С. Яценко он пишет автобиографию (текст ее также приводится в Дневнике): «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов Василий Васильевич (писатель) был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения...» [36]

Во всей этой замечательной истории по меньшей мере две фактические неточности. Во-первых, побег в Азию состоялся не в 1883 году, когда Миша поступил в гимназию, и даже не в 1884-м, как указал Пришвин в другом месте, [37] но и не в 1886-м, как поправляет мужа

Валерия Дмитриевна, а в августе 1885 года, то есть мальчику было не десять с половиной, а двенадцать с половиной лет, и за спиной у него были два гимназических класса (в одном из которых он просидел два года – вот почему и был второклассником, а остальные – третьеклассниками). А во-вторых, Василий Васильевич Розанов (писатель) перевелся из Брянска в Елец только в 1887 году,<sup>[38]</sup> два года спустя после «Мишиного бегства», и, таким образом, вся первая часть пришвинско-розановской гимназической истории с заступничеством учителя за ученика, подстрекательством к бегству и пророчеством о его необыкновенном будущем является чистой воды мистификацией.

Поразительно, что никто из исследователей не обратил на это очевидное противоречие внимания. В примечаниях к «Кашеевой цепи», составленных замечательным русским литератором Н. П. Смирновым, хорошо Пришвина знавшим, написано: «Учитель географии „Козел“ – это молодой В. В. Розанов (1856–1919), впоследствии реакционный писатель, публицист, критик, постоянный сотрудник монархического „Нового времени“ А. С. Суворина. Розанов преподавал в елецкой гимназии до 1891 года».<sup>[39]</sup> Непонятно, почему не указано, с какого. Ведь если Н. П. Смирнов знал дату ухода Розанова, то, по логике, должен был знать и дату его поступления в гимназию.

Во вступительной статье А. Л. Налепина – одного из первых розановских публикаторов в советское время – к «Сочинениям» Розанова говорится: «Книга (имеется в виду первая розановская книга „О понимании“. – А. В.) вышла в Петербурге в 1886 году. Розанов жил тогда в Ельце, преподавал в тамошней мужской гимназии географию, и среди его учеников был и тринадцатилетний Михаил Пришвин – будущий автор

«Осударевой дороги», «Кладовой солнца» и, конечно же, «Незабудок», книги до сих пор так и не оцененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских «Опавших листьев»». [\[40\]](#)

Та же версия изложена в книге В. Д. Пришвиной «Путь к слову», ее повторяет в своем прекрасном исследовании о Пришвине В. Курбатов («Пришвин... долго был ожесточен против Розанова, не понимая, почему тот заступился за него после „Азии“ и выгнал за „самый незначительный проступок“» [\[41\]](#)) и т. д. и т. п. Наконец, сам Пришвин в «Осударевой дороге» пишет о том, что совершил побег в девятилетнем возрасте. Таким образом, заступничество Розанова – явный вымысел, и его проще было бы понять и объяснить, если бы эта легенда рождалась в ту пору, когда Пришвин, работая над «Кашеевой цепью», попросту включил в текст Дневника один из набросков к роману, где розановское напутствие сюжетно необходимо, как пружина, приводящая в действие весь механизм, хотя – поразительное дело! – как раз эпизода с учительским заступничеством перед начальством в нем нет. Но Пришвин сознательно внес изменения в эту историю намного раньше, в 1908–1909 годах, когда вряд ли он о будущем романе всерьез задумывался. Полностью же легенда оформилась только после смерти Розанова.

Не исключено, что на образ Розанова в данном случае наложились реальные отношения, возникшие между Мишей Пришвиным и директором гимназии Заксом. «Строго беспощадный и справедливый» – латыш Николай Александрович Закс (тот самый, которому нагрубил и едва не был за эту грубость исключен Ваня Бунин) некоторое время после побега оказывал на мальчика большое влияние, так что благодаря ему беглец стал лучше учиться и перешел в

третий класс. Но потом на ребенка опять напала лень, разочарованный Закс остыл к нему, и Пришвин остался в третьем классе на второй год, где его догнал младший брат Сергей (который был на три года его моложе), получал по математике четверки; Миша же носил тройки, что окончательно повергло его в уныние.

Разумеется, все это только предположения, ни подтвердить, ни опровергнуть которые невозможно, так как имеющих в нашем распоряжении свидетельств и фактов очень мало. Но очевидно одно: расхождения существуют не только между романом и действительностью (что естественно), а также между романом и Дневником, но и между Дневником и действительностью и объясняются они отнюдь не ошибками памяти – вот почему и к пришвинскому Дневнику следует подходить с мерками художественного произведения.

Однако вернемся к «Кашеевой цепи», с помощью которой, быть может, нам удастся пролить свет на пришвинскую мистификацию, как и на образ Козла, явно не соответствующий образу пусть даже неординарного гимназического учителя, каким могли видеть его пусть даже неординарные ученики.

Вот как о странном педагоге разговаривает Курымушка через несколько лет после побега со своим старшим товарищем Несговоровым, прототипом которого стал будущий большевик и нарком медицины Семашко (еще один елецкий выходец, дружба с которым существенно облегчала пришвинскую жизнь в послереволюционные годы).

«– Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрепощивает, он – мечтатель.

– Что значит мечтатель?

– А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем

по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: «Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии»».

Вряд ли Несговоров-Семашко был способен в ту пору на подобные рассуждения. Все сказанное, с одной стороны, совершенно внеисторично, а с другой – представляет собой определенную литературную полемику, своеобразный психологический реванш, который берет Пришвин у своего учителя, хотя Розанова к тому времени уже нет в живых.

«– Но ведь это гадко, – почему же ты говоришь, что он умный?»

– Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

– А умный, по-моему, – это и честный».

Напрямую сталкивала Пришвина с Розановым и очень важная для обоих тема: отрицания и поиска Бога. Так, например, Алпатову приходит в голову мысль, что в гимназии детей «обманывают Богом».

«Кто же виноват в этом страшном преступлении? – спрашивает себя Курымушка. (...) „Козел виноват!“ – сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель».

И это снова не что иное, как литературная полемика с человеком, для которого понятие «мечты» было одним из ключевых:

«– Что же ты любишь, чудаки? – Мечту свою. (вагон, о себе)»<sup>[42]</sup>

«Да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже больше чем пищу – он любит мечту свою. А в революции – ничего для мечты».<sup>[43]</sup>

В пришвинском Дневнике открытым вызовом Розанову этот мотив в канун революции отольется в афоризм: «Революция – это месть за мечту»,<sup>[44]</sup> и

революцию не принявший, ею ограбленный и ее проклявший, именно с мечтательностью, с розановским дурманом и спорил Пришвин в своем послереволюционном романе.

Как справедливо отмечает в статье «Загадка личности Розанова» В. Г. Сукач, «по существу, Розанов весь ушел в мечту. Она завладела его душой и стала лепить ее по своим законам и путям (...) Детский и отроческий мир Розанова, деформированный грубым своеволием среды, воспринимался им как случайный набор событий, поступков. „Иное дело – мечта, – писал Розанов, – тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно „невоспитывающийся“ человек, совершенно не поддающийся „культурному воздействию““». [45]

Пришвинский лирический герой – антипод розановского, он человек действия, личность волевая и отважная («Прочитал Розанова „У<единенное>“ и сравнивал с собой, он – не герой, а во мне есть немного и даже порядочно герой, рыцарь (...) Озарение розановское происходит без расширения души, простирающегося до жажды благородного поступка, как у юношей» [46]), но есть между ними и что-то общее, глубоко роднящее их, и под этим знаком притяжения и отталкивания проходит вся история их знакомства.

В Дневнике 1914 года Пришвин выразит это так: «С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее». [47]

Творческий и идейный диалог Пришвина и Розанова в этом ключе притяжения и отталкивания подробно рассмотрен в диссертации Н. П. Дворцовой, [48] и к этой теме мы еще не раз будем возвращаться. Однако, помимо столкновения мировоззрений, огромную роль

здесь играет психология взаимоотношений двух творческих личностей, психология творчества вообще, и именно этим можно объяснить тот факт, что в лучшем своем романе писатель сознательно выбирает и запечатлевает только одну, темную сторону розановского лика. Правда, не исключено, что, если бы Пришвин продолжил жизнеописание Алпатова, образ Козла развился бы и приобрел новые черты, но этого не случилось, и в романе сей персонаж выкрашен одним, пусть и ярким, черным цветом.

Вот разговор подростка Алпатова, желающего узнать последнюю тайну бытия, с гимназистом Калакутским – по дороге в публичный дом.

«– А Козел тоже ходит?

– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

– Как же это?

Калакутский расхохотался.

– Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого».

Интересно, что в те же самые годы Пришвин в Дневнике противопоставляет Розанова молодым советским писателям, у которых «эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов <...> Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым – он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор «Капитала») научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола,

неприкосновенно – такой человек мог о всем говорить». [49]

Можно было бы объяснить этот двоящийся фокус пришвинского взгляда соображениями цензурными: в советской литературе двадцатых годов иначе как в отрицательном образе реакционный публицист и сотрудник черносотенного «Нового времени» и не мог появиться, а в Дневнике Пришвин был никому не подвластен и писал, что хотел и как хотел, но все же подобные представления о Пришвине упростили бы, если даже не исказили и его художественные принципы, и его место в литературном процессе. Михаил Михайлович слишком высоко ценил свою литературную и личную независимость, чтобы уступать конъюнктуре. Очевидно, что причины этого раздвоения лежали глубже – на художественном, а не на политическом уровне. И суть этого раздвоения, уникальность Пришвина как художника в том, что без его художественной прозы не может быть понят его Дневник, а без Дневника – проза, они идут бок о бок и лишь в совокупности своей позволяют нам судить об авторской позиции. Более того, в известном смысле не столько дневниковые записи являются лесами к его роману, сколько роман к Дневнику, равно как и все опубликованное у Пришвина в советские годы призвано объяснить неопубликованное, и, возвращаясь к теме нашего исследования, ставить знак равенства между гимназическим учителем в романе, гимназическим учителем в Дневнике и гимназическим учителем в реальной жизни. [50]

Розанов в елецкой гимназии – глубоко несчастный, страдающий, одинокий человек; Розанов в пришвинском Дневнике – противоречивая, яркая личность, заставляющая Пришвина до конца дней мучительно размышлять о самых важных вопросах бытия; Розанов в



романе – Козел, олицетворение плена, зла, несвободы, пережитого в публичном доме в комнате фарфоровой женщины ужаса.

Алпатов спасается, убегает от «большой фарфоровой бабы с яркими пятнами на щеках», потому что «невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами».

Однако в романе первый неудачный опыт героя в публичном доме<sup>[51]</sup> оказывается, несомненно, связанным с Козлом; Василий Розанов, его прототип, первый открыто обозначил эротическую тему в русской литературе и общественной мысли, легализовал ее (Барков, озорные стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева были предназначены для «внутреннего» пользования, для сугубо мужской компании).

При этом в Дневнике Пришвин говорит о розановской искренности, гениальности, русскости и, наконец, о своей с ним родственности. Чего стоит хотя бы такое признание Пришвина, относящееся к 1938 году: «...а мысль его часто завершает мое пережитое: я все то же сам пережил, обладаю наличием всех соответствующих чувств, остается дожидаться объединения всех этих материалов мыслью, и я бы дождался, но вот Розанов приходит и говорит то самое, что я скоро бы должен сказать».<sup>[52]</sup> Или: «Вот где-то тут, в чувстве рока, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова».<sup>[53]</sup>

Но вернемся к герою «Кашеевой цепи», спасшемся от фарфоровой женщины. «Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

- Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!»

И чуть дальше - как приговор:

«- Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет».

После брошенных ему прилюдно горьких слов Алпатов не сдаётся, но принимает вызов.

«Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели „Кресту твоему поклоняемся, владыко“. При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

- Тебе что?

- Пост пополам хряпнул.

- Ну, так что?

- Коты на крыши полезли.

- Что ты хочешь сказать?

- Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

- Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

- Вон, вы опять дрожите, невозможно сидеть.

- Вон, вон! - кричал в бешенстве учитель.

Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

- Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым

крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

- Ты - маленький Каин! - прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

- Козел! Козел! - крикнул ему в спину Алпатов».

## Глава III

# ЮНОСТЬ

Вот собственно и все... Больше учитель географии в романе не появится, а слова, которые прошептал он Алпатову, окажутся последними им произнесенными на этом пространстве. Трудно сказать, кого здесь больше жаль, оскорбленного учителя или исключенного ученика, кто палач, а кто жертва; и не этот ли трагизм, эту невозможность каждой стороны поступиться своей правдой и хотел выразить писатель Михаил Пришвин или выразил против своей воли? Да и не случайно, наверное, само прозвище Козел – независимо от того, какой смысл вкладывали в него елецкие дети – в греческом языке того же корня, что и слово «трагедия».

Маленький Каин. Маленький убийца... Пришвин вовсе не скрывает, а скорее акцентирует действие на том, что Алпатов ради самоутверждения приносит в жертву своего учителя, и яростный крик в спину уходящему, поверженному врагу звучит как выстрел. Только ведь Козел – вовсе не агнец и его прообраз – отнюдь не добродетельный Авель, чья жертва была угодна Господу. Здесь, если так можно выразиться, – два Каина, две гордости и два самолюбия столкнулись, уступить не мог ни тот ни другой, и как пронизательно написал сразу после публикации «Курымушки» советский критик, один из лучших знатоков пришвинского творчества Н. Замошкин: «Однако купеческая кровь сказала – он (Пришвин. – А. В.) нашел в себе решимость с поразительной откровенностью отплатить своему учителю, создав из него бессмертный образ Козла. Но эта атака изнутри выдает с головой и самого атакующего». [\[54\]](#)

Тема каинова греха в романе вынесена даже в заглавие одного из звеньев, и лишь в пятидесятые годы, дописывая «Кашееву цепь» и сопровождая каждое звено авторским послесловием, писатель сместил логические акценты романа и перенес упор этого противостояния на мотив преодоления личной неудачи.

«Это была коренная неудача. Казалось тогда: сбили тебя в дорожную канаву на основном жизненном пути, а сами всей массой весело дальше идут по хорошей дороге, – с кого спрашивать?

Торчмя головой полетел ты в канаву, и мечта твоя о небывалом обманула тебя, как снежинка растаяла у тебя на ладони, – опять, с кого же спрашивать?

Но так уже устроена душа человека-неудачника, что он ищет виновника своей неудачи».

Но что же все-таки произошло тогда в провинциальной гимназии между двумя этими людьми на самом деле?

Из черновых и более точно соответствовавших действительности набросков к «Кашеевой цепи» картина столкновения складывается такая.

Реальный Курымушка-Миша Пришвин-Алпатов учился не просто плохо, но катастрофически плохо. В замечательной статье О. Н. Мамонтова, который и раскопал в елецких архивах подлинную историю пришвинского бегства, приводятся такие факты: «К исходу 1883/84 учебного года у Пришвина были неудовлетворительные отметки по латыни, математике и чистописанию. Обсудив успеваемость юного Пришвина, комиссия педагогов сделала заключение: „Безнадежен (по малоспособности)“». <sup>[55]</sup> Как написал о том периоде своей жизни сам Пришвин, «я совершенно не в состоянии понимать, что от меня требуют учителя. Мучаюсь, что огорчаю мать единицами и за успехи, и за

поведение<sup>[56]</sup> (...) В четвертом классе я говорю Розанову дерзость: «Если вы мне выведете двойку по географии, я не знаю, что сделаю»». <sup>[57]</sup>

По другой версии, которую приводит в своей книге Валентин Курбатов на основе розысков в местных архивах (речь идет о воспоминаниях наркома Семашко), дело обстояло и того хуже:

«Слушайте, Козел! Если вы не прекратите придирааться ко мне, я вам морду разобью!»<sup>[58]</sup>

Розанов (как пишет Пришвин, «тогда больной») ставит в совете условие:

– Или он, или я.

Вот текст докладной записки самого Розанова, опубликованной не так давно в журнале «Русская литература»:

«Честь имею доложить Вашему Превосходительству о следующем факте, случившемся на 5 уроке 18 марта в IV классе вверенной Вам гимназии: ученик сего класса ПРИШВИН Михаил, ответив урок по географии и получив за него неудовлетворительный балл, занял свое место за ученическим столом и обратился ко мне с угрожающими словами, смысл которых был тот, что если из-за географии он не перейдет в следующий класс, то продолжать учиться он не станет, а выйдя из гимназии, расквитается со мною. „Меня не будет, и Вас не будет“, – говорил он, между прочим. Затем сел, и так как тишина класса не нарушалась, то я продолжал урок, до конца которого оставалось несколько минут. Через небольшой промежуток времени он встал и попросил извинения, ссылаясь на то, что о поступке его будет доложено Вашему Превосходительству. Он исполнил мое желание, еще раз сказав, что, принеся извинения перед всем классом, исполнил то, что от него требовалось, и по тону слов его было видно, что он считает это извинение почти заглаживающим вину. В

субботу я остаюсь после 5-го урока дежурным с арестованными учениками, между которыми был и ПРИШВИН Михаил (за 2 по географии, по желанию, ранее выраженному г. классным наставником). Передавая ему записку, в которой родители извещались о его аресте и причине оного, я спросил его, что побудило его к поступку такой важности, и, указав ему на тон извинения, спросил его, какие вообще представления он имеет о себе и других людях, с которыми ему приходится вступать в отношения. Он высказал, что вообще не считает кого бы то ни было выше себя; что же касается до самого поступка, то он сделан был для того, чтобы выдаться из учеников, показав им, что он способен сделать то, что никто из них не решился бы. Считая самый поступок выходящим из ряда обычных явлений гимназической жизни, а объяснения, его сопровождавшие, в высшей степени значительными с нравственно-воспитательной точки зрения, я почел своим долгом обо всем этом доложить Вашему Превосходительству, как высшему руководителю гимназической жизни и охранителю дисциплины в ней. Преподаватель В. Розанов. 20 марта 1889 г.» [\[59\]](#)

Еще более потрясающая, с самыми фантастическими подробностями версия этого происшествия была изложена В. В. Розановым в письме к Н. Н. Страхову. Отчасти повторив в письме к известному критику и своему литературному опекуну то, что уже было написано в докладной записке, Розанов продолжал:

«У этого ученика более 1 500 000 капитала и он любимец матери, коя ненавидит старшего брата (ученик VII класса, тихий малый) и хлопчет у адвокатов, не может ли она все имущество передать по смерти 2 сыновьям, обойдя старшего (говорят, она -

удивительная по уму помещица, но к старшему сыну питает органическое отвращение); я все это знал и видел, где корень того, что в IV классе он уже никого не считает выше себя. Сегодня на 2-м уроке написал директору докладную записку о случившемся, в большую перемену собрался совет, и все учителя единогласно постановили уволить. Завтра ему объявят об этом, а я сегодня после уроков купил трость, в виду вероятной необходимости защищаться от юного барича».<sup>[60]</sup>

Трость не потребовалась, а вот ученика гимназический совет не просто исключил, но с волчьим билетом, без права поступления в другие учебные заведения этого типа, и таким образом поставил крест на пришвинской судьбе и на долгие годы поселил в нем чувство неуверенности в себе.

Мог ли Розанов поступить иначе? Ведь должен был он, умный, глубокий и пронизательный человек, понимать, как жестоко поступает по отношению к задиристу и явно незаурядному мальчику, тем более что и сам он, по собственному признанию, в гимназические годы «всегда был „коноводом“ (против начальства, учителей, особенно против директора)»,<sup>[61]</sup> плохо учился, оставался на второй год, и его, маленького, терроризировал директор симбирской гимназии по прозвищу Сивый.

Отвечая на этот заданный или только подразумеваемый вопрос, Розанов говорил Пришвину во время их петербургской встречи два десятка лет спустя:

«- ...Я не мог иначе поступить: или вы, или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите докладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай...

- А с Бекреневым? - хотелось спросить.



Он рассказывает, как плохо ему жилось учителем гимназии. Теперь вот учат, а тогда... Место покупалось у попечителя... Розанов мечтатель, а тут нужно было что-то делать до того определенное... Казалось, что с ума схожу... И сошел бы... Я защищался эгоистично от жизни... В результате меня не любили ни ученики, ни учителя...»<sup>[62]</sup>

В пришвинском изложении этот лепет выглядит довольно жалким и неубедительным, что Розанову было несвойственно совершенно (этот человек мог убедить кого угодно в чем угодно и ни перед кем не тушевался), а вот о том, насколько его не любили и как мучили, рассказывает в своих воспоминаниях учитель елецкой гимназии Павел Дмитриевич Первов, в соавторстве с которым Розанов переводил «Мысли» Б. Паскаля и первые пять книг «Метафизики» Аристотеля и о котором Пришвин с благодарностью много лет спустя написал:

«30 октября. Пятница. И хлещет дождем, и крутит, и мутит, хуже некуда. Остается только надежда на себя, что мое утреннее писание будет освещать мое внутреннее солнце.

Вспомнился отличный учитель древних языков Первов, как он однажды осенью в классе, мельком взглянув на мутное окно, сказал: «Мы, люди, должны быть независимы в своих делах от погоды». Тогда это было непонятно, но береглось в себе около семидесяти лет, а теперь я тем и живу, что навстречу непогоде за окном вызываю из себя солнце».<sup>[63]</sup>

Приведу лишь один эпизод из воспоминаний Первова о Розанове, характеризующий учительские нравы той благословенной поры:

«Раз он попал на холостую попойку учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким

(учитель гимназии, где преподавал Розанов. – А. В.), который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: «И мы тоже кое-что понимаем!» В разгар спора Десницкий схватил с полки книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, положил ее на пол, расстегнул брюки и обмочил ее, при общем хохоте всех присутствующих повторяя: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит»». [\[64\]](#)

Легко догадаться, что испытывал этот раздражительный человек, сталкиваясь с хамством своего ученика. И ведь не с простым хамством, а с некой философией, когда нерадивый гимназист имел наглость рассуждать, апеллировал к учителю, возмущал его и насмехался. Можно понять Розанова, но следует понять и Пришвина. И не судить ни того ни другого.

В дальнейшем к этой ситуации и сам Пришвин относился более взвешенно: «Розанов был сам нежный тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым». [\[65\]](#)

Но многие годы обида оставалась очень горяча.

В 1922 году Пришвин писал об этом эпизоде Яценке: «Нанес он мне этим исключением рану такую, что носил я ее не зажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощения („Впрочем, – сказал, – это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло“»». [\[66\]](#)

Впрочем, с пользой не все так просто... Пришвин принадлежал к той породе людей, кто исключительно тяжело переживает душевные скорби, и эта рана оставила след в его душе на всю жизнь, подобно тому как ранила его через несколько лет неудавшаяся

любовная история. Два этих горьких события определили будущую судьбу писателя, и на протяжении всей жизни Пришвин не раз возвращался к этому эпизоду.

«Из моей жизни. Преодоление неудач. В связи с чтением „Кашеевой цепи“ мне вспомнилось (и как жаль, что я это не вспомнил, когда писал „Кашееву цепь“). Мне вспомнилось, что когда после исключения меня из Елецкой гимназии Розановым Алеша Смирнов прислал мне сочувственное письмо с обвинением во всем Розанова (все были против исключения, он один), я ответил ему: „Дорогой Алеша, не вини Розанова – я сам во всем виноват. Я даже хотел было застрелиться, и револьвер есть, но подумал и оказалось, я сам виноват, так почему же стреляться – и вот не стал“.

Что-то в этом роде написал, а умный Алеша письмо снес в гимназию, а из гимназии оно попало к матери и Дунечке, и вот почему все стали ухаживать за мной, как за больным и хорошим мальчиком».<sup>[67]</sup>

В 1944 году Пришвин записал уже по поводу своего романа: «Вспомнил, как я несправедливо выступил в „Кашеевой цепи“ против учителей елецкой гимназии. Нужно было пройти таким 60-ти годам, чтобы учителя были поняты мною как хорошие учителя»,<sup>[68]</sup> а еще через семь лет: «В моем личном жизненном опыте я был врагом своих учителей в школе, я же потом и стал на их сторону против себя»,<sup>[69]</sup> и как разрешение всей этой ситуации:

«Меня выгоняли из школы, потому что я был не способен к ученью и непослушен. А теперь в каждой школе по хрестоматиям учат детей моим словам, меня теперь все знают и многие любят.

Почему это случилось? потому что я боролся за себя, или что меня выгоняли? Было и то и другое: я должен

был по натуре своей бороться, они должны были меня выгонять.

Им хотелось сделать из меня хорошего мальчика, я хотел найти свой путь к хорошему». [\[70\]](#)

Много лет спустя участники провинциальной драмы времен царствования императора Александра III встретились в столице империи, на заседании Религиозно-философского общества, и Пришвин сполна познал вкус победы.

«Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий (чудесный в своем простодушном и юношеском литературном эгоизме эпитет, особенно если учесть, что Розановым еще не написаны лучшие, главные его книги. – А. В.), другой робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии, другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока... (...) Мой фантастический полет... Я говорил три часа подряд. Меня слушали, переспрашивали... Когда я сказал о том, сколько потеряло человечество, меня кочевой образ жизни на оседлый, Роз<анов> сказал: это Ницше, Ницше... (...)

Так закончился мой петербургский роман с Розановым... В результате у меня книга его с надписью: «С большим уважением на память о Ельце и Петербурге». А когда-то он же сказал: из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени болела эта фраза в душе... Умер тот человек... Умер и я со всей остротой болей... Поправляюсь, выздоравливаю, путь виднее, все уравновешеннее... Но почему же жаль этих безумных болей... Выздоравливаешь и тупеешь». [\[71\]](#)

Еще больше, чем этот странный финал, поражает другое: «Так закончился мой петербургский роман». Как же так? Почему закончился? Неужели им не о чем было больше говорить? Ведь и с Мережковским, и с Блоком, и

с Ремизовым, и с Ивановым-Разумником, и с Волошиным, и с Горьким Пришвина связывали личные отношения, велась переписка, были встречи, а с Розановым, с которым, казалось бы, сам Бог велел ему дружить, ничего не вышло. Ни дружбы, ни писем, а ведь они жили в одном городе, состояли в одном обществе, имели общие интересы - религия, пол, семья, сектантство - и вопрос, почему так произошло, занимал Пришвина до самых его последних дней. Тем более что два ближайших Пришвину человека - Ремизов и Коноплянцев - были с Розановым в прекрасных отношениях.

В 1946 году, когда никто уже в Советском Союзе Розанова давно не вспоминал, Пришвин вопрошал в Дневнике: «Почему Розанов, А. Толстой, М. Стахович не хотели оставаться со мной наедине?»<sup>[72]</sup> А через шесть (!) лет, в 1952-м, неожиданно вернулся к этой теме и дал себе ответ: «Понимаю (...) почему такие люди, как Розанов, А. Толстой, сторонились меня: они понимали, что я в себе человек и особенный, им не хотелось „возиться“ со мной именно потому, что я не просто живу, а меня несет».<sup>[73]</sup>

Н. П. Дворцова, предполагая, что причины кратковременности близкого общения Пришвина с Розановым крылись в сложившейся форме отношений учителя и ученика, начинающего писателя и писателя «в славе», приводит две любопытные цитаты. Одну - розановскую, из «Опавших листьев», поразительно сближающую мировоззрение двух русских писателей: «Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее „несет“, а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».

И другую - из книги А. М. Ремизова «Кукха», где учредитель «Обезьяньей Великой и Вольной палаты» пишет о реакции Розанова на неосторожные слова его

жены: «Мы познакомились с Пришвиным: оказывается Ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии Вас козлом называли». Реакция была мгновенной и болезненной: «Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать. Как, противный мальчишка, опять!»

Пришвин же приводит в Дневнике эпизод, который, в сущности, стоит всех моих рассуждений: «Мне принесли большой портрет Розанова, сделанный с маленькой карточки, которая висела под большим портретом Курымушки. Портрет мне так понравился, что я переменял решение подарить его Т<атьяне> В<асильевне>, поставил его на полочку, а маленький снял с гвоздя для Т<атьяны> В<асильевны>. Через несколько часов в комнате у меня все переменялось: пока Розанов был маленький и висел под большим портретом мальчика, он возбуждал во мне любовь, жалость и чувство большого светлого примирения. Но когда портрет стал большим, я стал испытывать, встречаясь с ним глазами, все более и более неприятное чувство, как будто я опять вернулся в тот гимназический класс, из которого меня выгнали. Сегодня утром я снял портрет большой, повесил маленький, и стало хорошо. А большой портрет сегодня же направлю Татьяне Васильевне».<sup>[74]</sup>

Написанная в Германии в 1923 году, четыре года спустя после смерти Розанова, «Кукха. Розановы письма» – это не мемуары, а сложная, прихотливая, нежная, почти что умилительная и своеобразная книга, посвященная феномену Розанова, помноженному на феномен Ремизова, включающая письма, записки, комментарии, размышления автора, полемику со Шкловским, только что выпустившим в Советской России книгу «Розанов»; это эмигрантская тоска и плач по погибшей стране и наконец трогательный, неподдельный разговор с самим Розановым, с его

отлетевшей, но все слышащей душой, и воспринимать эту удивительную смесь как документальное свидетельство можно только с изрядной долей осторожности.

Что же касается конкретного эпизода, связанного с Пришвиным, то Серафима Павловна явно спровоцировала Розанова на грубость и дело здесь было совсем не в Пришвине. Между двумя петербургскими семьями, Розановыми и Ремизовыми, сложились по воле Розанова странные отношения. Василий Васильевич, проживавший в Большом Казачьем переулке, был довольно частым гостем в ремизовском доме в Малом Казачьем, но от жены не только эти посещения скрывал (говорил, что идет в «Новое время»), а напротив, уверял ее, что на Ремизова чрезвычайно сердит.

Варвара Дмитриевна (жена Розанова) по-соседски переживала и, поскольку две женщины были между собою дружны, заходила к Ремизовым и просила их «не сердиться на Васю».

Скрывал же свои посещения от жены Розанов потому, что на квартире у Ремизова происходили некие таинственные «сеансы», по-видимому, ярко выраженного эротического характера, вполне в духе «начала века», и на Розанова они производили очень сильное впечатление. Вот что писал он Ремизову 25 октября 1907 года (если только это опять-таки не мистификация):

«Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую нужно воздерживать. Потом бывает на душе не хорошо. Само по себе я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое „нравится“, ни тяжелое „залез под подол“. Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого у меня и нет. Этот легкий полуобман, лукавство, черствость души – ах, как все это производит „душевный насморк“».

И далее следует речь о некой девушке, участнице этого «сеанса», которая писателя взволновала и своей внешностью, и нравом.

«Как уже давно никто, она мне не давала покоя в воображении, и я все мысленно продолжал разговор с ней, начатый и неоконченный».

Письмо написано было в день, который ровно через десять лет войдет в историю как главное историческое событие XX века, а завтра Серафима Павловна отправилась к своей соседке спросить, как лучше «вставлять окна» (утеплять).

И хотя, как пишет Ремизов, «ничего особенно такого не произошло на „сеансе“, Розанов вообразил, что Серафима Павловна пришла по-женски посплетничать о том, что происходит у Ремизовых на квартире во время „сеансов“, и попытался нежданную гостью выпроводить, дескать, Варвара Дмитриевна неважно себя чувствует, но ничего у него не вышло, и тогда, улучив минуту, он попросил „не говорить ничего про вчерашнее!“

Сели завтракать, разговор действительно пошел об окнах, от окон перешли к стирке и постирушке (тут Ремизов гениально пародирует, воссоздает розановскую любовь к семейному быту: «Стирка – это крупное белье, а постирушка – это платки, салфетки, так, мелочь всякая...»), хозяин совершенно успокоился, и вот тогда-то Серафима Павловна и подпустила свою женскую шпильку:

«– Да, – вспомнила С. П., – мы познакомились с Пришвиным: оказывается ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли».

Намек – совершенно очевиден (козел! – символ похоти), и понятно бешенство Розанова.

"– Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать!

И опять как в прихожей тогда.



- Вася, перестань, - вступилась В. Д., - мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться!

Завтрак кончился, сидели так.

В. В. все еще сердился.

- Ну давай помиримся! - и через стол протянул руку.

- Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала!

- Как, противный мальчишка, опять! - и руку отдернул"».

Тут никак не обойтись без того, чтобы не сказать несколько слов об авторе этой провокации - самой Серафиме Павловне Ремизовой, урожденной Довгелло. Дама эта принадлежала к старинному литовскому роду, в молодости была членом партии эсеров (Пришвин язвительно называл ее неудавшейся Софьей Перовской), но при этом любила роскошь, была обходительна, умна, отличалась незаурядным и очень сложным характером, ее связывали личные отношения со многими литераторами, и пассивной ее роль в тогдашней литературной жизни назвать было никак нельзя. Она стремилась быть при своем муже тем же, кем была Гиппиус при Мережковском - совершенно самостоятельной личностью, но не тенью великого писателя. Если Бог не дал ей собственно литературного таланта, как Зинаиде Гиппиус, с которой она дружила, то умением привлечь, заинтересовать, заинтриговать самого непростого собеседника она была явно не обделена. Имя ее в Дневнике Пришвина встречается довольно часто, и по обыкновению писатель дает жене своего друга весьма противоречивые оценки, большей частью все же отрицательного свойства (так, Серафима Павловна для него принадлежит к «типу дев темных... в бездне гордости и лжи»<sup>[75]</sup>), и в свете этих характеристик более отчетливо предстает описанный эпизод.

«Ремизова как человека нет совершенно: человек, должно быть, весь в Серафиме Павловне, она его поглотила и направила. Теперь она уговаривает его покончить с собой, а вслух мне говорит о бесцельности самоубийства, так как все равно потом будет продолжение. Что это такое? (...) И еще удивительно, что, несмотря на все ее внешние и внутренние достоинства, отчего-то при ней умерщвляется всякое чувственное влечение, как бы умираешь совсем, и в то же время понимаешь с высоты: какая-то твердыня неприступная с такой далекой снежной вершиной, что люди в долинах и в помыслах не смеют взойти наверх».

[76]

Но самую убийственную характеристику Пришвин занес в Дневник в 1920 году: «Ей хотелось быть, а она никогда не была».

[77]

А Ремизов ее любил и очень страдал, когда в 1943 году Серафимы Павловны не стало...

Но вернемся к нашим главным героям – Розанову и Пришвину. Итак, преодолеть прошлое не смогли ни тот ни другой.

Однако если следы присутствия Пришвина нигде в огромном розановском наследии не встречаются и Розанов, принеся извинения за давнюю историю, предпочел выкинуть бывшего и так странно объявившегося в Петербурге ученика из головы, оставив исключенному гимназисту на память о возобновленном и быстро прерванном знакомстве весьма двусмысленно звучащий в свете прихотливых отношений двух литераторов завет держаться подальше от редакций (по иронии судьбы, самого автографа Розанова с этим бесспорно розановским напутствием нет; сохранилась только в пришвинской библиотеке книга Розанова «О понимании» с экслибрисом Пришвина и написанными его же рукой

словами: «Завет Розанова мне: – Поближе к лесам, подальше от редакций»<sup>[78]</sup>), то Пришвин не переставал думать о нем в самые разные периоды своей насыщенной жизни.

Розанов, сам того не подозревая, был пришвинским демоном. Он преследовал его всю жизнь и влиял на его творчество необычайно, как никто другой – из декадентов и не декадентов: Ремизов, Мережковский, Блок, Гамсун... Он переболел ими всеми, и только Розановым был болен неизлечимо. С бывшим учителем, первым крупным писателем и мыслителем, повстречавшимся на его пути, Пришвин спорил, его отрицал, им восхищался, считал себя его продолжателем и последователем («Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение истории, вернее, разложение столь глубоко, что ближайший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать созидание»<sup>[79]</sup>) – здесь была целая гамма оттенков и настроений, и, как бы ни был он сильно им задет, всегда прекрасно и глубоко его чувствовал, сознательно или нет усваивая его стилистику и художественные приемы, и читатель этой книги еще не раз ощутит явное или сокрытое присутствие Розанова.

Вот что писал об этих двух писателях Р. В. Иванов-Разумник: «Влияние В. Розанова на М. Пришвина несомненно; но оно частично. Оба они ненавидят „черного бога“: но для В. Розанова непреложно, что Черное Солнце монашества и есть истинный Христос, он это понял „сразу до ниточки, до последнего словца...“. М. Пришвин этого о себе никогда не скажет. И он ненавидит черного бога, но никогда он не отождествит монашеского христианства со Христом. Различна и их любовь: В. Розанов входит в космическое только в точке „пола“ – и здесь он единственный в своем роде апологет „святой плоти“; для М. Пришвина „святая

плоть“ – только частность религии Великого Пана; ему не надо входить в космическое – он уже в нем».<sup>[80]</sup>

Не случайно в более поздних пришвинских дневниковых записях, содержащих жестокие критические самооценки, – «Вчера в постели, перед тем как заснуть, я внезапно понял всю жизнь со времени возвращения из Германии и до встречи с Л. как кокетливую игру в уединенного гения, как одну из форм эстетического демонизма»<sup>[81]</sup> – особенно замечателен будет зачин, совершенно розановский, только у Василия Васильевича было бы: «Я внезапно понял...», а потом, в скобках, приписка: «в постели, перед тем как заснуть».

Они более не встречались, но Пришвин видел Розанова во сне, эти сны записывал в своем Дневнике и им доверял то, что не мог высказать прямо.

«Снилось, что я будто бы у священника Алекс. Петровича Устьянского<sup>[82]</sup> и мы с ним решаем, что у него на даче в это лето будут гостить Лев Толстой и Розанов. С этим поручением я являюсь к Розанову. Вас. Вас. сидит за столом и с необыкновенно гаденьким видом показывает кому-то порнографическую картинку, уснащая глубокомысленным замечанием религиозного содержания. Меня встречает неприязненно, я объясняю ему о даче, но забываю фамилию Устьянского. «Что же это такое?» – изумляется он.

«Да я, – говорю, – единицы за это в гимназии получал, что вдруг самое главное и очень мне известное забуду». И в эту минуту сам себя вижу: лоб очень большой у меня, бугреватый, лоснится и не помнит ничего.

Мой роман с Розановым».<sup>[83]</sup>

Роман был безответным, и это Пришвина мучило, но чем взрослее писатель становился, тем более снисходительным по отношению к Розанову делался (и

не только по отношению к Розанову, но ко всей давнишней истории).

Порою подражание Розанову носило формы очень болезненные. В конце тридцатых годов к Пришвину повадился ходить за уроками литературного мастерства молодой писатель А. А. Шахов, пытавшийся писать в той же манере, что и Пришвин. Михаил Михайлович довольно жестко его критиковал и однажды в конце очередной беседы, посмотрев прикусившему губу прозаику прямо в глаза, совершенно по-розановски почти теми же словами, что когда-то подкосили его самого, отрезал:

«– Из вас не выйдет писателя». [\[84\]](#)

Любопытно, что в Дневнике 1940 года Пришвин отозвался об этом эпизоде следующим образом: «Приходила моя Обезьяна (Шахов. – А. В.), и я почувствовал, что перед кем-нибудь, стоящим духовно выше меня, я, претендующий на какую-то роль через свой талант, тоже являюсь подобной же обезьяной». [\[85\]](#)

В то же время поэту Виктору Бокову, которому писатель явно симпатизировал, Пришвин написал на подаренном томе сочинений: «Моему литературному ученику с заветом моего литературного опекуна „Поближе, Пришвин, к лесам, подальше от редакций“». [\[86\]](#)

Начиная с азиатского побега и до конца своих дней, Пришвин был великим житнетворцем и мистификатором, сделав себя главным героем своих произведений, он не просто описывал свою жизнь, но выстраивал ее как роман. И жизнь ему блестяще подыгрывала: как поразило его то обстоятельство, что в 1914 году ему предстояло решать на заседании Религиозно-философского общества вопрос об исключении(!) из общества самого Розанова, каким внутренним торжеством было для него назначение на

должность учителя географии(!) в елецкую гимназию, откуда его когда-то выгнали, в 1918 году, с каким странным чувством бродил он по запущенному кладбищу в Сергиевом Посаде, где похоронен Розанов, [87] а потом писал Горькому, что розановская могила словно шило в мешке, как напряженно размышлял в середине двадцатых о судьбе дочери Розанова Татьяны Васильевны, наконец купил у нее письменный стол отца и за этим столом работал. [88]

Пришвин был не одинок в стремлении превратить в свое «автобиографическое пространство» окружавший его мир и в этом смысле, подобно многим из окружавших его литераторов, был декадентен, эгоистичен и субъективен: он творил свою судьбу и был более всего этим мифотворчеством озабочен, но что-то спасало его прозу от крайнего субъективизма, что-то удалось ему нащупать и выразить глубоко личное, и от Розанова он научился главному – безжалостности к себе, которую он и назовет творческим поведением. Так же и к другим, но к себе – прежде всего. Даже внимание к окружающему миру – это, скорее, внимание к своим ощущениям и переживаниям, – отсюда выдвижение себя в качестве главного героя, вызывавшее упреки в бесчеловечности, «ячестве», самолюбовании, большей частью несправедливые и основанные на недоразумении.

Быть может, именно споря с Розановым, он напишет в Дневнике последних лет: «Спасся я от них (декадентов. – *А. В.*) скорее всего не искусством, а поведением». [89]

«Из тебя что-то выйдет», – сказал маленькому Курымушке учитель географии и гениальный писатель.

«Это, конечно, поэзия, но и еще что-то», – охарактеризовал одну из первых пришвинских книг Александр Блок.

Вот это «что-то»,<sup>[90]</sup> эта неопределенность мучила писателя если не всю жизнь, то добрую ее половину, дух победы и поражения в нем боролись, смущали и искушали его, и в пришвинской натуре настаивалась, вызревала упрямая и гордая воля, столь необходимая писателю для того, чтобы воплотить свой дар.

История взаимоотношений Пришвина с Розановым не закончилась со смертью Василия Васильевича, и вот еще одна поразительная деталь: дата смерти Розанова по старому стилю совпадает с днем рождения Пришвина – 23 января. Именно этот день всегда отмечал Пришвин как свое рождение, и ту же дату как день памяти Розанова называет в своих воспоминаниях его дочь: «Было около 12 часов дня, четверг 23 января ст. стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз я».<sup>[91]</sup> Это же число в своем письме к Нестерову называет П. А. Флоренский. По новому стилю даты расходятся на один день: 4 февраля – день рождения Пришвина, 5-го – день смерти Розанова, и дело тут в том, что разница между григорианским и юлианским календарями в XIX веке составляла 12 дней, а в XX – 13.

В 20-е годы в Загорске Пришвин познакомился с младшей дочерью Василия Васильевича Татьяной Васильевной и пережил своеобразный духовный роман. Было бы заманчиво увидеть тут параллель с самим Розановым, который когда-то женился на Аполлинарии Сусловой, потому что она была любовницей Достоевского, однако отношения Пришвина с Розановой были совершенно иного рода, и даже Ефросинья Павловна (жена Михаила Михайловича) относилась к ним совершенно спокойно. «Очень некрасива, невзрачна, – писал Пришвин о Розановой, – но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть



особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф<росинья> Пав<ловна> ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют». [\[92\]](#)

Пришвин ощущал родство с Татьяной Васильевной, потому что «у этой девушки и у меня силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем».

Именно ей читал он в 1927 году уже опубликованного «Курымушку» – первое звено «Кашеевой цепи».

Однако и здесь есть своя неясность.

«27 марта. К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевн>а, и я читал ей „Курымушку“. Под конец пришла Григорьева и помешала. Т<атьяна> В<асильевна> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожест-венное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке». [\[93\]](#)

Но два дня спустя произошло неожиданное:

«31 Марта. Розанова вернула „Кашееву цепь“, и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама занесла бы книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит». [\[94\]](#)

А вот отрывок из воспоминаний Т. В. Розановой:

«В это время (после разрыва с Аполлинарией Сусловой. – А. В.) отец был морально убит, гимназисты



над ним смеялись, особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения, его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там работал и уже явился к нам в квартиру с рюкзаком и женатым. Он принес свою первую книгу «За волшебным колобком» и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в провинции». Отец сдержал слово, поместил в «Новом времени» похвальную рецензию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее Пришвин написал роман «Кашеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и также фотографический снимок с пелены препод<обного> Сергия, которая находится в государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске.

Фотографии эти до сих пор висят у меня в комнате».

[\[95\]](#)

В этих воспоминаниях довольно много фактических ошибок. Во-первых, Сулова оставила Розанова не в Ельце, а в Брянске («Я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как моя жизнь там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии»<sup>[96]</sup>), и случилось это в 1886 году («Первый

мой брак был заключен зимою 1881 года, длился до августа 1886 года, все время был несчастный»<sup>[97]</sup>), так что в грехе травли ославленного на весь город, морально убитого человека Пришвин не виновен. Во-вторых, «Колобок» не был его первой книгой, в-третьих, Пришвин никогда не был в Америке, да и про розановскую рецензию в «Новом времени» ничего не известно. И все же отношение дочери Розанова к Пришвину очевидно...

Много лет спустя после смерти обоих участников многолетнего и такого плодотворного противостояния две женщины, напрямую с ними связанные и бережно хранящие о близких им людях память, предприняли попытку протянуть друг другу руку.

В конце шестидесятых годов между Валерией Дмитриевной Пришвиной и Татьяной Васильевной Розановой завязалась переписка, и, хотя формальным поводом к ней послужила судьба того самого розановского письменного стола, который приобрел когда-то Пришвин, связана она была прежде всего именно с «Кашеевой цепью», и обеим корреспонденткам требовалось немалое мужество, чтобы коснуться этой темы.

В. Д. Пришвина писала Т. В. Розановой: «Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве.

Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца! Особенно «Кашееву цепь». Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства (...) Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души (...). М. М. никогда не

останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».

Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».

И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать...»

Читала или не читала, действительно ли Пришвин сожалел о написанном и почему в таком случае не внес в роман, над которым работал до последнего дня, соответствующих изменений – как решить это новое противоречие в запутанной пришвинско-розановской истории, теперь уже не скажет никто. Видимо, все-таки что-то читала и принять написанное об отце не смогла... И, видимо, Пришвин отказываться от романа не стал – «еже писах, писах...».

Наверное, там, за чертой смертного пробега, учитель и ученик встретились и договорили все, что не успели и не смогли сказать друг другу здесь:

«Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби», – писала Т. В. Розанова. [\[98\]](#)

Чем крупнее и масштабнее писатели-современники, тем драматичнее их отношения. Но в истории

литературы они останутся рядом: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все...»

## **Глава IV**

# **ПРИШВИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ**

Слишком увлекшись этим занимательным сюжетом, мы далеко забежали вперед, и теперь нам предстоит вернуться в конец XIX века, где в зародыше скопились истоки бед века XX. Неизвестно, как сложилась бы пришвинская судьба в его зеленые годы и состоялась бы последующая встреча не только с Ремизовым и Розановым, но и со всей литературной богемой Российской империи, стал бы он писателем или нет, если бы в 1889 году старший брат его работающей матушки сибирский судовладелец Иван Иванович Игнатов (тот самый храбрец и кутила, что предостерегал отрока Михаила держаться поумнее и не хвалиться безобразиями и робел перед будущим царем-мучеником) не предложил племяннику переехать в Тюмень. А в вольной Тюмени, ныне сделавшейся одним из центров пришвиноведения, тем более с таким дядей, все было можно, в том числе волшебилетнику – учиться.

Хотел ли шестнадцатилетний мальчик туда ехать, с каким чувством покидал он родной дом, как расставался на несколько лет с матерью и братьями, хорошо ли жилось ему с малознакомым и очень непростым родственником в чужом краю, остается неизвестным. Однако для духовного роста этот период его жизни дал чрезвычайно много, начиная с дороги из Ельца в Сибирь. Это было его первое по-настоящему большое путешествие, причем путешествие в Азию, то есть практическое воплощение недавней мечты, и по пути Пришвину встретились люди, которые сыграли в его жизни большую роль. Это и сектанты, направлявшиеся в град Китеж – по их тропинке Михаил Михайлович через несколько десятков лет пройдет и

сам, и скрывавшиеся от полиции революционеры, с которыми он столкнется еще раньше, и так получит воплощение важнейший пришвинский мотив – сектанты как революционеры и революционеры как сектанты.

Да и сам Иван Иванович был фигурой! Судя по воспоминаниям другой его племянницы, Т. И. Коншиной, то был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очаровательный прожигатель жизни», он славился своими неординарными поступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сближало его с пришвинским отцом. Только, в отличие от несчастливого в азартных играх и слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравшись и спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему друг, пришвинский дядя Ваня не впал в отчаяние, а, дав себе зарок не брать в руки карты, пока не отыграется, уехал в Сибирь. Там он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным бизнесом и с годами сделался настоящим воротилой (сюжет русской литературе знакомый – см. Мамина-Сибиряка или Вяч. Шишкова, может быть, поэтому Пришвин и не стал его разрабатывать), но не переставал интересоваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, собрал большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные часы, увлекался охотой, любил сухое шампанское, которое звал «сек», часто бывал высокомерен и жесток, одних людей привечал, а других преследовал и оставил у всех знавших его воспоминания противоречивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду.

Видимо, своенравный племянничек пришелся ему по сердцу – во всяком случае, в своем романе, старательно

затушевывая негатив и лишь слегка, почтительно над дядюшкой посмеиваясь, Пришвин создал образ настоящего сибирского романтика, повадками похожего на американского пионера с русскими корнями.

Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами»), и поразительно, но в тюменском Александровском реальном училище Пришвин оказался, по свидетельству Валерии Дмитриевны, едва ли не первым учеником. Она, разумеется, ничего не сочиняла и во всех своих высказываниях опиралась на его поздние несколько приукрашенные воспоминания и устные рассказы. Сам же он в 1918 году писал о тюменских успехах скромнее: «Учился в реальном не увлекаясь, ни хорошо, ни плохо»<sup>[99]</sup> (в более поздние годы самооценка, видимо, зависилась<sup>[100]</sup>), но как бы там ни было – очевидно, что прежних проблем с учебой не было – или же уровень подготовки других учеников был существенно ниже. А может быть, он сам сильно изменился, вырос либо боялся повторения старой истории – а из Сибири куда бежать? – смирил гордыню и самолюбие. И если поначалу «ему казалось, что в новой гимназии его примут как героя, пострадавшего за дело товарищей», то со временем его «сердце начало на хорошем человеке крепко завязывать свои узелки, и, как испытавшему голод вдруг оказался слаще сахара черный хлеб, так и обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку» и – продолжу цитату из набросков к «Кашеевой цепи» – «Алпатов бросился всех догонять, чтобы непременно кончить гимназию, в университет попасть и быть как все».<sup>[101]</sup>

Похоже, что ситуация с елецкой гимназией, где недоучились в одно и то же время два крупнейших

русских писателя и откуда сбежал с учительской кафедры третий, говорит не в ее пользу. Вероятнее всего, мальчику просто следовало поменять школу и все наладилось бы – и не имели бы мы тогда великого писателя, – но гимназия в Ельце была одна-единственная.

Пришвин окончил реальное училище только в 1892 году. Ему исполнилось в это время девятнадцать лет – возраст совсем не маленький, тут сказалось двойное второгодничество – и юноша торопился наверстать упущенное. «Самый высший» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красноуфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промышленного училища, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тюмень «с погонами и танцевать как студент!».

В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек переехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу (но какова география перемещений!) в политехникум и поступил на химико-агрономическое отделение.

Валерия Дмитриевна полагала, что на выбор факультета повлияли два обстоятельства. Во-первых, желание приобрести прочные знания, чтобы помогать матери в ведении хозяйства, а в дальнейшем и самому им заниматься, и, во-вторых, «заменить таинственной наукой Бога, с детской верой в Которого еще в четвертом классе гимназии мальчику „приходилось расставаться“ с помощью его старшего товарища Николая Семашко».<sup>[102]</sup>

В наброске к автобиографии Пришвин отметил: «В Риге меняю разные факультеты в поисках „философского камня“».<sup>[103]</sup>



А позднее в рассказе-воспоминании «Большая звезда» предположил, что «выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству», на дрожжах коего он вырос.

Так получилось, что самое достопримечательное из того, что с Пришвиным в ту пору происходило, если только не считать овладения немецким языком (в Риге преподавание велось на немецком), – было его увлечение великим детищем германского ума и счастливым соперником русского народничества – марксизмом.

Ничего ни оригинального, ни экстраординарного в том не было. Марксизм в те годы был банален и обязателен, как подростковые прыщи: вирусом зловредного учения (замечательно, что слово «вирус» использовал и Пришвин, говоря об истоках русской революции: «Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние»<sup>[104]</sup>) были заражены почти все учебные заведения России. Через это искушение, по пути от «марксизма к идеализму» прошли многие русские умы. Достаточно вспомнить философов Булгакова, Бердяева, П. Струве, С. Франка, Г. Федотова, писателя Алексея Михайловича Ремизова, поэта Эллиса (Льва Кобылинского), доброго пришвинского знакомого критика Р. В. Иванова-Разумника, а еще Замятина, Горького – многих.

Но размышляя над особенностями своей судьбы, Пришвин находил увлечению молодости и другое, личное объяснение. Исключенный из гимназии самолюбивый мальчик стремился «не отстать от других и быть как все».

А десять с лишним лет спустя сделал к этой истории новое добавление: «Раньше было все вне меня „да“ и внутри „нет“ – я неудачник, теперь стало внутри меня „да“, а вне меня „нет“. Теперь мир вне нашей партии

стал неудачником и мы вполне верили, что нам суждено его переделать, что и он переменится, как и Бебель в то время писал, что всемирная катастрофа настанет еще при нашей жизни». [\[105\]](#)

На протяжении долгих лет жизни Пришвин много раз обращался к революционному сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жертвенной борьбы за лучшую жизнь до горького признания, что был он шпаной среди шпаны.

Посреди этих противоречивых высказываний располагаются и такие:

«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями» (...) «Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал неученье – „Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата“». [\[106\]](#)

К слову сказать, Бунина, так же как и Пришвина, покинувшего гимназию и даже не учившегося в университете, все эти искушения совершенно миновали (несмотря на то, что в кружок самых завзятых радикалов входил его брат Юлий, у которого он тогда жил), и он остался спокойным и холодным их наблюдателем: «Все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие „униженные и оскорбленные“; все злое – направо, все доброе – налево, все светлое – в народе, в его „устоях и чаяниях“; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение в перевороте, в конституции или республике...» («Жизнь Арсеньева»).

Был ли Пришвин, как раз в те годы или чуть позднее участвовавший в революционном движении, одним из таких людей?

И да, и нет.

Пришвинский марксизм был особого рода, и причины его коренились очень глубоко. Пришвин, как уже говорилось, родился в семье с хотя и размытыми, но все же не исчезнувшими старообрядческими традициями. Русские старообрядцы при всей своей неоднородности составляют этнос, уже почти три столетия живущий в ожидании скорого конца света, так что мальчик вырос в апокалиптической атмосфере. Марксизм и апокалиптицизм – смесь, которая может подорвать и разрушить что угодно, и именно на эту благодатную почву эсхатологического ужаса и упали марксистские семена и прежде всего книга Августа Бебеля «Женщина и социализм», которую в революционном кружке молодому студенту доверили переводить с немецкого на русский, что он и кинулся исполнять с «пожаром в душе», и так сомкнулись начало и конец, а вернее – и это очень существенно – конец и начало:

«У Бебеля был поставлен вопрос о всемирной катастрофе при нашей жизни. С этим чувством конца у вождя германского пролетариата пробуждалось наследственное чувство конца от староверов, предков моих по матери. Концом мира меня с детства пугали, и вот теперь этот конец сделался началом новой жизни».

[\[107\]](#)

Позднее Пришвин недоумевал: «Теперь, просматривая Бебеля, понять не могу, с чего же именно взялся тот огненный энтузиазм, с которым я перевел эту вовсе не блестящую книгу. Я думаю потому, что вместе с женским вопросом вставала и решалась труднейшая для юноши этическая проблема (...)

Никакой поэзии не было в книге „Фрау унд Социализмус“, но для меня книга пела как флейта о женщине будущего... Да, это, конечно, было: в тайне души своей я стал проповедовать марксизм, имея в виду грядущее царство будущей женщины». [\[108\]](#)

А чуткая В. Д. Пришвина пишет об этом так: «Его поразила тогда вычитанная у Бебеля картина всемирной катастрофы, которая должна была вот-вот совершиться, еще при нашей жизни. Концом мира мальчика пугали с детства, может быть, это шло еще от староверов, его предков, как „наследственное чувство“. И вдруг этот неминуемый страшный конец у Бебеля становится началом новой жизни!» [\[109\]](#)

А вот признание самого Пришвина, сделанное им в 1937 году: «Это чувство потери интереса к повседневной работе ввиду мировой катастрофы было основным чувством студентов-революционеров нашего времени. Тысячи всяких возможных инженеров бросили из-за этого свое учение и стали подпольными людьми. Это чувство родственно и староверческому „концу света“, и пораженческому, и может быть, „мировая скорбь“ того же происхождения (ввиду чего-то большего не хочет делать малое). Но в этом и выросла русская интеллигенция и весь ее нигилизм». [\[110\]](#)

Как именно его пугали, вспоминает Алпатов в тюрьме: «...он пришел к идее мировой катастрофы от сердца своего.

В раннем детстве он слышал чей-то голос, строго предупреждающий: «Деточки, деточки, по краюшку ходите, затрубит архангел, загорится земля и небо»».

Пикантность этой неразрешимой философской ситуации заключалась в том, что марксистское действие имело место на Кавказе, на родине товарища Сталина в городе Гори, куда студенты выехали, говоря современным языком, на практику (их не то послали, не

то они добровольно поехали туда для борьбы с вредителем виноградников – филлоксерой, занесенной в Россию из Европы болезнью – очень неслучайная, символическая даже, согласимся, подробно), и по утрам молодежь сидела с лупами и рассматривала корешки виноградной лозы, а в остальное время – за столом с бурдюками вина и яростно спорила о...

Всего, о чем могли спорить тогдашние разгоряченные молодые люди, не перечислить, но то, что Мишу политически и духовно совратили (об ином совращении и речи быть не могло: «Не говоря друг другу ни слова, мы дали в душе обет безбрачия и целомудрия... мы были настоящие монахи»), не вызывает сомнения.

«Помню большую веранду, где мы пили вино и вели свои споры, огромное дерево орех, под которым праздновали с грузинами и пили много вина»,<sup>[111]</sup> – писал он.

Все это было легкомысленно ужасно, но вовсе не смешно. Двадцать лет спустя, когда революционные кавказские грезы обернулись чудовищной елецкой действительностью, военным коммунизмом, диктатурой пролетариата и Гражданской войной, подводя итог своим духовным исканиям в молодости, Пришвин писал: «Душевный состав мой накануне уверования в социализм: семейная оторванность, глубочайшее невежество, с грехом пополам оканчиваю реальное училище, смутные умственные запросы, гнавшие меня с факультета на факультет, какая-то особая ежедневная вера, что чтением какой-нибудь книги я сразу все себе и разрешу. Так я взялся за химию как за алхимию и плохо делал анализы, в то же время читал Менделеева страстно, и если бы меня спросили в это время, какая будет у меня жена, я сказал бы, что она несомненно будет химиком... Смутное ощущение какой-то своей

гениальности: я не такой, как все, вот я пойду, ухвачусь за что-то и покажу себя и все переверну, тайный невыраженный романтизм, страдание оттого, что не могу быть, как все (особенно в половой сфере), черты полной дикости (чрезвычайная робость, застенчивость в отношении к женщине). Уверование и поведение после этого: решение государственных вопросов. Постепенное разжижение веры за границей, склонность к родному (агронмия - < нрзб>), к эсерству - окончательный поворот, сумасшедшая любовь и поворот мира с умственности на психологичность: открытие полюса. Жизнь, возрождение... Внимание к человеческой душе...»[\[112\]](#)

А еще позднее, собираясь ровно через сорок лет второй раз в жизни на Кавказ по приглашению первого секретаря обкома Кабардино-Балкарии, шестидесятитрехлетний признанный писатель снова вспомнил свою революционную молодость в свете противостояния двух партий, марксистской и народнической - мотив, который вошел в «Кашееву цепь», но помимо этого нижеследующая запись хороша именно как своеобразное дополнение к юности героя, да и вообще ко всему роману его воспитания.

«В начале этих споров я был на стороне народников, но с каждым днем все больше и больше уступал марксистам. Теперь психологическую сущность происходящего во мне процесса я понимаю так: в душе постоянная тревога о том, что семья, где я вырос, не такая, как мне хотелось бы - не настоящая. Гимназия не дала мне правильного образования - не настоящее мое образование, и сейчас я химик по недоразумению: студент я ненастоящий. И так во всем, везде мне все нет и нет.

Революционная молодежь на Кавказе мне сразу пришлась по душе: вот это «настоящее» - сразу

подумал я, и оставалось только мне самому определиться между марксистами и народниками. Мне народническая задушевность, внимание к личности ближнего, интерес к биологии были близки человечностью, но марксисты меня соблазнили верой в знания, готовностью к определенному и немедленному действию, и главное, что это были все удалые ребята – жить собирались, а народники расплывались в слова. Я попал в группу марксистов и был направлен на расследование виноградников в Гори. Так родина Сталина сделалась родиной моего марксизма, принесшего потом мне много беды». [\[113\]](#)

И еще одна интересная подробность: «Помню каких-то грузинских детей, которые учили меня танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке сам Сталин. Помню несколько молодых людей из грузин, вовлеченных в наш кружок». [\[114\]](#)

Об отношении Пришвина к Сталину речь пойдет позднее, а теперь вопрос читателю. С чего начали они свою революционную деятельность? С террористических актов, с «эксов», с пропагандистской работы, семинаров, организации забастовок и рабочих демонстраций, издания газет или листовок? Ничего подобного! – они стали громить публичные дома, с которыми у закомплексованного юноши были свои счёты (см. «Кашееву цепь», а также главу «Дух и плоть» в этой книге). И занудный марксизм с его прибавочной стоимостью и пролетариатом, которому нечего терять, здесь, кажется, ни при чем.

«Вспоминаю, разбираю и думаю, что значит, в этом видимом на поверхности интеллектуализме „Капитала“ были и сексуальные проблемы внутри с культом женщины будущего», [\[115\]](#) – писал он позднее.



Теоретически у юноши был шанс сделать партийную карьеру, как сделал ее, например, Николай Семашко (правда, будущий нарком медицины был племянником Г. В. Плеханова, хотя мы не можем утверждать, что это как-то на его карьеру повлияло), он завел знакомство с известными в революционном мире людьми и среди них с «блондином с бритыми щеками и небольшой бородкой, лысым, с хорошим черепом», Василием Даниловичем Ульрихом, на дачу которого его привел другой марксист по фамилии Горбачев, вовремя вытащивший юного Михаила из воды после неудачного купания в Рижском заливе. И все же, несмотря на все эти фантастические совпадения и явно неслучайные обстоятельства, даже в «Кашееву цепь» не вместившиеся, что-то его в этом мире не устроило, что-то не сложилось у него с революцией. Может быть, потому, что марксизм у него был никакой не научный, не правильный, а фантастический, религиозный, слишком искренний.

В жестокой «не то секте, не то семье, не то партии с бесконечной преданностью этому коллективу и готовностью для него во всякое время принести себя в жертву», Пришвин сравнивал себя с Петей Ростовым («Я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе... доверчив, влюбчив в человека...»<sup>[116]</sup>) и, как Петя Ростов, если не погиб в бою, то по меньшей мере испил свою чашу страданий в камере одиночного заключения Митавской образцовой тюрьмы, куда попал в 1897 году, пойманный при переноске нелегальной литературы.

И опять сказалось пришвинское-прасольское. Подобное событие – арест одного из сыновей – случается и в бунинско-арсеньевской семье (арестован был старший брат Алеши Арсеньева Георгий, прототипом которого послужил брат Ивана Бунина



Юлий). В этом смысле любопытно сравнить два описания схожих событий, вернее, реакцию старшего поколения на «шалости» детей.

У Бунина:

«Событие это даже отца ошеломило.

Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «идти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, все еще оставался образом «земного бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист» – в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже и в наших местах, – братья Рогачевы, барышни Субботины, – это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа».

А вот та же самая ситуация в семействе Алпатовых:

«Почти с таким же благодушием она (мать Курымушки. – А. В.) уже давным-давно принимала вести о студенческих бунтах; всякий серьезный юноша, по ее пониманию, непременно должен был побунтовать, чтобы сделаться потом вполне развитым человеком. И когда на ее глазах ее Миша начал заниматься политикой, ей хотя и показалось, что он взял чересчур серьезную ноту, все-таки она видела в этом что-то хорошее и необходимое. Но когда весть дошла, что Миша арестован по-настоящему и как серьезный бунтарь даже отправлен куда-то не то в крепость, не то в образцовую тюрьму, она очень взволновалась. Скоро, однако, со всех сторон она стала получать выражение сочувствия и понемногу успокоилась. Все либеральные люди говорили:

- Глухая, мрачная эпоха, только молодежь и выносит все на себе».

Тюрьма есть тюрьма. Как и о старой гимназии, теперь, после ужасов ГУЛАГа, к тому же зная о нынешнем состоянии мест лишения свободы, мы читаем о пенитенциарных порядках бывшей империи чуть ли не с умилением: никакого подавления личности, ни унижения, ни пыток, ни мучений, даже просьбу молодого нигилиста перевести его из полутемной камеры в ту, откуда было видно небо и закаты, выполнили! Разве что отказал начальник тюрьмы передать ему книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому что «английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной».

И все же узнику было там крайне тяжело, одиночество на него давило и трудно было поверить, что когда-нибудь все это кончится. Он вспоминал, как в детстве его однажды в шутку во время игры придушили подушкой и как в эти несколько мгновений небытия он пережил смертельный черный ужас, который вернулся теперь, и «ему мелькнуло в безумии – разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее – разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро». Страшно смотреть на стену – «стена соблазняет», страшно на окно – и «окно соблазняет». Здесь словно рушилась его мечта и терялась обманная цель его бессмысленной жизни: «Хотел освободить людей от Кашеевой цепи, а вместо этого сам разбил себе голову».

Вот почему странно читать в статье Н. Замошкина, хорошо Пришвина знавшего и им ценимого (его сочувственно цитирует В. Курбатов): «Никто никогда еще так радостно и здорово не изобразил жизни человека, лишённого свободы».<sup>[117]</sup> Странно, если только не учитывать, что написано это было в 1937 году

и Пришвин в одной из дневниковых записей советского времени обронил, что царская тюрьма спасла его от тюрьмы пролетарской.

Не сойти с ума – вот была его задача, и спасение к нему приходит – он вообразил себя путешественником к Северному полюсу и высчитывал, сколько раз должен пройти по диагонали камеры, чтобы достичь заветной точки. А позднее, в разговоре со случайной знакомой, гордо констатировал: коль скоро вышел из тюрьмы невредим, значит, достиг полюса. [\[118\]](#)

Освободившись, Пришвин уехал в Елец – ему было запрещено в течение трех лет жить в университетских городах. Он хлопотал о разрешении выехать за границу, а пока что обитал в доме своего гимназического товарища А. М. Коноплянцева на Бабьем базаре, зарабатывая на хлеб частными уроками (их ему охотно, из сочувствия, поставляла местная интеллигенция) и, судя по воспоминаниям окружавших его в ту пору людей, очень недурно проводил время: дурачился, лазал домой через окно, играл на мандолине и пел серенады «О, Коломбина, я твой верный Арлекин...», а много позднее о себе написал: «Какой я был бездельник и пустой человек, откуда же потом все взялось? Ведь буквально из ничего (...) Был Семашко, был Илья Волуйский, Семен Маслов, и у всех у них что-то было, но у меня, как сравнишь то время и себя, ничего не было...» [\[119\]](#)

Но все же в его душе в ту пору свершилось нечто очень важное. Он приехал в Елец еще марксистом и неделя за неделей, месяц за месяцем все дальше и дальше уходил от революционного дурмана, готовя себя к началу другой, еще неведомой жизни. Марксизм его ломался изнутри, неспешно, нехотя, и в «Кашеевой цепи» очень искусно, художественно показано, как это происходило. Это был переход от внешнего к

внутреннему, или, как он сам скажет, от книжного представления о жизни к самой жизни, к личному творчеству, к подлинному и неподдельному бытию, средоточием которого и стала в дальнейшем для Пришвина литература. Позднее, в 1921 году он так определил свое отношение к Марксу и своему с ним разрыву: «Я пережил Маркса в юности. И я наверное знаю, что все, верящие теперь в Маркса, как только соприкоснутся с личным творчеством в жизни, оставят это мрачное учение». [\[120\]](#)

Поразительная вещь: и пришвинский роман, и пришвинская жизнь – все это по большому счету история о том, как молодого человека в младенчестве напугали концом света, а потом в юности вовлекли в революцию, как он через это пострадал и как от революции отрекся, уходя в совершенно иные сферы – сюжет, прямо скажем, совершенно контрреволюционный. В Дневнике и невошедших набросках к «Кашеевой цепи» эти мотивы выражены более отчетливо, но и в романе их предостаточно, и тем не менее автор считался классиком советской литературы, роман его много раз издавался и был всеми признан, выходили книги его жены, глубоко религиозной женщины, где она вовсе не эзоповым языком писала о том же самом, о катастрофичности, гибельности революционного пути для молодежи своей эпохи. Писала сама и приводила выдержки из Дневников мужа, которые целиком при коммунистах опубликовать не могла, но зато везде, где получалось, давала убийственные выдержки.

Вот, например, приведенная ею пришвинская запись об одном из революционеров – Илье Мелитоновиче Волуйском: «Его ужас похож на пустынный татарник. Аполлона разобью! Настоящее дайте! Похабные слова при барышнях... Савонарола!» [\[121\]](#)

Илья Мелитонович - а был он сыном городского главы и любил шокировать своего папеньку и его именитых гостей тем, что встречал их у ворот собственной усадьбы в невозможной рванине жутким гоготом - куда уж там Марку Волохову! - стал впоследствии хирургом; другой революционер получил отцовское наследство на Мясницкой и вмиг сделался капиталистом: революция была для значительной части тогдашней молодежи не столько делом жизни, сколько поводом для того, чтобы всем вместе собраться и показать начальству или общественному мнению фигу. У Пришвина если и была бравада, то лишь на поверхности, и к тому же богатого отца у него не было, не было и никакого дела, и в глубине его беззаботного и бесшабашного существа, в подземной кладовой его души происходили совсем иные процессы, о которых он, возможно, и не подозревал.

## Глава V

# ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Итак, в Ельце ему исполнилось двадцать семь, заканчивался относительно счастливый для России XIX век, век расцвета русской литературы, а до литературы моему герою было по-прежнему так далеко, что он о ней даже и не задумывался. Если отбросить все экивоки, то перед нами, попросту говоря, недоросль, никчемный, недоучившийся студент, за спиной у которого были одни несчастья, провалы и поражения, а ничего материального, практически пригодного создано не было; все это он понимал, запоминал, было отчего прийти в отчаяние, и все вокруг, казалось, нашептывало: неудачник, неудачник, неудачник. Не зря позднее Пришвин написал: «Неважно прошли у меня и детство, и отрочество, и юность, и вся молодость – все суета»,<sup>[122]</sup> а еще девять лет спустя добавил, что был тогда «рядовой, необразованный, претенциозный русский парень».<sup>[123]</sup>

Даже опыта в отношениях с женщинами не было (или почти не было – пыталась его было соблазнить в Риге некая железнодорожная служащая Анна Харлампиевна Голикова, по прозвищу Жучка, но не соблазнила и с горя решила выйти замуж за их общего товарища по революционному кружку Романа Васильевича Кютнера; тут уж Михаил Михайлович спохватился и стал делать ей предложение, но она ему отказала и потом довольно часто снилась), зато было много рассуждений о целомудрии и чистоте, идеализма и прекрасных порывов души, по поводу чего так и хочется вспомнить Любовь Андреевну Раневскую из «Вишневого сада»: «Вы не выше любви, а просто, как

вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..»

Чехов тут вообще очень кстати. В «Журавлиной родине» Пришвин писал: «Часто эпоха берет человека и делает его как бы засмысленным. Я начал в эпоху лишних людей, чеховских героев. Отсутствие бытия, в котором бездумно, как цветок, распускается личность художника, готово было и меня обречь на бессильное раздумье о моральном согласовании с жизнью своего действия».

И все-таки тем и отличаются по-настоящему талантливые люди, что даже свои неудачи и неуспехи умеют обратить себе на пользу для внутреннего развития, и потому напрасно эти годы для Пришвина не прошли.

Что-то исподволь, медленно, осторожно зрело в тайниках его души, что-то готовилось, ждало своего срока, и неудивительно, что позднее, размышляя о природе успеха и неуспеха, писатель занес в Дневник:

«Только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни и быть счастливым; удача – это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину». [\[124\]](#)

В полной мере ему предстояло испытать счастье и несчастье во всех измерениях в истории своей запоздалой и очень сильной первой любви.

Произошло это не в Ельце и вообще не в России, а в Германии, куда Пришвину удалось уехать и поступить на агрономическое отделение Лейпцигского университета. Учился он опять неважно (см. Копию диплома в фототетради), да и не так учеба была важна – важнее была любовь, потому что «с этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рождение),

стремясь не быть как все, направляется к центру (эрос) (...) и так слагается движение домой, к своей самости». [125]

И действительно, любовь у него получилась не как у всех!

Звали его Лауру Варварой Петровной Измалковой. Фотографии этой прекрасной дамы не сохранилось, и известно о ней не так много. Ни из Дневника, ни из воспоминаний не удастся восстановить никаких достоверных сведений о самой Варваре Петровне, и только недавно, благодаря изысканиям А. Л. Гришунина, [126] стало известно, что отец ее, Петр Николаевич Измалков, был действительным статским советником. Он учился в Москве на юридическом факультете, после чего переселился в Петербург, стал членом Дворянского земельного банка и – благодаря А. С. Суворину – редактором журнала «Сельское хозяйство и лесоводство» и проживал в аристократическом районе на Захарьевской улице.

В «Кашеевой цепи» Инна рассказывает о своем родителе забавную подробность: «Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особую просфору, на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переименовал фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: „Помни, для меня ты вечный Чижиков!“»

Но было ли это на самом деле, утверждать не возьмется никто. Тем и коварен автобиографический роман, что реконструировать по нему события реальной жизни чрезвычайно сложно – слишком перемешаны здесь реальность и вымысел. Это касается не только



истории с Измалковой, и Пришвин, хорошо это понимая и объясня свой художественный метод, написал:

«С тех пор как я задумал свой старый роман „Кашеева цепь“ сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе героем.

Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла. Вот почему, наверное, она и постучалась.

Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает, пока я не принесу свое горючее – вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее, так самолет поднимается на воздух. (...)

Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изменяла мне: отдаешься одной правде – вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле – она постучится».

И все же что бы писатель ни утверждал, в романе, на мой взгляд, история его любви выглядит надуманнее и скучнее, чем в Дневнике, где вызревала параллельная литература. В «Кашеевой цепи» Инна Ростовцева, прототипом которой была Варвара Петровна, появляется в жизни Алпатова еще в России в качестве назначенной партией невесты (при этом что ее-то к марксистам занесло, неясно совершенно) на тюремном свидании, молодые не знают, о чем говорить, и теряют время на молчание и на ничего не значащие фразы, и только уже прощаясь, таинственная девица намекает жениху на скорое освобождение (откуда ей это может быть известно, автор также не поясняет) и обещает следующую встречу за границей, куда едет учиться.

Лица ее он не видит – оно остается под густой вуалью, и на протяжении всего романа образ женщины,

столь много значившей в личной судьбе ее создателя, образ, к которому он многожды обращался в Дневнике и художественной прозе, остается практически нераскрытым. Зато подробно описывается, как безумно влюбленный герой романа ездит за своей пассией по Германии: вчера она была в Йене, а сегодня уехала в Дрезден; он бросается следом, встречается с людьми, которые ее только что видели, но не может настичь – сюжет почти тургеневский, – пока не находит наконец в Париже. Там, в Люксембургском саду, происходит несколько туманных встреч, где она рассказывает ему о своих высокопоставленных родителях, мило щебечет какую-то ерунду, оба мечутся, она с ужасом думает, как будет жених целовать руку ее матери-графине, и посылает ему взбалмошные записки.

И только в минуту сильного душевного волнения, несколько лет спустя, Пришвин дает штрихи к ее портрету: «Глаза у нее карие, этим карим заполнено все в глазу, карие на розовой коже, розовое круглое лицо, а лоб высокий, волосы как глаза, маленькая, склонная к полноте – ничего особенного! И все-таки...»<sup>[127]</sup>

Вообще, как мне кажется, писать женщин Пришвин не умел и, похоже, что к этому не стремился. Левитан, например, не умел писать людей, и то же самое подмечал Пришвин в творчестве своего доброго друга скульптора Коненкова, который позднее изваял памятник на его могиле. Про главный женский образ в пору создания романа Пришвин отозвался так: «Морская царевна останется, верно, за сценой, как рок в древней трагедии, ее описать и невозможно, потому что в той действительности, которую мы мерим и считаем, едва ли есть она».<sup>[128]</sup>

То же самое относится и к истории любви: «Я никогда не могу описать свой роман, самую его суть... Я не могу взять море, но я могу подобрать самоцветный

камешек и берегу его. Я не могу погрузиться в бездну вулкана. Но я могу собрать пемзу и остывшую лаву». [\[129\]](#) И все же из Дневника ранних лет и писем обоих возлюбленных встает очень любопытный и вполне зримый образ.

Знакомство с Варварой Петровной Измалковой произошло благодаря пришвинской приятельнице Анне Ивановне (?) Гловой, замужней даме, которая переживала в ту пору тяжелую драму в личной жизни, уходила и возвращалась к мужу, а немолодой студент играл роль посредника в отношениях между супругами. Она прятельствовала с Варей, и все это происходило в каком-то пансионе, где было много французов. Двое непринужденно беседовали по-русски, на столе стояли в вазе красные цветы. Пришвин потихоньку оторвал большой лепесток и положил девушке на колени...

Однако дальше этого целомудренного жеста их отношения не пошли. Они ходили вместе в театр, много говорили, и Варвара Петровна признавалась, что не могла бы жить в России среди мужиков (к чему готовился Пришвин), он приводил в ответ литературные доводы, провожал домой, философствовал, рассуждал о Канте, а однажды сделал недемократичной девушке замечание, когда в конке оказался усталый потный рабочий и дамы, зажав носы, демонстративно вышли на площадку.

- Даже если б я был аристократом, то не позволил бы себе так оскорблять рабочего.

- Я не думала, что вы такой глубокий, - ответила она, смутившись и покраснев.

И в этот момент он понял, как сильно ее любит.

«Я ее так полюбил, навсегда, что потом, не видя ее, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом. Я помню, что раз даже

приходил к психиатру и говорил ему, что за себя не ручаюсь», – писал Пришвин в 1905 году.<sup>[130]</sup>

Отчего они расстались? В романе Инна хочет от Алпатова положения, за которым он отправляется в Петербург, где знакомится с ее отцом, урожденным Чижиковым, и здесь опять удивительное совпадение с Буниным и его неудавшейся женитьбой. «Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но буде пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: я не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании», – говорит либеральный доктор в бунинском романе; в действительности отец В. В. Пащенко и вовсе употребил то же самое слово «положение», которое так мучает Алпатова. «Отец (...) хочет, чтобы мы сошлись только тогда, когда у меня будет определенное положение»,<sup>[131]</sup> – писал Бунин брату Юлию 19 мая 1892 года.

Но вернемся к «Кашеевой цепи». Возлюбленная главного героя в ответ на его путаные размышления о том, что его «кашеева цепь» из внешней стала внутренней, присылает ему решительное письмо, выдержанное в телеграфном, отрывистом стиле: «Слишком уважаю, чтобы отдаться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».

«Друг мой, – обращается после этого умудренный житейским опытом автор не то к герою, не то к самому себе, а не то ко всем будущим юношам, которым еще

придется пережить на своем веку неизбежную любовную драму, - в любви к женщине бессильна молитва (...) Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не судьба».

Так сложилось в романе. Из пришвинских же дневниковых записей история получается иная. Девушка нашла что-то обидное в одной из его записок, они объяснились, целовались, а наутро она пришла к нему с письмом, где было написано, что она его не любит, хотя лицо ее выражало иное. В тот же вечер он уехал в Лейпциг и через день получил письмо из Парижа, бросился в Париж, снова Люксембургский сад, паром на Сене, Булонский лес и наконец - расставание на каком-то кладбище.

Все эти разговоры Пришвин восстановил три года спустя в Дневнике, и так снова всплыла тень Розанова, подмигнул своему непокорному ученику странный гимназический учитель, затуманивший мальчику голову мечтами и фантазиями.

«- Вы фантазер? - спросила она с таким выражением: можно ли на вас положиться... ведь это несерьезное, это ненастоящее.

Как это больно кольнуло меня. Но я сейчас же справился и говорю ей: «Нет же, нет, я не фантазер, но пусть фантазер, но я знаю, что из моей фантазии рождается самая подлинная жизнь. Своей фантазией я переделаю, я сделаю новую жизнь...»

Боже мой, как верил я в то, что говорил, как это ясно было для меня и как хотелось мне убедить ее,

заставить и ее поверить. Фантазер потому, что нет союза, нет ответа у ней...

«Но что же мы будем с вами делать?» – спросила она. «Как что? – отвечаю я. – Мы уедем с вами в родные места, поселимся вместе и будем так жить прекрасно, что Свет будет от нас исходить. Мы будем радоваться жизни, и все вокруг нас будут радоваться». (...)

На другой день все опять заколебалось. Она мне сказала: я не могу решить окончательно, кажется, вы слишком большой фантазер, чтобы на вас положиться. Вы живете повышенной жизнью, которой живут художники, артисты... Ну так что ж, говорю я, ведь это хорошо. «Конечно, – сказала она, – но, как вам сказать, в сущности же я вас вовсе не знаю». – «Да как же не знаете, я весь перед вами. Я вам могу все сказать о себе... вы должны видеть меня...»

«Вы фантазер, – сказала она, – будемте пока только друзьями».

Она ушла и назначила мне свидание на завтра.

Я пошел от нее в парк, в поле, в лес, между прудами...»<sup>[132]</sup> Пришвин написал это в 1905 году. Тогда он только начинал вести Дневник, из которого дошли до нас разрозненные отрывки, с трудом поддающиеся порою точной датировке, и записывать обстоятельства недавней «love-story» ему еще очень тяжело.

«Она мне сказала тогда, я люблю не ее. А между тем я не оставляю ее до сих пор. Не помню ее земного лица, но что-то люблю. Да кто же она?

Примечательно то, что все образованные, развитые женщины теперь мне почему-то неприятны... Чем выше духовный мир женщины, тем сильнее это отталкивание во мне. (...)

К той, которую я когда-то любил, я предъявил какие-то требования, которых она не могла выполнить. Мне не хотелось, я не мог унижить ее животным

чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к себе первоначальному. В этом и было мое безумие. Ей хотелось обыкновенного мужа. Она мне представилась двойною. Она сама мне говорила об этом:

- Поймите, что в действительности я одна, а та другая есть случайность. Это то лучшее, что останется с вами всегда, что вы от меня отняли.

И вот это лучшее действительно со мной. Это то, что помогает мне писать, что вдохновляет меня. Это - если бы у меня оказался талант - было бы моей «музой». Но она и бич мой».

Варваре Петровне было явно неуютно в обществе этого странного человека, она не понимала, чего он от нее хочет, томилась, пугалась и наконец решилась сказать последнее «нет».

«Она мне ответила на один миг и, когда одумалась, отказала. Это был острый удар в грудь. Я уехал от нее... Я уехал... Сердце мое было раскаленный (зачеркнуто) чугунный шар (...)»<sup>[133]</sup>

Он вернулся в Россию, с горя сошелся с другой женщиной, стал отцом, потом ребенок умер, но и после всего пережитого Пришвин не забывал Варвару Петровну и несколько лет спустя, когда был уже фактически женат, неожиданно получил от нее письмо, в котором она сообщила ему о своем приезде в Петербург и назначила свидание. Ему было откуда-то известно, что она собиралась выйти замуж за профессора в Берлине, но в последний момент передумала и профессору отказала.

Все могло решиться в одночасье...

Позднее Пришвин предполагал, что полученная им записка «имела целью ликвидировать все серьезное каким-нибудь легким концом», то есть флиртом, но

тогда он так не считал и от отчаяния рвал на голове волосы.

И было отчего: судьбе не было угодно, чтобы они встретились. Несчастный влюбленный, словно рассеянный профессор, перепутал день встречи и явился на вокзал сутки спустя назначенного свидания, когда окончательно и бесповоротно разгневанная Варвара Петровна уже уехала навсегда – «мне только случайно не удалось попасть на этот пир, и, вероятней всего, был заменен кем-нибудь другим, может быть, третьим, но это уж, конечно, ликвидация». [\[134\]](#)

«Что было бы, если бы я сошелся с этой женщиной. Непременное несчастье: разрыв, ряд глупостей. Но если бы (что было бы чудо) мы устроились... да нет, мы бы не устроились». [\[135\]](#)

Он, правда, очень ее любил. Все, что ни было важного в пришвинской жизни, второстепенно по сравнению с историей этой любви, а вернее, берет из нее начало и к ней возвращается: и литература, и секты, и декаденты, и революция, и охота, и скитания по стране, и несчастная семейная жизнь.

В 30-е годы, в ернических и серьезных одновременно размышлениях о загробной жизни, Пришвин написал с невероятной тоскою, ощущая, как проходит без любви жизнь: «Только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь». [\[136\]](#)

Она не принесла ему мужского счастья (если только есть такое понятие в противовес счастью женскому), даже не так – он сам этого не захотел – она-то была готова; но вместо того разбудила в нем поэта, и он проклинал и благословлял судьбу одновременно за то, что так произошло – вот еще одна причина вечной



пришвинской раздвоенности и противоречивости и такого страстного стремления к цельности.

Уже будучи пожилым человеком, вспоминая свою жизнь и подводя некоторые предварительные ее итоги, Пришвин записал в Дневнике:

«Голос „прозевал“ говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: „За такое чувство можно все отдать“. А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все видел и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную, предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было назначено мне – променять жизнь свою на бумажку». [\[137\]](#)

Да он просто обязан был после этого стать писателем, все к тому шло, и за писательством, как за волшебным колобком, устремился Пришвин, отталкивая свою любовь, но это понимание пришло позднее, а тогда, в год первой русской революции, когда рана была еще свежа и неясен смысл страдания, молодой влюбленный человек признавался:

«Я люблю тень той женщины и не знаю, мог бы узнать на улице или нет. Я по привычке всегда ищу ее глазами в петербургской толпе, но никогда не нахожу. В последнее время я два раза встречал на Невском женщину в черном, очень похожую на нее, необыкновенно похожую, но, кажется, чуть-чуть выше. Впрочем, я мог бы ее найти, и очень просто. Но я этого не делаю. Для чего? Это значит не признавать настоящего, а мне подчас кажется, что я свой *minimum* спокойствия, похожего на частицу счастья, сковал с громадной энергией и мужеством; так я думаю иногда, но иногда считаю эти мысли самообманом, иллюзией, без которой не могу жить.

Теперь мне 32 года, но я решительно ничего не имею. Время от времени меня влекут мечты, но они проходят, а пустое место заполняется снова. Но она мне сама говорила, что не стоит меня, она была искренна со мной, как ни с кем. Я читал ее дневники, заветные, никому не открытые думы. Я ее знаю больше, чем они». [\[138\]](#)

В 1912 году – то есть десять лет спустя после разрыва – довольно известный писатель (у Пришвина в том году вышло в горьковском «Знании» первое собрание сочинений) с трепетом в душе послал ей свои книги и надписал их: «Помните свои слова: – Мое лучшее, да, лучшее, навсегда останется с вами! Забыли?.. А я храню ваш завет: лучшее со мной. Привет от Вашего лучшего». [\[139\]](#)

И вот ответное письмо.

Что же пишет эта загадочная женщина? Благодарит? Удивляется? Кусает локти и жалеет о своей суровости?

Ничего подобного!

«Я получила Ваше письмо и книги, но не ответила Вам сразу, потому что надпись на одной из книг возмутила меня.

По какому праву берете Вы на себя монополию на то, что есть во мне «лучшего»? Поверьте, Михаил Михайлович, мое «лучшее» осталось при мне и было и будет со мной всю жизнь, потому что не может один человек отнять от другого то неотделимое и невесомое, которое называется «лучшим». А разве может женщина с седеющими волосами быть ответственной за слова и поступки двадцатилетней полудевочки? Годы, пропасть, Михаил Михайлович, и если бы мы с Вами встретились теперь, то мы друг друга не узнали бы (...)» [\[140\]](#)

Это возмущение, достойный тон письма (здесь я решительно не соглашаюсь с уважаемым Валентином Курбатовым, назвавшим ответ Измалковой «бухгалтерски скучным и мертвым») характеризуют пришвинскую возлюбленную лучше любого романа независимо от того, как были в нем перемешаны правда и вымысел. Она не хотела быть мечтой: ни Прекрасной Дамой, ни Марьей Моревной, она не хотела быть художественным образом или материалом, из которого можно такой образ вылепить, – она была обычная и тем, наверное, действительно чудесная женщина, похоже несчастливая, резкая, прямая; она была личностью и как когда-то, в случае с Розановым, здесь снова столкнулись два самолюбия и столкновение это оказалось трагическим.

Дело не в глухоте «не к одному настоящему, но и к себе давней», а в том, что ей было очень худо в то время. Ведь Варваре Петровне всего тридцать, а пишет она так, словно большая часть жизни прожита и никаких надежд на лучшую долю нет, и ничего кроме раздражения и досады этот странный человек, попавшийся когда-то на ее пути, сбивший ее с толку, у нее не вызывает – она слишком занята собой и своей болью и слишком трезво, не по-пришвински смотрит на жизнь.

Но Пришвин, Пришвин, который так этого часа ждал, был задет и как мужчина, и как писатель ее угрюмым, каким-то даже брезгливым, обывательским отзывом на его литературные достоинства: «Про Вашу книгу ничего сказать не могу. Мы с вами говорим разными языками, и мне при моей крайней утилитарности жизни трудно даже настроить свою душу так, чтобы читать с пониманием о психологии людей столь далеких от меня во всех отношениях. Я ничего кроме английских газет и книг не читаю.

Почему Вы не пишете о чем-нибудь более ежедневном и близком».

Это письмо и этот вопрос не остались без ответа. Пришвин мучился, черкал бумагу и наконец выдал довольно пространный и странный текст (самую пространную и странную часть которого лучше опустить, потому что к делу прямо она не относится и заведет в такие дебри психоаналитики, из которых уже и не выбраться):

«Ваше письмо получил. Оно было для меня страшное. Беру большой лист, чтобы хоть сколько-нибудь сделать себя понятным. Вы спрашиваете, отчего я не пишу о чем-нибудь ежедневном и близком. Как художник, я должен сливать это ежедневно-близкое с далекими близкими. А мое близкое так далеко, что для воплощения его я должен искать людей и природу необычную.

Меня смешит иногда, когда я читаю статьи моих противников, спорящих о моей «позиции». Вы были всегда моей единственной «позицией». А Вы далеко, вот почему я не пишу о том, чего Вы хотите. (...)

Мне было очень больно, Варвара Петровна, что Вы не поняли мою надпись на книге. Я думал о том, «лучшем» детском, которое весь мир бросает как ненужное нам, мечтателям, поэтам и художникам, и мы возвращаем его миру обратно. Я же у Вас ничего не отнимал, а просто подобрал ненужное Вам (это Вы и теперь не цените) и назвал его своим и Вашим «лучшим». (...)

Я потому называю страшным Ваше письмо, что оно пустое, голое, как скелет, и в то же время искреннее (скелеты самые искренние).

Теперь Вы, надеюсь, поняли смысл «возмутительной» надписи, но я признаю, что мысль моя выражена в надписи неясно и как-то задорно очень, и потому прошу вас вырезать эту страницу. Скелетных

писем мне больше не нужно от Вас. Но я напишу Вам теперь еще лет через десять и пришлю Вам основную книгу, эта книга будет о Вас самой, и Вы тогда, совершенно седая, как императрица Мария Федоровна, поймете наконец, что значит: «привет от Вашего лучшего». Рыцарь Максим.

P. S. Эту книгу напишет рыцарь Максим, и книга эта будет знаменитой. Это совершенно серьезно (потому что в ней же все мое счастье и горе будет)». [\[141\]](#)

Какой уж тут рыцарь? Скелетным можно было бы назвать пришвинский жесткий и подростковый обиженный ответ... Но переписка их на этом прекратилась, и никогда больше они не встречались, хотя встретиться, случайно или намеренно, могли.

Пройдут еще те самые десять лет, через которые Пришвин грозился ошеломить седую, как императрица, свою возлюбленную, и умудренный писатель, теперь уже никого не осуждая, совершенно иначе взглянет на эту ситуацию и напишет о своем первом любовном романе: «Он обобрал ее как девушку совершенно, взял с собой всю ее девичью душу и не дотронулся даже до тела, а потом, через десять лет, когда она совершенно высохла в бюро и поседела даже, то послал ей копию с его картины – портрет ее прекрасной души, – какое можно выдумать большее оскорбление! Между тем, он был искренним, потому что он был художник и считал, что остановленное мгновение жизни дороже проходящего. Она же и была вся там, в этом проходящем мгновенье (Для чего ее разбудили!)». [\[142\]](#)

А еще через двадцать лет, уже совсем пожилой, будет судить одного себя: «Страсть не обманывает, страсть – это сама правда, обман выходит из подмены страсти физической ее духовным эквивалентом, от чего любовь распадается на животную (презренную) и человеческую (возвышенную), между тем как истинная

любовь как борьба за личность человека одна. Написано по поводу любви моей к Варваре Петровне Измалковой, представшей мне как подмена естественной страсти. Подлость тут скрывается в том, что недоступность была потребностью моего духа, быть может, просто даже условие обнаружения дремлющего во мне таланта». [\[143\]](#)

И еще одно очень важное признание:

«И горб мой, узел, которым связано все мое существо, есть непонятная тяга к женщине, которую я не знаю и не могу знать, – мне недоступной. И самое непонятное в том, что будь она доступна, я стал бы сам создавать из нее Недоступную и утверждать в этом ее реальность.

В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной. Узел завязался надо мной на всю жизнь, и я стал Горбатым». [\[144\]](#)

Самое поразительное, что в Англии, как долгое время считалось и кочевало из одной книги о Пришвине в другую, как считал, наконец, и сам Михаил Михайлович, Измалкова не осталась, и обыденная версия, будто пришвинская муза захирела в роли банковской служащей где-то в Лондоне, как есенинская Анна Снегина, – несостоятельна. Накануне революции она вернулась в Россию, и имя ее упоминается в Дневнике Александра Блока – некогда хорошего пришвинского знакомого, но к той поре публично оскорбленного им оппонента.

В 1921 году Измалкова работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература», основанном Горьким, куда могли привести ее либо К. Чуковский,

либо Е. Замятин, либо Н. Гумилев. В дневнике Блока от 11 января 1921 года помечено: «В. П. Измалковой – „За гранью прошлых дней“». Зачеркнутый вариант: «Седое утро».<sup>[145]</sup> То и другое – сборники стихотворений Блока, изданные в 1920 году.

Это – ответ Блока на что-то подаренное ему Измалковой к новому 1921 году: в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) – записка ее, датируемая концом декабря 1920 года: «А. А. Блоку. Новогодний подарок от В. П. Измалковой».<sup>[146]</sup>

В Петербурге-Ленинграде она прожила как минимум до 1934 года, работая после упразднения в 1924 году «Всемирной литературы» преподавателем Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета, после чего следы ее теряются...

В конце двадцатых Пришвин отправил Варваре Петровне письмо по старому адресу: «Глубокоуважаемая Варвара Петровна. Пробую на счастье послать это письмо Вам по адресу 1912 года и просить Вашего разрешения отправить Вам свои новые книжки, в которых я, мне кажется, добился языка Вам понятного и близкого...», а через два месяца печально отметил в Дневнике: «Вчера вернулось письмо из Англии обратно».<sup>[147]</sup>

Может быть, напрасно ломают головы ученые, размышляя над тем, почему Пришвин отошел от модернизма и декадентства и двинулся в сторону наивного реализма или еще в какую-то другую, зря пишут диссертации и изучают литературные связи, школы, группы, влияния – вся эволюция пришвинского письма заключалась в единственном, простейшем и трогательно-необходимом – научиться писать на понятном для Варвары Петровны языке.

А знала она об этом или не знала, читала или не читала, – очень легко могла и прочесть, ведь в конце двадцатых – начале тридцатых Пришвин был невероятно популярен (в анонсах «Красной нови», где писателей выстраивали по ранжиру, стоял на третьем месте, после Горького и Алексея Толстого), но это одному Богу ведомо. В любом случае ему была своя дорога, ей – своя...

И, наконец, последняя запись уже совсем пожилого человека, подводящего итог жизни:

«Чем больше, и дальше, и глубже прохожу свою жизнь, тем становится все яснее, что Инна мне необходима была только в ее недоступности: необходима была для раскрытия и движения моего духа недоступная женщина, как мнимая величина». [\[148\]](#)

Но прежде чем раскрыть свой дух, нашему герою нужно было преодолеть еще одно испытание, которое одни люди (мужчины) проходят легко и незаметно, а другие чудовищно тяжело. Пришвин был из породы вторых – из тех, кого, как правило, и вербует искусство. [\[149\]](#)

«Любовь была (...) задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя жениться!)». [\[150\]](#)



## Глава VI

# ДУХ И ПЛОТЬ

Прежде чем перейти к следующей, еще более откровенной части, мне хотелось бы сделать одно отступление. Каждый человек, в том числе и писатель, имеет право на частную жизнь, на свое *privacy*, как бы мы сегодня сказали. И рассуждая об интимной стороне жизни, читая дневники и письма, цитируя исключенные автором из окончательной редакции фрагменты текстов, исследователь рискует оказаться в положении человека, который подглядывает в замочную скважину. Но случай с Пришвиным особенный.

Михаил Михайлович относился к своей жизни как к объекту творчества. Он творил ее (недаром житнетворчество было одним из ключевых для него понятий) и свой Дневник, тетрадки, куда заносил каждодневные обширные свидетельства жизни, считал главным своим произведением. Все, что ни есть в них тайного и интимного, того, что люди обыкновенно скрывают, что завещают своим душеприказчикам после их смерти уничтожить или уничтожают сами, Пришвин бережно хранил для будущего Друга-читателя, в роли которого оказались все мы, дожившие до публикации его архивов.

За это пристальное вглядывание в себя или в свое отражение в зеркале, как полагал Н. Замошкин («Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало», – писал Розанов), многие его не любили. Еще раньше, когда были опубликованы только выдержки из пришвинского Дневника, И. С. Соколов-Микитов, хорошо Пришвина знавший и по-своему очень ему близкий, раздраженно отзывался о прочитанном: «Игра словами и мыслями. Лукавое и недоброе.

Отталкивающее самообожание. Точно всю жизнь на себя в зеркальце смотрелся».<sup>[151]</sup> Если жизнь Пришвина приглаживать или лакировать, если продолжать творить сахарный образ мудрого, светлого и занудного, внутренне не противоречивого благостного философа, каким традиционно предстает он в школьном, учительском восприятии, придется признать правоту этих слов.

Самое интересное в неподцензурном и неизвестном Пришвине, самое ценное в нем – последовательность и честность при невероятной противоречивости его существа. Говорить обо всем – так обо всем. Не делать ни из чего тайны, не выпячивать в болезненном припадке свои душевные язвы, но и не прятать их стыдливо, а показать человека таким, каков он есть во всех его противоречиях и борьбе «за свое лучшее» (а значит, и худшее показать, то есть то, с чем это лучшее борется), за «неоскорбляемую часть» существа. Для Пришвина легче всего было показать эту борьбу на своем примере, так что именно по такому пути он и пошел.

«Что же касается нескромных выходов с интимной жизнью, то разобраться в том, что именно на свет и что в стол, можно только со стороны, – писал Пришвин позднее в предисловии к „Глазам земли“ и продолжал: – И еще есть особая смелость художника не слушаться этого голоса со стороны».

В Дневниках 40—50-х годов Пришвин прямо утверждал право писателя отображать интимную сторону любви в искусстве:

«Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивали.

Розанов этот секрет искусства хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искусства и творчеством не снимает, а, напротив, утверждает тот стыд, при котором люди иконы завешивали». [\[152\]](#)

Пришвин со свойственной ему и им самим признаваемой самоуверенностью, которая была оборотной стороной великой неуверенности в себе, полагал, что чист или по крайней мере более чист, нежели Розанов, и что именно он и есть тот художник, которому дано освятить плоть. «Да, конечно, путь художника есть путь преодоления этого стыда: художник снимает повязки с икон и через это в стыде укрываемое делает святым», [\[153\]](#) и в этом стремлении он был тогда неодинок.

Культура Серебряного века остро реагировала на проблему пола. Это касается и литературы, и философии, которые зачастую нелегко разделить. Не говоря уже о бывшем елецком учителе В. В. Розанове, о символистах, Мережковском, Гиппиус, Арцыбашеве, Леониде Андрееве, Бунине и Куприне, дань этой теме отдавали и такие серьезные философы, как Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Вышеславцев. Куда труднее назвать писателя, ничего «такого» не написавшего (ну, может быть, Иван Сергеевич Шмелев, хотя и он создал в эмиграции замечательную «Историю любовную», своеобразный римейк тургеневской «Первой любви», книгу эротическую и одновременно православную, а затем продолжил этот мотив в «Путях небесных»), и для Пришвина эта болезненная тема до конца дней оставалась одной из важнейших.

В зрелые годы в отношениях с противоположным полом он проповедовал «физический романтизм», идею которого сформулировал таким образом: «Разрешение проблемы любви состоит в том, чтобы любовь-

добродетель поставить на корень любви по влечению и признать эту последнюю настоящей, святой любовью.

Так что корень любви – есть любовь естественная (по влечению), а дальше нарастают листики, получающие для всего растения питание от Света. Это и есть целостность (целомудрие). Источник же греха – разделение на плоть и дух. (...) Целомудрие есть сознание необходимости всякую мысль свою, всякое чувство, всякий поступок согласовывать со всей цельностью своего личного существа, отнесенного к Общему – ко Всему человеку». [\[154\]](#)

Этот поздний мудрый итоговый «физический романтизм», воплощенный в образе своеобразного древа жизни, очень важного для всей пришвинской философии символа, был противопоставлен более раннему «романтизму безликому», о котором Пришвин рассуждал применительно к замыслу своего ненаписанного и известного под разными названиями («Начало века», «Марксисты») романа: «пол, источник жизни, подорван», а это привело к «абстракции полового чувства».

«Подорванность» пола, по Пришвину, могла проявить себя в самых разных формах, от возведения в идеал не конкретной женщины, но женщины вообще до полной половой распущенности. Не случайно в «Кашеевой цепи» ее главный герой протестовал против упрощенного, житейского отношения к женщине, в ответ на что один из его оппонентов в этом вопросе – некто Амбаров (фамилия, кстати, говорящая, Амбар в Дневнике восемнадцатого года – символ несвободы, в холодный амбар сажали большевики тех, кто уклонялся от уплаты налогов), легко меняющий жен, говорил ему:

«– Для меня большая загадка, почему из этого... – Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. – Из этого простого и чисто

физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое».

Но пришвинский протагонист с таким незамысловатым подходом не соглашался и берег себя для будущего.

«Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипящий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для возможности, что она когда-нибудь будет его невестой. Казалось, что вот только он соединится с одной из баб, так он сделается в отношении ее таким, что и невозможно будет уже к ней прийти».<sup>[155]</sup>

И все же дело здесь не только в трогательности. То там, то здесь по очень искреннему Дневнику писателя обронены самые горькие и по-пришвински противоречивые, чуть ли не взаимоисключающие признания насчет обделенной юности и затянувшегося целомудрия («Недаром голубая весна так влечет к себе мое существо: смутные чувства, капризные, как игра света, наполняли большую часть моей жизни. Ведь в 47 лет только я получил наконец от женщины все то, что другой имеет в 25 лет и потом остается свободным для своего „дела“»;<sup>[156]</sup> «моя драма: преодоления девства»<sup>[157]</sup>), и итогом этих размышлений стала запись совсем поздних лет от 3 октября 1951 года: «Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить голод».<sup>[158]</sup>

В зрелые годы, встретив наконец женщину, которую он так долго искал, Пришвин пришел к убеждению в благотворности сексуального воздержания и полагал, что именно из этого голода он родился как художник.

«Вчера в консерватории слушали великолепный концерт венгерки Анни Фишер, и после ночью думал о

технике любви, о том, что и тут техника, и тут часто бывает: „Техника решает все“.

Вся эта «любовь» через всю жизнь, и все это искусство мое вышло только из-за того, что я не знал «техники». Если бы перед этим опытная женщина один какой-нибудь час поиграла со мной, вся эта любовь через всю жизнь часом бы и кончилась. Вопрос о том, лучше бы устроилась моя жизнь или хуже – невозможно сказать, но только жизнь была бы иная: не «идеальная», а реальная». [\[159\]](#)

Еще более благосклонно он относился на семьдесят девятом году жизни к естественному прекращению этой страсти: «Люди еще молодые, состоящие в плену главной человеческой страсти, обеспечивающей размножение, представляют себе жизнь без этого, как смерть. Они не подозревают, что как раз-то и начинается свободная и большая жизнь, когда они освободятся от этого пристрастия». [\[160\]](#)

Но в молодости и даже в середине жизни все представлялось ему гораздо сложнее и трагичнее. «В этом-то и трагедия моя, что я не мог к этому акту отнестись как к чему-то священному и обязывающему, что я безумно страдал при каждом акте с проституткой, а без акта, на монашеском положении – пробовал, но физически не мог вынести и доходил до психиатра». [\[161\]](#) «Пишу Алпатова чистым, а между тем сам в это время не был чист, и это очень задевает: ведь я хочу держаться природы. Но вот особенность моей природы, из которой можно выделить кусок для создания Алпатова: в общем редкие „падения“ с проститутками совсем не затрагивали собственно эротическую сторону моей природы, напротив, очень возможно, что именно этой силой отталкивания закупоривало девственность, создавая экстремизм» [\[162\]](#) [\[163\]](#) Отчасти именно этот экстремизм и страх психического расстройства свел

Пришвина на тридцатом году жизни с женщиной, которая стала матерью его детей, с которой прожил он много лет в несчастливом браке и принес много страданий и себе, и ей.

Так появился еще один очень важный герой, вернее героиня нашего повествования – его по-настоящему первая женщина и первая жена, так не похожая на Прекрасную Даму.

Вот как писатель описывает историю своего с ней знакомства:

«Было мне очень неладно: борьба такая душевная между животным и духовным, хотелось брака святого с женщиной единственной, вечного брака, соединиться с миром, и в то же время... мне был один путь – в монахи, потому что я воображал женщину, ее не было на земле и та, за которую я принимал ее, пугалась моего идеала, отказывалась. Мне хотелось уйти куда-нибудь от людей в мир, наполненный цветами и птичьим пением, но как это сделать, я не знал, я ходил по лесам, по полям, встречал удивительные, никогда не виденные цветы, слышал чудесных птиц, все изумлялся, но не знал, как мне заключить с ними вечный союз. Однажды в таком состоянии духа я встретил женщину молодую с красивыми глазами, грустными. Я узнал от нее, что мужа она бросила – муж ее негодяй, ребенок остался у матери, а она уехала, стирает белье, жнет на полях и так кормится. Мне она очень понравилась, через несколько дней мы были с ней близки, и я с изумлением спрашивал себя: откуда у меня взялось такое мнение, что это (жизнь с женщиной) вне того единственного брака отвратительна и невозможна». [\[164\]](#)

В 1925 году Пришвин сделал, в скобках, рассуждая о своем становлении как писателя, изумительное добавление к истории знакомства с Ефросиньей Павловной, быть может, лучше всего объясняющее, что

же тогда с ними произошло и как возникла эта странная семейная пара: «Когда мы совокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то пошли».

В разное время он по-разному писал об этой женщине и об истории их связи. Для Пришвина это вообще характерно, пишет ли он о Розанове, философских понятиях, декадентстве, политике или христианстве, и, быть может, этой переменчивости, шаткости, а если угодно, диалектики и сложности не могли простить иные из его современников и более поздних интерпретаторов.

Еще в восемнадцатом году, во время чрезвычайно путаного, противоречивого и, по мнению биографов писателя, единственного пришвинского адюльтера, которому посвящено немало страниц в богатом событиями Дневнике за восемнадцатый год, Пришвин записал: «Соня (любовница Пришвина. – А. В.) плохо поняла мой союз с Ефросиньей Павловной: она говорит, что мы с ней неподходящая пара; но в том-то и дело, что я свою тоску по настоящей любви не мог заменить, как она, браком по расчету на счастье; я взял себе Ефросинью Павловну как бы в издевательство «над счастьем»». [\[165\]](#)

Но не все было столь просто:

«В. и Ф. Не будь Ф., я бы погиб (Маруха): одиночество духа невоплощенного. Не будь В., я бы стал обывателем...» [\[166\]](#)

Вот так: Сцилла и Харибда. С одной стороны – бездна духа, с другой – рутина и обывательская жизнь. Как быть, как уцелеть? Каждый решает этот вопрос для себя сам – Пришвин весьма радикальным образом: в тридцать лет он фактически женился на своей первой женщине (редкие проститутки не в счет) и очень в этом позднее раскаивался.



«Вина основная во мне, что я эгоист и заварил брак в похоти, в состоянии двойственности, в грубейшем действии соединить уже во мне разъединенное: плоть и дух, в самообмане, в присоединении к естественному чувству (которое и надо было удовлетворять, как все?) идеологии брака». [\[167\]](#)

Сюжет любви интеллигента к простолюдинке какой-то бунинский, что-то вроде «Митиной любви» (недаром так потряс Пришвина этот рассказ земляка) [\[168\]](#) или «Темных аллей», которые он вряд ли читал, но если бы прочел, наверняка оценил бы не менее высоко. Но есть и разница. Для бунинских героев, дворян, студентов, барчуков – а точнее, для одного общего героя, перемещающегося из рассказа в рассказ – естественно было сойтись с крестьянкой или горничной, даже полюбить ее – и совершенно немыслимо на ней жениться, ибо Бунин сословных предрассудков всегда придерживался; пришвинская же судьба и некий, поначалу противоположный бунинским разрывам и расставаниям исход его любви, женитьба на дикарке, рождение детей, строительство дома и будущие очень сложные отношения с простонародной супругой, так или иначе все равно приходящие к разрыву через много лет («конечно это была не семья, а прицепка к жизни»), словно дают ответ на вопрос, что бы было, если бы Николай Алексеевич из давшего название всей бунинской книге рассказа женился на крестьянке Надежде.

Мучительное переживание разрыва плоти и духа сближало елецких юношей ничуть не меньше, чем ужас революции семнадцатого года двух соседей-помещиков (так что связь между революцией и полом, конечно, есть, хотя педалирование этой темы в духе работ А. М. Эткинда кажется мне вряд ли оправданным).

Пришвин боялся кошмара чисто физиологического соития, сколько мог, избегал, сдерживал себя изо всех сил, сходил с ума, страдал, бросался то в марксизм, то в идеализм (для него это было одно и то же: «В своем кружке мы постоянно говорили, что бытие определяет сознание, но жили обратно: наше сознание идеальной и разумной действительности поглощало все наше бытие»), пока не понял, что плотское – это зверь, которому надо дать насытиться, а если оставить его голодным – то прямой путь к хлыстам.

«Во всех попытках жить для всех бессознательно управляет человеком его самость, но встречаясь в сознании с альтруизмом, она превращает жизнь человека в гримасу; единственный способ освободиться от этого зверя, всегда голодного, это насытить его, следить за ним, ухаживать, и вот, когда успокоенный зверь уснет, можно позволять себе отлучки в другую сторону (altera): это хозяйство со своим зверем и есть самость, без которой нельзя помочь другим людям».<sup>[169]</sup>

Любопытные мысли по этому поводу есть у Б. Пастернака в «Охранной грамоте»: «Всякая литература о поле, как и самое слово „пол“, отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств не пополняло бы. (...)

Движение, приводящее к зачатыю, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью».

Предвосхищая пастернаковские строчки, Пришвин написал в 1925-м, за шесть лет до «Охранной грамоты», со схожим по стилю зачином и совершенно иной

мыслью: «Есть такие отношения к женщине – „святые“, для этих отношений до конца оскорбительна и невозможна попытка к совокуплению (иногда это равновесие дружбы нарушается похотливой попыткой с той или другой стороны). Отсюда и происходит у нас омерзение к акту. И еще, нельзя же чувствовать постоянно себя в состоянии полового напряжения: работа, дело, умственная жизнь и мало ли чего... День отодвигает это во мрак ночи, в тайну ночной личности. Появление днем ночных чувств – иногда омерзительно...

Но это я не к тому, а вот к дружбе или к какому-то особенному чувству к женщине как к нежному товарищу: я это чувство имею и, если замечаю самым отдаленным образом в таком товарище движение пола, – он меня отталкивает. Налет культурности в женщине, образ жизни ее – с книгами... отталкивает мое половое чувство: я могу совокупиться только с женщиной-самкой, лучше всего, если это будет простая баба».<sup>[170]</sup>

Последнее связано было не столько с заочной полемикой с Пастернаком, сколько с обстоятельствами собственной личной жизни и диалогически обращено прежде всего к Бунину. Не случайно, размышляя над любовными страницами автобиографического романа, который Пришвин писал как раз в те годы, когда прочитал «Митину любовь», бросая землянку своеобразный вызов и с ним споря, Михаил Михайлович настаивал на своем решении проклятого вопроса: «Я же дерзну свою повесть так закончить, чтоб соитие стало священным узлом жизни, освобождающим любовь к жизни актом. Для этого Митя (имеется в виду пришвинский Митя, то есть Алпатов. – А. В.) сделает Аленку своей женой и за шкурой Аленки познает истинное лицо женщины, скрытое...»<sup>[171]</sup>

Между тем Аленка пришвинская, из-за которой весь сыр-бор разгорелся, о браке с которой сожалел Пришвин многие лета своего супружества, о которой оставил много резких строк и глубокомысленных рассуждений, была по-своему удивительная и замечательная женщина, личность, и лучше нее самой никто о ней не расскажет.

«Родилась я в деревне Следово Смоленской губернии, Дорогобужского уезда, в семье Бадыкиных. Жили бедно: отец рано умер, мать одна маялась с детьми – кроме меня было еще четверо.

Все было так убого в нашей жизни, так нищенски, что и рассказывать-то стыдно. Вся жизнь проходила в тяжелой работе. Я все умела: и жать, и косить, и скотину обихаживать, да что говорить, ни одна крестьянская работа мимо моих рук не проходила.

Но бывали все же и праздники. Редко, правда, а все же были дни, которые вспоминать радостно. В праздник не работали, это даже за грех считалось. Такого праздника ждешь, бывало, как красного солнышка. Особенно любимый был праздник Троица, а за ней Духов день. Этот праздник – летний. В этот день мы уходили в рощу, хороводы водили, песни пели – я и плясать, и петь одна из первых была.

Недолго длилась моя девичья жизнь. Вскоре просватали меня за Филиппа Смогалева. Просватали против моей воли, потому что Смогалевых двор считался богатым: у них лошадь была. Мне тогда было шестнадцать лет, ему двадцать два. Жених не нравился мне, я плакала. А мать уговаривала:

– Ты там сыта будешь, и соседство близкое: будет ребенок – я присмотрю.

Когда под венцом стояла, хотела крикнуть, что, мол, не согласна, меня неволей отдают. Но пока с духом собиралась – ведь на это все же смелость нужна, –

венчанье шло своим чередом. Вот уж и вокруг аналоя повели – все, повенчали.

Муж был пьяница и безобразник. Ни доброго слова, ни ласки я от него ни разу не слышала, не видела. Он бил меня без вины, жизнь была – сплошная мука.

Земский начальник знал о моей тяжелой жизни и распорядился выдать мне на три месяца паспорт – как ушедшей в город на заработки. Я мешок с пожитками собрала. Яшу у матери оставила – и уехала. Хотела прямо в Москву. Да меня отговорили – ты, говорят, там пропадешь. Лучше в какой-нибудь небольшой городок. Вот так и очутилась я в Клину.

Поступила на работу в прачечную. Работала, пока срок паспорта вышел. А дальше что делать? Видно, хочешь не хочешь – приходится к мужу возвращаться. Я бы, кажется, лучше под поезд легла, да ведь у меня Яшенька. Делать нечего, собрала я мешок в дорогу. И тут приходит знакомая моя, хорошая женщина, Акулина, и говорит, что живут тут поблизости два холостяка – Михаил Михайлович Пришвин да Петр Карлович (фамилии не помню). Им прислуга нужна. Только я это услышала, мешок в сторону и, не раздумывая, прямо к ним пошла. Думаю, будь что будет, хуже не станет.

Михаил Михайлович посмотрел на меня и засомневался:

– Женщина красивая, молодая, как бы не стали к ней солдаты ходить!

Однако же взял меня. Солдаты не ходили, а мы с Михаилом Михайловичем скоро друг друга полюбили и сошлись как муж с женой». [\[172\]](#)

По-моему, рассказ замечательный и в человеческом, и в литературном отношении и, если так можно выразиться, достойный и пришвинского таланта, и личности писателя.

Но мужа и жену никому рассудить не дано и, чем гадать, лучше просто прислушаться к их голосам, тем более что никакой тайны из своей личной жизни Пришвин не делал и наряду с размышлениями о политике, о философии, литературе, наблюдениями над природой и записками охотника много писал и о всех перипетиях семейной жизни. Валерия Дмитриевна по понятным причинам не касалась в своих книгах пришвинской семейной драмы, но если говорить о личности Пришвина всерьез, избежать этой темы невозможно.

Пришвин не женился, а именно сошелся с Ефросиньей Павловной. Жениться он и не мог – она ведь была замужем (и поразительно: опять как бы слепок с розановской судьбы, только там – Розанов не мог жениться, ибо законная жена, Суслиха, как он ее звал, не давала ему развода), и официально брак свой они оформили только после революции.

Он не относился к этой связи очень серьезно и в любой момент был готов с крестьянкой расстаться.

«Наш союз был совсем свободный, и я про себя думал так, что если она задумает к другому уйти, я уступлю ее другому без боя. А о себе думал, что если придет другая, настоящая, то я уйду к настоящей... но никуда мы не ушли от себя...»<sup>[173]</sup>

Для родных Пришвина, и особенно для матери, брак с простолюдинкой был такой же нелепой фантазией, как побег в Азию, как сидение в тюрьме за идею или туманная любовь к Прекрасной Даме. Женщина практическая и властная (домашнее прозвище ее было Маркиза), она не захотела поначалу признавать невестку. Как писал Пришвин про свою матушку в «Журавлиной родине», «она сама была из купцов, училась на медные деньги и в глубине души своей каждую деревенскую женщину считала хамкой гораздо

больше и решительней, чем люди белой кости, дворяне». К тому же на примете у Марии Ивановны была какая-то учительница (о ней в Дневнике говорится очень глухо, мельком), на которой она хотела женить сына, но некоторое время спустя, если верить Ефросинье Павловне, Маркиза переменяла мнение.

«Когда мать Михаила Михайловича узнала, что ее сын женился на „простой бабе“, она, конечно, была очень недовольна. Приехала к нам посмотреть как и что. Мария Ивановна гордая была очень, сблизиться с ней было трудно. Но все же сказала сыну, а он мне передал:

- Ты, Миша, держись этой женщины, не обижай ее, она дельная и добрая». [\[174\]](#)

Он «держался» ее до середины тридцатых – дальше не сложилось.

«Ефросинья Павловна вначале была для меня как бы женщина из рая до грехопадения: до того она была доверчива и роскошно одарена естественными богатствами. Я эту девственность ее души любил, как Руссо это же в людях любил, обобщая все человеческое в „природу“. Портиться она начала по мере того, как стала различать». [\[175\]](#)

На беду свою она действительно была очень умной и незаурядной женщиной, что в несколько парадоксальной, розановской манере подтверждал и ее второй муж:

«Ефросинья Павловна была настолько умна и необразованна, что вовсе и не касалась моего духовного мира».

Ими было прожито вместе почти тридцать лет, Ефросинья Павловна родила Пришвину троих сыновей (один из них рано умер) и закончила свои воспоминания лаконично и хлестко:

«Муж мой не простой человек – писатель, значит, я должна ему служить. И служила всю жизнь как могла».

(Не могу не привести любопытную цитату из книги В. Н. Муромцевой-Буниной, касающуюся доли писательских жен: «За столом Марья Федоровна (Андреева, неофициальная жена А. М. Горького. – А. В.), сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не понравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более, что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно служить. Раз она спросила меня:

– Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила».<sup>[176]</sup>)

Ефросинья Павловна сыграла в жизни Пришвина роль чрезвычайно важную: «Через деревенскую женщину я входил в природу, в народ, в русский родной язык, в слово».

Он хорошо понимал ее преданность («Для меня Фрося может оставить своих детей: только бы жизнь ее возле меня... Другая из-за ребенка мужа забывает»<sup>[177]</sup>), но все же свой брак считал трагической ошибкой и брал всю вину за него на себя: «Вина моя в том, что я с нею сошелся и не бросил ее до появления детей, вообще поставил ее на положение жены, познакомил с родными, ввел в круг высший и дал почувствовать свой низ. Вина моя в легкомыслии к браку и в эгоизме, не внешнем, а глубоком: иметь тихий угол, уединяться, творить, печатать, все это мое, а не ее. (...) Для нее я, собственно для нее не мог ничего сделать, потому что всю жизнь желал другую, и это желанное отдавал в печать: ее я обманывал. Но это очень тонкий обман, и я не думал, что когда-нибудь и за это придется отвечать».<sup>[178]</sup>



А отвечать за брак с Фросей пришлось довольно скоро, тем более что в богатом и насыщенном характере самобытной смолянки, похоже, напрочь отсутствовали такие несомненные женские добродетели, как терпение и кротость. Вот характерная жанровая сценка, живописующая отношения между супругами.

Семья собирается переехать на дачу. Михаил Михайлович торопится, он весь в нетерпении, у него мамин характер стремительный («стремительная торопливость, главная его черта, спех – взять атакой»), а в Ефросинье Павловне его раздражает «медленность сборов, отсутствие плана, цели, безвременное теряние главного из-за веревки, из-за шпильки – женское». Она ему – как гири на ногах.

Наконец собрались, едут. В поезде Пришвин начинает цепляться к сыну, щекочет ему за ухом, Левушка разворачивается и бьет папашу кулаком по лицу. Это у них в порядке вещей, семейный стиль общения, и Ефросинья Павловна не обращает на мальчика никакого внимания, да и сам Михаил Михайлович тотчас же обо всем забывает. Зато публика в негодовании. Какая-то мещанка, затем сельский священник – все начинают выговаривать Леве и делать ему внушение, а Ефросинья Павловна громко кричит на мужа:

– Ты сам виноват! Так тебе и нужно, ты избаловал ребенка.

Пришвин приходит в бешенство («В такие минуты колеблется земля, как будто я в чем-то попался, неминуемое отвратительное, неизбежное родовое – все восстало: как будто все время я притворялся и скрывал тайну, говорил всем: смотрите, как мы хорошо живем, мы хорошие люди, и вдруг все обнаружилось»), и размолвка оканчивается словами Ефросиньи Павловны:

- А ты думаешь, я дура, не понимаю, что мы не пара, да поздно, поздно...

И очень характерная ремарка - в ней весь Пришвин: «А какой день-то пропал!»

Вот этого он боялся, пожалуй, больше всего на свете - пропавших дней.

А вот свидетельство биолога К. Н. Давыдова, который сошелся с Пришвиным на почве охоты и оставил, быть может, лучшие из всех существующих о Михаиле Михайловиче воспоминания.

«Не преувеличивая скажу, что самым близким существом для него была не жена, не дети, а его легавая собака. Добавлю, что Пришвин никогда не говорил о своей семейной жизни. Как-то раз я выразил ему свое удивление, почему он никогда не приглашает меня к себе.

- Уж не боишься ли ты, - сказал я шутливо, - что я начну ухаживать за твоей женой?

- Нет, - совершенно серьезно ответил Пришвин, - тут дело не в жене, а в собаке.

Как всполошился я, ошарашенный этим ответом.

- Да, - пояснил мой собеседник, - тебя к себе оттого не приглашаю, что боюсь, мой Спорт может открыть в тебе что-нибудь настолько близкое его душе, что может свои симпатии перенести на тебя...»[\[179\]](#)

Шли годы. Пришвин писал книги, путешествовал, участвовал в литературной жизни, потом началась Первая мировая война, и писатель с горечью отметил, что в своей семье он на обочине, а предположение, будто бы Ефросинья Павловна готова ради него пожертвовать детьми, оказалось свидетельством полного непонимания ее характера. В 1915 году он написал совершенно пророчески, словно предугадывая семейную драму тридцатых годов и свой будущий открытый конфликт с женой и детьми:

«Как она укрепляется детьми. При такой ее близости к детям будущее почти несомненно: она и три ее защитника. Как смешно сострадание к ней было бы: она в сравнении со мной богатейший, неистребимый человек».

Но буквально через несколько дней вдруг записал, пытаюсь определить свое отношение к тому, как переменилась за двенадцать лет жена:

«Когда Фрося превратилась, по-видимому, окончательно в злейшую Ксантиппу, то теперь только и вырисовывается то милое существо, которое я так любил: сарафан, платочек, весла на реке, лес, грибы и такая со всеми ласковость и простые слова. А теперь это вечно надутое ворчливое существо, всех отталкивающее от моего дома, с глупыми требованиями».

И Пришвин это понимал, но есть последнее и высшее соображение, которое не позволяло ему жалеть о своем выборе и идти по тому пути, на который он встал.

В 1915 году, год спустя после смерти Маркизы осиротевший сорокадвухлетний человек пишет «письмо к покойной матери» и в этом удивительно нежном исповедальном послании по ту сторону земного бытия есть строки, касающиеся и его семейной жизни:

«Недавно я в связи со снами и домашними сценами вспоминал, как ты чуть не женила меня на учительнице и как я, вопреки твоему желанию, пошел своим путем, диким. Мне так отчетливо представились все выгоды того брака для нынешней моей жизни: не говоря о воспитании детей, большей общительности и т. п., я еще учитывал собственный личный рост; ведь наше личное богатство удесятерится от сообщества с таким человеком. Все это хорошо, но она мне снится в образе старухи, и я всегда в ней чувствовал что-то старушечье. Ты не могла понять, что твой выбор был серединой

между моими двумя крайностями и для этого надо было быть серединой. Но какая мать не пожелает для сына среднего пути, сохраняющего его земную жизнь... я не раскаиваюсь, но часто тоскую, эта тоска и гонит меня в литературу...»[\[180\]](#)[\[181\]](#)

## Глава VII

# ПЕРВАЯ КНИГА

Вот и прозвучало наконец это заветное слово – «литература» – и пришло время обратиться собственно к искусству слова. В самом деле, сколько же можно рассказывать о писателе, не касаясь его творчества, даже если главным предметом и фокусом этого творчества была его жизнь?

«Я отдал свою молодость смутным скитаниям по человеческим поручениям и только в тридцатилетнем возрасте стал писать и тем устраивать свой внутренний дом», – вспоминал Пришвин позднее, определяя этот важный рубеж, разделивший его жизнь.

Свою первую значительную художественную книгу очерков Выгорецкого края «В краю непуганых птиц» он написал в 1906 году. Уже два года Михаил Михайлович жил в Петербурге на Васильевском острове, куда переманил его елецкий товарищ Александр Михайлович Коноплянцев, который сам к тому времени окончил университет, работал в министерстве, вращался в столичных литературных кругах, увлекался философией и по части жизненных успехов давал своему земляку сто очков вперед.

Послужной список Пришвина был скромнее. Правда, за спиной у него осталась учеба в Германии, где он сумел получить образование и окончательно расплевался с марксизмом, но практическое применение этого образования на Богородских хуторах графа Бобринского в Тульской губернии, а затем в Клину (где он познакомился с Ефросиньей Павловной) и служба в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве – его не устраивали. Все это чужое – и в том возрасте, когда людям свойственно делать карьеру и

стремиться к благополучию, отделя профессию от увлечений, уже на путь этого благополучия вставший и вполне способный добиться положения, которым пугал брат Николай Алешу Арсеньева из единственного бунинского романа: «... и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что накопишь, купишь домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...» – точно подслушав этот испуг родственного ему персонажа, Пришвин бросил агрономию и благодаря своему двоюродному брату Илье Николаевичу Игнатову получил возможность заняться журналистикой и печататься в «Русских ведомостях».

Однако работа в газете не приносила радости, он чувствовал, что способен на большее, а самое главное – опека кузена крайне утомляла – хотелось свободы, и тогда, не порывая с журналистикой и занимаясь ею до семнадцатого года, а потом вынужденно вернувшись к ней в советские времена, он написал свой первый вольный рассказ.

В «Журавлиной родине» Пришвин так объяснил причины, приведшие его к занятию литературным трудом: «Я выбрал писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться».

А в Дневнике 1922 года встретится запись: «Другие по своему воспитанию и образованию входят в литературную среду естественно, и им это, как дар свыше или как наследство, для меня же переход от политической невежественной интеллигенции в среду людей культурных сопровождался как бы крещением и таким чувством свободы, что я до сих пор считаю свое дело святым делом, не имеющим ничего общего со всякими другими делами».

Вот для чего приехал он в Питер – для литературы!

Историю Михаила Пришвина можно было бы сравнить с историей тысяч молодых людей, приехавших в Петербург с тем, чтобы сделать литературную или иную карьеру, можно было бы уподобить его бальзаковскому Растиньяку или мопассановскому «бель ами», герою гончаровской «Обыкновенной истории» и т. д. - с той только разницей, что Пришвину было уже за тридцать, он был обременен семьей, а менять жизнь в этом возрасте и в этих условиях очень нелегко.

Позднее в замечательном, хотя и несколько приглаженном очерке «Охота за счастьем» он вспоминал эти годы: «Я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу (...) Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию».

А в Дневнике 1921 года то же самое ощущение выражено гораздо трагичнее: «Я почувствовал вдруг то жуткое одиночество, которое охватывает не в пустыне, - в пустыне Бог! а в большом городе, где-нибудь в Питере на Невском в первое время литературной карьеры, когда выходишь из ужасной газетной редакции, наполненной политическими спекулянтами, с отвергнутым рассказом - выходишь с физической точкой тоски у сердца...

Боже! как я не знал, просто не догадывался, что это черное пламя начинающейся тоски можно бы залить водкой, сын алкоголика, и я не знал, как пользоваться алкоголем! Вот бы тогда как радостно шел бы я через Невский - трын-трава! а тут иду через Невский, инстинкт самосохранения несет меня, как парус, через

лавину экипажей, людей, вот когда я знал одиночество». [\[182\]](#)

Петербург и в те времена, и раньше знал многих молодых людей, мечтавших о писательской славе. Были и те, кому действительно удавалось невозможное, но большинство либо успокаивалось и занималось обычной службой, как Коноплянцев, либо знало средство от тоски и спивалось, ломалось, гибло, и едва ли не самое замечательное произведение на эту тему – почти не известный большинству русских читателей роман прекрасного и Пришвину очень близкого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко», «где описывается „дурь“ юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, похожее на мелкую городскую речку с ее разбитым чайником, дырявыми кастрюлями и всякой дрянью. И когда показывается дно, является оторопь от жизни, хочется вернуть себе „дурь“. Делаются серьезные усилия, и дурь становится действующей силой, поэзией писательства (...) у Мамина блудный сын из богемы, больной, измученный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь со своим краем». [\[183\]](#)

Но прежде чем из богемы выпасть, надо было в нее попасть. А Мамин-Сибиряк сыграл в судьбе Михаила Михайловича роль удивительную. В 30-е годы Пришвин был одним из членов комиссии по литературному наследию автора «Приваловских миллионов» и чудесных детских рассказов про Серую Уточку, был хорошо знаком с его племянником Удинцевым, и именно Удинцев привел в дом Пришвина Валерию Дмитриевну – вторую жену писателя, воплотившуюся Марью Моревну, озарившую последние годы пришвинской жизни.

Но не будем забегать вперед. Все это было еще очень и очень далеко, Валерия Дмитриевна была пятилетним ребенком, дом в Лаврушинском переулке в



Москве, где они потом жили, не был еще построен, а Пришвину было очень худо.

Снова, как в тюрьме, приходили мысли о самоубийстве, и в Дневнике Пришвин назвал эти годы «временем голодной озлобленности» и никогда позднее не вспоминал молодость как сладостное и приятное время. Но именно тогда он написал свой первый, не сохранившийся и нигде не напечатанный рассказ «Домик в тумане».

Первый рассказ писателя, особенно состоявшегося писателя, – это своеобразный камертон. Он определяет будущее своего создателя, и, читая «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» Достоевского, представляешь, как родятся позднее «Братья Карамазовы» или «Преступление и наказание».

А «Домик в тумане» был, судя по всему, историей об обитателях невзрачного питерского домика, их каждодневных горестях и радостях, рассказ очень традиционный, а литературную судьбу, литературное счастье свое Пришвин нашел на иных, негородских путях.

Первое время в Петербурге он жил без жены, и эта жизнь казалась ему более привольной – но Ефросинья Павловна однажды, не зная даже пришвинского адреса и, следовательно, вопреки его воле, разыскала А. М. Коноплянцева, с женой которого на глазах у Ефросиньи Павловны и самого Александра Михайловича через полтора десятка лет вспыхнет у Пришвина роман, а тот привел ее к мужу. Так кончилось неудачей первое пришвинское бегство от своей Ксантиппы.

С ее приездом легче не стало. Их жизнь в Петербурге по-прежнему была очень жестокой. У Пришвиных родился и сразу же умер первый сын, маленький Сережа, в 1906-м родился Лев, и вот этот год, когда молодому литератору исполнилось тридцать три, оказался для Пришвина поворотным – то, к чему он

так долго и мучительно шел, начало приносить первые плоды.

Произошло это благодаря событию на первый взгляд ничем не примечательному – на охтенских огородах он познакомился со своим соседом, бывшим фельдшером, а впоследствии этнографом Ончуковым и тот посоветовал молодому человеку отправиться на Север за сказками.

«Я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта», – вспоминал позднее писатель.

Так Пришвин собрался в свое первое путешествие – потом их будет очень много, он объездит почти всю страну и напишет о Дальнем Востоке, Средней Азии, Кавказе, Крыме, Русской равнине так, словно в этих краях много лет прожил – но сердце его навсегда будет отдано Русскому Северу, чем особенно он дорог пишущему эту книгу.

Ончуков познакомил его с академиком Шахматовым, одним из самых великих русских ученых прошлого столетия, тот научил Пришвина приемам записи фольклора, и Михаил Михайлович отправился в путь.

О своей первой книге Пришвин писал: «Объявив войну чужой мысли в себе, я попробовал писать повести, но они мне не дались все по той же причине: мешали рассуждения. (...) Пропутешествовать куда-нибудь и просто описать виденное – вот как я решил эту задачу – отделаться от „мысли“. Поездка (всего на 1 месяц!) в Олонецкую губернию блестящим образом разрешила мою задачу: я написал просто виденное, и вышла книга „В краю непуганых птиц“, за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя себе всю глубину моего невежества в этой науке.

Только один этнограф Олонецкого края Воронов, когда я читал свою книгу в Географическом обществе,

сказал мне: "Я вам завидую, я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог написать и не могу.

- Почему? - спросил я.

Он сказал:

- Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу"».

[184]

Пришвин близко к сердцу принял увиденное на Севере и наложил на это искреннее и глубокое впечатление ту образность, которая существовала в его растревоженной поэтической душе - хотя первая книга выгодно отличается от последующих строгостью и отсутствием того «ячества», которое так раздражало Соколова-Микитова (и не одного его).

«В краю непуганых птиц» - это бесхитростный, немного сентиментальный (Р. В. Иванов-Разумник, напротив, уверял, что повесть написана с «намеренной плохо удающейся суховатостью»<sup>[185]</sup>) в духе Руссо очерк северной жизни России начала минувшего века, путь повествователя прошел по тем местам, где во времена раскола возникло крупное старообрядческое поселение Выгореция, в середине девятнадцатого века разогнанное Николаем Первым. Но было в этой книге что-то, выбор материала, язык, интонация, бережная позиция рассказчика, сумевшего найти такое положение, чтобы не отстраниться вовсе и не заслонить собою описанный материал - было что-то, приближавшее эту книгу к высокой литературе.

Очерки Выговского края - если не считать маленькой главки «На Угоре», написанной вместо предисловия, - начинаются, как это ни странно, с Берлина, где после рабочего дня и по выходным отводят душу на маленьких клочках земли бедные жители большого города. Именно от такой дачной жизни, неважно, берлинской или петербургской, спасается, бежит повествователь, и этот зачин имеет и

символическое значение, ибо знаменует собой противопоставление мира города и природы, культуры и первозданности, на утверждении и преодолении которого вырастет вся пришвинская философия жизни.

На пароходе через Ладожское и Онежское озера он добирается до Петрозаводска («мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет»), а оттуда до Повенца («Повенец – всему миру конец»), по пути описывая публику – священника, старичка-полковника, женщину с маленькой девочкой на руках. Пока что это еще очень похоже на Сергея Васильевича Максимова, может быть, немножко живее и одновременно неувереннее, однако те сорок семь лет, что отделяют «Год на Севере» от пришвинских очерков, не проходят бесследно. Вот сельский батюшка посмеивается над настоятелем Климентского монастыря, у которого тридцать шесть коров и двадцать монахов, вот появляется мальчик, которого родители за чудесное выздоровление по обету посылают в Соловецкий монастырь, юноша отправляется с большим религиозным подъемом и... остывает к вере.

Традиционные формы русской жизни приходили в упадок, не было прежнего благоговения, и пытливые интеллигентные умы себе на беду искали новые формы, сосредотачивались на недостатках, темных сторонах национальной жизни и не ценили ее устойчивых светлых сторон. В отказе от православия и поиске некой новой религии и состояла интрига дореволюционной жизни писателя, и одно лишь его признание, что «пониманию религии русского народа» он учился у Мережковского и Гиппиус,<sup>[186]</sup> много чего стоит и объясняет. Сильнее всего эта тяга к декадентству сказалась в третьей из пришвинских книг «У стен града невидимого», целиком посвященной поискам иной,

лучшей веры, желанию постичь сектантскую Русь, собирающуюся возле ушедшего под воду светлого града Китежа.

А пока путь его лежал на полночь. Из Повенца, где для всех мир заканчивался, а для Пришвина только начинался, писатель отправился к Масельгскому хребту, через который проходит водораздел между Балтийским и Белым морями. Так же часто, как Пришвину на его пути озера, читателю встречаются в тексте географические описания, очень точные, емкие, недаром через несколько лет после опубликования книги Пришвин будет принят в Географическое общество, а советский географ, младший современник писателя, профессор Ю. Саушкин признается, что он и его коллеги называли Пришвина «писателем-географом» – «главным образом потому, что он необычайно тонко и верно понимает, чувствует и изображает географию нашей страны».<sup>[187]</sup>

И действительно, пришвинские читатели – не гуманитарии, не филологи, не эстеты, а весьма далекие от экскурсов в сектоведение и размышлений о русской интеллигенции Серебряного века люди, ценившие в Пришвине глубочайшее знание и чувство природы, и именно к ним он вернется через много лет своих литературных походов в стане засмысленных интеллигентов и на них сделает свою писательскую ставку («Сколько под моим влиянием выросло в нашей стране отличных молодых людей: капитанов, исследователей, путешественников, геологов, охотников»<sup>[188]</sup>).

Озера, реки, острова, водопады, скалы, салмы, сельги, луды, корги – он внимателен к подробностям пейзажа, местным словечкам, которые выделяет курсивом и объясняет, к названиям ветров и с

удовольствиям их перечисляет – шалонник, летний, сток, побережник, обедник, торок, жаровой.

Автор чувствует себя очень свободным в этом повествовании и ничего не стесняется – книга как бы пишет сама себя – верный признак всякого истинно талантливого произведения (впоследствии схожими словами Пришвин охарактеризует и свою работу над «Кашеевой цепью»: «Роман пишется с пугающей легкостью, как будто спихнул в оттепель ком снега и он бежит вниз, наворачиваясь сам на себя»<sup>[189]</sup>), Пришвин только кое-где подправляет ее течение, в ней совершенно нет сделанности, вымученности, искусственности и уж тем более журнализма – при очевидной заданности темы Пришвин выступает как художник.

Когда ему требуется, он вставляет в текст довольно длинные цитаты современных ученых (Е. Барсова), приводит народные стихи, описывает свадебные и похоронные обряды, много времени уделяет рыболовецкому промыслу, вешнему, осеннему и зимнему, бурлачеству, рубке леса и лесосплаву, листоброснице (неведомой жителям средней полосы поре, напоминающей сенокос, с той лишь разницей, что женщины собирают березовые листья и зимой кормят ими коров), пахоте, упоминает вскользь строительство Онежско-Беломорского канала – все это зерна будущих пришвинских книг.

И один из самых трогательных и важных персонажей «Края» – старик Мануйло, который рассказывает рыбакам и лесорубам сказки про царя, «с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик», рассказывает, пока все не уснут, а если не спит хоть один, рассказывает и ему и, только исполнив свой долг, засыпает. Чем не идеальный писатель и чем не

подлинное литературное творчество, воспринимаемое как желанная служба!

Он удивляется тому, как сосуществуют в крестьянском быту языческие и христианские обычаи, и христианские кажутся ему вынужденной уступкой, а настоящие властители этого края – колдуны, к которым его влечет куда больше, чем к православным монахам.

Они управляют миром, назначают, кому жить, кому умирать, кому сколько поймать рыбы и убить зверя, они принимают разный облик. Вот колдун поймал водяного и за то, что не бросил озерного царя в печку, потребовал для себя столько рыбы, что разбогател. А в «Охоте за счастьем» Пришвин припоминает, как вступил с одним из колдунов в состязание, кто кого перепьет, и когда противник упал без чувств, вытащил у него заговор, переписал и рухнул рядом.

Он был внимателен не только к природе – в «Краю» немало ярких образов людей, и один из самых пронзительных – вопленица Степанида Максимовна, профессиональная плакальщица; еще один замечательный образ – старик Иван Тимофеевич Рябинин, сын знаменитого Рябинина, у которого записывал былины Гильфердинг.

Книга была замечена и имела успех (в том числе и денежный, Пришвин получил шестьсот рублей золотыми), и эта первая литературная победа, пусть даже автором впоследствии отчасти преувеличенная и превращенная в своего рода легенду, значила для вчерашнего неудачника необыкновенно много. Но успех надо было закреплять, двигаться вперед и постоянно зарабатывать на жизнь, содержать семью; начинающий литератор находился в положении крайне неопределенном, но действовал осмотрительно и умело, вырабатывая определенную – как нынче принято говорить – писательскую стратегию.

Почему Пришвин свернул с этнографического пути и потянулся к декадентам? Почему этот умный, глубоко чувствующий здоровую природу и привязанный к земной жизни зоркий и чуткий человек, написавший прекрасную реалистическую книгу, оказался в кругу людей со столь специфическим мировоззрением? Что потянуло его к сектантам?

Вопрос это далеко не праздный, ибо не одного Михаила Михайловича касается. В «Журавлиной родине» Пришвин опишет свой переход от наивного реализма в декадентский стан так: «Свою первую книгу этнографическую „В краю непуганых птиц“ я писал, не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, писавших потом о моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, что эта первая книга этнографическая гораздо лучше всех следующих за ней поэтических.

Я приписал такое мнение чудачеству М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем хотел быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В дебрях Уссурийского края», и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим дневникам, я понял и Гершензона, и недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что, если бы не среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире».

Признание замечательное во многих отношениях, и особенно интересна в нем мысль о том, что в декаденты Пришвина заманили, как в секту.

Этой же концепции придерживается и В. Курбатов (пришвинский модернизм он уподобляет неудачному



бегству Курымушки в Азию) – однако, как и всякий мемуарист, в более поздних воспоминаниях и уж тем более подцензурных художественных текстах Пришвин вольно или невольно исказил, подправил реальную картину своей литературной молодости.

В более откровенном Дневнике той же самой поры, когда писалась «Журавлиная родина», встречаются признания иного рода.

«Я не был декадентом-эстетом, но презирал народническую беллетристику, в которой искусство и гражданственность смешивались механически. И потому я искал сближения с теми, кого вначале называли декадентами, потом модернистами и, наконец, символистами».

К декадентству Пришвин пришел сам и, видимо, не прийти не мог.

Помимо отталкивания от народнических, семейных традиций, что-то еще глубоко личное, берущее начало из детства, его туда манило, волновало душу. Отец с голубыми бобрами, таинственная итальянская родственница, собственная изломанная жизнь, война духа и плоти? Как знать... Но уже в следующей своей книге «За волшебным колобком» (для писателя вторая книга зачастую важнее первой именно потому, что она подчеркивает, доказывает неслучайность его занятия литературным трудом) автор поторопился развить успех первой книги. Перед нами теперь не просто впечатление путешествующего по Северу горожанина, петербуржца, но обращение к своему детству, к той поре, когда елецкий гимназист убегал в Азию. Это и возвращение блудного сына к природе, и достижение ребяческой мечты, и соединение того разрыва, который с ним приключился в отроческие годы и мучил всю жизнь.

Вот почему художник должен быть простодушен, как дитя, вот что вызревало в Пришвине долгие годы

отрочества и затянувшейся молодости, медленно в нем перегорало – реальность сочеталась со сказкой и завязывались все узлы. Но при этом Пришвин очевидно торопился включить себя в литературную ситуацию двадцатого века, так чтобы написанное оказывалось поводом для повествования об ищущей личности, о хождении интеллигента в народ, и не случайно к главе, посвященной Соловецкому монастырю, дается эпиграф из самого что ни на есть декадента Константина Бальмонта:

«Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому». [\[190\]](#)

И все же, если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь – прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью людей в птичьем краю. Во второй описание монастыря превращается в карикатуру.

Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» – замечательно сказано, но дальше читаем о самой обители: «Это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж – не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице».

Белокаменный соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее уж – на пушкинский сказочный остров из «Сказки о царе Салтане», вдруг выросший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника давит груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набраться за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освободиться. И прежде всего – мысли розановской с его яростным неприятием монашества.

Именно вслед за Розановым путешествующий Пришвин говорил в повести о «двух богах» – светлом и темном – идея, которая странным образом отзовется в переломном для него 1940 году.

«Черный» Бог-Отец – это «какой-то особенный, мрачный бог», «беспоощадный, жестокий», он «лежит темным бременем» и изображен на старинных черных иконах, молиться ему заставляли автора в детстве, его образ появляется на первых страницах книги и ассоциируется с соловецкими богомольцами, которым писатель противопоставляет себя и свой путь за волшебным колом: «Эти смиренные люди совсем и не могут поднять своей головы и посмотреть на него, они не видят ни света, ни солнца, ни зеленой травы и лесов, а только в страхе стелются по своей родной земле. Перед каждым из этих людей, хотя раз в жизни, разверзнулась темная бездна и ногой он уже ступил туда, но пообещался и вернулся назад. И теперь, испуганный, благодарный, преданный, спешит принести свою лепту».

«Если я пойду за ними, думаю, налево, то приду не на Север за Полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь омертвевшим, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идет туда, покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не Бог-Сын, милосердный и всепрощающий, но Бог-Отец, беспощадно посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампы на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем?»

Черноземная деревенька – не случайна, это – Хрущево, елецкая родина, от которой он вторично убежал, и именно она связана с черными досками.

И есть другой бог, радостный, солнечный, знакомый автору-охотнику, который «сам приходит и веселит» и которого не нужно называть (черного назвать страшно). Это «зеленый, сияющий Бог», «Бог счастья, надежды, жизни», Бог, зовущий к творчеству, связанный с миром природы. Эти два образа протянутся через долгие годы его творческого пути.

Конечно же, декадентскими или розановскими (Розанов все же не декадент, но Пришвин валил всех литературных кумиров в одну кучу) поисками содержание первых пришвинских книг не исчерпывается, и в «Колобке» немало замечательных страниц – чего стоит, например, описание лопарей, невольно заставляющее вспомнить творчество Платонова, и то родственное внимание, которое провозглашал Пришвин основой своего творчества. Но Пришвин не стал Максимовым или постМаксимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в творческих поисках его влек явно другой интерес, и волшебный колобок его катился совсем в иную сторону... Особенно отчетливо это проявилось в выборе друзей и литературной среды.

## Глава VIII

# РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Писатель, как показывает насмешливая литературная практика, – это вовсе не тот, кто пишет романы, повести и рассказы или даже ведет всю жизнь дневник, писатель – тот, кто участвует в литературной жизни. Пришвин это понимал, но с писательским миром у припозднившегося новичка сложились престранные отношения.

Поначалу все шло неплохо. В 1907 году Пришвин познакомился с А. М. Ремизовым, хорошо известным в литературных кругах прозаиком, и более близкого человека изо всей пишущей братии Михаил Михайлович не встретил за всю жизнь. В суровом 1933 году, когда эмигрировавший Ремизов превратился в закоренелого врага советской власти, Пришвин рискнул упомянуть его имя в положительном контексте («Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусстве»<sup>[191]</sup>). Интересно, что в «либеральном» 1957 году составитель примечания к шеститомному собранию сочинений отозвался на это упоминание суровой, чуть ли не «напостовской», синтаксически неудобоваримой тирадой:

«М. Пришвин здесь явно идеализирует облик Ремизова – символиста, реакционно настроенного писателя, понимавшего революцию как некий очистительный стихийный бунт во искупление грехов, совершаемых людьми, жизнь которых он воспринимал лишь как бесконечную цепь несуразностей, нелепиц, часто скрытых под мнимой разумностью поступков».<sup>[192]</sup>

Любопытно: внешне (не внутренне, хотя границу эту зачастую провести нелегко) много что уступивший и много о ком переменивший мнение в советские годы Пришвин по отношению к Ремизову был неизменно тверд, и эта твердость, как ни странно, послужила ему своеобразной «охранной грамотой».

В 1945 году он записал в Дневнике: «Речь моя в Литературном музее о Толстом за упоминание Ремизова подверглась в партии особому разбору и осуждению. Раз Ремизов в „Правде“ разъясен как эмигрант, то как можно упоминать его имя и Толстого (имеется в виду А. Н. Толстой. – А. В.) называть учеником Ремизова.

Вспоминая прошлые свои выступления, я делаю вывод, что мое особое мнение, производящее шум, в конце концов приносило мне пользу, создавая хорошее положение советского юридического, и обеспечивало тайное уважение всех. Я сделал в советское время редкую карьеру независимого человека». [\[193\]](#)

Но вернемся к истокам этой независимости. Сохранилось замечательное высказывание Ремизова об их первой встрече: «Мое впечатление – черная борода и черный зачес.

И растерянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: со мной такому никак!» [\[194\]](#)

Однако вышла долгая, до самого отъезда Ремизова за границу писательская дружба.

«Ремизов... своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты». [\[195\]](#)

У них было немало общего и прежде всего – принадлежность к одному поколению русской интеллигенции, было свое «преступление и наказание» – юношеское увлечение марксизмом (у обоих в невероятно фантастической форме), за которое Алексей Михайлович расплатился тремя годами ссылки, получив

в награду доступ к Русскому Северу. Именно там, в полунощном краю каждый из них родился как художник и обратился, хотя и очень по-разному, к фольклору, к сказкам и сказочным образам. Через Ремизова произошло приобщение Пришвина к писательским кругам, он был принят в «Обезьянью великую вольную палату» – любимое ремизовское детище, где шутовство мешалось с серьезностью, и это было чрезвычайно важно, потому что давало Пришвину возможность попасть в среду наиболее известных русских писателей той поры (куда входили поэты, писатели, ученые, художники: В. В. Розанов, М. О. Гершензон, А. М. Горький, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков, А. А. Блок, А. А. Ахматова, Петров-Водкин, П. Е. Щеголев и др.).

Пришвин считал Ремизова своим учителем в литературе («Через Ремизова я поверил в себя»<sup>[196]</sup>), и когда в 1909 году для Алексея Михайловича настали черные дни – он был обвинен в плагиате (речь шла о сказках, записанных Ончуковым и пересказанных Ремизовым, а потом и напечатанных под его именем), не кто иной, как Пришвин вступился за Ремизова, отстаивая право писателя на «художественный пересказ». Об этом пришвинском заступничестве Ремизов оставил в своей «Кукхе» замечательный пассаж:

«Пришвин, известный тогда как географ своими книгами „В стране непуганых птиц“ и „За волшебным коlobком“ (Изд. А. Девриена), только что выступивший „Гуськом“ в Аполлоне, писал также в „Русских Ведомостях“ и был на счету „уважаемых“, Пришвин как эксперт – большая медаль из Географического Общества, действительный член – этнограф, географ, космограф! – пошел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали – сотрудник „Русских Ведомостей“! – соглашались, обещали напечатать опровержение, но

когда он, взлохмаченный, уходил, опускали, не читая, автограф на память – в корзинку»<sup>[197]</sup> <sup>[198]</sup>

Вот так – географ, сотрудник «Ведомостей», уважаемый, но... не писатель. Не случайно же Р. В. Иванов-Разумник в рецензии «Великий Пан» утверждал, что, опубликовав «Колобок» у Девриена, Пришвин «устроил книге похороны по первому разряду... Что такая книга могла остаться неизвестной или малоизвестной – это один из курьезов нашей литературной жизни».<sup>[199]</sup> А он – хотел быть писателем (замечательную подробность приводит в своих воспоминаниях К. Давыдов: Пришвин *скрывал* факт присуждения ему медали Географического общества), и репутация этнографа, которой Пришвин впоследствии так гордился, в те годы вряд ли могла удовлетворить честолюбивого автора, мечтавшего о литературной, а не какой-либо иной славе.

Но в течение нескольких лет даже Ремизов отказывал ему в этом праве, и Пришвин-писатель начался для него значительно позже.

«В литературу Пришвин выступил в 1907 году: его первые книги – географически-учебного характера – очерки: „В стране непуганых птиц“ (1907) и „За волшебным колобком“ (1908).<sup>[200]</sup> Но как писатель Пришвин начинается в рассказе «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 году. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913-1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей».<sup>[201]</sup>

Это только в 1923 году в уже упоминавшейся книге «Кукха. Розановы письма», вспоминая из Берлина Россию, Ремизов думал прежде всего о Пришвине (и связывал-то его с Розановым!): «Из всех, ведь,



писателей современников – теперь уж можно говорить о нас, как об истории – у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо – теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду – никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух – вот он какой, ваш ученик Пришвин!»<sup>[202]</sup>

А в другой статье высказался и того определеннее: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России».<sup>[203]</sup>

Но до этого, очень трудного времени надо было еще дожить, а в ту пору как бы много общение с Ремизовым Пришвину ни дало, палата (палатка, как звал ее Розанов, бывший в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛе старейшим кавалером вместе с Гершензоном и Шестовым) Алексея Михайловича была только шагом к подлинному литературному бомонду.

Ремизовский дом, куда был вхож Пришвин, представлял собой литературный салон, пусть не в таких масштабах, как дом Мережковских («И Гиппиус, и Сераф П. – хотели быть госпожами, героинями в революционном движении, но это им не удавалось»<sup>[204]</sup>). Любопытно сравнить, что писал об этом доме Пришвин и что – сам Ремизов.

«В дом Ремизова, как на свет лучины с мелей сползаются раки, – приходили от семей своих самые странные люди (обезьяньи князья), и здесь они попадали в ловушку и возвращались домой на свои мели с презрением в душе к своему домашнему быту (...)... И педерасты ходили сюда, п<отому> что культ женщины (не самки) входит в дело педерастии (Кузмин плакал от ласковых женск. слов Сер. Павл.)».<sup>[205]</sup>

А вот что записал Ремизов: «У нас всегда бывали „начинающие“ или такие, у которых не ладилось в

жизни, но когда выходили в люди и устраивались, очень понемногу-понемногу и пропадали.

На их место приходили другие - народ не переводился (...) Пришвин с Коноплянцевым». [\[206\]](#)

И все же подлинный бомонд был учрежден Мережковскими, которых позднее, в 1927 году, Пришвин Ремизову противопоставлял. «Столбовую задачу Ремизова я бы теперь охарактеризовал как охрану русского литературного искусства от нарочито мистических религиозно-философских посягательств на него со стороны кружка Мережковского...» [\[207\]](#)

Однако в 1908 году именно туда - в стан к декадентам - лежал дальнейший творческий путь Михаила Пришвина.

«Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распротившись органически с материалистически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мережковским - Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества. Под влиянием этих „идей“ я поехал в Заволжье и написал книгу „Невидимый город“ о сектантах. (...) В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благосклонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли „ищущим“. Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины, написал (1 нрзб) религ. повесть „Саморок“. И вдруг почувствовал, что опять погибаю в чужедумии среди засмысленных интеллигентов...» [\[208\]](#)

Как и в случае с Розановым, здесь имеется некоторая, быть может, сознательная хронологическая путаница, забывчивость, а то и стремление сбить будущего Друга-читателя с толку.

Произошло все отнюдь «не вдруг». Пришвин стал членом Религиозно-философского общества в октябре

1908 года, путешествие же состоялось летом того года, а книга «У стен града невидимого. Светлое озеро» вышла в свет в 1909-м. Таким образом, не путешествие состоялось после знакомства, а знакомство – после путешествия.

Это существенно, и иначе не могло быть. Молодому литератору, который позднее сам себя не без иронии в «Охоте за счастьем» аттестовал как «типичного заумного русского интеллигента», непросто было завоевывать место под щедрым и капризным серебряновековым литературным солнышком.

Трудно сказать, каким в точности был пришвинский план, когда он отправлялся к Светлояру, но, как следует из книги В. Д. Пришвиной «Путь к слову», автора которой трудно заподозрить в недоброжелательности по отношению к своему герою, толчком к вхождению в петербургские литературные круги послужило знакомство писателя со стариком-сектантом, который попросил его не больше не меньше, чем передать поклон Мережковскому, и эту возможность Пришвин не упустил.

«...вспомнил, что в Китеже вспоминали Мережковского, я пишу ему про это письмо, и он мне отвечает немедленно и назначает час», – вспоминал в черном 1919 году и сам Пришвин обстоятельства знакомства.

В раннем Дневнике описывается, как первая встреча произошла:

«1908 г. 7 окт. Вчера познакомился с Мережковским, Гиппиус и Философовым... Как только я сказал, что на Светлом озере их помнят, Мережковский вскочил:

– Подождите, я позову... – И привел Философова, высокого господина с аристократическим видом. Потом пришла Гиппиус... Я заметил ее пломбы, широкий рот, бледное с пятнами лицо...»

Именно ей – Зинаиде Гиппиус – через некоторое время он отдал рукопись своей написанной по следам путешествия к Китежу третьей книги «У стен града невидимого». Несмотря на чрезвычайно интересный замысел – показать сектантскую Русь, в художественном плане то была, по-видимому, самая неудачная из ранних пришвинских книга, что признавал и сам автор, усматривая в ней «некоторое манерничанье... и романтическую кокетливость стиля».

[209] Но с точки зрения общественного интереса, громадной религиозной и апокалиптической напряженности, интереса к сектантству, она была в самое яблочко. А значит, и издателя можно было искать более серьезного, чем добрейший швейцарец Девриен, простодушно интересовавшийся у Пришвина, можно ли ему купить в «краю непуганых птиц» дачу, и, значит, открывался шанс переломить надменное общественное мнение на свой счет. [210]

Увлечение сектантством, а особенно мистическим и прежде всего хлыстовством, было свойственно образованному и необразованному сословиям русского общества ничуть не меньше, чем марксизмом.

Секта хлыстов была одной из самых многочисленных в России. Хлыстовство возникло в восемнадцатом столетии и довольно быстро завоевало популярность в разных кругах русского общества. Хлысты учили, что Христос и Богородица могут приходить на Землю не один раз, воплощаясь в разных людях, и оттого иные из хлыстовских учителей называли себя христами – от искажения этого слова и пошло название самой секты. Хлысты объединялись в особые тайные общины, так называемые корабли, во главе которых стояли кормчие. На своих тайных сборах-радениях хлысты пели особые песни, впадали в молитвенный экстаз, призывая на себя сошествие

Святого Духа, потом начинали скакать по горнице, истязать друг друга бичеванием, и, возможно, все это оканчивалось свальным грехом. Царское правительство и официальная Церковь преследовали хлыстов, но уничтожить эту ересь не смогли, и когда в начале двадцатого века вышел закон о свободе вероисповеданий, хлыстовство вышло из подполья. Оно проявляло себя в самых разных формах и вызывало большой интерес у интеллигенции.

Назовем лишь несколько хорошо известных фамилий людей, интересовавшихся сектантской проблематикой в России: Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, А. Ремизов, С. Венгеров, Н. Минский, В. Розанов, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, М. Горький, М. Кузмин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, а потому любое достоверное документальное произведение на эту тему было обречено на успех. Пришвин к тому же был талантлив, имел литературный опыт и имя.

Зинаида Николаевна, с которой позднее сравнит Пришвин охтенскую богородицу Д. В. Смирнову («Вторая Гиппиус по уму»), рукопись прочла, с автором побеседовала и отозвалась по принципу: да-нет не говорить, черного-белого не называть:

«У вас много вкуса, но много модности... Поймите красоту Капитанской дочки, эллинской статуи и вы поймете, что Евангелие не брошюра... Вы оттого не принимаете Христа, что боитесь смысла».<sup>[211]</sup>

Не отсюда ли проистекает любимое пришвинское определение интеллигенции – засмысленная?<sup>[212]</sup>

Едва ли г-жа Гиппиус, она же критик Антон Крайний, кривила душой. Ощущение маскарадности, некоторой условности первых пришвинских книг при всем их художественном обаянии шло в его творчестве по нарастающей именно по мере приближения и

вхождения в Религиозно-философское общество. Это можно почувствовать, если сравнить «В краю непуганых птиц» и «У стен града невидимого».

В первой книге, когда автору для знакомства со староверами предлагают прикинуться ищущим, он отказывается: «Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христороубцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христороубцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия мне была не по душе».

В «Светлом озере» повторяется та же ситуация, но отношение к маскировке другое:

«Чтобы сойтись с ними, я перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие, для меня лишь этнографические ценности.

Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь.

Старик черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.

– Откулешний? Зачем?

– Ищу правильную веру».

Пришвин вряд ли сильно лукавил – поиск правильной веры в православной (то есть уже имеющей правильную веру) стране стал к началу двадцатого века явлением повседневным, на чем сходились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция. Пришвин не был исключением: и сектантство, и старообрядчество, которые он объединял в одно

(«Хлыстовство – это другой конец староверства. Это – неумирающая душа протопопы Аввакума, теперь уже глубоко равнодушная к своей казенной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть»<sup>[213]</sup>), казались ему более глубоким и более народным явлением, нежели традиционное, «официальное» православие.

Здесь и таится основное отличие пришвинских книг от произведений Максимова и Арсеньева, которые не ходили на заседания сомнительных обществ и уж тем более на сектантские радения. Или Мельникова-Печерского, чиновника Министерства внутренних дел, крупнейшего специалиста по сектантству и расколу в прошлом веке, ни на йоту не отступившего от православия. А незадолго до Мережковского и Пришвина в этих краях побывал Короленко и написал о них повесть «Светлояр». Но Короленко остался для сектантов чужим, он природу описывал, а Мережковский стал своим («наш, он с нами притчами говорил»).

И Пришвин (во всяком случае его автобиографический герой-повествователь) в этом невольном выборе двух традиций примкнул к Мережковскому, который не то радовался, не то печалился (или, может быть, слегка кокетничал) из-за того, что только сектанты его и понимают.

Вот и пришвинский разговор с немоляками:

«– Верно, – говорю я старику, – мы (именно так. – А. В.<sup>[214]</sup>) тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимой. Есть, – рассказываю я, – один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф...

Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это *посредничество*

(выделено мной. - А. В.) между двумя белыми стариками, там и тут».

Итак, хотя и не пришла Гиппиус от Пришвина и его книги в восторг, в Религиозно-философское общество он был зачислен, а в 1909 году сделал «доклад» на заседании другого знаменитого общества - Императорского географического - о своей поездке к Светлояру, поразив почтенную публику тем, что, не сказав ни слова и не обратившись к собравшимся с приличествующими словами, вдруг лег животом на эстраду и пополз, громко повторяя вслух:

«Ползут, все ползут... тут, там, везде. Мужчины, женщины - все ползут...»<sup>[215]</sup>

Публика на этом чтении состояла не только из шокированных ученых мужей, о которых вспоминает мемуарист. По свидетельству другого очевидца этого театрального ползания В. Д. Бонч-Бруевича, автора знаменитой серии книг, посвященных изучению русского сектантства и будущего управделами ленинского Кремля, именно тогда произошло знакомство Бонча и укрепились связи Пришвина с главой петербургской хлыстовской секты «Начало века» - П. М. Легкобытовым, человеком, потрясшим молодого писателя, ибо вдруг оказалось, что за народной жизнью можно и не ездить за тридевять земель, а найти ее прямо здесь, на прямых улицах и проспектах Северной столицы.

«Он, - записал восхищенный Пришвин о Легкобытове, - для меня больше народ, чем, может быть, весь народ».<sup>[216]</sup>

Так интерес к сектантству в глухих углах России отозвался сектантством столичным, и Пришвин, легко и быстро с Легкобытовым познакомившийся и даже по-своему сдружившийся, получил новую порцию для наблюдений и размышлений о странной схожести двух



сект – интеллигентской во главе с Д. С. Мережковским и протонародной во главе с П. М. Легкобытовым, хотя два вождя друг друга недолюбливали: Павел Михайлович звал Дмитрия Сергеевича «шалуном», а Дмитрий Сергеевич Павла Михайловича – «антихристом». И, надо признать, оба были правы (ср. также у Розанова в его «Апокалипсисе»: «Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает»<sup>[217]</sup>), и в пору великого братания интеллигенции и сектантской части народа почти по-ленински же завершал свое наблюдение над странным союзом петербургской элиты и хлыстов-немоляков: «Мы вышли на улицу: воплощение, искупление, папироски, женщины, похожие на актрис, эти священные поцелуи в лоб... Секта... И как это далеко от народа...»<sup>[218]</sup>

Насколько глубоко был информирован Пришвин о том, что происходило в доме у Мережковских, и понимал ли он сам, до какой степени был недалек от истины, определяя круг Мережковского как религиозную общину, секту, сказать довольно трудно. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус были людьми осторожными и преданными конспирологии ничуть не меньше, чем охтенская богородица Дарья Васильевна Смирнова, в заборе у которой не было видно калитки. И хотя живо распространявшиеся в декадентской среде слухи о религиозных поисках и увлечениях знаменитой литературной четы не могли до него не дойти, все же вряд ли Пришвин знал Главное, как торжественно именовали свои обретения на религиозном пути супруги Мережковские (у которых Пришвин «учился пониманию религии русским народом»).

Вот что писала об этих эзотерических находках Зинаида Гиппиус:

«В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне неожиданно пришел Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал:

– Нет, нам нужна новая Церковь.

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоты и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких ко времени.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Васильевичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысли о Церкви приняли к сердцу, но не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа. (...)

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами. (...)

И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами, разделил нас. (...)»<sup>[219]</sup>

Этим третьим, как известно, стал Д. В. Философов, и так образовалось легендарное «троебратство», где каждый был в ответе за двоих, однако тройка Гиппиус – Мережковский – Философов была не единственной. Что происходило в этих тройках, судить трудно, но «нерешенной загадкой пола все были отравлены. И многие хотели Бога для оправдания пола (...) Не знаю еще, было ли это нам в оправдание, в исцеление – или в суд и осуждение. Но либо одно – либо другое».

Для того чтобы сделать эти союзы более сакральными, Зинаида Гиппиус решила устроить по собственному чину литургию, описание которой занимает довольно много места в ее дневнике:

«И, прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу (...)

И первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки. И каждый целовал чашу.

Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова говорили, после же другое место читали из Евангелия.

И во второй раз встали и каждый дал каждому пить из чаши и каждый целовал чашу (...)

После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно: в лоб, в уста и глаза.

И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, который чей на ком.

В то время рассвело, но не ясный был день, а мутный, серый, дождливый.

Но все-таки был свет». [\[220\]](#)

Все это и было названо «Главным», открывалось очень немногим и продолжалось, то затухая, то разгораясь, привлекая новых адептов и теря старых, свыше десяти лет.

В 1909 году, когда Пришвин довольно много с Мережковскими общался, религиозные поиски декадентской общины были в полном разгаре: «Всю прошлую зиму и лето мы работали над литургией и древние все изучали.

В эту зиму составили из них (...) не свою, но общую. Собственных молитв даже и нет, одна только из Четверга – «от всех». (...) Наша литургия – вся церковная, кроме священства. У нас трое – равны. И я Церковь больше люблю, имея Таинство».

В Дневнике З. Н. Гиппиус 1911 года есть описание того, как происходила эта литургия по новому чину: «В субботу вечером была у нас литургия. По составленной из многих старых. Все трое – разнослужашщие, равнодействующие (...) Причащение так: каждый причащается сначала сам, под двумя видами, хлеб – вино, затем причащает рядом стоящего, из чаши, с ложечки, в соединении».

К сюжету этому мы еще будем вынуждены вернуться, но в ту пору ни на какие сборы в узком кругу Религиозно-философского общества Пришвина не допускали, не был он и на нескольких эзотерических собраниях с участием «самых верных», которые наделали немало шуму в Северной Пальмире и заставляли их участников неловко оправдываться, и хотя Михаил Михайлович заносил в Дневник все, что знал понаслышке, не случайно в дневниках и письмах самых известных литераторов тех лет имя Пришвина встречается крайне редко. Позднее, правда, Пришвин пытался представить дело иначе, называя себя равноправным участником литературной и религиозной жизни, и писал в Дневнике о том, что «в... Петербурге среди писателей было трое совершенно „русских“: Розанов, Ремизов и Пришвин», а в набросках к роману «Начало века» встречается и такое: «Заседание совета. Выделяется загорелый, сильный господин – провинциал Алпатов», но с точки зрения той поры включение и уж тем более выделение Пришвина (Алпатова) в этом ряду вызвало бы недоумение. Желание подправить историю было понятно и скорее всего (подобно сюжету с Розановым) вызывалось жаждой реванша; на самом деле, как ни благосклонно и сочувственно был принят в этом кругу маститыми мистиками Пришвин, «молодой писатель» ни в салоне Мережковского, ни в памяти его участников большого следа не оставил.

Ему и правда было там очень непросто. Он понимал, что у Мережковских собирается элита («старые закоренелые индивидуалисты-аристократы от литературы», как назовет он позднее Мережковского и Гиппиус), и чувствовал некоторую свою ущербность, провинциальность, если угодно.

Вот характерная жанровая сценка из заседания общества в широком составе. В ответ на призыв Гиппиус к смущенному дебютанту («что же вы молчите?») Пришвин начал говорить о каких-то волновавших его вещах и вдруг...

«- Боже мой, - сказал кто-то, - да ведь вы были рядовым марксистом. Вы об этом говорите.

Все этому засмеялись. По-моему, это был настоящий смех книжников и фарисеев, вообще филистеров, людей, никогда не бывших «рядовыми» и, значит, некрещеных».<sup>[221]</sup> И он - бросился защищать марксистов от нападок декадентов, используя вполне декадентские образы: «И мы пошли за мир и женщину будущего в тюрьму. Допросы, жандармы, окно с решеткой, и свет в нем... Женщина будущего, кто она, мать, сестра, невеста, в сердце рядового, в его смятенной, смущенной душе рождается образ Прекрасной Дамы, - нужно быть рядовым!»

Человек самолюбивый и честолюбивый, что никак нельзя вменить ему в вину, с положением «ищущего, но не нашедшего», как звали его в кругах Мережковского, Пришвин вряд ли мог смириться. В том самом необыкновенно искреннем и серьезном письме-исповеди к покойной матери, которое я уже цитировал, говоря об отношениях с Ефросиньей Павловной, Пришвин так объяснял свое состояние не только в начале литературного пути, но и тогда, когда он был уже признанным писателем и автором трехтомного собрания сочинений:

«Знаешь, я как-то робею перед другими писателями, мне кажется, что надо на что-то опираться. Но раздумывая о написанном ими раньше, я вижу, что ошибаюсь: и они тоже опираются на иллюзию (вдохновение), и они тоже все испытывают это состояние без опоры».<sup>[222]</sup>

Он ведь был отнюдь не юношей, когда переступал пороги литературных гостиных или редакций толстых журналов. И вхождение его в литературу не было ни стремительным, ни ослепительно ярким, как у литературных баловней модернизма, не было у него на счету ни одного серьезного литературного знакомства со стариками, как у Бунина с Чеховым или у Горького с Толстым. Знаменитый Бердяев был его ровесником, Блок был Пришвина моложе на семь лет, Ремизов – его учитель – на четыре. И Белый, и Ахматова, и Иванов-Разумник – все они были куда более молодыми и известными. А блестящая эпоха Серебряного века тем и была знаменательна, что ее творцы вырастали на глазах, молодость, талант, слава – были едва ли не синонимами, стариками считались Брюсов и Анненский, и вот появляется этот странный угловатый человек – сектант не сектант, поэт не поэт, этнограф не этнограф, годный разве только на то, чтобы с ним «поваландаться у хлыстов», как небрежно отмечал в Записных книжках Блок.

Разумеется, литература – не бег наперегонки в разных возрастных группах и не соревнование по датам рождений, в конце концов и академик Бунин сильно уступал своей славой Горькому или Леониду Андрееву, но никогда не общался много с людьми, которые были ему неприятны, и в «Окаянных днях» позволил себе сказать, что об этих людях думал: «В русской литературе теперь только „гении“. Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь

Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении?

И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание».

По большому счету никто из этих «гениальных» декадентов и не декадентов Пришвина всерьез не воспринимал. Когда в середине 20-х Горький из Италии принялся петь дифирамбы его прозе, Пришвин совершенно искренне откликнулся на это восхваление грустными строками о том, что слава не радует его так сильно и не столь нужна, как была нужна тогда, в пору молодости и неуверенности в себе. «20 лет назад написал „Колобок“ и никто его не читал. Теперь же, когда началась какая-то притупленность – начинают меня замечать»[\[223\]](#) [\[224\]](#)

А еще позднее, в годы Второй мировой войны, когда уже скончался в Париже Д. С. Мережковский, написал: «Вспомнив по случаю „машинного вторжения“ времена Мережковского, увидел себя самого собакой, умными глазами следящей за речью людей.

Стыдно и больно!»[\[225\]](#)

Несмотря на свою эксцентричность, революционную биографию, полукочевой образ жизни и «лесную жену», Пришвин был для модернистов чем-то чересчур пресным, «статуеобразным», как выразился Розанов, «вам 16 лет, вы наивный человек», сказала Гиппиус, ему не хватало не таланта, нет, но «гениальности», блеска, сверкания, личного магнетизма, которым щедро были наделены окружавшие его люди, и постоянно надо было им что-то доказывать («Ясно вижу себя корявеньким, неладным топориком, определившим все мои отношения с литераторами», – писал он позднее в «Глазах земли»). Мало того что Пришвин казался окружающим духовно незрелым подростком – он поразительно долго оставался начинающим писателем,

очеркистом, журналистом, при том, что внутренний его рост был огромным, о чем свидетельствует прежде всего Дневник. А если прибавить к этому еще и непомерное самолюбие (немало из-за него претерпев, в зрелые годы он замечательно написал: «Мне как-то боязно решиться ампутировать мой раненый орган самолюбия, мне кажется, что без него я лишусь самой способности крутить папиросу необходимого литературного тщеславия и буду просто добродетельным человеком»), мы увидим человека весьма несчастного и неуверенного в себе (идеальная кандидатура для поступления в секту).

Тот же Блок, устным отзывом которого на свою книгу «За волшебным колобком»: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то»<sup>[226]</sup> Пришвин так гордился и, по-разному расставляя акценты, его неоднократно передавал (ср. в Дневнике 1922 года: «Это не поэзия, то есть не одна только поэзия, тут есть что-то еще»), довольно холодно, хотя и очень деликатно – тем более что Пришвин сам попросил его об этой рецензии – отозвался о книге «У стен града невидимого».

Отдавая должное языку молодого писателя («М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей „показной“ и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало этого, он умеет показать, что богатый русский словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатство русского языка доселе далеко еще не исчерпано»), Блок заключил: «К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это – богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения».<sup>[227]</sup>



То есть, если переводить с условно-критического политкорректного языка, – это не литература.

Не менее жестка была и Зинаида Гиппиус, которая прямо использовала фигуру Пришвина для того, чтобы проиллюстрировать важные для нее тезисы: «Личного, личностей сейчас очень мало в нашей прекраснейшей литературе. Оттого так и однообразен удивительно-тонкий приятный стиль современных писателей художников. Отличить сразу Городецкого от А. Толстого, Ауслендера от Городецкого или даже от Чулкова – очень трудно. Я уже скорее отличу от Пришвина (и то не сразу), но потому, что Пришвин особенно характерен, его „бессодержательность“ особенно откровенна; при обычной яркости и образности языка, при всей художественности его описаний он сам до последней степени отсутствует; и это делает его очерки или дикими от бессмыслия, или просто-напросто этнографическими». [\[228\]](#)

Собственно говоря, открыл, или, как бы мы сегодня сказали, раскрутил Пришвина не Мережковский, не Блок и не Гиппиус, а Р. В. Иванов-Разумник, написавший в 1910 году уже не раз упоминаемую нами апологетическую статью «Великий Пан», в которой прямо отталкивался от литературной неизвестности своего героя и пенял ей недругам: «С каким радостным чувством читаешь книги М. Пришвина. Имя это, повторяю, пока мало кому известно, и вряд ли много говорит оно даже тем, которые имя это знают». [\[229\]](#)

Мало говорит, потому что, по мнению Разумника Васильевича, Пришвин имел неправильную репутацию «почтенного этнографа, объективного исследователя народной жизни и творчества, публициста старой, московской либеральной газеты...», и в своей статье Иванов-Разумник попытался эту ситуацию переломить: «Многим ли придет в голову, что эта характеристика не

имеет ничего общего с действительностью, что перед нами не объективный этнограф, а чуткий и тонкий художник, быть может, субъективнейший из всех современных, художник в этнографии, художник в своей псевдо-публицистике. Поистине: дух дышит, где хочет...»

Но это только в 1910 году, и это Иванов-Разумник, которого декаденты самого ставили не слишком высоко и который, к слову сказать, через год-другой вдребезги разругался с Религиозно-философским обществом, в своей статье (вернее, статьях – позднее он объединил их в одну) «Моховое болото и клопные шкурки» обвинив почтенное собрание в «беспочвенности и надпочвенности», в «бесплодном плетении словесных узоров» при «страшной жажде почвы, земли, живой крови, духа жизни» и при этом, что характерно, побивал всех врагов с помощью дубинки, в роли которой оказалась повесть Михаила Михайловича «Никон староколенный».

Пришвина это прямо не коснулось, хотя он в противостоянии Разумника Васильевича с элитой был все-таки ближе к религиозно-философам, но кто мог тогда представлять истинную цену путешественника в «гордо замкнутом кружке декадентов», где Пришвин вращался, как неофит среди хлыстов, кроме разве что Ремизова, тем более что и тот очень долго относился к Михаилу Михайловичу снисходительно?

На заседаниях общества этнограф наш больше помалкивал, дневников его, разумеется, никто не читал, а дореволюционная проза Пришвина, как бы хороша она ни была и как ни нахвалил ее будущий идеолог скифства и враг Плеханова, не могла конкурировать с лучшими образцами его современников, по крайней мере, по степени известности.

Чем как не робостью и неуверенностью в себе объяснить то, что в 1914 году он написал Бунину: «Меня

очень радует ваше приглашение издавать свои книги у вас. Мне было бы много приятнее при помощи вашего издательства стать на собственные ноги». [\[230\]](#)

Неужели семи лет в литературе, нескольких книг и трехтомного собрания сочинений было недостаточно для того, чтобы подняться? И чем отличается это благодарное почтительное признание от первых записей 1908 года?

«7 окт. 1908 г. Я уже член совета р.-ф. общества... Мне открывается что-то новое... большое, я понимаю значительность этого знакомства. Но многое мне не ясно... Оттого что я не чувствую одинаково... Мне кажется у них много надуманности...»

«Литературная жизнь вся на булавках».

А с другой стороны – «Появился Пришвин, вид у него гордости необычайной, как некий мыш в крупах, так смотрит», – писал в 1912 году Ремизов Иванову-Разумнику, [\[231\]](#) и очевидно, что эта гордость была оборотной стороной уязвленности.

Впрочем, в 1914 году Пришвин написал замечательный во всех отношениях очерк «Астраль», где есть слова, раскрывающие его мировоззрение в декадентские годы: «Я был бы совершенно неправ, если бы все современное „религиозно-философское движение“ в интеллигенции характеризовал бы психологически как стремление повертеться с хлыстами. Совсем даже напротив, тем оно и отличается от всех прежних движений, что стремится отстоять внецерковную культуру, которой тайно враждебно православие и явно враждебно хлыстовство, но для живого человека и нетерпеливого крайне тягостна эта ученая религия, в которой „Христос и Антихрист“ обратились в героев исторического романа. Признавая разумом всю огромную ценность задач людей, взявших на себя крест спасти во Христе мировую культуру,

втайне, сердцем, я, как понимаю теперь, был с людьми, протестующими этому движению, и горел любопытством посмотреть, как они, такие ученые люди с лысынами и в очках, будут вертеться с хлыстами».

Здесь Пришвин, пожалуй, впервые весьма корректно, но очень прямо и открыто выступил против Мережковского и обозначил собственный путь – живого, а не книжного человека, – однако окончательно неуверенность в себе пропала через много лет, когда не осталось на Руси декадентов, а оставшиеся были не в чести. К той поре относится хлесткое и проясняющее положение вещей признание, сделанное почти двадцать лет спустя после того, как он попадает в «секту» Мережковского – секту «служителей красоты», как называл Пришвин декадентов.

«6 мая 1926. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга».

Любопытно и то, что эта цитата из Дневника, опубликованная в восьмом томе собрания сочинений Пришвина, в полном, пока еще не опубликованном тексте Дневника, помещена в контекст пространственных размышлений Пришвина об отношениях декадентов и проституток (эту тему подсказали ему воспоминания Горького о Блоке, в частности, то место, где Горький пишет, как проститутка заснула у Блока на коленях и он не посмел ее потревожить, но потом все равно заплатил двадцать рублей и тем ее оскорбил).

Впрочем, по отношению к декадентству Пришвин был еще более противоречив и разноречив в оценках, чем по отношению к В. В. Розанову, В. П. Измаковой, С. П. Ремизовой или Е. П. Смогалевой вместе взятым. То он полагал, что «декадентство было самым блестящим периодом русского искусства» и «что бы враги ни

говорили о религиозно-философских собраниях, а историк отметит это искание Бога перед мировой катастрофой». То вдруг у него вырывалось: «Жалкое искусство нашего времени, краденое... и пр.».

То сравнивал его в «Журавлиной родине» с болотной обманкой, на первый взгляд привлекательной, но чудовищно опасной («Это искусство было похоже на удивительное сплетение белоснежных купав и золотистых кувшинок, прикрывающих иногда на болотах бездонные окнища»).

Декадентство для него – это «литература Европы, всех ее эпох, опрокинутая в чан русского варварства (...) очень похоже на революцию большевизма с ее идеологией европеизации».

А то встретится и вовсе парадоксальное, противоречащее тому, что говорил о декадентах и их собраниях: «Мережковский и хлысты спасали культуру через Эрос. (...) Быть может, никогда литература так близко не стояла к народу, как в эпоху декадентства».

Но тут же, через страницу: «Декаденты, вероятно, литераторы, а я не литератор...»

Все вместе эти наблюдения и мысли являют собой картину довольно противоречивую, если не хаотичную.

Но не исключено, что этот хаос был заложен в некую декадентскую программу. Не случайно же, когда один из членов Религиозно-философского общества сказал, что хочет заняться «систематизацией сектантского хаоса», то встретил суровую отповедь самого Мережковского: «Но мы как раз и дорожим этим хаосом». [\[232\]](#)

## Глава IX

# КОНЕЦ СВЕТА

И все же, если не литератором, то кем он был – Михаил Михайлович Пришвин, более известный как географ и, по собственному признанию, спасавшийся в этнографическом от психологического и субъективного?

В дневнике двадцатого года встречается такая запись: «Материалы к биографии: Четыре полосы: 1) бегство в Америку, 2) марксизм, 3) Париж, 4) литература.

Когда вдумаешься, почему я не стал, как Пржевальский, то помехой всюду является «она», т. е. трепетное стремление к женщине несуществующей. Это непростое отношение к действительности и заграждало путь к действительности (неврастения).

«Америка» и литература – сильный человек, открыватель новых стран. Париж и марксизм – жертвенность, женское начало, способность отдаться».  
[\[233\]](#)

«Она» – это пришвинская Прекрасная Дама, Марья Моревна, а затем и В. П. Измалкова, по которой он не переставал томиться, – по-видимому, самый тесный, интимный и верный момент сближения писателя с декадентством как мироощущением, когда реальной жизни предпочитается, навязывается мечта, которая служит мощнейшим творческим стимулом. С подобным мировоззрением писатель сведет счеты годы спустя в «Женьшене» и «Фацелии»...

Но помимо Прекрасной Дамы было еще одно обстоятельство. Если от марксизма Пришвин вроде бы избавился, то со второй русской болезнью – притяжением Апокалипсиса – все обстояло гораздо

сложнее. Об апокалиптических настроениях в русском обществе начала века написано много, и к герою нашего исследования все это имеет самое непосредственное отношение. Может быть, именно апокалиптичность сознания и сблизила его когда-то с декадентами, и оттого созвучны его настроению были идеи апокалиптического христианства, которое нередко считают русским религиозным возрождением и которое дало целую плеяду блестящих имен в философии и литературе.

Так, развивая мысли Вл. Соловьева с его идеей торжествующего христианства и объединения Церквей, позволяющей победить Страшного Зверя, сильно повлиявшей на символистов и предопределившей теургический характер их литературы, в одной из программных статей А. Белый писал:

«Русская поэзия, перебрасывая мост к религии, является соединительным звеном между трагическим мирозерцанием европейского человечества и последней церковью верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем. Русская поэзия обоими своими руслами углубляется в мировую жизнь. Вопрос, ею поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближением Конца Всемирной Истории».<sup>[234]</sup>

Пришвину все это было понятно и близко, не случайно он оставил об авторе «Петербурга» и «Серебряного голубя» (книге Пришвину чем-то очень созвучной, не зря же во сне являлась ему Ефросинья Павловна в образе хлыстовской богородицы) весьма примечательные строки: «Когда думаю о литературе, – что сделал для нее Андрей Белый, – то чувствую себя совершенно ничтожным: какой я литератор!»<sup>[235][236]</sup>

В русской культуре существовали два образа Апокалипсиса, и самое глубокое обоснование и характеристику русской апокалиптике в двух ее проявлениях дал еще один член Религиозно-философского общества, тогда еще не иерей С. Булгаков: «Душа русского православия, при наличии клерикального спиритуализма, на поверхности, преимущественно в иерархии, в глубине своей всегда была доступна апокалиптическому трепету и предчувствиям <...>

Русский апокалипсис имеет двойкий характер, соответственно двойственности и самих апокалиптических пророчеств, – мрачный и светлый. В первом случае воспринимается их трагическая сторона, причем апокалиптика принимает эсхатологическую окраску, с предвестиями скорого конца мира, иногда не без паники и духовного бегства от современности в эсхатологию. Особенно ярко эта эсхатологическая паника проявилась в русском расколе, который, хотя и отделился официально от Церкви, однако в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью. Появление антихриста в лице императора Петра Великого, прекращение благодатного священства благодаря ереси, наконец, печать зверя, которая налагается на всех безбожным государством, таковы были свидетельства в глазах раскольников о конце мира, и это побуждало самых ревностных бежать в леса и там самосжигаться, огненное крещение предпочитая жизни под властью антихриста. Но наряду с этим возникла легенда о светлом граде Китеже, хотя и опустившемся на дно озера по смотрению Божию, но доступном очам достойным. <...> Наряду с этим народным эсхатологизмом в течение всего XIX века, как и в наши дни, в кругах высшей интеллигенции оживает иная апокалиптика, полная надежд и предчувствий



новых, еще неизведанных возможностей в жизни Церкви. <...> Одна общая вера соединяет апокалиптически настроенные круги, - история не только не стоит уже перед раздирающим концом, но еще внутренне не окончена». [\[237\]](#)

Очевидно, что генетически Пришвин с его старообрядческими корнями и эсхатологическим испугом вышел из той традиции, которую его земляк и однокашник по елецкой гимназии связывал с народным эсхатологизмом, с темным его образом. Пережив это чувство в детстве, а затем - в марксизме и тюрьме, Пришвин двинулся в сторону той части интеллигенции, которая в конце цивилизации и истории видела не только гибель старого, но прежде всего нарождение нового, преображение мира. Иначе говоря, грядущий апокалипсис должен был принести не столько разрушение, сколько созидание. Эсхатология осмыслялась как бы со знаком плюс, а конец всемирной истории не означал для символистов катастрофу, экологическую, военную, национальную или какую бы то ни было еще (ни одна из ужасных химер двадцатого века перед ними не возникла) - это был апокалиптицизм предчувствия, где важнейшую роль играли интуиция, озарение и пророчество, и искусству отводилась роль новой жизнеутверждающей религии.

Именно это очень важное соображение позволяло А. Белому отмежеваться от декадентов (в его понимании) и сказать: «Нас называли „символистами второй волны“; для меня это название значило: „символисты“, но не „декаденты“. <...> Декаденты - те, кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга». [\[238\]](#) В этом качестве Белый был не одинок, но как теоретик искусства он наиболее четко сформулировал апокалиптическую религиозную устремленность нового искусства и его беспрецедентные теургические цели.

Для младосимволистов, последователей Вл. Соловьева «перепрыг» был возможен, ибо художник в их восприятии – творец мира, демиург, союзник Бога на земле, а искусство – религиозно, способно изменить мир и подчинить его себе и создать нового человека, и это светлое, мистическое отношение к миру, которое С. Булгаков позже назвал «положительным чувством истории», неожиданно оказалось для Пришвина чрезвычайно близким именно по контрасту с ужасом конца; положительного, утвердительного смысла и искал он всю свою жизнь.

Молодой петербургский писатель, путешественник и журналист, безусловно, внимательно читал одну из самых важных, ключевых книг начала века – сборник «Вехи», и мимо него не могли пройти слова С. Булгакова: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божиим (в пришвинской терминологии Китеже. – *А. В.*), о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. <... > Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении».<sup>[239]</sup>

Сходные мысли были и у Н. Бердяева. Вот как много лет спустя, уже в эмиграции, он более трезво и адекватно описывал эту ситуацию: «Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально обозначали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере

надвигающейся войны и огромной революции. Ничего устойчивого не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но весь мир переходил в жидкое состояние. Но апокалиптическое настроение, ожидание грядущих катастроф у русских всегда связано и с великой надеждой. Русский народ, подобно народу еврейскому, – народ мессианский. В лучшей части он ищет Царства Божьего, ищет правды и уповает, что не только день Божьего суда, но и день торжествующей Божьей правды наступит после катастроф, испытаний и страданий. Это есть своеобразный русский хилиазм».

[240] Подобное ощущение затрагивало и российскую интеллигенцию, и народные массы. Так, известный исследователь сектантства А. Пругавин писал в 10-х годах XX века: «И сейчас, как в былые далекие времена, вновь оживают эсхатологические чаяния, т. е. ожидания близкого конца мира, скорого второго пришествия Христа. И, пожалуйста, не думайте, что эти верования захватывают только какие-нибудь темные низы крестьянской массы. Совсем нет! И среди привилегированного общества, среди столичной интеллигенции вы можете встретить немало людей, взволнованных и встревоженных идеей скорого второго пришествия».

[241] Страстное, пылкое обращение интеллигенции к народу, ее болезненное самоощущение в отрыве от него вызвало поворот, пристальное и даже патологическое внимание к наиболее темным, иррациональным сторонам жизни, к сектантству, к расколу в его самых радикальных толках и согласиях, а следовательно, и к раскольничьей апокалиптике. И вот факты: с одной стороны, небывалый интерес интеллигенции к «низам»: уход Добролюбова, [242] с другой – приход Клюева, появление повести А. Белого «Серебряный голубь», свидетельствующей о том, как

переосмыслялся духовный опыт так называемых «темных людей». Все это вполне укладывалось в сознании русского человека, подчиня себе даже людей образованных.

Именно апокалиптичность сознания (и светлая, и темная) стала той самой обетованной почвой, где состоялась долгожданная и чаемая встреча интеллигенции и народа, схлестнулись два потока и преобразовались в один, но встреча оказалась губительна, ибо в действительности почва была заражена, и на мятущиеся, замороженные стихией души Апокалипсис воздействовал разрушающе.

Пришвин не мог быть в стороне от всех этих споров. Они волновали его душу, в мудреных разговорах с Мережковским о Третьем Завете он торопился наверстать упущенное, он знал об этих вещах не понаслышке – то был его глубоко выстраданный личный опыт.

«Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение.

Все тончайшие изгибы этого чувства мне хорошо известны, и оно держалось во мне несколько лет, имея наиболее сильное напряжение в тюрьме и быстро ослабевая в бытность мою в Германии, потому что там мой марксизм я увидел в форме того мещанства, которое так ненавидел Ленин. Но вполне я освободился от большевизма, лишь когда заговорили с другого конца, и был пожаром переброшен на другой полюс и вплотную подошел к декадентству. (...)

Существуют целые тома писаний об этом предмете таких выдающихся людей, как Струве или Бердяев, но именно потому, что они люди исключительно образованные, вожди – и притом умственно

загруженные люди, нельзя по ним судить о всем. Я же был настоящим прозелитом, рядовой овцой в этом стаде, и мои замечания должны объяснять психически широкие массы народа». [\[243\]](#)

Через апокалиптический запал Пришвин попал в тюрьму и едва не сошел с ума, чуть-чуть руки на себя не наложил и, исцеленный природой и Ефросиньей Павловной, трезво смотрел на вещи, будучи в этом совершенно одиноким. Русскую интеллигенцию тянуло к сектантам (там была свежая кровь), сектанты, много десятилетий угнетаемые правительством и господствующей Церковью, видели в интеллигенции защиту, – это был своеобразный социальный заказ времени («Вообще все бы с удовольствием повернулись, а потому заискивали у хлыстов» [\[244\]](#)), и Пришвин вызвался быть проводником в этот вертящийся мир, он был словно для этого рожден и, таким образом, сделал своеобразную карьеру в тогдашнем литературном мире и в журналистике, печатая статьи о сектантах в «Русских ведомостях», а позднее составив из этих материалов третью часть своей четвертой книги «Заворошка».

Пришвину все это было интересно и понятно; он имел определенный опыт общения с людьми этого склада и пользовался у них авторитетом, что было не так просто, и именно благодаря своей компетентности в сектантских делах писателю удалось идеально точно занять нишу в только кажущейся хаотичной литературной мозаике тех лет – на самом деле строгой и упорядоченной системе и даже иерархии, где у каждого, от мэтра В. Брюсова до олонецкого мужика Н. Клюева, были свое место и своя роль, а те, кто путался в словах, уходили и сами основывали секты.

Прийти, как Клюев, и читать нотации Блоку или уйти, как Добролюбов, и назидательно замолчать

(«Помолчим, братие!») Пришвин не мог или не хотел, но вот стать проводником, сталкером, перекинуть мостик от народа к интеллигенции и, как справедливо написал А. Эткинд, уделивший, правда, слишком много внимания сектантской теме в творчестве Пришвина, легко ходить туда и обратно – это у него получалось великолепно. Он возил Вяч. Иванова к хлыстовской богородице, а потом молодая красивая женщина со строгими чертами лица, с головы до ног укутанная в черную шаль, сидела на лекции поэта-эллиниста. Он звал с собою к хлыстам Блока, был своим человеком в секте «Начало века» и «не раз приводил на край ее чана людей из нашей творческой интеллигенции».

Дома у него собирались хлысты, и он готовил их к выступлению в Религиозно-философском собрании; ввел в него И. С. Проханова, сектанта-молоканина, теолога, издававшего в Петербурге журнал «Духовный христианин» (это как раз он, к неудовольствию Мережковского, собирался привнести «логику» в сектантский хаос); после Закона о свободе совести и вероисповедания подпольная, неортодоксальная Русь вылезла наружу, и до каких только фантастических вещей не договаривались ее вожди и рядовые адепты, и как часто вспоминались эти люди и эти споры потом, когда вспыхнул русский бунт, но тогда все казалось живым, новым, внушало надежду, радость, опьянение.

Пришвину в этом «пассионарном» мире, куда стремились проникнуть и «повертеться» русские интеллектуалы, доверяли, в нем было некое обаяние – он нашел себя – хотя больше в петербургских сектах, чем среди заволжских староверов.

«Во время одной из ночевок в лесу, у костра, заходит разговор на отвлеченные мистическо-философские темы, – вспоминал поход к Светлояру в обществе старика-раскольника К. Давыдов. – Наш начетчик, человек вообще малоразговорчивый,

враждебно отмалчивался».<sup>[245]</sup> Изумительно верная деталь отношения народа к интеллигенции, вряд ли признаваемая участниками Религиозно-философского общества. А вот петербургские сектанты – это другое. Им внимание писателей льстило, хотя, как заметил Пришвин в очерке «Круглый корабль», Легкобытов «не затем ходит в наше Общество, чтобы учиться, а хочет привлечь на свою сторону интеллигенцию».

И все же наивно было бы полагать, что роль спеца (спецчеловека) по сектам Пришвина вполне удовлетворила.

Да, он хорошо представлял себе мировоззрение вождей декадентов, о которых тот же Легкобытов отзывался так: «В них есть что-то большое, в них есть частица того, что и у меня, но только они с небом играют...»;<sup>[246]</sup> многих из этих «игроков» писатель искренне уважал, даже любил («Будучи целый год вдали от столицы, я спрашивал часто себя: что делает в это время Мережковский? На него у меня была в душе надежда, потому что его я люблю как человека и уважаю как большого писателя и даже учителя»<sup>[247]</sup>), считал эту страницу в истории русской культуры чрезвычайно важной и впоследствии пытался написать роман «Начало века», где Мережковский должен был быть выведен в образе Светлого иностранца, несущего своей незнакомой родине свет, – замысел, которому не суждено было воплотиться, – но все же с сектантством Пришвин себя не отождествлял, с самого начала заняв позицию наблюдателя, а вовсе не адепта или неофита. Он мог водить дружбу с сектантским вождем Легкобытовым, что замещало ему отсутствие дружбы с Розановым («Легкобытов есть верующий Розанов»<sup>[248]</sup>), защищать охтенскую богородицу Дарью Васильевну Смирнову, но, казалось, ничто не могло поколебать его психически здоровую натуру, и, ведя эту

захватывающую игру, Пришвин, похоже, ничем не рисковал.

Ему не изменяла трезвость и зоркость мышления, он не попадал ни под чье влияние до самозабвения, как А. Белый – в плен к Штейнеру и теософам, не сталкивался с проблемой алкоголизма, как Блок, не был гомосексуалистом, как Клюев или Кузмин («все эти импотенты, педерасты, онанисты, мне враждебные люди, хотя были бы и гениальными: я не признаю. Моя жена с огромными бедрами, и мне было с ней отлично»<sup>[249][250]</sup>).

Он был психически здоровым человеком, и это свойство также выгодно отличало его от болезненной и изнеженной декадентской среды.

«У вас, – сказал Мережковский, – биографически: вы не проходили декадентства.

– А что это значит?

– Я – бог. Нужно пережить безумие. А вы здоровый...»<sup>[251]</sup> Здоровый-то здоровый, но все же странности в его характере были, фантастическое мешалось в голове с реальным, и в какой-то мере и он допускал для себя возможность примкнуть к сектантам:

– Бросьтесь в чан, и мы воскресим вас, – говорил Легкобытов.

– Вы близкий, – делала ему комплимент охтенская богородица.

В ответ на этот призыв, заглядывая в себя, он ощущал «волну большой любви, похожей на счастье», в которой тонут все его мучения, злость и пр. Это состояние очень близко к тому, чтобы забыть свое «я» и уйти в секту, волна для него, а следовательно, и секта – возможность выхода из одиночества, от которого Пришвин многие годы страдал, и то, что он называет волной, стихией, плазмой, было его путеводной звездой:



«Та же самая волна ведет и в тюрьму, и к ней, и в литературу, и в степь: расширение души после греха».  
[\[252\]](#)

Что было у него общего с хлыстами? Собственная судьба – вот что!

Трагическое разделение плоти и духа было ему хорошо знакомо, он через это прошел и в пору работы над автобиографическим романом написал: «Если бы не было Павловны, то Курымушка превратился бы или в хлыста, или в трагическое лицо „с неправильным умом“». [\[253\]](#) Но тогда смотрел на эти вещи иначе: «Православие – покой и смирение, хлыстовство – движение, внутреннее строительство и гордость. Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его страшный двойник, это подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в темное будущее».

Поскольку мечтой о будущем он был болен всю жизнь, что, по-видимому, и оказалось через несколько лет главной точкой соприкосновения его с большевиками (с «идеальными» большевиками, как поправил бы сам Михаил Михайлович), то определенный риск оказаться в этой секте не просто любопытствующим, но ее верным адептом, для писателя существовал.

«Жизнь наша – чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного, и знаем, у кого какая рубашка: нынче она у меня, завтра у соседа. Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа», – говорил Павел Михайлович Легкобытов.

И все же Пришвин в 1910 году никуда не бросился и даже не колебался, он хладнокровно взял из этого чана то, что было ему нужно (хотя бы вот это: «Как это мудро у хлыстов: человек работает – Бог спит, человек спит –

Бог работает. Да конечно же, Бог не умер, а спит»<sup>[254]</sup>), и отошел в сторону.

И для него сектантский мир был потрясением, как и для всей интеллигенции начала века, но, слава богу, он не встретился с этими людьми раньше, в пору брожения молодых соков и половой неудовлетворенности, когда его могли бы подвигнуть и на самое радикальное решение мучившей его проблемы, а был теперь вполне зрелым человеком, и игра с хлыстами и в хлыстов была для него, если так можно выразиться, управляемой ядерной реакцией.

Минуты колебания были ведомы и этому человеку.

– Пожалуй, лет через пять и я к вам перейду, – сказал однажды Пришвин Легкобытову.

«– Через пять! – удивился он, и я понял, что меня они уже считают своим». <sup>[255]</sup>

Однако история со «школой народных вождей» не повторилась. «В том-то и ужас хлыстовства, что у него разделение человеческого существа не скорбь, как у нас, а вполне сознательная мера. И никаких законов общественных, государственных и всяких других для нас, природных людей, из их учения вывести нельзя. Нашу жизнь они живут по нашим законам, свою духовную по своим особым законам духа». Но в пору работы над «Кашеевой цепью» писатель оставил в Дневнике такие неслучайные слова: «Я сам по природе своей близок к сектантству, но избежал его (убежал)». <sup>[256]</sup>

Тогда же, в Дневниках середины двадцатых годов, встретится и еще несколько важных записей, в которых Пришвин объясняет суть «декадентско-сектантского» периода в своем творчестве: «Идеи, мне кажется, как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея

Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле (...) Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела.

Вот теперь я начинаю понимать, что так разделяло меня с романтиками, почему Блок, Пяст, Гиппиус, Карташов и другие казались мне людьми какой-то высшей породы, высшего постижения, высшей учености, чем я, и в то же время одной половинкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми, кто из них был выше других.

Вот почему так. Они были литературно, бумажно романтиками: они, получив какой-нибудь слабый жизненный толчок, целиком ушли в словотворчество, прислонясь к тому светилу прошлого, от которого у нас теперь осталась только идея или долетающая до нас форма давно умершего светила. А я, переживая все то же не на словах, а в самой жизни – да, то же самое в жизни (...) не смея это извлекать из себя, потому что живому жалко с жизнью расстаться, я смотрел как на корректив декадентских богоискателей на жизнь простейших людей, сектантов и проверял их верования, влюбляясь в начале, в конце находил, что эти люди, тоже не овладев собственной жизнью, хватались за ложное солнце...»[\[257\]](#)

Путь этот был не короток и не прям. Давыдов приводит немало свидетельств влечения своего товарища по охоте и путешествиям к сказочному, фантастическому (так, он мечтал поехать в экспедицию в некие Тарбагатайские горы, чтобы искать там следы прекрасной царевны, похищенной у Ивана-царевича, и даже показывал биологу два перышка, которые бросала

возлюбленному догадливая царевна и которые Пришвин якобы где-то нашел).

Быть может, именно этим объясняется его обращение к сказочным образам практически во всех поздних произведениях («Осударевой дороге», «Корабельной чаше», «Кладовой солнца»), но это скорее проблема творческого метода, а не индивидуальной психологии.

Для того чтобы быть декадентом, надо было полностью декадентству отдаться, для того чтобы сектантом – броситься в чан, никакая половинчатость здесь в расчет не шла и не принималась, броситься наполовину нельзя – а Пришвин осторожничал, потому и уцелел и сквозь все прошел. Проскочил – как отзывались в 1898 году елецкие соседи о студенте-неудачнике, вышедшем из тюрьмы. Точно так же «проскочил» он через все перипетии века, через декадентство и сектантство.

Но одну чрезвычайно важную идею от символистов и, говоря шире, от людей «начала века» Пришвин ухватил и воплотил гениально. Это была идея жизнотворчества, отношения к человеческой жизни как к произведению искусства – именно ее писатель и выстроил, переосмыслил, преобразил на свой лад («Я из себя живу, они – от судьбы»<sup>[258]</sup>). Он искал свой путь, хотел жить не чужим, но своим умом, и главный итог его исканий начала века был выражен им в самый первый год вступления в партию декадентов (хотя, используя термин чуть более поздних времен, он был скорее попутчиком, нежели действительным партийцем) – так что можно было дальнейший огород и не городить и никаких салонов не посещать, разве что из любопытства. Прирожденный охотник имел очень быстрый и цепкий ум и так же лихо, как с Олонецкой губернией на диво тамошним этнографам или с

ветлужскими сектантами, к удивлению религиоведов, очень скоро разобрался и со своими духовными поисками и сомнениями едва ли афористическим образом: «По-мужицки верить нельзя... По Мережковскому тоже нельзя... По своему?.. Но я не религиозный человек. Мне хочется самому жить, творить не Бога, а свою собственную, нескладную жизнь... Это моя первая святая обязанность». [\[259\]](#)

И через несколько лет, в 1914 году, закрывая свое декадентство и объявляя его изжитым: «Моя натура, как я постиг это: не отрицать, а утверждать; чтобы утверждать без отрицания, нужно удалиться от людей установившихся, жизнь которых есть постоянное отрицание и утверждение: вот почему я с природой и с первобытными людьми». [\[260\]](#)

## Глава X СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

Первобытные люди – это скорее всего о «Черном арабе» – пожалуй, наиболее удачной и совершенной в художественном отношении пришвинской дореволюционной книге. Писатель отправился на сей раз в киргизские степи, откуда намеревался привезти большой трехчастный роман-очерк вроде «Колобка», но вместо растянутого аморфного повествования создал энергичный, яркий и сжатый рассказ о степных жителях, который привел в восторг М. Горького – еще одного пришвинского товарища по цеху, с кем они вместе будут творить литературу советскую и говорить вслух многочисленные взаимные комплименты, в глубине души оставаясь друг о друге не слишком высокого мнения.

Буревестник революции, как ни сближали двух писателей ницшеанский мотив и сумбурные религиозные поиски, в том числе – интерес к сектантам и сектанткам (см. третью часть «Клима Самгина»), ни тогда, ни позднее не был пришвинским богом или учителем.

«Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому? А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам...»<sup>[261]</sup>

В той чудной пришвинской вещице более всего сказалось влияние Ремизова, посоветовавшего Пришвину написать о степном оборотне, и главным героем рассказа оказался не бродячий интеллигент, а таинственный черный араб, едущий из Мекки по степи куда глаза глядят, в то время как слух о его

передвижении разносится на многие километры вокруг. Именно в «Черном арабе» родилось знаменитое:

«- Хабар бар? - Бар!» («Новости есть? - Есть!»), которое служило условным сигналом в его общении с Ремизовым, а впоследствии спасло Пришвина от верной гибели во время мамонтовского нашествия, чья армия состояла из русских казаков и киргизов.

Любопытно, что сам Пришвин новым произведением удовлетворен не был и писал А. М. Ремизову 12 апреля 1910 года: «Узнав о согласии „Русс<кой> Мысли“ его напечатать, я принялся несмотря ни на что писать, работал три недели без отдыха и вот теперь вдруг все перестало нравиться и не хочу печатать».<sup>[262]</sup>

А редактор литературного отдела журнала В. Я. Брюсов докладывал 16 сентября 1910 года своему начальнику, кадету П. Б. Струве: «В Москве был А. Ремизов (...) Взял для передачи автору корректуры очерков Пришвина („Белый арап“), которого лично знает и очень рекомендует»<sup>[263]</sup> и в другом месте назвал творения Пришвина «полубеллетристической» (письмо Струве от 8.10.1910).

Тем не менее с подзаголовком «Степные эскизы» «Черно-белый араб-арап» был напечатан, и позднее Пришвин так охарактеризовал эту работу: «Это чисто поэтическая вещь, она может служить самым ярким примером превращения очерка в поэму путем как бы самовольного напора поэтического материала».

Рассказчик все больше и больше склоняется к мистификации, почти клоунаде, начатой в «Колобке», где поморы принимают его за важное лицо из Петербурга, ожидая, что он поделит им море (и эта идея приводит писателя в детский восторг), продолженной в «Светлом озере» («ищу правильную веру») и доведенной в киргизском цикле до совершенства, изящной непретенциозной игры, умение

играть в которую так пригодилось ему в советское время.

В 1922 году, в предисловии к «Черному арабу» Пришвин так охарактеризовал свой «этнографический» метод художественного изображения действительности: «Сущность его состоит в той вере, заложенной в меня, что вещь существует и оправдана в своем существовании, а если выходит так, что вещь становится моим „представлением“, то это мой грех, и она в этом не виновата. Поэтому вещь нужно описать точно (этнографически) и тут же описать себя в момент интимнейшего соприкосновения с вещью (свое представление)». [\[264\]](#)

То есть если некая реалья плохо описана, она в этом не виновата – виноват автор (ср. также «философию наивного реализма»: «Лес значительнее, чем мое описание леса; предмет не исчерпывается моим к нему отношением» [\[265\]](#)). Жизнь всегда права, писатель может ошибаться, неверно ее отобразить, заслонить своим представлением, и отсюда так важна точность и в описании природы и состоянии души художника, поэтому важно раствориться до самозабвения в том, о чем пишешь.

Замечательно, что эта мысль, которую Пришвин впоследствии неоднократно варьировал, была верней всего подсказана ему М. О. Гершензоном.

Именно этот известный литератор и издатель в письме к А. М. Ремизову в марте 1911 года, отчасти развивая идеи Иванова-Разумника, а отчасти с ними полемизируя, дал наиболее исчерпывающую характеристику и пришвинскому творчеству, и его окружению, а самое главное – его перспективам: «Михаилу Михайловичу скажите, что я с наслаждением читаю его книги, что больше всего мне нравится „В краю непуганых птиц“, а „Черный араб“, как ни хорош,



кажется мне слабее, как и „Колобок“, который я, впрочем, еще только читаю (...) Мне кажется, Михаил Михайлович на опасном пути: он хочет осмыслить Панову мудрость, может быть испорченный Петербургом, Мережковским, Шестовым и пр<очими> (...) Очень понятно, что как человек, он хочет понять то, что, войдя через глаза, дымными волнами клубится в его душе. Но понять умом – не ценно, поняв, он обедняет и сам, и для других – убить себя как личность и воскреснуть как художник, а именно как я сказал – не стараться понять, а стараться еще лучше видеть: тогда душевный туман – не родит из себя жалкую человеческую философию, а просто весь поднимется, пронизанный солнцем и станет в душе – солнце и солнце, радостный безмысленный свет». [\[266\]](#)

В этих программных строчках заложена и еще одна идея, которая так часто повторялась в пришвинских Дневниках или, например, в известной статье по поводу поэмы Блока «Двенадцать» (об этом см. главу «Пришвин в восемнадцатом году») – идея враждебной органическому творчеству засмысленности.

Добиться совершенства Пришвину удавалось не всегда, бывало, что описываемый мир растворялся в своем создателе. Это относится ко многим его вещам, в том числе и к «Светлому озеру», хотя, говоря об этой книге, Пришвин восхищался своим умением разобраться в сектоведении. Подобного рода «грехов», когда вещь становилась представлением, и в раннем, и в более позднем творчестве было предостаточно, так что охарактеризовать путь Пришвина в искусстве, путь к слову как постоянное восхождение невозможно, да и он сам так не считал. От многих произведений, написанных в десятые годы («У горелого пня», «Иван-Осляничек», «Саморок», «Семибратский курган»), писатель впоследствии отказался («Вспомнить стыдно,

какой вздор написал под Ремизова»; «"Иван Осляничек" – получилась не вещь, а сосулька»; «"Иван Осляничек", детали бесподобны, а в целом вещь никуда не годится»<sup>[267]</sup>).

Критика также полагала, что он находился под сильным влиянием Ремизова, что признавали и оба литератора. «По русским просторам много живет моих сыновей. Есть среди них молодые (Леонов), есть моих лет (Замятин). Есть и постарше (Пришвин)», – говорил Ремизов.<sup>[268]</sup>

«Всех, кто подражал ему извне, постигла потом печальная участь.

Пришлось и мне испытать на себе некоторое время эту заразу ремизовской кори. Но сам Ремизов ненавидел эти подражания ему, и никто другой, как он сам и освободил меня от себя»,<sup>[269]</sup> – писал Пришвин.

Нелишне привести еще одно мнение Р. В. Иванова-Разумника:

«...Часто считают стиль А. Ремизова и М. Пришвина тождественным.

Это грубая ошибка...Творчество А. Ремизова представляется мне с внешней стороны старомосковским:...кремль...яркая причудливость и гениальность храма Василия Блаженного, хитрые и чудесно сделанные завитушки орнаментов... Творчество М. Пришвина представляется мне староновгородским: кремль... но без орнаментальных хитрых завитков, строгая св. София».<sup>[270]</sup>

Сам писатель так оценивал свой литературный путь: «Некоторую маленькую известность, которую получил я в литературе, я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет никаких, а есть некоторый психологический литературный опыт, и мне кажется, что никто в литературе этого не сделал, кроме меня, а именно: писать, как живописцы, только виденное – во-

первых, во-вторых, самое главное – держать свою мысль всегда под контролем виденного (интуиция). Я говорю „никто“ сознательно, бессознательно талантливые люди делают так все». [\[271\]](#)

Это суждение ценно не только своей самокритичностью, но тем, что писатель понимал или догадывался, что главное им еще не сделано, не написано – он весь впереди, он только накопил огромный опыт и готовится его воплотить, благодарный и безжалостный воспитанник художников начала века, он оторвется от них, и путь его будет совершенно отличен от пути людей, которые его окружали и обучали литературному мастерству. Этот разрыв произошел нескоро и непросто, Пришвин по-прежнему много вращался в литературных кругах, участвовал в собраниях Религиозно-философского общества и, в частности, в том заседании, где шла речь об исключении Розанова вследствие его скандальной позиции по делу Бейлиса (еврея, обвиненного в ритуальном убийстве подростка Андрея Юшинского в 1911 году), бывал на башне у Вяч. Иванова и в салоне Сологуба и продолжал пристально фиксировать все, что происходит вокруг. К этому же времени относится и замысел ненаписанного романа «Начало века», замысел чрезвычайно любопытный во многих отношениях – и прежде всего тем, что Пришвин намеревался провести параллель между одноименной сектой и Религиозно-философским обществом и соответственно – между вождями секты Щетининым и Легкобытовым, с одной стороны, и вождями общества, Розановым и Мережковским – с другой.

Соль этого сравнения крылась в двух обстоятельствах. Во-первых, подобно тому как долгое время Легкобытов находился под сильным влиянием Щетинина и несмотря на все человеческие недостатки

своего учителя и его отвратительный нрав невероятно его любил, так и Мережковский очень любил Розанова при том, что они были людьми противоположного склада, и, более того, Розанов то и дело Мережковского клевал.<sup>[272]</sup> А во-вторых, в 1909 году в секте произошел переворот, и власть от Щетинина, о котором Пришвин писал: «Христом-царем этой секты в то время был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. И все, кто были в чану секты, называли себя его рабами и хорошо знали, что их царь и христос – провокатор, мошенник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный он по телефону вызывал к себе их жен для удовлетворения своей похоти» – иначе говоря – Козел (Розанову повезло, что этот роман создан не был и «Кашеева цепь» – цветочки по сравнению с тем, что могло бы быть написано) – итак, власть перешла к Легкобытову, человеку куда более идеалистическому и, если так про вождя секты можно выразиться, «честному», хотя не менее отвратному.

Коль скоро зашла об этом перевороте речь, надо сказать несколько слов и о его причинах. Сектанты терпели мерзости Щетинина (они подробно описаны на страницах книги Бонч-Бруевича) очень долго, и роль Легкобытова в этом угнетении была отмечена тем, что именно своей ласковостью и вкрадчивостью этот человек гасил давно зревшие очаги гнева. Как знать, если бы не Легкобытов, все произошло бы гораздо раньше (а возмутились бедные люди после того, как Щетинин, уясня для себя меру их преданности, повелел собрать всех малых детей и раздать по сиротским приютам, причем так, чтобы родители не знали, куда попали дети), но, вовлекая в свою секту новых братьев и сестер еще при Щетинине, правой рукой которого он долгие годы был, Павел Михайлович говорил: «Я раб и, если хочешь помочь мне, то придется быть рабом и

страдать. Сколько – не знаю. Я уже 12 лет служу своему господину. Всякий желающий со мной итти лишается всего своего». [\[273\]](#)

Пришвин так описал Легкобытова (в образе сатира) и Щетинина (в образе пьяницы) в очерке «Круглый корабль»: «Увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я попал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие члены общины с большими кроткими блестящими глазами, мужчины и женщины, многие с просветленными лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира, посещающий религиозно-философские собрания.

– Я раб того человека, – сказал он, указывая на пьяницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на свете нет человека, но я отдался ему в рабство и вот теперь узнал бога настоящего, а не звук. (...)

– Я убедился, что ты более чем я, – сказал пророк, – и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами.

– Нет, мы должны знать вперед, ради чего мы умрем, а то как же поверить, что воскреснем, – сказал я.

– Воскреснете! – хихикнул сатир. – Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану вываривались, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мелочь, всякое желание знаем друг у друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно только в самом начале.

Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми.

Пьяница, - узнал я подробности, - не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен, и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который в нем живет. Так жили эти люди. Я не упускал их из виду более двух лет, и на моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, - и выбросили чучело, прогнали пьяницу.

Уступая просьбам пророка-сатира, я знакомил его с вождями религиозно-философского движения. Все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим. Но никто из них не пожелал броситься в чан.

- Шалуны! - сказал сатир и куда-то исчез».

Изгнание Розанова Мережковским в 1914 году Пришвин собирался уподобить восстанию сектантов, «счастливым наблюдателем» которого он был, и читатель может судить, насколько плодотворен был такой замысел и насколько основателен.

Первое, что сделал Легкобытов после своей революции - взял шесть паспортов щетининских рабов, три мужских и три женских, и по своему усмотрению сочетал три пары («Мы с нетерпением ожидали, кому кто достанется», - вспоминал один из «брачующихся») и организовал пир на весь мир, где в качестве гостей присутствовало много разного декадентского народу и... Ефросинья Павловна, которую выдали первый раз замуж примерно таким же образом. Самого Пришвина не было - должно быть, странствовал.

Но вернемся к декадентам. Идея сравнения и уподобления Розанова и Мережковского с известными ему лично людьми была для Пришвина одной из любимейших. Н. П. Дворцова, размышляя о положении писателя между этими полюсами начала века

(Мережковский – полюс идеи, культуры, Европы, интеллигенции, революции, богоискательства, Христа; Розанов – полюс жизни, природы, России, народа, богоборчества и христорборчества), приводит замечательную цитату из раннего Дневника, где Пришвин уподобляет двух своих учителей двум своим возлюбленным – Ефросинье Павловне и Варваре Петровне.

«Я слишком мало отдаю должного Фросе. Между ними двумя моя эта двенадцатилетняя жизнь. Одно без другого непонятно, и одно другого стоит. И вот отчего тянет меня к Розанову, благословляющему живую собой и в Боге осязаемую жизнь. И возмущение Мережковскими и тяга к ним не есть ли отображение любви к этой женщине. От одной я получаю жизнь и смиряюсь, другая отрицает меня живого... Я жил, получая кровь от матери-земли, и тут какая-то большая радость и любовь была и правда, о которой ей нельзя было сказать: для нее это было падение... Падение несомненное и в то же время спасение, как это может быть?»[\[274\]](#)

Роман «Начало века» написан не был, но наброски к нему рассыпаны по Дневнику, который со временем занимал все более значительное место в творчестве Пришвина, записи становились систематическими, глубокими, в них больше обобщений, выводов, рассуждений; и, быть может, именно в эти годы к Пришвину пришло понимание того, что эти тетрадки и есть его главная, сокровенная книга, которая однажды поразит читающий русский мир и послужит его оправданием перед потомками.

Вот еще одно чрезвычайно любопытное наблюдение над кругом знакомых литераторов, большая часть которых так или иначе была связана с декадентством: «Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то

ему только присущей атмосферы – обаятельной лжи. (...) Горький, Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб – все это чрезвычайно обаятельные и глубоко „лживые“ люди (не в суд или осуждение, а по природе таланта). Так что правда бездарна, а ложь всегда талантлива». [\[275\]](#)

И именно потому, что Пришвин невероятно точно обозначил ту линию, по которой происходил водораздел в русской словесности в начале последних времен, и не скрыл свою в тот момент симпатию к одному из двух «лагерей», хотелось бы опять вспомнить Бунина, олицетворявшего совершенно противоположный модернизму и его «обаятельной лжи» полюс. Бунин в ряду названных Пришвиным писателей нет и быть не могло, потому что именно опровержению этой, не только Пришвиным разделяемой точки зрения, но свойству культурной среды и посвятил себя первый русский нобелевский лауреат в области литературы (даже Чехова уличил в обаятельной лжи – не было на Руси вишневых садов – а ведь какой замечательный образ!).

У Бунина страсть к точности и невозможность ухода от правды в обаятельную ложь в самом зачаточном их виде очень верно схвачена в «Жизни Арсеньева» в образе самобытного поэта и скупщика хлеба Ивана Андреевича Балавина, сыгравшего единичную, но весьма значительную роль в судьбе протагониста.

«Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько дай Бог любому туристу, а что я писал? Вспомнить стыдно!

Родился я в глуши степной, В простой и душевной хате, Где вместо мебели резной Качались полати...

– Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе, во-вторых, сравнивать



полати с какой-то резной мебелью верх глупости и, в-третьих, полати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности...»

Замечательно, что стихи эти не просто имитация. Они принадлежат реальному поэту-самоучке Е. И. Назарову, о котором Бунин писал рецензию в журнале «Родина» (1888. № 24. 12 июня). Впоследствии Бунин признавался, что Назаров послужил прототипом Кузьмы в «Деревне» – при том, что в «Жизни Арсеньева» тот же человек выведен совершенно иначе.

Дело, видимо, не только в отсутствии культуры, еще резче высказывается Бунин по этому поводу в «Окаянных днях»:

«Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратилась в своей профессии быть „друзьями народа, молодежи и всего Светлого“, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, <был как будто вполне с ними>, и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

– Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже, давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество «лгунов» в моей памяти! Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

Но этот же человек написал о себе в своем дневнике: «И я был в детстве и отрочестве правдив

необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни – и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, – точнее говоря, начало возвращаться, – в форме той сюжетной „лжи“, которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем». [\[276\]](#)

Все это имело к Пришвину непосредственное отношение. В десятые годы он в своей игре уперся в какую-то стенку. Ремизовское ли влияние, собственные словесные эксперименты, исчерпанность, усталость от сумасбродных людей и их забав, серьезных или шутовских, отчаяние от нахождения в замкнутом кругу сектантской идеологии, следы которой он с равным успехом видел и в народных движениях, и в интеллектуальных гостиных, но именно в десятые годы на этом сказочном, фольклорном, зачарованном и замороженном пути он остановился, точно соскочив с подножки чужого поезда, и сделал шаг навстречу Бунину.

«Однажды повязка спала с моих глаз (не скажу, почему), и я очутился на земле. Увидав цветы вокруг себя, пахучую землю, людей здравого смысла и, наконец, и самые недоступные мне звезды, я очень обрадовался. Мне стало ясно, что интеллигенция ничего не видит, оттого что много думает чужими мыслями,

она, как вековуха, засмыслилась и не может решиться выйти замуж». [\[277\]](#)

Этот перелом не был очень резким, но когда, по словам самого Пришвина, «некоторые писатели уже начали терять связь с народом», устремленность извне, движение от жизни к литературе, а не наоборот, имели принципиально важное значение. В эти же годы Пришвин довольно часто выступал как общественный деятель, его начали интересовать земельный вопрос, женский вопрос, и бывший марксист и переводчик книги про женщину будущего выказал себя изрядным ретроградом и чуть ли не домостроевцем («В сущности говоря, женский вопрос – это мужской вопрос» [\[278\]](#)). Его все сильнее волновала проблема соотношения народа и личности, или, как он пояснял, личности плазматической, связанной с женским началом, и личности индивидуалистической, связанной с началом мужским, – и все-таки выйти из круга декадентских определений и интересов в ту пору ему не удалось.

Общение с сектантами, погружение в сектантское мировоззрение, как бы ни была здорова его психика, не могло пройти бесследно, оно влияло на его мировоззрение и стиль гораздо сильнее, чем обыкновенно принято считать, и преследовало Пришвина до самых последних его книг; он не столько ускользал от него, сколько стремился усвоить и переварить, обогатиться, для чего пользовался хлыстовскими определениями и символами («обезьяна», «раб», «чан», «ты» больше чем «я»); его по-прежнему влекла не только устойчивая народная жизнь в ее традиционных формах, где многие из обсуждаемых сектантами проблем казались надуманными, а всякое нарушение нормы воспринималось как уродство, но интересовала его пена, религиозные, рабочие, сектантские движения, несущие в себе разрушающее,

жизнеотрицающее начало. Впрочем, как знать, была ли тогда эта устойчивая жизнь и не видел ли ее один лишь Пришвин?

Недаром же еще в 1909 году, в разговоре о быте русского народа со славянофильствующим Коноплянцевым, Пришвин пророчески обронил: «В России быт только у диких птиц: неизменно летят весной гуси, неизменно и радостно встречают их мужики. Это быт, остальное этнография... и надо спешить, а то ничего не останется. Россия разломится... Скреп нет...»<sup>[279]</sup>

Религиозные секты виделись проявлением подлинной народной жизни (и такую же попытку выдать сектантство за проявление народного духа мы видим сегодня, особенно в работах западных и близких им по духу российских славистов, для которых Пришвин, к слову сказать, сделался весьма популярным именно по этой причине). Все это для него безликая плазма, ожидающая героя, сильную личность (например, Распутина), но значение той плазмы состоит в том, чтобы восстановить материю земли.

Пришвин видел человечество разделенным на две части: «Все люди разделяются на ищущих (чающих) влиться в море веры и быть самим творцами; две породы людей: вода и пастыри»,<sup>[280]</sup> – оно мучительно тем, что требует выбора и вопрошает – а ты где?

«Вера имеет тело и форму: тело – верующее, форма – творец. Тут <1 нрзб> темы: самозван или богозван».<sup>[281]</sup>

Он был превосходным зорким наблюдателем, духовно чутким и очень богатым или, лучше сказать, обогащенным человеком, много видевшим и испытавшим, но, пожалуй, это было то самое богатство, о противоположности коему сказано в Евангелии: «Блаженны нищие духом». Мышление Пришвина в эту

пору уже было весьма оригинальным, но еще не сделалось вполне самостоятельным – странное, но несомненное противоречие («Хоть у него и ломаный ум, с зигзагами, но мыслит правильно (...) страшно путаный человек», – отзывалась о своем племяннике героиня его автобиографического романа Е. Н. Игнатова (Дунечка) [282]); хотя ему уже и было за сорок, он сильно зависел от окружавших его людей («был человек с очень тонкими нервами, наследованными от предков, никаким питанием сам он не мог притупить свою чувствительность, и как лист на осине трепетал от малейшего ветерка, так и он весь трепетал от разных веяний духа» [283]), и замечательны две самые последние его довоенные записи, сделанные в июле четырнадцатого года, накануне войны:

«Счастье умного человека есть глупость, те немногие минуты, когда умный человек был в глупом состоянии, и вспоминает потом как счастье. Из этого, впрочем, не следует, что глупость и счастье одно и то же: счастье существует само по себе, но легче всего оно дается дуракам». [284]

И другая: «Завещаю своим родным поставить крест над моей могилой с надписью: „На память о теле“». [285]

С сей неутешительной эпитафией и встретил Пришвин через несколько дней Первую мировую войну.

Большого патриотического подъема, который переживала в то лето Россия, он не испытал, скорее его одолевали недобрые предчувствия («Россия вздулась пузырем – вообще стала в войну, как пузырь, надувается и вот-вот лопнет» [286]) с ярко выраженной эсхатологической окраской («Должно родиться что-то новое: последняя война» [287]) и предощущением того, что и произойдет в семнадцатом году: «Если разобьют, революция ужасающая». [288]

Он был совершенно мирным человеком, чуть ли не пацифистом (едва не подрался с неким Лапиным, по-видимому бывшим или настоящим социалистом, которому пытался сказать что-то против войны), и в то же время война невероятно притягивала его, он был готов ехать на нее «зайцем», но благодаря кузену Игнатову ему удалось получить аккредитацию, и в августе четырнадцатого года Пришвин поехал в Галицию.

Он продвигался вслед за наступающей армией, писал для газеты, видел много жестокостей с обеих сторон, записи этих лет суховаты, полны подробностей, какие только мог разглядеть штатский человек, более привыкший странствовать по мирным лесам. Ему открывались ужасные факты гонения на русское население на Западной Украине – запрет иметь русские книги (во Львове русский гимназист вынужден был сжигать сочинения Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского) и карту России, аресты женщин за паломничество в православную Почаевскую лавру; писатель наблюдал разных людей – героев, мародеров, дезертиров, местечковых евреев, одетых в блинообразные, отороченные хорьковым мехом шапки, с пейсами, в длинных черных сюртуках, слышал истории об убиенных православных священниках и повешенных возле церквей детях, и вывод от увиденного, от инквизиции начала двадцатого века был вполне розановский: «Мне жалко мечту... Горько за творческую мечту, больно со всех сторон...»<sup>[289]</sup>

Военная стезя оказалась совершенно не для него. Путь, по которому позднее шли Хэмингуэй<sup>[290]</sup> и Ремарк, романтическое и тут же развенчивающее романтизм и сентиментализм описание военной поэзии и окопной грязи – все было Пришвину чуждо, но это еще один повод, чтобы бежать, бежать. Не случайно же героем

поэмы «Женьшень» Пришвин сделает человека, который после ужасов войны уходит в леса. Правда, к войне, к причастности к войне, пусть и другой, более кровавой и страшной, он все равно вернется и напишет как раз в военные годы (1943–1944) одно из лучших своих произведений – «Повесть нашего времени».

И все же одно дело солдат, другое – корреспондент. Там, в Галиции, в 1914 году, когда все только начиналось и война, казалось, будет победоносной, и позднее, когда наступление наших войск стало захлебываться, ему пришла мысль: «Может быть, и не нужно смотреть на войну всем и не нужно приближать ее картину к самым глазам нашим. Нужно ли входить без особой нужды в закрытую комнату (рождающей женщины)?»<sup>[291]</sup>

Двадцать пять лет спустя история повторилась, Германия снова напала на Польшу – началась Вторая мировая. Пришвин вспоминал свою «военную биографию»: «Мало помню в жизни своей столь унижительного, как было, когда я пытался писать в газету с поля сражения: так стыдно было наблюдать, когда вокруг все действовали и умирали, стыдно было добровольно быть, когда все вокруг были в неволе и еще много всего унижительного (страх, напр.)».<sup>[292]</sup>

Описывая войну, Пришвин нашел удивительно верный, глубокий и емкий образ «слепой Голгофы», подразумевая, что люди шли на страдание, на смерть, не понимая, за что умирают, и сущность этой метафоры так глубока, что ее можно, наверное, применить ко всему двадцатому веку русской истории, и в 30-е годы Пришвин не раз к этому образу возвращался, видя в нем содержание времени и утверждая смысл своего творчества в прозрении, осмыслении страдания.

Зимой 1915 года он был на волосок от германского плена, несколько дней шел пешком при страшном

морозе с армией в польских августовских лесах, видел «огромные стволы деревьев, окропленных кровью человека», но и тогда был склонен рассматривать происходящие события через призму собственного опыта, так что даже странным образом связались в его сознании война и давняя история первой любви: «Роман моей жизни: столкновение Германии и России, я получил все от Германии и теперь иду на нее». [\[293\]](#)

Но вышло наоборот, не Россия шла на Германию, а надвигалась на Россию революция, чума, страна неизбежно приближалась к катастрофе, и в этом движении было что-то неумолимое, похожее на действие античного рока, и от Пришвина-художника требовалось не изменить зоркости глаза и трезвости ума.

«Православная Россия споткнулась на фабричном пороге» [\[294\]](#) – в этой емкой исторической формуле заключено едва ли не все: и страшные перебои со снабжением воюющей армии, и казнокрадство, и тыловая измена, и беспомощность власти, и воровство, и гниль большевистской пропаганды, разъедающей и тело, и душу России. Внутренний враг страшнее врага внешнего, и окруженная с двух сторон Россия медленно умирала.

В эти же годы произошло еще одно трагическое событие, сильно повлиявшее на писателя и образ его жизни, – осенью 1914 года умерла его труженица и подвижница мать, оставив детям последний завет – жить дружно и держаться за землю, ибо именно из-за земли происходят в мире войны. Ее последнюю волю воплотить оказалось непросто – семейные конфликты и дележ родовой земли были неизбежны, но в сознании писателя все выстраивалось в один ряд – маленькая семейная война из-за материнского наследства и война мировая за передел Европы. И даже смерть матери



показалась ему не случайной, но связанной с общим порядком вещей, ходом исторических событий и приближающихся перемен.

«Осенние листья осыпались, так и старики осыпались не от вражеских пуль, а от странного невидимого грядущего нового мира».<sup>[295]</sup>

На похороны Маркизы он не успел - был в Петербурге, но очень часто она приходила к нему во сне, и с ней, умершей он много разговаривал, более близкого человека у него не было, тем более что с женой отношения складывались все хуже и хуже.

«Жизнь трещит по швам. Что бы ни было, надо терпеть до устройства хутора. Устрою, а потом, может быть, и прощусь. Пусть живут, а я отправлюсь странствовать».<sup>[296]</sup>

Но несмотря на частые жалобы на жену и упоминания о тяжких семейных сценах, проносящихся, словно ураганы в пустыне, ни тогда, ни еще два десятка лет после этого Пришвин не был готов к окончательному разрыву с Ефросиньей Павловной («Когда дело доходит до разрыва, то мне кажется, всякая моя жизнь оканчивается»<sup>[297]</sup>). Они уехали под Елец, поселились на хуторе и стали строить дом, хотя жить с Павловной было тяжело.

«Очень, очень мучусь всем своим домашним, очень мучусь (...) Мелькает мысль все чаще и чаще о бездомье и одиноком странничестве „с палочкой“».<sup>[298]</sup>

Последняя идея, конечно, толстовская, и о толстовском сюжете в жизни Пришвина необходимо сказать несколько слов.

Михаил Михайлович толстовцем никогда не был, но любовь к Льву Николаевичу испытывал огромную (и это еще одна точка его сближения с Буниным) и, если я буду правильно понят, интимную, задушевную («я сосед его, привык и как себя самого сужу по-соседям, по

родственному»<sup>[299]</sup>), очень тонко, хотя и весьма своеобразно его чувствовал: «Один из величайших русских обывателей – Лев Толстой, он думает, что если мы, каждый лично, решим жить хорошо, то и всем будет хорошо. (Если построить всю жизнь по Толстому, то это будет всеобщее подсматривание за жизнью друг друга). Лев Толстой и не мог быть другим, он большой художник, и потому горестные заметки сердца его ближе, чем ума рассудочные размышления: его идея еще не рождена».<sup>[300]</sup>

При жизни Толстого он никогда не решался отправиться в Ясную Поляну, хотя такой шанс был благодаря знакомству его матери с близкой к Толстому семьей Стаховичей, однако за всем, что происходило в Ясной Поляне, пристально следил, и уход Толстого из семьи вызвал у него восхищение: «По нездоровью я должен был сидеть дома в мебелированной комнате, дверь выходящей в коридор. На дворе – слякоть, в комнате пасмурно, в коридоре – мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Толстого. Сразу стало светло».

«Толстой всегда стоял лицом к солнцу».

Только после смерти Льва Николаевича Пришвин и его матушка, которой самой оставалось недолго жить, решили поехать поклониться одинокой толстовской могиле, были коротко приняты в яснополянском доме и... вышли оттуда подавленные речами членов семьи Толстого – Софьи Андреевны и Андрея Львовича.

Последующая за этим встреча с Марией Николаевной Толстой, монахиней женского Шамординского монастыря, прояснила ситуацию: «Что же вы хотите от Сонечки, – все объясняется очень просто: мой брат был великий человек, а она – обыкновенная женщина».<sup>[301]</sup>

Нет прямой возможности утверждать, что мы имеем дело с еще одним примером пришвинского жизнетворчества, но вся эта ситуация и слова престарелой инокини о своей невестке странным образом и едва ли не текстуально совпадают со словами, какими описывал Пришвин свою семейную драму, пусть даже масштаб ее совершенно иной, хотя выход писателю виделся схожий: уйти.

«Стало много хуже во многих отношениях. Там жили мы где-то в лесу в стороне, здесь становимся в цепь семейных отношений. Там у меня живет добрая лесная баба, здесь злющая женщина.(...) Строю дом и не совсем уверен, что в нем буду жить, налаживаю хозяйство для нее и не уверен, что она будет хозяйкой. И так в родное гнездо вхожу как бы против щетины и она царапает и напоминает, что, может быть, незачем туда лезть (...) Устрою их, а сам буду где-то жить».<sup>[302]</sup>

Дальнейшая история взаимоотношений Пришвина и его супруги видится довольно смутно, но известно, что вскоре после революции они официально скрепили свой брак. На вопрос – зачем, если отношения были столь плохи и от совместной жизни страдали оба, – ответ дан не в прямой авторской записи, где никакого упоминания, ни даты, ни записи в регистрационной книге – нет, а в сновидении, датированном 15 октября 1920 года, и эта ссылка на сон для Пришвина принципиально важна. Как и в случаях с Розановым и Измалковой, именно снам он доверял самые важные моменты своей жизни.

«Снилась женщина красивая, и будто бы я сговорился с ней отправиться вместе в Хрущево и там повенчаться. Мы переходим с ней большое поле ржи, я впереди, а она все отстает, отстает, и так оказывается, что она не согласна, что она мне не пара: стара и происхождение мещанское, свояченица елецкого

трактирщика. Я и сам хорошо понимаю это, вижу, подшей у нее висят уже складки – на пятый десяток идет, но все-таки я ее уговариваю, и зачем это мне нужно? и все дальнейшее получается как свободная необходимость совершить нелепо невозможное». [\[303\]](#)

Быть может, Пришвин следовал Толстому, учившему, что если сошелся с женщиной – с ней всю жизнь и живи, или же этим браком мог узаконить свое отцовство и оформил свои отношения с Ефросиньей Павловной не ради нее, а ради детей? Размышляя о своем великом соседе и его супружестве, Пришвин позднее заключил: «Толстой все сделал для удовлетворения женщины, но в конце концов, не удовлетворил же ее, тут путь: или побить, или бросить». [\[304\]](#)

Первое было для Пришвина невозможно, а что касается второго, то это произошло очень и очень нескоро...

Исчезновение писателя из Петербурга накануне революции, его уход под Елец вызвали недоумение Горького, взявшего Пришвина под свою опеку после «Черного араба» и выпустившего в «Знании» три тома его сочинений:

«– Ваше пребывание на хуторе какое отношение имеет к литературе?» – спрашивал Алексей Максимович.

Ответ опять-таки в Дневнике писателя следует сразу за этим вопросом, и ответ чисто пришвинский, где личное связано с общественным, мифическое с реальным, физическое с духовным, все вокруг вовлечено в орбиту жизни, в автобиографическое пространство, и главным для писателя стала родная земля, которая удержала от гибели в секте и дала силы превозмочь настоящие и грядущие испытания:

«Луна где-то за домом, и, кажется, ночь, но звезда утренняя перед домом горит полно в рождении утра. Так, неоткрытым, неузнанным остается для меня лицо моей родины. Несчастной любовью люблю я свою родину, и ни да, ни нет я от нее всю жизнь не слышу, имея всю жизнь перед глазами какое-то чудище, разделяющее меня с Родиной. Чудище, пожирающее нас, теперь живет где-то близко от нас, и я видел вчера, в день призыва, как ворчливая, негодующая толпа оборвышей поглощалась им, и они, как замороженные змеем, все шли, шли, валили, исчезая в воротах заплеванного, зассанного здания. А может быть, это весна? самая первая весна и грязь эта и оплеванная родина – все это, как навоз и грязь, ранней весной выступающая всем напоказ?»<sup>[305]</sup>

В 1916 году на свои литературные гонорары Пришвин построил дом, позднее посчитав это строительство и вступление в права собственника накануне революции одной из самых крупных жизненных ошибок, но именно это строительство пробудило в нем чувство родины. Пришвин осознал себя патриотом, когда это было тяжелее всего, и патриотизм его не имел ничего общего ни с громкими лозунгами, ни с политическими пристрастиями, патриотизм его был оплачен трудом, а любовь к родной стране была сокровенна и глубока, и тем тяжелее оказались для этого человека переживавшиеся страной гибельные годы, которые он с ней разделил и вместе с ней, во внутреннем разброде и неустроенности оказался в семнадцатом году.

# **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

## **ЧАН**

## Глава XI

# КРАСНОЕ КОЛЕСО

Поначалу к Февральской революции отношение у Пришвина было хотя и настороженным, но в целом положительным и конструктивным. К той поре причудливая судьба Михаила Михайловича совершила новый пируэт, обыкновенно в пришвинских жизнеописаниях не упоминаемый, видимо, ввиду его кратковременности и кажущейся незначительности, а вместе с тем очень важный и неслучайный – свободный художник и вольный хуторянин угодил на государеву службу, где, как он позднее признавался, скрывался от войны. Происходило это в Министерстве торговли и промышленности, игравшем весьма существенную роль в военные годы, и именно тогда весельчак Ремизов прибавил к титулу своего друга, «луня бородатого, белого медведчика и волхва», новое звание «князя и полномочного резидента заяшного ведомства».

Всю зиму 1916/17 года «заяшный князь» занимался «междуведомственной перепиской в должности делопроизводителя одного бюро, ведающего делом продовольствия», и за время службы с ноября по февраль перед ним прошла «картина возрастающей разрухи продовольствия» на фоне споров «нашего Превосходительства» с «вашим Превосходительством».

«Я утонул в комиссиях, как тонут в воде маленькие дети». [\[306\]](#)

Ефросиньи Павловны с ним не было: он оставил ее на хуторе с детьми, и «в этом опыте жизни без семьи так ясно становится, что существенного значения она в моей жизни и не имела, и то, что казалось, то только казалось: оно чисто внешним образом закрывает мою эгоистическую холостяцкую природу». [\[307\]](#)

Работа в комиссии Пришвина утомляла и разочаровывала, но одна поразительная вещь с ним за это время произошла – новая и неожиданная для свободного литератора деятельность привила писателю некий чиновничий или даже государственный (прежде в пришвинских рассуждениях не встречавшийся) взгляд на природу власти и человеческое предназначение. О бескровной демократической революции он судил по характерным мелочам: вчера еще мальчишки в министерстве подавали пальто сотрудникам, сегодня же не подают и нагло смотрят, как сотрудники сами друг друга одевают, а потом министерская кухарка отказывается кормить чиновников и говорит, что понесет обед «солдатам».

Благодаря должности Пришвин оказался в Феврале в самом эпицентре политических событий (это удивительное свойство его судьбы – быть непосредственным свидетелем самых важных исторических свершений), который можно было бы охарактеризовать одним емким словом, лозунгом, воплем – «Хлеб!».

Политические взгляды его в тот момент были далеки от какого бы то ни было радикализма. «Республика или монархия? Я себе так отвечаю: Союз областей (федерация) при царе, совершенно бесправном»,<sup>[308]</sup> а когда и Михаил Романов отказался занимать престол: «Стою на беспартийной точке зрения, и всякая партия, признающая Временное правительство, мне одинаково близка».<sup>[309]</sup>

Ему казалось, что «революция эта будет русскому народу прощена: тут не было рассуждения, „преступления с заранее обдуманым намерением“; никто не знал, что будет завтра и кто что сделает: полки шли покорять Петербург, но, далеко не доходя, опускали оружие и присоединялись к восстанию. – Что



же мне делать? – спросил государь. – Отречься от престола. – И он отрекся». [\[310\]](#)

Горькое «кругом измена, и трусость, и обман», занесенное в другой дневник другим человеком в эти черные для России дни, было от Пришвина слишком далеко, и трагедию императора он был постичь не в силах, как и почти вся тогдашня Россия. [\[311\]](#) Однако осенью семнадцатого года появилась на страницах Дневника старая женщина из простонародья, которая молилась за царя и, прощая писателю как человеку образованному всякое отношение к государю (поразительно точная и значимая деталь!), людям в очередях и даже красногвардейцам говорила:

«– Вы изменник царю!

И ее не трогают, считают за сумасшедшую». [\[312\]](#)

О судьбе Николая Александровича и его роли в новейшей русской истории Пришвин все же задумывался: «История нашей революции есть история греха царского. На все живое падает тень, и оно становится темным, призывая из тьмы к свету: вперед!

И так, что царя уже давно не было, приближенные царские давно уже, как карамельку иссосали царя и оставили народу только бумажку. Но все в государстве шло так, будто царь где-то есть. Те части народа, которые призывали к верности царю, сами ни во что не верили, были не люди, а мифы. В то время, когда была министерская чехарда при грозном росте цен, по которому только и можно было судить о быстроте и значительности времени, когда в центральных учреждениях никто уже не верил в царя, часто приходило в голову: но как все-таки держится Россия?

Царь был тенью, министры тенью, а Россия все жила и жила.

В этой тишине тайно совершилась революция: каждый стал отвертываться от забот о государстве и

жил интересом личным: все, кто мог, грабили». [\[313\]](#)

А спустя несколько дней добавил: «Царь Николай прежде всего сам перестал верить в себя как божьего помазанника, и недостающую ему веру он занял у Распутина, который и захватил власть и втоптал ее в грязь. Распутин, хлыст – символ разложения церкви и царь Николай – символ разложения государства соединились в одно для гибели старого порядка». [\[314\]](#)

Пришвин принимал участие в работе новых органов власти или, вернее, плавно перешел из старых в новые, иллюзий больших, однако, не питая: «Трагично положение этой маленькой кучки полуобразованных людей сектантского строя психики, овладевшей властью над огромной страной». [\[315\]](#)

«Россия была до сих пор страной таинственной, с народом-сфинксом, как было принято говорить. Теперь неизвестная страна показалась. „Земля!“ – воскликнули на корабле. И вот корабль причаливает к этой новой земле». [\[316\]](#)

Эту новую и неизвестную землю писатель отправился открывать весной в Хрущеве, причем не просто как частное лицо и владелец хутора в 32 десятины, а как делегат Временного комитета Государственной думы. Одно дело наблюдать за революцией в Петрограде, совсем другое – в провинции. («Вообще человек, перезимовавший в Петербурге, должен переболеть, чтобы вновь соединиться с Россией внутренней», – писал он еще в 1914 году. [\[317\]](#))

И вот известный писатель и петербургский чиновник взялся за соху. И была это не блажь, не прихоть и даже не дело принципа, но самое элементарное требование выживания.

Племянник Михаила Михайловича А. С. Пришвин оставил замечательные воспоминания о

сельскохозяйственных экзерсисах дядюшки: «Как-то я забежал к моим братьям. Они куда-то собирались.

- Отец землю пашет. Побежали посмотреть!

- Далеко?

- Нет, тут рядом, за перелеском.

Недалеко за деревней дядя Миша действительно тянул борозду. Плужок вихлялся из стороны в сторону, но дядя Миша не сдавался. Он покрикивал на лошадь и победно поглядывал по сторонам. Сделав две или три загонки, он остановился.

- Фрося! - крикнул он. - Дай-ка попить.

Ефросинья Павловна, его жена, неторопливо, вразвалочку понесла ему пить. Дядя Миша в поту, взмокший, растрепанный, весь какой-то не такой, каким положено ему быть, жадно пил из фляги. Ефросинья Павловна смотрела на его работу, как может смотреть женщина, для которой крестьянская работа не в диковинку. Потом она, ничего не сказав, молча взяла у него вожжи и все так же молча повела борозду. Борозда получалась ровная и красивая. (...)

- Гляди, Михалыч, а у твоей бабы сподручней получается, - сказал подошедший сосед. - Много ловчей работает... Как ножом режет.

- Сноровка, - сказал дядя Миша, закуривая». [\[318\]](#)

Вот этот дом и эта земля, которую Пришвин обрабатывал с женой и нанятым работником, и привела писателя к конфликту с настоящими крестьянами и настоящей революцией и заставила его многое переоценить.

Елецкие мужики не могли видеть в петербургском литераторе и купеческом сыне ни мужика, ни защитника мужиков, сколь бы он ни ходил за плугом и ни жаловался в печати, что отобранный у него запас ржи был куплен на деньги, которые заработал в социалистической газете «Новая жизнь». (Пришвин так

высказался о ней весной 1917 года: «29-го поступил в газету „Новая жизнь“ и чувствую себя среди них еще большей белой вороной, чем раньше в „Речи“»,<sup>[319]</sup> а осенью того же года писал с отвращением: «Раньше я не понимал сердцем, почему наши „идейные“ старики так ненавидят „Новое время“ и как можно так ненавидеть газету. Теперь я совершенно так же ненавижу „Новую Жизнь“ и все ее Иудушкино племя».<sup>[320]</sup>)

Барин он и есть барин, много у него земли или мало, и в каких бы газетах он ни писал. Даже то, что он пострадал «за народ» и сидел в тюрьме за «женщину будущего», мало кого волновало. А революция для бар оказалась временем совсем неподходящим. И там, в деревне, трезвея от февральского дурмана, называя себя «барином из прогоревших», Пришвин неожиданно резко поправел и сравнил свою новенькую дачу в старой усадьбе с больным нервом, «который мужики вечно задевают, вечно раздражают, и так, что не рад этой революции, лишившей меня пристанища»,<sup>[321]</sup> а немногим позднее добавил, что «попал в тюрьму собственности».<sup>[322]</sup>

Он не мог, как Блок, стоически относиться к тому, что у него сожгли библиотеку, и оправдывать народное злодеяние тем, что на милых барскому сердцу усадьбах пороли и насиловали. Его взгляд на вещи был и конкретнее и образнее одновременно.

«С мечтой социализма Земли и Воли я распят на кресте моей собственности».<sup>[323]</sup>

Но еще больше, чем угроза потерять имение, испугала его угроза национализации, обобществления «таланта писать»: «Не только сад, посаженный моей матерью, объявлен общим, но и мое личное дарование, которое всегда было моей гордостью за независимость... Земля поколебалась, но этот сад, мной

выстраданный, насаженный из деревьев, взятых на небе, неужели и это есть предмет революции?»<sup>[324]</sup>

В этих словах – зерна будущего конфликта с большевиками, новой государственностью, новым «медным всадником», а заодно и с Блоком, готовым, кажется, всё отдать революции и народу.

И дело не только в личной потере: очень близко к сердцу принял Пришвин раздел земли, полагая, что «бескровная» Февральская революция принесла земледельческой культуре вред бесконечно больший, чем кровавая и пожарная революция 1905 года.

Особенно это сказалось в его родных краях.

«Этот черноземный центр был в моем сознании с колыбели вулканом накануне страшного извержения. Так оно и случилось потом: едва ли где-нибудь разрушительная сила революции была сильнее, чем в этом углу чернозема, на границе Елецкой и Тамбовской земли».<sup>[325]</sup>

Иллюзии писателя относительно революции развеялись очень быстро, но... кажется, для того, чтобы смениться иллюзиями иного рода: «Я против революции, но не враг народа, и потому я голосую за революцию, в надежде, что это не серьезно, что это не дело и потом как-нибудь отпадет»<sup>[326]</sup> – и эту идею – рассосется! – Пришвин вынашивал в течение многих советских лет.

Собственно и на революцию, какой она предстала писателю летом семнадцатого года в деревне, у него сложился весьма своеобразный, резко отличающийся от городского, интеллигентского видения событий взгляд: «Корень беды в том, что в основе своей, во всей своей глубине наша революция самая буржуазная в мире, это даже не революция собственников, а людей, желающих быть собственниками. Эти собственники будущего взяли напрокат формулы социализма и так забили ими

собственников настоящего, что эти собственники, уязвленные до конца, загнанные в подполье, уже не могут оправиться, взглянуть на свет Божий живыми глазами». [\[327\]](#)

Определенная контрреволюционность Пришвина в семнадцатом году никогда не была (в отличие от его дальнейшей позиции) тайной для советского литературоведения. В безо всякого преувеличения замечательной статье о Михаиле Пришвине в «Истории русской советской литературы» под редакцией профессора П. С. Выходцева (специалиста по Пришвину) удивительно верно и ехидно замечено: «Лето 1917 года застаёт Пришвина ищущим, но не нашедшим», что является перифразой известного высказывания декадентов по отношению к их литературно молодому собрату.

Только что мог найти он тогда в деревне, какие картины подмечал его живой глаз, еще совсем недавно любовавшийся общенародными поисками Китежа и вечной истины?

Убийства, грабежи, особенно подлые тем, что во имя этих грабежей надевалась маска порядка, воровство, достигавшее чудовищных размеров («Нельзя в полдник уйти пообедать и оставить на час в поле плуг – укатится. Нельзя повесить уздечку на дерево и отойти, чтобы выгнать из ржи корову – утянут, все тащится» [\[328\]](#)), и вот теперь бывший марксист и декадент, демократ, как бы сказали мы сегодня, призывал в печати правительство объявить землю государственной собственностью.

«Вот удел: непримиримый к мещанству, к мелочному домашнему хозяйству, я наделен был бесхозяйственной женой (у которой даже нет идеи счета в голове) и должен бросить свое истинное положение и хозяйствовать. И в большом плане: вместо

мятежа скифского я должен учить народ буржуазным добродетелям. Но ведь в этом и вообще заключается трагедия современного материалиста. Во имя мятежа проповедуется буржуазная добродетель (...) И понятно: вот был лес мой, теперь он „государственный“, название переменялось, исчезла иллюзия единоличного собственника леса (в конце концов – это иллюзия); но охрана собственности личной или государственной та же самая. Только тогда был аппетит со стороны собственника и охраны, теперь этот аппетит приходится прививать обществу. И так, выгоняя весь день с вырубке крестьянские стада, выгоняя косцов, долбишь целый день всем: нельзя расхищать собственность государственную». [\[329\]](#)

Есть что-то трогательное и даже плохо укладываемое в общепринятые представления о Пришвине-индивидуалисте и природном человеке в его настойчивости и воле государственника. Но факт остается фактом: в семнадцатом году Пришвину было за державу обидно. В то время когда «каждая волость превращается в самостоятельную республику, где что хотят, то и делают, совершенно не считаясь с распоряжением правительства и постановлением других волостей и уезда», [\[330\]](#) когда сущностью происходящего в России стали распад государства, беззаконие, воровство и смута, и каждый думал только о себе, о том, чтобы побольше урвать, и по всей Руси шла большая и малая, бесчестная приватизация, писатель пекся о государственных интересах.

«Каждый овражий человек видит один только свой овраг, а говорит так, будто видит он всю землю». [\[331\]](#)

А когда мужикам умные люди пытались объяснить разницу между взглядом со своей колокольни и государственной точкой зрения, они совершенно в духе народного примитивизма (а на самом деле очень по



сути глубоко) возражали: «Как же так, *государя* убили, а вы, товарищ, нас опять хотите вернуть на *государственную* точку зрения?» (выделено мной. – А. В.).

И теперь, на елецком хуторе, его оценка происходящего была гораздо жестче и строже, нежели несколько месяцев назад в Петрограде.

«Завистливый раб, не работает, лишенный всякого общественного чувства, человек, называемый мужиком, и нетрудоспособный, малообразованный негосударственный человек-разумитель (интеллигент) образовали союз для моментального устройства социалистической республики на глазах у иностранцев.

Блудный сын выгнал из дома отца своего и взял в свои руки дела, которые делали отцы и деды, а он не касался». [\[332\]](#)

Так начиналась ключевая для Пришвина тема – его личной, затянувшейся на долгие годы «войны» на два фронта – и с крестьянством, и с интеллигенцией.

«Вся Россия – сплошной митинг людей, говорящих противоположное: от кабинета министров до деревенского совета крестьянских депутатов.

Чуднее всех говорят женщины на Бабьем базаре». [\[333\]](#)

Это карнавальное ощущение было свойственно не только ему.

Зинаида Гиппиус писала: «Россией правит „митинг“ со своей митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а-революционное) Временное правительство. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит, но Россия неизвестность». [\[334\]](#)

Пришвин, в отличие от своей бывшей наставницы, имел возможность для более широких наблюдений, и ему корень зла в ту пору виделся не в деревне, а в



городе, посылая депеши в который, представитель центра на местах давал убийственно точный, еще не заслоненный личной обидой анализ происходящего; увиденное за тысячу верст от столицы странным образом напоминало писателю хорошо известные сектаторские собрания на окраинах Петрограда: «Как неправильный на один волосок прицел дает в миллион раз большую ошибку на мишени, так же теперь уклонение от истины в столице в речи какого-нибудь волостного оратора неисчислимый вред наносит провинции. Так в столице какой-нибудь скромный и молчаливый солдат, послушав таких речей, разрывается, как граната, в деревне. С пафосом религиозного сектанта бросает он в темные головы иностранные слова, за которыми один смысл: захват и анархия. Изумительно бывает слушать, как страстно призывает такой оратор к отказу от захвата вне страны и так же страстно к захвату внутри страны». И дальше снова как историческое предвидение: «Враг наш оказался не внешним, а внутренним, немец и война обращаются внутрь, война гражданская». [\[335\]](#)

Вот еще одна типичная сцена той поры. Некий Иван Михайлович, мелкий собственник, который «с радостью принял революцию, как суд Божий (мысль совершенно бердяевская. – А. В.) и земной выход справедливости», [\[336\]](#) на Пасху отправляется на свой пруд убить дикую утку. Там ему встречается неизвестный молодой парень, который бросает в птицу камень, чтобы охотнику помешать.

«Не дам, – говорит, – стрелять, утка не твоя! – и спугнул ее камнем. – И земля, – говорит, – не твоя, земля общая, как вода и воздух».

Иван Михайлович пробовал было сопротивляться, даже ружье на парня наставил, а тот не боится: «Я тебя арестую, пойдем на деревню».

Там, на деревне, состоялся диспут.

Тот из ораторов, который утку вспугнул, утверждал, что земной шар создан для борьбы, а другой – что для мира и тишины духа, который и должен настать после Учредительного собрания, где будет услышан голос всего народа.

Последняя речь мужикам понравилась больше, и несчастливому охотнику было обещано, что утка прилетит обязательно и никто его не тронет. Но победа была не абсолютная, и в головы мужикам солдату удалось заронить несколько разрушительных мыслей. «Товарищи, – кричит, – не доверяйте интеллигентным, людям образованным. Пусть он и не помещик, а земля ему не нужна: он вас своим образованием кругом обведет». – «Известно, обведет!» [\[337\]](#)

И вывод писателя неутешителен: «Песенка моя как делегата Временного комитета спета». [\[338\]](#)

Беда мелкопоместного писателя была не самой бедовой. Куда тяжелее пришлось сельскому священнику, человеку робкому, тихому и многосемейному, по привычке помянувшему на службе в храме государя и всю августейшую семью. Наиболее революционная часть деревни была возмущена и потребовала устроить «проверочный молебен». И вот на выгоне против церкви собирается толпа, в толпе не то красные знамена, не то хоругви с надписью «Да здравствует свободная Россия! Долой помещ». Именно так через «е» (а не «ять») и сокращенно.

Из храма выходит ни жив ни мертв батюшка и слабым голосом начинает молебен под пристальными взглядами уполномоченных, и наблюдающему за этой сценой писателю кажется, будто он находится в киргизской юрте, где все сидят в ожидании еды, а хозяин готовится резать барана и точит ножик (и это за полгода до Блока с его «Двенадцатью!»).

«"Победы, Благоверному императору... - ах! - державе Российской... Побе-еды..." Опять отцикнулся, и на проверочном молебне! Гул, ропот, смех - жалко, противно, глупо: баран зарезан». [\[339\]](#)

Но вернемся к Пришвину и его хуторским делам. Мало того что крестьяне хотели отнять у него землю, пришвинский хутор оказался камнем преткновения в споре двух деревень, Шibaевки и Кибаевки (это не настоящие названия, а прозвища деревень, вернее их жителей), одна во все времена была барской, другая - государственной. Сколько деревни стояли, столько враждовали между собой, и вот поразительная вещь: когда их жители получают волю и возможность избрать из своих рядов народных представителей, то выбирают... уголовников, и ужаснувшись писателю-демократу оставалось утешиться лишь тем, что подобное происходило и во времена Французской революции, да и вообще по общему мнению уголовники самые сообразительные на деревне люди.

Пришвинский Дневник замечательно точно показал, чем кончился демократический эксперимент над деревней летом 1917 года и какого джинна выпустило из бутылки Временное правительство с его лозунгом, который можно перевести на современный русский: «Берите суверенитета, сколько хотите».

Но как бы ни был раздражен Пришвин действием чиновников Временного правительства, еще более запелляционно он был настроен летом семнадцатого года против большевиков: «Ураганом промчались по нашей местности речи людей, которые называли себя большевиками и плели всякий вздор, призывая наших мирных крестьян к захватам, насилиям, немедленному дележу земли, значит, к немедленной резне деревень между собой.

Потом одумались крестьяне и вчера постановили на сходе: – Бить их, ежели они опять тут покажутся». [340]

«Всю пору пережитой смуты сельское население в настоящее время склонно считать виною людей, которые называли себя большевиками». [341]

Редкий случай – писатель абсолютно ошибся в прогнозах, в чем был не одинок. Большевистскую угрозу мало кто оценил в должной мере.

«Большевики – это люди обреченные, они ищут момента дружно умереть и в ожидании этого в будничной жизни бесчинствуют». [342]

«Ленинство – результат страха». [343]

Четвертого июля будущие хозяева страны устроили в Ельце погром, избили до полусмерти воинского начальника, председателя продовольственной управы, крупных торговцев. Расправа, как отмечал Пришвин, была проведена с «азиатской жестокостью». Пленников вели по городу босыми и били, причем больше всего неистовствовали женщины.

«Эта свистопляска с побоями – похороны революции». [344]

Дни революции в Петрограде вспоминались теперь как «первые поцелуи единственного, обманувшего в жизни счастья», [345] и предчувствия Пришвина были мрачны: «Почти сладострастно ожидает матушка Русь, когда, наконец, начнут ее сечь». [346]

Что-то стремительно переменилось в российском государстве за несколько лет, долгожданное новое оказалось куда хуже надоевшего старого, и очень скоро взгляд писателя на большевиков сделался менее легкомысленным: «В них есть величайшее напряжение воли, которое позволяет им подниматься высоко, высоко и с презрением смотреть на гибель тысяч своих же родных людей, на забвение, на какие-то вторые похороны наших родителей, на опустошение родной

страны (...) Так воцарился на земле нашей новый, в миллион раз более страшный Наполеон, страшный своей безликостью. Ему нет имени собственного - он большевик». [347]

С этого момента, с весны и лета семнадцатого года и начинается идейное сближение Пришвина с Буниным по самым насущным для России вопросам, и именно отсюда берет начало их выстраданный внутренний диалог о России, революции и русском народе.

Революцию оба встретили в том возрасте (Бунину было сорок семь, Пришвину - сорок четыре), когда житейский и духовный опыт человека, острота зрения, интерес к реальной жизни и определенная отстраненность от повседневной рутины находятся в гармоническом сочетании, делающем человека способным максимально глубоко увидеть и оценить сущность происходящих событий. Бунинские и пришвинские дневники, посвященные революции и Гражданской войне, пожалуй, самые глубокие документы первой русской смуты двадцатого века.

В этих только в постсоветское время опубликованных на родине писателей произведениях есть совпадения чуть ли не текстуальные, как, например, в тех случаях, когда революция описывается обоими, как Варфоломеевская ночь и даже дается народная огласовка: у Бунина - «на сходке толковали об „Архаломеевской ночи“ - будто должна быть откуда-то телеграмма - перебить всех буржуев». Пришвин призывает в своей «революционной» публицистике «собирать человека», разбитого событиями «Халамеевой» ночи.

Они черпали из одного источника, и хотя для Бунина в большей мере причиной и сутью революционных событий оказалось народное окаянство, для Пришвина революция - это скорее проявление

русского сектантства, хлыстовства («Почему вы так нападали на Распутина? – спорил он с Горьким. – Чем этот осколок хлыстовства хуже осколка марксизма? А по существу, по идее чем хлыстовство хуже марксизма? Голубиная чистота духа лежит в основе хлыстовства, так же как правда материи заложена в основу марксизма. И путь ваш одинаков: искушаемые врагами рода человеческого хлыстовские пророки и марксистские ораторы бросаются с высоты на землю, захватывают духовную и материальную власть над человеком и погибают, развращенные этой властью, оставляя после себя соблазн и разврат»<sup>[348]</sup>); хорошо знакомый с этими течениями русской религиозной мысли и поведения, он знал, что говорил. Если положить их дневники рядом, то, отвлекаясь от стилистики, порой затрудняешься сказать, кто из них что писал – так много здесь горечи, отчаяния, столько тяжелых и порою даже оскорбительных слов о русском народе, что легко было бы обвинить авторов в русофобии, когда бы все сказанное не очищалось глубочайшей любовью к России, которой оба были преданы до конца дней.

«По ту сторону моих человеческих наблюдений – преступления: вчера на улице горели купцы, сегодня в деревне вырезали всю семью мельника, там разграбили церковь, и судебные власти целую неделю не знали об этом, потому что некому было донести».<sup>[349]</sup>

«...на мое клеверное поле едут мальчишки кормить лошадей, бабы целыми деревнями идут прямо по сеянному полю грабить мой лесок и рвать в нем траву, тащат из леса дрова».<sup>[350]</sup>

«Обнаглели бабы: сначала дрова разобрали в лесу, потом траву, потом к саду подвинулись, забрались на двор за дровами (самогон гнать) и вот уже в доме стали показываться: разрешите на вашем огороде рассаду

посеять, разрешите под вашу курочку яички положить».  
[351]

И как вопль отчаяния, голубая мечта: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков (выделено мной. – А. В.)». [352]

А вот Бунин: «Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и премерзкие. „Анархия“ у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что „лозунгов“, но и простых человеческих слов – изумительные. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, – это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа, – вспомнит мою „Деревню“ и пр.!

Кроме того, и не безопасно жить теперь здесь. В ночь на 24-е у нас сожгли гумно, две риги, молотилки, веялки и т. д. В ту же ночь горела пустая (не знаю, чья) изба за версту от нас, на лугу. Сожгли, должно быть, молодые ребята из нашей деревни, побывавшие на шахтах.

Днем они ходили пьяные, ночью выломали окно у одной бабы-солдатки, требовали у нее водки, хотели ее зарезать. А в полдень 24-го загорелся скотный двор в усадьбе нашего ближайшего соседа (...). [353]

Они описывают одну и ту же местность, ту самую, что дала России великое соцветие писательских имен, и именно выходцам из этой земли, пройдя сквозь муки революционных лет и Гражданской войны, Пришвин предъявит свой счет и будет молить как заступников: «И так земля вся разорена, мы еще можем теперь прислониться к вождям нашей культуры, искать защиты у них, ну, Толстой, Достоевский, ну, Пушкин? вставайте же, великие покойники, мы посмотрим, какие вы в свете нашего пожара и что есть у нас против него». [354]



Что, безусловно, еще было у них общее – так это полный отказ от иллюзий во взглядах на народ.

Бунин: «Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса – лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, – сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством не могут, не хотят, за всю историю. (...) Интеллигенция не знала народа».

Пришвин: «Я никогда не считал наш народ земледельческим, это один из великих предрассудков славянофилов, хорошо известный нашей технике агрономии: нет в мире более варварского обращения с животными, с орудием, с землей, чем у нас. Да им и некогда и негде было научиться земледелию на своих клочках, культура земледелия, как и армия царская, держалась исключительно помещиками и процветала только в их имениях. Теперь разогнали офицеров – и нет армии, разорили имения – и нет земледелия: весь народ, будто бы земледельческий, вернулся в свое первобытное состояние». [\[355\]](#)

Очень похоже оба великоросса смотрят на роль в революции евреев, [\[356\]](#) и у обоих ощущение гибели страны, великой страны – причем тут даже интонационно и эмоционально плач Пришвина и Бунина по Руси уходящей оказывается схож.

Пришвин: «Неведомо от чего – от блеснувшего на солнце накатанного кусочка тележной колеи, или от писка птички, пролетевшей над полями, или от облака,



закрывшего солнце, вдруг повеяло осенью, не той, которая придет к нам с новой нуждой и заботами, а всей осенью моей родины, с родными и Пушкиным, с Гречем и Некрасовым, с тетками, с бабами, с мужиками нашими, с дегтем, телегами, зайцами, и ярмаркой, и яблонями в саду нашем, и потом и с весной, и зимой, и летом, и со всеми надеждами и мечтами нераскрытого, полного любовью сердца. А потом вдруг: что это все погибает. Новое страдание, новый крест для народа русского я смутно чувствовал еще раньше, неминуемо должен прийти, чтобы искупить – что искупить?

Так развязываются все узлы жизни. Вот развязалось в хозяйстве: сено сопрело, вышло из круга, и теперь стало непонятно, как мы уберемся. Так же и в этом узле России и всей мировой войны: Россия выходит из круга.

Разбежались министры. Бегут войска. Бегут части государства, отрываются клоками. Разделяются деревни и села, соседи, члены семьи – все в какой-то напряженной тяготе и злобе. Россия погибает. Боже мой, да ее уже и нет, разве Россия эта с чувством христианского всепрощения, эта страна со сказочными пространствами, с богатствами неизмеримыми. Разве это Россия, в которой священник в праздник не служит обедню, потому что нигде не может достать для совершения таинств красного вина? ее уже нет, она уже кончилась». [\[357\]](#)

Бунин: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...» [\[358\]](#)

Пришвин: «И все-таки чувствуешь где-то в смутной глубине души, не смея назвать настоящим именем, какую-то оборонительную святыню Града Невидимого Отечества». [\[359\]](#)

Бунин: «Если бы я эту „икону“, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?»<sup>[360]</sup>

Их позиции сближаются, но как поразительно разнятся судьбы...

Октябрьский переворот Бунин встретил в Москве, Пришвин в Петербурге.

Бунин, невероятно желчно, 4 ноября (в Москве): «Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости – страшное чувство свободы (идти) и рабство. Лица хамов, сразу заплонивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. (...) Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!»<sup>[361]</sup>

Пришвин, не менее сердито: «28 октября. День определения положения. Подавленная злоба сменяется открытым негодованием».<sup>[362]</sup>

«30 октября. Позор, принятый в Думу через большевиков, должен быть искуплен, иначе у нас нет отечества».<sup>[363]</sup>

«В начале революции было так, что всякий добивающийся власти становился в обладании ею более скромным, будто он приблизился к девственности. Теперь власть изнасилована и ее ебут солдаты и все депутаты без стеснения»,<sup>[364]</sup> и о разнице восприятия революции в городе и деревне отозвался так: «Там делят землю, здесь делят власть.

Как самая романтическая любовь почти всегда кончается постелью, так и самая многообещающая власть кончается плахой».<sup>[365]</sup>

8 ноября (по старому стилю) Пришвин записал: «На Октябрьское восстание у меня устанавливается такой взгляд: это не большевики, это первый авангард разбегающейся армии, которая требует у страны мира и

хлеба. Подпольно думаю, не вся ли революция в этом роде, начиная с Февраля?

Не потому ли и Керенского так ненавидят, что он стал поперек пути этой лавины?»[\[366\]](#)

«Армия не существует, золото захвачено, общество разбито, демократия своими руками разрушает фундамент своего же жилища...»[\[367\]](#)

Ужас нарастал день ото дня: «Русский человек перешел черту, и к прежнему возвратиться ему невозможно».[\[368\]](#)

«Русский народ погубил цвет свой, бросил крест свой и присягнул князю тьмы Аваддону».[\[369\]](#)

И именно в это время родилась в сердце Пришвина мрачная, подзаборная, как он ее сам называл, молитва, которой он оставался верен едва ли не до конца дней: «Господи, помоги мне все понять, все вынести и не забыть, и не простить!»[\[370\]](#)

## Глава XII

# ПРИШВИН В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

Если бы я хотел ограничить описание пришвинской жизни лишь одним отдельно взятым годом, то выбрал бы именно этот, в оценке другого замечательного русского писателя той поры «великий и страшный год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй». Этот год разделил сознательную жизнь моего героя, начало которой сам он датировал 1881 годом (а точнее, днем убийства Александра Второго), на две равные половины, и в нем, как в центре и эпицентре долгого жизненного пути Пришвина, отразились, туго переплелись все сюжеты его жизни прошлой и будущей: личные, общественные, творческие, литературные споры, любовная связь, изгнание из дома и клятва найти себе «свободную родину»,<sup>[371]</sup> диалог с властью, философские изыскания и даже смена летоисчисления – в нем весь Пришвин, подводивший итоги прожитых и готовившийся к новым временам.

Январь начался для Михаила Михайловича (а писатель встретил его вместе со своими любимыми Ремизовыми: «Никогда еще люди не заботились так о еде, не говорили столько о пустяках. Висим над бездной, а говорим о гусе и о сахаре. За это все и держимся, вся над бездной»<sup>[372][373]</sup>) более чем драматично. О семье своей он в ту пору ничего не знал: она находилась в Хрущеве, и сведений оттуда не поступало.

«Мучительно думать о родных, особенно о Леве – ничего не знаю, никаких известий, и так другой раз подумаешь, что, может быть, их и на свете нет. И не

узнаешь: почты нет, телеграф только даром деньги берет».<sup>[374]</sup>

Но очень скоро ему пришлось думать о семье в тюрьме: на второй день нового года Пришвин, как редактор литературного отдела газеты партии правых эсеров «Воля народа» («Одно из сит демократии – „Воля народа“, в которой я теперь по недоразумению пребываю, исповедует чистую наивную веру в русскую демократию. Это самый невинный орган и чистый от искательства „демонов“»<sup>[375]</sup>), был вторично в своей жизни арестован.

«Арестовали (...) кучу сотрудников, даже Пришвина», – со свойственным ей ехидством записала в своих «Черных тетрадах» Зинаида Гиппиус.<sup>[376]</sup> Только если первый раз его бросили за решетку царские сатрапы, то теперь – посадили большевики, причем «арестующий юнец-комиссар», самый первый представитель новой власти, повстречавшийся Пришвину на его долгом советском пути, в ответ на чьи-то слова: «Это известный писатель» – замечательно отозвался: «С 25-го числа это не признается».

Не в пример одиночной камере в Митавской образцовой тюрьме заключение было не слишком тягостным и продолжительным. Арестантов – а среди них были другие сотрудники редакции, теософ, адвокат, министр царского правительства, рабочий и профессор Духовной академии – посещали представители Красного Креста, приносили им щи и котлеты, в камере велись политические разговоры и интеллигентские споры.

Узники возлагали большие надежды на Учредительное собрание, однако оно было разогнано знаменитой фразой «Караул устал!» («Историческая фраза: „Караул устал!“ – как осуждение говорящей интеллигенции»<sup>[377]</sup>), произошло незаконное, без суда

и следствия убийство министров Временного правительства Кокошкина и Шингарева, и трагическая судьба двух высокопоставленных чиновников вполне могла ожидать всех содержащихся в тюрьмах, ощущавших себя заложниками арестантов («Мы – заложники. Если убьют Ленина, то сейчас же и нас перебьют»<sup>[378]</sup>). Под угрозой бунта уголовных и сыпного тифа политэки обсуждали, кто виноват в том, что произошла революция (священный гнев народа, либеральная литература и т. д.) и страху натерпелись порядочно.

Освободили гражданина Пришвина 17 января, а ровно через два дня в левоэсеровской газете «Знамя труда» вышла, разорвалась, как бомба, знаменитая статья Александра Блока «Интеллигенция и революция».

Блока Пришвин не просто уважал, но, в отличие от всех без исключения декадентов, отзывался о нем неизменно высоко. Посетив в 1915 году салон Сологуба, где бурно обсуждался еврейский вопрос, Пришвин дал убийственную характеристику всем собравшимся за исключением Блока: «Салон Сологуба: величайшая пошлость, самоговорящая, резонирующая, всегда логичная мертвая маска... пользование... поиски популярности... (Горький, Разумник и неубранная голая баба).

Бунин – вид, манеры провинциального чиновника, подражающего Петербуржцу-чиновнику (какой-то пошиб).<sup>[379]</sup>

Карташов все утопает и утопает в своем праведном чувстве.

Философов занимается фуфайками. Блок – всегда благороден».<sup>[380]</sup>

Блок относился к более старшему по возрасту и настолько же младшему по литературному опыту

собрату прохладнее. Еще в 1910 году, размышляя о планах на лето, он отмечал в записной книжке: «Поехать можно в Царицын на Волге – к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию к Ключеву. С Пришвиным – поваландаться? К Сектантам – в Россию».  
[\[381\]](#)

Согласимся, глагол «валандаться» не очень-то почтенный по отношению к человеку, который был его на семь лет старше. А в 1915 году после посещения издательства «Сирин» Блок отозвался о встретившемся ему Пришвине и того хлеще: «Опять Пришва помешала говорить...»  
[\[382\]](#)

Тем не менее поэт с прозаиком были, что называется, в одном стане, но когда революция размела Блока с другими членами бывшего Религиозно-философского общества по разным углам политического ринга, Пришвин примкнул к правому большинству. И дело тут было не в большинстве, а в собственной позиции Михаила Михайловича. Ни холодное лето семнадцатого года в деревне, ни две недели тюремного заключения в январе восемнадцатого не прошли бесследно, демократических иллюзий более не осталось, и Пришвин не сдержался, высказал в статье все, что о Блоке и о его образе мыслей думает, используя свой излюбленный и хорошо знакомый адресату образ кипящего чана.

«С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии.

Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет «пролетарием», нужно последнее отдать, наше слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти. (...)

О деревенских вековухах так говорят: не выходит замуж, потому что засмыслилась и все не может ни на ком остановиться, ко всем льнет и все ей немилы – засмыслилась.

Это грубо, но нужно сказать: наш любимый поэт Александр Блок, как вековуха, засмыслился. Ну разве можно так легко теперь говорить о войне, о родине, как будто вся наша русская жизнь от колыбели и до революции была одной скукой.

И кто говорит? О войне – земгусар, о революции – большевик из «Балаганчика».

Так может говорить дурной иностранец, но не русский и не тот Светлый иностранец, который, верно, скоро придет.

Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я – как любопытный, он – как скучающий.

Хлысты говорили: – Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрите и воскресните вождем.

Ответа не было из чана. И так же не будет ему ответа из нынешнего революционного чана, потому что там варится Бессловесное.

Эта видимость Бессловесного теперь танцует, и под этим вся беда наша русская, какой Блок не знает, не испытал. В конце концов, на большом Суде простится Бессловесное, оно очистится и предстанет в чистых ризах своей родины, но у тех, кто владеет словом, – спросят ответ огненный, и слово скучающего барина там не примется». [\[383\]](#)

Самое поразительное в концовке этого страстного и не совсем справедливого послания (ну почему же это Блок русской беды не знает и не испытал – а кто испытал и знает?) даже не то, что Блок назван скучающим барином, когда-когда, а зимой 1917/18 года он таковым не был, – а то, что Пришвин буквально повторяет, вернее, переворачивает мысль той самой



замечательной питерской старухи, что готова была простить образованным людям отречение от государя, но вменяла это предательство в вину красногвардейцам. Так и Пришвин – народу революция простится, поэту – нет. [\[384\]](#)

Блок ответил Пришвину через два дня: «Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в „Воле страны“.

Долго мы с Вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный враг, злейший, даже Буренин, не сумел подобрать такого количества личной брани. Оставалось Вам еще намекнуть, как когда-то делал Розанов, на семейные обстоятельства.

Я на это не обижаюсь, но уж очень все это – мимо цели: статья личная и злая против статьи неличной и доброй.

По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не «Воли страны») не нападаю: но у нас – слишком разные языки.

Неправда у Вас – «любимый поэт». Как это может быть, когда тут же рядом «балаганчик» употребляется в ругательном значении, как искони употребляет это слово всякий журналист? Вы же не знаете того, что за «балаганчиком», откуда он; не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию и т. д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также и в фельетоне, который Вам так ненавистен.

Значит, надо сказать – не «любимый поэт», а «самый ненавистный поэт».

Александр Блок». [\[385\]](#)

Тут вернее всего – даже не разные плоскости мышления, а нежелание вообще вступать в дискуссию. Никаких аргументов Пришвина Блок ни принимать, ни даже рассматривать или отвергать не желал («слишком разные языки»), да и в ответе письмо Блока не

нуждалось, а писалось для того, чтобы адресат принял его к сведению. Но остановиться Пришвин не мог – он был по-настоящему заведен и непривычно запальчив (в скобках то, что Пришвин зачеркнул).

«Александр Александрович – мой ответ (на Вашу статью в „Знамя Труда“) был не злой (как Вы пишете), а кроткий. (Именно только любимому человеку можно так написать, как я). Если бы автор не был Блок, я написал бы, что он получает ворованные деньги, что земгусар ничего не делал на войне, а пьянствовал в тылу, что ходит почему-то до сих пор в военной форме и еще (много) всего. (И это надо бы все написать, потому что Вы это заслужили.) О (Ваших) семейных отношениях земгусара я не мог бы ничего написать, потому что я этим не интересуюсь, все наши общие знакомые и друзья подтвердят Вам, что я для этого не имею глаза и уха, и если что вижу и слышу, забываю немедленно. (...)

Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызвала ваша статья у Мережковского, у Гиппиуса, у Ремизова, у Пяста.

Прежде чем сдать свой ответ (Вам) в типографию, я прочел ее Ремизову, и он сказал: «Ответ кроткий»». [\[386\]](#)

Это письмо – уже разрыв несомненный, на грани вызова на дуэль.

После него никаких личных отношений между ними быть не могло, однако их спор был заочно продолжен в двух произведениях, одно из которых читающей публике известно очень хорошо, а второе – почти нет: это «Двенадцать» и «Голубое знамя».

Про «Двенадцать» написаны горы литературы и существует море толкований, но одну, вряд ли известную и весьма любопытную подробность о легендарной поэме привести стоит, хотя полного доверия к этой подробности нет. Скорее версия, но очень правдоподобная, ибо исходила от чрезвычайно

информированного и не склонного к мистификациям человека.

Когда в 1927 году Пришвин посетил после долгого перерыва Ленинград и совершенно не узнал в нем бывшую имперскую столицу, Р. В. Иванов-Разумник сообщил ему, что вития в поэме «Двенадцать» («А это кто? – Длинные волосы// И говорит вполголоса://– Предатели!//– Погибла Россия!// Должно быть, писатель —//Вития...») – не кто иной, как Пришвин: так Блок ответил своему оппоненту за статью «Большевик из „Балаганчика“».

«Статья была написана мной, – прокомментировал не без огорчения эту новость Пришвин, у которого в год десятилетия Великого Октября, по-видимому, не было большой охоты давнюю историю вспоминать, да и политические его взгляды к той поре изрядно переменились, – под влиянием Ремизова в один из таких моментов колебания духа, когда стоит человека ткнуть пальцем и он полетит. Мне очень досадно, что Блок оказался способным расходовать себя на такие мелочи. И как глупо: это я-то „вития“!»<sup>[387]</sup>

Сюжет «Голубого знамени», впервые опубликованного 28 января 1918 года, довольно прост и имеет много общего со знаменитой блоковской поэмой, особенно по части антуража: революционный, занесенный снегом город, грабежи, стрельба, а главный герой – провинциальный обыватель, который случайно оказался в Питере, попал под арест, сошел с ума и решил собрать под голубое знамя (противопоставленное знамени красному) всех хулиганов, мародеров и пьяниц.

Герой отчасти автобиографический не по социальному статусу, а по мироощущению («Семен Иванович больше ничего не боится – Семен Иванович сам теперь как страх»), и, развивая его идеи, в

разговоре слевой Пришвин позднее сформулировал свою позицию в революционные годы: «Я за человека стою, у меня ни белое, ни красное, у меня голубое знамя (...) голубое, как небо над нами, и на голубом золотой крест (...) Мы будем действовать словом, не пулями, мы слова найдем такие, чтобы винтовки падали из рук, это очень опасные слова, нас могут за них замучить, но слова эти победят».<sup>[388]</sup>

Неизвестно, читал ли Александр Блок этот рассказ, но позднее, когда Блока уже не было в живых, пораженный его безвременным, невысказанным уходом Пришвин («Говорят, что Блок расстался с жизнью с злобной радостью»;<sup>[389]</sup> «Мариэтта Шагинян мне рассказывала о Блоке ужасные вещи, будто бы Блок умер не от физических, а от духовных причин, что в последнее время его вокруг все убивало и никто из окружающих не понимал, что его убивало»<sup>[390]</sup>) не раз возвращался к поэме «Двенадцать», пытаясь понять ее смысл: «Наконец, я понял теперь, почему в „12-ти“ впереди идет Христос, – это он, Блок, имел право так сказать: это он сам, Блок, принимал на себя весь грех дела и тем, сливаясь с Христом, мог послать Его вперед убийц: то есть Голгофа – стать впереди и принять грех на себя. Только верно ли, что это Христос, а не сам Блок, в вихре чувств закруженный, взлетевший до Бога...»<sup>[391]</sup>

Еще пять лет спустя, в перерывах между охотой Пришвин писал о Блоке, и первая часть этой записи, опубликованная в восьмом томе последнего собрания сочинений писателя, поклонникам Пришвина и Блока хорошо известна, а вторая, по-видимому, нет: «Блок для меня – это человек, живущий „в духе“, редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами. Это и плюс аристократизм стиха, в общем какая-то мучительная

снежная высота, на которой я не бывал, не могу быть, виновачусь в этом себе и утешаюсь своим долинным бытием без противопоставления.

Но мы встретились с Блоком в отношении к Октябрю. Горным своим глазом он разобрал в нем Интернационал, а я своим долинным путем понимал, что чем меньше жертв, тем лучше. Словом, я не чувствовал «музыки» революции, хотя верил и знал, что она была у немногих, знакомая мне музыка по моей юности». [\[392\]](#)

А вот что было в Дневнике дальше и в восьмой том не вошло: «Блок был робким хлыстом, колебавшимся у края бездны: броситься или удержаться. В Октябре он, наконец, решился и бросился в эту бездну, чтобы умереть и воскреснуть царем-христом. Судьба его была подобна костромскому нищему, который 30 лет обещал свое вознесение и, наконец, собрался с духом, поднялся на колокольню, бросился и обломал себе ноги (...)

Блок был таким же романтиком, как и я, как и другие «природные Оптимисты». Но мы разнимся с ним в отношении к «первородному греху», к дьяволу и злу вообще. Блок глуповат и слеп в отношении к дьяволу. Нужно же, в конце концов, понимать умному романтику, что и дьяволу необходимо жить и договор с ним необходим. (...) Блок пошел в Октябрь каким-то несчастным путем и хотел обмануть самого сатану, якшаясь с низшими. Революция шла честно, а Блок нечестно и за то пострадал». [\[393\]](#)

Но еще через много лет: «Боже мой! я, кажется, только сейчас подхожу к тому, что сказал Блок в „Двенадцати“. Фигура в белом венчике есть последняя и крайняя попытка отстоять мировую культуру нашей революции. Как же я тогда этого не понимал, как медленно душа моя опознает современность». [\[394\]](#)

«Есть люди, от которых является подозрение в своей ли неправоте, или даже в ничтожестве своем, и начинается борьба за восстановление самого себя, за выправление своей жизненной линии. Такой для меня Блок». [\[395\]](#)

Однако вернемся в восемнадцатый год. До победы слов было очень далеко, и оптимистичный, преодолевающий трагедию тон содержится в дневниковых записях восемнадцатого года гораздо реже трагичного, если не сказать безысходного.

Душевное состояние Пришвина в этот период тягостно как никогда: «Бледная, как ваты клочок, висит над Невою луна, и душа моя такая же бледная при зареве русского пожара: не светится больше, и никто больше не заметит ее, потому что она не нужна, и не сегодня-завтра меня заставят колоть лед или продавать газеты». [\[396\]](#)

Революция для него ассоциируется теперь не столько с апокалипсисом, сколько с ветхозаветным образом семи тощих коров, что пожрали тучных: «Вы хотели всех уравнять и думали, что от этого равенства загорится свет братства людей, долго вы смотрели на беднейшего и брали в образец тощего, но тощие пожрали все и не стали от этого тучнее и добрее». [\[397\]](#)

Снова приходят мысли о самоубийстве, и, пожалуй, в эти трагические годы и пробудилось в душе подлинное религиозное чувство – приблизившись с той стороны, которая многим в ту пору была хорошо известна и изведена, – с ощущения богооставленности.

«Господи, неужели ты оставил меня, и если так, стоит ли дальше жить и не будет ли простительным покончить с собой и погибнуть так вместе с общей гибелью?»

Вот она, тьма тьмущая, окутывает небо и землю, и я слепой стою без дороги, и пластами вокруг меня, как

рыба в спущенном пруду, лежит гнилая русская человечина». [\[398\]](#)

Революционная Россия для Пришвина – спущенный пруд, на дне которого открылась грязь и исчезли небесные отражения в воде, и как противоречит этот образ таинственному Светлому озеру с его Невидимым градом! Мир опрокинулся, перевернулся, сошел с рельсов, и для человека, сделавшего своим жизненным кредо не отрицание, но утверждение (отчасти именно из-за страха перед суицидом, мотив которого встречается в Дневнике вплоть до 1940 года) и одновременно с тем не принявшего отчаянную попытку утверждения, предпринятую надорвавшимся Блоком, это время было психологически невероятно тяжело. Выход виделся ему не в настоящем и не в прошлом («Мы не спасены прошлым страданием, с прошлым оборвана всякая связь, и пропасть, открытая, непереходимая» [\[399\]](#)), а в будущем, в мечте. Идея опять же утопическая и типично модернистская, но было именно так: мечталось дожить до того времени, когда все будет оправдано и осмыслено, – идея, с которой Пришвин прожил все советские годы.

«Русский народ гонят хлев чистить, очень много накопилось навозу.

Я верю, что вычистить необходимо, и очень хочу одного, чтобы хоть дедушкой из хлева на ребят посмотреть». [\[400\]](#)

Быть может, из этого желания и проистекала пришвинская противоречивость. С одной стороны, революция для него – катастрофа, революция «есть именно момент нарушения творчества», [\[401\]](#) с другой – «Революция – творческий акт, субъект которого есть народ», [\[402\]](#) но главное – независимо от творческого или нетворческого содержания – революция «нарушила в России равновесие гражданского безразличия, и



каждый почувствовал на себе бремя родного безвластия». [\[403\]](#)

В 1918 году Пришвин очень чутко реагировал на то, что эта катастрофа окружена обыденным, неизменившимся течением внешней жизни, круговоротом природы, и контраст между миром природы и миром людей становится одной из важнейших тем для него в эти годы.

«Что ненавистно, так это соловьи в разоренных усадьбах Тургеневского края: ведь прилетят проклятые и запоют как ни в чем не бывало, и будет расцветать черемуха, вишня, сирень...»; [\[404\]](#) «Не верьте же, писатели, соловьям и ландышам наступающей весны – это обман! Сохраните это на свадьбу наших наследников, мы же теперь ляжем в могилу с тем, что видели в щелку: человеческая связь истории, наконец, обрывается, и благоуханные ландыши потом вырастают на трупе человека, будто бы раз и навсегда спасенного и бессмертного». [\[405\]](#)

И поразительно, как это признание перекликается с бунинской «Деревней» и размышлениями ее главного героя: «И непонятно было: все говорят – революция, революция, а вокруг – все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию...»

Наряду с ужасами революции – красота Божьего мира, и этот контраст становится для обоих авторов осознанным художественным приемом, который они неоднократно используют, но Бунин все же академичнее, строже: «Вчера вечером, когда мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидел грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету. Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот



последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы». [\[406\]](#)

Бунин внутренне логичен, целен и непротиворечив – «Окаянные дни» не столько памятник эпохи, сколько личный манифест, политически просчитанная программа, в высшей степени тенденциозная со всеми вытекающими плюсами и минусами книга – в ней нет кружения мысли, нет растерянности, внутреннего смятения, которые неизбежно отражаются в любом дневнике, и в пришвинском в том числе, здесь выхвачено и художественно отобрано только самое нужное, убийственно точное, чтобы прозвучало «во весь голос».

«Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов». [\[407\]](#)

Пришвин, проходя по улице, увидел барышню, из бывших, торгующую мылом «Метаморфоза», и это нелепое название невероятным образом его задело.

«И проходя мимо колющих лед [\[408\]](#) сестер милосердия, я спрашивал себя: – Ну, в чем метаморфоза, кто во что превратился и что из этого вышло?

Разворовано общее добро, унижена женщина, затоплен грязью и брошен правительством прекраснейший город, созданный на крови русского народа, – в этом метаморфоза?» [\[409\]](#)

Здесь, безусловно, полемика с Серебряным веком, с Блоком, с самим собой – с тем декадентским мироощущением, которое революцию призывало, звало, торопило, ведя речь об очистительном огне, светлом апокалипсисе и преображении мира.

И дальше писатель определяет свое кредо: «Я не хочу говорить о достижении в области мирового строя, в этом я мало понимаю, и я не политик по природе, я живу и думаю в области неделимого простого, человеческого. И я хочу как русский писатель иметь право потом сказать так же твердо и просто народу, как говорит Анатоль Франс, описывая хвост перед лавочкой времен Великой французской революции».<sup>[410]</sup>

Сравнение не самое корректное, поскольку А. Франс не был свидетелем революции и его роман «Боги жаждут» (1912, русский перевод – 1917), на который ссылался Пришвин, был создан больше чем век спустя после описываемых в нем событий, но для этой высшей правды Пришвин, называвший себя «писателем побежденного бессловесного народа без права писать даже»,<sup>[411]</sup> вел дневник, хранил его как зеницу ока, боялся, знал, на что идет, рисковал – но свой долг выполнял, и хлебнуть из мирской чаши страдания и унижения ему пришлось куда больше, чем его знаменитому соседу.

Весной восемнадцатого года, когда с помощью Фриче, которого Бунин некогда спас от высылки из Москвы за революционную деятельность, академик покинул новую старую столицу и перебрался в Одессу (Пришвин об этом знал, на что указывает его письмо к Ремизову, написанное в июне 1918 года), свое последнее пристанище на Русской земле, Пришвин отправился из Петербурга в Елец по «бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучаются люди»,<sup>[412]</sup> и кто еще из крупных, уже

заявивших о себе русских писателей того времени мог сказать, что самые тяжелые годы русской смуты провел в деревне?

В Ельце Пришвин оказался меж двух огней: с одной стороны – восставшие мужики, с другой – бывшие помещики.

«Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги». [\[413\]](#)

Но в эти же весенние дни, от соседки Любви Александровны (той самой, что в «Кашеевой цепи» ездила к старцу Амвросию и предостерегала Курымушку от увлечения Марьей Моревной), ему довелось выслушать обвинение, что разгром ее имения – дело его рук.

«– Как моих?

– Ваших! ваших! – крикнула она.

– Боже мой, – говорю я, – меня же кругом считают контрреволюционером.

– А почему же, – кричит она, – у всех помещиков дома разграблены и снесены, а ваш дом стоит?»

И чуть дальше – очень важное: «Я подумал: „Дом мой стоит, а если вернется старая власть, дому моему не устоять: эта старуха меня разорит и, пожалуй, повесит на одном дереве с большевиками“». [\[414\]](#)

Ни вперед нет пути, ни назад, быть может, отсюда – пришвинская позиция меж двух станов, только совсем иная, чем у Волошина.

«Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, которым кажется, будто сама земля под ними бежит».

[\[415\]](#)

Все происходившее вокруг и впрямь было похоже на сектантское безумие десятых годов, охватившее на сей раз не кучку людей, а всю громадную страну, и Пришвин с холодной головой взирал на кипение стомиллионного крестьянского чана, где против всех законов физики повышалась температура, только вот быть сторонним наблюдателем, скучающим, любопытным, каким угодно, в этой трагедии не было дано никому - все без исключения стали ее участниками, даже верстовые столбы.

«Прошлый год мы сеяли под золотой дождь слов социалистов-революционеров о земле и воле, и у нас были смутные мечты, что народ-пахарь создаст из этого что-то реальное. Теперь в коммунистической стране надежд на землю и волю нет никаких». [\[416\]](#)

И чуть далее: «Самое ужасное, что в этом простом народе совершенно нет сознания своего положения, напротив, большевистская труха в среднем пришлась по душе нашим крестьянам - это торжествующая середина бесхозяйственного крестьянина и обманутого батрака». [\[417\]](#)

Ему было жаль своего обобществленного сада, который оказался никому не нужен и должен погибнуть под ударами мужицких топоров, и все происходящее казалось грандиозным, чудовищным обманом. Народ обманут интеллигенцией, интеллигенция Лениным, Керенским, Черновым, а те в свою очередь - Марксом и Бебелем. «Но их обманул еще кто-то, наверно. Где же главный обманщик: Аваддон, „князь тьмы“, которому присягнул русский народ». [\[418\]](#)

Или вот суждение из этой же серии, почти афористическое: «Рыбу ловят на червяка, птицу на зерно, волка на мясо, медведя на мед, а мужика ловят на землю». [\[419\]](#)

Исторически Пришвин уподоблял происходящее в России петровским преобразованиям, и этот сюжет впоследствии получил развитие в «Осударевой дороге». Но там, где в будущем писатель попытается найти выход, примирение и оправдание происходящего в Советской России, в 1918 году он видел такую же непереходимую черту между народом и властью, как между народом и собой (что и позволило ему в дальнейшем попытаться понять обе правды).

«Великая революция. Дела Божьи, конечно, и там революция наша, может статься, имеет великое значение народное, а здесь, на суде жизни текущей, можем ли мы назвать великим событие, бросившее живую человеческую душу на истязание темной силы?

Был великий истязатель России Петр, который вел страну свою тем же путем страдания к выходам в моря, омывающие берега всего мира. Однако и его великие дела темнеют до неразличимости, когда мы всматриваемся в до сих пор незажившие раны живой души русского человека.

Великий истязатель увлек с собою в это окно Европы мысли лучших русских людей, но тело их, тело всего народа погрузилось не в горшие ли дебри и топи болотные? Не видим ли мы ежедневно, как тело народа мучит пытками эту душу Великого Преобразователя».  
[\[420\]](#)

Анархия семнадцатого года сменилась в восемнадцатом произволом на местах. 25 мая 1918 года Елецкий СНК постановил «передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам, Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан» (Советская газета, Елец, 1918. 28 мая. № 10. С. 1. Указано Е. В. Михайловым [\[421\]](#)).

Шли расстрелы «бывших», расстрелы обывателей на улицах Ельца, обыски, аресты, доносы. Молодой человек гулял с барышней за городом возле кладбища и по дороге сорвал ветку сирени. А на кладбище недавно были похоронены расстрелянные контрреволюционеры, и находившиеся там солдаты вообразили, что парочка намеревается возложить на могилы цветы.

Молодого человека арестовали и матери его объявили, что он будет расстрелян. Потом разобрались и выпустили, а она ходила по городу и всех спрашивала: «Скажите, пожалуйста, я умерла, а почему же душу мою не отпевают?»<sup>[422]</sup>

Вокруг рушились основы мироздания, началось светопреставление, чаемое лучшими людьми Серебряного века, только не было надежды ни на наступление Царства Божьего на земле, ни на воплощение Третьего Завета, ни на царство Святого Духа, даже музыки революции – и той не было, одна какофония, и на Пришвина напало такое отчаяние, что, признавался он, «вспоминая того богоискателя, теперь начинаю тоже что-то понимать из его веры, как он явился на свет и, сочувствуя страданиям людей, я понял, почему он так презирал того Христа, которого все называли и который никого не спасает...

Христос неспасающий».<sup>[423]</sup>

Тот богоискатель – это, конечно же, вечный оппонент Мережковского и мучитель Пришвина Вас. Вас. Розанов, который незадолго до своей кончины написал в Сергиевом Посаде одну из самых страшных книг, вообще на русском языке существующих – «Апокалипсис нашего времени», и вслед за ним его гимназический ученик повторял в Ельце: «Очень может быть, что Евангельское слово и есть самый страшный губитель жизни».<sup>[424]</sup>

Он пытался противиться этому отчаянию: «Боже, дай мне дождаться первого проблеска света (...) свет нужен, дай, Господи, увидеть свет!»<sup>[425]</sup> – искал опору и попутно оставлял горькие свидетельства происходящего вокруг: «Преступление Ленина состоит в том, что он подкупил народ простой русский, соблазнил его».<sup>[426]</sup>

«Русский народ создал, вероятно, единственную в истории коммуну воров и убийц под верховным руководством филистеров социализма».<sup>[427]</sup>

Революция – это ад, но, в отличие от Бунина, который ставил на этом утверждении точку, Пришвин искал даже в тех условиях положительный ответ на вопрос о смысле истории. И если автор «Окаянных дней» восклицал: «Когда совсем падешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, *всечеловеческого* проклятия теперешним дням»<sup>[428]</sup> – Пришвин, точно знакомый с его мыслями, в самые черные дни русской смуты возражал: «Личная задача: освободиться от злости на сегодняшний день и сохранить силу внутреннего сопротивления и воздействия»;<sup>[429]</sup> «Да, нужно выносить жизнь эту и ждать, что вырастет из посеянного, Боже, сохрани забегать вперед! если это необходимо, то оно, в конце концов, будет просто, легко и радостно».<sup>[430]</sup>

Более того: «Нужно знать время: есть время, когда зло является единственной творческой силой; все разрушая, все поглощая, оно творит невидимый Град, из которого рано или поздно грянет: – Да воскреснет Бог!»<sup>[431]</sup>

Этим и можно объяснить, что еще в начале 1918 года резко выступивший против Александра Блока, считавший большевизм Божьей карой, расплатой за



отсутствие государственного и гражданского мышления и одновременно с этим следствием дореволюционного деспотизма (в приверженности к духовному наследию русских либералов Пришвин был исключительно последователен) писатель, начиная с момента трудноуловимого и зыбкого, быть может, в поисках выхода из тупика, предпринял несмелую попытку не то чтобы оправдать, но понять большевиков, сделать шаг по направлению к ним.

Это очень тонкий и чрезвычайно важный, имеющий перспективу исследования, развития, момент, и связан он был и с личными обстоятельствами (домашним воспитанием, марксистским прошлым, дружбой с Н. Семашко), и с сектантством, которому знаток сектантства уподоблял большевизм, считая русских коммунистов духовными и действенными продолжателями начатого хлыстами дела: «Нужно собрать черты большевизма, как религиозного сектантства»,<sup>[432]</sup> «партия большевиков есть секта, в этом слове виден и разрыв с космосом, с универсалом, это лишь партия, это лишь секта и в то же время „интернационал“, как претензия на универсальность»,<sup>[433]</sup> и имея перед собой не только отрицательный, но и условно-положительный опыт сектантства (секта Легкобытова, о чем он еще в 1915 году писал: «Легкобытов не дождался будущего и объявил „воскресение“ – так и марксисты объявляют воскресение»<sup>[434]</sup>).

«Все равно – град видимый товарищей или невидимый град православных, ворота в этой обители верующих узкие и войти в них можно только поодиночке, один за другим, и не у всех сразу, а у всех по имени спросил Архангел пропуск».<sup>[435]</sup>

И наконец, неслучайно в «Кашеевой цепи» большевик Ефим Несговоров повторяет в разговоре с



Алпатовым точь-в-точь те самые слова, которые произносил некогда «коммунист» П. М. Легкобытов.

«Людям нужно пуп отрезать от неба, чтобы они были на земле и чтобы знали одно: Бог на земле». [\[436\]](#)

«Мы с тобой акушеры, мы должны человеку пуповину от Бога отрезать». [\[437\]](#)

Насколько был Пришвин в своем уподоблении РСДРП(б) и религиозных сект прав, сказать трудно – исторические аналогии и сравнения зачастую характеризуют не объективное положение вещей, а наше представление о них – то, о чем Пришвин говорил применительно к «Черному арабу» и творческому методу его создания. Но, быть может, оттуда и берет начало или же получает развитие булгаковская, вернее, даже гётевская мысль: «В конце концов, конечно, большевики, творя зло, творят добро (Легкобытов, прежде чем достиг своей коммуны, мысленно разрушил государства всего мира, нынешние большевики только выполняют малую функцию того человека. Мережковскому Легкобытов казался демоническим существом – почему? Смотри на Легкобытова – видишь источник воли матроса)». [\[438\]](#)

Или такое, неожиданно ласковое: «Хорошие ребята, чувствуешь такую же тягу, как у пропасти, хочется броситься, чтобы стать их царем, как у сектантов „Нового Израиля“, когда они предлагали броситься в „Чан“». [\[439\]](#)

Вряд ли эти мысли можно считать подкоммуниванием (тем более что как раз к коммуне Пришвин относился резко и однозначно отрицательно и грубовато писал о ней: «Раньше есть собирались вместе, а срать врознь, теперь едят врознь, а срут вместе: коммуна!» [\[440\]](#)), скорее – здесь видение исторической преемственности и исторической ответственности. И хотя Пришвин очень долго не

принимал революционного романтизма Блока, некоторые покаянные идеи поэта, высказанные в статье «Интеллигенция и революция», были ему созвучны: «Это мы были „коммунистами“, наша эгоистическая злоба создавала бесов, как только наша душа стала свободна от злобы – они исчезли.

Коммунисты – образы и подобия нашего собственного прошлого будничного духа». [\[441\]](#)

«Мне трудно осудить большевиков, потому что, если бы мне было не 47 лет, а 20, то я сам бы был большевиком». [\[442\]](#)

«Кто больше: учительница Платонова, которая не вошла в партию и, выдержав борьбу, осталась сама собой, или Надежда Ивановна, которая вошла в партию и своим гуманным влиянием удержала ячейку коммунистов от глупостей?» [\[443\]](#) – последняя запись вообще ценна тем, что буквально предсказала ту роль, которую отвел себе в советском обществе Пришвин в более поздние годы.

Он, правда, членом РКП (б), ВКП (б), КПСС никогда не был, но, говоря о своей работе как «коммунистической» по содержанию, возможно, имел в виду именно эти соображения очеловечения нового строя (оволения, так сказать).

Однако при всех своих неуверенных и осторожных попытках понять правду коммунистов в восемнадцатом году вряд ли писатель поверил бы в то, что уживется с ними и даже будет под их властью то ярче, то тусклее процветать (не в осуждение сказано) в течение последующих тридцати с лишним лет.

В ту же пору, определяя собственное место в новой жизни и споря с Ивановым-Разумником, революцию приветствовавшим (о его позиции подробнее в главе «Шкраб»), Пришвин писал: «Я не примкнул к ним

оттого, что видел с самого первого начала насилие, убийство, злобу, и так все мое сбылось.

У них не было чувства жизни, сострадания, и у всех от мала до велика самолюбивый задор – их верховный водитель, и что было верное, например, «царство Божие на земле», то все замызгано. Между тем все это наше; это очень важно чувствовать: что это все наша болезнь». [444]

В этих словах отчетливо проявляется и восприятие революции человеком «начала века», своеобразным – возвращая автору его любимый образ – сектантом, оскорбленным тем, что учение оказалось искажено, а идея, к слову сказать, совершенно противохристианская, опорочена, и в то же время это мировосприятие человека исторически ответственного.

«Русская и германская революция – не революции, это падение, поражение, несчастье, после когда-нибудь придет и революция, то есть творчество новой общественно-государственной жизни». [445]

«Русская революция как стихийное дело вполне понятно и справедливо, но взять на себя сознательный человек это дело не может». [446]

«Революция – освобождение зверя от пут сознания». [447] «Состояние смуты у нас органически необходимо». [448]

Поразительно и другое: эти противоречивые мысли приходили к нему сначала в Москве – не в провинции, там взгляд его был зорче и строже, но стоило писателю соприкоснуться с литературной средой, повидаться с еще не уехавшими и не высланными прорабами Серебряного века – Гершензоном, Вяч. Ивановым и другими, а также с другом молодости и видным партдеятелем Николаем Семашко, как Пришвин начинал поддаваться обольщению не обольщению, искушению не искушению, но что-то смягчалось,

просветлялось в его душе (весной 1922 года, накануне отправки парохода с философами, он сформулировал эту перемену так: «Из Москвы я привез настроение бодрое и странно встретился этим с провинциальной интеллигенцией: откуда им-то взять бодрости среди всеобщей разрухи. Я им говорю, что разруха пройдет, нельзя связывать судьбу с преходящим, а вернее будет отыскивать следы возрождения, которое, несомненно же, есть в народе»<sup>[449]</sup>). Уже в июле 1918 года, после очень жестких высказываний о революционной эпохе неожиданно написал: «Что бы там ни говорили в газетах о гражданской войне и все новых и новых фронтах, в душе русского человека сейчас совершается творчество мира, и всюду, где собирается теперь кучка людей и затевается общий разговор, показывается человек, который называет другого не официальным словом „товарищ“, а брат».<sup>[450]</sup>

А в августе 1918 года – сразу после приезда из Москвы: «Я, зритель трагедии русской, уже начинаю в душе сочувствовать бешеным нашим революционерам».<sup>[451]</sup>

В декабре, опять же по возвращении из Москвы, еще более неожиданно: «Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни был он врагом большевиков – все-таки они ему в деревне самые близкие люди».<sup>[452]</sup>

Вот так! И никуда от этого признания не денешься, и чувствуется в нем безутешная провальная правда одинокого человека, затерявшегося в мужицком море, и потому представить дело так, что в 30-е годы Пришвин ни с того ни с сего, от страха иудейска или еще по какой-то причине вдруг враз стал подкоммунивать, изворачиваться и лгать – значит исказить его духовный путь.

В семнадцатом году большевики представлялись ему выразителями плазмы, антигосударственного, разрушительного начала и он выступал против них, в восемнадцатом он увидел, что они – плохие или хорошие – взяли (украли, ограбили – неважно) власть, с этих пор именно на них лежит ответственность за Россию как государство, и оттого инстинктивно отношение Пришвина к большевикам меняется.

Большевизм как власть виделся ему единственно возможным выходом из смуты. Неважно куда выйти – важно выйти, и любая власть лучше безвластия.

«Как это ни странно, а большевизм является государственным элементом социализма»<sup>[453]</sup> – в устах писателя-государственника такое признание дорогого стоит.

В одном из вариантов написанной по горячим следам революционных событий повести «Мирская чаша» про ее героя комиссара Персюка – человека жестокого и властного, «едва отличного от мерзости» (мужиков, которые уклонялись от уплаты налога, в прорубь опускал), было сказано: «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада».<sup>[454]</sup>

Пришвиноведы традиционно предпочитают избегать этой непростой темы: прежде – потому, что Пришвин был не совсем правильным коммунистом, теперь – потому, что в той или иной мере, со своими поправками, но коммунистическим идеям сочувствовал.

Пришвин не был конъюнктурщиком, когда искал оправдания большевикам и новой власти; он не был одинок: больше половины профессиональных офицеров царской армии (то есть наиболее служивой части государства) перешли на сторону большевиков.

«Разгадка Брусиловых: (я – Брусилов) – я иду с ними (коммунистами), потому что они все-таки свои и ближе мне, чем англичане и французы».<sup>[455]</sup>

И эта мысль для Пришвина не нова: еще в 1915 году он записал: «Может быть, нам было бы лучше, если бы какие-нибудь народы пришли к нам и разрушили государство, но беда в том, что, приходя и разрушая внешнее, они посягают и на нашу душу, на личность, вот отчего я враг немцев...»<sup>[456]</sup>

В отличие от многих более продвинувшихся на этом пути писателей он вовсе не настаивал на том, чтобы к штыку приравняли перо, не заигрывал с комиссарами, а во все времена стремился выработать собственное кредо: «Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе...»<sup>[457]</sup>

«Пора бросать придавать значение этим разным словам революции: „большевизм“, „коммуна“ и пр., все равно, как бы ни называться, где бы ни быть, нужно оставаться человеком, и потом из этого сами собой возникнут настоящие живые лозунги».<sup>[458]</sup>

Пришвин стоял на той точке зрения, что существуют, с одной стороны, идея большевизма, а с другой – национальные формы, в которых большевизм выражается, и точно так же есть два пласта коммунистической идеологии: подземный источник русского коммунизма – разрыв с отцами и наземный – западные идеи («Эту обезьяну (комму) выдумал немец и выходил русский мужик (бунтарь)»<sup>[459]</sup>). Они боролись между собой, и находящийся в эпицентре этой борьбы мыслящий страдающий человек переживал невыносимое состояние разорванности, разделенности, как и окружавший его мир.

И вот в это чудовищное время (хотя Пришвин небезосновательно писал в первый день нового, 1919 года: «Вот вопрос: время величайшее, историческое, а мы тут мечтаем, как бы поскорее перескочить

его...»<sup>[460]</sup> или: «Теперь, верно, уже настало время разгадки русского Сфинкса, напр., хотя бы Петр, сколько спорили о том, добро он сделал для России или зло. Скоро можно будет это знать. Вообще история русская сведет концы»<sup>[461]</sup>) в личной жизни писателя неожиданно произошло, затянулось, закружилось событие, которому уделено чрезвычайно много места на страницах Дневника первых послереволюционных лет и которое отчасти позволит нам переключиться от высокой и низкой политики и исторических сравнений к обыденной и поэтической, вечной стороне бытия, ради которой оно, бытие, и творится.

## Глава XIII

# КЛЮЧ И ЗАМОК

Много лет спустя после описываемых трагических событий в «Глазах земли», книге благостной и покойной, составленной из дневниковых записей конца сороковых – начала пятидесятых годов, Пришвин написал: «Чтобы понять мою „природу“, надо понять жизнь мою в трех ее периодах: 1) От Дульсинеи до встречи с Альдонсой (детская Марья Моревна – парижская Варвара Петровна Измалкова); 2) Разлука и пустынножителство; 3) Фацелия – встреча и жизнь с ней.

И все вместе как формирование личности, рождающей сознание». [\[462\]](#)

За этой трехчастной схемой стоит определенная легенда, своеобразное мифотворчество, которое исповедовал Пришвин, однако, выпрямляя свой путь к счастью, писатель одновременно обеднял его, и середина его жизни не была совершенно пустой. Об этом знала и его вторая жена Валерия Дмитриевна Пришвина (в Дневнике имеются ее пометки именно к той пришвинской записи, которая вынесена в название этой главы), но по ей одной ведомым соображениям искажала реальное положение вещей, когда писала: «Всегда ему не хватало с женщиной какого-то „чуть-чуть“, и потому он не соблазнялся никакими подменами чувства, не шел ни на какие опыты – он оставался строг и верен долгу в семье»; [\[463\]](#) «Если и бывала в прошлом измена, то лишь в мечте: жизнь прошла, по существу, как у юноши»; [\[464\]](#) «Не было никогда подмены в любви – никаких опытов: натура не позволяла». [\[465\]](#)



Не так все это было, не в одной только мечте, и, чтобы природу Пришвина понять, надо попытаться восстановить истину и рассказать о женщине, в которую Пришвин был влюблен в период «разлуки и пустынножительства».

При всем том, что Ефросинью Павловну Михаил Михайлович давно не любил, как муж он долгое время сохранял ей верность и причиной тому откровенно и прямо называл «боязнь нечистых связей: особая боязнь – болезнь»,<sup>[466]</sup> и это целомудрие, вынужденное или нет, – еще одно коренное отличие его от довольно легкомысленной и распущенной литературной богемы начала века.<sup>[467]</sup>

Бывал ли он до 1918 года, то есть за почти полтора десятка лет брака влюблен, пусть даже платонически, сказать трудно.

По-видимому, нет: сердце писателя было отдано далекой Варваре Петровне Измалковой, которая навсегда осталась для него в Лондоне, хотя именно в это время она снова объявилась в Петербурге, и одному Богу ведомо, что могло бы выйти из случайной встречи, буде вдруг двое парижских влюбленных из Люксембургского сада столкнулись на голодных улицах революционного града либо на аллеях в Летнем саду.

Впрочем, на этих улицах внимание Пришвина в ту пору занимала иная особа. В Дневнике 1917–1918 годов большое место отведено некой Козочке, Софье Васильевне Ефимовой, соседке Михаила Михайловича по дому на Васильевском острове. Ей было в ту пору всего восемнадцать лет (а может, и меньше, Пришвин в оценке девичьего возраста был по обыкновению противоречив), и сохранилась фотография невзрачной, с острыми чертами лица («холодный нос, детские губы с ложбинкой», «глаза козы, жаждет жизни, копит по 3 р. в месяц на поездку по Волге»<sup>[468]</sup>), по-видимому, не

очень умной, но влюбчивой и одновременно с тем расчетливой девицы, к которой Пришвин испытывал симпатию, называл своей племянницей и по ее поведению замечательно судил о двух революциях: в феврале семнадцатого Козочка прыгала от радости, восхищалась красными флагами и пела с толпой «Вставай, подымайся!», а в ноябре ей стало все противно,<sup>[469]</sup> и она, как Шарлотта Корде, мечтала убить Марата, только не знала, кто в России Марат – Ленин или Троцкий?

Когда в январе 1918-го Пришвин был арестован, она приходила к нему в тюрьму, и именно этот эпизод переключал позднее в «Кашееву цепь», где к заключенному Алпатову под видом невесты приходила посланница партии Инна Ростовцева: во всяком случае, на той фотографии, где изображена худенькая, остролицая, нахохлившаяся Козочка, рукою Пришвина написано: «Моя тюремная невеста».<sup>[470]</sup> Он размышлял над ее судьбой, и мысли писателя о будущем этой девушки, чья молодость пришлась на годы русской смуты, перекликаются с известными бунинскими раздумьями о русских гимназистках: «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?»<sup>[471][472]</sup>

Разница и в возрасте, и в житейском опыте между Пришвиным и Софьей Васильевной была огромная, но некий намек на эротический оттенок их отношений все же встречается и перекликается с революционным падением нравов. «И Козочка моя, которую родители готовили для замужества, просит целовать себя не христианским поцелуем, а языческим, она сама не замечает, как, попадая в кометный хвост, она день за

днем забывает „нашу революцию“, и теперь ее жизнь – стремление поскорее сгореть». [473]

Но от такой развязки Пришвин себя удержал и несколько лет спустя, оценивая историю ретроспективно, написал (в третьем лице – но речь шла именно о Козочке): «В этом смешанном чувстве было два главных, одно, которое давало направление дружбе спокойной и светлой, а другое, увлекавшее вниз. С этим изменным чувством он вступал в борьбу и успевал иногда от него отделаться». [474]

Революция революцией, но, как и положено девушке в ее возрасте, Софья Васильевна мечтала о женихах и даже была готова на роман с каким-то безымянным, но о-очень благородным кавказцем («с кинжалом» – язвительно, а может, уязвленно добавлял Пришвин), или выйти замуж за немца: сватался к ней некий прапорщик Горячев, и она советовалась с писателем, выходить за него или нет. На возможность брака между Пришвиным и Ефимовой намекала мать Софьи Васильевны, которой Пришвин в свойственной ему полушутливой-полусерьезной манере (где одно нельзя отличить от другого) сказал: «– Заявляю вам, что люблю одну Козочку и больше никого, ее единственную.

А она:

– Когда же венчаться.

Логика тещи». [475]

Любила ли та барышня Михаила Михайловича Пришвина, который ей по возрасту в отцы годился, сказать трудно, в Дневнике мешаются реальные факты и наброски к какому-то художественному произведению, умиление и нежность в сердце писателя («Коза – это бал мой» [476]) сменяются раздражительностью и чуть ли ненавистью к своей молодой соседке «за эту шляпу-лепешку, за кофту какую-то полукитайскую... и ходит она странно –

стремительно шагая куда-то вперед, будто несется полуптица, полуощипанная птица, хочет и не может улететь». [\[477\]](#)

«Она подбирается к душе моей болеющей, как утренняя звезда подбирается к бледному месяцу, и он видит, что напрасно светил всю ночь и творил очарование предметов, – никакое лунное очарование не сравнится с лучами, создающими жизнь новую, и бледный месяц скрывается в небе, и с ним скрывается утренняя звезда, неизменная и любимая вестница его исчезновения». [\[478\]](#)

Именно эту небесную, обреченную на исчезновение в огне нового дня Козочку писатель сделал героиней «Голубого знамени», вернее, племянницей главного героя – купца Семена Ивановича. В этом недооцененном критикой рассказе она – актриса, которая ездит в Париж танцевать, путается с актерами и кончает жизнь самоубийством, и именно эта ужасная смерть отпугивает робкого героя, так что он в последний момент не решается ехать на похороны, вместо чего попадает в революционный Петроград, где и сходит с ума.

Глядя из восемнадцатого года, трудно сказать, насколько проницательно провидел Пришвин судьбу своей юной соседки, но, по-видимому, она действительно страдала от бедности, пыталась устроиться на службу к большевикам, куда ее не взяли. Возможно, Пришвин привлекал ее как писатель, хотя судил он о ней со свойственной ему порою безжалостностью («Тоже драма: она хочет войти в сферу высшей любви и гонится за писателями и художниками: в сущности это и есть мещанство в изуродованном виде»; «У Козы мне нравится ее мертвая хватка: вцепится, позеленеет и не выпустит: ее почти цинизм, как заключение сложной внутренней борьбы, в

истоках своих имеющую грусть-тоску и готовность смело отдаться порыву»<sup>[479]</sup>), но весной он уехал в Елец, и Софья Васильевна в течение многих лет не появлялась ни в его жизни, ни на страницах Дневника,<sup>[480]</sup> так что оставалось лишь гадать, что произошло с этим одновременно восторженным и прагматичным созданием, случайно попавшим в большую литературу, уцелела она в советском лихолетье или нет, и даже самая последняя пришвинская запись о ней, относящаяся к началу страшного двадцатого года, мало что проясняет: «Козочка – в ней нет ничего, она погибает, как цветок под косою...»<sup>[481]</sup>

Однако, быть может, именно это смутное чувство «козлоногого фавна», как Пришвин чуть позднее себя называл, послужило прелюдией к роману, который развернулся в Ельце, и героиню его, по какому-то владими́ро-соловьёвскому совпадению, звали, как и Козочку, Софьей.

Начало этого романа относится к лету восемнадцатого года, и так случилось, что личная любовь стала фоном всеобщей русской трагедии, а трагедия оттенила горький и единичный сюжет счастливой любви. Дневник писателя за 1918 год в одинаковой мере наполнен и личным, и общественным содержанием, где одно на первый взгляд противопоставлено другому, но на более глубинном уровне обнаруживается их родство и общность.

«21 июля. Начало романа. Корни. Бежал от ареста большевиков, а попал под арест женщины, и вот уже неделю живу, как самый мудрый сын земли, задом к городу, лицом к тишине и странным звукам елецкого оврага у Сосны – хорошо!..»<sup>[482]</sup>

А была эта пленившая писателя женщина замужней дамой, и не просто замужней, а женой лучшего пришвинского друга и однокашника по елецкой

гимназии, а также и тюремного узника по революционным делам Александра Михайловича Коноплянцев, того самого, кто давал молодому марксисту-белелевцу приют после возвращения в Елец из тюрьмы, кто помог ему перебраться после агрономических мытарств в Питер и настроил заняться литературным трудом, исследователя творчества Константина Леонтьева (он был одним из составителей сборника «Памяти К. Н. Леонтьева». СПб., 1911), розановского ученика (Розанов упоминает его в «Опавших листьях») и честного российского, а затем и советского чиновника.

До этого Коноплянец был, по-видимому, счастлив в браке: не случайно еще в 1915 году Пришвин записал: «Человек бывает очарован вещами (...) Александр Михайлович – поповной»,<sup>[483]</sup> но в течение девяти лет безмятежной жизни этой супружеской пары Пришвин жену друга недолюбливал («В Коноплянцеве нет никакой скорлупы, чистое ядрышко, а что такое Софья Павловна? золоченый елочный и пустой в середине орех»<sup>[484]</sup>), и она платила ему тем же. Александр Михайлович, если верить Пришвину, был о своей половине тоже не слишком высокого мнения, хотя сошлись они за чтением Байрона, что для благовоспитанной поповой дочки выглядит несколько пикантно, безуспешно пытался нацелить ее на учительскую работу, как супругу весьма ценил («Она ничего из себя не представляет, но зато уж верная, вот уже верная!»<sup>[485]</sup>), совершенно ей доверял, рано успокоился, растолстел, и вот что-то в одночасье переменялось, случайная встреча, письмо, разговор, приглашение на обед...

Что именно случилось, насколько было это неизбежно – волновало и Пришвина, внесшего смятение в чужую жизнь.

«Мне кажется, Ульяне (еще один пришвинский излюбленный и распространенный в Дневнике прием: время от времени наделять реальных людей выдуманными именами, так, Софья Павловна у него то Ульяна, то Липа, то Ланская, то Мстиславская. – А. В.) за ним так должно быть хорошо, надежно до конца, с ним она должна быть счастлива и навсегда быть с ним, и всякие помышления на перемены странны. Все-таки есть в заборе их огорода какая-то трещинка, и лунный свет через нее пробивается, и в нем Ульяна – моя, не хочу, не желаю, злюсь очень много на себя и даже на нее, но... это есть и, верно, так повсюду». [\[486\]](#)

Поначалу, когда все только весной начиналось, Пришвин пытался противиться любви во имя мужской дружбы («Только теперь, посмотрев на Александра Михайловича, понимаю – какое счастье, что я не оказался вором – нет!» [\[487\]](#)), но очень скоро сопротивление слабеет и чувство долга сходит на нет: «Попал к ней под арест – попался, но кажется, и она попалась: пьяные вишни и воровской поцелуй. Ничего-то, ничего я не понимаю в женщинах и еще мню себя писателем!» [\[488\]](#)

Она вошла в его жизнь владычицей, хозяйкой: «Теперь она, эта презираемая мной когда-то поповна, одним щелчком вышвырнула за окошко мою Козочку, убежище мое – Ефросинью Павловну – показала во всей безысходности, а свое духовное происхождение представила, как поэму. Ничего, никогда мне это не снилось. (...)

Пусть она будет моя героиня, блестящая звезда при полном солнечном свете... Пишу, как юноша, а мне 45 и ей 35 – вот чудно-то!» [\[489\]](#)

Удивительно, как удалось ей стать героиней целомудренного, одинокого и верного сердца, была ли с ее стороны женская наивность или особый расчет,



кокетство, страсть, а может, она «хотела позабавиться от скуки»?<sup>[490]</sup> Размышляя над этим, Пришвин приводит слова своей возлюбленной: «– Когда ты сказал: „Я могу влюбиться в девушку, но не в женщину бальзаковского возраста“, – я подумала: „Ну хорошо, не пройдет двух дней, ты будешь мой“. Тогда я начала игру, но вдруг сама попалась».<sup>[491]</sup>

И действительно попалась, так что едва не оказались поломанными четыре судьбы. Но Пришвин и Коноплянцева об этом не задумывались – их несло в языческом потоке революционных лет, как бедную, вытесненную из писательского сердца юную петербургскую барышню, а в основе всего лежал чистый эрос, недаром позднее Софья Павловна деликатно признавалась своему возлюбленному, что как женщина никогда не испытывала удовлетворения в брачной жизни, при том что в семейной была счастлива совершенно.

«Так растет виноградный сад у вулкана (...), – написал Пришвин, – и вот Везувий задымился – что-то будет?»<sup>[492]</sup>

Вот одна из сцен начала пришвинского адюльтера, исполненная в духе «Темных аллей», со всеми атрибутами – усадьба, ночь, луна – сцена, более похожая на прозу (даже несколько ритмизованную), нежели на торопливую дневниковую запись: «Три дня лил дождь, сесть было некуда – такая везде сырость, мы проходили мимо омета с соломой, разгребли до сухого и сели в солому; из-за парка огромная, как будто разбухшая от сырости, водянисто-зеленая поднималась над садом луна. Мы сидели на соломе напряженно-горячие, пожар готов был вспыхнуть каждую минуту. Вдруг в соломе мышь зашуршала, она вскочила испуганная и под яблонями при луне стала удаляться к дому. Я догнал ее.



- Соломинку, - сказала она шепотом, - достаньте соломинку.

Я опустил руку за кофточку и вынул соломинку.

- Еще одна ниже.

Я ниже опустил руку и вынул.

- Еще одна!

С помраченным рассудком я забирался все дальше, дальше, а вокруг была сырая трава и огромная водянистая набухшая луна.

- Ну покойной ночи! - сказала она и ушла к себе в комнату.

А я, как пес, с пересохшим от внутреннего огня языком, с тяжелым дыханием, стою под огромной водянисто-огромной луной, безнадежно хожу: в спальне дети, тут сырая трава и водяная луна охраняет честь моего отсутствующего друга...»[\[493\]](#)

Состояние этой любви было для Пришвина ново, и со всей своей дотошной писательской, исследовательской страстью он кинулся его описывать. Прошу прощения у читателя за обильное цитирование Дневника, но лучше самого влюбленного историю его любви не расскажет никто. Трудность заключается лишь в том, что летом восемнадцатого года Дневник писался не в одной, а в нескольких тетрадях, в нем перемежаются даты, август сменяется июлем, а сентябрь августом, но очевидно одно - в то лето и только лето - Михаил Пришвин был по-настоящему влюблен и счастлив.

«На вопрос: „Не люблю, как... а почему рука ваша?..“: одни начинают любовь с поцелуев пяток, эти меняют женщин, как белье, другие встречают ее в заоблачном мире в бесплотности и потом несмело целуют руку, встречают глаза, губы и так она встает среди белого дня, как видение, и тело ее, настоящее, земное, поражает, как осуществленное сновидение.

Это может случиться только в ранней юности или под самый конец, а середина существования наполняется какой-то жизнью под вопросом: посмотри, мол, как это у всех совершается.

Сказано слишком много: так разойтись и быть равнодушными друг к другу невозможно». [\[494\]](#)

«Любовь женщины в 35 лет имеет свои мучения, с одной стороны, поднимаются все неизведанные девичьи чувства, а с другой, навстречу им страсть опытной в любви женщины».

«Мы сблизилась, потому что страшно одиноки были...» [\[495\]](#)

«Сержусь сам на себя и капризничаю. Спрашивается, отчего смута и отчего противоречия, – как будто сама не понимает: по обе стороны семьи, и тут это таинственное путешествие.

Письмо – это любовь по воздуху, как у Новгородского дурачка, который влюбился в дочь Соборного протоиерея «по воздуху» и потом посылал ей письма с адресом «Преблагословенной и Непорочной деве Марии», хотя на том же конверте приписывал: «Собственный дом соборного протоиерея о. Павла».

Кончится тем, что стыдно потом будет встретиться». [\[496\]](#)

Конечно, назвать его состояние абсолютным счастьем невозможно, но долгое время все препятствия казались преодолимыми, и он был странно беспечен и благодушен – состояние, похожее на козочкин, а даже и на пришвинский восторг от Февральской революции («преступление это будет прощено...», «святая ложь февральских любовников и гнусная правда октябрьского вечного мужа» [\[497\]](#)).

Последняя запись требует определенной расшифровки. Пришвин во все времена стремился к тому, чтобы смотреть на свою личную жизнь сквозь

призму общественных отношений. Пытаясь определить роль интеллигенции, одинаково ненавидимой большевиками, стихией, воплощенной для него в образе Николая Семашко, с одной стороны, и той силой, которую он охарактеризовал как «святое начало» и связывал с образом Франциска Ассизского – с другой, он называл интеллигента любовником, чарующим словами. Словами прекрасными, но лживыми в противовес «правде» вечного мужа – образ, восходящий к Достоевскому.

Но – «к мужу я совершенно не ревную, мне кажется это неважным обстоятельством (какою-то „естественной потребностью“), только смущает, что он будет закрывать от меня ее душу, как выюшка трубу. (...)

Нет, я не боюсь этой страсти, я заслужил это счастье, я прав». [\[498\]](#)

Тем временем в Москве свершилось убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж, позднее отозвавшийся неприятностями в судьбе пришвинских литературных друзей, произошло в тылу восстание чехословацкого корпуса, в Екатеринбурге был расстрелян государь, дошло до Ельца известие о гибели Ленина, именно так – о гибели, на самом-то деле это было покушение Фанни Каплан, и Пришвин отозвался на сенсационную новость совершенно замечательной в своем роде записью («Странно, как будто это убили бешеную собаку, и нет! а вот какую-то грешно-полезную собаку, которая пущена была сделать наше же дело и нам же, а теперь как ненужную уже ее где-то пристукнули», [\[499\]](#) да и вообще пришвинская лениниана – это особая статья), страна стояла на пороге гражданской войны, но в какой-то момент все это было писателю совершенно неважно и... не стыдно от того, что он счастлив, «когда вокруг бедствие».

«И пускай! провались весь свет – я буду счастлив! (цвет побеждает: та роковая ночь, как борьба креста и цветов и победа цветов)». [\[500\]](#)

Он видел в своей незваной и преступной несвоевременной любви некую правду, вызов, который бросал окружавшей его чудовищной жизни даже не сам он или соблазнившая его женщина, но какая-то более мощная и властная сила.

«Гений Рода между тем уже ставил престол свой в разоренной России, ему не было никакого дела до гражданской войны, бесправия, даже голода, даже холеры.(...) Гений родовой жизни всюду в разделенной стране брызгал части живой водой, и части срастались и начинали жить совсем по иным законам, которые хотели навязать природе „бездружные“ человеки. Так и мы под покрывалом идеальной дружбы мужчины и женщины двигались в чувствах своих от поцелуя руки до поцелуя ноги и неизменно шли к „последствиям“ по общей тропе, проложенной радостным гением Рода». [\[501\]](#)

Он противопоставил эту силу истории и культуре, она поддерживала и спасала его, и позднее подобный выход откроется пришвинскому герою Алпатову.

Гений рода, по Пришвину, это особая территория, на которую нечаянно вступают влюбленные, воображая, что нашли некий им одним ведомый секрет и ставят его себе в личную заслугу, в то время как гений рода – территория безличная (можно было бы сказать «чан»), и поэтому мудрые наши предки выдавали своих дочерей замуж за неведомых женихов: «Своя воля в поисках счастья – свое препятствие счастью, и если все-таки приходит счастье, то приходит, обходя „свою волю“». [\[502\]](#)

И если, продолжает свою мысль писатель, люди нашли друг друга, то нашли они всего лишь берег этой

обетованной земли... (Не поэтому ли и старый его знакомый Павел Михайлович Легкобытов с такой бытовой легкостью женил по своему усмотрению своих подопечных сектантов?)

Гений рода - это чему служат все безумные действия людей, где все перепуталось: «и зло, и добро, и истина и ад, правда и ложь - все одинаково служат гению Рода». [\[503\]](#)

Идея, очень близкая к розановской, - не случайно немногим позднее решительно восставший против советской литературы 20-х годов, где так же властвовала тема эроса, но вульгарно понятая («у молодых авторов эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов (...) Почему же вы, молодые русские писатели, дети революции, вчера носившие на своей спине мешки с картошкой и ржаной мукой, бежите, уткнув носы в зад, как животные в своих свадьбах» [\[504\]](#)), Пришвин противопоставлял новой культуре своего знаменитого, незадолго до того скончавшегося в Сергиевом Посаде «литературного опекуна».

Но это произойдет в пору возвращения писателя в литературную среду в 1922 году, с переездом в Москву, а пока, в 1918-м в Ельце Пришвин наглухо от литературной жизни отрезан, погружен в свою любовь, и дочь соборного протоиерея Павла Покровского кажется ему похожей на Кармен - она святая, лукавая, преступная и верная, лживая и прямая не сама по себе, но потому что находится на территории любви, где «мораль и разумность бытия занимают вообще очень ограниченное место». [\[505\]](#)

Быть может, именно этим можно объяснить записи, где Пришвин, балансируя и едва не сваливаясь в пошлость, пишет о своем сопернике: «Разве мыслимо интеллигентному мужу-пахарю одному вспахать всю

бескрайнюю целинную степь души настоящей женщины. Жалкий огородник! вспашет немного для себя, огородится и счастлив, воображая себе, будто нашел теперь себе приют на всю жизнь. Жалкий мещанин! пользуйся своим покосом, спеши – завтра придет настоящий Жених ее и, не ставя заборов, будет пахать всю целину ее.

Желанная! я иду с косою и плугом – косить, пахать тебя, но не знаю, как буду, посмею ли.

Родная моя! может быть, плуг и косу свою брошу бессильный, только клянусь, что не буду ставить по тебе заборов и загородок. Если сил не хватит, я пойду по тебе так, странник, обойду тебя всю, окину любовью все твои богатства, и за это, благодарная, наполнишь ты сердце мое любовью по самый гроб.

Так Россия моя, теперь растерзанная, разгороженная, скоро сбросит с себя пачкунов и возьмет меня опять к себе». [\[506\]](#)

Софья Павловна была все-таки земной женщиной, так что, как видно, писатель вновь наступал на те же грабли, пытаюсь превратить объект любви в абстрактный символ, на этот раз абстрактными рассуждениями не ограничиваясь.

«Как величайший скряга-хранитель, она сохранила нетронутую в себе женщину, и когда все государство, когда-то величайшее государство мира, было разбито до основания, и мир был весь потрясен, и общество было выкинуто, как выкидывается на улицу нашими крестьянами зола, тогда она раскрыла свои сундуки, и мы стали с ней пировать на золе сгоревшей родины». [\[507\]](#)

Их любовь – некая насмешка, шутка над жизнью, где «идет борьба за каждую сажень», где «закон и суд находятся в руках воров и клейменных убийц», над временем «расстрелов без суда» и «выстрелов по

огоньку». Но в этой любви он видел и более высокий смысл и даже некий оправдывающий ее выход: «Я думаю, что возможно одно чувство заменить другим: чувство, которое обращено друг к другу внутрь, тем чувством, которое обращено к миру, одно порождает страсть „последствия“ (дети, собственность, государство и пр.), другое порождает любовное внимание к миру». [\[508\]](#)

Цитировать пришвинский роман со всеми оттенками его чувств, переживаний, психологическими нюансами, размышлениями и обобщениями можно до бесконечности и жаль их обрывать – впервые Пришвин писал не о выдуманной, а о реальной любви. Но чем дальше был метафизический февраль и чем ближе вполне реальный октябрь, чем холоднее становились ночи и короче дни, тем более трезво смотрел писатель на свое увлечение и на реальное положение вещей, и в записях его появлялись новые нотки.

«18 августа.

Невозможность брака.

Чем она ближе мне, тем яснее вижу, что его любить не могу: ведь не поверю ни за что его самому теплomu объяснению, потому что он устраняться не захочет, я же могу (должен?) устраниться, и у нас неравенство. Впрочем, «враг» получается какой-то отвлеченный, вроде как простому русскому солдату «германец» (он). Жизнь творит все по-своему». [\[509\]](#)

«25 августа.<...> начало раздражения моего (причина: близость ее возвращения к мужу): бью кошку, собаку, ругаю детей, ночь – солома, огромная „жидкая луна“, детский хаос, ночь глухая...

Сойдешь один с ума – будешь сумасшедший – а согласно вдвоем – любовь и победа над всем миром».

«Она казалась немного самоуверенна, эгоистична и нечутка в расценке отношения ее к мужу и меня к



жене: ей кажется серьезным только ее отношение к мужу, а мое отношение к жене – просто „не люблю“. В наших грубоватых отношениях с Ефросиньей Павловной она просмотрела совершенно то же самое, что есть у нее с мужем». [\[510\]](#)

В нем нарастало отвращение к ее неизбежной лжи, он испытывал ревность, но одновременно с этим понимал, что его любимой еще тяжелее, чем ему, и тогда ревность сменялась нежностью. Так и Ефросинью Павловну Пришвин любил, когда та страдала. Все эти оттенки подробно в Дневнике прописаны; все происходило не сразу, а медленно, постепенно, он еще любил ее, восхищался красотой бальзаковской женщины, плоть от плоти красоты окружающего мира: «Солнце то покажется, то скроется, в саду трава-мурава в просветах то вспыхнет изумрудом, то погаснет. Так и тут сад словно дышит – живет светом солнечным и тенью.

Она прекрасна, когда сидит в окошке вполоборота, смотрит вдаль и думает про себя, время от времени задавая вопросы... тогда не видна бывает нижняя, некрасивая часть ее лица, особенно губы, чувственные, неправильные, как бы застывшие в момент подсмотренной, кем-то спугнутой несправедливой страсти – в этих губах какой-то наследственный грех.

Когда смотришь ей прямо в лицо на губы и кончик носа над ними, то подумаешь, что она заколдовать может, заморозить.

Я до сих пор не знаю ее в капризах повседневности, не представляю себе, как, например, она ссорится с невесткою.

В ее душе есть такое (нежность, белизна), чего никак нельзя найти в лице: вся она живая, будто тело своей души. Секрет моего сближения с ней, что я встретился с ее душой, а все видят только тень ее.



Лицо ее – смесь Мадонны с колдуньей». [\[511\]](#)

Но вот в конце лета они ненадолго расстались, и в отсутствие Софьи Павловны любовь к ней стала казаться ему случайно-призрачной, похожей на театр, а сама Коноплянцева представилась однажды найденной на земле затерянной, никому не нужной изукрашенной пуговкой среди грубого бытия.

Ситуация казалась безвыходной – они не могут быть ни вместе, ни порознь. Коноплянцев молча подавлял обоих своим благородством, а между тем еще больше страдать пришлось Пришвину: случилось то, чего писатель так боялся и что было неизбежно – он лишился родного дома.

6 октября он записал: «Вчера в мое отсутствие (ездил хлопотать, чтобы не выгнали) – пришла „выдворительная“». [\[512\]](#)

Сохранилось несколько разных свидетельств о том, как это выселение происходило. Ефросинья Павловна вспоминает, что однажды ночью им подкинули записку: завтра придут громить имение и хозяина собираются убить. «Он оделся во что похуже, взял в ладанку родной землицы, я его перекрестила на дорогу – и он ушел. А вскоре нас в самом деле пришли громить. Ночью пришли и прежде всего потребовали хозяина. Когда убедились, что его нет, пошли по дому грабить. Первым делом со стены сорвали драгоценную икону, новгородский складень. Потом рожь потащили из кладовой». [\[513\]](#)

Воспоминания одного из сельчан, изложенные племянником Михаила Михайловича, А. С. Пришвиным, не столь драматичны: «Понятно, не барин был, из купцов они сами. И хлеб он себе головой добывал, а все-таки мужики собрались и пошли выселять его. Впереди отец, а за ним и я увязался. Любопытно было посмотреть, как барина выселять будут. „Так и так,

Михаил Михалыч, человек ты безвредный, а все равно несподручно нам здесь с тобой. Вот лошадка, до Ельца довезет, а дальше как знаешь...»<sup>[514]</sup>

Пришвин воспроизвел в Дневнике 1918 года лишь одну реплику из разговора с мужиками: – Что же мне делать? – спросил я.

– Иди в город, скорей лесом, возьми узелок, иди... ребяташек не тронут, а сам уходи...<sup>[515]</sup>

Позднее он нашел не только внутренние причины («По старым следам (mesalliance всегда есть посеянное несчастье – Герцен) – конец Хрущеву был внутри нас»<sup>[516]</sup>), но также смягчающие и даже просветляющие эту историю обстоятельства внешние – они в необычайно богатой и более похожей на прозу дневниковой записи, сделанной в 1948 году, то есть тридцать лет спустя: «Помню, когда я вышел с узелком, покидая навсегда свой отчий дом, встретился мне один приятель из мужиков, человек большой совести, и я ему вздумал пожаловаться: – Не своей волей ухожу, – сказал я, – боюсь, что убьют, не поглядят ведь, что это я, заодно с помещиками возьмут и кокнут.

– И очень просто, что кокнут, – ответил мне знакомый, помещая свое сочувствие неизвестно куда, то ли ко мне, уважаемому писателю, то ли к тем, кто меня кокнет.

– Слушай, Захар! – сказал я серьезно. – Ты меня знаешь, неужели же тебе не жалко смотреть на меня такого – в бегах, с узелком?

Захар во все лицо улыбался.

– Милый, – сказал он, положив руку мне на плечо, – ну ты же раньше-то хорошо пожил, много лучше, чем наши мужики?

– Ну, положим.

– Вот и положим: пусть поживут теперь другие, а ты походи с узелком, ничего тебе плохого от этого не

будет. И очень умно сделал, что все бросил и ушел с узелком. У тебя же есть голова, а у них что?»[\[517\]](#)

Но это толстовское просветление и опрощение пришло много позднее.

Тогда же Пришвина переполняло отчаяние: «7 окт. В плену у жизни. Кошмары, вчера было, а кажется, Бог знает когда, время сорвалось... в темной комнате на диване один лежу и думаю про какого-нибудь английского писателя, например, про Уэллса, что сидит он на своем месте и творит, а я, русский его товарищ, не творю, а живу в кошмарах и вижу жизнь без человека. Но и то и другое неизбежно – и человек вне жизни, и жизнь вне человека.

Я в плену у жизни и верчусь, как василек на полевой дороге, приставший к грязному колесу нашей русской телеги».[\[518\]](#)

А в доме некоторое время был волисполком, потом, по неведомой причине, он сгорел. Теперь на этом месте – чистое поле, и от усадьбы, кроме нескольких деревьев, ничего не осталось...

Любопытно, что в 1921 году историю изгнания Пришвина из его дома и, видимо, со слов самого писателя, изложил в ироническом ключе в своей эмигрантской статье в берлинском «Руле» И. С. Соколов-Микитов: «Когда начинаю перебирать в памяти пережитое: кровавое, подлое, глупое, трусливое, растерянное, смешное, – вспоминается один поучительный и трагический случай с приятелем моим, известным писателем, беллетристом-этнографом, знатоком народной гущины.

У Михаила Михайловича – так зовут приятеля моего – в Орловской губернии был клочок земли и сад. С первых дней революции под насмешки и остервенелую брань он своими руками вспахал поле, засеял и убрал...»[\[519\]](#)

Далее следовала уже известная читателю история, которую Соколов-Микитов несколько приукрасил, присочинив, будто бы по совету земляков Пришвин ринулся в Москву за защитой и получил «охранную грамоту» от наркома Луначарского, которая, однако, на местного комиссара Онуфрика действия не возымела, и дом был разграблен.

Вывод Соколов-Микитов сделал вполне пришвинский: «Уж я-то знаю: – В Совдепии власть сама по себе, народ сам по себе, а разбойник Онуфрик – сам с усам!»<sup>[520]</sup>

После изгнания Ефросинья Павловна с младшим пришвинским сыном Петей уехала на родину в «благословенный край Дорогобуж», устроиться там ей помог по просьбе Пришвина все тот же И. С. Соколов-Микитов, тогда еще только собиравшийся в недолгую эмиграцию, а Михаил Михайлович, с грустью записав после расставания – возможно, тогда оно казалось ему окончательным: «В прошлом как лесная жена Е. П. была хороша. Теперь она похожа на брошенную любовницу из тех, которые описаны у Алексея Толстого»,<sup>[521]</sup> остался слевой в Ельце, с Коноплянцевыми, и так началась странная жизнь втроем, или, как называл ее Лева, жизнь коммуной.

Если верно, что бытие определяет сознание, то, быть может, такой семье, где двое мужчин и одна женщина, а плюс еще и дети, было легче выжить в годы Гражданской войны и террора, но только поэзия любви резко сменилась прозой.

«Общий осадок от этого быта втроем тот самый, что предвиделся: опошление чувства. Еще чуть-чуть и поэтическая тайна развеется».<sup>[522]</sup>

Пришвин пытался найти выход, но человек был мало волен выбирать, и его мысли оставались мечтами: «Выброшенный на остров дикарей-людоедов, ломая

руки в отчаянии, сижу я на берегу моря: единственное светлое, что шевелится на дне души, – это что завтра-послезавтра я начну долбить лодочку, которая перевезет меня через море в иной мир...»<sup>[523]</sup>

Стоит ли понимать эти слова как мысль о бегстве за границу или о смерти?

«Я начинаю выбирать себе для лодочки дерево, крепкое дерево – пусть его труднее долбить, но только дерево мое будет крепкое: я должен противопоставить силу насилию».<sup>[524]</sup>

Так или иначе ему стало теперь не до Коноплянцевой: беда не объединила, но разделила их.

«Наши отношения дошли до последнего предела, когда в доме уже невозможно оставаться... ей кажется, что я недостаточно еще привязался к ней... и только теперь я начинаю ее серьезно любить... В любви можно доходить до всего, все простится, только не привычка...»<sup>[525]</sup>

Пришвин попытался выбраться в Москву, для этого требовалось получить разрешение на выезд, собрать все необходимые бумаги («Чем меньше хлеба, тем больше бумаг, и бумажное производство растет по неделям, как цены»<sup>[526]</sup>), получить справки в милиции, в комиссариате финансов, внутренних дел, в учетном отделе, и, наконец, в середине ноября он приехал в столицу.

Но в Москве что-то не заладилось или показалось еще хуже, чем в Ельце, он вернулся обратно, а любовное чувство, недавно такое пронзительное и сильное, притуплялось, сменялось разочарованностью, усталостью, непониманием: «Это ли прежняя любовь с воспаленными небесами?»<sup>[527]</sup>

«Я люблю С., но все-таки мы с нею пали...»<sup>[528]</sup>

«Можно не любить мужа и выполнять свой долг в семье, но требовать от него исполнения долга и в то же

время на глазах у него любить другого – это не эгоизм даже, это запутанность». [\[529\]](#)

И, наконец, как приговор: «Я вспомнил Ефросинью Павловну – она мне точь-в-точь говорила так, я всегда защищался от нее тем, что она не может вникнуть в мою душу, принимать к сердцу мою мечту, как свое необходимое дело. Ведь мы с ней из-за этого разошлись, а теперь у нас это же повторяется...» [\[530\]](#)

Но еще целый год, от Рождества Христова 1919-й, а от революции третий, продолжалась жизнь этой странной коммуны, ужасная, тягостная, угрюмая, вынужденная и одновременно трогательная в иных из своих проявлений: «Сегодня еду в город, везу Прекрасной Даме пшено. [\[531\]](#)

Кончик всего нашего мотка находится все-таки на ее стороне, и она с самого начала взяла и держит и почти знает это сама, а я держусь, потому что она держит...» [\[532\]](#)

За этот год чего только не было: Пришвин служил библиотекарем, экспертом по вопросам археологии, занимался краеведением, ссорился с деревенскими большевиками, пережил нашествие Мамонтова, когда писателя едва не расстреляли как пособника новой власти, а по другой версии – приняв за еврея (по воспоминаниям Соколова-Микитова, кучерявый Пришвин был похож на цыгана), осенью состоялось его назначение в елецкую гимназию на должность учителя географии, умерли брат Николай и сестра Лидия и, хотя близки братья и сестры между собою не были, он почувствовал страшное родовое одиночество, погиб на Гражданской войне в Сибири призванный в армию пасынок Яков. Пришвин вернулся к литературному труду и написал пьесу под названием «Чертова ступа», хотя тогда же заметил: «Я живу, и связь моя с жизнью – одно лишь чувство самосохранения: я торговец, повар,

дровосек – что угодно, только не писатель, не деятель культуры»,<sup>[533]</sup> и за этими событиями имя Коноплянцевой встречалось все реже и реже, но записи говорят сами за себя: «Вот положение: видеть в зеркале все подробности своей будущей семейной жизни и сохранять мечтательную любовь, вот испытание любви, кто это выдержит! (втроем). Может быть, Лева спас папу...»<sup>[534]</sup>

«Моя тоска похожа на тоску во время смерти Лиды: не совершается ли что-нибудь ужасное с Ефросиньей Павловной? Не потому ли я чувствую такой ледяной холод к С. П. Она до сих пор не понимает...»<sup>[535]</sup>

«Читаю „Идиота“ и влияние его испытываю ночью, когда, проснувшись в темноте, лежу вне времени и все мои женщины собираются вокруг меня: до чего это верно, что Ева подала яблоко Адаму, а не он... С. большую роль сыграла в познании добра и зла, Е. П. – основа, это чисто и В. – чисто, грех в С.»<sup>[536]</sup>

А между тем весной 1920 года, после полуторагодового отсутствия должна была вернуться Ефросинья Павловна. Почему так случилось и кто был инициатором ее возвращения, сказать трудно, но встреча с супругой Пришвина не пугала, скорее он видел в ней выход из тупика. Однако неожиданно (или же, напротив, возможно, так было смекалистой крестьянкой, поставившей своей целью вернуть мужа, задумано) планы ее переменялись, она осталась в Дорогобуже, и тогда Пришвин решил отправиться к жене сам. Это решение далось ему нелегко, ведь речь шла не только о воссоединении семьи и окончательном разрыве с Коноплянцевой, но и о более глубокой перемене в его жизни, и в какой-то момент он был готов от переезда отказаться: «Я представил себе ясно ту избу, где мы должны бы жить, родственников Ефрос. Павл., соседей, что нет ни одной книжки, нет ни одного



образованного человека и, может быть, даже, что я голый, обобраный живу на иждивении родственников Ефрос. Павл. - невозможно! не избавление, не выход!»<sup>[537]</sup> Но эта мысль пришла и ушла, а между тем оставаться в Ельце дальше смысла не имело («Положение выясняется - делать, служить нельзя»<sup>[538]</sup>), и летом 1920 года Пришвин и Лева покинули Елец. Софья Павловна лежала в тифу...

«Если умрет, будет моя, если оживет, уйдет с ним - вот центр действия. Так и сказала: „А если умирать, то приду к тебе умирать“».<sup>[539]</sup>

Она осталась жива, но со страниц Дневника исчезла с той поры навсегда, словно ее и не было. Только одна запись ровно через два месяца после отъезда из Ельца проливает свет на отношение писателя к истории, так сильно возмущившей его душу и так быстро позабытой: «Каждому, кому случится устроиться со мной наедине, женщине, ребенку, все равно, удастся овладеть мной всецело, и я думаю, что люблю и живу так, будто люблю это существо, и все удивляются нежности и глубине моего чувства. Но стоит мне переместиться куда-нибудь, сойтись с другим, и то существо как будто умирает, и кажется мне, что я его никогда не любил, а было так, недоразумение...»<sup>[540]</sup>

Если и вспоминал Пришвин позднее Коноплянцеву и историю своей любви, то имени ее - ни настоящего, ни выдуманного - больше не называл, - и все эти воспоминания были в пользу жены, а не любовницы: «В темноте большие, красные, колечком сложенные губы женщины, прикрытые ладонью от мужа, причмокивают, вызывают... ну, как это можно любить? прошло и пропало...

А в этой (в Ефросинье Павловне. - А. В.) я люблю свое прошлое хорошее, и мне дорога ее устойчивость, к этому я могу возвратиться, но к тому невозможно.



Между тем я и не раскаиваюсь в том – то преходящее, опыт...»[\[541\]](#)

«До 40 лет, благодаря чистой моей Павловне я не понимал обращения с „женщиной“. Явилась эта дама и все мне показала. Испытав, я возвратился к Павловне, понял равнодушие к той даме, и если она приближалась – отвращение».[\[542\]](#)

«Ночью вспомнил историю одной любви дамы бальзаковского возраста и противопоставил ей любовь девическую, образную. И тогда вернулся к жизни с Фросей: много было радостей, здоровых, красивых и стало ясно, что именно она была моя „суженая“, значит, и нельзя теперь с ней дико порывать».[\[543\]](#)

«Вопреки всему этому доброму и прекрасному, ее способность в хозяйстве просто забывать совсем о человеке, для которого оно и ведется – терзает ежедневно (1нрзб) и вызывает зависть к тем, кто устроился с культурными женами. Но обыкновенно, взвесив достоинства и недостатки тех и других, приняв во внимание излюбленный мой образ жизни, свой эгоизм в труде и увлечениях – остаюсь с восхищением при Павловне».[\[544\]](#)

С Коноплянцевым в 30-е годы Пришвин встречался, а Софья Павловна после смерти Михаила Михайловича приходила к Валерии Дмитриевне и просила уничтожить те страницы писательского Дневника, где речь шла о ней. Валерия Дмитриевна этого не сделала.

## Глава XIV

### ШКРАБ

Слово, вынесенное в заголовок, – из советского новояза и означает оно – школьный работник. Шкрабы бывали двух типов – сельские и городские. Различие между ними состояло в том, что одним давали капусту, а другим нет. Пришвин был шкрабом сельским, и ему овощ не полагался, так что на пропитание он должен был зарабатывать сам («получал за свой труд в месяц 6 фунтов овса и две восьмушки махорки (...) добывал себе пропитание больше охотой как промыслом»).<sup>[545]</sup>

А происходило все это в 1920 году в Алексине, старинном и крупном помещичьем имении у истоков Днепра («Дом-дворец стиля Александровского ампира, громадное каменное здание с колоннами, стоит у большого прекрасного озера, окруженного парками»<sup>[546]</sup>), куда Пришвин приехал в середине «голового года» из Ельца. По дороге он заглянул в Москву, где едва не угодил под машину Максима Горького, и выписал у одного знакомого наркома, А. В. Луначарского, мандат на собирание фольклора (таинственная надпись красным карандашом на тюках переселенца «фольклор, продукт не нормированный» спасала в пути его вещи от досмотра чрезвычайки), а у другого, Н. А. Семашко, шесть фунтов пороху, попросту не имевших цены.

В Алексине, что в сорока верстах от железной дороги, Пришвину, по его собственному выражению, «предстояло грызть кость барского быта»<sup>[547]</sup> – мясо, надо полагать, было съедено – и в отличие от подлинной крестьянской избы, живущей по законам необходимости жизни (позднее он назовет это

«помирать собирайся – а рожь сей!»), здесь, на обломках самовластия все казалось писателю подозрительным.

Алексинские годы оказались для него еще более тяжелыми, чем елецкие. Страна была разорена Гражданской войной, повсюду царили голод, эпидемия тифа и бандитизм, страдали не только люди, но даже животные: голуби, воробьи, галки, собаки – зато раздолье было воронам и волкам; не было здесь у Пришвина близких друзей, в разговорах с которыми он бы мог отвести душу, с Ефросиньей Павловной отношения не наладились ни на йоту, а только ухудшились, теперь он окончательно воспринимал ее как наказание и бич Божий и спасался от безысходности постылой семейной жизни лишь чувством черного юмора («Разразился скандал, причем я получил удар в грудь ржаной лепешкой, Лева побледнел и сказал: „Это ад“;<sup>[548]</sup> «или застрелит меня, или удавится»<sup>[549]</sup>), в быту царили полная неустроенность, одиночество, как и в первые месяцы жизни начинающего литератора в Петербурге, и сопротивляться окружающей среде было невероятно тяжело, не случайно именно в эти месяцы появилась в его Дневнике, на цитаты великих мира сего не слишком богатом, известная герценовская мысль о том, что «сильная натура умеет выпутаться из затруднительных обстоятельств (...), а слабые натуры теряются в своем плаче об утрате».<sup>[550]</sup>

Но вряд ли мог представить знаменитый дворянский революционер, в каких условиях придется читать его творения потомкам меньше чем через сто лет.

«Как я опустился в болото! Немытый, в голове и бороде все что-то копается. Мужичья холщовая грязная рубашка на голое тело. Штаны продраны и назади и на коленках. Подштанники желтые от

болотной ржавчины. Зубы все падают, жевать нечем, остатки золотых мостиков остриями своими изрезали рот. Ничего не читаю, ничего не делаю. Кажется, надо умирать? Лезет мысль – уйти в болото и там остаться: есть морфий, есть ружье, есть костер – вот что лезет в голову». [\[551\]](#)

Позднее Пришвин описал свои алексинские мытарства в чудесном рассказе «Школьная робинзоада» (впервые опубликованном с купюрами в журнале «Школьный учитель» в № 2 за 1924 год, а полностью – только в 1975 году), где сравнил себя «с Робинзоном, после кораблекрушения выкинутым в среду первобытных людей». [\[552\]](#) Но если в рассказе звучала сильная оптимистическая нота (вполне в духе Герцена), то свидетель тех лет – Дневник – окрашен в мрачные тона, и положение его автора представляется вообще безвыходным.

«Часто лежу ночью и не чувствую своего тела, как будто оно одеревенело и стало душе нечувствительным, а самая душа собралась в рюмочку около сердца, и только по легкой боли там чувствуешь, что она живет и движется; болью узнается движение души. Подземно затаенная жизнь, как у деревьев, занесенных снегом, и кажется, что вот настанет весна, и если я оживу так, как все растения – то стану где-нибудь у опушки и присоединюсь к лесу просто, как дерево». [\[553\]](#)

Однако истинно пришвинское здесь, дающее надежду и силу, – это удивительная, наперекор всему, поэтичность.

«На водах тихих, на ручьях звонких, на лугах росистых, на снегах пушистых и на лучах светлых солнца дневного и звезд ночных – везде тогда я нахожу след души моей.

...Потерялся в полях русского *окаянства* (выделено мной. – А. В. [\[554\]](#))... (...)

На небе мутно, на земле черно, а сердце ласточкой летит над тихой водой, вот-вот, кажется, будет минута понимания, но нет! холодная намерзшая вода, и все ласточки улетели.

Остается ценного только, что я русский (несмотря на то, что нет России – я существую)». [\[555\]](#)

«Россия кончилась действительно и не осталось камня на камне». [\[556\]](#)

Еще раньше, зимою 1919 года в Ельце, в сознании Пришвина сложился новый образ Родины – образ занесенной снегами Скифии, где вся жизнь проистекает в недрах и все, что тянулось ввысь, погибло, а то, что под землей, укрепилось.

В подземной жизни нет ни радости, ни любви, ни надежд, она связана с экономической необходимостью, с женским и еврейским началом («Лучше всего евреям, эти корни народов, лишённые земли, давно уже приспособились питаться искусственными смесями»; [\[557\]](#) «Евреи сильны тем, что знают необходимость: жизнь еврейского народа – это зима человечества, тут провал – пропасть» [\[558\]](#)), и себя он сравнивал с «изловленным странником», который должен найти силу против этой «корневой стихии».

Как и всякий пришвинский символ, образ подземных корней сложен и неоднозначен: «Среди камней, земли и пепла, засыпающих все живое, я ищу соприкосновения с тончайшими волосками живых корней, опущенных частицами земли, в молчании подземном, готовящем гибель буранам зимы и воскресение жизни для всех». [\[559\]](#)

«Основной закон жизни корней, их шепот, их слова, их поверхностное сознание: ни на кого не надейся». [\[560\]](#)

Но даже в этом аду сказалось упорное пришвинское желание – во всем видеть некую целесообразность, подспудный смысл и оправдание бытия – одно из ключевых понятий и устремлений мужественного писательского мировоззрения.

Годы революции и Гражданской войны были для Пришвина «тьмой распятия», и всю жизнь отрицавший, не принимавший идеи Голгофского христианства (религиозного течения в русской Церкви, утверждавшего, что каждый человек должен следовать страданиям Спасителя, и предвосхитившего, предсказавшего и подготовившего общество и Церковь к будущим испытаниям), Пришвин глубоко страдал и по-прежнему проповедовал идею воскресения, цвета. Это был его своеобразный духовный бунт, упрямство природного человека, охотника, не привыкшего отступать.

«Цветы из-под снега. Ленин – чучело. Вот и нужно теперь, и это есть единственная задача постигнуть, как из безликого является личное, как из толпы покажется вождь, из корня, погребенного под снегом, вырастут цветы». [\[561\]](#)

Вспоминая это страшное время, хотя и нигде его прямо не называя, Пришвин написал воистину великолепные патетические строки, завершив ими роман «Кашеева цепь», утверждая, что страдание было ненапрасным, все оправдано и искуплено: «Земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду по лугу, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью и что весна – это главное, из-за чего живут на земле люди. Цвет – это главное, это явное, это – день, а крест – одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир, так, что сам страдающий Бог, роня капли кровавого пота,

просит: „Да минует меня чаша сия“. Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста».

В это – он верил и этому, как мог, служил. От тифа, голода, случайной или намеренной пули умирали люди, каждый из прожитых дней мог оказаться последним, шли военные поборы, ученики в пришвинском классе «синели от холода среди дремучих лесов»,<sup>[562]</sup> казалась лишенной смысла и света жизнь.

Вспоминая о той поре, один из пришвинских учеников, будущий партийный работник (так и хочется вспомнить учительницу Дунечку, над которой подшучивал Пришвин, с ее полицейскими и попами) и узник ГУЛАГа, судя по всему очень душевный и добрый человек Н. И. Дедков, написал, что «душа Пришвина была не с нами. Он делил ее между нами и смоленскими лесами и, безусловно, не в нашу пользу».<sup>[563]</sup>

Но, видимо, не только с лесами он ее делил – со своими мыслями, сомнениями, надеждами и верой.

И было еще одно тяжкое обстоятельство, испытание, обминуть которое, говоря о Пришвине, невозможно – его отношение к крестьянству, о чем, по понятным причинам, говорилось в пришвиноведении мало и глухо.

«Пришвин перебирается на родину жены, в смоленскую деревню под Дорогобужем. Но и там он не был принят в нарушенный революцией прежний крестьянский мир»,<sup>[564]</sup> – вот и все, что могла лаконично сказать об этом Валерия Дмитриевна Пришвина в своей превосходной статье, предваряющей восьмитомное собрание сочинений писателя.

Учительскую семью на Смоленщине и впрямь встретили мрачно. Свободной от лесов земли в округе было мало, крестьяне боялись, что Ефросинья Павловна как уроженка здешних мест потребует надел на всех

едоков, не желали сдавать жилье и объявили пришельцам бойкот. Пока было лето, родители и дети обитали в лесном сенном сарае, а потом перебрались во дворец, где до того времени уже успели перебивать детская колония, клуб, театр и ссыпной пункт. Но жизнь во дворце была отнюдь не барская.

«Несем с Левого из лесу дрова, встречаются мужики. „Что же, – говорят, – каждый день так на себе носите?“ И захохотали сатанинским хохотом. Лева сказал: „Мало их били!“ Какое скрыто в мужике презрение к физическому труду, к тому, чем он ежедневно занимается, и сколько злобы против тех, кто это не делал, и какая злая радость, что вот он видит образованного человека с дровами. „Мужики“ – это адское понятие, среднее между чертом и быком. (...) В конце концов, мужики, конечно, и составляют питательную основу нашей коммуны».<sup>[565]</sup>

Это момент принципиальный и требующий комментария. Уже несколько лет подряд Пришвин постоянно жил среди крестьян и чем лучше их узнавал, а вернее, чем дальше пропускал этот опыт через душу, тем выше становился его счет к ним, более жесткие выносились оценки, и претензии он предъявлял, как и в 1917 году, не с традиционной интеллигентской точки зрения, где смешивались в разных пропорциях ксенофобия, чувство вины и идеализация народа, а со взыскующей гражданской позиции: «Гражданская тоска: неужели, в конце концов, Семашко, когда жил в деревне доктором, „все презирал в ней и ненавидел“ и был прав, для жизни – тут нет ничего. Похороны – красивейший обряд русского народа, и славен русский народ только тем, что умеет умирать».<sup>[566]</sup>

Эта, все же высокомерная, идея была для великого жизнелюбца не нова. Вспомним еще раз, что в 1917 году, когда все только начиналось, Пришвин записал



почти как прошение и мольбу, вопль сердца: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков». [\[567\]](#)

И несколько лет спустя, пережив голодные елецкие годы: «Между прочим, вспоминая прошлое, как это курьезно сопоставить то чувство негодования, когда узнавал, вот такого-то мужика большевики, вымогая сознание в своих деньгах для чрезвычайного налога, опускали в прорубь, и когда мужик измучит тебя своей алчностью при менке пиджака на дрова, скажешь: „Ну и хорошо же, что большевик окунул тебя, зверя, в холодную воду“». [\[568\]](#)

А затем под Смоленском: «Деревня – мешок злобно стучающих друг о друга костей». [\[569\]](#) «Мужик готов служить корове, лошади, овце, свинье, только бы не служить государству, потому что корова своя, а государство чужое». [\[570\]](#)

Еще позднее, под Талдомом: «Рабочему теперь живется много лучше, чем прежде, крестьянину хуже. И это справедливо: рабочий в революцию жертвовал собой, крестьянин только грабил. Каждый получал по делам своим». [\[571\]](#) «С первого момента революции народ выступал как грабитель и разрушитель». [\[572\]](#) «Я стою за рабочую власть, но против крестьянской, мужиков я очень не люблю, потому что бык, черт и мужик – это одна партия». [\[573\]](#)

Здесь слишком многое сплелось: и личное, и общественное, и даже воспоминания детства: «Мать для чего-то по-матерински хранила, оберегала меня, а вокруг было поле рабов завистливых, лживых и пьяных, которых называли христианами, православными мужиками», [\[574\]](#) отнятый впоследствии отчий дом и уничтоженный этими рабами материнский вертоград, хроническое мужицкое презрение и недоверие к образованному слою, которое Пришвин на себе

чувствовал, обида на крестьян, которые «пропили свою волю»<sup>[575]</sup> и не использовали шанс, данный им Февральской революцией, по-прежнему Пришвиным безоговорочно признаваемой и отождествлявшейся в его сознании с погубленным цветом.

«Величина государственного насилия обратно пропорциональна величине гражданского безразличия»,<sup>[576]</sup> – утверждал он, используя свой излюбленный прием разбивки слова на слоги для усиления его смысла и обращая этот смысл к тем, кто был, по его мнению, напрочь гражданского сознания лишен.

Взять ту же Ефросинью Павловну, с самого начала бывшую для молодого богоискателя и голодного агронома представительницей народа, стихии, пола, плазмы в разных их проявлениях, от сектантской богородицы до... Замечательна одна из пришвинских записей, где он размышляет о двух ликах своей жены. Первый – «глубоко-религиозное, способное к мудрым решениям и бесповоротно отрицающее советскую власть (большевицкую)»,<sup>[577]</sup> а второй – лицо «типичной вульгарной большевички из баб 1918 года („попили нашей кровушки“)».<sup>[578]</sup> Но еще удивительнее другое – рассуждая об этом женском Янусе, Пришвин по привычке во всем жене перечить, со свойственной ему раздвоенностью, в одном случае «напрягал все силы ума для защиты» большевиков, а в другом кричал: «Брось ты свою пролетарскую ерунду!»

И заключал это наблюдение выводом: «Не такова ли и вся Россия, как эта женщина, в отношении к советской власти?»<sup>[579]</sup>

Но не таков ли был и Пришвин, что брал сторону власти именно из нелюбви к окаянному народу и его типичной представительнице, отравившей ему жизнь?

Последнее (прием запрещенный, переход на личность) есть, конечно, не более чем полемический перехлест, возможное возражение в политическом споре на тему «кто виноват?»; очевидно, что корни этой вражды лежали глубже, да и, коль скоро речь зашла о традициях, Пришвин был не первым и не последним русским писателем, оставившим горькие и беспощадные строки о своем народе, вернее, о крестьянстве, которое в России традиционно привыкли с народом отождествлять. Были жестки в своих оценках русских мужиков и А. Чехов,<sup>[580]</sup> и И. Бунин,<sup>[581]</sup> и М. Горький, и Л. Андреев, и М. Булгаков, и А. Куприн (вспомним «Олесю»), и В. Вересаев (с его рассказами о холерных бунтах), и А. Грин (ведь именно народ травил Ассоль) – я беру только пришвинских современников, писателей очень разных, – но такого сочетания яркой государственности и личного патриотизма, с одной стороны, и антинародности (а заодно и антиклерикальности) – с другой, – не было, пожалуй, ни у кого.

Конечно, во многом своеобразная экстремальность его позиции объяснялась затянувшейся полемикой с народниками и стоящей за ними традицией идеализации народа, причем народа непременно бедного, страдающего, жалостью к безлошадному мужику. И все же пришвинский взгляд на вещи беспрецедентен, и потому сегодня, когда вопросы взаимоотношения государства, народа, Церкви, интеллигенции, власти опять стали злободневными, Пришвин оказался одним из самых «горячих» писателей, по внимательном прочтении которого неизбежно начнут тянуть к себе самые разные общественные силы, выдергивая цитаты, благо материал позволяет.

Пришвинский Дневник вообще так устроен, что при желании из него можно надергать, искусственно подобрать каких угодно цитат и представить Пришвина великим борцом с системой, конформистом, писателем-христианином, пантеистом, язычником или даже богоборцем, последовательным реалистом или модернистом, а то и постмодернистом, патриотом, русофобом. Многое тут зависит от выбора позиции читателя и исследователя, и поэтому воистину у каждого из нас – свой Пришвин.

Автор данной книги, при наличии собственных убеждений и симпатий, проницательному читателю очевидных, пытается остаться объективным, ничего не затенять и не выпячивать, Пришвина не идеализировать и почему зря не хулить и, возвращаясь к теме, о которой идет речь, из песни слов не выкидывать.

Что было, то было: «Истории русского народа нет: народ русский остается в своем быту неизменным, – но есть история власти над русским народом и тоже есть история страдания сознательной личности». [\[582\]](#)

«Русский народ есть физически-родовой комплекс; его так называемое „пассивное сопротивление“ есть не духовная сознательная сила, а путь физического роста (так дерево повертывает свои ветви к свету, а паразит ползет всегда в тьму)». [\[583\]](#)

Кто это написал: Андрей Синявский, Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс? Пришвин. Страдание сознательной личности, затерянной в неподвижном народе, в бессловесной, безличной и враждебной личности биологической массе, в плазме, занимало его, по-видимому, больше всего и казалось сутью русской истории, ибо безмерное личное страдание в те годы стало пришвинской судьбой. Он увидел свой народ в самые трагичные и тяжкие для него годы великой

смуты, когда в народную душу вошел и на время победил ее страшный соблазн, названный Буниным окаянством, а самим Пришвиным – черным переделом, в те минуты, которые народ и сам в себе не любит и стремится их позабыть, залить вином и готов принять расплату (может быть, поэтому не встретила сопротивления коллективизация и воспринималась в народной душе как наказание за грех революции и грабежа), но только простить и забыть увиденное Пришвин не мог. Подзаборная молитва 1917 года не позволяла.

Сколь бы ни была виновата в происходившем интеллигенция: «Распяты ныне и барин, и мужик на одном кресте, барин – за идеи, мужик – за разбой»,<sup>[584]</sup> как бы ни были отчасти закономерны и неизбежны происходящие события («Состояние смуты у нас органически необходимо, а настоящее время есть высшее напряжение смуты»<sup>[585]</sup>), долго относиться к народу как к невинному дитяте Пришвин не мог.

Пытался сам себя уговорить быть снисходительнее («Крестьянская душа – это детская душа, им нужно хлеба и забавы, причем они все это, и хлеб и забаву, сами производят. Это детское у них я всегда любил и теперь люблю. Что же случилось? дети без старших передрались, и как это может до конца расстроить меня? пора бросить ссылаться на эту войну и начинать дело мира. И жить-то осталось какие-нибудь 5–10 лет»<sup>[586]</sup>), но раздражение брало верх в душе страстного и вспыльчивого человека. «Коммуна бытовая есть целиком детище обнищенной деревни, и вошь поползла из деревни и все. Интеллигенция виновата в том, что расшевелила деревню», – утверждал он<sup>[587]</sup> и продолжал вести начатый завьюженной зимой 1918 года спор с великим поэтом, бывшим своим

единомышленником, который до этих времен уже не дожил.

Полемика здесь была не только с Блоком. Выше я уже говорил о том, что ровно за десять лет до описываемых событий именно с помощью пришвинской повести «Никон Староколенный» (герой которой, потрясенный известием об убийстве Александра Второго, едва не убивает сам показавшуюся ему подозрительной интеллигентную барышню) известный «левый» критик Иванов-Разумник побивал своих оппонентов из Религиозно-философского общества, и больше всех из них досталось С. Булгакову, за пренебрежение и отвращение к темному русскому люду.

«Тонкий волосок отделяет здесь „святую Русь“ от „обезьяны“, чистоту от черного деяния; и если бы черное деяние совершилось – многие ли бы поверили, что за этим черным и случайным есть светлая вера в правду, есть готовность жертвы собою во имя спасения России?»<sup>[588]</sup> «Понять, а не отвергнуть черную Россию»,<sup>[589]</sup> – призывал он.

Такую ли, иную ли идею вкладывал сам Пришвин в свое произведение, но только теперь, когда «черное деяние» совершилось, наяву столкнувшись с Черной Русью, и он отшатнулся. Ему теперь, очевидно, был ближе Бунин с его: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, а в другом – Чудь и Меря (...) Народ сам сказал про себя: „Из нас, как из древа, – и дубина, и икона“, – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев».<sup>[590]</sup>

Теперь, после 1917-го, казалось, остался только один тип, как если бы большевики переделали весь народ, а о втором, светлом, народном образе, можно было бы сказать то же самое, что говорили набожные

старухи о разоренных мощах русских святых: батюшка ушел. Вот и радонежский, китежский народ ушел...

Вопросов у сельского шкраба наверняка было больше, чем ответов, и эта тема не была исчерпана приговором крестьянству, Пришвин будет к ней возвращаться и находить новые грани в более поздние периоды своей жизни, да и в елецком, и в смоленском житии были просветы и добрые люди, и все эти впечатления и размышления горьких провинциальных лет русской смуты легли в основу одного из самых пронзительных пришвинских творений – повести «Мирская чаша» (с подзаголовком «19-й год XX века»), написанной весной 1921 года (с 15 апреля по 9 июня, уточняет Пришвин), впервые, с купюрами, опубликованной только в конце семидесятых годов в журнале «Север» и вошедшей в более полном виде в восьмитомное собрание сочинений 1982 года, а без купюр напечатанной лишь недавно.

То было наиболее автобиографическое из всех пришвинских произведений к той поре, и, пожалуй, впервые он не задумывался о его форме, а писал, как писалось. Герой повести по фамилии Алпатов, сельский шкраб и смотритель музея, интеллигент, живет среди мужиков в послереволюционной деревне, охваченной Гражданской войной, «беспраздничной разрухой» и «добела раскаленным эгоизмом»,<sup>[591]</sup> он – «идеальная личность, пытающаяся идти по пути Христа» («правда, я не посмел довести своего героя до Христа»<sup>[592]</sup>), приобщается, причащается народной жизни, отсюда и название.

Эта повесть была и не могла не быть пессимистичной и безысходной: в ней смешались раскольничья апокалиптика с ницшеанством, в финале ее «черный ворон пересек диск распятого солнца, летел из Скифии клевать грудь Прометея», и, позднее



защищая не принятую современниками и партийными начальниками «Мирскую чашу», объясняя ее замысел, Пришвин писал близкому в ту пору к властям Б. Пильняку: «Вероятно, мы находимся накануне второго пришествия, когда Он явится во всей славе и разрешит наше ужасное недоумение или совсем не явится и будет сдан совершенно в архив. Человечество сейчас находится в тупике, и самый искренний (несахарный беллетрист) художник может изобразить только тупик».

[593]

Но самая парадоксальная и одновременно с этим самая важная идея отвергнутой повести (и здесь, конечно же, вопиющее расхождение с Буниным) – та, что только большевики могут эту стихию унять и привести в чувство и – я еще раз процитирую другие строки пришвинского письма к автору «Голого года», книге, чем-то «Мирской чаше» очень созвучной (при том, что Пришвин роман Пильняка не принял: «Это не быт революции, а картинки, связанные литер. приемом, взятым напрокат из Андрея Белого. Автор не смеет стать лицом к факту революции и, описывая гадость, ссылается на великие революции»<sup>[594]</sup>): «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада», – хотя – и в этом весь Пришвин: «Я не поместил эту смелую фразу (в окончательную редакцию „Мирской чаши“. – А. В.), боясь, с одной стороны, враждебной мне ее рассудочности, а с другой – из «не сотвори себе кумира»».

[595]

Через несколько лет другой литератор и тоже оппонент Блока напишет:

Этот вихрь,  
от мысли до курка,  
и постройку,  
и пожара дым



прибирала  
партия  
к рукам,  
направляла,  
строила в ряды.

Впрочем, если искать более точную ответную реплику Пришвина в неожиданном диалоге с Маяковским, то лучше взять такую, по-пришвински грубоватую: «Вот урок: большевики, подымая восстание, не думали, что возьмут и удержат власть, они своим восстанием только хотели проектировать будущее социальное движение, и вдруг оказалось, что они должны все устраивать: роман быстро окончился оплодотворением, размножением и заботами о голодной семье – не ходи по лавке, не перди в окно».  
[\[596\]](#)

В 1924 году Пришвин взглянул на ситуацию с революцией и революционерами куда более трагически (и одновременно элегически), и нижеследующая запись дает в очень сжатом виде образ русской революции и русских революционеров как наследников русской религиозной традиции – понимание, с которым писатель не расстался до конца дней: «Записи при утренней звезде.

Им был голос, подобный голосу из пылающего куста, что «согласен», – но вот условие: «после царя берут власть они сами, и только они».

Страшный был голос, потому что они думали свергнуть царя и освободить народ, первое было как труд, как туга, второе как радость: счастье – освободить человечество, которое уже само создает себе новую, хорошую власть. Но голос осуждал на новую страшную тугу: самим убийцам царя должно

быть властью, т. е. самим разрушить, самим и построить.

Они ответили почти без колебания: – Да!

И там: – Се буде!

И вот, презиаемые, проклинаемые народом, по трупам растерзанных людей, умерших от голода и болезней, они послали детей пионеров на голеньких ножках с красными тряпками на палочках будить народы мира к восстанию». [\[597\]](#)

По Пришвину – если бы могло быть так, что одни люди были убийцами, разрушителями, а другие пришли на их место и стали строить новую счастливую жизнь взамен старой, несправедливой и несчастной («нужно быть человеку-строителю нового мира без этого болезненного чувства памяти добра и зла» [\[598\]](#)), положение не было бы таким трагичным, – но произошло то, что произошло – другой власти не было и не могло быть, с ней ему предстояло иметь дело долгие годы.

Возвращение к писательскому труду было для Пришвина нелегким и произошло не сразу («Лежат мои тетради и книги, и я редко могу победить отвращение, чтобы заглянуть в свои труды»; [\[599\]](#) «Искусства не бывает во время революции: нельзя присесть» [\[600\]](#)). Дневник он свой вел неустанно, но до того, что мы называем по настроению то беллетристикой, то высокой литературой, у писателя не доходили руки, ибо теперь «писать и предлагать обществу свои рассказы (...) все равно как артистически стрелять ворон и приносить их домой». [\[601\]](#)

«Мирская чаша» оказалась вороной в том смысле, что не могла принести семье практической пользы, соображение в эпоху революции и Гражданской войны первостепенной важности («Вся его жизнь зависела только от духа, и вот вдруг случилась революция, все

поняли и утвердились в высших советах, что жизнь зависит от питания, что это одно только важно...»<sup>[602]</sup> – писал о себе Пришвин в третьем лице), и, быть может, поэтому смоленский писатель отстраненно следил в эти годы за тем, что делалось в большой литературе, чувствуя себя еще более оторванным от Москвы и Питера, чем в Ельце.

Время от времени он вел переписку со своим «колумбом» Ивановым-Разумником, но эти письма скорее свидетельствовали о разности даже не взглядов, но образа жизни («...Вы намекаете мне на разницу наших полит. взглядов (моховые болота и Вольфил и т. д.) – не понимаю, дорогой мой Р. В., что это: разве могут быть разные взгляды на упавшую скалу, на силу тяжести и т. п.»<sup>[603]</sup>).

Иванов-Разумник представлялся Пришвину человеком, во сне летающим под звездами, но с завязанными глазами, и к революционному энтузиазму своего критика, по тогдашней моде окрашенному в апокалиптические тона, относился скептически.

«На языке социальном – „да здравствует Интернационал!“; на языке философском – „проблема вечного мира“; на языке религиозном – „чаем Града Нового“; <...> Да, меч прошел через наши души, да, все мы разделились на два стана, и пропасть между нами. И по одной стороне провала – остались все люди Ветхого Завета, обитатели Старого Мира, озабоченные спасением старых ценностей. <...> А по другой стороне – стоят те, кто не боятся душу погубить, чтобы спасти ее, стоят люди Нового Завета, стоят чающие Мира Нового. И нет перехода, нет понимания, нет примирения – нет и не будет надолго», – патетически восклицал Иванов-Разумник.<sup>[604]</sup>

Переводя свою метафору на уровень литературы, Иванов-Разумник отводил Ремизову с его «Словом о

погибели Русской земли» – книгой, которую Пришвин невероятно высоко оценил,<sup>[605]</sup> место в старом мире, а себе и крестьянским поэтам – в новом. Вокруг Иванова-Разумника и его скифов в то время сгруппировалась целая группа замечательных поэтов – Есенин, Клюев, Орешин и другие, – которые, при широком спектре воззрений на революцию, имели нечто общее. Но Пришвину, очевидно, был ближе Ремизов.

Любопытно, что другим оппонентом этого «Нового Мира» и всей крестьянской купницы (хотя и к Ремизову сей взыскательный человек относился весьма скептически) из своего эмигрантского далека выступил не кто иной, как Иван Алексеевич Бунин, опубликовавший в 1925 году статью «Инония и Китеж». Пришвин этого знать не мог, но еще в 1922-м, под Дорогобужем, примерно в тех же жестких выражениях дал отповедь этой поэзии, а вернее, тому мировоззрению, которое за ней стояло.

«Не верю я в Ваши „крепкие“ и „сильные“ поэтические вещи, о которых Вы так восторженно пишете – нет! Скажите, какая птица поет на лету? всякой птице, чтобы запеть, нужен сучок, так и поэту непременно нужен сучок или вообще что-нибудь твердое; а теперь все жидкое, все переходит и расплывается».<sup>[606]</sup>

Позиция Бунина, отрицавшего всякие эстетические поиски Серебряного века и полагавшего их губительными для литературы, была более последовательна, четче он определился и в своих политических симпатиях, даже кое-чем для этого пожертвовав.<sup>[607]</sup>

Возможно, здесь сказалась разница купеческого и дворянского (вот замечательная, любимая всеми пришвиноведами запись от 20 апреля 1919 года: «Второй день Пасхи. Читаю Бунина – малокровный

дворянский сын, а про себя думаю: я потомок радостного лавочника (испорченный пан)»<sup>[608]</sup>), но отказаться разом от своих друзей Пришвин не мог, никого в союзники (как Бунин – Алексея Константиновича Толстого) брать не собирался, а искал нетореный путь.

В Дневнике Пришвина нет никаких упоминаний об испытаниях, которые выпали на долю его друзей, Иванова-Разумника и Ремизова, а также Блока и Петрова-Водкина в 1919 году, когда все они были арестованы по подозрению в принадлежности к левоэсеровскому бунту. Трудно сказать, знал ли он об этом, равно как и о том, что Разумник Васильевич пострадал больше всех и две недели провел на Лубянке, но зато, без сомнения, был в курсе того, что на исходе 1919 года Иванов-Разумник организовал в Петрограде Вольфилу – Вольную философскую ассоциацию, куда звал и Пришвина (о чем говорят такие строки из пришвинского письма: «Я знаю, что Вы человек практический, пчелиного свойства, и я нужен для Вашего улья, это хорошо и метко»<sup>[609]</sup>), но самому Пришвину эта, словно пародирующая мерещковско-гиппиусовское Религиозно-философское общество организация показалась «дымом» и «шелухой», и в одном из писем он противопоставил трудам знаменитого критика свою педагогическую деятельность.

«Я испытываю гордость победителя, когда мужики обступают меня с просьбами принять и их детей в мою школу: „Попались, голубчики, – думаю я, – и мы, „шкрабы“, что-то значим на свете“».<sup>[610]</sup>

Тем не менее переписка с Ивановым-Разумником была для Пришвина важна, и по этим письмам мы можем судить, например, о том, почему же он все-таки так долго оставался в деревне.

«Вообще вас всех, ученых, образованных и истинных людей в Петербурге, я считаю людьми заграничными, и вы меня маните, как заграница, как бегство от чудища. (Что вы спорите с Ремизовым, где быть, в Питере или за границей, мне кажется делом вашим семейным.) Много раз я пытался уехать за границу (или в Питер), и каждый раз меня останавливала не мысль, а чувство, которого я выразить не могу и которого стыжусь: оно похоже на лень, которую Гончаров внешне порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало...»<sup>[611]</sup> Любопытно, однако, что четырьмя годами раньше, в самый разгар революции бывшая столица вызывала у писателя совсем иные ассоциации: «В Петербурге ли живем или в плену, и уехать из него – все равно, что из плена бежать».<sup>[612]</sup>

Меж тем в феврале двадцатого провалилась последняя серьезная попытка повернуть ход истории – было подавлено Кронштадтское восстание, за которым Пришвин из своего смоленского далека очень внимательно, насколько это было возможно, следил и связывал с мятежом определенные надежды («опять Февраль!») – но... «кронштадтские события мигом рассеяли мечтательную контрреволюцию».<sup>[613]</sup>

Осенью того же года пришло известие, что уехал («убежал») за границу Ремизов – но даже оно не пробудило в душе смоленского отшельника желания последовать примеру своего лучшего друга. Теоретически шанс уйти с белыми у Пришвина в девятнадцатом году был – во время мамонтовского нашествия. Судить об этой поре в жизни писателя мы можем лишь очень приблизительно: к великому несчастью, Дневник тех месяцев утрачен, но последовавшие записи говорят о том, что Пришвин не уехал прежде всего по обстоятельствам личным.

«- Почему вы не убежали к нам? У вас один здоровый мальчик, вы бы могли?»

- Я бы мог убежать, но у меня были добрые знакомые, которые не могли бы со мной бежать, мне было жалко с ними расставаться (с Коноплянцевыми. - А. В.). И это наводило на мысль, что если бы убежать вместе - это выход, а что я один убегу, то это личное мое дело, а как личное, то и потерпеть можно, авось как-нибудь кончится гражданская война». [\[614\]](#)

И хотя в другом месте Пришвин писал, что «мне белые нужны прежде всего (...) выкопать из подвала несгораемый ящик с рукописями и зарытый талант свой откопать», [\[615\]](#) существовали также и другие, неличные причины пришвинского не-бегства, размышляя о коих, сельский учитель писал: «Рассказывал вернувшийся пленник белых о бесчинствах, творившихся в армии Деникина, и всех нас охватило чувство радости, что мы просидели у красных.

Тогда казалось, что мы - не белые, не красные, мы люди, стремящиеся к любви и миру, попали сюда, к этим красным в плен и потому не можем действовать, но что это наше лучшее как действенное начало находится именно там. Между тем хорошие люди могли действовать там меньше, чем здесь.

Итак, наше комиссарское хулиганье есть только отображение белого царского дворянского хулиганья, это в равновесии, а на стороне красных есть плюс - возмездие». [\[616\]](#)

«Надо помнить, что теперь на стороне контрреволюции такая сволочь, что если они, то горем загорюешь о большевиках. Так правду разделили пополам, и стала там и тут ложь: сеем рожью, живем ложью». [\[617\]](#)

Но кроме всего прочего Пришвин оставался верен своей личной ответственности за то, что происходило в



России.

«...Я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое маленькое, бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и пр., но все-таки...» – писал он Иванову-Разумнику.<sup>[618]</sup>

И, пожалуй, в этом было самое серьезное политическое расхождение с Буниним, и не только потому, что академик ни в чем подобном замешан не был: многие, куда более серьезно замешанные (те же Мережковский с Гиппиус – «революционеры-индивидуалисты, ищущие пути к соборности через отечество Града Невидимого» – как отозвался о них Пришвин осенью 1917 года<sup>[619]</sup>) революционную Россию покинули и из прекрасного далека проклинали дела своих рук (о чем писал пронизательный Блок в той самой раскритикованной Пришвиным статье: «Стыдно сейчас надсмеиваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон. Значит, рубили сук, на котором сидели? Жалкое положение: со сладострастьем ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг – сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), – бегать кругом и кричать: „Ах, ах, сгорим!“ <... >»<sup>[620]</sup>), а разница во взглядах на происходившее между двумя земляками была отчетлива: да, народ окаянный, но вот с властью не все так просто. Для Бунина она была концентрированным, аспидным выражением этого окаянства, Пришвин же возлагал на нее осторожные надежды. Особенно на центральную, может быть, потому, что был от нее далеко.

«Мне иногда кажется, что огромное большинство русского народа тайные коммунисты, выступающие



враждебно против явных (идеи, которым я сочувствую), иногда это враждебное чувство бывает до белого каления, и я сам не раз бросался из глуши с целью убежать из родины куда глаза глядят, но по мере удаления от глухого места... и когда я прибывал в столицу и продумывал все, что этого зла никто не хотел отсюда, и зло делали местные люди, присвоившие себе название коммунистов.

Добираясь до источника – вдруг видишь, что сам источник чист». [\[621\]](#)

Источник коммунизма – он имел в виду. Идея хороша и вожди хороши, но на местах ее портят примазывающиеся мерзавцы и прохвосты, недостойные звания коммуниста, и ведь эту мысль – цену которой мы сегодня как будто бы знаем – никто Пришвину не навязывал, и не было здесь никакой конъюнктуры и расчета, а только искренность и свободное волеизъявление – так что ж удивляться тому, что он напишет о коммунистах в тридцатые и сороковые годы и попадет под огонь и нынешней либеральной критики, и тех достойных писателей, кто этого компромисса простить ему не мог.

Гораздо раньше, еще в начале двадцатых годов, и не для того вовсе, чтобы пробиться в советскую печать, Пришвин писал: «Теперь герой моих дум – идеальный большевик, распятый во власти, которому нужно принять на себя весь грех и лжи и убийства: „Что же вы думаете, дурак я, и когда брал из рук Смердякова власть, я действительно считал его „пролетарием“? Я ему лгал, чтобы захватить его в свои руки для работы на действительного пролетария, человека будущего. Но и ложь моя, и убийства мои легли бы на вас, все это я взял на себя, и вы остаетесь чистыми и проклинаете меня за то, что я взял неизбежное зло на себя“. Словом, я хочу теперь стать на точку зрения большевика

(идеального – и такие есть, ими и держится власть), чтобы ясно увидеть ошибки».<sup>[622]</sup>

К этой теме мы еще обратимся, но не следует забывать, что и другой великий русский писатель XX века, человек в нравственном отношении безупречный, тоже создал реальный образ идеального коммуниста (я имею в виду рассказ Андрея Платонова «Третий сын»).

Задача потомства, к которому через головы десятилетий обращался не только Маяковский, но и Пришвин, видится в том, чтобы попытаться понять человека, суждения о котором в силу масштаба его личности оказываются мельче, чем он сам.

«В конце концов все сводится к тому, чтобы оправдать себя и утвердить свое бытие. Судите же вы, а я себя так сужу в оправдание...»<sup>[623]</sup>

И потом, как и в случае с сектантством, симпатию Пришвина к коммунистам – даже самым идеальным – не надо ни преувеличивать, ни преуменьшать. Особенно в начале двадцатых.

Быть может, предчувствуя будущие споры, писатель так сказал о собственном творческом методе, и слова эти стоило бы вынести эпиграфом к настоящему исследованию: «Выход из этих верных, но противоречивых настроений – разум, исследование, в простом слове...»<sup>[624]</sup>

В то же время Пришвин выступал и как защитник социализма («Я напишу Вам (Иванову-Разумнику. – А. В.) следующее письмо в защиту социализма, потому что я уверен, что в Вашем улье многие считают провал советский – провалом идеи социализма»<sup>[625]</sup>), и это поворот поразительный. Достаточно вспомнить, что именно в газете «Знамя труда», где заведовал литературным отделом Разумник Васильевич, была опубликована поэма Блока «Двенадцать», и вот теперь

в 1920-м Пришвин хотел быть в глазах публикатора «Двенадцати» адвокатом социализма!

Но тогда же о коммунизме и коммунистах писал (спорил с самим собой – и в этом весь Пришвин): «... Почему я не был с ними? первое, я ненавижу русское простонародное окаянство (орловское и великорусское), на которое русские эмигранты хотели надеть красную шапку социальной революции, и потому-то я любил Россию непомятых лугов, нетоптанных снегов...

...я был, как вся огромная масса русского народа, врагом плохого царя, но, кажется, не царя вообще...»[\[626\]](#)

Тут особенно замечательно слово «кажется».

«Я чувствую, что если бы наш коммунизм победил весь свет и создались бы прекрасные формы существования, – я бы все равно не мог бы стать этим коммунистом.

Что же мешает?

1) отвращение к Октябрю (убийство, ложь, грабежи, демагогия, мелкота и проч.) (...)

Кроме личного отвращения, у меня было еще нежелание страдания, нового креста для русских людей, я думал, что у нас так много было горя, что теперь можно будет пожить наконец хорошо, а Октябрь для всех нес новую муку, насильную Голгофу». [\[627\]](#)

«Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она, такая и никакая другая, сдвинет Русь со своей мертвой точки, я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю». [\[628\]](#)

И все же это «не приемлю» не было окончательным; оно, скорее, как и многие другие вышеприведенные заметки и оценки, говорило о состоянии души писателя в ту или иную минуту, под тем или иным впечатлением, и это состояние можно было бы сравнить, скажем, с

погодой, с состоянием природы – Пришвин внимательно и точно фиксировал переменчивые настроения своего ума и души, вряд ли выражавшие его последовательную позицию – это было некое пространство суждений и мнений, с размытыми границами, подобное электромагнитному полю, и своим ощущениям в этом поле он доверял гораздо больше, нежели принципам. Высшая правда, по Пришвину, всегда оставалась за жизнью, ее течением, ее не дано познать и предугадать никому, в ней нет ничего постоянного, и как писатель он не давал себе права в нее вмешиваться и ее судить, засмысливаться («Социалист, сектант, фанатик – все эти люди подходят к жизни с вечными ценностями и держат взаперти живую жизнь своими формулами, как воду плотинами, пока не сорвет живая вода все запруды»<sup>[629]</sup>), а только смиренно мог за нею следовать и принимать – таковую, какая она есть.

Не случайно отречение патриарха Тихона, как называли тогда отказ Святейшего от враждебной позиции по отношению к новому строю и от сотрудничества с контрреволюцией, вызвало у Пришвина двойственную реакцию. Поначалу он почувствовал себя оскорбленным («нет у нас теперь Аввакума»), но, поразмыслив, пришел к заключению, что «выходит повторение душевного мотива всей революции: сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь (так возникло сменовеховство)».<sup>[630]</sup>

Коль скоро речь зашла о патриархе, бывшем для многих людей не только главою русской Церкви, но и символом духовного сопротивления, то, пожалуй, самую последовательную позицию по горячо обсуждаемому

русскими писателями вопросу «народ и власть» занял именно он, когда осенью восемнадцатого года обратился к новым правителям со словами, которыми я и хочу закончить эту главу.

«... Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния - убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями (...) Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя».[\[631\]](#)

## Глава XV

# ОХОТА ЗА ЧЕРВОНЦАМИ

Некоторое упование Пришвина на власть большевиков объяснялось еще и тем, что в это время в Москве его бывший елецкий однокашник и друг Н. А. Семашко стал народным комиссаром здравоохранения («Встреча с Семашко и пересмотр большевизма»<sup>[632]</sup>). В течение многих лет отношения между двумя друзьями были весьма неустойчивы.

В 1907 году, когда «вольноотпущенник революции» Пришвин издал свою первую книжку, тайно приехавший в Россию из эмиграции Семашко вызвал его на партийный разговор, имеющий отношение и к более поздним временам. В дневниковой записи января 1941 года эта политбеседа выглядит следующим образом.

«- Ты что же теперь делаешь?

- Пишу.

- И это все?

- Все, конечно, агрономию бросил: не могу совместить.

- И удовлетворяет?

- Да, я хочу писать о том, что я люблю: моя первая книжка посвящена родине.

- Нам не любить теперь надо родину, а ненавидеть».<sup>[633]</sup>

А в ноябре 1920 года в русле этого разговора Пришвин написал: «Семашке: мой путь общий с Божьей тварью, но ваш путь иной: вы все подавили в себе возможное, быть может, любовь к женщине и родине, и стремление к искусству и науке, и склонность каждого человека свободно думать о жизни мира (философии) из-за того, чтобы стать на путь человеческий, т. е. впереди своего личного бытия поставить свою волю на

счастье других („пока этого не будет, я отказываюсь от жизни“). Мой вопрос: не пора ли освободить всю тварь русскую от повинности разделять с вами путь». [\[634\]](#)

Несмотря на разницу во взглядах, отношения друзей не прервались, переписка продолжалась и после революции, когда удивленный Пришвин узнал, каких высот в новой иерархии власти достиг его суровый елецкий друг, и высказал предположение, что «личное несчастье и страдание – основа психологии русского революционера и выход из него: проекция причины несчастья на поле народное»; [\[635\]](#) (...) «Семашко, всегда 1-го ученика, за чтение Белинского лишили золотой медали». [\[636\]](#)

А противопоставляя себя и свой путь пути революционному, еще раньше писал: «Вот что бывает с русским художником: в тот момент, когда он делается художником, – он перестает быть революционером (так, когда к Шатову приезжает жена, Шатов счастлив и в этом личном и праведном счастье – счастье, как искупление! – он не революционер: тот, как проклятый, в том бес, а этот искуплен, он заслужил себе положение не быть революционером).

Русский человек отпускается самими революционерами (прежними) в тот момент, когда он становится художником». [\[637\]](#)

А в конце двадцатых резюмировал: «Все революционеры, начиная от декабристов, смотрели сквозь пальцы на художников: поэты и художники, начиная с Пушкина, были вольноотпущенниками революции». [\[638\]](#)

Видимо, Пришвин полагал, что и его отпустили.

Ироническое и даже язвительное, учитывая высокий статус нимало не зазнавшегося адресата, отношение ощущается и в письмах в Кремль из-под Смоленска 1920 года: «Я чуть ли не с колыбели заметил себе, что

наш простой человек власти чурается, и если попадет в капралы, то становится хамом, этой особенностью держался строй старый и, не будем умалчивать, держится и нынешний».<sup>[639]</sup> Однако, несмотря на пришвинское бегство из партии в начале века и оскорбительное недоверие к революции большевиков 1917 года, Семашко пытался помочь другу получить академический паек, а осенью 1921-го писатель отправил к комиссару сына Леву вместе с уже известным нам будущим партработником Николаем Дедковым, снабдив юношей рекомендательными письмами и просьбой помочь устроиться на учебу. Однако что-то не сложилось, и Пришвин-сын натерпелся во время приема «сраму».<sup>[640]</sup>

Причины этой неудачи неизвестны, деликатный Дедков в воспоминаниях о них также умалчивает, однако можно предположить, что «первейший друг (и посейчас из всякой беды выручит он, чуть что – к нему, очень хороший человек, честнейший до ниточки)»<sup>[641]</sup>,<sup>[642]</sup> которому впоследствии Пришвин дал в своем романе фамилию Несговоров, а на склоне лет посвятил рассказ «Старый гриб», обвинил бывшего одноклассника в буржуазном саботаже, что вполне соответствовало если не действительности, то партийной установке тех лет. Пришвин сглотнул обиду (Семашко казался ему «умным, добрым и хорошим» человеком, но... замешанным в грязное дело) и, оправдываясь перед принципиальным товарищем и руководящим работником Совнаркома, некоторое время спустя написал в Москву, как отчет о проделанной работе: «Ни в учительстве, которым я занимался, пока не замерла школа, 1,5 года, ни в агрономии (теперь), ни в литературе субъективного саботажа („злостного“) у меня не было, и его вообще нет: дайте возможность работать, никакого саботажа не будет».<sup>[643]</sup>



Следующей зимой пришлось обращаться снова: на этот раз Лева тяжело заболел (на него напала от голода и истощения невероятная сонливость), и, благодаря главному медику страны, Пришвин отправил сына на лечение в Москву, а потом и сам последовал за ним в Первопрестольную.<sup>[644]</sup>

Так, не было бы счастья – несчастье помогло: деревенский затворник вышел из подполья и даже сумел получить сырую комнату в Доме литераторов на Тверском бульваре, где матрасом неприхотливому писателю служила шуба Осипа Мандельштама («Вот он козлик, запрокинув гордо назад голову, бежит через двор с деревьями дома Союза Писателей, как-то странно бежит от дерева к дереву, будто приближается ко мне пудель из Фауста»)<sup>[645]</sup>

Но дальше последовала кашеева цепь неудач: шуба Мандельштама сгорела, когда, купив по случаю в Военторге дешевый примус, с ее помощью Пришвин спасал от пожара свои драгоценные рукописи (реакция Мандельштама была изумительна: «Что случилось?» – «Шуба сгорела!» – «Дайте еще одну папироску и еще лист бумаги и, пожалуйста, три лимона до завтра, я завтра, наверно, получу, отдам»<sup>[646]</sup>). Эту историю Пришвин вскоре описал в рассказе «Сопка Маира», напечатанном в берлинском «Накануне», а вот с рукописями романа вышла неувязка – услышав пришвинское «Детство» (так назывались в первом варианте начальные главы «Кашеевой цепи», впоследствии названные писателем «Голубые бобры»), Семашко якобы воскликнул: «Нужно же написать такую мрачную вещь!»<sup>[647]</sup>

Но нет ли здесь пришвинского мифотворчества или простой путаницы? «Голубые бобры» вещь какая угодно, только не мрачная, скорее уж слишком идеализирующая дореволюционную Россию (в пику

Блоку, что ли), но, видимо, у большевиков были свои понятия о литературе. А «Курымушку» в 1923 году напечатал первый советский «толстый» журнал «Красная новь», и эта, без сомнения, чудесная повесть принесла ее автору заслуженный успех и восхищенную оценку Алексея Максимовича Горького, человека в начале 20-х не столь влиятельного, как десять лет спустя, но все же не последнего в новой литературной иерархии.

Мрачной была «Мирская чаша», другое ее название – «Раб обезьяний». Ее Пришвин читал в холодном барышниковском доме сыну Леве («С одинаковым результатом он мог бы читать чучелу медведя, стоящему в кабинете», – вспоминает Лев Михайлович, который «всеми силами боролся, чтобы не уснуть, стараясь угадать, сколько страниц осталось до конца»<sup>[648]</sup>) и попытался пристроить в печать осенью 1922 года, когда ситуация в столице переменилась. Из России уплыл знаменитый корабль с философами, в том числе и с теми, кто входил в разумниковскую Вольфилу (Карсавин, Лосский), и вдруг никому не нужная, прозябавшая в неизвестности литература сделалась делом государственной важности («все наркомы стали заниматься литературой. Даются громадные средства на литературу. Время садического совокупления власти с литературой»<sup>[649]</sup>).

Пришвину билет на этот корабль не предложили – но, по всей видимости, даже если бы и предложили, он бы все равно не уехал.

«Я как писатель очень обогатился за революцию, я, свидетель такой жизни, теперь могу просто фактически писать о ней, и всем будет интересно, потому что все пережили подобное, я теперь богач, наследник богатый».<sup>[650]</sup>

«Россия и раньше была вся не исследована, а после величайшей революции и говорить об этом нечего, писать дневники, и все будет ценно». [\[651\]](#)

Он сделал другое – обратился с письмом к Троцкому, незадолго до этого написавшему знаменитую книгу «Литература и революция».

«Уважаемый Лев Давыдович, обращаюсь к Вам с большой просьбой прочесть посылаемую Вам при этом письме мою повесть „Раб обезьяний“. Я хотел ее поместить в альманахе „Круг“, но из беседы с т. Воронским выяснилось, что едва ли цензура ее разрешит, т. к. повесть выходит за пределы данных им обычных инструкций. За границей я ее печатать не хочу, так как в той обстановке она будет неверно понята, и весь смысл моего упорного безвыездного тяжелого бытия среди русского народа пропадет. Словом, вещь художественно-правдивая попадет в политику и контрреволюцию. Откладывать и сидеть мышью в ожидании лучших настроений – не могу больше. Вот я и выдумал обратиться к Вашему мужеству, да, советская власть должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза».

Далее следует зачеркнутый абзац, и то, что Пришвин его вычеркнул, делает ему честь – никакого компромисса с властью, никаких уговоров, торгов и посулов – достойная и умная независимая позиция – первый (правда, безрезультатный) опыт диалога с властью: «А я лично чувствовал бы свои руки развязанными и, освобожденный, может быть, написал бы и не такие горькие и тяжкие вещи. Впрочем, мне кажется, я ломлюсь в открытую дверь. Подумайте, сколько картин русской жизни, изображенных за границей, потеряют свой политический аромат, если

здесь у нас, в госуд. издательстве скажут моей повести: „Да, так было в 19-м году“».

Однако продолжим послание: «Сознаю, что индивидуальность есть дом личности, верю, что будет на земле (или на другой планете) время, когда эти особняки личности будут сломаны, и она будет едино проявляться (как говорят, „в коллективе“), но сейчас без этого домика проявиться невозможно художнику, и весь мой грех в том, что я в этой повести выступаю индивидуально.

Ну, да это Вы сами увидите и поймете. Не смею просить Вас о скором ответе, но сейчас меня задерживает в Москве только судьба моей повести.

Примите привет моей блуждающей души.

Михаил Пришвин». [\[652\]](#)

Особенно хороша здесь «блуждающая душа»: и как пояснение своей позиции, и как скрытая просьба о понимании, а главное – ключ к посылаемой повести. Она тоже была блуждающей.

Троцкий дал ответ (по телефону Воронскому, и тот передал Пришвину): «Признаю за вещь крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». [\[653\]](#)

Пильняк посоветовал Пришвину не расстраиваться: «Нечего ждать от Троцкого чего-нибудь, он ограниченный человек, спец в своем деле, но в литературе неумный». [\[654\]](#)

«Вот и паспорт мне дали», – философически заключил Михаил Михайлович, который в эти же самые дни прочел в «Известиях» статью некоего писателя Устинова о том, что «беленький Пришвин» получает паек, а пролетарским писателям не достается. Но Троцкому обиды не забыл и, когда для Льва Давидовича настали черные дни, взял сторону его политического противника, а по Троцкому проехался в охотничьих

рассказах, из коих советскому читателю был хорошо известен отредактированный, но все равно весьма двусмысленный «Ленин на охоте», а вот рассказ о Троцком за этим же занятием – покуда в архиве и ждет своего часа.

И все же неудача не свалила закаленного и не такими бедами алексинского гостя с ног, а лишь внесла в его положение мобилизующую силу духа ясность. «Я понял, что я в России при моем ограниченном круге наблюдений никогда не напишу легальной вещи». [\[655\]](#)

Легальных вещей после этого Пришвин написал сколько угодно – но вот к опасной и скользкой теме революции и Гражданской войны, к тому, что было так остро им пережито и глубоко осмыслено, не возвращался более никогда, не считая маленьких рассказов, вроде «Школьной робинзонады» или очень хорошо продуманного, политически корректного, как мы бы сегодня сказали, рассказа «Охота за счастьем». А когда в 1929 году, после окончания «алпатовской трилогии» мелькнула у него была идея написать «эпопею гибели купеческого города Ельца в 1919 году», замысел реализован не был, и именно за отсутствие революционной темы его и была впоследствии провокаторская рапповская критика: «Такие явления, как война и революция, прошли, в сущности, мимо Пришвина, задев его творчество лишь стороной». [\[656\]](#)

Тем не менее обиды на власть у Пришвина не было, – напротив, если умозрительное из смоленского далека отношение к московскому нэпу, – о котором позднее мудрый Пастернак написал в «Докторе Живаго», что то был самый фальшивый из всех советских периодов, – оставалось у Пришвина отрицательным, и это еще один вклад в его «лениниану» («Читал фельетон Ленина о новой экономической политике – длинная, бесконечная речь!

Читаешь, будто едешь по этой мерзлой, колючей земле на серой кляче в телеге, и, кажется, конца нет, пока вытянет кляча и доедешь до города, – так бездарен его стиль, так убога, низменна эта мещанская мысль, видящая избавление человечества в зависимости только от материальных (внешних) отношений»<sup>[657]</sup>), то увиденная в Москве реальность оказалась иной и необыкновенно взбодрила его.

«Я собрался духом и поехал в Москву: какую тут животную радость я испытал, увидав открытые продовольственные магазины, книжные лавки, издательство»,<sup>[658]</sup> – сообщил он Ремизову.

В этом же письме к Алексею Михайловичу (зная из писем Иванова-Разумника, что тот сильно тоскует за границей) Пришвин не без умысла написал: «Я себя чувствую, наверно, много лучше, чем Вы: леса наши мало-помалу очищаются от лома, в сгоревших местах примется буйная заросль, по сторонам дорог открываются капризные тропинки, по которым совершенно безопасно можно идти... Самое же главное, я не стыжусь Вам в этом сознаться после испытаний голода и чуждого мне рода труда: так называемая „животная“ радость бытия вытесняет всякую грусть. Поешь хорошо, удастся напечатать, хотя и с большими опечатками, книгу, и радуешься и думаешь: „заслужил, заслужил!“, а раньше, бывало, наешься, выпустишь книгу и загрустишь»<sup>[659]</sup> <sup>[660]</sup>

Посетив Москву в 1922 году, он поверил в «буйное возрождение страны», о чем и написал куму Яценке: «Се буди, буди!» Сегодня, с высоты или из глубины прожитых нами в двадцатом веке лет легко его за этот оптимизм осудить, но с человеческой, обывательской, точки зрения – а Пришвину она отнюдь не была чужда, что он и сам признавал, – любой, переживший те годы, если только это был не твердолобый коммунист,

тоскующий по расстрелам на месте и красному террору (а известно, что переход к нэпу привел к случаям самоубийства самых последовательных партийцев – вот уж воистину секта!) это подтвердил бы.

К тому же Пришвин, в отличие от многих противников большевистского режима, никогда не испытывал симпатии к старым временам и о прошлом, о «великой подлости русской жизни, заплеванной, загаженной, незаконной»,<sup>[661]</sup> жалел очень мало (о филипповских калачах, правда, весьма образно, жалел: «Ну что это за роскошь, бывало, утром к чаю принесут горячий калач, полный, и упругий и мягкий, как грудь нежнейшей, <1 нрзб.> молодой девушки»<sup>[662]</sup>). Новое для него было не разрывом, а продолжением старого, его следствием, усилением – особенно это проявилось в пришвинских взглядах на самое ненавистное ему детище революции – коммуну, которую разрушил нэп, Пришвиным отчасти предсказанный, хотя и не сразу узнанный в тусклых ленинских лозунгах и статьях.

Еще в 1921 году, во время своего смоленского сидения, окруженный «коммунарами», Пришвин писал с какой-то бунинской злобой: «Коммуна – это название скелета нашей покойной монархии, это кости государственной власти, по которым нельзя узнать лица; а кости государственной власти – ее принудительная сила, общеобязательная как смерть. И как смерть противоположна жизни, так и коммуна – свободе; захотели свободу, так вот же вам испытание: коммуна».<sup>[663]</sup>

Ему как белый день (так и хочется вспомнить Блока: «Лжет белый день»<sup>[664]</sup>) была ясна преемственность этой коммуны с дореволюционным обществом, ибо в ее состав входят «прежня служебная мелкота и, главным образом, прежняя полиция, жандармерия, поповичи,



недоучившиеся гимназисты (...) все „вторые скрипки“, описанные Чеховым». [\[665\]](#)

Коммуна – это «большой парадный чисто отполированный квадратный стол», на котором стоит бюст Маркса, а под столом «пьют самогон и поют Ваньку Ключника. (...) Им и самим бывает тошно от этой жизни, они сознают, что так всегда быть не может, и при первом тревожном известии из центра говорят о конце и даже обращаются к Библии, выискивая пророчества про Аваддоново царство. Когда бунт подавляется, все они опять думают, что ничего, проживут еще долго, делают двойные, тройные усилия для выполнения завета „кажон для себя“». [\[666\]](#)

Для Пришвина была очевидна неустойчивость подобного состояния, которое завершится либо «провалом коммунального стола», либо трудящийся человек, «неизвестно какую ценою», должен будет одолеть «бездельника».

Позднее подобную коммуноу, под иным углом зрения, не язвительно, не зло, но бесконечно грустя и любя ее сынов, им сострадая и осознавая ее обреченность и нежизненность, опишет в «Чевенгуре» Андрей Платонов. Но то, что дано будет почувствовать воронежскому железнодорожнику, Пришвин не примет, однако все же предречет и воспоеет исчезновение этого «общественного стола».

«Сколько же лет пройдет этой жизни без всякого смысла? Нельзя сказать. Как в личной жизни, так и в общественной бывают роковые столкновения, возникают вопросы, которых, как ни думай, все равно не одумаешь за свою жизнь и решаются эти вопросы после и другими людьми. Это наше духовное наследство грядущим поколениям». [\[667\]](#)

Проницательность и прозорливость у него были невероятные. В 20-е годы сельский учитель, вышедший



из Серебряного века, как выходили другие писатели из гоголевской шинели, смотрел сквозь десятилетия и видел перспективу, будучи в этом смысле абсолютно современным и созвучным своей эпохе, когда вперед смотрели все, но опережая других вперед смотрящих по части точности попадания, Пришвин писал: «В конце концов, всем надоест смотреть на пустой стол и каждый будет находить себя, и так сложится общественное мнение, общество, которое своим фактом существования смягчит принудительную власть, станет размывать, рассасывать ее, как волны, всегда деятельные, размывают неподвижный берег». [\[668\]](#)

Чем не краткий конспект будущей истории СССР, по крайней мере до хрущевской оттепели, а то и – горбачевской перестройки, написанный на исходе Гражданской войны? Только ждать было смягчения большевистской плетки слишком уж долго, так долго, как Пришвин не мог и предполагать, и все торопил, торопил время, порою выдавая желаемое за действительное, – но так и не дождался. «Душа раздвоена: по самому искреннему хочется проклясть всю эту мерзость, которую называют революцией, а станешь думать, выходит из нее хорошо, да хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на улице бодрые, энергичные молодые люди». [\[669\]](#)

Но далее, верный себе, добавляет: «А всмотришься в лица – все люди в рядах равнодушные: эроса нет в Октябре, как ни рядись в красное. И невозможен эрос, потому что в Октябре был порыв, окончившийся браком совсем не с желанною». [\[670\]](#)

И здесь – Ефросинья Павловна!

А все же если не место, то местечко в новой литературе Пришвин нащупать сумел и в дальнейшем стал медленно трудиться над расширением плацдарма,

в чем и состояла вся драматургия его отношений с большевистской властью. Назвать это компромиссом или гибелью интеллигента даже по самому гамбургскому счету нельзя. В очень обстоятельных и содержательных комментариях к пришвинскому Дневнику (пользуясь случаем, хочу отметить огромный труд его публикаторов и комментаторов) совершенно справедливо указывается на то, что «в Дневнике воспроизводится вечный русский сюжет, связанный с темой роста внутренней свободы за счет утраты внешней. (...) Пришвин переводит этот вопрос (о свободе человека. – А. В.) из той сферы, где ему нет разрешения, в сферу творчества, где разрешение возможно: он идет копать «чужой сад». Это выход художника, осваивающего новое культурное пространство для всех, это выход, связанный с пришвинской концепцией искусства как продолжения жизни, сверхусилия, которое создает новое небывалое бытие».<sup>[671]</sup>

Подобным выходом стало для него краеведение. Идея им заняться пришла к Пришвину впервые еще в Ельце, когда он обдумывал статьи, целью которых было «указать такой путь, чтобы каждый, прочитав и обдумав написанное мной, мог бы немедленно приступить к делу изучения своего края. В основу своего дела я положил чувство прекрасного, настоящая красота есть пища души.

Изучение есть дело любви. Мы все любим свой край, но не знаем – что, не можем разобраться, различать с высоты.

Герой моей повести – народ, описание масс. Мы все будем творить одну повесть – о народе».<sup>[672]</sup>

В занятиях краеведением Пришвин видел высокую просветительскую задачу, оно направлено на «улучшение породы самого человека»,<sup>[673]</sup> в том числе и

его гражданского сознания. Это был прямой выход из сектантства, своеобразное раскодирование личности: блудный сын, охваченный идеями богоборчества и богоискательства, возвращался к социалистическому отечеству, и никакой иронии в этом ленинском словосочетании для Пришвина не было. «Чувство родины в России сильнее, чем в Европе (ярче), а отечества нет (гражданин)». [\[674\]](#)

В эти годы он написал свою первую крупную легальную вещь – повесть «Башмаки» – историю башмачного дела, во многом продолжавшую традиции первых полуочерковых произведений и в одном месте им самим оцененную как «прекрасную книгу, единственный в своем роде опыт художественного писания, сознательно выдвигаемый автором как исследование», [\[675\]](#) а в другом удостоенную совсем иного суждения: «Это лицемерная книжка. Я занимался „Башмаками“, потому что не хотел свое настоящее творчество ставить под удар крайней нужды (не хотел продаваться)». [\[676\]](#)

«Башмаки», несмотря на высокую оценку Горького («М. М. Пришвин очень угодил мне „Башмаками“: хитрая вещь!» – писал Горький Шишкову [\[677\]](#)), вряд ли можно отнести к лучшим творениям Пришвина, хотя там и встречаются забавные, хорошо понятные знатокам пришвинского творчества эпизоды. Ну, например, такой, когда автор обращается к одному из волчков – так назывались мастера обувного дела – с просьбой сделать идеальный женский башмак «с социальным уклоном».

А далее началось бурное обсуждение, идет ли речь о женщине рабочей или гулящей.

«Вопрос этот всех ошеломил, все крепко задумались, повторяя: – Никак не придумаешь – рабочая или гулящая.

На своем полном румянном лице удалой Цыганок отер пот и, наконец, сказал:

- Товарищи, да ведь баба одна!

Все поняли усилие Цыганка обобщить распадающуюся в жизни женщину в одно существо - в женщину будущего, но ведь шить сейчас нужно, и как об этом подумаешь, так неизменно, как Незнакомка у Блока, распадается на рабочую и гулящую». [\[678\]](#)

Первый советский успех Пришвина воодушевил не меньше, чем пять сотен золотых рублей, полученных когда-то от Девриена. Некоторое время Михаил Михайлович снова называл себя журналистом, писал очерки и статьи про охоту, природу, собак, рассказы для детей, и они пошли, что называется, нарасхват. Еще совсем недавно не знавший, как ему быть, и готовый вколоть в себя от отчаяния порцию морфия (явная перекличка с Булгаковым, да и обстоятельства деревенской жизни обоих интеллигентов отчасти схожи) писатель с головокружительной быстротой попадает в круг самых успешливых литераторов двадцатых годов, и аполитичные его рассказы не имеют ничего общего с провалившейся в троцкистском политбюро социально-опасной «Мирской чашей»: «Я должен был признаться себе самому, что и я стал на кормах в Москве другой. Именно же разница в том, что хочется больше смеяться, чем плакать». [\[679\]](#)

«Красная новь», «Новый мир», «Огонек», «Октябрь» - лучшие советские журналы предоставляли Михаилу Пришвину свои страницы, а еще и такие позабытые, но популярные в те годы издания, как «Рабочая Москва», «Новая Москва», «Прожектор», «Искорка», «Заря Востока»... Он писал много, увлеченно, азартно и не скрывал, что эта работа была отчасти конъюнктурной, но за конъюнктурой ему виделся и другой, высший план - связанный с единственной областью поэта - с

грядущим: «Я работаю, ориентируясь на современного читателя почти исключительно в интересах своего материального существования (впрочем, почти не считаясь с этим), ориентируюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу свое дело лишь долготой существования. Значит, это все равно, как я был бы родоначальник и думал о продолжении своего рода».

[680]

Одна из лучших и, как принято говорить, программных вещей тех лет – автобиографический рассказ «Охота за счастьем», где Пришвин непринужденно по форме и аккуратно, продуманно по содержанию, хорошо понимая, что такое пролетарская цензура, поведал читателям историю собственного писательского рождения и медленного, «тележного» пути в литературу. Подобно тому как вернувшийся с каторги Достоевский в «Униженных и оскорбленных» напоминал позабывшей его русской публике о своих первых вещах, так и Пришвин после почти пятилетнего перерыва в новых советских условиях легализовал часть из написанного им до революции наследия, которое предъявлял новой власти как пропуск в современность. Речь идет прежде всего о трех вещах – «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и «Черном арабе».

Сектантские и религиозные поиски начала века, блистательные вожди Религиозно-философского общества и чемреков, Мережковский, Розанов, Легкобытов, подражания Ремизову, защита хлыстовских богородиц, Никоны Староколенные и крутоярские звери остались за бортом советской жизни и упомянуты не были; о них лишь глухо упоминается в следующем пассаже пришвинского рассказа: «Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного метания из стороны в сторону, своего несчастья, потому

что пока не смею оголяться и беру пример с умирающих животных, которые, заболев, уходят в недоступные дебри и там прячут от глаза свой скелет. Несчастье – переходный момент, оно кончается или смертью, или роль его – мера жизни в глубину, этап в творчестве счастья».

Так Пришвин начал (а точнее, продолжил) творить из своей жизни легенду, благо обстоятельства к тому располагали. Серьезных свидетелей, обидчиков, заступников и раздражителей его литературной молодости, не считая Иванова-Разумника, в России не осталось. Бывшие друзья и собраты по философским посиделкам либо умерли, либо уехали за границу, с новыми он сходилась трудно, а большей частью и вовсе не принимал, да и они относились к нему не лучше.

«По разным признакам (что не позвали читать на <1 нрзб.> заседании, что на моем чтении не было ни одного из обычных писателей, что показательный вечер устроили без меня) вижу недоброе отношение ко мне обычных, что у них есть что-то против меня, но что? кроме Новикова все они евреи и полуевреи, все внутренне не имеют никакого значения в литературе...»<sup>[681]</sup>

Приход Пришвина в советскую литературу мог быть воспринят многими из уехавших и прежде всего теми, чьим мнением Пришвин по-прежнему дорожил, отрицательно. Предвидя эти упреки, он написал в Дневнике в свойственной ему временами грубоватой, «охотничьей» манере: «Приехала Мар. Мих. Шкапская из Берлина. Иду к ней, говорят, Ремизов хочет через нее мне что-то передать. Если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в „Накануне“, я отвечу Ремизову, что обнять Алешу ничего, в худшем случае он перднет от радости и через минуту дух разойдется, а

довольно раз поцеловать Пильняка, чтобы всю жизнь от следов его поцелуев пахло селедкой». [682]

Клычков для него – дешевый анархист, «Фомкин брат (то есть комиссар Персюк. – А. В.), только вконец развращенный и трусливый», [683] что не помешало ему очень высоко отозваться о его творчестве: «Читаю Клычкова „Князь мира“ и восхищаюсь его языком, народной мудростью, акварельными красками (...) К сожалению, человек-то он... опасно даже сказать». [684]

Да и прочие не лучше.

«Как жутко иногда бывает подумать о какой-то литературной общественности в Москве, где сами себя коронуют Демьян Бедный, Влад. Маяковский, Борис Пильняк»; [685] «Я начинаю ненавидеть писателей, каких-то честолюбивых обезьян, и особенно тех, кто имеет успех в наше время. Успех в наше время почему-то особенно быстро отпечатывается обезьяньим выражением». [686]

Литература теперь ценна ему не сама по себе, а тем, что дает возможность «жить почти свободным человеком, наслаждаться уединением, питающим любовь к человеку, зверю, цветку и всему»... А иначе «разве я стал бы заниматься и носиться с этим писательством?» [687]

В 1923 году он записал: «Раньше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось на куски, и каждый кусок объявил себя небом, каждый теперь работает в размере своего обломка, и над собой нет общего неба, (...) без неба писаться будет лучше? Да, так оно и есть, но... какая же скука существования, тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву, в литературную „среду“». [688]

Лучше, наверное, потому что больше нет авторитета, нет судьи, не на кого оглядываться и бояться, «начальство ушло», как говаривал Розанов.



«Раньше я думал, что есть Старшие, люди умнее меня и лучше, я был еще мал, и это была правда, но за время революции я вырос до конца, стукнулся макушкой о верх, и Старших не стало. Но я еще не понимал, что стал сам Старшим». [\[689\]](#)

Вспоминая свое место в декадентской культуре, Пришвин безо всякого позерства писал в «Журавлиной родине», в своей «охранной грамоте», книге гораздо более откровенной и открытой, чем политическая и осторожная «Охота за счастьем»: «...меня всегда оставляли в стороне от большой дороги, и так я на свободе терпеливым муравьем из далекого бытия подползал к царству сознания вместе со всеми своими зверями, собаками, букашками и таракашками. Только после большой революции и особенных переживаний я потерял немного стыдливости и тоже, как настоящий писатель, попробовал написать роман (Кашеева цепь) и перешепнуться в нем с друзьями о человеке».

А что, разве не правда? Именно большая революция, от которой он страдал, и страдал не зря, сделала Пришвина таким, каким мы его знаем. Революция принесла ему освобождение от декадентов, дала второму Адаму литературной землицы, так что в своем свободном романе первым делом творец ударил изо всех залпов по Розанову, своему мучителю и обидчику, которого в душе и любил, и ненавидел так, как вчерашние крестьяне ненавидели помещиков.

Конечно же, не все у него шло в Совдепии гладко, да и не могло так идти. Осенью 1925 года произошел разгром его вещей в Союзе писателей, героями этого погрома оказались Свирский и Соболев, и это готовящееся изгнание из литературы напомнило времена, когда мужики выселили его из Хрущева, но прежнего отчаяния в душе не было – новые погромщики



были для него не художники с большой буквы, не судьи, а так...

«Страшно опустошилась среда сравнительно с той, в которой я начинал писать...»<sup>[690]</sup>

В рассыпавшейся на многочисленные враждующие между собой группировки литературе Пришвин держался особняком, но числился среди попутчиков («Пример М. Пришвина говорит о необходимости конкретного рассмотрения генезиса попутничества», – писал благожелательно настроенный к нему Н. Замошкин,<sup>[691]</sup> а в конце двадцатых место писателя определялось как «левый центр правого крыла»), и вместе с А. Толстым, В. Катаевым, Б. Пильняком, С. Есениным, В. Лидиным, В. Инбер, А. Чапыгиным, О. Мандельштамом, И. Бабелем, В. Шишковым, Н. Тихоновым, Вс. Ивановым, О. Форш, М. Шагинян в 1924 году он подписал известное письмо в ЦК партии, где писатели заявляли о своей лояльности и просили не обходиться с ними чересчур строго.

«Мы считаем, что пути современной русской литературы, – а стало быть, и наши, – связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отражателем той новой жизни, которая окружает нас, – в которой мы живем и работаем, – а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе – две основных ценности писателя.<sup>[692]</sup> (...) Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас... Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен и полезен для нее».<sup>[693]</sup> В середине двадцатых Пришвин примкнул к группе «Перевал», организованной Воронским при «Красной нови» («Перевал» выступал за

сохранение «связи с художественным мастерством русской и мировой классической литературы»), однако активного участия в работе этой группы не принимал, и всю ответственность за его присоединение к «Перевалу» взял на себя сын писателя Лев Михайлович, в ту пору студент университета, которого безо всяких условий и анкет приняли в «Перевал», и в знак благодарности он помог перевальцам сагитировать вступить в эту «секту» своего отца.

«Молодые люди были очень интеллигентные, симпатичные и к тому же охотники, почитатели отца. Этим людям Пришвин был нужен как весомый, большой писатель, и им удалось добиться согласия Михаила Михайловича быть включенным в их группу (...) И то, что имя Михаила Пришвина появилось в списке перевальцев, я считаю недоразумением».<sup>[694]</sup>

«Я, будучи в положении почетной реликвии, подписал анкету и через это получил положение генерала на свадьбе, хотя ни разу на свадьбе и не бывал (...) мне романтизм перевальцев столь же близок и столь же далек, как схоластика», – написал позднее сам Пришвин в объяснительном письме в редакцию «Октября», когда тучи над «Перевалом» сгустились.

Тем не менее что-то общее у Пришвина с «перевальцами» было, помимо романтизма и поиска Галатеи, а именно – притеснения от цензуры и редакторов: «Искромсал статью редактор – мичман Раскольников, переписав ее своим стилем; Воронский страха ради иудейска изрезал мой рассказ, очень правдивый. И это надо терпеть, считая в этом великом строительстве нового мира себя самого случайным, слишком утонченным явлением».<sup>[695]</sup> <sup>[696]</sup>

Мало этого – неожиданно закрадывалась и вовсе жуткая мысль о своем истинном положении в этом царстве теней: «... боги считали твою талантливую

болтовню ценной лишь для того, чтобы немного подвеселить быт. Я в очень глупом положении... Я считал себя с гордостью чуть ли не единственным писателем в Москве, а оказался единственным глупцом». [\[697\]](#)

Но буквально через несколько страниц смотрел на эту ситуацию иначе и вел с «богами» тонкую лукавую игру: «Как художник, я страшный разрушитель последних основ быта (это мой секрет, впрочем) (...) я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства.

– Освежились, очень освежились! – говорят они, прочитав мою сказку.

И платят мне гонорар». [\[698\]](#)

Слово «гонорар» в Дневниках середины двадцатых годов едва ли не ключевое. Литература в годы нэпа стала для Пришвина охотой за гонораром, и на Москву, на московскую литературную жизнь он цинично смотрел как на дойную корову или – этот образ был бы ему ближе – охотничье угодье.

«В городе я добываю деньги, и, добыв, увожу в деревню: так я счастлив, пока у меня остается в кармане 1 р. 75 к.» [\[699\]](#) – так складывался новый тип писателя, для которого литература, по крайней мере в этот период – не столько призвание, служение или крест – а еще недавно это была его излюбленная мысль, – сколько профессия, специальность (тогда в ходу было модное словечко «спец-человек»), и Пришвин этого не скрывал.

«Я стал непостыдно равнодушен к словам добра и зла в различных позициях и платформах. К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литературную карьеру», [\[700\]](#) – разве мог бы он так сказать о себе еще пять лет назад?

Конечно, рассказами об охоте и башмаках его писательское бытие не исчерпывалось, но если бы ему не платили, вряд ли бы он так много писал. Вспомним, как в Алексине Пришвин сравнивал писательство со стрельбой по воронам. Теперь он палил по лисицам и прочим пушным зверям.

«Охота и писание и значат для меня свободу в полном смысле слова, деньги – как необходимость, слава – как условие получения денег, и только», – писал он в 1926 году Горькому в Италию.

Дневник этих лет пестрит таблицами, подсчетами, цифрам, где и сколько получил и на что истратил.

«Есть что-то небывалое (в мире) в моих налетах на Москву за деньгами: это какое-то продолжение охоты в диких лесах; я не обращаю больше внимания на городское движение, дома, людей, совершенно один, и иногда наклеывается где-нибудь гонорар – там стойка и смысл жизни, и теплота и свет переменяется, когда тащишь в кармане червонцы и весело что-то бормочешь, посвистываешь, напеваешь»; (...) «Деньги в кармане – я победил!»; «Поставлен рекорд: в три недели 1000 руб. Есть 200 руб. Будет: Госиздат – 200, „Красная новь“ – 125, „Огонек“ („Архары“) – 40; изнасиловать „Огонек“ на „Длинное Ухо“ – 200, М. С. П. О. поработать: 100 р.».<sup>[701]</sup>

А сразу вслед за этой победной реляцией – замечательное: «Не говори, что ты честный, то есть, выполняя свое дело, геройски отстаивая независимость писания, – что ты не такой, как другие, – раз тебе хочется жить и ты живешь и получаешь деньги в этих условиях, в душе своей ты уже продался (прелюбодействуешь)».<sup>[702]</sup>

Вообще, при всем победном настрое пришвинских записей, особенно по контрасту с пафосом предыдущих лет, в Дневнике периода нэпа чувствуются

неуверенность и колебание: принять или не принять, примкнуть или не примкнуть, радоваться или печалиться тому, что вокруг происходит.

«Как противоречивы те мысли и настроения, прибегающие в отношении к нынешней власти в связи с 1) пребыванием в Москве или в деревне, 2) успехами или неудачами на литературном поприще».<sup>[703]</sup> Это была странная игра, которую вело молодое государство с литературой, а она с государством, и тот, кто в эту игру играл, оказался заложником – но судить об этом, предугадать, к чему все идет, было очень трудно. Власть ласкала талантливых от литературы людей, и хотя Пришвин не пользовался ни таким авторитетом, ни такой славой, как Маяковский, Пильняк, Алексей Толстой или Есенин («Я теперь приблизительно в чине полковника, а дальше ходу нет, дальше следуют чины генеральские, которые занимают грязные, нахальные придворные поэты, Демьян, Маяковский...»<sup>[704]</sup>), кое-какие кусочки от государственного пирога перепали и ему, умевшему довольствоваться малым: «У многих в Москве есть прекрасные квартиры, многие бедные, но уютно, тепло и сухо. У меня сырая дыра, вроде дворницкой, куда я приезжаю торговать своим товаром. Но я не завидую. Никогда! (...)

Я живал и в Париже – все было. Но моя заправка, основное: хижина.

Люблю слушать ветер в трубе и оставаться тем, кто я есть».<sup>[705]</sup>

Эта мысль о неизменности своей личности в революцию была для Пришвина очень важна (поэтому он так резко не принял «покаяние» террориста и писателя Савинкова): «Мой посев приносит плоды: всюду зовут писать. Между тем я ничего не уступил из себя: жизнь изменяется».<sup>[706]</sup>

Однако изменение жизни было медленным и обратимым, а траты денег скорыми и необратимыми, и порою Пришвин заносил в Дневник горькие, хотя и не безнадежные, но всегда искренние строки: «Нищета. Этого со мной никогда не было, чтобы я считал себя чем-то исключительным. Я знал всегда, что у меня в хоре был свой верный голос, и это давало мне счастье. Теперь я чаще и чаще думаю, что я в оставшейся литературе единственный писатель, у меня явилось раздражение, даже злоба к писателям, и к своему сочинению такое отношение, это вот напишу, издам его для того, чтобы ударить их по харям. Это от духовного голода, от нищеты и вполне естественно. С этим надо бороться, отступая глубже и глубже к себе самому, с одной стороны, и, с другой, как можно больше стусевываясь в обществе (личину вырабатывать)». [707]

Замечательно, что это признание он произнес не в голодном 1919 году, а в относительно благополучном для себя 1925-м, когда его литературные дела шли в гору, и хотя размышления о бедности касались не только его собственной судьбы, но и всей страны, они скорее воспринимаются как традиционные жалобы русских писателей на безденежье, и мотив в них воспроизводится узнаваемый и по-русски вечный.

«Откуда взялась у нас бедность? Надо это узнать, чтобы судить русского человека, потому что все пороки его идут от вековой бедности. Пороки несомненные, бесчисленные, и при порочности желание быть хорошим до того напряженное, что при малейшем упреке русский человек становится на дыбы: самолюбие его болезненное, заостренное». [708]

«И так мы бедны, о, как мы бедны и как легко нас купить». [709]

«Бедная жизнь! Нет просвета бедности, никакой надежды отдохнуть и отчаянно обрадоваться. И все бы

ничего, но люди очень испортились: страшно под конец возненавидеть человеческую тварь». [\[710\]](#)

«Как надоел социализм!

Как хочется найти эксплуататора себя самого!

Жажду эксплуататора! Пусть он будет еврей или американец, все равно». [\[711\]](#)

Именно в эти годы Пришвин снова вернулся к своим размышлениям о неудачниках и неудачах и в более широком плане – о ситуации в послереволюционной России: «Бывает так, что неудача оставляет сознание недостатка своей личности в сравнении со средой, – тогда открывается путь к самоусовершенствованию или самоубийству...», «а бывает горе от ума, неудача от того, что среда ниже тебя самого, – какой же открывается путь в таком случае?» И ответ на этот вопрос: «Поиск иной, лучшей среды, где можно лучше жить. Вот, вероятно, откуда у меня теперь является желание уехать из России... Я никогда этого не испытывал, это совершенно новый этап моего самосознания, я всегда раньше думал, что у нас есть какая-то высокая в моральном и умственном отношении среда, куда я нет-нет и загляну... Личности, конечно, и теперь есть, но они не составляют среды, они, как монады, блуждающие по далеким орбитам». [\[712\]](#)

Так что же было делать: пробиваться за границу, вон из России – или..?



## **Глава XVI**

### **В КРАЮ, ГДЕ НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИИ**

Или найти такое место, где среда не будет допекать. Он выбрал второе, и за границей больше так никогда и не побывал – редкий случай для советского писателя столь высокого статуса.

Во время вышеописанных событий Пришвин часть года жил в Москве, в уже известной читателю комнатке в Доме литераторов на Тверском бульваре, а другую и, без сомнения, лучшую – в Талдомском, или, как он тогда назывался, Ленинском районе на севере Московской области.

Места эти были благоприятными для охоты и в то же время недалеко от города расположены, дорога в столицу не отнимала много времени и сил, зато давала достаточно впечатлений; так, именно в связи с этой дорогой был написан, прожит, пропет один из пришвинских шедевров тех лет рассказ «Сыр», о котором позднее пронизательный советский критик не без оснований отзывался как о «злой и скептической шпильке в систему коммунизма». [\[713\]](#)

Но Пришвин в ус себе не дул, и, хотя не все было так просто, именно с этих пор выработался счастливый полугородской – полудеревенский ритм жизни писателя на долгие годы вперед.

В символическом плане подобная кочевая, бездомная жизнь означала для Пришвина и еще одну перемену: если важнейшим символом и одновременно реальным местом обитания на земле для него в дореволюционные годы был хрущевский сад, и оттого так тяжело он переживал его уничтожение в 1918 году («Завтра погибнет мой сад под ударами мужицких топоров, но сегодня он прекрасен, и я люблю его, и он



мой. Прощаюсь с садом и уйду, я найду где-нибудь сад еще более прекрасный: мой сад не умрет...»<sup>[714]</sup>), то в середине двадцатых место сада занимает лес, и так рождается тема леса («лесбес» у мужиков и «лесдом» у Пришвина), которая нашла отражение в поздних повестях писателя.

«Социальные корни моего пустынножительства, конечно, сад и отъединенность от деревни и общества в детстве: сад обернулся в лес»;<sup>[715]</sup> «мое счастье в пустынности».<sup>[716]</sup>

В лесу он чувствовал себя безопаснее, чем где бы то ни было: «Очень удобно романтику для самосохранения жить в стороне, наведываясь в „смешанное общество“, но не оставаясь в нем долго, чтобы тебя не раскусили и не стали похлопывать по плечу».<sup>[717]</sup>

Лес противопоставляется не только городу и цивилизации, но всей советской жизни, новой литературной богеме, нэпу, фининспекторам.

«Там была тишина, над желтой некоей буреломной ольхой... Здесь писатель А. Соболев впрыснул себе под кожу морфию».<sup>[718]</sup>

Соболев не случаен – родственная душа, скиталец; через год он покончит жизнь самоубийством, опасность, которую видел, хорошо знал в себе и Пришвин. «Идея самоистребления была мне близкою с детства, но я ее отгонял, поднимаясь на волну радости; теперь стало очень опасно»,<sup>[719]</sup> – писал он не так давно, подтверждал и теперь в относительно благополучных двадцатых («этот выход (...) соблазняет меня, а в последнее время я застаю себя на нем все чаще и чаще»;<sup>[720]</sup> «Больше всего боюсь самоубийства»<sup>[721]</sup>) и к возможности такого исхода возвращался не раз.

Но как бы то ни было, вернее всего, именно эти заповедные места, где некогда охотились богатые буржуи и в их числе – владелец известного московского

магазина г-н Мерилиз, а после его изгнания – вся большевистская рать во главе с Ульяновым-Лениным, – и predeterminedли внутренний выбор писателя: уезжать или оставаться. Быть охотником и писателем при всех известных цензурных ограничениях можно было только в России. Да и, не принимая во внимания очевидного понижения в статусе в насыщенной литературными талантами, а еще более – именами и амбициями эмигрантской среде, о чем бы стал он за границей писать? Воспоминаниями, реконструкциями прошлого могли жить Ремизов или Бунин, а вот Куприн на чужбине заскучал и под конец своих дней вернулся на Родину, и Пришвину нужна была каждодневно живая натура, этот снег, весна света, и осень с ее могильным запахом речных раков, нужно было, чтобы «после морозов сретенских и ужасных февральских метелей пришла бы мартовская Авдотья-обсери проруби, становилось бы вовремя жарко, налетало оводье и комарье около Акулины-задери хвосты, и так начался бы великий коровий зик...»<sup>[722]</sup> А в какой Франции или Германии он бы все это нашел? И потом, ведь не исчерпывалась Россия большевиками, не покорилась целиком цивилизации.

«Все хорошее русского человека сберегается в глухих местах в стороне от цивилизации, но при малейшем соприкосновении с цивилизацией прокисает».<sup>[723]</sup>

После горького опыта 1918-го своим домом он обзаводиться не спешил. За два с половиной года, с осени 1922-го по весну 1925-го писатель сменил несколько деревень Талдомского района (опять-таки не от хорошей жизни), потерял комнату в Москве, хотя, «кроме Шмелева, который, побывав у меня, сказал: „Хотите сохранить здоровье – уезжайте из своей комнаты“, все мне говорили: „Держитесь за комнату, в

Москве теперь это драгоценность“. Я стал держаться». [724] Однако начальство раздражали его долгие отлучки, и комнату у него попробовали отобрать, мотивируя тем, что квартиросъемщик ее не использует. Пришвин в качестве контраргумента требовал вторую комнату для жены и детей, но побороть молодую советскую бюрократию не сумел, а потом судьба закинула его в Переславль-Залесский, где квартирный вопрос стоял не так остро, да и сам древний городок на берегу большого Плещеева озера и его окрестности невероятно расположили к себе писателя. Здесь он нашел то, к чему внутренне долгие годы так стремился.

Как и под Дорогобужем, Пришвин вновь поселился в имении, причем даже не в помещичьем, а в настоящем дворце, устроенном для приема царей, окруженном птицами, животными, «гуси, лебеди летят через усадьбу», [725] и недалекий город был таким тихим и заброшенным, что охотники гоняли по улицам зайца и однажды один из гонимых зайцев с перепугу влетел в отделение милиции.

Дневник Пришвина середины двадцатых годов насыщен образами природы, прогулками по лесам, и героями пришвинских записей становятся охотники, рыбаки, краеведы, ученые-естествоиспытатели, люди гораздо более ему близкие, чем советские писатели всех мастей и их велеречивые платформы, с одной стороны, и обыкновенные мужики – с другой. Да и само Плещеево озеро стало еще одним полноправным героем его каждодневных записей – приливы, влияние луны, ключи, течения, рельеф дна, туманы, его образ во все времена года – это напоминало самые первые пришвинские опусы, еще не замутненные сектантским духом, но теперь рука писателя была намного увереннее, мастеровитее.

Там, в петровском дворце (точнее, был он построен владимирским дворянством в царствование Николая Павловича), Пришвин написал воистину прекрасную книгу – «Родники Берендея», впоследствии дополненную, расширенную и названную им – на мой взгляд, несколько хуже и суше – «Календарь природы». Счастливо свободная от слабостей, бесформенности и многословия некоторых первых пришвинских произведений, она обозначила ту границу, которая отделяет просто литературу от того, что мы привыкли называть классикой, даже не вполне представляя, что входит в это понятие.

«Родники Берендея» – это рассказы, большей частью охотничьи, лесные, луговые, болотные, объединенные неброской, сознательно и искусно приглушенной личностью рассказчика и созданным им таинственным Берендеевым царством (так названным оттого, что рядом с Переславлем-Залесским находится железнодорожная станция Берендеево), волшебной местностью, где действуют свои правила, не такие, как в реальной советской жизни, а сказочные, мифологические, но и не столь выдуманные, как в ремизовском мире, а приближенные к природе вещей («Ремизов – материал в книгах, мои – в народе»<sup>[726]</sup>). И хотя в полной мере оценить всю прелесть этих рассказов могли только охотники, даже читателю, никогда не бравшему в руки ружья и не занимавшемуся натаской собак, были понятны и волновали душу страницы, где в живой, полный запаха, цвета, звука, кинематографический мир природы вплетены размышления на философские темы, исторические реалии, психология охотников и даже излюбленная пришвинская тема пола и эроса (рассказ «Любовь Ярика»).

Вот драматическое описание охоты на лисицу: «Прыгает зверь все ниже, ниже, и когда наступает конец, мы подходим смотреть, какой он большой».

И – неожиданный переход: «Не горюйте о звере, милые жалостливые люди, всем это достанется, все мы растянемся, я почти готов к этому, и одно только беспокоит, что охотник разочарованно посмотрит на меня и скажет: какой он был маленький». [\[727\]](#)

«Родники Берендея» максимально приближены к дневниковым записям, («просто удивительно: вся жизнь целиком ушла в книгу „Родники Берендея“ [\[728\]](#)[\[729\]](#)), многие отрывки и там, и там повторяются, но очевидно, что включить в подцензурную прозу все, что хотел сказать и о чем думал в это время Пришвин, было невозможно. Там была игра, а другая, серьезная (слово не очень хорошее, не пришвинское) литература, вся – в Дневнике, для будущего читателя.

«Родники Берендея» – произведение, с одной стороны, совершенно новое, как не согласиться с самым советским из всех пришвиноведов А. Тимротом, который писал, что «это произведение Пришвина могло появиться лишь в наше советское время», [\[730\]](#) а с другой – абсолютно антисоветское, и как не признать справедливость суждения не менее советского рапповца А. Ефремина, утверждавшего в 1930 году в «Красной нови»: «Легенда о Берендеевом царстве – это по существу опозтеизация остатков древней дикости, идеализация и идиллизация тьмы и суеверия, оправдание старины, а следовательно, один из способов борьбы против нашей советской культуры». [\[731\]](#)

В этих ножницах и кроется вся прелесть той части пришвинского литературного наследия, что была равнодушна к идеологии в поверхностном смысле слова, и замечательно, что именно об этой книге, снова

очутившись в заповедных местах в эвакуации, Пришвин сказал: «Эта книга и эти рассказы утвердили меня в литературе как советского писателя: тут я сделал себе второй раз литературную карьеру (в пределах моих способностей)». [\[732\]](#)

Она органично вписалась в пришвинское творчество и послужила мостиком между двумя его периодами, размежеванными семнадцатым годом, продолжая на новом витке традиции и мотивы дореволюционных произведений.

«Попасть в Берендеево царство все равно, что в Невидимый град: надо потрудиться, надо быть сильным и чистым сердцем». [\[733\]](#)

А на пути в это царство путника ждут оводы, комары, слепни, мошка, охраняющие Берендееву территорию («Благодарю этих демонов за то, что они не пускают в болота дачников и разных гулящих людей: болота остаются единственно девственной землей, принимающей к себе только тех, кто может много терпеть, не теряя духа, вполне отдаваться величию природы» [\[734\]](#)), и Пришвин, как болотный царь, сам решал, кого возьмет в это царство, и отбор был очень строгим. В Берендеевом царстве в середине 20-х годов Пришвин впервые был по-настоящему счастлив за многие годы (так, о 1926 годе он написал: «Это был год для меня исключительно счастливый, проведенный у родников Берендеева царства» [\[735\]](#)). И дело не только в отсутствии дачников и литературной среды, а в том, что в новом царстве время словно остановилось, ничто не искажало его, и по живому контрасту двух эпох стала познаваться истинная цена старого времени, которое себе на беду проклинали русские интеллигенты.

«Ко мне завернул с праздника рыбак, заведующий кооперативом „Красный рыбак“ Василий Алексеевич Чичирев, и, когда я спросил его, чем он занимался до

революции, ответил, служил в полиции, был приставом. Удивленный сказал я: „Как же вы уцелели?“ И он, тоже удивленный моему вопросу, ответил: „А у нас в Переяславском уезде ничего и не было“. Тогда стало понятно, почему Ботик уцелел и люди попадают такие цельные: тут революции не было». [\[736\]](#)

Быть может, именно такой литературы, насыщенной мирным дореволюционным временем с его неизменными и дорогими сердцу ценностями, ждала тогдашняя измученная, истерзанная революцией, войной и социальными экспериментами Россия, и с той поры появился у Пришвина свой читатель, искавший в его прозе отдохновения, свободы, наконец, счастья («Рассказ „Охота за счастьем“, несомненно, имеет глубокий успех в обществе, вероятно, тема о „счастье“ – теперь общественная тема» [\[737\]](#)), порою даже не представляя, за счет чего это ощущение возникает. Лучшее значение этих книг понял, высветил из эмигрантского далека давний пришвинский друг А. М. Ремизов: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость – жив „человек“». [\[738\]](#)

И, быть может, именно по этой причине нахождения в мирном, экологически чистом времени и месте, благодаря доверчивости и детскости у Пришвина начало меняться отношение к еще недавно проклиняемому народу, и на смену обиде, раздражению, злобе пришли жалость и сострадание.

«Вот уже лет 25 я ношу в себе одно чувство, которое, все нарастая, никак не может закончиться



мыслью, убеждением и действием: мне хочется найти в деревне, в глуши, у простых людей оправдание их отсталого бытия. (...) Неужели жизнь этих многих миллионов людей, обывателей ценна лишь тем, что они производят будущего городского деятеля и существуют, как навоз».<sup>[739]</sup>

Уходили традиционные для начала века и для самого Пришвина клише и обобщения («Интеллигенция и народ, какая ерунда: я и сам народ; или вот я и обыватели: и я обыватель; или я и мужики: да ведь мужики все для меня разные, как для жены моей куры»;<sup>[740]</sup> «крестьяне, мужики – все слова, с которыми связывается в моем представлении <1 нрзб> народничество или барство»<sup>[741]</sup>), Пришвин жил в деревне и чувствовал, что его здесь пусть и не любят, но по крайней мере гордятся тем, что у них живет писатель («Есть в русском народе посеянное добро нашими народниками писателями: это сокровенное благоговение к книге и к личности писателя»<sup>[742]</sup>), да и вообще: «Деревня – это совершенно что-то другое, чем сельский сход, на которых действуют горланы...»<sup>[743]</sup>

И когда некий советский председатель с ласковой фамилией Пичугин попытался обвинить Пришвина в том, что он «держит собак и ведет буржуазный образ жизни и, например, гуляет», когда «потихоньку нашептал», что подозрительный жилец «печатает листки на машинке, и еще сослался на большие размеры Ефросиньи Павловны»,<sup>[744]</sup> Пришвин отмахнулся от него, как от слепня, и однозначно отвел нахалу место в прошлом: «Пичугин – человек 18 года».<sup>[745]</sup>

«Моя задача быть посредником между землей и городом, моя мечта заставить Москву поверить слезам обывателя»<sup>[746]</sup> – это напоминало его посредничество начала века между сектантами и интеллигентами, но



было тут куда меньше личной задерганности и ажиотажа.

О том, как поменялось его отношение к крестьянству, красноречиво говорит и еще одна довольно странная дневниковая запись.

В апреле 1925 года Пришвин познакомился с молодым мельником, «имевшим вид симпатичного студента с хорошими манерами».<sup>[747]</sup>

Они разговорились, и симпатичный человек вдруг начал поносить мужиков примерно теми же словами, какими еще совсем недавно характеризовал их сам Пришвин.

«Мужика ненавижу, они все лгут, все стерегут вас, как бы содрать, как забить, жестокие, коварные, злые, мелочные до гвоздика, трусы, хамы...»<sup>[748]</sup>

Существовал ли молодой мельник на самом деле, а если и существовал, то говорил ли такие слова, сказать трудно, во всяком случае история мельника, которого выгоняли из имения и пасли на клевере его двоюродного брата табун, слишком уж, вплоть до клевера, напоминает историю братьев Пришвиных; но важно не это, а ответ Пришвина молодому человеку (или самому себе): – Вы очень молоды, – сказал я, – и мало страдали и не нашли в самом себе личность; когда вы в себе разберетесь, то и мужики не будут вам мужики вообще, а очень разные люди: хороших людей между ними не меньше, чем в вашем дворянском классе... Так что вы, молодой человек...

– Вы пишете? – перебил он меня. – Но как же это, ведь это очень трудно, я вчера читал Максима Горького, у него такие рассуждения (...).<sup>[749]</sup>

Горький здесь неслучаен. Именно Горького, несмотря на их дружескую переписку, Пришвин противопоставил себе в ту пору как «писателя,

враждебного деревне, активного человека, желающего в деревне все переделать по-своему». [750]

С Горьким Пришвин расходился по очень многим вопросам на протяжении всего советского времени, впрочем, досоветского – тоже, и вообще был о нем мнения невысокого. «Как писатель он равен только Левитову, а поклонники превозносят его до Толстого, сознает ли он это?» – писал Пришвин в 1915 году; [751] «Горький – ходячая претензия!» – утверждал в 1917-м. [752] Это не мешало ему поддерживать с Горьким вполне дружеские отношения. Именно Горького Пришвин попросил написать предисловие к своему первому советскому собранию сочинений, и Алексей Максимович из итальянского далека охотно отозвался, а «Красная новь» устроила рекламную акцию: предисловие, созданное в жанре письма, было сначала опубликовано на страницах журнала и сопровождалось как бы смущенным пришвинским пояснением: «Статья» эта так искусно написана, что восторженно-преувеличенное отношение автора к моим писаниям как-то совсем не стесняет, вероятно, потому, что преувеличение идет в сторону правды, где нет ни больших, ни маленьких писателей, а только поток общечеловеческих сил». [753]

Последняя, излюбленная и не раз повторяемая мысль о том, что в искусстве нет больших и малых писателей, странным образом противоречила его же идее личности и отсылала не к чему иному, как к образу хлыстовского чана, где тоже все равны, от крестьянина до боярина, вовлечены в один поток и устремлены к одной цели. Делалось ли это Пришвиным сознательно или нет, можно ли принимать это за некую условную маску – одну из тех, какими пользовался писатель сначала в декадентском, а потом и в советском обществе – или это свидетельствовало о его своеобразном неосознанном хлыстовстве, в любом

случае именно здесь, кажется, следует искать причины необыкновенной пришвинской живучести.

Но вернемся к Горькому.

«Вы привлекли меня к себе целомудренным и чистейшим языком Ваших книг и совершенным умением придавать гибкими сочетаниями простых слов почти физическую осязаемость всему, что Вы изображаете. Не многие наши писатели обладают этим умением в такой полноте, как Вы (...) Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас (...) Вижу Вас каким-то „лепообразным отроком“ и женихом (...) Муж и Сын Великой Матери (...) рожденный землею человек оплодотворяет ее своим трудом и обогащает красотой воображения своего».<sup>[754]</sup>

Все хорошо в этом послании, но иногда в преувеличенных восторгах, какими Горький вообще славился и сам за собой признавал, в ссылках на инцест чувствуется ирония, и, быть может, Пришвин ее улавливал и оттого к Горькому относился неприязненно. Он позволял себе критиковать Горького (за «Дело Артамоновых»), по-своему интерпретировал слова Блока о том, что Горький как писатель еще и не начинался. В свою очередь, привязанность старейшего пролетарского писателя к «лепообразному отроку», который сам, однако, был далеко не молод, могла объясняться желанием уязвить своих ретивых советских и эмигрантских врагов.

Большинства возражений и обид Пришвин вслух не высказывал, но в Дневнике отмечал. Дневник позволял ему четко формулировать свое отношение в том числе к крестьянскому вопросу, по которому М. Горький занимал позицию весьма жесткую, начиная с рассказа «Челкаш», и особенно явственно прозвучавшую в

«Несвоевременных мыслях». И теперь, полемизируя с Горьким, собственные прошлые чувства к народу Пришвин пересматривал, задним числом переписывая свою хуторскую историю: «В сущности, это естественно ненавидеть мечтателю мужиков. Только я этого не смел: ведь я не дворянин; и я тоже не смел ненавидеть и дворян, то и другое чувство: презрение к мужику, злоба к дворянам мне были чувством низшего порядка, я их боялся в себе, как тупиков: войдешь и не выйдешь. Выход из этого: чувство радости при встрече с личностью человека, живущей одинаково и во дворцах, и в хижинах». [\[755\]](#)

И это написал Пришвин, который в «Мирской чаше», по собственному признанию, изобразил тупик и убеждал Пильняка, что ничего другого честный художник показать не может! Изменилось время, и уже антигосударственные и анархические настроения русского крестьянства не вызывали у него прежней неприязни, скорее наоборот, – понимание и сочувствие.

«Множество русских людей чувствуют отврат при одном слове „государство“, и это потому только, что не научились смотреть на него холодно, как на машину, совершенно необходимую для жизни множества людей на очень ограниченной пространством планете». [\[756\]](#)

Не случайно, что одновременно с переменой воззрений на народ вырабатывается у Пришвина новый взгляд на государство, каким оно должно быть: «Принципы могут быть у частных людей, отчасти в общественных группировках, но государство не должно иметь какого-нибудь пристрастия к идеям, государство полезно только тем, что во всем соблюдает меру». [\[757\]](#)

Никакой идеализации реально существовавшего тогда в России государства в Дневнике не найти, Пришвин относился к происходящему трезво и критически: «Вот правда большевизма, ленинизма:

государство есть механизм, долой из него человека, долой оклад с иконы, пусть обнажится подлинный лик власти, сила власти как покоренная миром сила физическая (электрофикация), и государство как фабрика.

Но большевистская правда есть ложь, потому что часть выдается за целое: за человека и за Бога. Все вертится вокруг государства». [\[758\]](#)

«Солнце на земле царь и бог, но даже власть солнца у нас ограничена атмосферой, и не будь ее, мы бы не жили: неограниченная власть солнца уничтожила бы нас совершенно, и даже малых теней не осталось бы на земле.

И так, верно, доброй и милостивой власти нигде не бывает, всякая власть убийственна, и это мы, люди жизни, робкие, любящие и трепетные как листики деревьев, делаем власть доброй и милостивой». [\[759\]](#)

«Я смотрю на власть государства, как на силу физическую, вроде электричества, но не в современном обладании этой силы, а когда еще электричество было нам только в виде грозы», [\[760\]](#) а в другом месте, используя иное сравнение и с очевидным знанием дела, заметил, что анархист в отношении к власти подобен мужчине, который испытал фиаско с женщиной и теперь свою «частную неудачу в бабьих делах срывает на общем отрицании женщины». [\[761\]](#)

Причем это примирительное, а то даже и обыгрывающее хлыстовские словечки отношение к власти распространялось теперь не только на власть центральную, более, с точки зрения Пришвина, благоразумную, но и на местную - со всеми ее заскоками и перегибами, которую он еще совсем недавно жестоко критиковал: «К местным властям у меня совершенно такое же отношение, как у благочестивой старушки, прибывшей из-за тысячи верст

в монастырь, – такой старушке, что ни говори о монахах, она все будет отвечать: „Плоть немощна, а сан жив“. Я тоже, когда мне доносят и просят написать о местных властях, ссылаюсь на сан их: „Великое дело, – говорю, – их сан!“ И после того как мой нашептыватель умолкает, вполне соглашаясь со мною, что он судит только по плоти, а не по духу, и даже часто прибавит: „Я против идеи ничего не имею, идея очень хорошая!“ – „Значит, – спрашиваю, – вы признаете, что сан жив?“ – „Да, – говорит, – признаю“. – „Ну в таком случае, – отвечаю, – не будем говорить о плоти, все мы великие грешники по плоти, вот если бы вы сказали, что сан мертв...“<sup>[762]</sup>

Замечательно, что когда в 1923 году в газетах было напечатано признание советской власти Савинковым, это вызвало у писателя протест, и в признании бывшего террориста, друга четы Мережковских и деятеля Временного правительства, Пришвин увидел нечто «интеллигентское, головное, бумажное (...) это последний конец революционного интеллигента»;<sup>[763]</sup> «Савинков: признал нечто (что?) и кончился, как поп снял рясу – и нет его».<sup>[764]</sup>

«Мы же с одним честным коммунистом, вынесшим на плечах 18—19-й гг. в провинции и притом не расстрелявшим ни одного человека, читали признание это, обменивались полусловами, как будто перед нами вопрос вставал: „А мыто сами признаем или не признаем?“»<sup>[765]</sup>

Но уже через год-другой вопрос о признании большевиков для писателя не стоял, и помимо религиозных или квазирелигиозных находил он также и исторические аргументы в пользу советской власти, которые впоследствии определили концепцию романа «Осударева дорога»: «Я теперь понимаю: они были правы, те, кто хотел у нас переменить все, не считаясь с

жертвами. Они знали положение и не хватались за призрак Эллады. И они победили, как ветер, устремленный в опустевшее место». [\[766\]](#)

Революция для Пришвина уже с середины двадцатых, а вовсе не тридцатых и не сороковых, – не нарушение хода российской истории, но ее органический элемент и трудный, однако необходимый этап: «До конца нельзя нам осудить и человека вовсе дурного, творящего явное зло, потому что по времени, может быть, именно это и надо, и это же зло в грядущих поколениях станет добром, и эгоисты, творцы зла, потом окажутся созидателями будущей жизни. Так, в истории Русского государства первые московские князья, заугольные убийцы, коварные хитрецы, мелочные хозяйственники, впоследствии были высоко превознесены ходом жизни над благороднейшими и норовистыми князьями Тверскими и Новгородским вечем...» [\[767\]](#)

Эта мысль для Пришвина чрезвычайно важна – он начинал ее продумывать и искать смысл в таком музейном взгляде на историю – недаром же он служил в музее в Алексине и жил в музее теперь – связывал свое состояние, свой возраст с этим новым зрелым пониманием истории, находя в нем умиротворение и смысл.

«Так бывает счастливое сочетание возраста с темпераментом, когда мы теряем страсти, уймитесь, волнения! и в истории, когда предметы культа превращаются в экспонаты музея, когда пережитое встает без боли и сладости, а просто как материал для одумки через свое о людях больших и малых и том, что сделано ими в истории человечества». [\[768\]](#)

И все же в этих проклятых вопросах, над которыми ломало голову и еще поломают не одно поколение русской интеллигенции, Пришвина не покидало



своеобразное чувство игры, иронии: «В наше время скорбь о несчастных была нравственной обязанностью интеллигентного человека, теперь на себя эту обязанность взяло государство, поставившее себе девиз „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“, и это сделало бытие страдающего за других интеллигента бессмысленным»<sup>[769]</sup> <sup>[770]</sup>

Серьезен ли он был, когда так писал, историческая слепота здесь или горькая насмешка, или же и то и другое разом варилось в его чану – самое поразительное в пришвинском curriculum vitae даже не это смягчение позиции (общественное, в конце концов, всегда легче поддается изменению, чем личное), а то, что именно в эти годы, когда поменялось отношение писателя к народу, крестьянству, государству, интеллигенции и к их прихотливым взаимоотношениям, произошло, казалось бы, невероятное, невозможное, но на самом деле вполне логичное и ожидаемое – он снова... полюбил свою Павловну. Из Дневника, как по Берендееву волшебству, исчезают раздражительность, обида, гнев на свою Ксантиппу и появляются уважение, заботливость и даже нежность к той, что была с ним уже почти два десятка лет.

Павловна для него (теперь он называет ее только так, по отчеству) снова самый духовно близкий человек: «Через уважение к родным, некоторым друзьям, и, главное, через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотделим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально продана уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают мрачные дни. И если я опять принимаюсь за работу, то исключительно благодаря близости Санчо (Павловны), умноженного ребятами».<sup>[771]</sup>



«После охоты мы вернулись домой и вдвоем с Павловной, когда дети заснули, долго сидели за чаем».  
[772]

В «Охоте за счастьем» именно мудрая Павловна спасла пришвинское ружье и тем самым вдохнула в писателя новые силы, а в «Родниках Берендея» он ласково назвал ее Берендеевной, душой своей лесной жизни.

Наконец, в «Журавлиной родине», этой писательской «лабораторной работе», которая создавалась несколько позже, вспоминая молодость, Пришвин спорил с покойной матерью, которая надеялась, что «это у него временное увлечение молодости, что впоследствии он одумается, эту бросит, а жену выберет себе настоящую, образованную. Тайный голос, однако, и тут нашептывал, что такие, как Михаил, все однолюбы, – это раз, и другое, что Михаил вообще с расчетом, выбором не может жениться».  
[773]

Немолодые супруги жили во дворце подле большого озера, на берегу которого стоял город с десятками прекрасных церквей, все это было похоже на невидимый град Китеж, образ исчезнувшей страны, и возвращало обоих к недолговечным временам их духовного родства.

«Глубоко вздохнула Павловна и тоже сказала: – Если бы я прежняя, девочкой, когда гусей стерегла, я подошла к тому озеру, и знаете что?

– Что, Павловна?

– Я бы на это помолилась».  
[774]

«Ренессанс» – впрочем, непродолжительный – в отношениях с женой (и соответственно с народом) был отчасти связан и с написанием заключительных частей автобиографического романа «Кашеева цепь», повествовавших о юности протагониста, когда, заново переживая историю своей любви и молодости,

вспоминая ее героинь, Пришвин признал, что «Павловна играет большую роль в моей жизни, чем я думаю». [775] «Начало творчества моего исходит от момента встречи Вари с Курымушкой, но самый процесс, то есть брак мой, осуществляется через Павловну (...) через Павловну явилась материализация духовного процесса, воплощение его (...) Павловна была мне, как безземельному мужику (2-му Адаму) – земля». [776]

«Кашеева цепь» и есть главная пришвинская книга второй половины 20-х годов. Она была для писателя не столько возможностью вспомнить и воскресить ушедшее бытие, прозреть в мутных водах утекшего времени Китеж, что прячется в душе у каждого, как это сделал в «Жизни Арсеньева» Бунин, создававший свой роман в те же самые годы, сколько – изжить свою молодость, освободиться от нее; она писалась – чтобы не вспоминать: «Не люблю свою юность и всякое о ней напоминание» [777]. [778]

А все же роман свой, в отличие от Бунина, всегда называл автобиографическим.

Между двумя этими книгами столько же поразительно общего, сколь и разного, как и между судьбами их создателей. Бунин пишет от первого лица и едва ли не заклинает читателей и критиков не считать свою книгу автобиографической: «Недавно критик „Дней“, в своей заметке о последней книге „Современных записок“, где напечатана вторая часть (а вовсе не „отрывок“) „Жизни Арсеньева“, назвал „Жизнь Арсеньева“ произведением автобиографическим.

Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охраны добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и

тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как «Жизнь Арсеньева», а как жизнь Бунина. Может быть, в «Жизни Арсеньева» и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не дело критики художественной». [\[779\]](#)

В крайнем случае он соглашался: «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман – автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен» [\[780\]](#) [\[781\]](#)

В отличие от Бунина житнетворец Пришвин выносил на суд читателей самые интимные стороны своей жизни, подчеркивая, что Алпатов – это он, более того, что Алпатов – это лучшая часть его существа.

«Друг мой! Есть незначительные фактические неточности в рассказе о переживаниях Алпатова сравнительно с тем, что переживал я сам в жизни. Но я, прочитав переживания Алпатова спустя тридцать лет после того, как я написал „Кашееву цепь“, утверждаю несомненный для меня и удивительный факт: правда написанного гораздо фактичней, чем правда сама по себе – правда не одетая». [\[782\]](#)

И в более ранней дневниковой записи в 1915 году он писал: «Я думаю, что когда говоришь от себя, то больше скрываешь себя настоящего от воображаемого, и потому я буду говорить от себя: я хочу...

Или так: Глава 1. Рождение моего героя.

Мой герой родился от меня настоящего (не-героя) в... я не могу сейчас вспомнить этот год, это было в год смерти моего отца в деревне Хрущево в небольшом имении. Аллея и проч. (см. голубые бобы)... и мне осталась мать моя, которая создавала мне будущее, а

отец тип голубого бобра, и тут начинаются два совершенно разных человека, я настоящий, как я теперь есть, и другой, с голубым бобром. Это совершенно другой человек, и потому тогда будет лучше, если я окрещу его (1 нрзб) другим именем, пусть он будет называться С., а я единственный интимнейший свидетель его жизни (2 нрзб.), его тайны».

В дневниковых записях тридцатых годов встретится еще одно поразительное столкновение писателя с его альтер-эго: «Я был просто художник и в своих исканиях, совершенно искренних и поверхностных, внутри себя немного бессознательно актерствовал.

Алпатов был глубже меня, и мне кажется, что у него что-то было подлинное в исканиях, или, может быть, он глубже меня обманывался» [\[783\]](#) [\[784\]](#)

Об этом романе на страницах книги говорилось уже очень много, мы вспоминали его при описании пришвинского детства, отрочества и юности, его революционных лет и первой любви, и чтобы было понятно, как могло восприниматься это произведение советским официозом, приведу цитату из статьи А. Ефремина, который уже не раз цитировался как один из самых вдумчивых, хотя и, безусловно, враждебно настроенных к писателю критиков: «Кащеева цепь – это старый мир. Однако роман исполнен в столь нежной акварели, что острые углы и твердые шипы дореволюционного прошлого теряют свою колючесть и окутываются дымкой старой уютности. Юноша Алпатов живет богатой, многоцветной внутренней жизнью. Ему хорошо. Где-то там в стороне, как эпизоды, мелькают безземелье, нищета, закабаление, но все это проходит мимо, остается в тени, отмечаемое могучим поэтическим напряжением, неиссякаемо веющим из недр плодоносной природы. Оно смягчает и умиротворяет всех и вся: бары и мужики, гимназисты и

полицейские приставы, русские переселенцы и немецкие рабочие одинаково жадно черпают из лона волнующего и успокаивающего источника». [\[785\]](#)

Так нежно написать можно было, только очень Пришвина в глубине души любя, чувствуя и понимая, – одно плохо – звучало это в 1930 году как донос и могло стоить автору в лучшем случае отлучения от литературы, а в худшем – жизни и свободы: «Советский юноша или современная девушка читают „Кашееву цепь“. Молодая восприимчивая психика читателя обвеена ароматом лирических страниц романа. Читатель с волнением следит за ходом действия, и вот перед ним невольно встает недоуменный вопрос: предреволюционное прошлое было не так уж отталкивающе: что же побуждало людей на борьбу?» [\[786\]](#)

В середине 20-х Пришвин мог позволить себе роскошь об этом думать и внутренней цензурой себя не стеснять. Итак, на разрыве героя с Инной он и закончил свой опус, идею которого немногим позднее определил как «упрямую книгу, строго личную и в то время эпическую: какой-то лирический эпос и попытка отстоять романтизм в марксизме», [\[787\]](#) и вот тут перед писателем встала задача: чем закончить «Кашееву цепь»?

Если следовать принципу автобиографичности, Алпатова следовало женить на крестьянке, сделать писателем, отправить на Север, ввести в Религиозно-философское общество, но Пришвин оборвал «Кашееву цепь» на удивительной картине пробуждения весенней природы, куда ушел от цивилизации его герой, не вступив на скользкую литературную дорожку.

Он написал замечательную главу, где описывается тетеревиный ток и старый охотник Чурка с его любовным томлением по молодой вдовой снохе Паше (а

сам Чурка «трех праведных жен замотал, а неправедных не пересчитать»), в дальнейшем именно на ней должен был жениться Алпатов, и любовь зайцев на лунной поляне, и сидящий в кустах, наблюдающий за этим праздником главный герой, и разбивающий Кашееву цепь зла весенний ледоход с плывущими по реке коровой, баней, Снегурочкой и Берендеем.

Концовка удалась на славу, только можно ли было ее таковой считать? Этот вопрос занимал Пришвина до конца дней, и в пору работы над романом он записал несколько важных и по обыкновению противоречивых мыслей, проливающих свет на идею финала: «Надо поставить задачу пола у Алпатова и концом развязать ее: на этом и построить роман». [\[788\]](#)

«Алпатов уходит к берендеям от злобы, потому что ему не дана сила решать: ему остается жить-существовать». [\[789\]](#)

«Конец „Кашеевой цепи“: найденная родина, это значит: верное отношение между именем своего назначения и именем своего происхождения». [\[790\]](#)

И все же этот открытый финал Пришвина не удовлетворил. Перед самой смертью, потерпев неудачу с другими своими романами, писатель принялся дописывать «Кашееву цепь», но уже от первого лица и создал еще два звена, а также предисловия ко всем другим звеньям, [\[791\]](#) но тогда, в конце двадцатых, у него был иной замысел.

И у Бунина, и у Пришвина оба протагониста стремятся к творчеству, видят в нем единственный выход и спасение для мыслящей личности, и «Жизнь Арсеньева», и «Кашеева цепь» – это романы о рождении и становлении художника. Арсеньев с самого начала был заявлен как поэт и целые страницы романа посвящены его первым литературным шагам («Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего,

глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы „бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!“ (...) Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде „Детства, отрочества“? Или еще проще? „Я родился там-то и тогда-то...“ Но, Боже, как это сухо, ничтожно – и неверно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства...»). Для Алпатова Пришвин стремился найти другое призвание и сам же признавал, что потерпел на этом пути творческое поражение. Именно этому поражению – случай уникальный в мировой литературе – Пришвин посвятил «Журавлиную родину» – странную и удивительную книгу – историю создания неудавшегося романа, которую заметил М. М. Бахтин: «Как правило, испытание слова сочетается с его пародированием, – но степень пародийности, а также и степень диалогической сопротивляемости пародируемого слова могут быть весьма различны (...) Как исключение возможно испытание литературного слова в романе, вовсе лишенное пародийности. Интереснейший пример такого испытания – „Журавлиная родина“ М. Пришвина. Здесь самокритика литературного слова – роман о романе – перерастает в лишенный всякой пародийности философский роман о творчестве».<sup>[792]</sup>

А вот как оценил свой труд сам Пришвин: «Задумал написать роман о творчестве, но предпочел самое творчество, и роман разбился».<sup>[793]</sup>



Вместе с этим «Журавлиная родина» продолжала линию, начатую в «Охоте за счастьем», осмысление собственного творческого пути и сотворение определенной жизненной легенды. Но если в первом рассказе осторожный, только-только нащупывавший новую советскую почву, как нащупывал Пришвин кочки на болоте, автор сделал акцент на положительном опыте своего творческого пути и опустил свои похождения в стане засмысленных интеллигентов, то теперь Пришвин во многом обращался именно к этому литературному и житейскому опыту и героям тех лет, осторожно проводя мысли, которые более прямо высказывались в Дневнике.

Идея о робком хлыстовстве Александра Блока выражена так: «Есть случаи даже обожествления своего собственного образа, как часто простой народ обожествляет образ Божий, икону. Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока „Двенадцать“, грациозный, легкий, разукрашенный розами, есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариев»<sup>[794]</sup> <sup>[795]</sup>

При этом случай с Блоком, по Пришвину, не единичен, а всего лишь наиболее яркий, и, порассуждав о творчестве вообще, о лесе, человеке, торфе и морене, Пришвин через двадцать страниц вернулся к теме самообожествления – и в отрывочности, дискретности его воспоминаний заключался своеобразный художественный прием этой книги – картины декадентской поры в ней даются дозированно, вкраплениями, как в шараде, как в Дневнике – там ведь тоже о Блоке Пришвин размышлял в перерыве между двумя ночными охотами, и воспоминания эти нужны ему лишь для того, чтобы скрасить ожидание перед выстрелом.

«Множество поэтов закатилось в богов и в таком смешном виде были изловлены. Тогда началась новая



форма морально-эстетической болезни:  
богоискательство». [796]

Но что же, по мнению Пришвина, уберегло его от этой эпидемии? Почему не стал он ни богоискателем, ни богостроителем? Тогда, в конце двадцатых, во времена Емельяна Ярославского, комсомольских шабашей и союзов воинствующих безбожников, Пришвин не побоялся написать следующее: «Какой-то наивный, внушенный мне с детства *страх Божий* (курсив Пришвина. – А. В.) не дал мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства... но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к словесной форме как таковой. Подражая богам, я тоже стал писать о себе...» [797]

И все же, несмотря на разрыв с декадентством, свой тогдашний литературный опыт Пришвин оценил теперь в романе как положительный: «Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного творчества, (...) я должен за великое свое счастье принять, что не по книжным материалам, а по лично пережитому имею возможность провести своего героя между встречными потоками декадентского эстетизма и революционного аскетизма к открытому морю органического творчества», [798] а в Дневнике эта благодарная мысль находит и чисто профессиональное подтверждение: «Можно разными глазами смотреть на эту чрезвычайно цветистую эпоху нашего литературного искусства, но никто не будет спорить со мной, что эта эпоха была школой литературы, и требования к нашему ремеслу чрезвычайно повысились в это время». [799]

«Журавлиная родина» не принесла Пришвину большого успеха.

«Сдал „Журавлиную родину“, и схватила тоска: очень уж трудно работать без отклика, а об откликах умных и думать нечего, лишь бы только хулы не нажать».<sup>[800]</sup>

Однако отклики были. Когда Пришвин в большой писательской компании прочел свое новое творение, один из собравшихся (Е. Замятин) заметил, что Пришвин воспользовался здесь приемом, который так и называется «обнажение приема». Идея последнего, как известно, была предложена Шкловским, одним из адептов русской формальной школы, в связи с чем дальше последовал замечательный диалог двух мастеров художественного слова: «– Честное слово, я не читал Шкловского и писал без приема.

– Честного слова нет у художника, – ответил (1 нрзб) литератор, – вернее, оно есть, но тоже как прием».<sup>[801]</sup>

Не менее замечательна была реакция создателя на это, в сущности, весьма пронизательное возражение: «Я был уязвлен до конца (...) И вот оказалось, что я сам со своей бородой, лысиной, слабыми руками, стальными ногами и каким-то зеркальцем под ложечкой, где непрерывно сменяются острая боль и яркая радость – я – сам без остатка не больше не меньше существую как прием. Я был подавлен и не мог найтись в защите себя: ведь я не имел никакого понятия о формальном методе!»<sup>[802]</sup>

Исключительный по точности и выразительности автопортрет!

## Глава XVII В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО БОЛЬШЕВИКА

«Журавлиная родина» писалась уже не в Переславле-Залесском, а в Сергиеве. По всей видимости, Пришвин жил бы себе на Ботике, но год спустя после начала сухопутно-корабельной жизни у него испортились отношения с заведующим историческим музеем Михаилом Ивановичем Смирновым, который и пригласил Пришвина на станцию. Вместе они путешествовали по рекам края, однако со временем оказалось, что ужиться двум краеведам в одной берлоге не удастся.

Из усадьбы пришлось съезжать. Можно было бы устроиться где-нибудь неподалеку, но во второй половине двадцатых в России ухудшилась, как нынче принято говорить, криминогенная обстановка, развелось много хулиганства – того самого, о котором пришвинский герой из «Голубого знамени» в 1918 году радостно восклицал: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного!» Теперь его создатель объяснял опасное явление нерешительными действиями правительства и еще раньше заключил, что «жить в стороне становится рискованно, надо переезжать в Сергиев». [\[803\]](#)

Расставаться с Ботиком было жаль, но особенно жаль – с озером («Мне было во сне, будто я разлучаюсь с кем-то близким таким, что вместе с душой близкого отдирается от меня шматами моя собственная кожа и мясо. Просыпаясь, я догадался, что это близкое мне было наше озеро (...) Встреча с озером была счастьем, через это я вернулся к себе и понял, что озеро мне было

как икона молящемуся»<sup>[804]</sup>), но весной 1926 года Пришвин начал подыскивать дом в Сергиеве. Эти места были ему отчасти знакомы, они располагались недалеко от Талдома-Ленинска, отсюда несложно было добираться до любимых дубненских болот с их богатыми охотничьими угодьями, весна прошла в сомнениях – не то заниматься домом, не то писать роман. Последний вопрос был вынесен на семейный совет, и, к удовольствию писателя и кормильца трех находившихся на его иждивении взрослых душ, члены пришвинского клана во главе с Берендеевной дружно проголосовали за роман.

Однако сам большой решил в тот раз колебание в пользу семьи.

Покупка дома в Сергиеве напоминала ему историю десятилетней давности, когда был обретен и утрачен елецкий дом («Я в одиночку с великим трудом заработал себе литературным трудом деньги, выстроил себе дом, чтобы спокойно работать и растить семью. Пришли коммунисты, выгнали меня из дома, и потом его сожгли мужики»<sup>[805]</sup>), и одновременно заставила Пришвина проследить эволюцию его отношений с коммунистической властью за десять прошедших после октябрьского переворота лет: «Были коммунисты, – приставляли мне ко лбу револьвер и грозили (...)

Были коммунисты, когда я заходил в их редакции с желанием работать, мне отказывали (...)

Были коммунисты, я приходил в редакцию к ним и предлагал свои рукописи, у меня их покупали, давали деньги и не печатали.

И теперь коммунисты (...) сами зовут меня. Редактор, встречая, встает (...)

– Мне нужно купить дом.

– Очень хорошо, мы вам денег дадим». <sup>[806]</sup>

Так коммунисты, некогда уничтожившие его дом, теперь давали денег на новый. Да и вообще «коммунисты, это блудные дети, усталые, возвращаются к отцу и на свою родину»,<sup>[807]</sup> – замечательная переключка с идеей дома.

«Это ли не победа?!» – так и хочется воскликнуть словами, которые произнес Пришвин после того, как его «опекун» Василий Васильевич Розанов публично признал свою вину за изгнание из школы непокорного гимназиста. Да только победа ли?

Блудные коммунисты зря ничего не давали, за все требовали платы, хотя справедливости ради и следует заметить, что в 20-е, в отличие от 30-х, Пришвин снабжался по минимуму, и материальное положение его ни в какое сравнение не шло с жизнью красного графа Алексея Николаевича Толстого, в Детское (бывшее Царское) Село к которому однажды заехал в гости Пришвин, или Пильняка, который, наоборот, сам приезжал в бывший Сергиев – на автомобиле, с французами, и был поражен бедностью пришвинского жилища.

У Пришвина денег было в ту пору маловато («Сижу в Сергиеве в своем доме один с обрезанными крыльями... финансы!»<sup>[808]</sup>), он жил, обходясь малым, и про «Кашееву цепь» не зря ее создатель воскликнул, что она «писалась под таким давлением нужды, что не может быть цельной, ровной вещью».<sup>[809]</sup> Быть может, поэтому претензии к коммунистам у Пришвина в ту пору были несколько неожиданные.

С середины двадцатых годов началось бросающееся в глаза своеобразное обмирщение, обмещанивание революции, нарождался новый класс советской номенклатуры, против которой так яростно восставал Маяковский (тема «Пришвин и Маяковский», при всей парадоксальности, крайне любопытна<sup>[810]</sup>), и это

образование «внутренней партии», как назвал ее позднее в своем «1984» Дж. Оруэлл, уязвляло переводчика «Женщины и социализма».

«В политике я постоянно ошибаюсь, потому что строю свои суждения по материалам, доставляемым мне больше сердцем, мой разум осмеливается выступать лишь в согласии с чувством, поэтому мои суждения в политике всегда обывательские и неверные. Так, я очень уверился, что события на К. В. Д. на этот раз кончатся войной. Мне представлялось, что революционное правительство еще способно раскинуть и начать войну, чтобы зажечь мировой пожар! Я это думал, потому что *в корне своем сам большевик* (курсив мой. – А. В.), а в жизни уже давно этого нет: я судил сам по себе, не считаясь с тем, что революция давно пережита и «пятилетки» (недопис.).<sup>[811]</sup>

Эта мысль для Пришвина не случайна и не единична, так же как и не случайно для него явление большевизма в российской истории: «Когда начинаешь раздумывать о судьбах России, то всегда неизбежно приходишь к мысли о большевиках. Так и в истории нашей большевизм неизбежность, необходимость, тут „все“». <sup>[812]</sup>

И даже Владимир Ленин, о котором написал Пришвин столько горьких слов в период революции и Гражданской войны, предстал в одном из снов писателя в неожиданно благостном, сказочном виде: «Вот мой сон: будто бы Ленин попал в рай, удивительно: Ленин в раю! Сел будто бы Ленин на камень, обложился материалами и стал в раю работать с утра до ночи над труднейшим вопросом, как бы этот рай сделать доступным и грешникам ада, осужденным на вечные муки». <sup>[813]</sup>

Традиционный для «человека бывшего» взгляд на большевиков (так, например, «Н. (художник Г. Э.

Бострем, загорский друг Пришвина. – А. В.) считал их просто случайностью и потому временным затмением невежественного народа. Никогда он не мог про себя ставить народных комиссаров в уровень с императорскими министрами. Короче сказать, события не были для него универсальными, а мелкими, временными, вроде китайских бунтов и замирений»<sup>[814]</sup>) был для Пришвина неприемлем.

Вот почему так много коммунистов в его «советской» прозе, вот почему не мог он обминуть эту тему и постоянно к ней возвращался, писал идеальных большевиков, любовался ими, хотя образы эти были неудачными, искусственными, видно, слишком уж сильно расходились представления Пришвина о большевиках (или, говоря шире, о революционерах) с тем, что видел писатель окрест себя.

Взять хотя бы двух его старых друзей и благодетелей – Николая Александровича Семашко и Разумника Васильевича Иванова-Разумника, которых в прежние годы он так часто ставил рядом (в 1918 году: «Оба по существу разумные, земные, но оба сорванные – в их революционной судьбе сыграли роль какие-нибудь пустяки, например, что Семашко, всегда 1-го ученика, за чтение Белинского лишили золотой медали, а Разумника Гиппиус не приняла в декаденты. Болезненное самолюбие. Чистота натуры (моральность, человечность). Неловкость к сделкам с совестью. Тайный романтизм. Отказ от личной жизни (я не свое делаю, так со злости, что не свое, буду служить другим)»<sup>[815]</sup>).

И вот чем все обернулось восемь лет спустя: «Слышал, что Семашко живет всюду, как все, и даже валоводится с актрисами: вот и конец революционного человека и подвига! Все достигнуто, живи, пожинай и благоденствуй. Скоро, наверное, эти фигуры



ожиревших большевиков вытравят из жизни все хорошее, даже из воспоминаний о святых революционерах»;<sup>[816]</sup> «Балерины, актрисы и машинистки разложили революцию. Революционерам-большевикам, как женщинам бальзаковского возраста, вдруг жить захотелось! И все очень понятно и простительно, только смешно, когда сравнишь, чего хотел большевик и чем удовлетворился».<sup>[817]</sup>

Размышления эти примечательны еще и тем, что в прежние годы Пришвина не удовлетворяло в одном из своих друзей обратное: аскетизм, отвлеченное морализаторство («вы все подавили в себе возможное, быть может, любовь к женщине (...), чтобы (...) впереди своего личного бытия поставить свою волю на счастье других („пока этого не будет, я отказываюсь от жизни“)<sup>[818]</sup>), а теперь, когда моралист Семашко решил жить, как все, и ни от чего не отказываться, Пришвин сначала возмутился, а потом и разочаровался в нем. Зато гораздо теплее отзывался он о другом революционере: «Иванов-Разумник пишет, что взялся корректировать бухгалтерские книги по 2 р. за лист. Вот они, общественники! вот честный конец революционера из партии левых эсеров. Другие, сам он пишет, стали плутами».<sup>[819]</sup>

Разумеется, речь шла не только о приятелях молодости, но о той среде, за которой Пришвин много лет наблюдал («за год, мне показалось, все как будто потолстели, посылтели»<sup>[820]</sup>), но эти двое были самыми показательными, через их судьбы писатель усматривал судьбу революционной интеллигенции и самой революции, к которой, чем дальше она отстояла по времени, тем романтичнее и возвышеннее он относился, и потому не любил вспоминать, как напал зимой 1918 года на Блока, приписывая десять лет спустя свою статью «Большевик из „Балаганчика“» дурному



влиянию Ремизова. Но именно тогда, во второй половине двадцатых, зерна коммунистической утопии, которые были заронены в душу Пришвина едва ли не в детстве и уцелели даже в восемнадцатом-девятнадцатом годах, проросли, так что, не случись писателю подвергнуться остракизму со стороны РАППа на рубеже двадцатых - тридцатых, его переход на сторону большевиков произошел бы гораздо раньше.

Середина двадцатых была для Пришвина временем своеобразного ревизионизма, переоценки ценностей, но не в отчаянном, надрывном ключе, как в годы революции и Гражданской войны, и не в плане омещанивания, как у вчерашних революционеров, а в деле углубления, созидания, нового осмысления жизни - в душе художника через настоящее по-иному оценивалось прошлое, в том числе история литературы.

Эта связь времен имела для Пришвина принципиальное значение.

«Действительность, как я ее понимаю, это я сам, творящий ее совместно со множеством других творцов из прошлого через настоящее в будущее: действительность - это не скачок из прошлого в будущее, не идеализм, это не регистрация факта, а усердное изменение настоящего (...) все мы творцы и незаметно все по-своему преобразуем настоящее в будущее». [\[821\]](#)

Через эту парадигму в первое советское десятилетие, в пору работы над «Кашеевой цепью» и «Журавлиной родиной», Пришвин снова и снова задумывался над истоками и смыслом русской революции и ставил важные для себя вопросы, ответы на которые и должны были привести к чаемым переменам.

«Рабочая ценность русской революции (...) только ли заключается в деле свержения монарха или она

является также фактом новой культуры?»<sup>[822]</sup>

Такая постановка требовала склонить чашу весов на вторую часть фразы, но и с первой, разрушительной, очень заметно, как изменилось отношение писателя к октябрьским событиям сравнительно с 1917-1920 годами. Особенно это касалось личности Ленина.

«Ленин гениален, потому что перешел черту, которую всякий другой не смел перейти бы (...) Раскольников у Достоевского отличается от Наполеона и Ленина только тем, что не имел социального поручения, сам взвел курок и сам спустил, он – самозванец (...) В действии Ленина народ узнает свое дело».<sup>[823]</sup>

Эту мысль трактовать можно по-разному, и «за», и «против» пролетарского вождя, и как осуждение его, и как оправдание (а вернее всего, как попытку проникновения в суть явления, ср. в Дневнике 1930 года: «Ленин, вероятно, был не совсем счастлив»<sup>[824]</sup>), но дело не в том, какую позицию избрал Пришвин; он, как увидим дальше, пытался эти «за» и «против» обойти, а в том, что свою роль на этом общественном пепелище писатель, который не мог смириться теперь с тем, что революция была только катастрофой и торжеством Антихриста, победой Черной Руси и черного передела, видел прежде всего в созидании нового.

Не в том вульгарном, изуродованном виде, в каком представляли это новое рапповцы и пролеткультовцы (хотя в своеобразное им оправдание можно сказать, что именно из пролеткультовской в широком смысле этого слова среды вышел Андрей Платонов, правда, скоро вышел и далеко ушел), и, размышляя над судьбой взрослого Алпатова, Пришвин задавал вопрос: «Может ли он привнести из своей революционной деятельности какой-нибудь новый фактор в творчестве законов жизни и форм (...) не станет ли обыкновенным деятелем с

отличием за борьбу с царизмом?» И вывод делал только на первый взгляд неожиданный, но на самом деле очень разумный: «Учение Федорова просится в нашу революцию»,<sup>[825]</sup> а в другом месте: «Федоров – большевик православия»,<sup>[826]</sup> и это вполне логично: революции нужен был новый духовный прорыв, новое оправдание, новая высокая цель, и чем выше и недостижимей, тем лучше, иначе она задохнется в мещанстве (как задохнулась в семидесятые, что и показал Ю. Трифонов, столкнувший идеализм старых большевиков с московскими обывателями).

Прочитав в 1928 году книгу Воронского «За живой и мертвой водой», Пришвин написал, что она, «как и „Кашеева цепь“, является редкой (не считая „Цепи“ единственной) попыткой освещения истоков русской революции путем „интроспективным“, притом без „pro и contra“, а как фактор русской культуры». <sup>[827]</sup>

Наверное, даже теперь, в начале нового века, к предложенному Пришвиным подходу общество еще не готово, и революция остается для нас проблемой идеологической, политической, отношение к которой по-прежнему делит людей на ее сторонников и противников. Культурологической (как, скажем, для французов), чисто исторической проблемой русская революция пока не стала, и попытки рассмотреть ее именно в свете истории культуры, например, известная концепция А. М. Эткинда «революция как кастрация», революция как предельное выражение культуры и угнетение природы, пола, сами по себе, возможно, и остроумны, и заняты, но игры ума в них больше, чем глубины. Поскольку книга о Пришвине вряд ли может быть местом для их обсуждения, ограничусь лишь замечанием, что Пришвин, которого Эткинд рассматривает как одного из своих союзников в этом вопросе и предтечу постмодернизма, как раз глядел на

проблему революции и пола с прямо противоположной, нежели современный исследователь, точки зрения: «Вся революция была, как „месть Альдонсы“, унижены революцией были все, кто хотя бы в тайниках своей души презирал свою животность и выделял свою духовность. Равенство плоти – вот требование революции»;<sup>[828]</sup> «Понимаю жизнь мою (...) как революционный эрос».<sup>[829]</sup>

В отношении к революции, как и во всем своем творчестве, Пришвин стремился забежать вперед и посмотреть на прошлое из такого будущего, до которого мы еще не дожили, неизвестно, доживем ли, и посему настоящее изучение писателя, его глубокое и осмысленное прочтение – все это впереди. Мы Пришвина только открываем как глубочайшего русского мыслителя, искреннего, пытливого, заблуждающегося и непрестанно ищущего истину, обозначаем контуры его творчества, наверняка во многом ошибаемся сами и, быть может, не догадываемся о подлинных границах его литературного наследия.

Говоря о границах, любопытно отметить, что одновременно с Пришвиным по ту сторону советско-европейского рубежа подобный взгляд на события настоящего из гипотетического далекого будущего независимо от Пришвина предложил другой великий русский писатель (возможно, проницательный читатель угадает его имя): «Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной».

А между тем жизнь брала свое («Невозможно строить жизнь, уповая только на мировую войну и

революцию, мало-помалу каждому начинает хотеться жить своим домом»<sup>[830]</sup>), в самых разных формах, и даже занятый охотой и натаской собак Пришвин неустанно за этим течением бытия и быта следил, вот почему представление о пришвинской внутренней эмиграции и бегстве в природу верно только наполовину.

С одной стороны, он утверждал: «Мне с Горьким не по пути, потому что сторонний опыт доказал мне в себе полное отсутствие политических и дипломатических способностей. Я могу быть полезен обществу только на расстоянии от него в углубленном раздумье»,<sup>[831]</sup> а еще раньше – «Революция освободила меня от политики»,<sup>[832]</sup> но с другой – мало кто из русских писателей так глубоко и вдумчиво всматривался в обыденную русскую жизнь и, что немаловажно, как и во времена революции, всматривался изнутри, из глубины. Конечно, особенно ясно настойчивое внимание к общественной жизни страны проявилось в Дневнике, читателю неизвестном, но и в художественной прозе писателя в 20-е годы социального было немало.

Недаром позднее Пришвин почти возмущенно восклицал: «Удивительно, до чего же слепнут литер. критики в войне с „Перевалом“. Взять хотя бы одно, что ведь я же первый и единственный писатель пришел в Госплан и предложил свои услуги для исследования. Меня командировали на исследование кустарных промыслов, в результате чего появилась небезызвестная книга „Башмаки“». <sup>[833]</sup>

Несмотря на это идея пришвинской внутренней эмиграции, ухода от действительности в охоту, в природу была и остается по сей день весьма распространенной, едва ли не общепринятой (в самом точном виде ее сформулировал Андрей Платонов в 1940 году, но зародилась она гораздо раньше), и не случайно

она постоянно Пришвиным анализировалась и отвергалась: «Дико звучит, когда редактор Полонский (тоже и другие) бросает мне вскользь, что вот „вы в стороне стоите“. Я в стороне! я именно у самой жизни трудящегося человека, а Полонский даже по нашей дороге пройти не сумеет, за один только нос его мальчишки задразнят. Однако в его словах есть смысл вот какой. Самое-самое трудное теперь для всех „чистка“ или публичный разбор жизни личной и общественной высокого гражданина. Смысл этой чистки в конце концов сводится к тому, чтобы каждая человеческая личность в государстве вошла в сферу действия коллективной воли. В этом все. Крестьянин, кустарь, всякого рода мастер, имеющий возможность существовать независимо от воли коллектива, является врагом республики (...)

Собственник может понять верующего коммуниста только, если сумеет представить себе замену всего личного государственным (...) Воля революции, воля партии – это вместо воли Божьей.

Вот в этом мы и расходимся: у них договор подписан с революцией и с партией, во всем мире они остаются, как партлюди. У нас договор о личности в мире, поскольку партия и революция являются в большом плане ценными – я с ними, нет, и я нет... Они правы: я в стороне...»<sup>[834]</sup>

Эта сторона, а вернее сказать, страна или государство имели свою границу, которую Пришвин охранял столь же ревниво, сколь молодая республика Советов свои рубежи, и подобная идея личности как независимого государства – не просто исследовательская метафора, но одна из самых сокровенных пришвинских мыслей. Еще в 1915 году он писал: «Понимаю весь секрет жизни: чтобы жить, каждому нужно научиться быть государством, нужно

решиться пригласить в свое подданство людей и вещи и никогда не смешивать себя с этими подданными», [\[835\]](#) и с точки зрения личной независимости смотрел на окружающий мир, сознательно разделяя его и свои страдания, ибо смешение их вело к «ложному солнцу»: «Прежде всего у меня в душе есть от близости к бедствиям людей во время революции травма, которая не дает мне возможности смотреть на общественную жизнь по-хорошему (...) Свою травму я побеждаю только целебным процессом художественного творчества, который, однако, только уравнивает мою личность и дает ей только возможность существования. Этот сладостный путь лечения своей травмы, однако, не дает мне права на голос в общественных делах. Я желал бы выйти за пределы своей травмы и боюсь выйти за пределы своего назначения (призвания), боюсь сверхчеловека, блоковского „Христа“, горьковского публичного деятеля.

С другой стороны, какой-то голос (и опыт) мне подсказывает возможность выхода из этого радостного подполия каким-то естественным путем внутреннего роста, достижения путем творчества ясного факта своего бытия, утверждающего тем самым и лучшее бытие других. На этом мучительном пути Горький является мне каким-то срывом...» [\[836\]](#)

Эта позиция для Пришвина очень важна – в ней он отстаивал священное право художника на личную независимость и свободу, отсутствие коих угрожало, по его мнению, не только культуре и ее творцам, но и обществу: «Весь ужас русской жизни состоял в том, что каждый из нас (революционеров, интеллигентов) отрекался от себя самого, жертвовал творчеством ради гражданского долга. Это была слепая Голгофа,



совершенно такая же, как Голгофа бессознательных солдат на войне». [\[837\]](#)

Жертвовать творчеством он не желал, но и не уходил в башню из черного дерева. Жизнь Пришвина и в дореволюционные, и в советские годы – это удивительное несогласие, противоречие с некими общепринятыми правилами, он жил всегда не так, как все, отказавшись когда-то делать служивую, а затем городскую культурную карьеру, порвав сначала с народниками, затем с марксистами, потом с декадентами и, наконец, уже в 30-е годы – с либералами. Такой путь выбирал он себе, отказавшись и от пути типичного совписателя и от пути писателя-диссидента, внутреннего эмигранта, многие годы живя среди простого народа, что было нелегко, требовало мужества и даже подвижничества. И когда Пришвин насмешливо бросал в Дневнике Полонскому, что, дескать, тот не пройдет спокойно по улице в Сергиеве из-за своего носа, то имел в виду и собственное отнюдь не простое житье-бытье в примонастырском городке.

Характерная сценка тех лет: «В воскресенье граждане нашей улицы чистили пруд, я возвращался с охоты. Многие набросились на меня, называя буржуем и проч., хотя сами все были самые жестокие собственники. Только одна делегатка сказала: – Граждане, надо гордиться, что на нашей улице живет такой человек, он тоже по-своему трудится и за себя здесь поставил работника!» [\[838\]](#)

Особенно хорош этот «работник»! – будто нарочно помянут простодушной интеллигенткой, дабы позлить обывателя. А как еще могли граждане Комсомольской улицы на соседа-барина (охота – занятие барское) смотреть? Не случайно же этой сцене предшествовало в Дневнике размышление Пришвина о непохожей на другие деревья красавице ели, что росла по пути к



монастырскому скиту и при монахах никто не смел ее тронуть, а когда настали колхозы, каждый норовил проходя сломать ветку.

«Немногим оно дорого своей красотой, избранным, а массу оно раздражает своей отделенностью, масса на это набрасывается».<sup>[839]</sup>

Это момент принципиальный. В 20-е годы на глазах у писателя нарождалась новая историческая общность, позднее названная одним желчным человеком «гомо советикус», людей обозленных, завистливых, задерганных, замученных условиями жизни, с растоптанным человеческим достоинством и оттого норовящих унижить ближнего, осечь того, кто высунулся из общего ряда; именно в этой среде, а не в писательском Переделкине Пришвин жил изо дня в день, с этими людьми общался, и все, что в литературе делал, было направлено именно против советскости, «совковости», если угодно, в защиту и восстановление достоинства личности, а личность, по Пришвину, – это все то, что связано с творчеством, с трудом, но не с работой («труд – ритмическая творческая деятельность», «работа – подневольная рабская повинность»<sup>[840]</sup>).

Было бы неверно увидеть в этом презрении к советской толпе и массе рецидив своеобразного ницшеанства, из которого Пришвин вышел, высокомерие художника, творца или человека посвященного по отношению к профану. Как раз ницшеанство Пришвин и пытался преодолеть и выступал с идеями, прямо противоположными «сверхчеловекам», конкретизируя высказанную в «Красной нови» идею: «В творчестве нет великих и малых, все равны: поэт и столяр, учитель и домашняя хозяйка, если только они создают в избранной области что-нибудь новое и лучшее».<sup>[841]</sup>

Осознавая неизбежное деление людей на более способных, высокопоставленных (элиту) и толпу в реальной жизни, утопически стремясь к тому, чтобы поднять до состояния элиты любого человека, что и было одним из проявлений пришвинского этического социализма, писатель усматривал главную причину социального зла «в том, что люди отмеченные природой как высшие, священники, поэты, ученые, посягают на господство над людскими массами: их жизнь должна быть отдана только творчеству, а между тем обыкновенно они этим не удовлетворяются и добиваются прямого непосредственного господства (...) Человек касты и человек массы». [\[842\]](#)

При неявной симпатии к идеальному коммунизму Пришвин для себя подобный путь отвергал, в творчестве видел антитезу насилию и подавлению индивидуальности (самости), а потому считал творчество спасительным и для касты, и для массы, ибо в конечном итоге оно освобождает от взаимного насилия и ведет к победе над Кашеевой цепью.

Таким образом, внешне все складывалось логично, казалось, Пришвин нашел свой выход и свой путь в Советской России: «Вот факт моего самоутверждения в настоящем, который поможет мне не раскиснуть и в романе: после революции я во время ненависти, злобы и лжи решил против этого выступить не с обличением, а с очень скромным рассказом о хороших людях – возникла „Кашеева цепь“: и начался победный ход моего писательства как бы: все принимаю, пусть господствует зло, но утверждаю неприкосновенную силу добра, как силу творческого труда». [\[843\]](#)

В этих словах ключ к пониманию творческого поведения Пришвина в советское время – не обличать и не отрицать пришел он в этот мир (как, например,

Радищев или Салтыков-Щедрин), но утверждать, объединять, восстанавливать.

Эта позиция для него принципиально важна на протяжении всего творческого пути: «Я сам клятву себе давал, когда впервые пришел мне успех от моего писательства, чтобы писать только о хороших людях.

Мне бессмысленным тогда казалось обращать внимание людей на пороки, потому что обращенное на порок внимание его только усиливает. Мне казалось, что нравственность всего мира попала на эту удочку греха: пороки беспрестанно бичуются моралистами и беспрестанно растут...»<sup>[844]</sup>

Но поразительно, что, будучи человеком со столь мирными целями, в своем упрямом деланье жизни, в житнетворчестве Пришвин был невероятно одинок одиночеством не только крупного художника, не только несчастного в любви человека, не понятого детьми отца (не случайно позднее он оценивал свою жизнь как «небогатую страстями, связями, скромную труженицкую (...) скудость образования, бедность в семейном счастье, жажда дружбы, женщины, чего-то лучшего. Как скудно...»<sup>[845]</sup>), но и одиночеством философским, мировоззренческим. С его взглядами и жизненными принципами, с его слишком ранней и несвоевременно провозглашенной идеей личности в 20-е и 30-е годы, когда не личность, но «кадры решали все», ему не к кому было примкнуть. Слишком мало кто его понимал и ему сочувствовал. Для «бывших» он был чересчур современным, пожалуй что и «продавшимся» (им, в отличие от него, не на что было работника нанимать, и они огрубевшими за революцию и Гражданскую войну руками сами все делали, но достоинство блюли – об этом великие и мало кем оцененные автобиографические книги двух русских женщин, княгини Мещерской и Римской-Корсаковой

(Головкиной), а для современных, новых писателей – слишком архаичным, давнопрошедшим, чересчур отвлеченным со своими сказочками и рассказами про природу, собак и хороших людей, и его положительное решение социальных вопросов, идеи витализма, которые он проповедовал в письмах Горькому – все это повисало в воздухе и ни в ком не находило поддержки. Да и у самого Пришвина не было законченного «учения»: «Мои слова о необходимости „собрать человека“, (...) но я сам совсем не знаю, каким же способом его надо собирать. Вот собирала человека церковь по идеальному образу Христа – не удалось, а „человек“ революции оказался совсем бесчеловечным, пустым символом. Церковный человек распался при осуществлении на небесное и земное, революционный – на бюрократа и мученика (то есть на Семашку и Разумника. – А. В.) (...) По-видимому, человека возможно собирать не идейно, а предметно (реально), хозяйственно, вроде того как землю собирали цари, т. е. ощупью, повертывая ком по тому месту, где он наворачивается».<sup>[846]</sup>

Превосходный зрительный образ и в то же время – образ конформистский, уход от сопротивления, минимум затратности и максимум результата, круглость в духе Платона Каратаева – антитеза Николаю Островскому с его закаляющейся сталью и вообще с любыми интеллигентскими, сектантскими, диссидентскими, что, по Пришвину, одно и то же, стремлениями переделать человека: «Надо удерживаться от интеллигентского стремления осознать жизнь прежде, чем сам пожил: надо просто жить».<sup>[847]</sup>

На этой теме – своеобразном пришвинском не конформизме, слово это не совсем верное, но, может быть, позитивизме («Задача времени вогнать личность

(героя) внутри рода (класса) (...) социализм как средство соединения индивидуумов в общем деле преобразования земли»<sup>[848]</sup>) есть смысл остановиться подробнее.

Еще в начале 20-х годов Пришвин написал: «Рабочее государство – это организация для обезличения людей в борьбе за существование»<sup>[849]</sup> – мысль едва ли не замятинская, хотя как раз о романе «Мы», который Михаил Михайлович слушал в авторском исполнении в 1922 году, он оставил весьма безжалостные строки: «Столько ума, знания таланта, мастерства было истрачено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобидный и обывательский».<sup>[850]</sup> И здесь неприятие не только Замятина, но всей внутренней диссидентской, протестной линии, берущей от его романа начало и продолженной впоследствии немалым числом советских писателей нового времени вплоть до Синявского и Войновича, которая была Пришвину совершенно чужда («я в отношении советской власти, клянусь вам, чист не менее, чем был чист Моцарт перед Сальери»<sup>[851]</sup>), при том, что онтологически он воспринимал эту власть как враждебное начало, ищущее его погубить.

«Социализм направлен на Моцарта и непременно на Бога. В этом обществе не может быть людей милостью Божией (благодатных)»,<sup>[852]</sup> – уверял он, но в то же время по своим убеждениям не мог быть оппозиционером, памфлетистом или революционером, как не был он и конформистом или приспособленцем типа Катаева или Эренбурга (последнего не случайно называл «международным писателем»), и хотя суждения его были весьма разноречивы, в одной из дневниковых записей 1926 года с удовлетворением отмечал, что в Советском Союзе нет молодежной оппозиции (а значит, его сыновьям ничего не грозит), но

любые упреки, что Пришвин испугался, отступил, а уж тем более продался большевикам, не имеют под собой основания.

При всей противоречивости и подвижности мышления Пришвин был в своих действиях, в своей жизненной стратегии человеком весьма последовательным и тратит жизнь на оппозиционность, разрушение и вечную революционность не собирался.

Раз и навсегда решив для себя, что здесь – его страна, его родина, покидать ее он не будет и на этой земле построит дом, здесь будет охотиться и творить, эту территорию обживать, он принимал, пусть и с тяжестью в сердце, все, что к званию советского гражданина прилагалось. «Нам не по пути с эмиграцией, и как ни противно, как ни воротит душу Маркс, придется наверное идти с марксистами»;<sup>[853]</sup>  
«мы по совести будем стоять за большевиков».<sup>[854]</sup>

## Глава XVIII

# СИМВОЛ ВЕРЫ

Казалось бы, странная метаморфоза: вчерашний декадент и богоискатель, убежденный идеалист, член совета Религиозно-философского общества, журналист из либеральной газеты, человек с громадным житейским опытом, знавший жизнь не понаслышке, как мало кто ее в России знал, – что общего у него с большевиками и их идеологией? Конечно, его пример не единичный – были Маяковский, Брюсов и Луначарский; у каждого своя история любви, свой роман с кокаином и свой финал, но пришвинский случай все же особый.

Да и насколько органична или, напротив, противоестественна преемственная связь между декадентством и марксизмом? Ответить на сей отчасти провокационный, но спровоцированный самой историей литературы вопрос нелегко, однако каждая конкретная история болезни высвечивает свою грань и свой казус.

Более открытый в Дневнике, вспоминая теперь из конца двадцатых далекую декадентскую эпоху, кажется, сто лет назад она была, перебирая позавчерашних богов и учителей, пятидесятитрехлетний Пришвин чувствовал чуть ли не неловкость за былые неловкость и деревянность.

«Некоторые мои чувства за время революции так огрубели и соответствующие им понятия стали так странны, что, вспомнив, как я ими раньше свободно обменивался в беседах, теперь один сам с собой покраснеешь, или выругаешься, так вот я никак бы не мог теперь сказать серьезно о Прекрасной Даме (...) Я не могу себя и теперь назвать неверующим, но прежнее свободное обращение с религиозными понятиями теперь меня тоже заставляет краснеть и, если зайдет

речь о каких-нибудь религиозно-философских собраниях, то я способен, пожалуй, нагрубить и прикинуться совершенным безбожником. Раздумывая о причинах такой перемены, я нахожу их главным образом в поведении самого духовенства во время революции, слишком уж оно оказалось гибким и „жизненным“». [\[855\]](#)

Истинный сын своего века, Пришвин был человеком, критически настроенным по отношению к Церкви. Воспитанный, как и подавляющее число русских мальчиков, в христианском духе, с юных лет он противился религиозным обрядам, воспринимая их как нечто формальное, рутинное, а потому чуждое открытой душе ребенка. Об этом часто заходит речь в «Кашеевой цепи»: «Когда-то в детстве нас с братишкой ставили на коленки перед иконами и заставляли читать „Отче наш“ и „Богородицу“. Это были не молитвы: какая молитва может быть у пригвожденного к полу ребенка? Но однажды в скуке я придумал читать как можно тише, чтобы не расслышали старшие, в тон и ритм „Богородицы“: „Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была?“ И это теперь, после многих лет жизни, оказалось молитвой: ни „Отче“, ни „Богородица“ мне теперь ничего не дают, но с трудом могу без слез прочесть это стихотворение Лермонтова и в особенности его же „Я, Матерь Божия, ныне с молитвою“».

Поэтическое чувство смешивается у Пришвина с чувством религиозным и даже его подменяет – важная для писателя оппозиция, над которой он будет размышлять до конца дней. И здесь снова напрашивается сравнение его автобиографического романа с «Жизнью Арсеньева».



В раннем детстве религиозное чувство Курымушки питается любовью, Арсеньева – страхом: «Полубезумные, восторженно горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах (...) Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только черный хлеб...»

В отрочестве оба героя отходят от религии: однако если Арсеньев, увлеченный иными духовными материями, просто теряет к вере интерес, время от времени заходя в храм и утешаясь службой, то пришвинский автобиографический герой поднимает бунт, а сам Пришвин, как уже говорилось, и вовсе имел в училище тройку за поведение именно по причине непосещения церковных служб. Алпатовский бунт носит не карамазовский и не нигилистический характер, а некий позитивистский. Во всяком случае на вопрос своей случайной попутчицы по дороге за границу Нины Беляевой Алпатов отвечает: «Я это потерял в четвертом классе и не жалею. Я не понимаю, как это можно верить и тут же не делать. По-моему, люди выдумали Бога, чтобы увернуться от обязанностей к человеку».

Для пришвинского героя вопрос о вере и неверии остается насущным, мучает его, раздражает, томит, будоражит душу и приводит уже не самого Алпатова, но его создателя к поискам Бога, размышлениям о боге черном и светлом, путешествию к Невидимому граду и проникновению в сектантский мир. Для героя бунинского этот вопрос просто не существует.

Для Пришвина сектантство не периферия, не странная прихоть и излом народной жизни, но ее жгучая сердцевина, здесь он ищет ответы на все вопросы. Для Бунина скопцы – «это целое купеческое

общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы: большие и тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы», а вся мистическая сущность их учения ему не интересна. И хотя в «Жизни Арсеньева» встречается еще одно наблюдение, касающееся сектантской жизни Руси, оно проходит вскользь.

«Знаменитое „Руси есть веселие пити“ вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим „веселием“ и юродство, и бродяжничество, и радения, и самосжигания, и всяческие бунты - и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?» - особенно литература здесь хороша, в ней все растворяется, как в том чане, образ которого как образ истории преследовал Пришвина.

Если Бунин и отдавал дань религиозным увлечениям века, то единственным из них было толстовство, да и то в «Жизни Арсеньева» герой, сталкиваясь с толстовцами, ищет в них того же, чего искал во всей своей жизни - женской любви.

«И по тому, как я утешал ее, целовал в пахнувшие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам...»

Внимательно относящийся к обрядовой стороне церкви, непоколебимо верующий в благодать и образ Божьего мира, к проблеме теодицеи, волновавшей значительную часть русского общества, и в том числе Пришвина, Бунин остался равнодушен.

Он не ведал ни глубокой веры в Бога, ни сомнений в этой вере, и хотя страх Божьего суда проскальзывает в его произведениях, он только лишний раз бросает зловещий отблеск на судьбу персонажей и место их обитания.

Но отношение к церковной службе у бунинского героя очень трогательное, и то, что пришвинский

Курымушка скоро растерял, или же коснулось оно его очень неглубоко, совершенно иначе происходит в жизни и душе Алеши Арсеньева: «Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами! (...)

Как это все волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее «аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовностью. «Слава святей, единосущней», – слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный».

Ничего подобного у Пришвина нет, и в той точке, где вновь сталкиваются два мальчика, где Курымушка еще совсем недавно так трогательно исповедовался и причащался впервые в жизни, кому посулил священник стать архиереем, отходит от Бога под влиянием своего гимназического друга Ефима Несговорова, у Бунина вырывается эстетическое оправдание и доказательство бытия Божия: «– Приидите поклонимся, приидите поклонимся... Благослови, душе моя, Господа», – слышу я, меж тем как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам, и у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле, что, если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую

сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего витязя, благоверного князя Александра Невского (...)»

Этот впервые упомянутый Глебочка, засунутый в середину фразы, в ней растворяющийся, нигде больше на страницах романа не появится – он безлик, неинтересен, не достоин внимания и говорит с чужих слов таких же неинтересных, пустых людей, от влияния которых уберегает Арсеньева его скорее эстетическое, нежели нравственное чувство. Зато в «Кашеевой цепи» место подобных «Глебочек» и «плохо бритых гимназистов» гораздо важнее и они пленяют героя почище любой кашеевой цепи.

«Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец, восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они каждый день без умолку разговаривают.

- Последнее – это атом, – говорит Несговоров.
- Но кто же двинул последний атом? Бог?
- Причина.
- Какая?
- Икс. А Бог тебе зачем?
- Но ведь Богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гимназическая пытка?
- В Бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.
- Тогда все обман?
- Еще бы!»

Невозможно представить Арсеньева ведущим подобные разговоры в духе архискверного подражания архискверным достоевским мальчикам. Бунинский персонаж закрыт для диалога с тем, кто или что оскорбляет его слух и взгляд. Он в этом смысле неподвластен никаким соблазнам и искушениям, ибо ему дано распознавать духов.

Конечно, и у Пришвина все было не так однозначно. Через много лет Алпатов и Несговоров снова встретятся в Дрездене, и Алпатов скажет: «Я сегодня видел. – Он хотел сказать – „Сикстинскую мадонну“, но злость прилила к его сердцу, и он выговорил: – Я видел Матерь Божию...»

Пусть в сердцах и назло Ефиму, но это истинное, детское, сокровенное в Алпатове неуничтожимо, ибо дано человеку детским опытом веры, хотя тот же самый опыт может дать другому страсть разрушения: «– Меня тянет, – ответил Ефим, – я тебе сейчас постараюсь сказать обещанное: меня тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов, на которых сидят созерцатели мадонны, дожидаться звонка и перележать там время, пока уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить.

Алпатов опустил глаза и, бледный, тихо сказал: – Я мог бы за это убить».

Для Пришвина – весь мир «Кашеева цепь», от которой его надо освободить, для Бунина мир изначально благостен, а после возмущен, и смысл творчества состоит в том, чтобы вернуть мир к его первоначальному состоянию.

Вот почему консерватизм церкви был так чужд Пришвину и он увлекся богоискательством, и почему этот же мир был близок консервативной бунинской натуре: «Как все это уже привычно мне теперь – это негромкое, стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле!»

«Я кладу на себя медленное крестное знамение...»

«Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, – уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквам».

Пришвин больше размышлял о религии, нежели Бунин, в его Дневнике часто встречаются записи о христианстве, глубокие и поверхностные, порою кощунственные, порою сочувственные, противоречивые, мятущиеся. В 30-е годы у него в семье жила глубоко верующая деревенская девушка Аксюша, о которой речь впереди, христианками были обе его жены – и все же его религиозное чувство не столь органично, как чувство природы, ибо более всего подвергалось испытаниям, которые и не такие сильные натуры выбивали из колеи.

«Моя поэзия происходит вся из врожденного религиозного чувства, которое при дурном уходе за ним со старой семьи, школы и церкви, обрушилось на собственные силы, и это в свою очередь привело к необходимости самоутверждения. Розанов и „невеста“ были полюсами моей боли земной», [\[856\]](#) – утверждал Пришвин, и в этой записи очень характерный ход мысли – виноватый находится на стороне, в семье, школе, церкви, и все же не в поиске виноватого суть, а в том, что человек по природе своей, по происхождению религиозен – вспомним Курымушку, вспомним Марию Ивановну Пришвину, которая говорила своему сыну в Рождественскую ночь: «В эту ночь светлый мальчик родится и звезда загорится и поведет к нему людей».

Он стремился к тому, чтобы найти в религии, как и в литературе, свой путь и даже пытался облечь свое религиозное чувство в форму игры: «Я людей люблю и чту их богов, одиночных и групповых: мне они все дороги, но я не уступлю никакому насилию... я не уступлю Мишкина бога и величайшему истинному Богу, Единому, Христу... всемогущу! ну, что же: я паду на коленки и улыбнусь и признаю, а сам про себя все буду молиться Мишкину под мышкой». [\[857\]](#)

Разумеется, назвать Пришвина атеистом ни в один из моментов прихотливого жизненного пути и напряженных духовных поисков невозможно (даже тогда, когда он писал «если я иду против попов, то не стану делать из себя попа»<sup>[858]</sup>), Пришвин словно был обречен пребывать в статусе «ищущего, но не нашедшего», однако в послереволюционные годы по отношению к христианству и, более того, ко Христу – вслед за Розановым – бывал даже враждебен: «С этим словом в мир вошел обман, оно вызывает множество новых врагов с тем же именем Христа на устах. Мое страдание состоит в том, что я, чувствуя Бога, не могу как дикарь, сделать образ его из чурочки и носить его всегда с собой и ночью класть с собой под подушку, что я должен быть бессловесно, безобразно. Можно делать Христово дело, но нельзя называть Его вслух, не может быть никакой „платформы“, „позиции“... (сказать, например, „христианский социализм!“ – какая гадость!)<sup>[859]</sup>

Между тем этот Бог живет в составе моей родни и существо почти что кровное: дядя Христос, Он умер в позоре, и, быть может, моя задача и Его воскресить, как отца... как родных... я потому и не могу ссылаться на Него, что Он умер в позоре, что я должен Его жизнь своей воскресить (да, конечно, среди отцов моих есть и Христос (церковный)).

Так что в слове Христос мне есть два бога: один впереди, через ужас в предсмертный час, другой назад, родное милое существо (о нем говорила мать: «Христос был очень хороший»); один через наследство моих родных, другой – мое дело, моя собственная прибавка к этому, моя трагедия».<sup>[860]</sup>

К этим мыслям он не раз возвращался, и безусловное их достоинство – редкая искренность: «Я

не то что не верю в Бога, а не очень люблю Его и потому отбрасываю думу о вере в Бога как пустое занятие.

Но мне кажется, я люблю... что? кого? не могу назвать все, что я люблю, слишком много всего в природе, в искусстве, что я страстно люблю...»[\[861\]](#)

Эти цитаты говорят сами за себя, но для того, чтобы лучше представить себе религиозные воззрения писателя, которого часто в новейших исследованиях представляют чуть ли не совершенным, хотя и своеобразным христианином, точно так же как еще совсем недавно пытались представить своеобразным и искренним коммунистом, нелишне иметь в виду, что Пришвин долгое время был нецерковным человеком и, более того, Христос для него был «извращен церковью». [\[862\]](#)

Невоцерковленность и неверие в Бога были для него вещами разными: «Ефросинья Павловна прожила со мной 25 лет и все считает „неверующим“, потому что по ее понятию верующим можно назвать при непременно условии исполнения обряда», [\[863\]](#) и своей позиции писатель находил весьма популярное и простое объяснение. Так, 7 апреля 1928 года он записал в Дневнике:

«Собрались было с Ефр. Павл. пойти в скит к заутрене, да как-то очень голова свежа, писать хочется (...) В этом-то вот и есть одна из главных невозможностей быть художнику христианином: там у них своей воли, своего каприза быть не должно, здесь же своя воля, как пар для машины». [\[864\]](#)

Самое замечательное здесь не сама мысль, а дата: написано в день, когда православные христиане отмечают Благовещение и, по народному преданию, в этот день птица гнезда не совьет.

Или, из того же ряда: «Т. В. говорила, что ей непременно надо идти ко всеобщей, иначе завтра



будет у нее тоска и день в мучении пройдет. У меня бывает приблизительно так же, если я разрываю связь свою с наблюдениями в природе и не записываю в этом дневнике ничего». [\[865\]](#)

Литература для Пришвина стояла выше религии (именно так: не в стороне, но выше), литература и есть его религия. Эта мысль у него полемично заострена, ибо сформулирована в пику двум верующим женщинам, определявшим жизнь Пришвина в Сергиеве: Ефросинье Павловне с ее народным религиозным укладом и глубоко верующей и воцерковленной Татьяне Васильевне Розановой, дочери Василия Васильевича Розанова, с которой он в то время много общался и которую по-своему любил. («Это желанный человек, в свете лучей от которого насквозь все мои люди». [\[866\]](#)) Но именно ее церковность и послушание у одного из лаврских старцев вызывали у Пришвина невероятное раздражение. В контексте этой полемики с розановской дочерью и следует воспринимать иные чересчур сердитые и неприглаженные мысли: «И Толстой, и Розанов, не посещая церковные службы, не причащаясь – больше христиане, чем другие, это истинные современные подвижники христианства, и в особенности Розанов, который, только умирая, разрешил себе причаститься», [\[867\]](#) «В том и ужас этого православия, что красоту его видеть и понимать могут люди, которые верить уже не могут». [\[868\]](#)

Последнее написано после посещения комнаты Татьяны Васильевны, где висели на стене очень бедные в художественном отношении образа.

С Татьяной Васильевной, о которой в этой книге уже говорилось в связи с личностью ее отца, Пришвина связывали сложные и противоречивые духовные отношения, но воспоминаниями о Розанове их своеобразный роман не исчерпывался («Она объясняет

мой интерес к ней пережитым с В. В. Розановым. Но мне кажется, это не совсем верно»<sup>[869]</sup>). Это был диалог двух людей с различным мировоззрением, который не мог не привести к разрыву: «В психологическом мире ее „православие“ вполне соответствует моей „природе“: то и другое для спасения себя самого, но не для учительства (ни Боже мой!). Однако и мне, и, вероятно, ей эта найденная самость представляется не индивидуальным достоянием, а общим, назовем это „Христос и Природа“: очень возможно, что в моей природе есть тайный руководитель Христос, а в ее Христе – природа. Для меня самое главное кажется в том, что оба мы свое мученичество преодолели и стали мучениками веселыми».<sup>[870]</sup>

То, как видел и воспринимал Пришвин свою соседку, характеризует скорее его, нежели ее: «Татьяна Васильевна – портрет Розанова (...) Будь она монашка с отрезанной от мира душой или же просто женщина мира, все было бы обыкновенно, но она соединяет то и другое, она, по-моему, не фиксирована в христианстве, и утверждение ею Христа так же мучительно зыбко, как отрицание Христа Розановым: отец и дочь с разных концов проживают жизнь одинаково».<sup>[871]</sup>

«Нас соединяет не христианство, а чуткость и сложность переживания: сколько вы накрутили...»<sup>[872]</sup>

А вот что написала Татьяна Васильевна через много лет Валерии Дмитриевне: «Мы с ним много беседовали и о смерти, и вообще о многом говорили: потом пути наши разошлись».<sup>[873]</sup>

Охлаждение, осознание своей чуждости наступило очень скоро, но, вопреки неприязни и раздражению непонимания, Пришвин создал удивительный портрет Татьяны Васильевны, обозначив ту пропасть, которая его с ней и стоявшей за ней традицией разделяла: «Последний же разговор оттолкнул меня от Татьяны

Васильевны крайней запуганностью ее христианством, ее старцами и что она даже в одном мне солгала. Мне показалось даже, что при волнении у нее на лице показываются синие трупные пятна и что в этом старцы виноваты. Убегая от жизни, которая ей непереносима, она запостила себя до умора. Ее жизнь продолжается только в расчете на смерть. Своим бытием она доказывает „темный лик“ христианства, открытый ее отцом.

Она живет помощью старухам, калекам, убогим и не хочет признать по крайней мере равным этому, если, живя, помогают другие прекрасным детям и юношам, словом, тем, кто жить начинает, а не кончает». [\[874\]](#)

Не исключено, что под последними Пришвин разумел себя и свои обращенные к юношеству писания, к которым Татьяна Васильевна отнеслась, как мы знаем, довольно скептически, и все же вывод из этого столкновения задетый за живое писатель сделал удивительно глубокий и деликатный: «Дальнейшие наши беседы положительно вредны друг другу, потому что она, доказывая обязательность для другого, что годится лишь ей, будет переходить за черту необходимого смирения, и я непременно буду заноситься со своим писательством, которым ничего нельзя доказать, а только можно показать тем, у кого для этого открыты глаза». [\[875\]](#)

А закончил свой роман на довольно резкой и по обыкновению противоречивой ноте: «Вчера была Т. В. Розанова. Боюсь, что со временем станет совершенной ханжой. В среду мы пойдем с ней в четыре дня искать могилу Розанова». [\[876\]](#)

«Таня Розанова была у нас, гуляли с ней, и было нам всем от нее на душе мирно и тихо». [\[877\]](#)

Дело не только в житейски несчастной, по-христиански стойкой одинокой женщине, которую

Пришвин вряд ли мог глубоко понять («Испугалась жизни, не хватает сил ее выносить (...) Она истощена и жизнью и постом своим»<sup>[878]</sup>), а в том, что Пришвин в религии, как и во всем, искал собственный путь: «Попы – это правда, первые гонители искусства, да пожалуй, и самой религии (...) Я, впрочем, не думаю брать под свою защиту Бога, я вообще оставляю религию в стороне, потому что мне это не по силам...

Если есть, однако, Царствие Небесное, то я надеюсь попасть в него не человеком, а просто жучком, перескочу незаметно, без суда. И я не знаю, почему такой путь менее достоин, чем мучительный путь человечества. У нас самое логичное сложилось понятие, что будто бы крест обязателен для всех: вот это, вероятно, больше всего породило несчастий, обмана, это отравило жизнь и вызвало бунт против Бога».<sup>[879]</sup>

Снова бунт против голгофского христианства и снова дата – 28 августа, когда Церковь празднует Успение, а значит, Ефросинья Павловна ушла на службу, и это Пришвина выводит из состояния душевного равновесия.

Художественное творчество не единственное, что разделяло Пришвина с Церковью, хотя ему и казалось, что для религиозных людей его литература «как собака в церкви».<sup>[880]</sup> Против чего Пришвин протестовал еще более решительно, так это против религиозного экстремизма, предвзятости и насилия в духовных вопросах, которое ему виделось и там, где оно, возможно, действительно было, и там, где его не было. Для человека, воспитанного в религиозной среде, для бунтаря, еще в детстве восставшего против начальства, против гимназии, против правительства, это своеобразное «протестантство» было совершенно естественным.

Но всякое подозрение, будто он безбожник, вызывало у него отторжение: «Чтобы видеть Бога, нужно, как и с солнцем, повернуться к Нему спиной, взять чурочку, вырезать из нее небольшого божка и в утренней и вечерней молитве связывать с ним все свои действия. (...) Если не хочется, или не можешь молиться чудотворной чурочке, как дикарь, то заведи себе тетрадку и пиши в нее вместо молитв стихи, воображая все-таки, что у тебя под подушкой лежит чурочка, представляющая Бога (...)

Иной, прочитав это, назовет меня скептиком или безбожником, но это совершенно неверно (...) о моем безбожии могут говорить лишь те злодеи, которые навязывают свои чурочки другим, в них неверующие, хотят установить через это свое господство над умами и чувствами людей». [\[881\]](#)

Христианская религия с ее идеей искупительной жертвы не утешала Пришвина: утешала природа, охота, отчасти литература; религия томила душу, мешала ей, будоражила – психологически это было понятно и он шел в жестком русле традиций Серебряного века даже тогда, когда пытался нащупать свой собственный путь: «Я не знаю, есть ли Бог, но живу я и складываюсь в мыслях и чувствах постоянно, как будто Бог есть и я верую». [\[882\]](#)

«Если Бог есть, то Он придет ко мне Сам и я увижу Его и скажу просто: ну вот, слава Богу, Ты пришел ко мне, Господи, я Тебя давно поджидал». [\[883\]](#)

«Стараюсь не только не называть имени Бога, но даже и думать об этом как можно меньше, потому что имя Бога разделяет мир надвое: половина собирается (...), но чаще бывает человек едва, едва имеет времени для устройства мировых своих дел и совсем не склонен к войне, а, главное, не из-за чего ему и воевать, а

церковная настройка заставляет его тоже представлять себе мир разделенным на враждебные части». [\[884\]](#)

«Я ставлю себе задачу ближайшего времени сделать молитву ежедневной работой» [\[885\]](#) – что звучит странно только на первый взгляд и то за счет канцеляризма – ставлю задачу. «Молитва – это как бы в духе начертающийся хозяйственный план, уборка жилища – уберешь и станет хорошо, потому что все на своих местах» [\[886\]](#) – мысль, буквально предвосхищающая «Маленького принца» Экзюпери, одну из самых религиозных книг XX века: «Мои „исследования“ природы выходят все из потребности молиться, т. е. в данный момент собирать всего себя со всем миром в целое». [\[887\]](#)

И все же, как ни шатало Пришвина по отношению к религии, как ни был он раздражен священниками и их попытками приспособиться к новым условиям, окончательным его суждением в этом вопросе было: «Я человек христианской природы». [\[888\]](#)

Он искал путь, не связанный ни с атеизмом, ни с сектантством, ни с традиционной религией: «Сейчас переживаем конец воинствующего гуманизма, следующая эпоха будет возвращения к религии. Одна часть интеллигенции (1нрзб) в католичестве, другая будет возрождать православие. (...) Но главный поток пойдет по руслу „личного счастья“, и этот поток может быть так велик, что тот религиозный поток будет просто сигналом полного конца». [\[889\]](#)

«Социализм бессмертен, потому что сердце его заключено в церкви... И всякий человек вроде Горького, кто поставил себе задачу социалистического творчества неизбежно упрется в необходимость для этого творческой личности и углублении в творчестве личности приведет его к собору такой личности и церкви». [\[890\]](#)

«Социализм вышел из религии, и у нас его осуществляла определенная секта, называвшаяся интеллигенцией. Успех ее рос вместе с бессилием церкви, и победа ее была ей падением, все равно как победа христиан была их падением. Там явились жирные попы, тут комиссары, и самые лучшие из революционеров кончили идею осуществления „той жизни“ на земле увлечением балериною». [\[891\]](#)

Впрочем, за балеринами ухаживали не только они...

## Глава XIX КОЗОЧКА

Несмотря на неудачный роман с Коноплянцевой, Пришвин не оставлял поисков любви. И хотя они были для него чем-то очень важным, Дон Жуан – явно не пришвинский герой, скорее уж Дон Кихот; на первом месте у писателя оставались и в эти годы охота и литература, любовь пребывала у последней на посылках. Но время от времени на страницах Дневника появляются женские образы, волновавшие душу нашего героя. С предельной откровенностью, отличающей пришвинский Дневник, Михаил Михайлович заключил однажды и даже подчеркнул вырвавшийся из глубины существа тяжкий вздох: «Что же делать, сознаюсь: щупаю каждую женщину на возможность последней близости („а есть за что подержаться?“)». [\[892\]](#)

Но то ли был он слишком придирчив и разборчив, то ли что-то мешало ему в отношениях с прекрасным полом («У меня, как у невинной девушки, есть до сих пор в душе отталкивание от чувственной любви, если приходит та, которая мне очень нравится»; [\[893\]](#) «Ослепительная красота женщины может создать такое состояние в душе, когда эротический ток от страха своей грубости вдруг переделывается в ток женственной дружбы, снежный, исключаящий возможность даже мысли о соитии. Замороженный пол» [\[894\]](#)). Однако никаких новых имен на страницах Дневника долгие годы не появлялось.

Порою, заглядываясь на молодых замужних женщин, Пришвин мечтательно писал: «Открытая женщина (то есть уже не девушка), замужняя или холостая, все равно всегда имеет минуту для



свободного входа каждого, нужно только уметь распознавать эту минуту и просто входить в открытую дверь...»<sup>[895]</sup>

Но все двери оставались закрытыми, и отсутствие любви заставляло Пришвина глубоко страдать и гадать о неполноценности своего существования: «Может быть, я вроде душевного гермафродита, и та любовь, поверхностно-чувственная, есть вообще мужская любовь, а другая моя не удовлетворенная глубокая любовь – есть обыкновенное чувство женщины».<sup>[896]</sup>

В начале 1924 года, в разгар весны света, мелькнула было молоденькая сотрудница издательства то ли Тася, то ли Таня, за которой Пришвин неуклюже ухаживал при настороженном внимании ее матушки Татьяны Николаевны, и трудно сказать, чего было больше – интереса чисто мужского или писательского: «Не знаю, будем ли мы с Вами встречаться, все равно, но помните, дорогая, что я вот чего хочу от Вас: пишите в свою тетрадку об этом, потому что не пролетариату, а вам, женщинам, принадлежит будущее».<sup>[897]</sup>

Последнее замечательно перекликается с пришвинскими переводческими штудиями, некогда приведшими его в Митавскую тюрьму. Однако после нескольких встреч («я всего три раза был у Вас и два раза была у меня Тася»<sup>[898]</sup>) девица исчезла, но несостоявшийся и получивший условное название «Зеленая дверь» роман породил в душе писателя довольно странный сюжет: будто бы он некогда был влюблен в женщину, но любовь была неудачной и двадцать лет спустя он встречается с ее дочерью и пленяется ею. Но и этого мало, вторая – еще не идеал, она – Прекрасная Дама, которая «превращается в уличную женщину, потому что была создана сыном нашего века, и падает вместе с ним: „Прекрасная Дама“ есть только предчувствие».<sup>[899]</sup> Должно пройти

еще лет двадцать и тогда герой встретится с дочерью дочери (с внучкой своей первой любви и ему будет 70 лет, но он будет крепок и бодр), мудрой девушкой, которая и есть настоящая ОНА, «явление миру Нового завета, Дочери, на смену погибающим заветам Сына», «чтобы она могла дать мотивы нового евангелия, внутреннего спасения мира (не индустриально-марксистского, не пути сионского отречения, а просветления плоти, как у детей)». [\[900\]](#)

Идея эта отчасти перекликалась с Третьим Заветом Мережковского и была приправлена изрядной долей эротики, по поводу чего в Дневнике есть любопытная запись: «Попал в рай, со всех концов бросились девушки. „Чего это вы ему так обрадовались?“ – спросили ангелы. Девушки ответили: „Как же нам ему не радоваться, на земле он спасал нашу честь“». [\[901\]](#)

«Нужны большие женские документы (не „со ступеньки вниз, а вверх“), потому именно женские, чтобы написать по ним новые заветы (...)». [\[902\]](#)

Однако никаких документов не последовало, довольно скоро Пришвин понял, что девица водит его за нос (у нее был заграничный покровитель, с которым она не знала, как расстаться, да и не была уверена, надо ли расставаться) и заключил, что «основа ее – имеющая вид правды ложь». [\[903\]](#) В конце лета получил неожиданно письмо от ее матушки, в котором она писала о «хорошем, трудном и сложном», высоко оценил это послание и ядовито попросил написать ему еще, чтобы «я мог наконец окончательно расхохотаться над собственной глупостью, породившей легенду об аванюре „семейного счастья“». [\[904\]](#)

С Тасей на этом все закончилось, но поиск возлюбленной повторялся в пришвинской судьбе еще несколько раз. Напомню, что, рассказывая о пришвинской любви 1918 года, я обещал новую встречу

с ее предтечей и героиней «Голубого знамени» – Софьей Васильевной Ефимовой, прелестной остролицей Козочкой. Ее появление на страницах Дневника двадцать восьмого года было для меня такой же неожиданностью, как встреча с нею самого Михаила Михайловича.

Приехав впервые после десятилетнего перерыва в Питер в 1927 году и найдя город совершенно переменившимся и чужим («Город мертвецов»<sup>[905]</sup>), Пришвин попытался разыскать свою легкомысленную юную подружку, но сделать этого не сумел («Козочка пропала»), однако попыток найти ее не оставил и год спустя, в новый приезд, бродя по Васильевскому острову в тех местах, где жил в 1918 году, писатель неожиданно столкнулся с пожилой женщиной, чье лицо показалось ему знакомым.

Женщина гуляла с пятилетним мальчиком и тоже узнала бывшего соседа. Это были козочкина мать, некогда мечтавшая отправить дочь под венец с именитым жильцом, и козочкин сын. Сама же Софья Васильевна находилась в этот час на службе.

– Приходите вечером, Соня будет рада вас видеть. – И город в одночасье для него переменялся, ожил и снова стал родным и узнаваемым.

Пришвин застал свою старинную приятельницу в положении жалком и неприглядном. Оказалось, что его «тюремная невеста» пережила кратковременную, но сильную любовь к некоему Сергею, побывала замужем, но мужа не любила, была как женщина им не удовлетворена, долго не могла забеременеть, а когда по настоянию мужниной родни, после долгих мучений, произвела на свет сына, супруга прогнала и стала одна воспитывать ребенка.

Пришвин был настроен на романтическое, вернее сказать, эротическое приключение с молодой одинокой

женщиной, которая, чтобы поудачнее выйти замуж, записала в паспорте себе 25 лет, хотя ей было на четыре года больше, однако эротизм у них вышел по-петербургски декадентский и чуть извращенный: «Она сидела у меня на постели, почти голая, я подошел к ней, обнял ее, хотел сказать, но не мог, от нее не было тока. Я сказал: – У тебя, Козочка, тело розовое, а бывает голубое. Она ответила: – У меня есть и голубое, и открыла мне ноги выше чулок...»<sup>[906]</sup>

Дальше этой странной сцены их отношения не пошли, хотя Пришвин если и не взял свою знакомую на содержание, то принялся помогать и деньгами, и советами. «Бог с тобой, Козочка, не горюй, из каждой слезы твоей мы вырастим цветы...»<sup>[907]</sup> Он послал несколько детских книжек ее сыну Олежеку, а взрослых – ей самой, чтобы она поняла его душу, советовал ехать отдыхать летом в Крым и не советовал выходить замуж за студента, но искать человека, который полюбил бы ее сына, и, пожалуй, примеривался к этой роли сам. Однако не забывал и о литературе, и его творческие рассуждения применительно к новому сердечному увлечению выглядят довольно цинично, равно как и вся последующая история с Софьей Васильевной, но – из песни слов не выкинешь и для того, чтобы понять, что значила для Пришвина – «неоскорбляемая часть его души», одно из ключевых понятий его мировоззрения в 30-е годы, надо иметь представление и о части оскорбляемой.

«Этот опыт показал, что я в свои 55 лет в состоянии сорваться с места и пустить все кувырком. В дальнейшем надо добиться в себе спокойствия, но все-таки не дойти до полного охлаждения. У нас с ней будет обмен: она мне даст материал сокровенной жизни женщины, а я ее буду поддерживать и материально, и нравственно. Все произошло потому, что я кончил

„Кашееву цепь“ и расстался навсегда с „Инной Ростовцевой“ – то было так давно! это ближе, но тоже давно и так она стала на место ее». [\[908\]](#)

Козочке предстояло сыграть роль новой пришвинской пассии, причем, поскольку они были разделены расстоянием, роман намечался эпистолярный. Забегая вперед, скажу, что затмить образ Варвары Петровны Софье Васильевне не удалось, и дело не в особенностях двух женщин, но в характере самого Пришвина.

Он написал ей несколько очень откровенных, изобилующих интимными деталями писем («Есть вещи, которые вдвоем шепотом не посмеешь назвать своим именем. Я пишу такое обыкновенно у себя в дневниках, причем еще в чрезвычайно искусной форме, чтобы никто не мог догадаться о личности» [\[909\]](#)), звал Снегурочкой, утешал и дарил «ключики к своей душе» и самому «тайному шкафчику». В этом было нечто болезненное, свойственное скорее пожилым мужчинам (Пришвин физически был еще очень крепок), и все же главное – то, что духовным усилием Пришвин свое влечение сумел преобразить и высказать несколько важных и трезвых мыслей о зрелом понимании любви, корректировавших его и былые, и совсем недавние представления об эротических токах и психологически подготавливавших к тому, чтобы однажды встретить любовь цельную: «Мне бы хотелось иметь такую любовь, в которой идеальная была святая брачная ночь, восторг участия в творчестве жизни... Знаю, что осуществление такого идеала может быть не к лицу мне и даже недостижимо. Но что из этого? я говорю только о свете моих отношений к женщине.

Мне понятнее, правдивее, честнее и даже святеей моя дружба с женщиной, если я не скрываю от себя, что

она держится силой моего идеала брачной ночи с ней». [\[910\]](#)

Эти строки были адресованы Софье Васильевне, но относились не к ней. Козочка была явно героиня не его романа, и очень скоро трезвость возобладала: «Вчера на ночь здорово поругались с Павловной, и она мне бросила: – так что ж, ищи молодую жену! В сердцах я стал думать о Козочке: – вот возьму и уйду к ней. Это отлично меня отрезвило: Козочку женой трудно себе представить. А Е. П. – это коренная женщина и едва ли мне от нее куда-нибудь уйти (...) Козочка – существо для путешествий (...)». [\[911\]](#)

Финал этого короткого романа был не менее печален, чем разрыв с Коноплянцевой, и в итоге – осадок и горькое чувство: «В течение этих последних двух месяцев пережил чувство к Козочке от „острой жалости“ к ней с сопровождающей способностью подвига к ней для спасения женщины „другом“. Этот подвиг выразился в посылке денег и нескольких поэтических писем. Вместо встречи и удовлетворения чувства в половом общении довольствовался ее глупенькими письмами, после чего явилось вдруг „скрытое презрение к ее предшествующему нашей встречи поведению“». [\[912\]](#)

Что вызвало такую реакцию Пришвина, останется тайной навсегда, но Козочку он больше искать не станет. [\[913\]](#) Поразительное совпадение: на следующий день после этой подводящей черту записи, на Кузнецком Мосту Пришвин столкнулся с Софьей Павловной Коноплянцевой. «Затащила меня во двор. Едва от нее вырвался! Зовет ужасно к себе, уверяет, что у нее никаких претензий кроме дружбы. Знаем мы эту дружбу! А ведь когда-то переживал с ней всю „комедию любви“». [\[914\]](#)

То, что пишется в Дневнике, не предназначено для свидетельств обвинения или защиты. Повторю то, что уже говорил: для меня привлекательно в скрытном и таинственном человеке свойство, искупающее все «оскорбляемые стороны» его существа: никогда он не уничтожил и не изменил ни одной строки своих записей, [\[915\]](#) был предельно откровенен и безжалостен к себе, никогда не стремился представить себя в выгодном свете, и, написав в 1922 году о Розанове: «Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно – такой человек мог о всем говорить», [\[916\]](#) отобразил в этой записи и самого себя.

Может быть, из этой части его жизни и его существа и родилось будущее «искусство как образ поведения». А главное, что и в той, и в другой любовных историях сказалась тоска Пришвина по настоящей женщине-другу, которая сумела бы его понять, слиться с ним в некое «мы», и эти затертые слова о слиянии не были пустыми: «Горе мне, что ни одна из встреченных мною женщин не оставляет во мне после всего уважения к себе, ни одна не вошла в лабораторию моих сочинительств, как помощница, умная с таким вкусом к искусству (...)». [\[917\]](#)

Но до встречи с помощницей надо было ждать долгих двенадцать лет, мучиться в одиночестве, в тоске непонимания, искать утешения в охоте, однако без этих трех историй, без необходимого всякому человеку житейского опыта и жизнь Пришвина, и более поздняя его любовь к Валерии Дмитриевне, заставившая его иначе взглянуть на свою судьбу («Мне самому стыдно вспомнить о том, как я думал о любви до встречи и последующей жизни с Л.» [\[918\]](#)), а самое важное – тоска, которая гнала его в литературу,

страдание души, его «Жень-шень» и «Фацелия» – были бы не до конца понятыми, да и просто не осуществимыми.

За десять лет, один месяц и четыре дня до встречи с ней «поэт, распятый на кресте прозы», как несколько вычурно, по-декадентски называл себя Пришвин, он написал стихотворение, быть может, единственное на своем литературном пути, которым я и закончу этот сюжет:

Снега нет, но земля оледенела.  
Сильный ветер дует,  
И ветка стучит по стеклу.  
Так мое сердце где-то об острый край стучит.  
[\[919\]](#)



**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**  
**ПО ЭТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА**

## Глава XX

# СТАЛИН, МУЖИКИ И БОЛЬШЕВИКИ

Впервые отец народов появился в пришвинском Дневнике в 1924 году: «Сталин выпустил брошюру против Троцкого „Троцкизм или Ленинизм“ – невозможно выговорить, а Каменев назвал свою брошюру „Ленинизм или Троцкизм“ – это выговаривается. Каменев, наверное, литературнее Сталина». [\[920\]](#)

Три года спустя писатель снова прошелся по литературному творчеству вождя, по-видимому, ни с какой иной точки зрения его не заинтересовавшего: «Читал „Известия“, с большим трудом одолел огромную статью Сталина и не нашел в ней ничего свободного, бездарен и честен, как чурбан». [\[921\]](#)

Замечательно, что это определение «честен и бездарен» в устах Пришвина не ново: так же уничижительно он охарактеризовал некогда своего приятеля Николая Семашко (правда, без сравнения с деревяшкой). Вот и Иосиф Джугашвили для Пришвина поначалу не столько личность, сколько типичный представитель определенной породы хорошо знакомых ему с молодости людей (даром что ли именно на его прекрасной родине заразился Михаил Михайлович марксизмом), однако из большевистских вождей в конце 20-х Пришвин более всех симпатизировал именно ему, и когда однажды задавленные рапповским террором писатели-попутчики – Вересаев, Иванов, Пильняк и Тихонов – решили отправиться к Сталину за защитой, иначе «пролетарии уничтожат остатки литературы», Пришвин отнесся к идее похода хотя и без явного энтузиазма, а все ж благосклонно: «У писателей храбрость явилась не без основания: по

некоторым признакам Сталин расходится с пролетариями в оценке литературы», и в качестве примера этого расхождения привел в Дневнике знаменитую историю с пьесой М. Булгакова «Дни Турбиных».

Коллективный поход не состоялся, но вывод Пришвин сделал печальный и удивительно трогательный в своей исторической наивности:

«(...) Такое положение: литература припадает к стопам диктатора.

Надо крепко подумать - надо ли это? Завтра его не будет, и кому пойдет жаловаться литература?»<sup>[922]</sup>

И долго к Сталину относился с осторожной надеждой, как и многие представители творческой интеллигенции той поры. А между тем новый вождь, прибирая к рукам, по пророчеству покойного Ильича, неограниченную власть, то и дело ставил людей, на него определенным образом рассчитывавших, в тупик: достаточно вспомнить его политический роман с Булгаковым или Пастернаком. У Пришвина никаких личных отношений со Сталиным не сложилось; прямых контактов с Кремлем не было, если не считать дружеское, но большей частью бесполезное общение со всесоюзным старостой Михаилом Ивановичем Калининым в 40-е годы, однако Берендей внимательно следил за восточными ходами кремлевского горца, которые кого угодно могли сбить с панталыку: «Надо спросить кого-нибудь понимающего, почему именно был взят левый курс, когда все были уверены, что наступил термидор и окончилась революция».<sup>[923]</sup>

А меньше чем через десять дней после этого недоуменного вопроса сам же предложил ответ: «Оказывается, то, что теперь происходит - это осуществление программы Троцкого. Как же теперь он себя чувствует в Турции? И как же это вышло

гениально: - ваш план спасения государства, пожалуйста, покорнейше вас благодарим, а сами вы аттанде-с! посидите в Турции». [\[924\]](#)

Или еще одна цитата из пришвинской «сталинианы», снова десять дней спустя: «Левый курс, думаю, будет до тех пор, пока мало-мальски не наладятся совхозы: когда вся деревенская беднота будет организована, тогда возьмут курс направо и часть „кулаков“ займет административные места в этих совхозах, а часть на каких-нибудь условиях прочно сядет на землю». [\[925\]](#)

Год назад, когда вернувшийся из-за границы Горький предложил Пришвину принять участие в издании нового журнала «Наши достижения», Михаил Михайлович отказался и пояснил свой отказ в Дневнике: «Думаю, что наши достижения состоят главным образом в Гепеу. Это учреждение у нас единственно серьезное и в стихийном движении своем содержит нашу государственность всю, в настоящем, прошлом и будущем. Все остальное болтовня...» [\[926\]](#)

Это признание - горький этап в череде довольно благодушных мыслей писателя не только о Сталине, но и вообще о природе государственной власти в Советской России, которые во многом продолжили идеи постреволюционного строительства, обозначенные Пришвиным в середине 20-х и получавшие развитие до двадцать девятого-тридцатого, куда они не уперлись на время в стенку.

Вечная российская проблема «художник и власть» все прочнее связывалась в конце 20-х в сознании писателя с личностью Алексея Максимовича Горького, которого только по великому недоразумению считали пришвинским другом.

«Читал фельетон Горького „Механический гражданин“, в котором он самоопределяется

окончательно с большевиками против интеллигенции. Я допускаю, что все мы (и я в том числе) ворчим на власть или ругаем ее, исходя от точки своего личного поражения, что власть эта порождается нами же, и если она плоха, то виноваты в этом мы сами. Вследствие этого считаю своим долгом терпеливо переносить все личные невзгоды, как можно лучше, больше работать и бунтовать не против существа этой власти, а против условий моего труда. Чувствую, что нас, таких частных людей, довольно (...)»[\[927\]](#)

Запись важна и тем, что идея лояльности, законопослушности и конструктивности сконцентрирована здесь очень искренне и ясно, в сущности, Пришвин, в ту пору еще вполне благодушно настроенный, приоткрыл путь своеобразной эволюции, сближения, по которому при известных условиях могли бы пойти вечно враждующие российские стороны: интеллигенты и большевики, не поступаясь основными принципами. С терпеливой интеллигенцией можно было сотрудничать и находить общий язык, можно было и улучшать условия ее труда при условии соблюдения ею определенных правил поведения, а ей, в свою очередь, открывалась возможность смягчать действия власти, не подвергая сомнению ее легитимность и даже строгость к откровенным противникам и просто анархическим элементам. Квинтэссенцией благодушия и даже утопизма может служить следующий пассаж: «Ближайшая задача: создать во всем мире единую и незыблемую власть. Русский мужик замечательный материал для анализа холодного отношения к власти».[\[928\]](#)

Тут вот что важно: справедливо и точно понимая происходящее в стране начиная с семнадцатого года, как войну большевиков с мужиками, где хлебозаготовки (продразверстки) «были как бы артиллерийским огнем,

а последующее „раскулачивание“ – атакой»,<sup>[929]</sup> Пришвин, у которого были личные счеты с обеими воюющими сторонами, опять, как и в годы черного передела и Гражданской войны, не слишком явно, но все же склонился на сторону власти, не народа.

Так было в 1918-м, а затем и в 1928-м, когда Пришвин в деревне пусть и не жил, зато часто и подолгу бывал.

Позднее он сформулировал свою позицию следующим образом, причем это тот редкий случай, когда, говоря об Алексее Максимовиче, Пришвин явно примеривался и к собственному пути: «Горький – это типичный анархист. Как же вышло, что он стал ярым государственнымником? Вот как вышло: большевики взяли власть, из этого все и вышло. Власть была взята для того, чтобы этой силой уничтожить капитализм и устроить трудовое крестьянство. Антибольшевики считали, что государственную власть брать нельзя, потому что людей переделывать надо не принудительно-материальным путем, а путем духовного воспитания».<sup>[930]</sup>

Казалось бы, Пришвин должен стоять именно на этой духовной позиции и быть антибольшевиком хотя в пику Горькому. Ничего подобного. Далее курсив – не мой, но Пришвина: *«Большевики оказались правыми. Власть надо было брать, иначе все вернулось бы к старому. Монархия держалась традицией, привычка заменяла принуждение. В новом государстве новый план потребовал для своего выполнения принуждение во много раз большее, а люди те же и еще хуже»*.<sup>[931]</sup>

Конечно, тут сказалась и традиционная интеллигентская ненависть к монархии, к гимназии, к Ельцу, к старому миру, который Пришвин ненавидел еще больше нового («Православный крест... монархия... Попы... панихиды... Урядники... земские начальники –

Невозможно!» – писал он даже в страшном для себя 1930 году, словно раздумывая, хотелось бы ему или нет, чтобы вернулись старые времена<sup>[932]</sup>); ненависть эта уляжется в душе Пришвина лишь к концу 30-х годов, а пока писатель был настроен открыто и даже дружелюбно по отношению к большевикам и скорее был готов укорять их за недостаточное умение властвовать и управлять анархической массой.

Наблюдая за юбилеем Максима Горького (тот праздновал 60-летие), Пришвин сделал в Дневнике программную и весьма оптимистичную, жизнеутверждающую запись: «Юбилей этот есть яркий документ государственного-бюрократического послушания русского народа. Воля народа, по-видимому, без остатка сгорела в расколе, после чего остался не народ, а всегда всюду внешне послушная масса с затаенной жизнью личного, находящая свое выражение в какой-то артистичности. Да, русская общественность скрывается в тайниках личностей... Нигде в мире нет, вероятно, такого числа артистов, придумщиков, чудаков, оригиналов всякого рода, в общественном отношении исповедующих закон „моя хата с краю“. Испытав интеллигентский бесплодный бунт, я стал сам такой (мой отказ от влияния на Горького и есть „моя хата“). Последняя моя вспышка была вспышкой патриотизма во время Германской войны: и так это было глупо!

Теперь я с полной готовностью отдал бы свой народ во власть немца, как организатора и воспитателя трудового начала.

Я отдал бы народ этому хозяину безо всякого колебания, потому что уверен в молодости и таланте русского народа: пройдет германскую школу и будет русский народ, а не бесформенная инертная масса. И с какой радостью будет работать, учиться! Страна наша в

настоящее время жаждет труда для улучшения своего бытия. Из этой жажды делать свое дело вытекают великие последствия обновления страны. Вероятно, в этом и есть благодетельный сдвиг революции: не отдельные люди, а все хотят теперь лучшего, все жаждут разумного труда, разумного хозяина». [\[933\]](#)

Утопическая мысль эта, справедливости ради надо сказать, не нова, и западник Петр Великий говорил о том, что Европа нужна нам на двадцать - тридцать лет, мы возьмем от нее все, что нужно, а дальше отбросим, но в обоих случаях самое странное - это определение «молодой» по отношению к народу с более чем тысячелетней историей, и, быть может, эти неучтенные годы и подводили под сомнение все идиллическое здание немецкого учительства.

В том же 1928 году, прочитав выступление нового американского президента, утверждавшего, что капитализм - «это порядок, обеспечивающий наибольшее проявление индивидуальной инициативы», и сопоставляя буржуазный строй с социализмом, где властвует «гос. порядок, защищающий интересы трудящегося большинства от господства индивидуальных интересов», Пришвин в духе более поздней теории конвергенции предложил свою формулировку идеального государства: «Порядок, обеспечивающий наибольшее проявление индивидуальной инициативы в интересах трудящегося большинства». [\[934\]](#)

Германия, Америка, единая власть... Кто в стране мог противиться этому интернационалу, мондиализму, навязанному извне всеобщему счастью, где все жаждут разумного иноземного хозяина? Только анархистствующие русские мужики. В первую голову это понимал «бездарный и честный» Сталин, который русскую деревню ненавидел какой-то троцкой



ненавистью. У Пришвина отношение к мужикам было гораздо сложнее, и с годами оно не упрощалось, напротив, к старым обидам прибавлялись новые и, как с покойным Вас. Вас. Розановым, мира с ними у Берендея не выходило.

В 1928 году, в пору написания романа про «Журавлиную родину», когда Пришвин протестовал против спуска озера с клавдофорой и напечатал по этому поводу статью в «Известиях», местные крестьяне грозились его убить. Он со своими экологическими бреднями и натаской охотничьих собак представлялся им препятствием на пути к изобилию и счастью. Причины этого недоверия и раздражения были понятны. То был извечный русский конфликт, основанный на взаимном недоверии и непонимании простого народа и образованного класса, и выпрыгнуть из этого проклятого круга не удавалось никак, словно опять повторялась на новом витке история с Никоном Староколенным, только теперь в роли ни в чем не повинной кроме своей интеллигентности и чужеродности городской барышни оказался крепкий охотник, вооружившийся не ружьем, но, как выяснилось, бумерангом.

В случае с Пришвиным, как я уже говорил, все усугублялось еще и обстоятельствами личной жизни, и, в отличие от многих людей, берущихся о народе рассуждать и при этом представлявших его весьма абстрактно, Пришвин с этим народом жил и знал его лучше и глубже. Быть может, по совокупности нелегкого личного опыта и горького знания Пришвин и рад был сочувствовать крестьянам, но всякий раз сочувствие упиралось в стенку. «Устремление крестьянского общества к материализму за счет человеческой личности вовсе не исключает возможности проявления человеческих чувств, спадает власть хозяйства и человек остается лицом к лицу с

человеком (хозяин и работник). Тогда явления сострадания, милосердия и любви в грубой обстановке выступают особенно и особенно убедительно. Вот именно это и привлекало к себе русскую интеллигенцию, об этом именно столько рассказывал Глеб Успенский и другие святые народники. Это удерживало меня возле Павловны, за это я столько лет прощал ей много»,<sup>[935]</sup> – записывал он в Дневнике, снова сводя в одном абзаце вечную («вехную», когда б такое слово существовало) русскую тему «народ и интеллигенция» и собственную семейную драму.

И коль скоро речь зашла о народниках, вот еще два любопытных свидетельства: «Хотя я никогда не был народником, но воспитывался среди них и этика моя народническая. Я всю жизнь приглядывался к мужику и убеждение мое сложилось прочное, что его все обманывают и что русскому государству как-то вообще нельзя существовать без обмана мужика. Я не народник, но чувствовал себя в народе приблизительно как Миклухо-Маклай на Новой Гвинее среди дикарей»;<sup>[936]</sup> «В большевистской практике это марксистское отношение перешло почти в ненависть к деревне, в бюрократическое высокомерие (мне знакомо и то, и другое)».<sup>[937]</sup>

Последнюю взятую Пришвиным в скобки фразу можно толковать по-разному: и как изведенный личный опыт, и как личное наблюдение над чужим опытом, но очевидно, что крестьянские мечты о волюшке, о мужицком рае и о Беловодье, те идеи и идеалы, которые вскормили великую крестьянскую литературу, купницу – все это было Пришвину не столько чуждо, сколько враждебно (хотя когда-то, вместе с крестьянскими поэтами, он печатался в разумниковских «Скифах»). Беловодье и Китеж, Инония и Берендеево царство – вещи только на первый взгляд похожие, и

когда в конце 20-х кратковременная передышка, идиллическая жизнь в краю, где не было революции, окончилась и партия начала с новой силой прибирать к рукам и строить в ряды враждебные ей вихри, натолкнувшись на слабое, но все же сопротивление, когда усилился еще более вечный, нежели между народом и интеллигенцией, антагонизм народа и государства, в памяти Пришвина опять ожили призраки недавней русской смуты.

«Огромная масса мужиков говорит о революции, что это обман. Кто обманул? Вожди. Напр., говорили „леса будут ваши“, а вот теперь тронь их, ответят: – не ваши, а государственные». [\[938\]](#)

Сушая правда – обманули вожди! И не только с лесами, но со всем обманули – с землей, с волей, с Китежем... Только что же из этого, по мысли Пришвина, следует? А вот что: «Был момент, когда леса были в распоряжении мужиков. Смоленские леса, вероятно, до сих пор помнят этот страшный погром (...) Дать волю мужику это значит дать волю все разрушить». [\[939\]](#)

Мужик не только интеллигенту и большевику враг, он всему живому враг и себе в том числе. Ему нельзя давать воли, за ним глаз да глаз нужен, он – дитя, и без верховного догляда, без Старших обойтись не может, разнесет в клочья, этих мужиков Пришвин боялся, видя в них врагов личного начала, может быть, еще более страшных, чем большевики, ибо с последними найти общий язык легче, чем с первыми – для Пришвина сей безутешный вывод был не умозрительным и абстрактным, но глубоко и лично выстраданным.

И потому когда двумя годами раньше он писал: «В настоящее время побеждает „мужик“, т. е. человек, ведущий борьбу за время и место на земле», [\[940\]](#) а через год после этого «лезет, прет мужик во всю силу, а все остальное представление», [\[941\]](#) и даже через пять лет,

когда от мужиков, свободных мужиков ничего не осталось: «Мое главное понимание жизни за эти дни сосредоточилось на мысли, что мужики одолели большевиков»,<sup>[942]</sup> слова эти, с одной стороны, продолжали его собственное видение народного мира, обозначенного еще в 1907 году в «Колобке» («Народ – что вода в реке, запирай, она будет напирать»), а с другой – накануне и тем паче после коллективизации звучали исторически несправедливо, но одновременно и пророчески, как некое предупреждение о том, что может случиться, если власть не проявит твердость; вновь подтверждали историческую прозорливость, чутье Пришвина и... его совпадение с генеральной линией.

«Говорят, что Сталин гонит всех правых и потом сделает все ихнее сам. Правильно поступает, потому что народ сейчас до того обозлен, что до нового хорошего урожая необходимо все держать в кулаке»; «Летом Сталин погрозил коллективизмом, и хлеб спрятали. Так видно надо, а то сейчас чуть бы воли немного гражданам, дали бы они знать, где раки зимуют».<sup>[943]</sup>

Подобный взгляд на политику большевиков по отношению к крестьянству не был для Пришвина необычным. В 1920 году он писал, и слова его оказались удивительно точными для всего десятилетия: «Почему умеренные (эволюционные) партии социалистов никогда нигде не могли удержаться у власти? Потому что они действуют в государственных вопросах только, как человек, и государство хотят сделать чисто человеческим. Между тем государство занимается не только человечеством, но и природой животной человека, и кто взялся за государственную власть, должен действовать и как животное, как зверь. Так что по мере „углубления“ революции должны в состав

власти проникать преступные, звериные элементы, и власть, действуя именем того же человечества, поступает по-зверски. Гуманизм (мечта поставить человеческое дело над государственным) остается в воздухе как апокалиптическое пророчество о льве рядом с ягненком». [\[944\]](#)

Именно эти реалистические, «антиапокалиптические» соображения и объясняют двойственную позицию, которую занял Пришвин по самому больному для России рубежа 20-х—30-х годов вопросу – о коллективизации. Привыкший во всем искать положительного смысла, писатель и здесь пытался найти моменты, оправдывавшие политику большевиков в деревне. Вот еще одна характерная сцена из жизни Пришвина: его разговор с неким жителем Сергиева Посада, которому писатель пытался объяснить свой взгляд на колхозы (или, как он их чаще называл, коллективы):

«Всю нашу беду, включая коллективизм и коммуны, понимать надо из нашей отсталости в мире: пробил для нас такой час, или догнать весь мир (в технике) или отдать себя, как Китай на эксплуатацию другим государствам. Мы решили догнать...

– Но зачем же коллектив? – спросил садовник.

– Чтобы разрушить современную деревню, – ответил я, – последствием этого разрушения будет армия рабочих для совхозов, с одной стороны, и, наконец, отделение от них людей, призванных обрабатывать землю, которым эта возможность будет предоставлена, потому что государству выгодно пользоваться их добровольным, самозабвенным трудом».

Ничего нового в позиции Пришвина здесь не было: он не видел будущего за русской деревней и не слишком о ней жалел, находя в ее бытовании более темных, нежели светлых сторон, и оттого коллективы

понимались им как шаг вперед, как необходимый этап в деле разрушения общинного мира для того, чтобы расчистить путь к частному и более эффективному владению землей.

«- Значит через коллектив к совхозу?

- Да, - ответил я, - к совхозу, с одной стороны, и к частному долголетнему пользованию землей, с другой...»<sup>[945]</sup> — в этом гармоническом сочетании государственной воли и народного миропорядка, закрепляющего права личности, видел писатель будущее России.

Вообще утопического в сознании Пришвина при его «антинародничестве» было всегда на удивление много, но в случае с крестьянством и с коллективизацией эта доля была особенно велика.

В 1921 году, под Дорогобужем, он написал о революции и военном коммунизме: «Добрые русские люди застоялись, их вышибли из рутины, и они, сознав весь ужас застоя, бросились с удесятеренной силой работать. Пробужденные, они скоро увидят (если уже не увидели) в своих пробудителях дармоедов и спихнут их в яму. Уж сейчас почти в каждой деревне прозябают презрение и насмешка всех - отставные комиссары, „бывшие люди“. Горячка кончается, начинается выздоровление».<sup>[946]</sup>

И вот через восемь лет, на схожую тему:

«Мужики теперь поняли свою ошибку и скоро все, как некогда шкрабы, пойдут в коллективы: им тогда и луг прирежут и трактор дадут. Есть расчет! Так жизнь постепенно рассосет, обморозит догматику марксизма и коммунизма, от всего останется разумное и полезное для личного органического творчества жизни...»<sup>[947]</sup>

В истории все происходило наоборот, но писатель продолжал убеждать себя в целесообразности затеянных в деревне реформ.

Все понимал: «Жизнь в колхозе фабричная. Она тяжелей деревенской и скучней»,<sup>[948]</sup> но все доказывал самому себе «невозможность хозяйства вне колхоза»<sup>[949]</sup> и приводил соображения весьма неожиданные: «В деревне беднота, которая с самого начала паразитировала на трудящихся, когда теперь дошло дело до вступления в колхоз, вдруг повернула фронт и оказывает бешеное сопротивление. Это и понятно: в колхозе надо работать. Идут в колхоз те, кто боится быть раскулаченным».<sup>[950]</sup>

«Последние конвульсии убитой деревни. Как ни больно за людей, но мало-помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. Единственный выход для трудящегося человека разделаться с развращенной беднотой, единственный способ унять своего бездельника сына, проигрывающего в карты его трудовую копейку».<sup>[951]</sup>

«Взять наших мужиков, ведь они все индивидуалисты и всякую общественную работу делают нехотя. Система колхозных трудодней – это единственное средство принудить их работать для общества, но, конечно, отдельные крестьяне есть отличные общественники. И вот то, что они со всей радостью делали бы от себя, теперь им из-за ленивых анархических масс приходится делать под палкой. Для них-то именно государственное принуждение и является кашеем»<sup>[952]</sup> <sup>[953]</sup>

Прав Пришвин или не прав в оценке социального расслоения деревенского люда и русского крестьянства как анархической массы, которая, оказывается, сама была исторически виновна в насильственной коллективизации ради ее же блага, но если вспомнить, что совсем недавно любимым героем писателя был охотник за перепелами Гусек из «Кашеевой цепи», человек с хозяйственной точки зрения совершенно



никчемный, природный лентяй и наверняка стихийный анархист в душе, это противоречие получится любопытное, пополам раскалывающее Пришвина – художника и гражданина.

Пришвин был за коллективы, поддерживал государство, но и к кулакам испытывал симпатию:

«Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то большевик представляется мне не больше, чем мой „Мишка“ с пружинкой сознания в голове.

Долго не понимал значения ожесточенной травли «кулаков» и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор, через 12 лет, мы живем в значительной степени».

[954] Себя он сравнивал именно с ними, называя «совершенным кулаком от литературы». [955]

Но кулаков Пришвин противопоставлял не только и даже не столько людям власти (ибо по идее те и другие должны быть союзниками, заинтересованными в крепком государстве), сколько завистливому крестьянскому миру: «Деревенская среда является положительной средой для кулака, способный человек непременно приходит в кулаки. Это очень сложный процесс: индивидуальность заостряется на достижении материального благополучия – всякий талантливый обращается в кулака. Вокруг лень, безысходность, пьянство, слабость, зависть. Страшная среда. И все это идеализировали и поэтизировали!» [956][957]

С подобной уничижительной характеристикой крестьянского мира можно и не соглашаться, но вот самоопределение «кулак от литературы» как нельзя лучше характеризует то, как видел и ощущал себя



вчерашний «в корне большевик» в советской литературе на рубеже 20-х—30-х годов: «Писатель даровитый (попутчик) есть собственник своего таланта и находится в отношении членов РАППа как кулак к бедноте. И неминуемо он должен быть раскулачен, а вся литература должна обратиться в Литколхоз с учтенной продукцией». [\[958\]](#)

И не только в кулаках дело: «После ликвидации мужика (единоличника) заметно усилилась по всему фронту борьба с личностью во всяких ее проявлениях. Пальцы сжимаются, узел стягивается. Остается только этот узел, как ручную гранату, швырнуть на кого-то. Война на носу по внутреннему строю фактов». [\[959\]](#)

Родилось это ощущение несколькими годами раньше. Двадцать восьмой – начало двадцать девятого года были последним рубежом, когда Пришвин испытывал если не иллюзии, то надежды на преобразование государства в желанном русле. Весной 1929-го – в год великого перелома – в стране резко заглодало, и это похолодание коснулось всех, как когда-то коснулась всех революция.

Вот несколько хронологически последовательных записей, сделанных волшебником Берендеем на рубеже 20-х– 30-х годов, и по ним можно проследить, что происходило за пределами его царства и как «аполитичный» писатель к этим событиям относился:

Апрель 1929-го: «Политическая атмосфера сгущается до крайности»; [\[960\]](#) «В общественной жизни готовимся к серьезному посту (...) Кончилась „передышка“ Ленина. Начинается сталинское наступление». [\[961\]](#)

Май: «Лева рассказывал, что в Университете висит ящик, в который каждый студент приглашается опустить на другого донос». [\[962\]](#)

Октябрь: «Время быстрыми шагами приближается к положению 18-19 гг., и не потому что недород, а потому что граждане нынешние обираются в пользу будущих»; [\[963\]](#) «Не остается никакого сомнения в том, что мы быстро идем к состоянию 18-19 гг., что очень скоро придется совершенно прекратить писание, рассчитывать только на свою корову и паек». [\[964\]](#)

Ноябрь: «Мир в своей истории видел всякого рода грабежи, но таких, чтобы всякий трудящийся человек был ограблен в пользу бездельнической „бедности“ и бюрократии под словами „кто не работает...“, противно думать об этом...» [\[965\]](#)

Декабрь: «Глазами Москвы – „нет и не было в мире переворота грандиозней нашего“, а глазами „Сергиева“ – „нет и не было в мире большего унижения человека“»; «Нынешний русский мужик кончает свое бытие...» [\[966\]](#)

Январь 1930-го: «Одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей»; [\[967\]](#) «Правда, страшно до жути». [\[968\]](#)

Февраль: «Алеша Толстой, предвидя события, устраивается: собирается ехать в колхозы, берет квартиру в коллективе и т. п. Вслед за ним и Шишков. Замятин дергается... Петров-Водкин болеет...»; [\[969\]](#) «Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъяренных лишенцами). Каждый день нарастает народный стон». [\[970\]](#)

Март: «Поражает наглая ложь». [\[971\]](#)

Потом на короткое время воскресла надежда, и связано это было со сталинской статьей «Головокружение от успехов» («Пахнуло первыми днями Февральской революции» [\[972\]](#)), но очень скоро пришло понимание, что это только временный отход: «Оказался прав тот мужик, который, прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход». [\[973\]](#)

Апрель: «Из очень верного источника слышал, что в Рязанской губернии во время мужицкого бунта бабы с детьми стали впереди мужиков, и солдатики не стали стрелять. В царское время ничего такого быть не могло: солдаты бы, конечно, стрельнули, но не вышли бы бабы, потому что только коллективы могли довести бабью душу до героизма»;<sup>[974]</sup> «Еще было, что в амбарах на муку сажали маленьких детей, рассчитывая, что детей пожалеют, не возьмут». <sup>[975]</sup>

Май: «Писателям будет предложено своими книгами (написанными) доказать свою полезность Советской власти». <sup>[976]</sup>

Июль: «Слезы и кровь в наше время, как две большие реки, бегут и почему-то, видимо, так надо, до конца должны бежать, и если родники слез и крови станут иссякать, то ты стань коленкой на живое – и еще много выжметя»;<sup>[977]</sup> «Мы живем все хуже и хуже (...)

Эта еда и всякие хвосты у магазинов – самый фантастический кошмарный сон какого-то наказанного жизнью мечтателя о социалистическом счастье человечества». <sup>[978]</sup>

Август: «Деревня повторяет точно годы военного коммунизма». <sup>[979]</sup>

Ноябрь: «Если пристально взглядеться в наш социализм, то люди в нем оказываются спаяны чисто внешне, или посредством страха слезки, или страхом голода, в самой же внутренней сущности все представляется как распад на жаждущих жизни индивидуумов. Особенно резко это бросается в глаза, когда вглядываешься в отношения детей к отцам (...) Отвращение возбуждает также циничное отношение к побежденным: детей лишенцев выгоняют из школ и т. п.». <sup>[980]</sup>

И как заключительный вывод: «Революция – это грабеж личной судьбы человека». <sup>[981]</sup>

Итак, ненадолго сблизившись во второй половине 20-х, Пришвин и большевики снова разошлись, хотя двойственность и неопределенность, недосказанность в отношении к ним у писателя не исчезали и в эту кризисную для страны и для него самого пору. «Разрыв традиции делает большевизм, и вот именно когда он захватывает государственную власть (...) Трудно теперь оценить это действие большевиков, когда они брали власть, подвиг это или преступление, но все равно: важно теперь, что в этом действии было наличие какой-то гениальной неменяемости. И вот именно потому-то и нельзя теперь нам в большевики, что прошло время, и раз тогда мы из-за мелочи не стали в ряды (мы с большевиками ведь только в мелочах разошлись), то теперь нельзя из-за утраты самости.

Была иллюзия счастливой жизни, если не будет царя. Тоже иллюзия теперь у тех, кто мечтает о счастье без большевиков». [\[982\]](#)

Пришвин, верней всего, к этому времени уже никаких иллюзий не питал. Раньше они были и касались не столько деревни, сколько всей страны: «Я шесть лет писал „Кашееву цепь“ в чаянии, что наша страна находится накануне возрождения, мной понимаемого как согласное общее творчество хорошей жизни. Предчувствие меня обмануло, оказалось, что до „хорошей жизни“ в свободном творчестве еще очень далеко»; [\[983\]](#) «Мои книги, рассказы и очерки были написаны в уповании, что скоро будет на почве революции какое-то возрождение страны»; [\[984\]](#) но теперь, в 1930-м, в «пещерное время» очень резко изменился взгляд и на страну, и на революцию, и на вождя.

«И вот размышляешь в своей пещере, задавая главный вопрос: есть ли наша революция звено мировой культуры или же это наша болезнь?

Если это наша болезнь, то болезнь, как, например, сифилис, полученная извне случайно, или же болезнь как следствие своей похоти. Или это болезнь, вроде юношеской неврастении.

Я хочу думать, что это у нас болезнь роста и, значит, например, явление Сталина с его «левым загибом» – неизбежно было: что-то вроде возвратного тифа». [\[985\]](#)

В других случаях писатель высказывался резче:

Иосиф Сталин – «Невежественный тупой владыка»; [\[986\]](#) «Главный кадр безбожников вышел из семинаристов (...) с самых разных противоположных сторон жизни поступают свидетельства в том, что в сердце предприятия советского находится авантюрист и главное зло от него в том, что „цель оправдывает средства“, а человека забывают». [\[987\]](#)

На полях Дневника встречаются даже стихи неведомого автора:

Среди ограбленной России  
Живу, бессильный властелин, [\[988\]](#)

– а рядом с этим – исторические параллели:

«Может быть, Сталин и гениальный человек и ломает страну не плоше Петра, но я понимаю людей лично: бить их массами, не разбирая правых от виноватых, – как это можно!» [\[989\]](#)

«Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе. Мистика погубила царя Николая II, словесность погубила Керенского, литературность – Троцкого. Этот гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. И так нужно, потому что наступает время военного действия. Надо и самому еще

упроститься, сбросить с себя последние, без проверки живущие во мне или, вернее, висящие, как одежда, наследственные убеждения». [\[990\]](#)

Последние строки этой записи очевидны – Пришвин интуитивно чувствовал личностное и более чем опасное расхождение с новой властью. Он ходил, как и все, по лезвию ножа, и хотя репрессии не коснулись писателя ни тогда, ни позднее, они глубоко ранили его, и после разговора с одной из своих знакомых, высказавшейся в том смысле, что «большевизм всем русским нравится», записал в Дневнике: «Если бы могла эта дурочка чувствовать хоть немного, как болит душа у русского, сколько сослано людей и как там страдают!» [\[991\]](#)

Среди репрессированных были и люди хорошо ему знакомые. В феврале тридцатого был арестован один из героев «Журавлиной родины» – потомственный владелец трактира и однофамилец известного писателя – Алексей Никитич Ремизов, и обычно сдержанный, избегающий без необходимости крепких выражений Пришвин не сдержался: «И какая мразь идет на смену». [\[992\]](#)

Месяцем раньше, в январе, скидывали колокола с церквей в Троице-Сергиевой лавре. Сначала сбросили самого большого – Царя, который весил 4000 пудов, он покатился по рельсам и неразбитый лежал на земле; Корноухий, такой же по размерам, но более тонкий, массой в 1200 пудов, разбился вдребезги. Третьим сбросили Годунова, и эти события, при которых Пришвин присутствовал и запечатлел на фотопленку, произвели на писателя очень тягостное впечатление, вновь заставив задуматься над собственной судьбой:

«Трагедия с колоколом потому трагедия, что очень все близко к самому человеку: правда, колокол, хотя бы „Годунов“, был как бы личным явлением меди, то была просто медь, масса (...) но и это бы ничего, это есть в

мире, бывает, даже цивилизованные народы сплавляются.

Страшна в этом некая принципиальность – как равнодушные к форме личного бытия: служила медь колоколом, а теперь потребовалось, и будет подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о колхозах». [\[993\]](#)

14 апреля 1930 года застрелился Маяковский, и хотя первый поэт революции был нашему писателю чужд, в эти страшные месяцы Пришвин написал: «Никогда весной я не был таким гражданином, как теперь: мысль о родине, постоянная тоска не забывается ни при каких восторгах...» [\[994\]](#)

Атмосфера начала сгущаться и над Пришвиным, те силы, для которых писатель-единоличник был как кость в горле, перешли в наступление, еще не зная, что это их последний рывок и они скоро падут в кровавой чистке 30-х. Но тогда рапповцы были на коне и никто не мог подозревать о степени коварства верховного кукловода, свысока наблюдавшего за литературной борьбой. Разве что Горький. Однако он бесславно – по мнению Пришвина – уехал в Италию («Говорят, ни одного писателя не провожало его и что последние его три статьи отказались печатать „Известия“ и „Правда“. Так окончилась „хитрость“, которой он мог хвалиться весной прошлого года, все кончилось для М. Горького» [\[995\]](#)), и впервые за последние годы Пришвин почувствовал себя одиноким и ненужным: «Не было еще случая, чтобы мне отказывали в журналах, но больше уже и не просят. Самое же главное, что сам чувствуешь: не нужный это товар», [\[996\]](#) «Меня оттирают из „Нового мира“, как оттерли из охотничьей газеты, расчухали окуня»; [\[997\]](#) «Хлебнул чувство своей ненужности и в „Новом мире“ и вообще в мире современной



литературы: видимо, все идет против меня и моего „биологизма“. Надо временно отступить в детскую, вообще в спец. литературу, потому что оно и правда...»; [998] «Вчера в „Новом мире“ был объявлен рекламный список напечатанных в прошлом году авторов, и вот что меня забыли упомянуть или нарочно пропустили – этот величайший пустяк! меня расстроило (...) У меня доходит до того, что боюсь развертывать новый журнал, все кажется, что меня чем-то заденут и расстроят». [999]

Самым серьезным противником Пришвина в эти годы оказался профессор Высшего литературно-художественного института (того, что создал В. Я. Брюсов), выпускник Петербургского университета М. С. Григорьев.

Именно с его легкой руки Пришвина стали обвинять в бегстве от классовой борьбы, в идеализации старины, «в замкнутости и сознательной отчужденности от генерального фронта», [1000] а также в эпигонстве по отношению к символизму.

Вообще-то на фоне нынешних критических опусов и состояния наших литературных «ндравов» статья из леворадикального комжурнала производит впечатление корректной, уважительной и взвешенной, содержащей немало здравых мыслей. Например, таких:

«Алпатов, если бы сделался писателем, был бы эпигonom символизма», [1001] – что понимал, возможно, и Пришвин, оттого и захлебнулся в своем творческом замысле.

Отталкиваясь от странного противоречия, что известный и общепризнанный мастер слова почти никогда не разбирался в критике ни дореволюционной, ни послереволюционной, и от книги известного критика А. Лежнева «Литература революционных десятилетий», который писал, что Пришвин «не избегает



современности, но он подходит к ней исподволь, осторожно, затрагивая ее как будто мимоходом и беря ее под самым неожиданным углом зрения»,<sup>[1002]</sup> и предполагал, что писатель идет в литературе боковой тропой, М. Григорьев не без основания заметил, что такой же боковой тропой Пришвин шел и прежде. Но самый интересный вывод критик делал в конце:

«Постигнув полноту пантеистического созерцания, Пришвин теперь уже на все социальные явления смотрит как на частное явление с какой-то высокой и очень укрепленной точки зрения, с какой-то башни крепости, куда не доносится реальный и часто прозаический шум. На все явления Пришвин смотрит снисходительным, мудрым и любящим взором, взором романтической иронии человека всегда знающего нечто более совершенное, чем то, с чем он встречается».<sup>[1003]</sup>

Это вовсе несправедливое суждение по отношению к загнанному в угол, не имеющему жилья, бедствующему, непонятому человеку и очень верное, если иметь в виду его житейскую цель и дунинское будущее.

Любопытно, что в тридцатом году вокруг имени Пришвина впервые за весь его долгий литературный путь вспыхнула настоящая литературная полемика, достаточно глубокая, острая и серьезно аргументированная, так что, не касайся она жизни и смерти человека, ее герой мог бы таким вниманием со стороны тогдашних зоилов гордиться. Критик А. Ефремин, на которого я неоднократно ссылался, решительно не соглашался с идеей Григорьева о пришвинском эпигонстве. «Пришвин настолько же далек от юродства А. Ремизова, насколько и от пессимизма К. Гамсуна, но далее всего от русских символистов. Русский символизм характерен прежде всего своим трагическим мировосприятием, которому

совершенно чужд благостный, умиротворенный Пришвин», – писал он. [\[1004\]](#) Конечно, Пришвин не был таким уж благостным и умиротворенным, трагического в его книгах всегда было много; Ефремин угадал не столько нынешнее положение дел, сколько стремление своего подопечного, внутреннюю цель его творчества – примирить (умирить) все противоречия, даже самые злые, обрести цельность; и расхождение между писателем и критиком и, шире, между Пришвиным и тогдашним официозом шло по поводу средств достижения этой общей цели.

По Ефремину, это возможно было только через огонь классовой борьбы и только при коммунизме, по Пришвину – через творчество (перевальская идея Галатеи). Но тем не менее и профессор Григорьев, и «поэт» Ефремин в чем-то очень важном Пришвина угадали, «расчухали», после чего от него требовалось принести покаяние за связь с Религиозно-философским обществом и отречься публично от старого мира. Пришвин, защищаясь от этих нападков, оправдываясь и объясняя себя, восклицал: «Я не мог описать эпоху богоискательства только потому, что выходит как-то фельетонно и не связано с органическим целым. Без этого живого чувства органического целого, чувства всей жизни по себе самому я ничего не могу написать». [\[1005\]](#)

Все же в ноябре 1930 года Пришвин принял решение выйти из «Перевала» и написал Н. Зарудину:

«Дорогой Николай Николаевич!

Я выхожу из «Перевала», потому что все оппозиционные литературные организации считаю в настоящее время нецелесообразными. Кроме того, мысли, высказанные мной в «Кашеевой цепи» и других моих сочинениях, в настоящее время все слова о свободе, гуманности и т. п. должны смолкнуть и

писатель должен остаться с глазу на глаз с Необходимостью.

Перевальские слова о свободе, гуманности, творчестве и т. п. должны теперь смолкнуть, а писатель иметь мужество оставить литературу и побыть с глазу на глаз в недрах просто, как живой человек, «как все».

Все литературные оппозиционные организации считаю теперь неуместными и выхожу из «Перевала»». [\[1006\]](#)

Официально Пришвин сообщил об этом в статье «Нижнее чутье», опубликованной в январе 1931 года в «Литературной газете» и имевшей, по его словам, большой успех, хотя опубликована она была не сразу, в ноябре 1930 года редакция отказывалась ее принять, а Н. Замошкин говорил Пришвину: «Заедят».

Однако не заели и не смогли бы заесть, ибо статья была составлена так искусно, как умел писать только закаленный в битвах, умудренный жизненным опытом литературный муж. Начав с того, что автор одной из антипришвинских статей принял своего героя за юношу и вовсе не знал, что тот четверть века «работал в литературе» и еще до войны его книги были переведены на иностранные языки, Пришвин перешел в атаку на своих врагов.

«Скажите, почему мы чистим плохих работников во всех учреждениях и терпим до сих пор совершенно невежественных критиков?» [\[1007\]](#)

«Тов. Григорьев зарылся в моих отдаленных, совсем охладевших следах, что даже назвал меня эпигоном символистов, хотя во всей литературе мало найдется равных мне эмпириков и реалистов», [\[1008\]](#) – опровергал своего главного зоила Пришвин и далее бил его и всю рапповскую банду тем же оружием, каким когда-то атаковал ярую антисоветчицу Зинаиду Гиппиус, а заодно и революционного поэта Александра Блока:

«"Перевал" в этом был лишь поводом, темой, заданной извне, основная же причина в обыкновенном чрезвычайно распространенном учительском заумье: люди в футляре уже не чувствуют простой язык, как не чувствуют живую жизнь, и потому, когда приходит к ним сама жизнь, они засмысливаются, читают живым языком написанные строчки, ищут символы между строчками...»[\[1009\]](#)

Решение покинуть тонущий «Перевал» иные либерально мыслящие читатели могли бы счесть малодушием, списать на уступку обстоятельствам, но для Пришвина этот поступок, даже не принимая во внимание тот факт, что его членство в группе носило характер случайный и ему не от чего было отречься, был органичен: оппозиционность – не его дело, и он мог пребывать в «Перевале» лишь до тех пор, пока тот не сталкивался напрямую с властью.

Пришвинские обвинения в адрес «Перевала», правда, были не вполне справедливы, члены группы пытались защищать своего старшего товарища от нападок. Так, весной 1930 года в осином гнезде РАППа – Комакадемии – состоялась дискуссия о «Перевале», на ней зашел разговор о Пришвине и, в частности, о его рассказе «Медведь», с жесткой критикой которого выступил некий М. Гельфанд, и его оценка Пришвина была, пожалуй, самой резкой из всего сказанного о писателе не только в этот мрачный год, но и за всю его долгую жизнь: «Человек от города, с его борьбой, с его тревожностями идет в сторону, к природе. Он встречает медведя и по каким-то особым знакам вспоминает, что он – человек – был когда-то не хуже этого медведя, что когда-то было гармоническое целостное существование. Он жалеет об этом первобытно-счастливым времени и т. д. Это тоже называется в „Перевале“ видение мира. По-нашему это называется

проклятием по адресу революционной действительности, проклятием, исходящим от тупого, раздраженного филистера, которому „помешали“ спокойно и безбедно устроиться на этой планете. Логика буржуазного в литературе либерализма становится что ни дальше, так все неприглядней». [\[1010\]](#)

А вот как Пришвина защищали (М. Полякова): «Возьмем рассказ „Медведь“, на который обрушился т. Гельфанд. Конец этого рассказа написан очень остроумно. Пришвин повествует о том, что пока он был известен крестьянам как писатель, никто им не интересовался, но как только он убил медведя – в нем крестьяне признали не только охотника, но и писателя. Из рассказа можно вывести чрезвычайно полезную для нашей современности мысль, а именно, что каждый из нас, книжных людей, отправляясь в деревню, должен уметь не только читать, писать и разговаривать, а должен знать и крестьянскую работу (...) Надо работать так, чтобы тебя ценили, а не считали болтуном. „Медведь“ один из примеров того, каким образом современность в искусстве иногда скрывается там, где нет прямых лозунгов». [\[1011\]](#)

И все же было слишком очевидно, кто в этой драке сильнее. Идти против силы Пришвин не собирался. Еще когда все только начиналось, он записал: «Как можно быть против! только безумный может стать под лавину и думать, что он ее остановит».

## **Глава XXI ЗА ПЕРЕВАЛОМ**

Пришвин не был ни диссидентом, ни борцом с режимом, ни внутренним эмигрантом, но не был и конформистом. Он был тем, что сам, вслед за Мережковским, называл «личником». Чем удушливее становилось в обществе и чем ближе подступало государево око, тем строже отводил писатель определенные границы даже не лояльности, а личной независимости, возводя на пути государственной диктатуры рубежи гражданской и художественной ответственности и всегда отделяя то, что нужно отдать кесарю, от того, что оставить себе (при этом дипломатических отношений не порывая и предусмотрительно обмениваясь с кесарем посольствами и любезностями).

«Если мне дадут анкету с требованием подтверждения своего умереть на войне с буржуазией, я это подпишу и умру, но если в анкете будет еще требование написать поэму о наших достижениях, я откажусь: потому что поэмы делаются той сущностью личности, которая прорастает в будущее и тем самым ускользает от диктатуры данного момента».

«Иной совестливый человек ныне содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно: что самое невероятное преступление, ложь, обманы самые наглые, систематические насилия над личностью человека, – все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего».

Все это – новое в его мировоззрении по сравнению с 20-ми годами, здесь прошел рубеж, отделивший 20-е от 30-х, будто кто-то специально прочертил границу, и

одновременно с ее обозначением в душе государственника, в гранитном основании его общественных воззрений образовалась страшная трещина.

Еще год назад Пришвин пытался ухватиться за иллюзии: «Нельзя жить по этим жестоким и бессмысленным принципам коммунизма, но несомненно, благодаря им, мы будем жить иначе, может быть, даже и лучше, чем жили».

Но теперь, раздумывая о старости раскулаченного (читай: ограбленного) священника из Заболотья, он с горечью и бессилием признавал: «Если о современной жизни раздумывать, принимая все близко к сердцу, то жить нельзя, позорно жить...»

«Нельзя жить» – в его устах нелепость, оксюморон, вызов всей его жизненной философии, построенной на утверждении бытия в любых условиях, прямой путь к суициду, от страха перед которым Пришвин так же не мог отделаться, как от привычки курить, и, хотя этот вырвавшийся из сердца вздох, вернее всего, – отражение минутного настроения, само по себе оно очень показательно:

«Уметь жить – это значит так сделать, чтобы ко всем людям без исключения стоять лицом, а не задом.

Уметь умереть – это значит сохранить лицо свое пред Господом. Лицо свое удержать как лицо в последнее мгновение жизни», – писал он в 1932 году.

Подобные слова пишутся у бездны на краю и вырываются из глубины сердца, о которой человек иной раз и не может подозревать, и все же невозможность жить или жизнь на краю была для Пришвина личной драмой, для него такая попытка оказывалась неприемлемой, она откидывала писателя назад, в прошлые времена умопомрачения, житейского морока и обиды на нескладную судьбу изгнанника и узника.

Пришвин не был и не мог быть мучеником и героем, идущим за свои убеждения на крест.

Одно было для него неизменно в эти годы – спасительная сила творчества, к которой писатель прибегал и ею жил, как другие жили верой, долгом или семьей. Литература была ему религией, его «спаси и сохрани», и в этом смысле он оставался человеком «начала века», своего рода членом и адептом давно разогнанной секты «служителей красоты». Он мог сколько угодно и тогда, и после войны, когда его снова не печатали, всерьез или не всерьез строить планы переключиться на фотографии, на картофель, на коз или коров, но не в силах был бросить писать. В 30-е годы он стал отходить от понимания творчества как игры, охоты, в той или иной мере свойственного Берендею в относительно безбедные 20-е, и позднее, в конце трагического десятилетия, свое отношение к литературному творчеству сформулировал серьезно и патетически:

«Из биографии, когда я стал на писательство: это найденное есть безобманное, непродажное – это есть я сам; тут мое самоуважение, мое достоинство, моя честь – это я сам и мой дом; неприкосновенное, и никто не может вмешаться: будут брать днем – ночь моя, будут в деревне – я в городе, в Москве – я в Ленинграде, я везде, ищите. Никому нет дела до этого мира, и я его никому и не навязываю: это мое сегодня».

Так он опять сделался равнодушен к словам о добре и зле, что и стало центральной для него темой в этот новый исторический период.

Когда после года «великого перелома» стало окончательно ясно, что «Кашеева цепь» рабства и зла не разбита, а окрепла и закалилась, и звенья этой цепи получили имена – коммунизм, колхозы, Сталин, НКВД, РАПП, – Пришвин, все это понимавший и видевший, не сдаваясь на милость победителей, исходил из своих



принципов: если нельзя разбить цепь зла в открытом сражении, если невозможно против зла применить насилие, надо искать другие пути:

«Творчество – единственное лекарство против „обиды“, и вся энергия должна быть направлена в сторону сохранения творчества. Творческий светильник, с которым входит поэт в то время, когда кончается действие разрушительной силы и революция вступает в период созидания.

Мне кажется теперь, что десять лет я писал в чаянии, что разрушение кончено и начинается созидание. Тяжело, упав, подниматься на новую волну».

Надо запастись терпением, надо выжидать, пока пройдет эта новая ночь, как прошла ночь черного передела и гражданской смуты, не торопиться возвращать билет Творцу, а терпеть, покуда голгофская тьма распятия не обратится в воскресение и торжество света, пока не прорастут таящиеся во мраке и холоде зерна и не дадут новые побеги неуничтожимые корни – мысль стоическая, невероятно современная и неисчерпаемая для бегущей по кругу русской истории, традиционно русская мысль, ибо давала она ответ на извечный наш вопрос «что делать?», и, оправдывая самый ход вещей, где чередуется свет и тьма, день и ночь, воскресение и смерть, холод и тепло, добро и зло, проводя параллели с возлюбленным миром природы, зоркий и чуткий охотник за счастьем, со всех сторон обложенный врагами, писал:

«Так бывало не раз со мной, и вот отчего, когда приходишь в тупик, я не отчаиваюсь, а замираю на темное зимнее время и жду со страдающей тварью весны – воскресения».

Это чувство и это знание давали Пришвину силу снова и снова подниматься и продолжать верить в свое предназначение художника – сохранить людям сказку во времена разгрома, – и чем дальше по ходу

исторического действия, тем упрямее и трагичнее звучало это личное, выстраданное его аутадафе: «Пусть люди добыли хлеб и молятся усердно Богу, словом, все у них будет, и в полном порядке. И все-таки если нет у них игрушки, нет досуга играть и забываться в игре иногда совершенно, то вся эта деловая и умная жизнь ни к чему, и в этом уме не будет смысла. Значит, мы, артисты, призваны дать людям радость игры против необходимости умереть».

Игра, по Пришвину, включалась в противостояние добра и зла и как способ и средство, но никогда она не была самоцелью и не исчерпывала его творчества, сколь бы глубоко это понятие игры мы ни толковали. Пришвин был человеком с иерархическим сознанием, может быть, даже слишком иерархическим, и самоцелью для него была идея личности, которую он протащил сквозь все жизненные испытания, от марксистских кружков на Кавказе до закатных дунинских дней (правда, едва напоследок не угробив), но в 30-е годы, во время открытой войны государства против личности, тема эта зазвучала особенно мощно: «Конечно, все это нынешнее свержение личностей и всяких зародышей авторитета – для настоящей личности – нечто вроде пикировки (подщипывают корешки, чтобы через это раздражение капуста лучше росла). И вот задача каждого из нас – научиться так выносить „чистку“, чтобы чувствовать не внешнюю боль, а радость внутреннего роста. Все это, все, мои друзья, зарубите у себя на носу как основное правило, силу, оружие и вообще условие непобедимости (бессмертия) личности человеческой и вместе с тем торжество человека во всей природе».

В это он верил, этому служил и, как бы ни было писателю тяжело, когда его изгоняли из литературы («Остается два выхода: возвратить профбилет и взять кустарный патент на работу с фото или же, как цеховой

художник, применять свое мастерство на портреты вождей (описывать, например, электрозавод»<sup>[1012]</sup>), даже в этих условиях Пришвин искал выхода – одно из самых важных для него философских понятий в 30-е годы – и были в его жизни минуты и часы, когда на рассвете, в сыром лесу, он его находил и испытывал счастье, за которым не переставал охотиться в самые тяжкие минуты жизни: «Горюны всего мира, не упрекайте меня: ведь почти все вы еще спите, и когда вы проснетесь, обсохнет роса, кончится моя собачья радость, и я тоже пойду горевать обо всем вместе с вами».

То была его форточка, за которую его не раз попрекали и без которой он бы не смог выжить, его отдушина, оставшаяся ему от Берендеева царства теперь, когда опять, как в 1918–1921 годах, писатель качался над пропастью между отчаянием и надеждой.

Сравнение двух исторических периодов в судьбе Пришвина не случайно. Хотя жизнь советского писателя, пусть даже попутчика, резко отличалась от жизни безвестного сельского шкраба, психологически два времени оказались невероятно схожи, как если бы согласно восточным гороскопам жизненный ритм человека повторялся через каждые двенадцать лет. И дело не только в том, что на пути у Пришвина, еще недавно азартно подсчитывавшего, сколько и где ему заплатят, замаячила ненавистная бедность и семья его жила тем, что Ефросинья Павловна продавала молоко, но еще более – в вернувшемся ощущении одиночества и своей не востребованности.

Несмотря на то, что Михаил Михайлович был человек очень живучий и на будущее русской литературы смотрел замечательно оптимистично, в духе того биологизма, за который его так ругали («Литературе-то уж нечего бояться, запретить вовсе

литературу – значит запретить половой акт. Долго не протерпишь...»), на рубеже 20-х—30-х его жизнерадостности пришлось пережить горькие минуты: «Те, сравнительно редкие дни, когда тоска моя так мало отличается от головной боли, что подумываешь – не принять ли пирамидон, – я знаю одно средство: выпить. Боюсь одного – привыкнуть, попасть в самое омерзительное рабство и не держу вина».

«Смотришь вокруг – сколько чужих людей проходят мимо, равнодушных, а иногда враждебных, больше равнодушных, и совершенно, совершенно чужие, и сколько! У них нет ни малейшего интереса к иной судьбе и уж, думаю, подозрения или вопроса никогда не может быть, что я тоже человек им подобный. Сколько чужих!»

Блиzkих людей вокруг было очень мало, и в вечно повторяющемся выборе между двумя очень важными для него революционными личностями Р. В. Ивановым-Разумником и Н. А. Семашкой, Пришвин оставался с неудачником, а в отношениях с крупным советским функционером, который в 30-е годы сделался председателем Детской комиссии и имел прямое отношение к детской литературе, окончательно наступило охлаждение.

Иванов-Разумник приезжал время от времени к Пришвину в Загорск, и двое «бывших» по-стариковски толковали о наступивших последних временах и о своем месте в стремительно переменявшемся мире: «Расстались с Разумником с такой резолюцией: какая-то слабая надежда, что пересидишь, все еще есть, и сдаваться нельзя: будем работать над „Соболями“. Но не мешает также начинать собираться в последний путь, укладываться, чтобы не кончить жизнь подзаборной собакой.

Разумник говорил, что слышал от человека, который слышал речь Семашко выпуску врачей: «Врачи должны

держаться классовой морали и не лечить кулаков!»»

«Надо перестроиться на новую молчаливую жизнь и освободиться от всяких скрытых претензий на признание и почет. Очень, очень возможно, что моя чувствительность к себе – остатки прошлого».

К этому надо прибавить новые разочарования и в личной жизни: на сей раз они касались не отношений с женой или неудачной любви на стороне, но пришвинского сына Левы, вздумавшего жениться.

«Переживаем с Павловной горе – Левину свадьбу. Вдруг окончательно вскрылась его советская пустота: это истинный герой нашего времени.

Значит, великое же мое горе, если собственного любимого сына ясно увидел, как «тип». Между тем ему все как с гуся вода и больше, он думает, что нас осчастливил...»

Что произошло – одному Богу ведомо, но эта, уже не первая размолвка с сыном отозвалась Пришвину через десять лет, когда он сам вторично женился, а в тот роковой тридцатый год вновь приходили писателю в голову мысли об уходе: «Я у границы того состояния духа, которое называется „русским фатализмом“, мне стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть и пойти по дороге до тех пор, пока в состоянии будешь двигаться, и, когда силы на передвижение себя совсем иссякнут, свернуть с дороги в ближайший овраг и лечь там. Я дошел до того, что мыслю себе простым, вовсе не страшным этот переход, совсем не считаю это самоубийством. (...) Меня удерживает от этого перехода привязанность к нескольким лицам, которым без меня будет труднее. И потому каждый раз, когда я около решения идти в овраг, меня останавливает жалость к близким и вдруг озаряет мысль: зачем же тебе идти в овраг,образи, ведь ты уже в овраге»; «Сиротой живу»; «Поскорей бы конец».

На рубеже десятилетий взгляд Пришвина на природу зла (вспомним: «Надо знать время, когда зло является творческой силой») усложнился. Человек системного ума и большой любитель бинарных оппозиций, разбросанных по всему Дневнику, Пришвин различал теперь два вида зла: «бессильное нетворческое мелкое повседневное зло» и «большое творческое зло вроде государственности». [\[1013\]](#)

В начале 30-х, по мнению Пришвина, произошло то, чего никогда не было прежде в отношениях между художником и властью за всю историю России со времен Пушкина.

«Весь наш писательский разлом и состоит в том, что принудительная сила государства распространилась теперь и на искусство, и на работников. До сих пор все художники были как бы вольноотпущенниками государства, и им предоставилось свободное самоопределение, иллюзия, по-видимому, необходимая для художественного творчества. И, поскольку государство теперь лишает его грамоты вольности, он является естественным врагом государства. Путь политического деятеля становится прямо противоположным пути художника, и требовать от художника политической деятельности и наоборот – от политика искусства – все равно что устроить заворот в кишках».

Одно государство вторглось на территорию другого и захватило его. Этого нападения не было ни в революцию, ни в Гражданскую войну, ни в 20-е годы, когда можно было смело дерзить наркому Семашке, писать полные достоинства письма Троцкому, говорить в лицо Каменеву о бандитизме властей на местах («Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях, ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. „Кто же

виноват?“ – спросил я. – „Значит, народ такой“, – ответил Каменев») и не бояться за последствия, но теперь все в одночасье переменялось, и писателя охватила чуть ли не паника: «...они обогнали нас: они узнали какой-то секрет, раскрывающий им тайный замысел всякого художника. Теперь больше не укрыться. Раньше не смели, но пятилетка им помогла, осмелились – и перешли черту. Теперь храм искусства подорван пироксилиновыми шашками, и это больше не храм, а груда камней. Но мы, художники, как птицы, вьёмся на том месте, где был крест, и все пытаемся сесть...»

Нет больше этого креста,<sup>[1014]</sup> и отныне место писателя, судьба его растворится в чану (улье) того нового государства, о котором Пришвин писал в пору его образования: «Создается пчелиное государство, в котором любовь, материнство и т. п. питомники индивидуальности мешают коммунистическому труду. Стоит только стать на эту точку зрения, и тогда все эти „изуверства“ партии становятся целесообразными необходимыми действиями». Казалось бы, отсюда один, последний шаг до написания антиутопии в замятинском, а то и оруэлловском духе. Но, будучи человеком исторического мышления, человеком вертикали, Пришвин исходил из того, что на пустом месте ничто не возникает, и вглядывался не только в верхушки, но и в корешки. Может быть, поэтому его взгляд на вещи был гораздо глубже и зорче исторических воззрений многих его современников, и происходившее в стране вызывало у жителя бывшей Вифанской, а ныне Комсомольской улицы бывшего Сергиева Посада, а ныне Загорска не только ужас, протест и возмущение, но и горькое ощущение закономерности и неотвратимости.

Безликое, пчелиное государство было ответом на вызов со стороны анархизма, разрушившего государство прежнее, и потому взгляд писателя постоянно обращался в прошлое – собственное и в прошлое русской литературы. Пришвин смотрел на все события в их исторической ретро- и перспективе, и перед его глазами уже несколько десятилетий в России шла острейшая борьба за право на разрушение и за долг созидания, между государством и обществом, война, которую объявленный аполитичным и далеким от общественной жизни Берендей читал, словно звериные следы в зимнем лесу:

«Анархизм.

Один утвердил себя в творчестве, он мог бы жить в свободном обществе, зачем ему государственная власть? И он называет себя анархистом (Толстой, Ибсен, Реклю).

Другой, как наш русский крестьянин, устроил себя в своем доме, в деревне, знает одну версту течения своей реки, и все, что приходит к нему от всего государства, – все это зло ему. Он анархист. Третий вышел на волю и свои удачи, свои достижения считает мериллом жизни, – тоже анархист?

Из всех этих элементов сложилась наша государственная власть, она знает, что все анархисты, все сволочи, и личностей не признает. Она безлична и отвлеченна, потому что исходит от личников, стертых трением друг о друга на пути к власти. Так возникает «колхоз» (садок анархистов)».

Запись эта примечательна тем, что здесь Пришвину, кажется, удалось нащупать больной нерв русской истории – проследить разорванную связь между прошлым и настоящим, увидеть генезис современного ему государства, когда эпоха крайнего индивидуализма сменялась эпохой столь же же крайней безликости, и



размах этого маятника от крайности к крайности был по-русски велик и разрушителен.

Новое государство было ново тем, что восстало против природы вещей, однако истоки этого мятежа Пришвин видел теперь не в изжившем себя конфликте между природой и культурой, а в извечном столкновении мужского и женского начала:

«Характерно, что теперь при победе мужского начала, „идеи“, „дела“ с особенной ненавистью революция устремилась в дело разрушения женственного мира, любви, материнства.

Революция наша как-то без посредства теорий нащупала в этом женственном мире истоки различимости людей между собой и вместе с тем, конечно, и собственности, и таланта. Революция создает женщину колхоза, которая отличается от рабочего-мужчины только тем, что имеет свободных четыре месяца: два перед родами и два после родов. И нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем рационализация половых отношений доберется до полного регулирования процесса зачатия и рождения рабочего человека, как это происходит у пчел».

«Говорят, однако, будто европейцы сговорились не трогать нас и дать возможность продолжить свой опыт для примера социалистам всего мира.<sup>[1015]</sup> Допустим же, что мы так и будем долго-долго с ворчанием и злобой идти по генеральной линии; так мало-помалу мы, все ворчуны, перемрем и вырастут настоящие пролетарии, у которых будет новое против нас чувство... Это, конечно, матери воспитывали у нас чувство собственности, которое и было краеугольным камнем всей общественности; с утратой матери новый человек трансформирует это чувство в иное: это будет чувство генеральной линии руководящей партии, из которого будет вытекать следствие - способность к

неслыханному для нас рабочему повиновению – и которое, как прямое следствие из первого, – неслыханная, безропотная работоспособность. В зачаточном состоянии мы и сейчас можем наблюдать проявление этих чувств, именно это и входит в состав той веры, которая окрашивала слова и поступки пролетарских деятелей»; (...) «Новый раб-(очий) уже не может ускользнуть от хозяина, как раньше, – в сокровенную личную жизнь под прикрытием хорошего исполнения хозяйского дела. Теперь он весь на виду, как бы просвечен рентгеновскими лучами»; «В нашем большевистском социализме не то страшно, что голодно и дают делать не свое дело, а что нет человеку сокровенного мира, куда он может уходить, сделав то, что требуется обществом. На этом попадались те усердные старатели из интеллигенции, истинные „попутчики“, которые легкомысленно пользовались давно пережитым (1нрзб) тех рабов, которые в прежнее время выслуживались и получали грамоту вольности. Они того не разумели, что против того темного времени рабства социализм далеко ушел вперед и обладает какой-то малопонятной способностью видеть раба насквозь.

Попутчики этого не учли и, после того как отдали свои силы, были просвечены и грамоту вольности не получили».

Окружавший Пришвина мир все более напоминал секту, замороженный клубок щетининских рабов, но двадцать лет спустя увиденное писателем в небольших размерах в начале века разрослось, выплеснулось за край малого чана и охватило всю страну. Сектантский эксперимент удался и снова манил броситься в чан. Но теперь Пришвин точно знал противоядие и призывал в свидетели и союзники консерватора и ярого антагониста всех декадентов и модернистов вместе

взятых: «К. Леонтьев: „Только создание для себя и по-своему может послужить и другим“.

Вот образец прежнего мироощущения!»

Только вот какая штука: хоть Пришвин и считал консервативное мироощущение единственно верным и в душе все больше к нему склонялся, он хорошо понимал и другое: прежнее никогда не вернется, прошлое исторически проиграло («К. Леонтьев – смелая, героическая личность, но... можно было предвидеть и сам он предвидел, что из всего его дела выйдет лишь жест»), а людям предстоит жить в новом мире. «Раньше (эпоха нэпа: „Кашеева цепь“) мне казалось, что из прошлого должно отобратиться достойное и на нем вырасти новая Россия. Теперь прошлое просто прошло, и новая страна уже родилась и растет», и отныне он стал вглядываться не столько в минувшее, сколько в грядущее. К окружающему его, окончательно устоявшемуся порядку вещей, который в обозримом будущем на его веку не мог сделаться лучше, нужно было приспособливаться, оставив надежды на иную жизнь за зеленой дверью, и приспособливание в пришвинской системе ценностей нельзя назвать конформизмом, потому что никакого смысла в сопротивлении писатель не видел и довольно резко отозвался об одном из своих знакомых, тайном «нон-конформисте»:

«Б. (по всей вероятности, загорский художник Бострем. – А. В.), в сущности, стоит на старой психологии раба, конечно утонченнейшего: он очень искусно закрывается работой, притом без всякой затраты своей личности: это не выслуга.

Конечно, он в постоянной тревоге, чтобы его не просветили, и в этой тревоге заключается трата себя, расход: легко дойти до мании преследования, тут весь расчет в отсрочке с надеждой, что когда-нибудь кончится «господство зла»».

Для человека с искренним либеральным рассудком вопроса «что делать?» не было и путь был предельно ясен – уходить в глухую оппозицию, все остальное неприемлемо и подлежит осуждению – но что было делать державнику Михаилу Пришвину, когда государство все меньше походило на его представление о том, каким оно должно быть, а делалось идеологизированным и устраивало погромы («Когда бьют без разбора правых и виноватых, и вообще всякие меры и даже закон, совершенно пренебрегающий человеческой личностью, носят характер погрома. Ужас погрома – это гибель „ни за что ни про что“»).

Какой выстраданной метафорой прозвучала одна из его записей 1932 года: «Тысячу лет и больше пересыхало болото, но почему же именно пересохло при мне?»<sup>[1016]</sup>

Но коль скоро досталось, раз пересохло, надо было принимать вызов и жить, выбрав путь не обличения, но утверждения: «Я спасаюсь иначе. Мне хочется добраться до таких ценностей, которые стоят вне фашизма и коммунизма, с высоты этих ценностей, из которых складывается творческая жизнь, я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом зле приток к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро».

«...Мне думается, что еще можно отстаивать свою позицию, которая состоит в том, чтобы личным примером в деле осуществлять то добро, которое обещают на словах».

Но вот что интересно и по-пришвински парадоксально. Ладно бы Пришвин, все понимая и исходя из того, что плетью обух не перешибешь, под

давлением обстоятельств вышел из «Перевала», сделал вид, что раскаялся перед рабоче-крестьянской властью за свои эстетические убеждения и связь с попутчиками, да и затаился б в лесной избушке, где его, авось, не достанут и рентгеном не просветят и принялся творить сказки или писать в стол. Все это было бы легко объяснимо и логично, но на деле выходило сложнее: «Если бы юноши из „На посту“ отказались бы от некоторых своих приемов убеждения, я сейчас был бы ближе к их организации, чем к „Перевалу“, – записал Пришвин в Дневнике одновременно с выходом из „Перевала“, – потому что из двух дам мне ближе теперь „Необходимость“ с ее реализмом, чем „Свобода“ с ее иллюзией и романтикой».

Повинуясь необходимости выживать, в конце 1930 года, сразу по выходе из «Перевала», Пришвин обратился в близкое к РАППу издательство «Молодая гвардия» с просьбой принять его «на службу как литератора, подобно тому как служат художники, архитекторы и т. п. с определенным вознаграждением».

«Мною избрана „Молодая гвардия“ вследствие того, что я, как старый мастер, хочу посвятить себя в дальнейшем исключительно трудной литературе для детей и юношества».

О том, что из этого вышло, замечательно написал А. С. Пришвин. Его обширные мемуары, на которые я уже не раз ссылался, были опубликованы в журнале «Дальний Восток», а затем в «отредактированном» виде входили в избранные издания его прозы, и эти, впоследствии изъятые фрагменты я возьму в скобки, чтобы показать читателю, как любили наши редакторы причесывать текст и... Пришвина.

«Как-то раз, по-моему, это было осенью 1929 года (видимо, мемуарист на год ошибается. – А. В.), Михаил Михайлович пригласил Леву и меня на заседание редакционного совета издательства «Молодая

гвардия», которое находилось тогда в Черкасском переулке. На этом заседании должен был обсуждаться его отчет об ударничестве в литературе. Дело в том, что Михаил Михайлович объявил издательству «Молодая гвардия», что он отказывается от гонорара, а просто согласен получать по пятьсот рублей в месяц, а все написанное им будет давать издательству безвозмездно.

[– А что, Алексей Толстой может быть ударником, а я нет? – говорил тогда Михаил Михайлович. – Чем я хуже Алексея Толстого? Вот пойдете на заседание редакционного совета, и вы посмотрите, как я очарую этих очень приятных, на мой взгляд, молодых людей.]

Поехали в издательство. Ехали гремящим трамваем, который почему-то часто останавливался. Дядя Миша нервничал, хотя поводов для этого не было никаких.

– Пойдемте пешком, – предложил он. – А то этот трамвай...

Идти было недалеко. Мы соскочили с трамвая и быстро зашагали вперед. Дядя Миша [жадно] курил.

Пришли в издательство. В небольшой комнате густо набилось народа. Все сидели какие-то пожилые дамы. Особенно мне запомнилась одна: на ней было желтое платье, а в руках никогда мной не виданный лорнет. Дядя Миша осмотрел зал и сказал несколько вступительных слов, смысл которых сводился к тому, что вот он недавно закончил рассказ, который сейчас и прочтет, потому что отчет писателя – это, в первую очередь, рассказ о том, что он сделал как писатель, вот это и надо обсуждать.

Затем Михаил Михайлович начал читать только что законченный рассказ «Полярный роман». Читал он, как всегда, мастерски. Как песню. Рассказ Михаил Михайлович прочел часа за полтора, затем замолчал, захлопнул папку и поднял глаза, чтобы проверить, какое впечатление произвел рассказ на собравшихся.

Но зал молчал. Потом откуда-то из последних рядов пополз вверх плакатик, на котором было [крупно] написано: «А взято уже 6000 рублей!» Это подняла его та самая дама в ярко-желтом платье.

И снова тишина.

- Кто желает слова? - снова спросил председательствующий. - Я думаю, что рассказ Михаила Пришвина представляет определенный интерес и вызовет оживленные прения.

Молчание. Только дамы шушукуются между собой.

- Так кто желает слова? - снова спросил председательствующий.

Снова молчание, которое становилось просто неудобным. Потом раздался голос:

- Дайте мне, я скажу несколько слов...

Это произнес, поднимаясь, высокий, мешковато сложенный мужчина с огромными, постоянно двигающимися руками. Он начал свою речь вкрадчивым, ласкающим голосом:

- Дорогой Михаил Михайлович!..

- Кто это? - тихо шепнул я на ухо Леве.

- Ося Брик, - ответил Лева. [- У него есть отчество, но его никто не знает, все говорят: Ося да Ося.]

- Дорогой Михаил Михайлович! Мы все знаем вас как непревзойденного мастера короткого рассказа. Вы великолепно строите сюжет, у вас все как будто вытекает одно из другого. Вот и сейчас вы представили на наш суд свой рассказ «Полярный роман». Рассказ написан превосходно, все детали очерчены выпукло, как бы просвечивают. Словом, все великолепно. Эту лисицу полярную мы видим, как живую. Но... - он сделал многозначительную паузу. Обвел глазами собравшихся и продолжал: - Но нет в вашем рассказе того, как это называется... Да, да, духа, советского духа... Вы не улыбайтесь, пожалуйста... Вот, к примеру,

вы пишете о вороне, а у вас не чувствуется, что это наша, советская ворона...

- Как, как? - вскричал Михаил Михайлович. - Советская ворона?

- Да, да! - продолжал настаивать Брик. - Именно не чувствуется.

Конечно, сердцу не прикажешь... Вот так... Вот и все, что я хотел сказать...

[По мере того как говорили другие ораторы, Михаил Михайлович все больше и больше наливался краской. Он начал понимать, что происходит: это была во всех деталях продуманная, тщательно взвешенная травля писателя. ] Руки Михаила Михайловича лихорадочно шарили по столу, собирая листки рукописи. Наконец он встал и попросил слова.

- Это все, конечно, шутки шутили. Я не могу поверить...

- Какие шутки, Михаил Михайлович? Нам не до шуток. Ведь взято уже шесть тысяч рублей...

- Ах так! - воскликнул Михаил Михайлович. - Ах так! Тогда я должен вам заявить со всей ответственностью: для меня ворона всегда и есть ворона. И точка! Ваши деньги я вам возвращаю, договор - к черту, и чтобы моя нога хоть раз переступила через этот порог... Нет уж, увольте...

Мы шли по улице удрученные. Лева спросил:

- А он рапповец?

- Ты о ком?

- Да этот, Брик.

- Наверное... - Дядя Миша опять замолчал, потом воскликнул с каким-то облегчением: - Черте что выдумали! [Че-пу-ха!.. Пошли в ресторан обедать]».

Любопытно, что этот гипотетический и даже фантастический, совершенно невероятный, казалось бы, сюжет «Пришвин в РАППе» писатель неоднократно проигрывал и в голове, и наяву, покуда Ассоциацию



пролетарских писателей не разогнали в апреле 1932 года постановлением ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций» и решением об объединении всех писателей, поддерживающих платформу советской власти, в один союз.

Всего за несколько месяцев до исторического манифеста Пришвин записал в Дневнике: «Вот, положим, я дикий писатель (попутчиком никогда не был) и кое-что пишу полезное, но допустим, что я принят в РАПП. Вначале я ничего не буду писать, я буду привыкать, и когда освоюсь с предметами в „перестройке“, то буду летать по-прежнему».

Или: «Если бы я, например, пришел в РАПП, повинился и сказал, что все свое пересмотрел, раскаялся и готов работать только на РАПП, то меня бы в клочки разорвали (...) Причина этому та, что весь РАПП держится войной и существует врагом».

Есть и такая запись, где шутовство меняется с очень серьезными для Пришвина понятиями и где предсказывается его отдаленное будущее:

«Вот дадут в Москве комнату, пойду я к вождям РАППа и всякого рода МАППа и прямо раскрою тайники их души, вникну в те тайники их тайных желаний, из которых потом что-нибудь хорошее, новое сложится. Я искренно отрешусь от себя, выброшу весь балласт свой, чтобы подняться до них и почувствовать ту великую сущность, ради которой теперь родной сын колет своего родного отца. Я переживу там, в Москве, эту тему жизни, столь непонятную и странную всему христианскому и дохристианскому, всему культурному миру...»

Конечно, это были умозрительные рассуждения, но вряд ли они возникли на пустом месте, и вот любопытный факт: судя по воспоминаниям Н. Реформатской (жены известного ученого-языковеда А.

А. Реформатского, чей учебник «Введение в языкознание» зачитан до дыр поколениями филологов), с которой Пришвин был знаком с 1930 года, 16 апреля 1932 года, то есть в день, когда открылось второе (и последнее) производственное совещание поэтов РАППа, Пришвин на нем присутствовал и в перерыве был замечен мемуаристкой «одиноко вышагивающим по узкому фойе».<sup>[1017]</sup> Когда же Реформатская удивилась, что он «не на охоте – самая пора, ток, тяга, Михаил Михайлович мимикой и жестом пояснил, дескать, и тут важно быть».<sup>[1018]</sup>

Свидетельствовали ли эти раздумья и явление Пришвина на пролетарское собрание о том, что он готовился вступить в Российскую ассоциацию пролетарских писателей? Судить об этом мы не можем, но известно: постановление ЦК о ликвидации РАППа, последовавшее через неделю после этого «производственного совещания», было настолько неожиданным, что застало многих колеблющихся и готовых примкнуть к радикальному большинству врасплох, и позднее Пришвин не случайно и не без волнения отзывался о памятном для всей литературной России событии:

«Скрытый враг постоянно отстраняет меня от успеха и признания в данном отрезке времени, но когда этот отрезок проходит и наступает другой, то мне начинает казаться, что тот скрытый враг на самом деле был мудрым другом моим и охранял меня от успеха на том отрезке времени. Так вот один поэт напечатал в „Известиях“ поэму „Мой путь в РАПП“, а на другой день эти же „Известия“ напечатали распоряжение правительства о роспуске РАППа».<sup>[1019]</sup>

Один поэт – Владимир Луговской.

А когда рухнул РАПП и «наконец-то сломалась эта чека мысли и любви» (сказано за пятнадцать лет до

Оруэлла с его Министерством любви! - А. В.), освобождение писателей из плена Пришвин сравнил с освобождением крестьян от крепостной зависимости без земли:

«Свобода признана, а пахать негде, и ничего не напишешь при этой свободе». [\[1020\]](#)

«Задача писателя теперь такая, чтобы стоять для всей видимости на советской позиции, в то же время не расходиться с собой и не заключать компромиссы с мерзавцами». [\[1021\]](#)

Эти слова многое объясняют в творческом поведении Михаила Пришвина: «...У меня есть общие корни с революцией, я понимаю всю шпану, потому что я сам был шпаной... И я потому смотрю на их движение по меньшей мере снисходительно... Иногда мне даже кажется, что, по существу, бояться мне нечего и если бы пришлось в открытую биться за революцию, то враги бы мои отступили». [\[1022\]](#)

Но ни самоуверенности, ни самоуспокоения в душе не было ни до, ни в первые месяцы после разгона РАППа, состояние его было очень неуверенное, жизнь казалась мучительна, тяжела, зло включалось в художественный мир, входило в творчество, и душа этому противилась:

«Я теперь живо представляю себе состояние духа Л. Толстого, когда он желал, чтобы его тоже вместе с другими мучениками отправили в тюрьму или на каторгу. И мне теперь тоже жизнь в ссылке, где-нибудь на Соловках, начинает мерещиться как нечто лучшее. Я накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу». [\[1023\]](#)

## Глава XXII

# ПОБЕДИТЕЛЬ

Однако вместо побега в картофельный трест, сдачи профбилета и приобретения патента на кустарные работы, вместо отъезда за границу, наконец, в 1931 году Пришвин совершил две поездки по стране. Одну – в Свердловск, другую – на Дальний Восток. Первая почти никак не отображена в его творчестве («Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет»; «Та чудовищная пропасть, которую почувствовал я на Урале между собой и рабочими, была не в существом человеческом, а в преданности моей художественно-словесному делу, рабочим теперь совершенно не нужному»), а благодаря второй он создал свой шедевр «Женьшень», который принес писателю мировую славу. Но создал не сразу, первые работы, посвященные «Даурии», большого успеха не имели и с трудом увидели свет, не то что «Корень жизни»...

Такие книги, как «Жень-шень», писатель иногда и сам не знает, как смог написать, они ему как будто нашептываются, посылаются в награду за терпение, тяжесть литературного труда, упорство, одиночество.

«Как я писал „Жень-Шень“, был в унижении газетных нападок, писал с коптилкой, – отняли у писателя электричество, а у соседа, слесаря-пьяницы, оно горело. Писал, не надеялся даже на признание, подавляя мысль об уходе из жизни. И написал!»

А в 1937 году прямо заявил: «Единственная вещь, написанная мной свободно, – это „Корень жизни“».

На более официальном уровне Пришвин, правда, представлял эту историю иначе и связывал написание новой повести не с сопротивлением, а с роспуском

РАППа. В 1934 году, когда Михаил Михайлович стал членом правления издательства «Советский писатель», он написал для издательской стенгазеты статью «Михаил Пришвин рапортует XVII съезду», где есть довольно любопытное свидетельство: «В период начала развернутого соц. строительства господство в литературе организ. РАПП своим бездушным, презрительным, надменным отношением к моему и всякому „по-своему“ творчеству отбило у меня охоту писать. В это время я занимался изучением звероводства и, решив вовсе оставить литературу как профессию, начал переговоры с Картофельным институтом о работе моей в нем как агронома. Внезапный роспуск РАППа вернул меня к искусству слова. Я, обрадованный, в один месяц написал, как думаю сам и как говорят, лучшую вещь из всего мной написанного за всю жизнь – „Корень жизни“».

Эту книгу можно прочесть по-разному: и как поэму о любви – к женщине, к природе, к Божьему миру («Вот откуда произошел „Жень-шень“: из нерастраченного чувства любви»), и как гимн отшельничеству, исповедь счастливого беглеца, удавшаяся таежная робинзонада в противовес робинзонаде несчастной, неудавшейся, дорогобужской или более ранней елецкой, или его нынешней, сталинской, среди людоедов. Наконец, «Жень-шень» – своеобразный справочник по оленеводству, и не случайно, закончив работу над новым произведением, почувствовав творческую удачу, Пришвин высказал одно-единственное опасение: «Если только не окажется перегрузки в сторону оленеводства и описание этого будет читаться легко, то вещь будет очень хороша именно тем, что, несмотря на ее глубокое содержание, она будет читаться всеми».

И все же главное в «Жень-шене» не это. Прежде всего «Корень жизни» есть осуществившаяся утопия, и в утопии заключена ее громадная литературная

ценность, здесь получило новое и мощное развитие стремление Пришвина утверждать и созидать наперекор всему; здесь предъявлено живое литературное доказательство, что такое созидание даже в советских условиях возможно, что живя в пещере, можно приносить радость людям. «Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге».

Нет никаких оснований считать эти слова уступкой времени и конъюнктурой, Пришвин искренне и с чистым сердцем написал книгу желанную, потому она имела успех, в ней он нащупал главное свое сокровище: умение писать поэтические сказки со счастливым концом и побеждать радостью страдание.

«Жень-шень» странная книга: она может показаться скучноватой, слишком красочной и экзотичной, несмотря на свой малый объем, чересчур подробной, но чем-то держится напряжение читателя, чем-то неуловимым, что и называется искусством, при том, что повесть получилась опять-таки бесчеловечной.

В самом деле, много ли мы знаем о герое, о женщине, ему привидевшейся, [\[1024\]](#) о китайце Лувене и его товарищах – они проходят фоном, они если и личности, то слишком стертые, тусклые, гораздо большей личностью по сравнению с ними выглядят и щедрее написаны Хуа-Лу или боевые олени-самцы. Но это и есть искусство «поверх барьеров». Рассуждал, рассуждал Пришвин о любви, в Дневниках, в «Кашеевой цепи», иногда занудно и утомительно, а чаще живо и непринужденно, вилась и кружилась его мысль, точно преследовала запутавшего следы зверя, и настигла его.

Не героиню свою, но самую жизнь удалось схватить Пришвину за копытца. И читающая Россия, очень разная, противоречивая, это оценила, и Пришвин успех почувствовал: не случайно он привел в Дневнике восхищенную оценку «Жень-шеня» А. М. Коноплянцевым, который считал, что повесть войдет в мировую литературу, и Пришвин, сам это понимая, лишь суеверно старался «не придавать этому большого значения», чтобы о себе не возомнить и не помешать дальнейшим исканиям, а между тем «о „Женьшене“ даже рецензии нет нигде».

Отсутствие рецензий ничего не означало. Как тридцать лет назад, в жизни наступил «перелом» – вчера еще гонимый, затравленный, униженный, готовый все бросить или покончить с собой, прошедший сквозь большевистский пусть не ад, но чистилище (чистки), Пришвин вновь оказался на коне.

Мирный договор между старейшим писателем (с некоторых пор Михаил Михайлович полюбил эту дефиницию, за которую было удобно прятаться, снисходительно называя своих критиков «юношами») и пролетарской властью был подписан осенью 1932 года на Пленуме организационного бюро по подготовке Первого съезда советских писателей, куда Пришвин попал по приглашению навсегда вернувшегося из-за рубежа Алексея Максимовича Горького и где выступил с примиряющей речью, причем в полном соответствии с традициями дипломатии и искусства пропаганды каждая из сторон считала победительницей себя.

Пришвин: «30-го моя речь „Сорадование“. Победа. Воистину Бог дал. Самое удивительное, что вынесло меня по ту сторону личного счета со злом и оба героя, бонапарты от литературы Горький и Авербах, получили в моей речи по улыбке». [\[1025\]](#)

А вот что думали об этой ситуации верхи. Вскоре после пленума И. М. Гронский написал Сталину и Кагановичу: «Наметившийся на первом пленуме поворот правых писателей в сторону советской власти (заявления Андрея Белого, М. М. Пришвина, Пантелеймона Романова, Рюрика Ивнева, Бор. Пильняка, укр. пис. и др.) оказался более значительным, чем мы предполагали вначале».

По всей видимости, эти настроения нашли отражения либо в прессе, либо в охочей до слухов и пересудов литературной среде, и две недели спустя Пришвин с горечью написал в Дневнике: «Чем дальше отходим от Пленума, тем гнуснее становится положение писателя в СССР: ведь если мою сказанную речь и Белого исказили на свою пользу, то как же в невидимых и неслышимых делах! И далеко ли можно уехать во лжи!»

На самом деле речь Пришвина была противоречивой, и искренность в ней мешалась с недомолвками и лицедейством, к которому писатель уже давно прибегал. Ничего иного и быть не могло. Берендей охранял свою пещеру от людоедов как умел, и если сравнить основные положения выступления с дневниковыми записями предшествующих лет, можно увидеть то ли игру, то ли диалог с самим собой, – но в любом случае хорошо скрытое ерничество и фирменную пришвинскую ядовитость:

«В прежнее время литература была невыгодным занятием, а сейчас она – выгодное занятие (...) Государство покровительствует литераторам. Я думаю, что нигде в мире нет такого покровительства писателям, какое существует у нас», – говорил Пришвин на пленуме.

(«Литература, вероятно, начнется опять, когда заниматься ею будет совершенно невыгодно», – писал он меньше года назад в Дневнике.)



«А тут ударничество пошло. Это замечательное явление», – продолжал писатель на пленуме.

(«К. вчера рассказывал, что на фабриках и заводах ходят бригады каких-то „писателей“ и говорят рабочим: „Товарищи! У нас на литературном фронте прорыв, идите помогать писателям“ и т. п.

Я вчера в лесу в кустах спугнул какого-то оборванца, у него был карандаш в руке и тетрадка – это, конечно, «писатель». Было очень мрачно, в этих ноябрьских кустах, голых совершенно и подостланных желтой травой. Оборванный поэт, молодой человек, безумными глазами окинул меня и побежал...» – записал Пришвин в Дневнике.)

«Я всю жизнь мечтал о том, что из низов пролетариата, из низов крестьянства будут выходить поэты. Но мне казалось, что их будет выходить гораздо больше, нежели они теперь выходят. Они выходят меньше, чем должны быть. Но все-таки это явление меня глубоко волнует», – говорил он на пленуме.

(«Потом встретился сумасшедший Александр Иванович Майоров, нес провизию с рынка и не удержался: из-под хлеба достал переплетенную тетрадку своих стихов, тех самых, которые отвергли все редакции. Он уже было совсем отчаялся и запил на некоторое время, я думал – кончилось. Нет, вот опять. Он же теперь все переписал, многое исправил, переплел. „Может быть, теперь напечатают?“ – робко спросил он. Неизлечимая болезнь, куда хуже алкоголя. И сколько их», – записывал он в Дневнике.)

Но были в этой речи и совершенно искренние высказывания:

«Вы работаете, вы все-таки нервы отдаете работе, у человека годы проходят на этой работе (странное и какое-то неслучайное интонационное совпадение с будущим знаменитым монологом Егора Прокудина из „Калины красной“ Шукшина. – А. В.), и вдруг говорят,

что вы мистик, вы разъяснены. Я хочу какого-то содружества, радости, а тут черт знает что получается (...) Я потерял читателя. Такое было у меня состояние до постановления ЦК партии (...) Ужасно скверно и оттого, что между нами враждебное чувство, мы не радуемся, мы – такие люди, которые пришли в литературную среду, ничего общего с ней не имея, друг друга не понимаем и не радуемся друг другу».

Далее, как сказано в стенограмме, последовали «продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты».

Окончательная индульгенция Пришвину со стороны властей была оформлена в следующем, 1933 году, когда писателю исполнилось 60 лет. Юбилей отмечали в Дубовом зале теперешнего ЦДЛ, на вечере среди прочих выступал Андрей Белый, которому оставалось жить меньше года, и, по воспоминаниям Реформатской, его речь была «дружественно-восторженной», он рассказывал о волшебнике слова, вышедшем из глуши северных лесов и озер. Юбиляр, развивая начатую на пленуме карнавальную традицию, выступил с докладом, который позднее переделал в статью «Мой очерк» – еще одну «охранную грамоту» 30-х годов, опубликованную в «Литературной газете».

«Мой очерк» – произведение неожиданное, уникальное по приему. Оно написано Пришвиным о самом себе в третьем лице в весьма комплиментарной и настолько серьезной, назидательной манере, так веско, что даже трудно заподозрить игру, хотя, конечно же, это одно из самых игровых произведений русской литературы 30-х годов – странная пародия на несуществующий жанр апологетической критики малосоветского (как бывают малосольные огурцы) писателя, ответ хулителям и чистильщикам из тридцатого года и – как сверхзадача – увод всего написанного из-под огня недружественной критики

путем объявления собственного наследия очерками: от первого – «В краю непуганых птиц» до последнего – очерка своей жизни «Кашеева цепь» и книги «Журавлиная родина».

Для своего времени, когда над русской литературой пронеслась, по выражению Л. М. Леонова, «очерковая буря», то был грамотный тактический ход, снимавший все упреки во враждебности, несовременности, аполитичности и прочих грехах. Свое же творческое кредо Пришвин сформулировал следующим образом, как будто бы нимало не противоречащим канонам зарождающегося социалистического реализма: «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью». [\[1026\]](#)

Публикация очерка в «Литературной газете» предварялась небольшой поощрительной статьей Горького. Благодаря этой литературной акции, при чудовищных горьковских наворотах, впрочем, прекрасно рифмовавшихся с его же предисловием к собранию сочинений Пришвина конца 20-х годов («Мы должны оплодотворить страстью к знанию 160 миллионов единиц – вот идеальная цель!»), прошедший сквозь чистки рубежа десятилетий Пришвин был окончательно легализован в советской литературе – как добросовестный творческий очеркист – взят под охрану, и с этого момента его творческие дела пошли в гору.

Пришвин чувствовал себя победителем и мысленно отвечал на лучший по его мнению вопрос, который могли бы ему задать критики и читатели и который он сам себе в Дневнике задавал:

«Каким образом вы уцелели, Михаил Михайлович, и как это вы сохранились?» – и, приведя в пример Гёте, заключал: «Я шел путем всех наших крупнейших писателей, шел странником в русском народе, прислушиваясь к его говору».

В конце десятилетия эта мысль опрокинется и зазвучит иначе: «Я часто думаю о себе, как я мог уцелеть как писатель в тяжелых условиях революции, как не стыдно так сохраниться», но тогда, окрыленный успехом, полный вдохновения и сил Пришвин размышлял над продолжением «Кашеевой цепи», и далекая по времени, но близкая душе эпоха богоискательства по-прежнему привлекала его.

Летом победоносного 1933 года, за три недели до знаменитого писательского десанта, Пришвин вместе с сыном Петей отправился на Север, в те самые края, где путешествовал четверть века назад, но где теперь жизнь так переменилась: в краю, по которому проходили его ранние дороги, заканчивали строить «дорогу осудареву» – Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина.

Попасть в эти места теперь по доброй воле было делом невозможным, вопрос о поездке могли решить только в ОГПУ, и каким образом Пришвин связался с этой организацией и почему его поездка происходила по индивидуальному плану, а не вместе со всем писательским коллективом, была ли на то его воля или так сложились обстоятельства, остается только гадать. Некоторый свет проливает статья из стенгазеты «Совписа», на которую я уже ссылался и где Пришвин объяснил идею своего путешествия следующим образом:

«Вместе с возвращением к лит. творчеству нового времени я задумал пересмотреть все написанное мной, начиная с очерков севера, и начать издание своих сочинений в свете самокритики. С этим предложением я

обратился в Оргкомитет (скорее всего по подготовке Первого Всесоюзного съезда писателей. – А. В.) и просил оказать мне содействие в поездке на Белом. канал, в Хибины, Новострой и т. д. Повторные мои заявления оставались без ответа до тех пор, пока решающее место в Оргкоме не занял т. Фадеев. Тогда Оргкомитет обратился к ГИХЛу (Государственное издательство художественной литературы. – А. В.) и в ОГПУ, к первому с предложением издать мои северные книги, ко второму – оказать помощь в поездке на места. После поездки на север я принял участие в создании коллективного труда писателей о Беломорском канале, переработал и сдал в печать свою первую книгу «В краю непуганых птиц», через короткое время я сдал другую книгу о севере – «Колобок»».

Из этой поездки Пришвин привез два очерка, одному из которых дал название «Отцы и дети (Онего-Беломорский край)», а другому – «Соловки». Оба текста издавались мало (в «Красной нови» и в первом томе собрания сочинений 1935–1939 годов, где автор включил «Отцов и детей» в текст «В краю непуганых птиц», а второй прибавил к «Колобку»), но новые произведения не были включены в известный сборник «Канал имени Сталина», изданный в Москве в 1934 году, для которого писались. Пришвин был уязвлен, но записал в Дневнике: «Шумяцкий поздравлял меня с тем, что я там отсутствую: вышла столь ничтожная вещь!» Ни в шеститомное 1956–1957, ни в восьмитомное 1982–1986 годов издание собрания сочинений Пришвина, ни в многочисленные книги избранных произведений писателя 50—80-х годов эти очерки не входили и на сегодняшний день стали едва ли не раритетом.

Пришвин писал новые очерки, имея в виду собственную теоретическую установку освоения материала и «с тревогой, что не осилишь прошлого, не найдешь в себе достаточно уважительного внимания к

новому, чтобы выбрать и понять в прошлом живые творческие силы, это же новое и создавшие». Таким образом, писатель намеревался связать две эпохи, причем связующим звеном выступала не столько преобразенная человеческим трудом земля и ее преобразователи (или жертвы этого преобразования), сколько личность писателя, и поэтому в терминах строительства гидросооружений он описывал снова свой путь и вспоминал первую книгу, некогда здесь задуманную: «Первая моя книга была первым шлюзом моего литературного канала, ведущего на новую родину».

Так и вышло, что, еще не остыв от юбилейной горячки, речей, поздравлений и статей, Пришвин опять написал книгу о своем становлении как художника. Самая больная тема описанного им строительства – использование рабского труда – получила на страницах новых «Края» и «Колобка» такое освещение, что, читая сегодня иные из пришвинских строк, диву даешься, как мог он их написать и как могли их опубликовать и ничего ему за это не сделать?

Судите сами. Вот едет писатель в поезде и ведет (излюбленный его очерковый прием) разговор с попутчиками:

«С большим сочувствием я обратился к своему соседу, грустному железнодорожному старику:

– Этот край – ваша родина, или, может быть, вы здесь нашли себе родину?

– Мне дали катушку, – ответил старик.

Я не понял. Он сказал по-другому:

– Червонец.

Другой пассажир помолчал, спросил:

– Вы получили катушку через вышку?

Это значило: десять лет взамен высшей меры.

– Нет, – сказал железнодорожный старик, – я получил просто катушку, и мне ее учли за три года моей

работы. После того я уже семь лет добровольно работаю.

Что было на это сказать, ведь я только что думал о своей первой утерянной родине и потому постарался утешить старика:

- К лучшему, может быть, потеряли, - сказал я.

- Да, - ответил старик с улыбкой, - в этом роде думают тоже и заключенные урки».

И все... ни комментариев, ни оговорок, ни объяснений - за что дали старику срок (убил сельского активиста, украл колосок, был кулаком, купцом, вором, белогвардейцем?), почему так, а не иначе думают урки о потерянной родине, почему он не едет домой, где его семья - здесь нет всей той тягучей, приторной дидактики, ни обязательного рассказа о прошлой жизни, ни пафоса перевоспитания, которыми наполнен сборник «Канал имени Сталина». («Книга рассказывает о победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над десятками тысяч социально-вредных единиц», - писал М. Горький в заключении к коллективному труду советских писателей.) Пришвин остался верен себе, написав лишь о том, что видел («В этом и есть секрет моей долговечности в литературе: я пишу только о том, что сам лично пережил»<sup>[1027]</sup>), - но сколько встает за этой мимолетной сценой!

Или другой эпизод. По дороге на Соловки, в Кеми, автор описывает хор мальчиков, составленный из соловецких уроков - как будто благое начинание советской власти - но рядом с картиной поющих «Интернационал» мальчиков портрет дирижера: «Старый музыкант, с лицом фавна, такой худой, что рыбы ребра его обозначились даже из-под рубашки».

В этих небольших по объему очерках «бесчеловечный» Пришвин возвращался к теме

людского всеобщего страдания не раз, постоянно ее если не подчеркивал, то обозначал контуры, иногда это страдание подневольных людей, от несправедливого ээка до несправедливого врача или инженера, пробивалось в сценах, написанных, чтобы вызвать у читателя улыбку. Например, такая: объевшись в Кеми знаменитой соловецкой селедкой, сопровождавший отца Петя заболел животом. А пора было выходить в море.

«Ни малейшего смущения не было на лице нашего начальника при виде умирающего гостя. С чисто американской деловитостью взял он трубку телефона, вызвал старшего врача и тут же, по телефону, узнав, во сколько часов пароход отходит в Соловки, велел врачу, указывая на полумертвого Петю: „Поставить на ноги!“ – „Есть!“ – отозвался врач».

Как легко догадаться – поставили.

В Дневнике Пришвин скупое написал об обстоятельствах своего путешествия и о том, как оно осуществлялось. Но из очерков можно понять: Пришвина и Петю, что называется, не принужденно вели. Вот как все начиналось: «Мы явились в Услаг за пропуском в Соловки и просили дежурного передать начальнику Услага записку из Москвы с простым содержанием, написанном второпях, кое-как чернильным карандашом: начальник главного управления лагерями просил оказывать мне всякое содействие в отношении передвижения, питания, жилища, с особенной просьбой показать все интересующее нас».

Однако с показом все вышло не так просто. Когда по дороге на архипелаг писатель попытался пообщаться с командой буксира «Ударник», состоявшей из заключенных, он потерпел горчайшее фиаско (хотя и о путешествии на поезде в Дневнике Пришвин написал иначе, чем в очерке: «В вагоне люди молчали; первая



ступень цивилизации: не болтать, живи сам с собой и делай; не болтают и отвечают кратко...»).

«На вопросы они отвечали дельно и коротко, оставляя внутри себя свою личную жизнь. В виде опыта я заводил речь об их личной жизни, как живется, как что нравится или не нравится; и все они отвечали мне как воспитаннейшие англичане: кажется, очень искренне и с большой готовностью, но в то же время наставляя тебе обеими ладонями в растопырку длинный нос».

Что-то он видел сам, что-то рассказал ему его Вергилий – начальник культурно-воспитательной части по фамилии Гернеш, хотя отношения между писателем и комиссаром не сложились и Пришвин чувствовал в обращении маленького лагерного начальника с дотошным посетителем то же, что и с вышколенной командой «Ударника» – свою ненужность в этом мире и наставленный нос:

«Он очень почитал меня, как известного писателя, тридцать лет тому назад написавшего „Колобок“, книгу о севере, и везде говорил о моем волшебном проводнике, превращающем всякую действительность в сказку, но он глубоко презирал во мне, ныне существующем, живого человека, способного еще что-нибудь написать, и не видел колобка, ведущего меня в этом путешествии».

Видел ли его Пришвин – вот вопрос. Нет ли здесь новой мистификации или игры: откуда было Гернешу прочесть «Колобок» и уж тем более говорить о превращении действительности в сказку? Не сам ли Пришвин встает на его точку зрения, отстраняясь от себя и своей задачи описать неволю? Пришвин изо всех сил пытался остаться верным себе и сохранить преемственность творческого пути – не случайно по форме соловецкий очерк, как и посвященная

Соловецкому монастырю глава из «Колобка», построены в форме письма к другу.

«Дорогой друг! Не хотел бы я быть заключенным и вовсе не потому, что боялся бы утратить личную свободу, - нет! Я не хотел бы заключение только потому, что едва бы мог найти в себе такую силу, чтобы справиться с чувством личной обиды, мешающей, независимо от себя, уязвленного, следить за движением истории. Я тоже не хотел бы остаться равнодушным и быть только свидетелем. А вот бы мне очень хотелось принять к сердцу соловецкое дело и творчески продолжить его и просветить ясным сознанием...»

В старом «Колобке» таким другом и адресатом был А. М. Коноплянцев.

В новом - формально тоже, а по существу... Впрочем, свою версию я предложу немного позднее.

Как и упомянутый в первом крае непуганых птиц Надвоицкий водопад (так сильно изменившийся после строительства Беломорканала: «Узнавал долго, вдруг увидел: черные неподвижные камни, как беззубая почерневшая челюсть... а тогда было, как белые зубы. И так за 30 лет народ русский: то русло почернело... а вода бежит по иному пути»), Соловецкий монастырь для Пришвина - место символичное, своеобразная веха, и он постоянно оглядывался назад, обращался к прошлому - не монастыря, но своей встречи с ним:

«Тогда еще Соловки были мне как прошлое моего родного народа, как милая древность с неприятным для меня запахом ладана и постного масла. Тогда в письмах своих к вам я добродушно посмеивался над тем, что для некоторых тогда еще было святыней. Но теперь это прошлое совершенно прошло, и встреча с ним тяжела: тебе хочется трудную жизнь свою кончить песней о здравии, а родные древности требуют, чтобы ты служил им заупокойную».

Служить панихиду следовало бы не только по реликвиям. Пришвин видел и безмерное страдание живых. «Север: гонимые матери с младенцами, и все, что мы видели на Соловках, и статуя на канале, и трупы в лесах», – записал он в Дневнике. Сказать о главных узниках острова и строителях лагеря – крестьянах, священниках, монахах, дворянах, офицерах – он не мог, но странным образом переключаясь на сей раз уже с третьей своей книгой о русских сектантах («У стен града невидимого») при нынешнем далеком от идеализации отношении к бегунам, которые пополняли число арестованных и жестоко страдали, ибо за отказ выходить на работу почти не получали еды, Пришвин сумел сказать об их трагедии, и щемящие детали реальной лагерной жизни невольно пробивались сквозь ткань волшебного повествования.

«И так вышло против всякого желания начальства, что несколько десятков таких людей долго сидели, отказываясь от работы, и не называли своих имен. Они пересидели все сроки, и их охотно бы выпустили, но в том-то и дело, что странникам невозможно было по своим убеждениям открыть свои имена, а начальству невозможно было отпустить на волю безымянных людей». [\[1028\]](#)

В сюжете с бегунами-отказниками путешественника привлекла история одной девушки, которую комиссар Гернеш, «понимая, как это неестественно живому прекрасному существу оставаться среди хлама, среди никому не понятного суеверия», сумел обманом привлечь к уходу за телятами, а потом за хорошую работу наградил отрезом материи на юбку. Отрез материи был столь невелик, что юбка получилась короткая.

«Когда Маша Отказова, зардевшись, принесла отрез, ей прислали портниху, и когда платье было

готово и она увидела себя в коротенькой юбочке, то сама тут же попросила фотографа, чтобы сняться и дальше процветать на этом приятном пути ухода за холмогорскими телятками».

Эта сентиментальная, с легким и зловещим налетом гулаговской эротики история (что ждало эту девушку и для какой судьбы ее готовили?) перекликается с другой женской судьбой – молодой монашки, которая в лагере забеременела, дважды пыталась покончить с собой, а потом все-таки родила. Когда же повествователь, услышавший этот сюжет от акушерки, попытался осудить безответственного папашу, рассказывавшая ему о лагерной любви женщина разгневалась «за недоброе слово» и «долго говорила о проделках и ухищрениях никому не известного Фауста, помогавших ему, чтобы изредка видеться с матерью и передать ей все, что он зарабатывает».

Об этом он смог написать. О том, что не поверил ни в какую перековку («Можно восхищаться деятельностью нашего правительства в отношении воров, но только нельзя понимать „перековку“ в глубоко моральном смысле и реветь, как Горький»<sup>[1029]</sup>), что Беломорканал строили в основном крестьяне, а вся слава отдана уголовникам – нет.

От Соловков у Пришвина осталось такое впечатление: «Я почувствовал Соловки в двух планах: одни Соловки – чисто человеческие – ушли отсюда на Беломорский канал, другие коренятся в местной природе, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное».

Последнее и есть главная идея двух очерков. Пройдут годы, десятилетия, может быть, столетия, забудутся лагерь и страдания тех, кто строил канал, – жизнь на Земле будет радостна и счастлива, «мы увидим небо в алмазах» – вот это имея в виду, и надо

писать. Бегство в будущее, в те времена, когда Соловки станут санаторием, – вот была сверхзадача Пришвина, получившая в новых очерках окончательное подтверждение; автор чрезвычайно увлеченно об этом размышляет, рассуждает о возможностях северного края, его климате, природе, пейзажах, может быть, ради этого все и было написано и этой высшей, «набоковской», [\[1030\]](#) целью пытался оправдать свою поездку, но, верно, мы не дожили еще до этих счастливых и безмятежных будущих времен и пока что первый план для потомков остается важнее, и долго еще читатели будут спрашивать: а что написал он про увиденное в аду?

Пришвину было что ответить: внутренняя драматургия его очерков именно на контрасте времен и построена.

От прошлого здесь – его собственная литературная история, от будущего – утопия, а от настоящего:

От сумы и тюрьмы  
Не отказывайся!  
Приходящий, не тужи!  
Уходящий, не радуйся!

Приведя эти стихи из нового северного фольклора, словно подступая к будущему «Архипелагу ГУЛАГу», как соборной книге народного страдания, он сопровождал похожую на былинную надпись на камне эпитафию размышлением: «Многим в вагоне эти стихи оказались не только хорошо знакомыми, но и внутренне очень понятными. Я тоже одобрил это умное чисто восточное приспособление к жестокости жизни и превратностям судьбы. Но потом мысленно сопоставил этот старый тюремный стиль с новой социалистической этикой:

„Труд – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства“».

И опять – никакого комментария.

Даже к автору известного афоризма, украшавшего советские лагеря, странно фамильярное, почти что пренебрежительное отношение:

«В шлюзе напротив огромного Сталина притаился удильщик рыбы и, бездельник, в эти новые, строгие государственные воды осмелился спустить свой крючок».

Нахальный удильщик – конечно же сам Пришвин, что подтверждает в тексте разговор с настороженными чекистами. И все же, как бы тонко ни вел писатель свою игру с лагерными начальниками, как бы ни подтрунивал над рыдающим Горьким (одна из главок произведения представляет собой письмо именно к нему), – словом, сколько бы ни было в этой книге любезного моим современникам постмодерна, как веревочка ни вейся, – быть может, это и понимал проницательный формалист Виктор Борисович Шкловский, отказываясь включать Пришвина в сборник, – момент истины настал и для повествователя, когда его поставили на трибуну на митинге строителей: «Мне, жестокому противнику красных ораторских слов, выпала тяжелая доля самому говорить. Но вышло ничего. Я (...) советовал от своего участка переходить к пониманию всех частей при создании целого и мало-помалу становиться на почву творчества, где нет больших и малых, а всякий на своем месте велик».

То, что говорил строителям канала Пришвин или его лирический герой, отражало важные, сокровенные идеи писателя, которые он много лет вынашивал и пытался с их помощью утешить, осмыслить жизнь своих слушателей и стремился выразить свое отношение к самому насущному для себя в этом путешествии с гулаговским мандатом вопросу – «стоило ли распугать

птиц?» («Я не протестую против „завоевания“ сил природы, но я хочу, чтобы в завоеванной силе каждый мог бы найти то же самое, что в природе находит человек личный и называет это своей родиной... Родина – это участие моего личного труда в общем деле...»), но слушали-то его измученные, озлобленные люди, разлученные с женами и детьми, потерявшие все, кроме жизни.

Сцена эта и вообще очень символична, а в частности – в ней отразилась роль Пришвина в советской литературе 30–40-х годов. Одно дело дурачить писательский пленум, другое – смотреть в лицо советским энкам. Не зря же вышло, что к главной точке своего путешествия – Надвоицам, где он когда-то ощутил в себе рождение художника, – Пришвин подплывал на корабле под названием «Чекист»: «Мы подплывали теперь на „Чекисте“ к центральной точке, где скрылась линия личной моей жизни, моей свободы с линией необходимости, по которой должна была пойти вся наша русская жизнь».

Для него лично она имела свое значение: «Как, правда, тяжело бывало писать в то далекое время: на счастье, не зная, удастся ли вещь; и как страшно было оставаться в пустоте, когда одно уже написано и уже деньги проедены и под новое авансы взяты, и ежедневно из них уходит рубль за рублем, а в голове пусто (...) Теперь, через тридцать лет профессиональной работы, я управляю своим дарованием, пишу, о чем мне захочется, и так много есть о чем написать, что забота и страх об одном: не ровен час, жизнь оборвется, и не успеешь сказать самого главного».

Последнее звучит для тридцать третьего года очень печально, да и вообще главное, что выразил Пришвин и что прочитывалось не между строк, а в самих этих

строках: канал не школа радости, не перековка человека, но полная горя и страдания жестокая жизнь.

Своей новой работой Пришвин доволен не был. «Поездка на Север (...) по существу, как Дальний Восток, не дала ничего». Три года спустя, в 1937-м, он оценил путешествие иначе: «Вот мое достижение в эту поездку: я представил себе, что я сам на канал попал, хотя бы в культурно-просветительской части работал». Однако тогда, по горячим следам, не в стенгазету, но в Дневник 1933 года записал о том, что «хорошо бы на работе своей о канале написать: „Добрый папаша, к чему в обаянии...“». [\[1031\]](#)

Однако прямо не написал.

Сам себя спрашивая, почему, Пришвин находил такой ответ:

«И я бы написал, но мне это нельзя теперь, и я пишу так, что Ванюшка остается в обаянии. И так надо, так хорошо, что я не могу: Ванюшка должен расти в „обаянии“, правда извне пересиливает мою личную правду, превращая ее в балласт: я сбрасываю этот балласт и через это действительно делаюсь „сам“ и выше лечу... (приспособление)?»

А дальше следовали строки из второй части «Фауста»:

Ночью в жертву человеки  
Приносились, стон стоял,  
Мчались огненные реки,  
Утром был готов канал.

Эта запись знаменовала еще один рубеж на подробной топографической военной карте его позиционной войны за личную независимость с демоническим государством, и так начался новый



пришвинский поворот в затянувшейся драме с большевистской властью.

Вчера государство было для него образом зла и он ощущал себя в свете рентгеновских лучей, но в 1933-м, еще одном переломном в биографии писателя году, в дневниковых записях появился иной мотив: «Мы начинаем к злу привыкать, как к барину. Сейчас он бесится, но мы знаем: не надо на глаза попадаться, а когда перебесится, мы опять будем работать: без нас, работников, ему все равно не обойтись. Даже и так, что чем злей он будет, тем лучше, тем скорее перебесится».

Здесь – не конформизм, но перемена Дон Кихота на Санчо Пансу – здоровый, народный прагматизм.

«Надо искать в творчестве нового русла», и признание поразительно тем, что совпадает по времени с пришвинскими рассуждениями о том, что он совершенно не меняется: тут какая-то странная, оруэлловская диалектика – и не меняюсь и ищу нового русла, занимаюсь «ремонтom своих старых книг», то есть все-таки они обветшали и нуждаются в починке. В стенгазете он выразился об этом так: «Вместе с этой работой над северными книгами я пересматривал другие свои вещи и так подбирал материалы, чтобы книги имели актуально современное значение в отношении изучения языка, сюжета, темы и т. п.» – сказать, что Пришвин становился конъюнктурщиком?

Традиционные интеллигентские критерии в оценке его личности неприменимы. Он чувствовал прилив творческих сил, видел личную перспективу, отвоевал свое место, был признан, научился, добился права жить так, как хочет, приняв минимум новых правил, и если искать аналогий, то Пришвина вернее было бы сравнить не с продажным советским писателем, а с ученым-естественником, инженером – специалистом, который при всяком режиме нужен, полезен и может заниматься своим делом. К этой идее своей близости именно к

инженерному труду, которую Пришвин попытался уже однажды реализовать в «Журавлиной родине», писатель вернулся в пору работы над «Осударевой дорогой»: «Вспоминали с Павловной мою сдавленную жизнь и сохраненную мной радость творчества („геооптимизм“). Этой силой жизни творили и на канале некоторые инженеры».

Да, он видел и знал, как тяжело живет народ («Чувствую вину и упрекаю себя: на глазах совершается трагедия великая, а чувство не хочет, чтобы взять эту жизнь и подвинуть к уму на рассмотрение, а может быть, наоборот – что чувство жизни все не может угомониться, все наводит на ум, и это он не хочет, он очень устал...»), но его собственные дела в это время пошли в гору.

«Пришла бумага от Совнаркома с распоряжением дать мне машину (...) я через несколько дней, обегав издательства, наскреб необходимую сумму для выкупа автомобиля», и оказалось, что «машина, как волшебная сила, могущая в любой момент переносить меня к птицам на Журавлиную родину, входила в состав моей творческой личности».

Отныне Пришвин, как и положено советскому писателю, стал весьма обеспеченным человеком.

Конечно, как и прежде, не все складывалось одинаково благополучно. Заступничество М. Горького не вывело Пришвина из-под удара критики. В феврале 1934 года в «Литературной газете» вышла статья некоего К. Локса «Михаил Пришвин», которую ее герой назвал «бездарной и сдержанно отрицательной: ни рыба – ни мясо; и отвечать нельзя». Пришвин написал редактору «ЛГ» возмущенное письмо, где охарактеризовал статью как «не содержащую никаких новых мыслей о моем творчестве, а имеющую замыслы „умалить „идею“ автора до охотничьего домика с умными собаками. Эта статья является отрыжкой

рапповской травли моего творчества, прекращенной статьями Горького“.[\[1032\]](#)

«Вследствие всего сказанного, – продолжал Пришвин, – прошу Вас наметить о моем творчестве статью все равно для меня „за“ или „против“, дающую мне импульс к творчеству... а не сознательно умаляющую значение моих творений и по своей бессодержательности и совершенной беспринципности не позволяющую мне взяться за ответ».

В 1934 году умер Андрей Белый.

«Последний из крупнейших символистов умер советским писателем», – писала газета «Правда».

«Белый сгорел, как бумага. Он все из себя выписал, и остаток сгорел, как черновик», – писал Михаил Пришвин.

При жизни они не были друзьями, хотя имя Белого часто встречается в пришвинском Дневнике. Пришвин был на его похоронах, и смерть Белого заставила Михаила Михайловича обратиться к эпохе, из которой он вышел, и по-новому оценить и ее, и свое в ней место.

Когда-то войдя в нее неудачником и не слишком большим «удачником» в ней просуществовав, Пришвин теперь писал о декадентстве с позиции человека, его преодолевшего, по-своему победившего, и главной мыслью моего героя была идея бездны, которая всегда разделяла его с модернистами, потому что «лучшие из них искали выхода из литературы в жизнь», а он, Пришвин, – «выхода из жизни в литературу».

«Бессознательно подчиняясь их заказу, я старался подать литературу свою, как жизнь, то есть шел тем самым путем, каким шли наши классики. А они все, будучи индивидуалистами, вопили истерически о преодолении индивидуализма до тех пор, пока революция не дала им по шее».

Если вспомнить, что Пришвину революция надавала по шее едва ли не больше, чем каждому из декадентов, и мало кто из них влачил такое тяжкое существование в первые пореволюционные годы, как он, эта запись кажется внеисторичной – но в свете благополучного для Пришвина 1934 года она представляется вполне логичной. Пришвин сводил счеты с Серебряным веком, выяснял затянувшиеся отношения с его баловнями, с этого момента у писателя появляются нотки поучения, и, вынашивая план своей будущей книги, которую он назовет «искусство как поведение», Михаил Михайлович заключил, что и более счастливый в таланте Блок, и Ремизов, и Белый в поисках томительного выхода из литературы в жизнь «не дошли до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым жизнетворчеством, как дело понимающего и уважающего себя бухгалтера. Литературно-демоническое самомнение закрывало им двери в жизнь».

Кажется, в тот момент он был уверен, что ему – не закрывало. Позднее это чувство переменится. «Как же мало взял я у жизни для себя, как дал этому чернильному червю насквозь иссосать свою душу»; «Как счастливы те, кто не пишет, кто этим живет»; но тогда он чувствовал себя победителем. Как победитель летом 1934 года Пришвин принимал участие в работе Первого съезда советских писателей, но на съезде не выступал, что потом поставил ему в заслугу зорко приглядывавший за творческим поведением советских писателей Иванов-Разумник, и написал в Дневнике: «Союз писателей – это именно и есть управление по литературным делам, тут морг, а настоящий, живой писатель как-нибудь вырвется из неведомой большой жизни»; «Съезд похож на огромный завод, на котором заказано создать в литературе советского героя (завод

советских героев)». [\[1033\]](#) И тем не менее был избран в члены правления нового союза – среди ста других ведущих советских литераторов.

У него было множество творческих планов. В 1934 году Пришвин работал над киносценарием «Хижина старого Лувена» по мотивам «Жень-шеня» (правда, фильм ему не понравился), ездил в Горький для изучения автомобильного дела и собирался писать индустриальную повесть: «В настоящий момент я подготавливаю себя к работе над темой „машины и пролетарий“, имея в виду, с одной стороны, найти образ пролетария (нового человека), совершенно конкретного, с другой – хочу раскрыть сущность машины, которой новый человек должен овладеть и относиться к ней так же с любовью, как крестьянин к земле».

Осенью 1934 года Пришвин занес в Дневник запись, которую следовало было бы назвать программной: необыкновенно искренняя и проникновенная, сочетающая исповедальность с пафосом, она подводила итог его многолетним революционным исканиям и нынешнему положению в советском обществе.

«Историю великорусского племени я содержу лично в себе, как типичный и кровный его представитель, и самую главную особенность его я чувствую в своей собственной жизни, на своем пути, как и на пути всего народа, – это сжиматься до крайности в узких местах и валить валом по широкой дороге.

Старая дорога народов нашей страны то сужается до тропинки, то расширяется до горизонта, и человек тоже, – это очень верно сказано еще у Ключевского, – то сходит почти что на нет в узких местах, то валом валит с гиком и гомоном по широкой дороге. И я, ненавидя все это, как интеллигент, в сокровенной глубине своей, тоже такой точно, сокращаюсь с ругательством и, как

получшеет, расширяюсь с песней и не помню зла. Задумываясь, иногда в беде даже ставлю точку на память, чтобы потом, как все порядочные люди, не забыть и не простить врагам обиды, но зарубки эти ничего не помогают, время придет, получшеет и переменится все, все точки и зарубки пропали, точь-в-точь как весной при разливе вода все старое уносит в неизвестность морей».

Государство ласкало его как заслуженного писателя, готовилось к выходу четырехтомное собрание сочинений (уже третье по счету в советские годы – кто еще мог бы этим похвастаться?), перед путешественником лежала открытой вся страна, и в 30-е годы писатель много ездил – забираясь и далеко на север, и на юг.

«Сколько всего прошло, а моя фирма Михаил Пришвин продолжает неизменно с 1905 года оставаться на своем пути и выпускать теперь книги даже и того далекого времени», и эта мысль странным образом перекликалась с тем, что писатель говорил четыремя годами раньше: «...Между литературой моей до революции и последующей меньше разницы, чем между всем, что было и должно быть теперь. Те книги диктовали Свобода и возрождение. Теперь диктуют Необходимость и война, которые обязывают собраться и быть готовым к концу, а вместе с тем быть особенно бодрым и деятельным по завету „берендеев“ – „Помирать собирайся – рожь сей“».

А жизнь меж тем становилась и веселее, и лучше. 1936 год начался для страны счастливо – Сталин вернул елки. «Народ валил весь день из леса с елками (после 18 лет запрещения можно и порубить). Чувствовался перелом жизни и пока в хорошую сторону».

Но дело было не в елках. Украшенные игрушками, как в мирные дореволюционные годы, рождественские деревья казались предвестием того, что отныне для всех

«наступает жизнь, граждански нам еще неведомая, жизнь, которой никогда не жил русский интеллигент. Общество вступает теперь на тот самый путь, который мне лично открылся, как выход из тупика: творчество».

Пришвинский оптимизм снова разыграл, как младенец во чреве матери.

И было с чего! Писатель закончил привезенную из нелегкого путешествия по Пинеге «Берендееву чащу» (дать такое чудесное название новой повести посоветовал не помнящий зла Коноплянцев) и отдал ее в горьковский журнал «Наши достижения», от сотрудничества с которым еще недавно отказывался. Наряду с увлекательными описаниями поисков заповедного, нетронутого леса, до которого путешественники с превеликими трудами добирались много дней, а в результате обнаружили лес «не лучший Лосиноостровского», в новой повести встречались и такие разговоры странствующего по поручению Наркомата лесной промышленности писателя с пинежскими мужиками (пинжаками):

«- Вот ты меня уговорил твердо в колхоз поступать, а не попадем мы с тобой к сатане?

- К антихристу, ты хочешь сказать? - спросил я.

- Антихрист и сатана, я полагаю, это все одно, а как, по-вашему? Не попадем мы с вами к антихристу?

- Ты как к коммунистам относишься, к правительству? - спросил я. - Понимаешь их обещания?

- Понимаю, только вижу: одни обещания.

- Но хлеб-то вот дали...

- Хлеб, правда, дали.

- И если все дадут, как обещали?

- А вы как думаете, дадут?

- Непременно дадут.

- А если дадут, то за такое правительство надо будет по гроб жизни каждый день Бога благодарить (...)

- Вот что, - сказал я Осипу, - выбрось ты вон из головы своего антихриста, твердо, без колебаний в совести, поступай в колхоз и добивайся там работы на своем путике».

Год спустя Пришвин совершил новую поездку на Кавказ, в Кабарду, куда направила его газета «Известия» во главе с Н. И. Бухариным. Уже по возвращении из интересной, полной впечатлений и эмоций командировки возник странный сюжет, связанный с взаимным непониманием заказчика и исполнителя при участии НКВД, но эти опасные подробности (не до конца выясненные) мы опустим, а пребывание писателя в гостях у первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома, искреннее восхищение им и желание об этом человеке писать означало достаточно тесное, интимное сближение Пришвина с властью, в результате которого он получил возможность увидеть вблизи руководящих работников. Однако в конце концов «Счастливая гора» написана не была:

«Конечно, я не описал Кабарду, не потому что современное смутное время не требует поэта (так я говорю), а что есть деньги и можно не писать. Я впервые испытываю наслаждение: могу не писать. Будь у меня возможность, я бы, по всей вероятности, ничего бы и не написал. Это не самолюбие: не могу занимать денег и ужасно боюсь, что придется когда-нибудь занимать».

Помимо материальных причин Пришвина отвлекали и другие, внутрилитературные дела и прежде всего битва с самым главным литературным врагом в эту пору - С. Я. Маршаком.

Войну начал автор «Сказки о глупом мышонке». Еще на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Маршак, которому поручено было делать содоклад о детской литературе, так определил место Пришвина в



литературе: «Пришвин – писатель для взрослых. Пожалуй, не всякий ребенок, а только прирожденный натуралист, путешественник и охотник согласится обойтись без внешне законченной фабулы и полюбит книги Пришвина за богатство языка и материала. Но зато всякий писатель, который захочет писать о животных, оценит пришвинские рассказы для детей и многому у него научиться».

Пришвин уловил в этом деликатном по форме и опасном по сути выступлении намерение «оттереть» его от детской литературы, к которой, во-первых, был искренне привязан, а во-вторых, это было его прибежище, работая для детей, он мог хоть ненадолго укрыться от государева ока. Пришвин бросился искать защиты у Горького, сочинив в Форос большое письмо.

Письмо представляет собой классический образец стратегии писательского поведения в условиях, когда речь шла не просто о литературной борьбе, как во все прежние времена, но о физической жизни и смерти. В этом послании Пришвин говорил о существовании двух тенденций в развитии русской классической литературы: национальной и гениальной. К первой он относил Пушкина, Толстого, Лескова, Горького и себя. Ко второй – Гоголя, Достоевского и Белого.

«Первая группа беременна своей национальностью, живот у нее раздут гражданственностью и для всей этой группы характерно тяготение к фольклорному самовыражению и рассказу для детей.

Вторая группа чистых «гениев» тяготеет лично к себе и пожирает фольклор не для воспроизводства (через беременность), а в целях холостого (хотя и гениального) творчества. И как немыслимо себе вообразить, чтобы А. Белый написал бы рассказ для детей, так и Пришвин должен будет отказаться и возвратит Отцу талантов свой билет, если только в его творчестве не найдется десятка народно-детских

рассказов. Стрелы Маршака, возглавляющего детскую литературу, попадают в самое мое сердце... (...) ранят моего младенца – вот почему мне так больно». [\[1034\]](#)

Письмо, по мнению историков литературы, отправлено не было (возможно, потому, что Пришвин знал: Маршака Горький ценит очень высоко и неизвестно, чью сторону возьмет); позднее, обсуждая возникшую ситуацию со Шкловским с которым связывали Пришвина прихотливые, большей частью недружественные отношения, Пришвин записал: Виктор Борисович сказал ему, что он «смял Маршака».

Конфликт с Маршаком не сводился к борьбе писательских честолюбий и рейтингов. Маршак для Пришвина – писатель, которого «русские дети совсем не могут понять, писатель, который „думает по-иностранному, а пишет по-русски“». Маршак стоит в том же ряду, что Пильняк, Эренбург, Кольцов и „другие, рожденные в гостиницах, странствующие хозяева и представители международные советской земли“.

В те годы и десятилетия, когда слово «русский» в России произносили с опаской и везде, где можно, заменяли на «советский», когда в чести были понятие «интернационал» и его синонимы («Они не понимают космополитизма, они, видите ли, за Россию», – возмущался коллективный автор книги про Беломорканал кем-то из заключенных), Михаил Пришвин открыто говорил о национальном, русском характере своего творчества. В этом не было ни позы, ни фронды, ни оппозиции, не было и вульгарного национализма (еще в 20-е годы он возмущенно писал в редакцию «Известий»: «Вспомните хоть одну строку мою за 25 лет, когда бы я выступал как националист и шовинист») и тем более антисемитизма («Ну, конечно, дело не в евреях: русские, если возьмутся (за власть. – А. В.), то и делают и выглядят хуже евреев. Но

порядочные русские не берутся, плохим же всегда еврей предпочтительней, и в этом смысле евреи делают нам большое одолжение...») – это была совершенно органичная для него позиция.

Пришвин – редкий для 20—30-х годов, после разгрома крестьянских поэтов, случай писателя с русским самоопределением, и не случайно, размышляя о так и не написанном продолжении алпатовской трилогии, он занес в Дневник: «Современность скажется в остроте постановки вопроса о национальности».

В 1939-м, размышляя об этой насущной для нашего общества проблеме, о защите национального характера русской литературы и противостоянии чужим влияниям, к коим Пришвин относил формализм, он написал воистину программные мудрые строки, выгодно отличающиеся от распространенного порой в патриотической среде культурного нигилизма:

«Борьба с этим должна быть не личной, с Маршаком или Багрицким, а вообще с формализмом. И ясно становится задача современного русского писателя: писателю классическому, „внутреннему“ русскому, нужно овладеть внешней формой, и не потерять силы своего внутреннего творчества, и не впасть в пошлость. В такой борьбе за национальную литературу исчезает борьба с „одесситом“, потому что „одессит“ со своим формализмом является достойным тружеником в творчестве. Так что нам, коренным русским, надо не сетовать на засорение русского языка „одесситом“, а учиться у них формальному подходу к вещам, с тем чтобы в эти меха влить свое вино».

Конечно, не все было благостно и просто в эти годы. Периоды оптимизма сменялись пессимизмом: «Бросился в Москву от страшной и беспричинной тоски. Все размотал в вине и разговорах».

И, несмотря на «разговоры», по-прежнему жуткое одиночество. С одной стороны – тысячи, сотни тысяч читателей, письма от пограничников, пенсионеров, молодежи, детей, его узнавали на улицах, приглашали в школы, однажды пришла посмотреть на живого писателя молодая девушка и попросила показать награды (а у него тогда был только значок «Ворошиловский стрелок»), лишь позднее появились скромные ордена, в 1948-м именем Пришвина назвали пик и озеро в районе Кавказского заповедника недалеко от Красной Поляны, мыс возле острова Итуруп на Курильских островах; с другой – полное непонимание в литературной среде. Как вспоминала Н. Реформатская, в разговоре у Пришвина «не раз проскальзывала мысль, что он „старейший писатель“, а его все учат, учат, понять же значение его дела не хотят или не могут».

Одна из причин одиночества и непонимания – семейная. С Ефросиньей Павловной не было сил даже ссориться, а дети выросли и зажили своей жизнью.

«Соблазняет решение устроить окончательно свою старость на Журавлиной родине, чтобы там жить до конца». [\[1035\]](#)

Но дело было и в общем положении вещей, для уверчивого писателя (как он себя называл) немислимом: «До чего совестно жить становится! Никакое настоящее общение невозможно, потому что боишься труса в себе и противно говорить с человеком, имея в виду, что он, может быть, для того и беседует с тобой, чтобы куда-нибудь сообщить. С умным боишься его ума – использует! С глупым боишься, что разболтает по глупости»; «Надо совершенно уничтожить в себе все остатки потребности „отводить душу“»; «Решил выбросить из числа верных людей всех, кроме единичных столпов, совершенно неколебимых»;

«Остаются только свои семейные да еще два-три старичка, с которыми можно говорить о всем без опасности, чтобы слова твои не превратились в легенду или чтобы собеседник не подумал о тебе как о провокаторе. Что-то вроде школы самого отъявленного индивидуализма. Так, в условиях высшей формы коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не бывало».

## Глава XXIII

### РАЗУМНИК

Один из таких немногих «старичков», с кем Пришвин встречался, проводя время в долгих разговорах и рассуждениях, – возмутитель былого спокойствия, ветеран отечественной литературы и близкий к эсерам общественный деятель – Разумник Васильевич Иванов-Разумник, в 30-е годы уже совсем оттесненный от литературной жизни и прямо столкнувшийся с советской карательной системой.

С Ивановым-Разумником у Пришвина установились отношения странные.

Хотя то был едва ли не единственный человек, с кем писатель мог быть предельно искренним, к их человеческим отношениям подмешивались непростые литературные: «Разумник со времени „Заветов“ не сказал ни одного одобрительного слова о моих вещах, написанных при советской власти: он ревнует, Пришвина ведь он открыл. Я начинаю подозревать, что он вовсе и не понимал и не понимает, о чем я пишу (...) Ему, наверно, нравятся во мне некоторые стилистические приемы, по всей вероятности, действительно в прежнее время еще более четкие, чем теперь. А до А. Белого, как говорит Разумник, я и совсем не дошел».

Вопрос этот Пришвина чрезвычайно занимал. Возможно, интуитивно он чувствовал: как бы ни хвалил его Горький, как бы ни славословили или ни злословили о нем в печати, хоть и считался он стократно старейшим, авторитетнейшим и уважаемым мастером, имел машину, книги, переводы, собрание сочинений и несколько охотничьих собак, вчерашний и завтрашний арестант Иванов-Разумник, при разности их жизненных

взглядов и позиций, был для Михаила Михайловича экспертом и судьей «по гамбургскому счету» – не сам по себе, но как человек той эпохи, с которой мечтал, декларировал, но мог не свести Пришвин счеты. Порвав с нею одной частью своего существа, в чем-то он оставался к началу века навсегда прикованным, и не случайно то и дело обращался к своей литературной юности и ее героям, не так часто вспоминая литературно счастливые для себя 20-е годы.

Иванов-Разумник, многолетний друг и адресат, хранитель архивов А. Блока, А. Ремизова, С. Есенина, А. Белого (дружба которого с Разумником Васильевичем ужасно возмущала Зинаиду Гиппиус: «А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя... дружит... с Ив. Разумником, этим точно ядовитой змеей укушенным, – „писателем“»), и был посланцем того мира, в плену у которого пребывал Пришвин. И если пятнадцать лет назад, находясь под Дорогобужем и нищенствуя, Пришвин ощущал моральное превосходство над несколько лучше устроенным (пусть не материально, но зато окруженным единомышленниками) товарищем и противопоставлял его активной общественной деятельности свое скромное, но необходимое служение на ниве народного просвещения, если пять-шесть лет назад, в 1930-м, в пору писательских чисток и разъяснений, оба чувствовали себя одинаково ненужными, выкинутыми из жизни и положение изгоев их сближало, то теперь, в середине 30-х, роли переменялись – Пришвин был признан и вознесен, Иванов-Разумник – еще более унижен и гоним: «Наконец-то ночью почти во сне догадался о причине молчания Разумника о всех моих писаниях при советской власти. Единственное слово, которое мог бы он сказать, – это: „подкоммунировать“. Неужели и я тоже, как все, только с той разницей, что, указывая на „бревна“ в глазах других, не хочу замечать

сучка в своем. А ведь сучок в глазу талантливого значит гораздо больше, чем бревно у бездарного».

Думал ли так высокоумный Разумник, сказать трудно. Некий литературный ключ к их отношениям, вернее всего, содержится в первой статье его о творчестве Пришвина, относящейся к далекому 1911 году: «Основную постоянную тему повестей и рассказов этого писателя можно предсказать заранее – и мы уже отметили, что темой всего творчества М. Пришвина была и будет примитивная стихийная душа».

От примитива и стихийности Пришвин давно отошел, а к мыслям о своем расхождении не только с Ивановым-Разумником, но и с покойным Андреем Белым возвращался не раз: «Прочитав главу „Живая ночь“ из „Кашеевой цепи“, вдруг понял, почему Белый и антропософы не поняли „Кашееву цепь“. Живая ночь, например, так близка к природе, что кажется фантастикой автора. Между тем сама близость именно и является мотивом поэзии. И вся „Кашеева цепь“ построена именно на этой близости поэта и человека. Неужели этого никто не поймет и не скажет?»

На самом деле Иванов-Разумник высоко ценил творчество Пришвина и в советское время (и, быть может, из педагогических соображений или особенностей своего характера, а также характера Пришвина ему этого не говорил). В изданной после смерти критика книге его воспоминаний, где Разумник Васильевич отрицательно отзывался практически о всех советских литераторах, Пришвин оказался едва ли не единственным исключением. Иванов-Разумник похвалил и «Кашееву цепь» («Такие романы, как... „Кашеева цепь“ Михаила Пришвина являются вершинами не только русской, но и европейской литературы»), и «Жень-шень» («... а „Золотой Рог“ Пришвина (и особенно „Корень Жизни“ в нем) – недостижимый Эверест»), и «Родники Берендея», и «Охоту за



счастьем» («Дело не в количестве, а в весе: небольшой рассказ, например, очерк Михаила Пришвина „Охота за счастьем“, на весах критики и истории литературы может оказаться „томов премногих тяжелей“), а о критическом таланте А. Белого и именно в связи с Пришвиным отзывался гораздо строже:

«Он был „никаким“ критиком: мог же он (в разговорах со мной) ставить длинную поэму Санникова выше „Возмездия“ Блока, мог же он в последний год жизни написать статью о Гладкове (которую я не читал, но довольно названия), мог же он пройти мимо Пришвина», так что не в литературе было дело. Скорее, наблюдая за успехами друга, Иванов-Разумник мог скептически относиться к тому, что Пришвин позднее назовет творческим поведением.

В начале февраля 1933 года, в те дни, когда Пришвин торжественно отмечал свое 60-летие, Иванова-Разумника в очередной раз арестовали и после девяти месяцев заключения в Ленинградском ДПЗ (Доме предварительного заключения) отправили вначале в ссылку в Новосибирск, а затем, по ходатайству Е. П. Пешковой, заменили столицу Сибири на Саратов.

Это нельзя было назвать заключением, в 1934 году Иванов-Разумник писал литератору А. Г. Горнфельду: «Учреждение, ведающее перемещением граждан по разным областям СССР, заявило мне, командировав меня на учительство сперва в Новосибирск, а потом в Саратов, что отнюдь не собирается чинить препоны дальнейшей моей литературной деятельности». [\[1036\]](#)

Мягкий приговор и пребывание Иванова-Разумника в тюрьме, где он пользовался неслыханными льготами (комфортная, насколько это в тюрьме возможно, двухместная камера, передачи, чтения книг, свидания с женой раз в десять дней), [\[1037\]](#) производят впечатление

странное, особенно если прибавить свидетельство пушкиниста Ю. Г. Оксмана: «Самого Ив<анова>-Разумника я очень не люблю. О его двусмысленном поведении во время процесса эсэров и во всех последующих дознаниях 1930–1937 гг. мне рассказывал Е. Е. Колосов (эсер и депутат Учредительного собрания, историк революционного движения. Погиб в 1937 году. – А. В.), с кот<орым> я случайно встретился в Омской тюрьме, где К. был потом расстрелян вместе с другими эсерами, привезенными из Тобольска в июле 1937 года».

Вышеприведенная цитата взята из комментариев к воспоминаниям Иванова-Разумника, сделанных составителями этой книги (В. Г. Белоусом, А. В. Лавровым и Я. В. Леонтьевым), которые ссылаются на архив Гуверовского института и публикацию Л. Флейшмана «Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве», но дела это никак не проясняет, тем более что Иванов-Разумник в своей книге именно Оксмана обвинял в предательстве, и известный пушкинист наступал, обороняясь.

В версию Разумникова предательства поверить трудно. Иванов-Разумник был человеком каким угодно, но только не двуличным, во все времена он оставался максималистом, писал дерзкие письма М. Горькому, отказывался устраиваться на работу в архив или библиотеку через НКВД, полагая, что это поставит его в ложное положение, и по складу характера принадлежал к тому типу личности, кто в более поздние советские времена шел в диссиденты и правозащитники. Он одинаково ненавидел монархию и советский строй, и хотя признавал, что в царской тюрьме сиделось лучше и веселее, царские жандармы и сотрудники НКВД были для него людьми одного ряда. Вот и к писателям сей непреклонный человек относился очень взыскательно и, перефразируя известные строки

Некрасова, признавал за ними в СССР лишь три судьбы: «Погибнуть физически (расстрел, тюрьма, концлагерь), быть задушенным цензурой или – третье – приспособиться и начать плясать от марксистской печки и по коммунистической дудке».

Пришвин как будто не вписывался в схему, которую начертил ригористически мыслящий идеолог народничества, однако позиция Разумника Васильевича важна не только в свете истории литературы, но и для понимания нынешнего состояния нашей общественной мысли, и в том числе пришвиноведения как ее части, ибо предвосхищает упреки, которые часто обращают к Пришвину сегодня, и на этом сюжете есть смысл остановиться подробнее.

В «Тюрьмах и ссылках» есть эпизод, когда Иванов-Разумник вспоминает спор между ним и Андреем Белым, Петровым-Водкиным и Алексеем Толстым по поводу горячих вопросов той поры – «диктатуры, коллективизации, индустриализации, культурного строительства». Разговор относится к 1930 году, действие происходило в Царском Селе у Разумника Васильевича дома, и Пришвин при сем не присутствовал, но укоры, обращенные Ивановым-Разумником к каждому из трех своих именитых оппонентов (например, к самому интересному из них: «В книге „Ветер с Кавказа“ Андрей Белый сделал попытку провозгласить „осанну“ строительству новой жизни, умалчивая о методах ее»), могли быть адресованы и Пришвину, особенно если учесть его еще не написанные на момент той беседы очерки строительства Беломорканала.

«Честный писатель, честный художник, – провозглашал Иванов-Разумник, – не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды – значит именно лгать (...) бывают эпохи, когда писатель не имеет права быть публицистом, ибо если

можно сказать только полуправду, то она будет вреднее и постыднее лжи».

Пришвин, как бы много ни удалось ему в очерках сказать о канале или в «Журавлиной родине» о крестьянстве, да даже о башмачниках, по меркам Иванова-Разумника много чего недоговаривал, а значит, лгал.

Это деликатный и непростой момент, что понимал и сам прямодушный и, может быть, не слишком тонко мыслящий и совсем не деликатный Иванов-Разумник, когда в письме к вдове Андрея Белого меньше чем через полгода после кончины известного символиста в поучающей и категорической манере написал, побивая Пришвиным Белого, как когда-то побивал им же Сергея Булгакова:

«Только что прочел замечательную книгу М. М. Пришвина „Золотой рог“ (достаньте и прочтите) – совершенно не омарксиченную и вполне цензурную.

А к чему привели попытки Б. Н. говорить о «классах», о «динамике капиталистического процесса» и т. п.? К предисловию в «Начале века»!<sup>[1038]</sup> Так и хочется спросить в стиле этих же материалов из книги Б. Н.: «Что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?»»

Андрей Белый вошел в историю литературы не «Ветром с Кавказа». Верноподданнические произведения, как известно, писали и Мандельштам, и Клюев, и Пастернак, и Ахматова, и Михаил Булгаков. Каждый из этих случаев особенный (Ахматова это делала с явным отвращением, а Мандельштам пытался быть искренним), у каждого произведения свой контекст и подтекст, но вот раздумья, что можно, а что нельзя, были ведомы и Пришвину. Точно так же ему была известна и история о сталинском звонке Пастернаку, когда вождь прямо предложил поэту вступить за сосланного Мандельштама (может быть,

провоцируя его на какие-то неосторожные высказывания), и, по мнению Ахматовой, Пастернак повел себя на «твердую четверку». Пришвин высказался об этом следующим образом (любопытно, как по-разному этот почти мифологический, несмотря на реальную основу, сюжет передавался и трактовался современниками): «Слышал я, будто он позвонил к Пастернаку и спросил: не нуждается ли он в чем-нибудь? И после долгих намеков сказал о сосланном Мандельштаме, а когда Пастернак отказался, сказал ему: „Эх, вы, писатели!“ Таким образом он пригвоздил к себе навсегда Пастернака. Не дай-то Бог попасть в такой нравственный плен». Сам Пришвин, независимо от своей философии и политических взглядов, всегда оставался верным другом и мужественно по отношению к Иванову-Разумнику все эти годы себя вел, что признавал и Разумник Васильевич: «У каждого из нас много друзей-приятелей до черного до дня; но естественно, что на другой же день после моего ареста все эти друзья-приятели забились в кусты, – очень запуганы и зайцеподобны стали теперь люди, иной раз носящие весьма громкие имена. [\[1039\]](#) Истинные друзья познаются в несчастьи, и хотя никакого несчастья со мною не произошло, а случилась лишь маленькая неприятность, но только два-три друга (из десятков друзей-приятелей) оказались действительными друзьями, не побоявшимися даже (даже!) переписываться со мною, жителем саратовским. Таков был старый друг еще с гимназических времен, А. Н. Римский-Корсаков; но здесь подробнее скажу только о другом старом друге, М. М. Пришвине. Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и Саратов, не только присылал новые свои книги, не только хлопотал в московских издательствах о какой-нибудь работе для меня, но даже, когда хлопоты эти не увенчались

успехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать мне ежемесячно по двести рублей. Только благодаря ему я еще существую в сем «физическом плане» – и не могу умолчать об этом».

Все это было написано в 30-е годы и могло попасть в руки НКВД, во-первых, и было опубликовано в 1951 году в США, во-вторых. Конечно, к тому времени семидесятивосьмилетний Пришвин был малоуязвим для органов государственной безопасности, и все же до какой степени Иванов-Разумник был уверен в неприкасаемости Пришвина! Ведь о других своих благодетелях он писал гораздо осторожнее: «Хотел бы назвать их – да не могу, это было бы с моей стороны поступком черной неблагодарности».

Действительно, может показаться странным: почему Разумника Васильевича все советские годы преследовали и травили за левоэсеровское прошлое, а Пришвина ни разу не попрекнули ни за правоэсеровское, ни за «Перевал» (не говоря уже о знакомстве с Бухариным или пребывании в гостях у репрессированного в 1938 году руководителя Кабардино-Балкарии Бетала Калмыкова) и даже не пытались привлечь к следствию по делу того же Разумника Васильевича, тем более что, как выяснилось теперь из архивов ФСБ, о помощи, оказываемой Пришвиным, было известно?<sup>[1040]</sup>

Сам Пришвин, как и всякий гражданин советской республики, репрессий боялся («Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходят. И чем больше уводят, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, несмотря ни на что! Так вот бывает: пир во время чумы!»<sup>[1041]</sup>), но относительно своей счастливой доли высказал предположение: «В кабинете Ягоды, наверное, не раз поднимался вопрос о

Пришвине: не прибрать ли его к рукам? Но стеснялись Горького, ждали случая, за который можно было бы ухватиться. И, возможно, даже был он и решено было покончить со мной на вечернем заседании. Но в промежуток утреннего и вечернего заседаний случилось нечто очень важное, и о Пришвине забыли в тот вечер, а на другой день сами боги полетели к чертям».

Есть в Дневнике и запись, указывающая на личное знакомство Пришвина с кем-то из сотрудников НКВД или близких к ним людей: «Раздобыл через НКВД тот самый „Канал“, из-за которого так переоценился в свое время. Трудно представить себе что-либо более бездарное».

Почему «раздобыл через НКВД», понятно (после уничтожения Ягоды коллективный труд писателей был запрещен и иначе как через НКВД его было взять неоткуда), а вот какая рука была у него на Лубянке, да и была ли – с этим вопросом сложнее. [\[1042\]](#)

Он считал, что его уберег Бог, Судьба, Промысел. И приводил в пример (быть может, в пику Разумнику) художника Фаворского:

«Я из интеллигенции единственно уважаю В. А. Фаворского, которого на чистке спрашивали:

– Что вы делаете для антирелигиозной пропаганды?

И он на это ответил:

– Как я могу что-нибудь делать, если я в Бога верую?

За эти слова Фаворскому ничего не было, а того, кто спрашивал, посадили. Почему же других мучают за веру, а Фаворскому можно? Потому что Фаворского, как и меня, Бог любит».

Положим, Бог любит – это не из советского лексикона, да и вообще такого рода логические силлогизмы (кого не взяли – Бог любит, кого взяли – не

любит) слишком уязвимы, но когда в 1938 году по Загорску поползли слухи, что Пришвина арестовали как врага народа, писатель отнесся к этому с негодованием:

«Если бы взяли меня, как других, это было бы свидетельством для меня, несомненно, что берут нас враги и что спасения от немцев нам нет»; «В Москве есть слух, что вместе с С. взяли Пришвина: гадость какая!»

Не оправдывая массовых репрессий, не веря в массовое вредительство и бессознательно пользуясь лексикой репрессированного в эти же годы Павла Михайловича Легкобытова («И сейчас, после процессов, я все еще думаю, что если вредили, изменяли, то очень робко и ничтожно, и бездарно – какие-то шалуны, что настоящим врагом была сама природа человека»), Пришвин видел трагическую закономерность в государственном насилии по отношению к тем людям, которые были причастны к революции, то есть делу противогосударственному: «Это выметают последние остатки тех людей, которые разрушили империю и теперь ждут за это награды»; «Птица сломает крыло, упадет навсегда, и чувствуешь к ней сожаление, а троцкист упадет и нет: он власти попробовал»; «В Загорске посадили всех действующих лиц, и когда стали спрашивать, то оказалось, всех за дело (...) Грешок был, конечно, у каждого, но с таким грешком раньше можно было жить, а теперь нельзя. Что-то вроде Страшного Суда».

И выход из этого положения видел такой: «Мне кажется, мы для этого все должны покоряться, смиряться, терпеть, пережить „Сталина“: переживем, и он отойдет без революции с нашей стороны». [\[1043\]](#)

«Покоряться» и «смиряться» имело для Пришвина особенное значение: сверхчеловеку большевизма он



противопоставлял «сам-человека», живущего подлинной жизнью, «сам-человек» – «это самое то, что наша интеллигенция называла презрительно „обывателем“».

Иванов-Разумник был также против активной политической борьбы с режимом («Политическая борьба с коммунизмом бессмысленна и вредна»), но вот этого смирения, терпения, своего рода объективности («Коммунистов вообще нельзя ни любить, ни не любить. Тут необходимость действует, и если ты лично ставишь себя против, то и попадешь в положение спорящего с репродуктором») у своего товарища принять не мог, и хотя никогда и нигде прямо за непротивление и уход в самость его не осудил, каким-то не упреком, не укором, но странной тоскою веет от другого небольшого отрывка из его воспоминаний, относящегося к его перемещению в Сибирь (правда, ехал он не в тюрьму по этапу, а в ссылку в обычном вагоне под присмотром двух энкавэдэшников): «Медленно влекся поезд, медленно вертелись мысли. Чудесно описана такая поездка в книге „Золотой Рог“ М. М. Пришвина, только ехал он без спецконвоя и мог разговаривать с пассажирами, я же мог разговаривать только с „двумя шпалами“ или смотреть в окно».

В начале февраля 1936 года критик был ненадолго освобожден и получил разрешение жить в Кашире. Он приехал к Пришвину в Загорск и пробыл в гостях у Михаила Михайловича неделю с 26 февраля по 3 марта, и, по всей видимости, к этой поре относится упоминаемая в «Тюрьмах и ссылках» передача Разумником Васильевичем Пришвину автобиографической рукописи с описанием тюремных мытарств, которую Пришвин, не зная ее содержания, положил в консервную банку и закопал в саду.

А полтора года спустя, в сентябре 1937-го, в разгар ежовщины Пришвин написал Иванову-Разумнику

письмо, в котором попросил приехать и забрать у него «экземпляр Чехова» – крамольную рукопись.

«Московский друг мой был запуган не менее других. Он выкопал мою рукопись из ее „годовой могилы“, вернул ее мне и дал понять, что хорошо бы нам „некоторое время“ вообще не общаться – ни лично, ни письменно», – констатировал Разумник Васильевич. [\[1044\]](#)

Дело тут не только в запуганности. Когда летом 1936 года начались политические процессы над оппозицией, они показались Пришвину ошеломляющими, однако исторически справедливыми. Бухарина и Радека он называл в Дневнике растленными людьми, и поражала его более всего их трусость, жалость и неспособность себя защитить. «Неужели же такое малодушие даже не в целях „жить“, а как-нибудь полегче умереть. Так закончилась вековая затея революционной интеллигенции», – писал Пришвин, а полгода спустя, в начале 1937-го, добавил: «Те же, кого сегодня будут судить (Радек и др.), – скрытые претенденты на трон – их не жалко, им „поделом“: их казнят, но если бы им удалось, то они бы еще больше казнили». [\[1045\]](#)

А в Дневнике 1940 года встретится и вовсе шокирующая запись:

«– Все вокруг меня шепчут: „Будьте осторожны!“ А я просто дивлюсь, чего это мне говорят? Ведь скажут мне – „Сталин или царь?“ – я выберу, по совести, Сталина. Если спросят: кого я желаю – Сталина или моего друга Раз. Вас. – скажу, конечно, – Сталина, и не дай Бог Р. В-ча. И если к этому еще: „Почему же не Р. В.“, – скажу: Р. В. завернет еще круче, и людей еще больше погибнет».

Понятно, что Пришвин имел в виду не конкретного, много претерпевшего человека, но воплощенный в Иванове-Разумнике определенный тип русской интеллигенции, которая революцию породила и

которую Сталин остановил (царь не смог, и поэтому Сталин лучше царя). А потому Пришвин, понимая всю иллюзорность третьего пути в такого рода вещах, был скорее на стороне советского вождя.

Замечателен диалог между пораженцем Разумником и патриотом Пришвиным о новой советской Родине и ее строе:

«- А разве вам это нравится?

- Нет, но я физическое место человека люблю - растительность, ландшафт, особенно язык и народ, его творящий. Я за это стою, а не из любви к Сталину. Впрочем, Сталина считаю в высшей степени подходящим ко времени человеком».

Более всего поразителен этот обмен репликами тем, что он как две капли воды напоминает разговор молодого Пришвина с молодым Семашкой. Тот говорил: нам нашу родину ненавидеть надо, а Пришвин - на беду или на счастье - родину никогда ненавидеть не умел, а любил ее, какой бы она ни была, и желал ее армии - Красной армии - победы на всех фронтах.

Иванов-Разумник не был государственным, Пришвин - был и поэтому обращался к государству, с которым Разумник Васильевич давно прервал, если и имел когда-либо, дипломатические отношения:

«- Товарищи! дайте же мне время прийти в себя, для государства выгодней будет, если я сам буду держаться на своих ногах».<sup>[1046]</sup>

Иванову-Разумнику приходит в себя нужды не было, все для него давно решено, и, цитируя строки Блока: «И если лик свободы явлен, то прежде явлен лик змеи, и ни один сустав не сдавлен сверкнувших колец чешуи» - он уверенно пояснял: «Этой змеей, этим змием была для поэта государственность, и в ее возрождении чувял он возвращение старого мира». Пришвин, все понимая: «Не могу с большевиками, потому что у них

столько было насилия, что едва ли уж простит история за него» или: «Большевизм остается неизменным, меняются области его нападения: то это были землевладельцы, то купцы, то интеллигенция, то сама партия... Что дальше? Дальше нужно бы с кем-нибудь воевать», – утверждал: «Нельзя судить историю и нельзя даже понять ее, имея перед собой только жертвы».

Те иллюзии в отношении новой власти, которые писатель питал в 20-е годы и которые показались ему на короткое время исчерпанными на рубеже 30-х, в середине четвертого десятилетия века ожили снова, преобразились и, более того, сделались не иллюзиями, но частью его убеждений – советские годы шли не зря, и Пришвин, хотел он того или нет, в какой-то мере становился все более советским человеком, – иначе и быть не могло:

«Диффузия. За 17 лет у нас с большевиками происходила диффузия: мы от них брали готовность к движению, они от нас культурность, им казалось, что они хозяева, мы их подчиненные, нам казалось, что в конце концов мы их ведем».

И так и не решив, кто же в конце концов ведет, Пришвин блестяще завершил свою мысль: «А кто стоял в стороне, тот превращался в старую деву» (то есть вековуху – вспомним письмо к Блоку. – *А. В.*).

И три года спустя – в пору нового заключения своего товарища – эту мысль подтвердил и развил: «Путь к коммуне все-таки через личное сознание... К этому мы все и подходим: все же, кто не обрел личного сознания, являются жертвами».

«Как бы ни вели себя большевики безобразно, жестоко и коварно вплоть до полного истребления оппозиции, вызвавшей письмо Роллана к Сталину, – все равно критики, идейно уничтожающей большевизм, ни с какой стороны не было. Какая это критика, если,

заглянув в жизнь критикующих, видишь только внешнюю красивую форму, закрывающую от постороннего глаза такую же самую жизнь».

Все это, от старой девы до Ромена Роллана, прямо против ссыльного товарища обращено, и поэтому, полагаю, что даже соловецкий очерк Пришвина, написанный в ту пору, когда Разумник Васильевич отбывал первую ссылку, с открыто выраженным авторским нежеланием оказаться в заключении не столько из любви к свободе, сколько из-за страха не увидеть величия (даже не величия, а медного, мерного хода) исторических событий, был диалогически обращен именно к нему.

«Вообще Иванов-Разумник похож на шило, которое нельзя в мешке утаить (образ для Пришвина не новый, такими же точно словами он охарактеризовал когда-то в письме к Горькому В. В. Розанова. – *А. В.*). Так и прет из него начинкой старой русской интеллигенции. Он никогда не поймет, что большевизм родился в процессе реализации интеллигентских чаяний, что Керенский, Чернов, Плеханов, Троцкий ходом событий во всем мире, а не только у нас непременно приведены бы были к тому самому, что делает теперь большевизм: делает государство силой принуждения, потому что кругом никто государственных обязанностей к нему выполнять не хочет, всякий хочет быть «сам по себе»».

А если не хочет – надо заставить: «В Сталине собирается теперь нечто враждебное всей старой русской интеллигенции, мечтательной, бездеятельной, болтливой, собранное в кулак стадо против царя».

В те времена, когда революция стала пожирать своих детей, Пришвин – говоря опять же языком политическим – начал стремительно праветь, и если в 20-е годы революция оставалась для него священной коровой и он мог подобно Иванову-Разумнику рассуждать о том, что большевики исказили ее идею, и

вздыхать по революции Февральской (идея цвета и креста), то теперь все перевернулось. Надо было дожить до шестидесяти четырех лет, чтобы написать:

«Только в эту зиму, после „процессов“, Ягоды, и т. п. я наконец разделался с эпохой либерализма, в которой воспитался. В сущности, я уже кончился как либерал, социалист и общественник в тот сокровенный час, когда понял сладость писать, т. е. оставаться с самим собой (...) Но с тех пор и до последних дней (лет тридцать пять) я не мог обрести того равнодушия к общественности, каким обладают все художники. В этом равнодушии и определяется обычное, если не почтительное, то уважительное отношение к „властям предрержащим“». [\[1047\]](#)

К либералам Пришвин предъявлял куда более жесткий счет, чем к их неразумным наследникам; Сталин для него что-то вроде безликой неподсудной силы, призванной самой историей (и оттого относиться к нему следует отстраненно), а они – личности, за свои поступки получающие историческое возмездие: «И вот когда либералы поднимают голос за свободу, они тем самым являются обманщиками, что предлагают свободу там, где господствует только так надо. Они, обманывая, поднимают народ (сознательно или бессознательно) с тем, чтобы свергнуть деспота, сесть самим на трон и для народа объявить прежнее так надо.

Так вот после каждой кровавой гекатомбы и всеобщего нравственного возмущения встает опять Сталин более могущественным, чем был».

Сталин не пришел из ниоткуда, из пустоты, не выпрыгнул как черт из табакерки, Сталин – это ответ российской истории на трагические ошибки и ложь русского либерализма.

Пришвин хорошо понимал, что «...советское государство почти слилось с именем Сталина», но те

свойства вождя, которые могли бы вызвать возмущение и отторжение и которые еще совсем недавно эти эмоции вызывали (вспомним резкие суждения писателя о Сталине начала 30-х годов), теперь, при всей своей противоречивости и неоднозначности, скорее привлекали его:

«"Я" Сталина родилось из кавказской кровной верности, непостижимого упорства „кровника“ в достижении цели, из коварства азиатского, из дружбы, из огромной первобытной, кровной близости к человеку, из безфантазии и бездосужия, из партии... Он, вероятно, беспрерывно прижимает человека к стене, ловит его с поличным его блажи и одного, отпустив, делает человеком своим навсегда, другого когда *надо*, без колебания уничтожает».

Слово «надо» выделено который раз не мной, а Пришвиным и выделено не случайно: отныне до конца дней он будет думать о том, как примирить «надо» и «хочется» и сочинять новую утопию.

Да что там кавказский характер – теперь Сталин, которого Пришвин недавно корил за отсутствие не только литературного таланта, но и «горчичного зерна литературно-гуманного влияния», удостаивается прямо противоположной оценки именно с точки зрения литературы: «Простота речи, не претенциозность, речь для дела, а не дело для речи. По славной русской традиции примеры из Щедрина и Гоголя. Живая речь живого человека».

В 30-е годы Пришвин пытался уйти от моральной оценки истории:

«Революция занимается вообще не освобождением человека от бремени, а скорее утверждением его необходимости и справедливым его распределением между людьми. Вот почему и является необходимостью в абстрактной величине человека среднего без индивидуальности». Как скромно и неброско, не по-

пришвински взвешенно звучит это по сравнению со всеми пристрастными дефинициями прежних лет, но одновременно с этим – какое горькое понимание, что ему в этом обществе, среди обезличенных людей делать нечего.

Собственно, не революция как таковая занимала писателя в двадцатую годовщину октябрьского путча. История России виделась ему в ином ключе: «В огромной стране все было против государственной власти, и разбили ее; но без власти люди жить не могли. Жить не могли без власти, но, презирая власть, брать ее не хотели. Всякий порядочный человек обязан был выказывать свое презрение к власти и называть себя анархистом. Но пришел единственный человек и убежденно сказал: „Надо брать власть“. Его послушались, потому что в воле единственного человека сошлась воля миллионного народа: невидимая воля миллионов людей стала видимой через одного человека – Ленина. Так на развалинах империи возник грозный Союз ССР»; «Решение Ленина взять власть, т. е. то, что всякому интеллигенту было ненавистно, есть решение гения. Он шел против всех и в этом был прост как ребенок»; «В лице Ленина последний русский интеллигент сказал: – „Так жить, как мы жили в нигилизме, нельзя, надо брать власть“».

Определение это замечательно тем, что впервые Пришвин отозвался о событиях октября семнадцатого года не как о революции, то есть перевороте, захвате власти, свержении старого строя и т. п., но как о необходимости установления власти в безвластной стране и признал законность того действия, о котором так образно и жестко писал в семнадцатом году. Через это неприятие русской революции можно понять и еще одну запись, касающуюся участи высшего военного состава Красной армии.



«Значительная часть генералитета нашей армии оказались шпионами, за границей это принято как наша слабость. Но „Правда“ и тут нашлась: они смотрели на казнь их как на доказательство нашей мощи. Надо сделать усилие над собой, чтобы найти в этих словах какой-нибудь смысл».

Это «сделать усилие» явно обозначает некий второй план, скрытое «не верю», но вслед за этим – делал усилие и, опираясь на прошлое страны, писал: «Но вот, вспомнив нашу империю, когда надо было тысячами казнить – и не казнили, что в решительном действии в отношении колебателей основ нашего государства может сказаться и действительная мощь».

Это уже логика отнюдь не бывшего марксиста, но именно государственника, каким Пришвин оставался, несмотря ни на что: революционеров надо было казнить тысячами, как тогда, так и теперь – только бы не было новой революции и новой смуты! Любой террор и беззаконие можно пережить, любую диктатуру – только не смуту.

«Конечно, Сталин – всё», – записал Пришвин 22 сентября 1938 года, [\[1048\]](#) и за этим все – и горе, и кровь, и слава, все...

Говорил ли он об этом Иванову-Разумнику? Спорили между собой двое старейших писателей или чего-то недоговаривали, таились, опасались, в душе друг друга слишком уважая, чтобы презирать, и боясь раскрыть карты, – как знать. Скорее всего, споров больше не было. В 1940 году Пришвин написал: «Никогда не был и не мог быть с ним откровенным, но он вошел в мою жизнь непрощеный и занял в ней какое-то неподвижное положение вроде энциклопедического словаря».

Не о чем им было больше спорить: то, что было логично, хотя и безрадостно для Пришвина, вызвало бы ярость Иванова-Разумника, доведись ему услышать, что

думает его друг и заступник о характере российской истории. На путях своего оправдания бытия знаменитый русский народник занимался антроподицеей и оплакивал демократический путь развития России, надеясь, что его несчастная страна когда-нибудь к этому пути вернется, а бывший Великий Пан противопоставлял его либеральным изысканиям и иллюзиям, быть может, от безвыходности, своего рода сталино- или ленино- или империо- неважно – дицею. И при этом оставался самим собой, с горьким сарказмом рисуя свою утопию, которая более антиутопична, чем любая антиутопия:

«Наше „сталинское общество“ есть спасение мира, то самое чистое счастливое состояние людей, из-за него был распят Христос и с ним весь физический человек в истории культуры. Мы достигли конечного счастья, и вся история человечества теперь открыта в свои <1 нрзб> и сводится к нашей конституции. Трагедия кончена, мир будет спасен через две-три пятилетки».

«Все сводится к тому, имеет ли смысл, имеем ли мы право раскрывать трагедию сотворенных человеком вещей. Может быть, счастливая жизнь именно требует молчания о скрытой в ней личной трагедии».

И все же в потаенном Дневнике 1937 года государственнические идеи Пришвина странным образом противоречат его душевному настрою. Даже по контрасту с не слишком оптимистичными записями середины 30-х на каждой убористо написанной странице здесь разлиты такая печаль и грусть «лишнего» человека, какие прежде в Дневнике не встречались. Прежде была борьба, были самозащита, ярость, страсть, тут – усталость, даже элегичность.

«Мне будет – страшно сказать! – 64 года. Уймись же, Михаил, пора собираться».

Но еще сильнее – эстетическая невыносимость жизни в советском раю: «У меня тоска бывает чаще

всего от прихода в свое внимание чего-нибудь избитого, повторенного мною много раз, пошлого. Есть, однако, избитая, например, выбитая ногами людей тропа – никогда не вызовет тоски, есть травка-муравка на дворе, всю жизнь смотришь – и ничего.

Однако слова «Демьян Бедный» – даже и без стихов вызывают тоску. Вид лестницы милиции, суда... Берет набок у девушки со взбитым коком на другой стороне. Массовое тело физкультурницы. Редакции «Известий» и «Правды». Флаги...»

Это были вещи, которые окружали его в реальной жизни, и как бы ни был Пришвин непримирим по отношению к либералам, сколь бы ни считал закономерным их историческое поражение и ни подозревал бы в том, что возьми верх они, крови было бы не меньше, еще больший эмоциональный ужас вызывала у него победившая сторона: «С утра до ночи дикторы народного гнева вещают по радио: псы, гадюки, подлецы и даже из Украины было: подлюка Троцкий. У нас на фабрике постановили, чтобы не расстреливать, а четвертовать и т. п. (...) Речь Вышинского (прокурор) как выражение народного гнева (скептики говорят), – организованный самосуд. Слова Достоевского: и все растечется в грязь».

А главное, что все это не в репродукторе или на улице, но среди близких ему людей: «Петя с Таней<sup>[1049]</sup> так втравились, что ждут, когда «псам и гадам» будут отнимать члены, рубить пальцы и т. п.».

И как итог всему: «Вы меня извините, но выйти в личной жизни своей за пределы мелкобуржуазных понятий не могу и плетусь на лошадке своей, как последний извозчик в Париже».

Выше я уже говорил о том, как трудно в России государственнику и насколько предпочтительнее, особенно в глазах интеллигенции, смотрится либерал.

Трагическое положение человека отшатнувшегося, убежавшего от либерализма, как убежал в публичном доме Курымушка от «фарфоровой женщины», осознавал и Пришвин, над ним раздумывал долгими часами, и значительная часть дневниковых записей 1937 года посвящена этой теме своеобразной верности «Медному всаднику» и его делу, но одновременно и еще сильнее – защите его жертв, и в этом непримиримом противоречии шла его жизнь в годы «культы личности».

«Над всей страной, над каждым существом в стране легла тень смерти. Хорошо одним пьяницам да тем, кто вовсе устал и жить больше не хочет».

«Время подходит к тому, чтобы людям забыть свои лица, народам забыть свою народность и броситься в Чан истории...»[\[1050\]](#)

Одни предопределены ко спасению, другие к гибели. Одним суждено стать жертвами, другим – палачами (и очень часто судьбу своих жертв повторить), а третьим – уцелеть.

В число третьих чудом попал не только Пришвин, но и – как это ни удивительно – герой этой главки Иванов-Разумник. В 1937 году его арестовали снова. Казалось, все было кончено. Второй арест дался пожилому литератору тяжелее первого: два года тюрьмы, допросов, правда, без применения приемов устрашения («Мне часто бывало стыдно перед сокамерниками, возвращавшимися с тяжелых и частых допросов, в то время как меня месяцами оставляли в покое, а допросы проводили всегда в корректной форме»). Затем о нем неожиданно на время забыли, а после смены следователя, который сам оказался «врагом народа», дело пересмотрели и подсудимого освободили. Вступился ли за друга Пришвин, сказать трудно. Скорее всего, нет. Во всяком случае 14 февраля 1940 года Иванов-Разумник написал жене: «...ведь тогда и ММ

оказался в нетях. По нынешним временам судить за это людей строго не приходится».

По всей видимости, именно о Разумнике Васильевиче написал Пришвин в Дневнике 1939 года, уже отчаявшись его когда-либо увидеть: «Друг мой, чистый невинный человек погиб».

А когда Иванов-Разумник снова вышел на свободу – с условием не писать ничего о том, что видел и слышал, Пришвин и Новиков-Прибой обратились с письмом к Берии, в котором просили наркома разрешить Иванову-Разумнику жить в Пушкине, так как его литературная работа была связана с ленинградскими архивами.

Он получил приглашение разбирать литературный архив Пришвина, и, по воспоминаниям Валерии Дмитриевны Пришвиной, это был «измученный человек, но сохранивший, несмотря на все свои жизненные катастрофы, необычайный апломб: иметь при нем свое мнение решился, как я увидела после, один только Михаил Михайлович. Впрочем, он оказался добряком, отмеченным двумя основными качествами (или слабостями): всезнанием и принципиальностью», – портрет воистину несломленного человека!

Так что не в либеральных или консервативных взглядах дело – а в их носителях. В личностях. [\[1051\]](#)

## Глава XXIV КЛУБОК ПИСАТЕЛЕЙ

На процессах 1937 года приоткрылось еще одно до сих пор неясное обстоятельство – история с отравлением Горького.

«В наше время тайны раскрываются гораздо раньше, чем можно ожидать этого, так вот конец Горького: думалось, я сам не раз говорил, что человек этот превратился в учреждение, но кто же мог думать, что так скоро вскроется все содержание могилы, с костями, червями».

Смерть Горького (тело которого, правда, было кремировано) имела к Пришвину непосредственное отношение, ибо наводила его на весьма тревожные мысли о собственном литературном статусе. «Относительно меня сложено так, что большой человек, Горький, мог бы „сорадоваться“ с маленькими, например, Чапыгиным, Пришвиным. Но Горький умер, и имена маленьких постепенно сходят на нет. Попробуй-ка выбейся из такой паутины, докажи, что ты не от Горького».

Такое положение дел возвращало писателя к истокам его творческого пути – неуверенности в себе и опасению остаться «маленьким», которые исчезли лишь к концу жизни нашего героя. Но главное – не необходимость утверждать свою самость на шестьдесят пятом году жизни, а то, что печальной памяти 1937 год, вокруг которого впоследствии было столько сломано копий, снова и снова ставил Пришвина перед вопросом, когда-то сформулированным Алексеем Максимовичем, по отношению к литературе вечным на все времена: с кем вы, мастера культуры?

И такова оказалась логика жизни даже очень искреннего литературного отшельника: если ты не с одними, значит – с другими.

«Вот эту ошибку делали все наши „правые“, ошибку как бы поспешности: расставшись с одним, спешили верноподданнически припасть к стопам других. Это очень похоже на хамство...» – писал Пришвин, опасаясь, что его внутреннее движение может быть неверно расценено. Но, независимо от умонастроения автора тех аллегорических строк, во второй половине 30-х внутренне порвавшего с либералами Пришвина (внешне порывать было не с кем), приветствовала официальная советская литература в лице главы Союза советских писателей товарища Ставского.

«Ставский – это ком-поп, и много таких. До тех пор, видимо, не будет настоящей литературы, пока не переведутся такие попы», – язвительно отзывался о нем незадолго до смерти Максима Горького Пришвин, и теперь этот ком-поп, похожий на «хозяина в колхозе», вызывал оставшегося без прикрытия писателя на беседы для проверки его политических взглядов, иные из которых (бесед) Пришвин фиксировал в Дневнике.

«Теперь, – сказал я Ставскому, – надо держаться государственной линии... сталинской». «Вот именно, – откликнулся Ставский, – вот именно сталинской».

Так что же, Пришвин Ставского дурачил? На первый взгляд, конечно, да. Его сталинизм – личина Иванушки-дурачка («Дураков, настоящих, доказавших себя дураками, партия не трогает, и они живут на удивление всем только за то, что дураки»), поведение простака, оседлавшего черта.

«Мефистофель является злой силой при наличии доктора Фауста. Если же на черта садится кузнец Вакула, простака, действующий силой креста, то при помощи черта он достает своей Маргарите царские

башмаки и как ни в чем не бывало женится на ней по всем правилам православия».

Последнее сравнение для Пришвина очень важно, оно не раз встречается на страницах Дневника советского времени в качестве своеобразной самозащиты, уловки, только Пришвин куда более походил на Фауста, чем на Вакулу. И его «простак» был всего лишь не слишком удачной маской. Как ни настаивал старейший писатель на своей природности и естественности, на своем пути из жизни в литературу, а не наоборот, ему, прошедшему через Религиозно-философское общество, германские университеты и либеральные дореволюционные газеты, некуда было деться от этого фаустовского груза: интеллигентность как суть личности была его крестом.

Не случайно, вернувшись домой после разговора со Ставским, Пришвин не выкинул из головы глубокомысленный обмен репликами на тему верноподданности вождю, как сделал бы любой простак, а продолжал мучительно, по-интеллигентски над сказанным размышлять: «Дома подумал о том, что сказал, и так все представляют: „на одной стороне ссылают и расстреливают; на другой, государственной, или сталинской, все благополучно“. И значит, вместо „сталинской“ линии я мог бы просто сказать, что держаться надо той стороны, где все благополучно. В таком состоянии, вероятно, Петр от Христа отрекся. Скорей всего так. Но я думаю, что это не все».

И это «не все» – опять фаустовское, диалектическое, усложняющее и без того непростую ситуацию. И не случайно тут Пришвин прибегнул к испытанному способу установления истины, беря в союзники своего бывшего учителя: «По Розанову, например, та сторона, где вешали, была и более выгодной стороной. Это стало понятно только теперь. И, может быть, в моем положении сказать открыто, что



держусь сталинской стороны, – сейчас тоже невыгодно. Скорее, что в этом открывается некое девственное движение в сторону „сверх-себя“: прыжок в неизвестное».

То есть в ту страну, где нет добра и зла и где покоится сокровенная неоскорбляемая часть души – одно из самых важных понятий пришвинского мировоззрения.

Но прежде чем до нее дойти, Пришвин проводил весьма поучительную историческую аналогию: «В царское время не в „выгоде“ было дело, как пишет Розанов; а в том, что общество черносотенцев было действительно подлое, воистину „черносотенцы“. С другой стороны были все порядочные люди, начиная от военного (кадета), кончая нравственным миром (эсеры).

То же самое, наверное, и теперь. Сравнить только общество Воронских и др. «троцкистов» с обществом Ставских, Панферовых, Фадеевых... В этом глубокая правда, что многие держались в оппозиции к царю из-за «порядочности». В глубине этой «порядочности» находится то же самое полотенце, которым вытирал свои руки Пилат, отдавая Христа. «Чистые руки» – вот источник упрямой порядочности кадетов. Страшноватым кажется только, что почему-то кровь на руках эсеров вовсе не грязнит их в глазах «порядочных» людей, а «убийцами» именовались только черносотенцы».

Здесь особенно точно слово «страшновато», но какой бы жесткий и справедливый исторический счет ни предъявлял Пришвин бывшим друзьям, именно соображения порядочности и личной гигиены не пускали его в лагерь официальной советской литературы. В глубине души он был готов искренне служить и государству, и Сталину – но только по-своему, по-пришвински, а не так, как служили вокруг него.

Он не желал бросаться в чан, в который его насильно тянули те, кто уже в этом чану давно обретался, и, сравнивая положение советского писателя с писателем иностранным, заключал: «Мы не можем так писать и, зная, что не можем, и вообще ничего не можем как писатели. Писатель у нас находится в банке с притертой пробкой и виден весь насквозь. Ведь и рад бы всей душой отстаивать родину, Советский Союз и вождя, но гораздо больше будешь значить как писатель, если промолчишь, чем вместе со всеми воскликнешь „осанна!“. В такой осанне твой голос не будет личным голосом в хоре, согласным, но имеющим свое место, нет, личность твоя потонет в реве существ, которые завтра же при перемене заревут совсем по-другому. В таких условиях молчание выразительнее и за молчание уважают».

Вот чего боялся старый художник – оказаться голосом из хора, раствориться в общей писательской массе, которая «в деле послушания, молчания и лжи дошла до последнего предела» и готова будет при первом удобном случае сдать и вождя, и коммунистические идеалы.

А поэтому – «вот бы взялись теперь, пользуясь Конституцией, несколько крупных писателей начать журнал „Советская честь“ и начать войну против фальшивой „осанны“, как бывало соединялись на Руси честные люди. Попробуй-ка!» – вот чего хотел Пришвин и тщету чего одновременно с этим понимал, стыдясь «принадлежности своей к „Дому писателей“, как когда-то, „глядя на бедность крестьян, Толстой очень страдал и тяготился своей барской жизнью“».

Если это и подкоммунивание, то очень своеобразное, совсем не похожее на подкоммунивание Алексея Толстого, который иронически отзывался о Союзе писателей как о самом покойном учреждении в тревожное время и, по мнению Пришвина, метил на

место Горького. Граф знал, что к чему, был по-хорошему нахален, беспринципен и бесцеремонен,<sup>[1052]</sup> а у честного и простодушного безо всякой иронии Пришвина голова шла кругом от скорости происходивших вокруг перемен: «Вчера Демьян мог издеваться над Крещением Руси, а поп, сказав за Крещение, летел на Соловки, сегодня Демьян летит вон из Кремля по воле вождей».

Но - продолжает мысль писатель: «Если бы Демьян, любя Россию, досрочно оценил значение Крещения Руси, то... и говорить нечего, что сделали бы с Бедным».

Такое положение дел Пришвина как лояльного гражданина своей страны и искреннего (безо всякой фиги в кармане) советского писателя невероятно возмущало: «В этом я усматриваю жалкое подневольное положение „пророка“, посвященного в призвание глаголом жечь сердца людей. Могу ли я, задетый лично, выступить против людей, отказавшихся от всего личного во имя будущего социалистической родины? Уязвленный лично, я не могу судить бескорыстно и оттого молчу и как литератор, и как гражданин».

Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку и успокоиться, но сверлящая, изнуряющая мысль писателя шла дальше, глубже, рискованнее, и Пришвин находил объяснение и оправдание такому подъяремному существованию творца: «...Когда должен превратиться в часть механизма, особенно непривычный и свободолюбивый человек, то кажется скучно, стыдно, тягостно.

А когда дома одумаешься и представишь себе, что точно так ведь и вся страна, все сто десять миллионов, как один человек, организованы и могут по одному слову вождя вмиг стать под ружье, то всякое либеральное ерничество отпадает и начинаешь

понимать в этом общественном явлении небывалое во всем мире во все времена».

Главное у Пришвина в 30-е годы – добросовестное желание понять, вместить в душу и в ум две правды: общую и частную правду личности и правду государства, каждая из которых была для него одинаково драгоценна, но по отдельности не выражала полноты. И как это ни парадоксально, но причина образовавшегося от этого соединения несчастья – не что иное, как злополучная засмысленность, в которой он кого только не обвинял, от которой всю жизнь куда только не убегал как черт от ладана – на Север и на юг, на Дальний Восток и в Берендеево царство, да так и не убежал.

Казалось бы, он личник, индивидуалист, ему всего дороже его «я», творческая свобода и т. д., но в то же время: «Если человек заявляет повсюду, что он при всяких обстоятельствах желает оставаться сам собой, то правительство не может положиться на него и считать его своим человеком: как положиться, если в решительный момент борьбы он откажется выступить, желая остаться самим собой?»

Так и разрывался Пришвин между своим уединенным уникальным существованием независимого и непродажного художника и призванием гражданина, порою горько признавая и словно жалуясь:

«Мучусь своей отрешенностью от литературного общества, злюсь, обижаюсь своей оставленностью, но в конце концов хочу оставаться, каков есть и как оно есть». [\[1053\]](#)

А порою приободряясь: «Нет, нужно на все соглашаться при условии оставаться самим собой».

Он оставался не просто государственнымником, но государственнымником вдвойне, и по отношению к стране, и по отношению к себе, отлично понимая уязвимость

этой позиции в современном ему обществе («Жестокость („без права переписки“) власти безмерная невозможная – это темное пятно в нашем Союзе: для народа все, для личности – смерть...»), но твердо зная, веруя:

«Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может наделать беды обществу, и общество может погубить личность, – и тут вся игра, стоящая целой жизни».

В эту игру он и играл, как умел, а власть излишней независимости, самости не любила и пыталась на него давить. Достаточно мягко, принимая пожилого писателя-натуралиста за юрода и глядя сквозь пальцы на его «шалости», и все же...

«Мелькает мысль, что тебя юпитером просветят насквозь и все увидят, какой ты, – и разорвут».

Та диффузия, о которой писал Пришвин, размышляя об отношениях интеллигенции и большевиков, неизбежно затрагивала существо человека, но если для того, кто этой диффузии избегал, была угроза превратиться в своем осажденном «я» в старую деву, то альтернативный путь был чреват не только «просвечиванием», но и опасностями иного рода.

«Плох не Ставский, Панферов и т. п., а я сам делаюсь плох, когда с ними встречаюсь: я делаюсь не я, и в этом состоянии я узнаю себя таким хамом, какого в себе и не подозревал. Долго потом ругаю Ставского за то, что он послужил поводом увидеть себя в образе „хама“.

Какие надменные, какие бесчеловечные слова: «На ошибках мы учимся». Кто это «мы»? Должны бы «мы» знать, что каждая наша ошибка куда-то падает, как грех, и мутит нашу воду и все больше и больше отравляет».

Это звучит почти как покаяние – никогда не был Пришвин так близок к религиозному настроению, как в

1937-м, и не зря этот год в пришвиноведении считается поворотным. Общение со ставскими было мучительно для него, потому что казалось похожим не то на вкрадчивый допрос, не то на пристрастную исповедь, вернее, пародию на исповедь (Ставский ком-поп, Ставский – Легкобытов, Щетинин), и это кощунственное соединение тяготило душу:

«"Читаете ли вы, – спросил Ставский, – написанное вами раньше?"

«Нет, – ответил я, – сам не читаю, надеюсь на редакторов: они исправляют. А разве вам на меня жалуются?» "Еще бы, вы написали: «В советской власти вечности нет»».

В Дневнике не говорится, что ответил на это Пришвин, но известно – что подумал: «А между тем ведь это же единственная продушинка революции, что все эти переживаемые страной бедствия пройдут, что в них вечности нет».

Отчасти в отношении Пришвина к Ставскому, а в его лице – и ко всей советской литературе 30-х годов срабатывала та же модель поведения, что и по отношению к Горькому: внешнее почтение и внутреннее презрение, только фигура была неизмеримо мельче масштабом и оттого почтения меньше, а презрения больше.

Когда в 1938 году две советские писательницы Анна Караваева и Валерия Герасимова публично и наверняка по наущению сверху выступили с жесткой критикой Ставского («Занятый исключительно конъюнктурными соображениями, изыскивающий все способы уязвить своих критиков и вообще устранить все беспокоящие его элементы, В. Ставский обходится не лучше и с партийной частью ССП, за исключением своих „приближенных“»), Пришвин при том, что, очевидно, входил в число «приближенных», с удовлетворением записал в Дневнике: «Такие женщины, как Караваева

или Герасимова, могут за правду постоять». Хотя, возможно, это была всего лишь горькая ирония.

Пришвин использовал Ставского в своих интересах, пребывая при этом в сомнениях: «"Безвыходное положение" у Ставского разрешилось в сторону устройства самого размещанского клуба... Присутствовали на учредит. собрании настоящие дьяволы...

В дальнейшем кумиться с дьяволами и ставить себя от них в малейшую зависимость не надо, ходить туда пореже, однако иногда бывать? Или же послать к чертям... Что-то там нечистое...»[\[1054\]](#)

В самом деле, от Религиозно-философского общества, каким бы оно ни было, до клуба Ставского – хорошенькая эволюция для мыслящего человека! С одной стороны, она сохраняла и узаконивала его положение в советской литературе, с другой – перечеркивала и обесмысливала весь творческий путь, и Пришвин это хорошо понимал: «Вся моя жизнь с марксизмом, непугаными птицами, Павловной и всем-всем исчезает, как бессмыслица, когда думаешь о Клубе писателей. Это два взаимно уничтожающие себя начала». [\[1055\]](#)

Но послать ком-попа к чертям было слишком рискованно, да и потом общение со Ставским не только предохраняло Пришвина от возможных бед (что особенно ярко проявилось во время драматической истории его развода и второй женитьбы в 1940 году), но и принесло немало земных благ, в том числе и тех, которые раздираемый временным и вечным писатель полуиронически-полусерьезно относил к разряду вторых.

«Приятное известие. Когда начался спор о предоставлении мне жилплощади, то встал официальный представитель Союза (кто?) и сказал:

„Пришвин такой большой писатель, что никакого спора о предоставлении ему жилплощади быть не может“. И все утихло. Между тем, что другое, а в квартире в Лаврушинском „вечность“ есть».

Все это смахивало на ситуацию десятилетней по отношению к сему эпизоду давности, когда коммунисты, разрушившие пришвинский дом под Ельцом, давали писателю деньги на дом в Загорске, но теперь чувство победы в душе было смазанным – изменилась и стала жестче эпоха, впоследствии через подобные бытовые коллизии и подробности описанная у Трифонова в «Доме на набережной».

Пришвин чувствовал, что его откровенно пытаются купить, и не случайно через пять дней с горечью привел в Дневнике панибратскую реплику Панферова:

«– Такой писатель, а в стороне! Поближе к нам!»

Как ни непросто было ему с разнообразными либералами, сколь ни чувствовал он себя среди них чужим, как иезуитски тонко ни унижала его Зинаида Гиппиус и вся декадентская братия, такого чудовищного разрыва и такой грубой хватки ощущать прежде не доводилось:

«Как далеки они от искусства и как далеко искусство от них (...)».

«Впечатление от Панферова такое, что в душе, конечно, чувствует: все векселя революционера, бедняка и пр. просрочены и что надо укреплять себя в творчестве».

В том и заключалась подлость этого странного союза «правого» Пришвина с «правыми» советскими писателями-функционерами, что им даже не перевоспитать неожиданного союзника требовалось, не переубедить его и не перетащить окончательно на свою сторону, а – добиться от него литературного признания, через Пришвина увековечить себя в истории, ибо помнили они, как хвалил Ф. Гладкова Андрей Белый



(«Это же симфония, исполняемая оркестром перетирающих друг друга мировоззрений (...) сложение дуэтов, квартетов, секстетов в тонкую ткань архитектоники целого»), и жаждали подобного. Тут речь шла о честолюбии целого поколения, и ставки были высоки:

«Они делают с утра до ночи, их душа не знает покоя, без конца делают, делают, [\[1056\]](#) и им до смерти надо, чтобы кто-то со стороны пришел и сказал: «Вы делаете хорошо». Они ждут это от писателя, и теперь нет сомнения, что на этот трон качества некоторые круги хотят меня посадить, сделать меня кем-то вроде густатора с правом говорить, когда хорошо – хорошо, когда плохо – молчать. Теперь уже нельзя совсем пойти и тоже нельзя сесть на трон густатора. Надо найти возможное приличное состояние».

Быть может, тем, что Пришвин это приличное состояние все же нашел и оказался слишком неподатлив, не лил елей на их прозу, а больше отмалчивался и скитался по лесам, и можно объяснить тот факт, что в 1939 году по его писательскому самолюбию был нанесен весьма ощутимый удар.

В самом начале года большую группу советских писателей награждали правительственными наградами. Позднее, в последний раз отпущенный из советской тюрьмы и уехавший в Германию Иванов-Разумник в своих статьях, опубликованных уже во время войны в профашистской газете на русском языке, ядовито отозвался об этом событии: «Много курьезов можно было бы рассказать об этом позорном эпизоде в истории русской литературы (...) Бездарные или полуталантливые виршеплеты и беллетристы получали высший из орденов – орден Ленина; многие талантливые представители старой литературы были

оттеснены на задворки, в задние ряды, и получили только жетончик „Знак почета“».

Последнее имело самое непосредственное отношение к Пришвину. Старый писатель не попал в число тех счастливицков (их был 21 человек), кто получил орден Ленина, ни тех (их было 49), кому дали орден Трудового Красного Знамени, а затерялся среди 102 обладателей ордена «Знак Почета».

И хотя и этот орден значил по советским меркам немало и давал писателю высокий статус «орденоносца», Пришвин, еще совсем недавно говоривший о «равнодушии к общественности, каким обладают все художники», почувствовал себя оскорбленным. «Ни слова не дали, не выбрали и в президиум (...) Маршак, смертельный враг, получил орден Ленина и поздравил меня с Почетом. Положение маленького человека: презираю их и в то же время обижен, что не сижу на их месте. Так Пушкин и Лермонтов презирали „свет“ и в то же время умирали за положение в свете (...) Спасение только в читателе».

Мало этого, два дня спустя: «Говорили потихоньку вчера на собрании о враге, что ведь и в этом вот деле награждения действовал враг... И вот пришло мне в голову поискать черты этого „врага“ непосредственно возле нас». [\[1057\]](#)

Какой уж тут простак Вакула! Понимая это, в 1937 году Пришвин рассуждал о раздвоенности современного человека, причем, в отличие от прежних мучительных хлыстовских делений на дух и плоть, теперь граница личности проходила через иное измерение:

«Двойной человек у нас: внутренний про себя думает, а наружный говорит то, что ему велят. Возможный вопрос в том, кто же из них есть настоящий человек. Сейчас приходит в голову, что внешний-то и

есть настоящий, а другой – как внутренний враг. (...) Внешний человек – каким надо быть, а внутренний – каким каждому в отдельности хочется».

Но если то, старое раздвоение Пришвин стремился преодолеть, то к этому, новому относился сложнее и диалектичнее: в «Осударевой дороге» с ним боролся, а в Дневнике хранил и видел в нем единственный способ уцелеть в настоящем: «Если осудить внешнего и остаться с одним внутренним (как Разумник), то требования к внутреннему предъявляются столь большие, что всякий, будь то Радек, Бухарин или др., падает».

А значит, нужно искать некое третье состояние – прыжок в неизвестность, и так родилась идея совершить новое бегство в счастливую страну своего «я»: «В этом и виден именно смысл и свой подвиг, чтобы в чарующей форме погасить свою личную трагедию и этим привлечь к ней людей, как к своему счастью, и тем убедить их в необходимости личного подвига по их собственной линии жизни».

Или еще одна важная запись, диалогически обращенная к очень большому числу людей, осуждавших Пришвина за его «бегство в природу»: «Можно ли серьезному человеку, писателю в такое-то время целые часы сидеть наблюдать в бинокль, как тяжелый шмель гнет цветоножку!.. И я отвечаю, что можно, если во всем остальном прийти к решению готовности: если окажется, что нельзя жить, как я живу, то я во всякий час готов отказаться от себя и вполне осознаю эту необходимость. Вот это самое сознание необходимости и есть моя сила: да, это нечто новое, до этого я дожил и „Опавшие листья“ Розанова сыграли в этом свою роль, были последним толчком...

Москва, как вулкан, души засыпаются... Или это поле сражения, битвы? Счастье тому, кто может отойти. Но не всякому-то это возможно, отойти».

Глубже всего свои новые взгляды Пришвин сформулировал в ответном послании к своей знакомой, Марии Дмитриевне Менделеевой, которая в одном из писем к писателю называла его «очень добрым человеком, пытающимся всех примирить», что отвечало и идее задуманного Пришвиным в эту пору романа о строительстве Беломоро-Балтийского канала, даром, что ли, избрал к нему автор эпиграф из Пушкина («Да умирится же с тобой / И покоренная стихия»). Но что-то не понравилось писателю, показалось неточным.

«Интересно мне, что ее упрек в „доброте“ исходит из того же источника, что и у тех, кто упрекает меня в безчеловечности».

И тут уже не одна Зинаида Гиппиус расстаралась – но и идущая, как это ни парадоксально на первый взгляд, в ее фарватере советская критика.

Вот против этого-то невыносимого резонанса Пришвин и восстал:

«Выше всего в мире я считаю неоскорбляемую душу, где и вопроса нет о „примирении“ (как Вы пишете): там вообще как бы точка равновесия».

А немногим раньше, в Дневнике, следующим образом прояснял эту мысль: «Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей или вовсе не был бы оскорблен, или преодолел бы свое оскорбление, например, на то самое, (что) вызывало злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам лично, поместивший занятие свое искусством слова в ту часть своего существа, которая остается неоскорбленной (...) [\[1058\]](#) Я даже теперь настолько убедился в реальности своего «неоскорбленного ведения», что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа

человека («Красота спасет мир», – сказал Достоевский)».

Эта идея была важна для Пришвина не только в контексте противостояния государству. Личность, по Пришвину, оказывалась неуничтожимой в любых условиях, ибо всегда в ее составе присутствует та часть, которая не может быть ни захвачена, ни разрушена, ни поругана, ни оскорблена, в этом секрет ее стойкости, ее сокровенная сущность и предназначение.

«Продолжаю читать „Канал имени Сталина“. Не тем одушевлялись инженеры, что усвоили катехизис социализма, а что беда живым открыла живые неоскорбленные места души для творчества».

Тут обозначалась некая грань, которая отделяла тех, кто занимался слепым подневольным трудом, от тех, кто даже в условиях неволи находил возможность творить. «Я развиваю мысль о том, что только в глубине себя самого таится сила личности, преодолевающая „тугу“ труда»; «Человек при всяком условии будет жить и творить».<sup>[1059]</sup>

«Думаю о „по ту сторону добра и зла“ – там, где человек не оскорблен, не обижен. Там находятся родники поэзии. Проходя оттуда к нам через почву добра и зла, поэзия часто принимает вкус добра, и поэтому поэта часто считают добрым человеком. Поэзия начинается не от добра.

По ту сторону добра и зла хранятся запасы мировой красоты, лучи которой проходят через облака добра и зла...»

Это состояние и казалось ему выходом из действительности, к нему он звал своих читателей и почитателей, и так получала развитие идущая от 20-х годов идея творчества как панацеи от социальных бедствий.

«Пусть кругом рабы, я в этих гнусных условиях утверждаю право художника на красоту».

Для традиционно моралистической «доброй» русской литературы иные из пришвинских суждений второй половины 30-х звучат рискованно, только он об ином писать не умел и долг свой видел в том, чтобы искать счастливую, обетованную, невидимую страну, в реальность которой верил с самых первых своих книг и в которой счастья должно хватить на всех. Насколько понимал писатель иллюзорность этого замысла и поиска, очевидный и непреодолимый никаким усилием ума и сердца разрыв между реальностью и мечтой, и в какой мере был искренен, сказать трудно. Но в контексте его творчества идеи 30-х годов продолжали старые поиски и обретения Китежа и Берендеева царства, только, в отличие от последних двух, новый пришвинский миф – Дриандию – не надо было разыскивать за тридевять земель, у сектантов на берегу Светлого озера или отгораживаться комарами и слепнями от дачников, удирать на лодке от гимназии – Дриандия располагалась гораздо ближе и глубже – в человеческой душе, нужно было только сделать усилие, чтобы ее найти и в нее войти. Дриандия – не Беловодье и не Китеж, а Дом, даже не так – Китеж и должен стать Домом, а Дом – Китежем.

«Вчера думал о „доме“ и моих читателей: они именно затем ко мне приходят, что хотят вернуться домой, как и я сам когда-то сумел вернуться. А Горький, конечно, потому и понес меня и дорожил моими писаниями, что в душе тоже стремился „домой“. В этом заключается поворот к „счастью“. И в этом современность моего „дома“, как в „Корне жизни“ строительство было его современностью».

«Хочу создать Китеж в Москве».

«Творчество Дома есть творчество бессмертия».

Одно было нехорошо - не каждому в Москве давали под Китеж четырехкомнатную квартиру.

Последнее звучит будто упреком, в то время как должно бы прозвучать иначе. Да и разве Пришвин не понимал своего исключительного положения?

«И автомобиль, и хорошая квартира в каменном доме хороши сами по себе, и против этого ничего невозможно сказать. Плохо только, когда едешь на машине, то отвыкаешь понимать пешехода, а когда живешь в каменном доме, не чувствуешь, как живут в деревянном».

Перефразируя известное высказывание, можно и так сказать: дом для Пришвина был не в бревнах (кирпичах), а в ребрах.

Что значило для него вернуться домой? Вернее всего свет проливает следующая запись. Пришвин пишет не о себе, а о другом, условном человеке, но очевидно, что духовный путь этого человека, пусть не совсем тождественный пришвинскому, был писателю внутренне близок и желанен, и ему оставалось сделать несколько шагов по направлению к своему герою: «Какой-то средний русский гражданин когда-то поверил в кадетов, в октябристов, что они идут к правде, потом левей, левей и наконец-то до социалистов, и верил в них как в „передовой авангард“. После катастрофы он пришел к полному неверию в моральную сторону революции, вернулся к вере простейшего русского человека, исповедовался и причастился у первого же попа, после чего стал молиться дома, ходить в церковь. Теперь ему все в революции - и октябристы, и кадеты, и „передовой авангард“ - стали казаться каким-то наваждением».

И характерная приписка: «Между тем таким, как Розанов, Леонтьев, Достоевский, когда еще все это казалось наваждением».

Это закономерный для русского человека и русской мысли итог – в тридцать седьмом году сказать «прощай» революции и сделать шаг в сторону христианства. И так оказалось, что 30-е годы, вернее, их вторая половина, стали поворотом не только в политических взглядах, но и в религиозной жизни Пришвина, который сам их назвал «переворотом от революции к себе, и это (свой дом, где любят меня) как идеал, к которому революционер должен прийти и начать творчество от неоскорбленной души».

Не случайно в самом начале 1937 года, когда в стране происходила перепись населения и в загорский дом явилась переписчица, которая среди прочего спросила жильца о его вероисповедании, Пришвин ответил, что он верующий.

«Я так ответил потому, что вот именно теперь эту осень и зиму думаю много об этом, и мне хочется верить. „Да, верующий“. „Православный?“ На это я ответил, что православный». [\[1060\]](#)

При этом Пришвин трезво оценивал степень своей православности («Какой же я православный, если лет 50 не говел! Несомненно, чтобы постоять за себя, я сказал: „Православный“. Кроме того, я так должен был сказать, потому что православие – это моя связь со всей моей родиной и в нем таится для моего нравственного сознания готовность идти к желаемому счастью через страдание и, если понадобится, через смерть»). Но это ничуть не умаляло самого факта соотнесенности с этой традицией и мужества ее признать.

Для внутренней биографии писателя важно и то, что его возвращение к религии было диалогически обращено к Розанову, и именно через него или с оглядкой на него лежал путь Пришвина ко Христу, хотя еще в 1928-м Михаил Михайлович писал: «Весь Розанов из Устьянского, и разложения православия».



Десять лет спустя взгляд писателя на своего «литературного опекуна» переменялся: «Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести».

«Мои поиски „простоты“ (заработок, природа и все проч.) есть путь „мусорного человека“ (Розанов) к правде Христа».

«Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал – и Христа, и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни – право на шалость пера».

И теперь, вслед за своим учителем, ученик говорил: «Стою у порога Христа, церкви, государства и думаю, что же это: ход истории подвел меня к этому, заставил через вечные, надоедливые перемены увидеть покой или это склероз?..»

## **Глава XXV**

# **МЕДНЫЙ ВСАДНИК СОЦИАЛИЗМА**

Все то, о чем размышлял Пришвин в Дневнике, отражалось и в его литературном, предъявлявшемся публике творчестве. Но отражение носило характер причудливый, иногда запаздывающий, иногда приблизительный, порою условный, игровой, зашифрованный и вынужденно облегченный, и поэтому судить о творчестве Пришвина, не зная его Дневника, значило и значит судить о нем весьма приблизительно. Однако были люди, которым и малой толики было достаточно для того, чтобы разглядеть и почувствовать в писателе нечто очень важное и болезненное, и сокровенное...

В самом конце 30-х Пришвин написал «Неодетую весну» – серию уже традиционных для него путевых очерков, созданных по впечатлениям от поездки на Волгу под Кострому во время весеннего разлива. К этой вещи, несмотря на провозглашенную в ней и такую дорогую его сердцу идею Дриандии, писатель относился не слишком серьезно. В авторском предисловии к псковскому изданию избранных произведений 1950 года, куда входила и «Неодетая весна», он писал: «Автор должен признаться, что, прочтя через 9 лет свою „Неодетую весну“, он сам теперь не разрешен удовлетворением задачи»; а в Дневнике 1951 года отозвался о ней с непривычной для себя резкостью и самокритикой: «Читаю с огорчением „Неодетую весну“ (...) Так плохо, так неприятно написано, что гордость моя самим собой слетела, и я представил себя со стороны таким же жалким самолюбивым существом с дрожащими коленками, каким вижу Х. (о ком речь, неизвестно. – А. В.). Мне

очень захотелось, не теряя в себе доброе, покончить с этим жалким существом».

Отдельные эпизоды и персонажи повести, например, образ похожей на «тоненькую восковую свечу» старой девушки Ариши («У нее такое лицо, что каждый, кто только ее видит в первый раз, думает, будто где-то он видел такое лицо, и долго мучится, вспоминая где, пока, наконец не хватит себя по лбу и не вспомнит: видел в Третьяковской галерее, или у Васнецова, или у Нестерова, а может быть, даже и у Рублева»), вышли превосходными, но в целом «Неодетая весна» не была ни совершенным, ни программным пришвинским творением, как «Женьшень» или более поздняя по времени «Фацелия».

Однако неожиданно новое произведение подверглось жесткой оценке, причем писателя, от того же РАППа гораздо больше, нежели Пришвин, пострадавшего, Пришвину родственного и одновременно совершенно противоположного – Андрея Платонова. Именно на разности этих потенциалов притяжения и отталкивания и возникла платоновская критика, на которой есть смысл остановиться подробно, ибо писавший под псевдонимом Ф. Человеков рецензент высказал немало тонких и проницательных суждений не только о «Неодетой весне», но и о сути пришвинского творчества.

В нашем пришвиноведении традиционно принято считать (Курбатов, Дворцова), что Платонов не понял, не увидел в Пришвине чего-то очень важного, и подобное мнение кажется на первый взгляд обоснованным: в самом деле, много ли мог Платонов о Пришвине знать? не находился ли и он в плену традиционных представлений и не следовал ли в русле уже привычных декадентско-рапповских упреков? – но все же дело обстоит не столь просто и отмахиваться от платоновских суждений не стоит.

В рецензии на «Неодетую весну» Андрей Платонов Пришвина вольно или невольно разоблачал, стягивая с его лица несколько фирменных масок старого Берендея, которыми Пришвин не просто вынужденно пользовался, но и любил щегольнуть.

«Мы не можем согласиться с Аришей, что у автора „детский ум“, – писал Платонов. – Для автора, вероятно, лестно было слышать такое поощрение от своей спутницы („детский ум“, девственность сердца и всей натуры), нам же не требуются свидетельницы в пользу автора. Нам кажется, что писателю М. М. Пришвину недостает сатирической или хотя бы юмористической способности, как недостает ее и многим другим нашим лирикам, эпикам, романистам и повествователям. Эта способность нужна не для того, чтобы превратить лириков, скажем, в сатириков. Эта способность нужна для „внутреннего употребления“, для контроля своего творчества, для размышления о предмете со всех сторон, для того, чтобы не впасть в елейную сентиментальность, в самодовольство и благоговейное созерцательство, в нечаянное ханжество, в дурную прелесть наивности и просто в глупость».

Последнее, как бы обидно оно ни звучало, было отчасти справедливо. Все, что называл Платонов, было в той или иной мере присуще зрелой пришвинской прозе и с годами лишь усиливалось. Однако главный художественный недостаток пришвинского письма крылся, по мнению Платонова, в том, что проза Пришвина – странный оксюморон – слишком избыточна, в ней «подробно изображаются все обстоятельства (...), необходимые и ненужные – с одинаковой точностью», она «перегружена мелкими событиями, пустяковыми описаниями сугубо личных, интимных, претенциозных настроений». И дальше следовало изумительно точное наблюдение, каковое можно было бы отнести и к описанию земного рая в «Жень-шене», и к отдельным

страницам «Календаря природы»: «Это можно объяснить упоенной и упивающейся любовью автора к своему царству природы, царству „Дриандии“, которое он хочет сберечь со страстной, плюшкинской скупостью и поэтому закрепляет образ своего царства на бумаге со щедростью, превосходящей поэтическую надобность».

Как художник Платонов отдавал должное пришвинской наблюдательности, его художественной энергии и энтузиазму («Серые слезы, рабочие капли тающих снегов и льдов, пот трудящегося солнца – это открыто автором превосходно»), но проницательно замечал, что «два намерения автора – натуралистическое и поэтическое – перемежаются, скрещиваются в повести и мешают друг другу».

«Где берет преимущество поэтическое воодушевление автора, там получаются стихотворения в прозе, где автор работает как натуралист-наблюдатель, там появляются небольшие открытия из жизни животных и растений. И, наконец, где автор философствует, пытаюсь сочетать поэзию, мысль и природу, там у него ничего не получается».

Таким образом, именно пришвинская философия вызывала отторжение Платонова (и не только его, см. также далее высказывание Твардовского о Пришвине). Мало того что он отрицал его «лживую натурфилософию» ухода от человеческого общества, он обвинял – иначе не скажешь – Пришвина в эгоизме и нежелании «преодолевать в ряду со всеми людьми несовершенства и бедствия современного человеческого общества», укорял в бесплодном поиске «немедленного счастья (вспомним „Охоту за счастьем“. – А. В.), немедленной компенсации своей общественной ущемленности... в природе, среди «малых сих», в стороне от «тьмы и суеты», в отдалении от человечества, обреченного в своих условиях на

заблуждение или даже на гибель, как думают эти эгоцентристы».

Эта идея, высказанная в конце статьи вместе с пожеланием автору «не быть окончательно убежденным в том, что он все знает, иначе он утратит способность к пониманию», перекликалась с зачином платоновской рецензии и определением пришвинского стремления уйти в «край непуганых птиц» как «самохарактеристики испуганного человека».

«Возможно, что у человека есть основание для испуга, возможно, что у него есть причина искать эту „непуганую“ страну, созерцая с раздражением, страхом или в отвращении современный человеческий род. Но, несомненно, стремление уйти в „непуганую“ страну, укрыться там хотя бы на время, содержит в себе недоброе чувство – отделиться от людей и сбросить с себя нагрузку общей участи, из-за неуверенности, что деятельность людей приведет их к истине, к высшему благу, к прекрасной жизни».

Была ли такая уверенность у самого Платонова, вопрос непростой, но критика «Неодетой весны» – не самое существенное, что мог бы сказать А. Платонов о М. Пришвине, который и сам, кажется, именно к Платонову обращаясь, позднее признал, что в «Неодетой весне» «привнесенная „сцепка“ создала какой-то неприятный теперь для меня „привкус“, не отвечающий строгой простоте моих переживаний неодетой весны...». Однако иные из положений платоновской статьи казались тем обиднее и несправедливее, что над проблемами, в равнодушии к коим обвинял его рецензент, Пришвин в то время мучительно размышлял. И разногласия общественные имели куда более важное значение, нежели рецензия, и вопрос о творческом диалоге Платонова и Пришвина выходил далеко за рамки этого отзыва. [\[1061\]](#)

Пришвин в эту пору обратился к своему старому замыслу (16 сентября 1936 года он записал в Дневнике: «Вернулась в 31-м году начатая история о том, как мальчик затерялся в лесу. Теперь захотелось ту же историю перенести в северный лес и таким образом описать лес по-настоящему, включив в материал „Берендееву чашу“<sup>[1062]</sup>), с которым когда-то пришел к своему первому петербургскому издателю полковнику Альмедингену, и тридцать лет спустя, сводя воедино концы времен, принялся писать роман о жгучей современности, о строительстве Беломорско-Балтийского канала – «Осудареву дорогу».

То был самый спорный и дерзновенный пришвинский замысел, в котором должны были получить художественное осмысление идеи, вторгшиеся в сознание шестидесятипятилетнего писателя, опыт жизни в тоталитарной стране, идея написать об общей участи и судьбе («На канале должен быть собран и показан народ: тут была вся Россия»). К синтезу, равновесию правды государства с его необходимостью и правды несчастных строителей канала с их волей или ее остатками, с их немереным страданием стремился Пришвин, понимая и не понимая всю невозможность этого примирения («Если ты себя считаешь сыном своего русского народа, то ты должен вечно помнить, в каком зле искупался твой народ, сколько невинных жертв оставил он в диких лесах, на полях своих везде»).

Эта сторона пришвинского творчества была менее совершенна в художественном отношении, слабее прозвучала и почти не осталась в сознании читателей, навеки повенчавших Пришвина с птичками и цветочками, но для героя нашего она была важнее всего, и, вернувшись к роману после войны, Пришвин написал: «Главное дело мое теперь – это писать без

всяких уклонов и одумок „Падун“ и написать его. „Падун“ за все ответит и все оправдает».

«С этим каналом я, как писатель, в сущности сам попал на канал, и мне надо преодолеть „свою волю“: вернее понять неоскорбленную часть души. А я попал невинно... (...) И, конечно, я бы работал: „Канал должен быть сделан“. Я бы работал, как и вообще работают в советское время, „не-оскорбленной душой“, и в этом деле моя свобода, мое счастье, моя правда...» – утверждал писатель.

Главным героем Пришвин решил сделать ребенка и написать историю становления человека, роман-воспитание, роман-победу – антитезу «Кашеевой цепи», то есть роману о неудачнике, и эта ситуация стройки и ребенка на ней удивительным образом пересекалась, сталкивалась с неопубликованным, но в конце 20-х годов написанным, и значит, духовно существовавшим в истории литературы «Котлованом» Андрея Платонова.

«Каждому дитяте дано испытание борьбы его „хочется“ с „так надо“, и победителем бывает такое дитя, у которого его „хочется“ для других переходит в „так надо“: это и есть истинные победители и творцы».

«Так надо» – важное для Пришвина понятие и важный шаг вперед на пути приятя происходящего. Вспомним, каким ужасом веяло от пришвинских записей после посещения Свердловска в 1931 году и как писал он об этом теперь: «"Так надо" – в отношении индустриализации нашей страны: „так надо“ – в отношении военизации, народного образования, национальности, лыжного спорта и тому подобное, так надо. И ради всего этого „обильно пролитая кровь“ – „так надо“».

Таким образом, в роли капризного дитяти, которому должно было перейти от изначального «хочется» к осмысленному «надо», оказывался не только лирический герой, но и брошенный за колючую



проволоку народ. Этому народу Пришвин сострадал, мечтая о его освобождении за счет внутреннего душевного усилия, внутренней победы, обретения родины и смысла, соединения общего с индивидуальным, и так вновь повторялась и облекалась в художественную форму, в притчу его речь перед строителями Беломорканала.

«Цель коммунизма: повернуть объект душой к субъекту, и тогда „надо“ станет тем, что мне хочется».

«По дороге любовался людьми русскими и думал, что такое множество умных людей рано или поздно все переварит и выпрямит всякую кривизну, в этом нет никакого сомнения: все будет как надо».

Он работал над романом почти полтора десятка лет, давал ему множество названий, иногда новая книга ему нравилась («Впечатление превосходное: спокойствие, простота, сжатая сила. Полное убеждение, что вещь сделана»); «Это будет самое спокойное произведение о самых волнующих вещах»), он боялся этой радости и сам себя осекал («Хорошо, хорошо! а как вспомнишь это, хорошо написанное, – какая нищенская, лядащая жизнь ему соответствует, вот тут и становится нехорошо»<sup>[1063]</sup>), создавал все новые и новые варианты, зачеркивал старые, и процесс работы над романом оказался более ценным, чем его окончательный довольно вялый текст.

Пришвин прекрасно знал уязвимые места своего романа или даже так – своего замысла, – невольно совпадавшего с генеральной линией партии, противился этому совпадению: «Если хотят оправдать какую-нибудь мерзость, говорят: „большое дело“, и тогда „мерзость“ объясняется как неизбежный этап к отдаленной цели».

Против этого восставал он, чтобы это опровергнуть, и писал свое самое любимое, больное, убогое детище, и

есть что-то и глубоко трогательное, и отталкивающее, и истинно поучительное, и так до конца и не понятное в этой ни художественно, ни идейно не удавшейся, изначально обреченной, но искренней и честной попытке примирения с эпохой и утверждения «добра на путях зла».

Еще в 1934 году, вскоре по возвращении с Севера, он написал:

«Едва ли хватит у меня сил взяться за этот материал, но я его чувствую, и совокупность заключенных этических проблем в материале „Войны и мира“, столь поразивших весь мир, в сравнении с тем, что заключено в создании канала, мне кажется не так уж значительной».

Это очень важные, пусть даже и преувеличенные слова, которые, говоря об «Осударевой дороге», необходимо все время держать в уме, потому что она была рождена честной и горькой мыслью – невозможностью для писателя пройти мимо того, что увидел, невозможностью забыть, как стоял в окружении чекистов перед строителями канала, и велика была душевная потребность найти и для себя, и для них, и для их жертв одно, общее оправдание.

Да, если бы он выбрал лишь одну сторону («Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был») – то и всякая мысль о легальном подцензурном произведении отпала бы, как немыслима она была для Анны Ахматовой, но Пришвина, как и в годы революции, подвело глубокое и искреннее осознание своей причастности и ответственности за то, что происходило в стране после 1917 года, за ненависть к монархии, за марксистское прошлое и за женщину будущего. Для него выход из революции – попытка подняться над временем и его страданием и увидеть в нем определенную философскую проблему сродни гётевскому «Фаусту».

«Пришвин, – писала позднее Валерия Дмитриевна, – уже как бы „пережил“ текущее время и дает образ того далекого и нового, идущего на смену».

И с этой высшей, отдаленной точки зрения невозможность молчать об увиденном и пережитом касалась не только заключенных, но и их палачей, которые вели писателя с его сыном по лагерному аду и правду которых Пришвин тоже пытался понять и объяснить.

Когда-то Гоголь, первый из великих русских писателей нового времени, задумывавшихся о природе зла, пришел в «Вие» к гениальному: «Не смотри!» Не смотри на нечистую силу, не вступай с ней в диалог, в диалоге ее одолеть нельзя – одолеть ее можно только молитвой. Пришвин (и не он один) вступил в диалог с палачами, но при этом, к его чести, никогда не уходил от ответа на прямые и горькие, убийственные вопросы: «Или надо вовсе покончить с этой психологией мелкой буржуазии, т. е. вообще с душевностью, или же выступить в защиту Евгения против Медного Всадника. Это самый жгучий вопрос нашего времени на всем свете».

Только как ответить на него, как решить, не знал. Попыткой ответа должна была стать новая книга, которую Пришвин писал с ученической и несмелой оглядкой на Пушкина, сравнивая правду Сталина с правдой Петра и участь строителей канала с участью бедного Евгения, защищаясь эпитафией из пушкинских строк («Да умирится же с тобой»), и так пушкинский «Медный всадник» оказался главной точкой соприкосновения и расхождения Пришвина и Платонова.

«Медный всадник», где поставлена проблема обывателя, содержит всю современность...» – писал Пришвин в 1939 году, два года спустя после того, как со

статьей «Пушкин – наш товарищ» выступил в «Литературном критике» Платонов.

Платонов в своей статье деликатно по форме и резко по сути раскритиковал взгляды А. В. Луначарского, который некогда писал о «Медном всаднике»: «...Самодержавие в образе Петра... рисуется как организующее начало... начало глубоко общественное... Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общественности и индивидуалистического анархизма... Конечно, в известный момент истории просвещенный абсолютизм царей играл отчасти положительную роль. Но она быстро превратилась в чисто отрицательную, задерживающую развитие страны».

Последнее есть выражение марксистского взгляда на историю, и такое понимание вряд ли было Пришвину особенно близким, а вот то, как, с точки зрения Луначарского, видел основной конфликт поэмы сам Пушкин (организующая общественность – надо и индивидуалистический анархизм – хочется), вполне отвечало и пришвинскому видению этой проблемы, против которого Андрей Платонов и возражал.

«Если же внимательно прочитать „Медного всадника“, – писал автор „Котлована“, – то станет ясно, что суждение А. В. Луначарского объясняет его собственное мировоззрение, но не Пушкина. В поэме просто нет таких двух начал (...) в „Медном всаднике“ действует одно пушкинское начало, лишь разветвленное на два основных образа: на того, „Кто неподвижно возвышался Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой Над морем город основался“ и на Евгения – Парашу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам отношения к Медному Всаднику и Евгению

(...) Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу».

И самое важное – к чему Платонов ведет: «Это не победа Петра, но это – действительно трагедия. В преодолении низшего высшим трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой».

Примирение между Евгением и Медным Всадником, которое так мучило Пришвина, по Платонову, заключено в том, что оба они строители: один, «строитель чудотворный», создатель города, другой – как пишет Платонов – «тоже ведь „строитель чудотворный“ – правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку, – в любви к другому человеку».

«В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру перед Евгением, ни наоборот. Они, по существу, равносильны – они произошли из одного вдохновенного источника жизни, но они – незнакомые братья: один из них не узнал, что он победил, а другой не понял своего поражения. (...) Разъедините их: получатся одни „конфликты“, получится, что Евгений либо убожество, либо „демократия“, противостоящая самодержавию, а Петр – либо гений чудотворный, либо истукан. Но ведь в поэме все написано иначе».

Пришвин видел в этом, уже без него состоявшемся и признанном разъединении свершившийся факт и главный нерв эпохи и одновременно – оправдание своего творческого замысла, и в этой точке Платонов невольно обнажил главное уязвимое место пришвинского романа – его умозрительность.

Пушкин, который казался Пришвину спасением, выходом, образцом поведения, Пушкин, который был идеалом личности и творческого поведения для

Пришвина в 30-е годы, невольно оказался для писателя тем приблизительным, ложным солнцем, на которое ориентировался автор «Осударевой дороги».

«Я, конечно, в конце концов верю в себя, который не унижится и выйдет невредимым из всякого унижения. В конце концов да! Но я страх имею постоянный перед унижением, и это ослабляет мою силу и подавляет возможности: мне всегда кажется, что сделанное мною ничтожно, а при счастливых условиях я бы мог сделать в тысячу раз больше. А вот Пушкин был счастлив».

Пришвин пытался обрести в личности Пушкина индивидуальное спасение, он проводил параллели между тридцатыми годами двух столетий и примеривался к событиям вековой давности, и, как и для Платонова, особенно важна была для писателя в это время позиция Пушкина по отношению к декабристам, через трагедию которых Пришвин пытался понять и самого себя и выйти в современность.

«Разве как глава государства Николай был не прав, что он казнил пять человек из офицеров, выступивших с оружием в руках против государственного строя, который они обязаны были защищать? И тем не менее мы сочувствуем до сих пор Пушкину, потрясенному той казнью, назвавшему того царя убийцей. И особенно остро это сочувствие поэту в наши дни, когда врагов государства убивают непрерывно и сотнями тысяч отдают в рабы. Где же правда, где же сон?..»

«Где же выход?» – задавал пришвинский вопрос и Платонов, используя одно из самых важных понятий своего оппонента в 30-е годы, и давал следующий ответ: «В образе самого Пушкина, в существе его поэзии, объединившей в этой своей „петербургской повести“ обе ветви, оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души».

То есть - чтобы сделать задуманное, надо было самому стать Пушкиным.

«Пушкин решил истинные темы „Медного Всадника“ и „Тазита“ не логическим, сюжетным способом, а способом „второго смысла“, где решение достигается не действием персонажей поэм, а всей музыкой, организацией произведения, - добавочной силой, создающей в читателе еще и образ автора, как главного героя сочинения. Другого способа для таких вещей не существует».

Пришвин шел к тому же «второму смыслу»: «Ищу в себе единства (для себя самого, для домашнего пользования, чтобы веселым быть и работать). Быть самим собой значит понять себя в единстве.

Новые впечатления разбивают это единство, и что трудно после путешествия, на что уходит много времени - это найти корни этих впечатлений в себе, т. е. свести их к единству».

Он создал свое альтер эго, Зуйка, ребенка, чьими глазами должен был показать строительство, просветлить мрачную картину подневольного труда, он почти что по пушкинскому сценарию шел, но что-то не сработало в его замысле, сказались ли замороженность, изначальная нацеленность на оправдание происходящего («Строительство всегда и везде было жестоко к человеку», - писал Пришвин еще в 1932 году). Но главное - Пришвин осуществил насилие над действительной жизнью и вместо лагеря, реальной стройки, которой не знал, но о которой все же догадывался, за невозможностью написать правду стал писать вымышленный, искусственный мир.

Дневниковые записи, леса к роману, как называл их Пришвин, в сопоставлении с опубликованным текстом обнаруживают удивительную противоречивость и даже абсурдность его труда. Читая ту самую, раздобытую через НКВД коллективную книгу советских писателей,

посвященную строительству Беломорканала, Пришвин писал: «В том-то и есть неприятность и глубина фальши сборника „Канал имени Сталина“, что авторы чекистов хотят сделать человечными», но в то же время сам очеловечивал своего «настоящего коммуниста, каких было довольно», - Сутулова (начальника строительства).

«Темы нашего времени: жизнь на земле - счастье.

Вторая тема: деспотизм и его жертвы». [\[1064\]](#)

Он бился в этом междутемье, как запутавшаяся в сетях рыба, и порою достигал в своих записях удивительной глубины:

«В том-то, может, и есть сила Евгения, что его проклятие не переходит в слово, и Евгения единственного нельзя изловить, соблазнить, использовать. Не словом, а бурей разряжается его мысль, и у Властелина „мальчики кровавые в глазах“. Евгений - это „народ безмолвствует“, а дела Бориса кажутся ему самому суетой. Евгений - это Смерть, хранящая культуру, укрывающая великие памятники духа под землю, чтобы они вставали потом и судили победителей.

Так что и очень хорошо, что речь Евгения была не напечатана: вероятно, это сильно в молчании, страшно, как вопрос делу Петра, вопрос молчания.

И так ясно, что все эти немые вопросы разрешаются фактом распятия».

«Весь человек, работающий на канале, есть распятый человек».

Но, не выдерживая этой глубины, словно страдая от кессоновой болезни, от сжатия, от невозможности выразить самое главное и сокровенное в подцензурной литературе, стремясь и свою вещь, и себя легализовать, поднимался на поверхность:



«Мой „Аврал“ надо представить как нечеловеческий синтез раздробленного человека, в котором каждый отдельный прозревает свое Целое.

(...) Аврал у меня будет, как высшая ступень творчества жизни, как Страшный Суд, на котором сгорает вся иллюзорность и ограниченность индивидуальности и остается последняя реальность Сущего, и эту сущность мы назовем в романе Коммунизмом!»

Закончить роман в 30-е годы не удалось, и в журнале «Молодая гвардия» была опубликована небольшая его часть, получившая название «Падун». Она прошла незамеченной, никто писателя не поругал и не похвалил, вся работа и схватка были еще впереди, но через два года после публикации первого фрагмента, незадолго до начала войны, Пришвин заключил: «Положение невинно страдающего в лагере надо понять как следствие общей борьбы сил в творчестве и как вызов к личности, чтобы личность нашла выход (свободу) из своего слепого страдания к творческой радости».

«- Знаете что, не надо, - едва слышно сказал Платонов. - Нет у нас таких слов, чтоб мы могли говорить об этом...»[\[1065\]](#)

Пришвин до конца своих дней пытался найти такие слова...

## Глава XXVI

### НОЧКИ И ДЕНЕЧЕК

Государство государством и либералы либералами, но раздумьями об этих серьезных материях жизнь не исчерпывалась, и весной 1938 года, когда Пришвина вызывали с паспортом в милицию и он сжигал письма Бухарина (не уничтожив почему-то конвертов), когда размышлял о судьбах интеллигенции и гадал о том, какая сила – случай, Промысел или судьба – уберегла его от Ягоды, собирался ехать за «Неодетой весной» в Кострому и вынашивал свой «Падун», – в это самое время поздней весны света среди множества написанных мелким почерком и с трудом поддавшихся расшифровке крамольных записей, за каждую из которых писателю грозил ГУЛАГ, в Дневнике неожиданно всплыло одно давнее воспоминание.

Оно касалось той поры, когда наш герой служил агрономом в Клинском уезде и как-то раз, едучи вдоль поля медоносной синей травы фацелии, нечаянно обмолвился с погруженным в себя своим коллегой Большаковым (в Дневнике 1915 года, где воспроизводится то же самое воспоминание, спутник писателя назван Зубрилиным) несколькими словами о любви.

А закончился их короткий разговор так:

«– Да были ночки-то? – спросил он.

– Были, конечно, – ответил я поспешно, – конечно, были.

– То-то, – сказал он.

И мы опять замолкли. И мне стало худо: ночек-то ведь не было. И сколько лет прошло с тех пор, и все их не было, и так я и остался без ночек».

И такая тоска была в этой записи почти через сорок лет после того июльского дня, что не нужно было и самому для себя признавать, как страдала душа пожилого уже человека, всю жизнь прожившего без счастливой любви.

«Друг мой неведомый, но близкий, я знаю, что ты существуешь», – взывал Пришвин, и судьба, Промысел или случай преподнесли ему этот дар...

В конце 1939 года Михаил Михайлович решил продать свой архив Литературному музею, где директорствовал «располневший старый крот» Бонч-Бруевич. Человека этого, некогда занимавшего высокие кремлевские посты, а еще ранее занимавшегося сектантами и написавшего на эту тему роскошно изданный накануне революции многотомный труд, Пришвин недолюбливал и иронически писал о том, что Бонч во время оно, как пескарей на червя, ловил открывавшихся ему «в расчете на всемирную известность» сектантов, а теперь точно так же увлекся ловлей писателей. Со времен Религиозно-философского общества и встреч у вождя хлыстов оба сектантоведа не встречались. Справедливости ради следует подчеркнуть, что бывший управделами Московского Кремля был причастен к освобождению из сталинской тюрьмы Иванова-Разумника и помог пришвинскому другу устроиться на работу разбирать пришвинский же архив.

К разговору о хлыстах мы еще вернемся, а теперь речь о том, что именно в Литературном музее (на кладбище, как иронически называл его Пришвин) у Владимира Дмитриевича Михаил Михайлович познакомился с его секретаршей, или, как тогда еще говорили, секретарем – миловидной женщиной Клавдией Борисовной Сурковой («Скорее брюнетка, чем блондинка, лицо скорее круглое, чем удлиненное, с довольно широкими скулами, и глаза карие»), и

поначалу роль прекрасной Фацелии предназначалась ей.

«Не знаю даже фамилии этой женщины, но она так наполнила, обвернула меня кругом своим влиянием... Знает ли она сама об этом? Мне кажется, тут началось с первого взгляда что-то: друг на друга взглянули – и пошло по „воздуху“».

Последнее «по воздуху» прямо отсылает нас к 1918 году, когда этим словом воспользовался Пришвин для описания своей любви к Коноплянцевой.

За задушевный, искренний, мелодичный и обманчивый голос и льстивые слова («Не кладбище у нас, а цветник, и вы самый теперь у нас желанный цветочек...») Пришвин прозвал Клавдию Борисовну Сиреной, готовился к романтическому приключению, сравнивал ее с косулей из «Женьшеня», звал по телефону Марьей Моревной, а себя Иваном-царевичем и, быть может, имел даже виды на будущее, ибо одинокая жизнь в просторной московской квартире тяготила писателя, и недаром в связи с появившейся в доме новой женщиной Пришвин размышлял: «Таков ли мой талант, чтобы мог заменить молодость, такая ли это женщина, чтобы могла удовлетвориться талантом? Кому-то может заменить... Но та ли эта женщина, неизвестно».

Судя по всему, Клавдия Борисовна тоже задавала себе подобный вопрос, но не знала, как на него ответить. Она вела себя со старым литератором весьма уклончиво, не говоря ни «да» ни «нет», не то умышленно, не то случайно забыла написанный в ее честь рассказ-сон, где фигурировал в образе Командора ее муж, и тогда Пришвин, дабы подхлестнуть интерес задумчивой женщины к своей персоне, согласился на ее неожиданное предложение пригласить для обработки архива в помощь Разумнику Васильевичу еще одну сотрудницу.

Во всяком случае, этой версии пришвинского «маневра» в отношениях с коварной Сиреной придерживалась сама очарованная ее «изяществом и тактом» Валерия Дмитриевна Лебедева, урожденная Лиорко,<sup>[1066]</sup> впервые переступившая отмороженными по пути к Пришвину на Каменном мосту ногами порог его холостяцкой квартиры 16 января 1940 года, в самый холодный день предпоследней мирной зимы, когда температура за окном упала до минус сорока девяти градусов по Цельсию и в средней полосе погибли фруктовые деревья.

Ей было тогда 40 лет. Она родилась в Витебске, в семье военного (за три месяца до встречи Пришвина с Варварой Петровной Измалковой), закончила до революции гимназию, в советское время получила философское образование в Институте слова, где читали лекции еще не высланные из России Ильин, Бердяев и не репрессированные Флоренский и Лосев, пережила идеальную влюбленность, отдаленно напоминающую пришвинскую парижскую любовь, несчастливый вынужденный брак и уход от мужа. Были за ее спиной предварительное тюремное заключение, этап и три года сибирской ссылки, чего Пришвин поначалу не знал. Зато Р. В. Иванов-Разумник с его мистическим штейнеровским чутьем и тюремным опытом сразу ее в чем-то заподозрил, высказавшись в том смысле, что таинственную сотрудницу вполне могли прислать из органов, в назидание поведав легкомысленному и уверчивому писателю историю о «женщине, которая вышла замуж за человека, подлежащего исследованию. Восемь месяцев спала с ним, все выведала и предала».

В первую встречу новая работница Пришвину не понравилась. В ответ на ее робкое и вполне разумное замечание, что для того дела (то есть обработки

Дневников), ради которого она приглашена, надо прежде «стать друзьями», Пришвин (вот как она его описывает: «Автор „Жень-шеня“ откинул назад седую кудрявую голову и, коренастый, на редкость моложавый для своих лет, выражал уверенность в себе и пренебрежение») безжалостно отрезал: «Будем говорить о деле, а не о дружбе», а потом заметил Иванову-Разумнику, что Валерия Дмитриевна «как-то из себя выпрыгивает» и «с места в карьер дружбу предлагает». Но уже через несколько дней все совершенно переменялось, и Пришвина было не остановить.

Двое беседовали часами напролет и не могли расстаться, нерешительная Клавдия Борисовна, теперь похожая «на моль, пыльную бабочку, живущую в книгах», «высокая, без форм» (а про Валерию Дмитриевну: «Какие у вас тонкие руки – жалостно смотреть. А бедра широкие, как у зрелой женщины. Из-за бедер, конечно из-за бедер Разумник вас „поповной“ назвал!»), получила отставку и, должно быть, кусала локотки; несколько раз просилась, чтобы Пришвин взял ее обратно, но была позабыта, и лишь через десять лет писатель мимоходом вспомнил:

«Пришла ко мне женщина, я ей начал раскрывать одну свою мысль. Она не поняла меня, считая за ненормального. Потом вскоре пришла другая женщина, я ей сказал это же самое, и она сразу же меня поняла, и вскоре мы с ней вошли в единомыслие».

Любовь двух единомышленников развивалась юношески стремительно, и очень скоро Пришвин сделал своей сотруднице в витиеватой форме предложение «начать путешествие в неведомую страну, где господствует не томящееся „я“, как теперь, а торжествующее и всепобеждающее „мы“».

«В Вашем существе выражено мое лучшее желание, и я готовлюсь, не скрою, с некоторой робостью, к

жертвам в личной эгоистической свободе, чтобы сделать Вам все хорошее и тем самым выше подняться и самому в собственных глазах (...) И пусть в нашем союзе никогда не будет того, от чего погибает всякий обыкновенный союз: у нас никогда не будет в отношении друг ко другу отдельных путей, наши души открыты друг для друга, и цель наша общая.

Пишу это Вам в предрассветный час дня моего рождения».

Ему исполнялось 67 лет.

Любопытно, что ответила Валерия Дмитриевна, когда он прочел ей эти «взволнованные» строки своего объяснения в любви, коим гордился так, как если бы не раздумывая схватил пролетающее мгновение или копыто жень-шеневой Хуа-Лу. Она предложила... призвать третьего секретаря, и – записал ее слова Пришвин – «если при этом возникнет опять роман, то и окажется, что хотя моя любовь и возвышенна, и героична, и все что угодно, только... безлика».

И тогда разом потерявший кураж жених «пролепетал в полном смущении» о своем «приданом», что он «не с пустыми руками пришел к ней, а принес и талант, и труд всей жизни, что талант этот мой идет взамен молодости», то есть то, что совсем недавно готовился сказать Сирене.

«– А я разве не знаю? Я первая обо всем этом сказала и пошла навстречу», – смело ответила ее заместительница.

Валерия Дмитриевна в своих женских опасениях и раздумьях была недалеко от истины. Для Пришвина в начале их романа важна была не личностная любовь, а уже упоминаемая нами идея Дома, даже не идея, а сам Дом, который он так и не смог создать с Ефросиньей Павловной (она была лишь частью его дома, а не Целым), оставаясь всю жизнь бродягой. Теперь же бродяжничество казалось ему исчерпанным («У

человека на свете есть две радости: одна – в молодости выйти из дома, другая – в старости вернуться домой»), и в долгой его одинокой жизни должен был начаться новый период.

«Меня та мысль, что мы к концу подошли, не оставляет. Наш конец – это конец русской бездомной интеллигенции. Не там где-то за перевалом, за войной, за революцией, наше счастье, наше дело, наша подлинная жизнь, а здесь – и дальше идти некуда. Туда, куда мы пришли и куда мы так долго шли, ты и должен строить свой дом (...) Лучшее разовьется из того, что есть, что под ногами, и вырастет из-под ног, как трава».

Как видим, нет здесь ни Китежа, ни Невидимого града, ни всякой мистики с Марьями Моревнами и Кащеями Бессмертными. Не зря в это время Пришвин обратился к творчеству Мамина-Сибиряка, традиционного, трезвого и здравомыслящего писателя, который «чувствовал органический строй русской жизни, от которого уходили и к которому возвращаются теперь ее блудные дети (интеллигенты)».

«Почему же у нас не узнали Мамина в лицо? Я отвечу: потому не узнали, что смотрели в сторону разрушения, а не утверждения Родины».

Эта эволюция – от Мережковского к Мамину-Сибиряку – безусловно, духовная, хотя и не окончательная победа Пришвина, и удивительно, как совпали чувства и мысли двух будто бы случайно встретившихся людей в отношении к знаковым фигурам пришвинского творческого пути – Иванову-Разумнику, Блоку и Мережковскому.

Вот что писала Валерия Дмитриевна Пришвину в первые недели знакомства, и эти строки во многом раскрывают ее внутренний мир и обнаруживают невероятную женскую проницательность:



«Раз. Вас. как будто замариновался в той уже прожитой жизни, в которой жили люди нашего круга и которая себя изжила. Недаром он специализировался на обработке архивов. Одной ногой он все еще в „духовных салонах“ прошлого. Все это нужно было когда-то, но сейчас этого нам мало. Кто не хочет быть современным, тот попросту ленится действовать, ленится брать на себя свой крест. А пассивное страдание, вроде сидения в тюрьме, никакому богу не нужно. Нам мало уже слова „культура“, нам нужно нечто более цельное, простое, осязаемое, может быть, даже суровое».

Нетрудно представить, как близко это было Пришвину, наверняка уставшему от разговоров, недомолвок или молчания с назидательным и педантичным, недовольным пришвинской неряшливостью и состоянием его архива Ивановым-Разумником, от которого Пришвин теперь был еще дальше, чем прежде («Так и похоронил Разумник свой разум в могиле мистики. Это от того, что он верил в Разум и только им пользовался: после второй мучительной отсидки в течение двух лет, страданий великих за ничто, при освобождении без предъявления обвинения вера в закон, в разум жизни должна оставить всякого»), и как внутренне должен был торжествовать, встретив союзницу и сотрудницу, благодаря своему ссыльному прошлому имевшую моральное право против Иванова-Разумника восставать. Но продолжим ее послание:

«Я бы не хотела, чтоб вчера к нашему столу пришел Блок, Мережковский и другие из тех людей. Мне тяжела замороженность Р. В-ча в симпатиях к гностицизму и его присным: Белому, Штейнеру; его вкус к схематизму в вопросах духовной жизни».

С этого момента она стала раскрываться Пришвину, и с этого момента началась их слаженная борьба «против врагов нашего союза», к которым, возможно,

Валерия Дмитриевна относилась одно время и Разумника Васильевича, хотя главным противником их любви оказался отнюдь не он.

«Враги человеку домашние его». Если бы эти строки из Евангелия не имели сакрального смысла, их можно было бы смело взять в качестве эпиграфа к этой главе. К тому, что муж и отец живет своей жизнью, и в Загорске, и в Москве давно привыкли. Со времени получения московской квартиры Пришвин лишь гостил в доме у жены, еще реже навещала его в Лаврушинском она, и такое положение дел всех как будто устраивало. Если и была готова Ефросинья Павловна, что муж от нее совсем уйдет к другой, то гораздо раньше, – примириться же с появлением в жизни писателя чужой женщины и потерять статус жены теперь, после тридцати с лишним лет совместной жизни, когда супруг стоял на пороге старости, стал дедушкой (правда, по воспоминаниям А. С. Пришвина, внуков нянчил без всякого удовольствия) и давно должен был угомониться, казалось поначалу абсурдным, а потом нестерпимым. Не менее категорично были настроены и взрослые сыновья. Так началась маленькая фамильная война, затянувшаяся на несколько месяцев и рассорившая Михаила Михайловича с первой семьей.

Для Пришвина подобный поворот событий был неожиданностью. Он совершенно искренне убеждал Валерию Дмитриевну в том, что Ефросинья Павловна давно живет одна и привыкла к его свободе, что «сыновья – те все понимают и, конечно, поймут и будут друзьями», хотя еще совсем недавно, в 1939 году записал, сравнивая на сей раз многоликую и неисчерпаемую Павловну даже не с народом, а с его жестокими вождями: «Настоящие властелины потому и собирают людей, что могут быть и жестокими убийцами, и нежнейшими, задушевыми товарищами. Вникая своей задушевностью в самые тонкие сплетения

души, они берут их к себе и ведут, а если плохи оказываются – уничтожают. (Это можно видеть в Павловне)».

Насколько наивно воспринимали поначалу возникшую ситуацию ее участники (позднее все переменялось: «Что это было – страх взглянуть правде в глаза и в то же время страх меня потерять или Вы правда не понимали обстановки и людей?» – вопрошала Валерия Дмитриевна в письме), характеризует такой факт. Когда в начале пришвинского романа, совершенно свободного от планов на долгую совместную жизнь («Ни о разводе, ни тем более о браке мы и не помышляли. Мы жили только настоящим, грелись в его свете, никому, кроме нас двоих, не видимом, никого ничем не оскорбляющем»), зашла речь о том, чтобы летом Валерия Дмитриевна поехала путешествовать на грузовике вместе с Пришвиным, и домработница Аксюша озабоченно заметила, что «Павловна никак не допустит», Валерия Дмитриевна простодушно предложила:

«– А если я сама поеду к Е. П., все объясню, и она поймет и, может быть, меня сама полюбит.

– Нет, не знаете вы ее, и не показывайтесь ей, – хмуро ответила Аксюша и пошла громыхать тарелками на кухне».

«Бумажная», как иронически называл ее Пришвин, героиня «Неодетой весны» Аксюша-Ариша (повесть с ее участием в первые месяцы 1940 года печаталась одновременно в «Октябре» и «Пионере»), присланная из Загорска Ефросиньей Павловной для ухода и догляда за Пришвиным, играла важную роль в этой истории. То была очень религиозная старая девушка тридцати пяти лет, дальняя родственница Ефросиньи Павловны, взятая ею из голодающей деревни (и, следовательно, очень своей тетке обязанная), искренне к Пришвину привязанная и поначалу Валерию Дмитриевну сердечно

полюбившая. Она любила Пришвина идеальной любовью и полагала, что точно так же полюбила старого человека его новая помощница, простодушным сердцем как идеальную, духовную любовь поняв письмо-предложение о совместном путешествии по жизни, которое Пришвин прочел сначала Аксюше и только потом Валерии Дмитриевне.

«- Помните, эта женщина прислана вам, М. М., и она вас приведет куда следует. За вашу доброту она вам послана. Почему мы знаем - может быть, наступает страшное, трудное время и душа ваша становится на место».

Выбирая между Михаилом Михайловичем и Ефросиньей Павловной, Аксюша долгое время втайне поддерживала первого в его борьбе за свободу (так считал Пришвин: «Болезнь Павловны в том, что власть ее отошла, не для чего ей жить - не над кем властвовать, - Аксюша согласилась»), но, судя по всему, она была не единственным наблюдателем, которого Павловна приставила к непокорному супругу, и, опасаясь, что слухи о прогулках хозяина с неизвестной молодой дамой дойдут до отставной жены и ее «душа сделается ареной борьбы», заявила:

- Тогда я буду вынуждена стать на сторону Загорска.

Это очень скоро и произошло, и точка зрения верной, не забывавшей добра крестьянки на происходящее важна, поучительна и трогательна в своей наивности и стойкости.

Когда однажды Валерия Дмитриевна закрыла дверь в кабинет, где шла работа над архивом, Аксюша, которая вчера еще на радостях заговорщически пила с хозяином и его новой секретаршей вино и весело хохотала, теперь, в «девственном достоинстве своем» была оскорблена в лучших чувствах:

- Если бы эта любовь была духовная, то зачем закрываться? Духовная любовь не стыдится. Нас у о. Н. (старца) было двести девушек, и мы не стыдились друг друга.

Пришвин полагал, что Аксюша возревновала его к Валерии Дмитриевне и никогда ей эту любовь не простит.

«Беда с Аксюшей: влюблена! (...) У Аксюши любовь на высокой снежной горе, а они там внизу - и тоже называют это любовью. И она сходит к ним в долину, она идет к ним, и они ее встречают словами: „Люблю-люблю!“ И Аксюша плачет.

Так бывает, снег от тепла ручьями в долину бежит и журчит, а у женщины это любовь ее расходится слезами. (...)

Аксюша теперь думает, что сберегла себя из-за Павловны. Тогда из-за чего же она, Аксюша, береглась? Вот за свою ошибку она и не простит В.».

Были ли какие-то особенные у Аксюши к Пришвину чувства, померещилось ему или это художественный прием, подчеркивающий драматизм ситуации, одному Богу ведомо, но именно в связи с Аксюшей Пришвин описал прелестную сущность своей новой любви, какой она представлялась сторонним людям и какой, возможно, была в ее начале.

За некоторое время до появления в лаврушинском доме «обеих секретарей» Пришвин пожаловался своей домработнице на тяжелое душевное состояние, уныние, страх одиночества и подозрение на болезнь вроде «тайного рака», по поводу чего он обращался к докторам.

«Церковница посоветовала мне надеть крест. Вскоре она даже и принесла мне маленький медный копеечный крестик на черном шнурке. Но я не мог надеть на шею этот крестик, бессознательная сила отстраняла меня от пользования святыней для своих

личных практических целей: крестик превращался в лечебную пилюлю моего душевного здоровья... Иное значение креста вошло в меня в раннем детстве от матери...

И вот теперь мгновенно стали во мне эти два желания в борьбе между собой: или крестик надеть и с чем-то навсегда покончить, или же сказать «приди!» и начать жизнь иную.

Крест – значило покончить. «Приди» – значило начать.

В записочке своей я написал «крест» и протянул руку к огню, но в последний момент руку отдернул, написал «приди» и записочку сжег.

Никто из сидящих за столом не мог знать, что со мной было. Итак, все сидели вместе за столом, но каждый про себя жил по-своему».

Когда же время спустя чуткая Аксюша заметила, что с писателем по-прежнему, воспользуемся любимым пришвинским словечком, *что-то* происходит, и «назидательно, как старшая» посоветовала «вооружиться двумя орудиями: постом и молитвой», Пришвин насмешливо ответил, что в таком случае «живой человек должен просить, чтоб стать чурбаном».

У него, живого человека, было иное понимание и жизни, и любви:

«Любовь и поэзия – это одно и то же. Размножение без любви – это как у животных, а если к этому поэзия – вот и любовь. У религиозных людей, вроде Аксюши, эта любовь, именно эта – есть грех. И тоже они не любят и не понимают поэзии».

С поэтической точки зрения, в пику не понимающей поэзии Аксюше и всем, кто за ней стоит, Пришвин и описал свои чувства: «Отношения мои с В. не духовные в смысле Аксюши или, вернее, – не только духовные. Мы в этих отношениях допускаем все, лишь бы мы, странники жизни, продвигались дальше по пути, на

котором сходятся отдельные тропинки в одну. Разница с Аксюшиной верой у нас только в том, что мы участвуем в созидании жизни, она же выполняет готовую и расписанную по правилам жизнь.

И та же самая цель, а пути разные: наш путь рискованный, у нее верный. Ей легче: она молится готовыми молитвами, мы же и молитвы свои сами должны создавать... Самое же главное, что у нас религия Начала жизни, у нее – религия конца. Недаром и профессия ее такая: стегать ватные стариковские одеяла и читать по ночам у покойников».

Последнее обстоятельство возвышает смиренную девушку, о которой так беззлобно-насмешливо, а порою трогательно писал Пришвин в «Неодетой весне» и зло и несправедливо, пусть даже имея на то причины, в повести «Мы с тобой» («В свое время Церковь из верующих создала свое церковное животное вроде Аксюши»). В данном случае дело не в выполнявшей свой долг, свое «надо» Аксюше, а в том, что Пришвин, навсегда порвавший с религиозным модернизмом начала века, снова угодил в ту же самую колею и запел «прежние гимны», которые когда-то пела его мучительница «"Зинка" Гиппиус, женщина-поэт, физически неспособная рожать, бесчисленная бюрократка, паразитирующая на мужиках...», еще более, чем молодой богоискатель, неудовлетворенная состоянием Церкви и традиционным пониманием брака.

«Вот теперь и открывается все, отчего я сегодня как мальчик в праздничное утро: сегодня я тоже спешу в тот дом, куда стремятся все прекрасные силы весны. Сегодня иду я к нему. И когда я приду туда, пусть попробует тогда голос сурового и самого великого и страшного Бога упрекнуть меня:

– Можно ли теперь радоваться?

Пусть позовет и, может быть, даже покажет огненный лик, тогда я сам загорюсь и Ему покажу свой

возмущенный лик и скажу:

- Отойди от меня, Сатана! Единственный и настоящий Бог живет в сердце моей возлюбленной, и от Него я никуда не пойду».

Такие настроения вольно или невольно отсылали Пришвина к богоискательству начала века, духовному наследию Мережковского, пробравшегося, подсевшего или - по новогодней записке своего ученика, «пришедшего» к их с Валерией Дмитриевной столу. «Новое» в этом пути оказалось возвращением к розановской идее о черном и светлом Боге («Проследить у Л. борьбу черного Бога аскетов с Богом светлым и радостным, а имя и тому, и другому одно»), протестом против горькой юности, против монашества и аскезы («Почему и явился такой Розанов: ему в жизни во всем было отказано, и когда явился наконец талант, он был ему все: и богатство и вечная юность - все было ему в таланте. Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил религию человеческих зародышей, религию святого семени»), спетым в «Колобке» в пику соловецким паломникам и вроде бы навсегда позабытым, но вдруг поднявшимся из глубин души, будто, замороженное, оно дожидалось своего часа, что было психологически объяснимо: Валерию Дмитриевну полюбил не умудренный житейским опытом старик, но юноша в обличье старика, долго томившийся любовным ожиданием («Поэты юные в своем творчестве исходят от удивления, старые поэты - от мудрости. Но бывает наоборот: юный питается мудростью (Лермонтов), старый - удивлением (Пришвин)»).

Встретив Валерию Дмитриевну, Пришвин словно помолодел и умом, и душой, но - так бывало не только с ним - дневниковые записи любовной поры, и обработанные, и необработанные, многословны и даже порой слащавы; однако при чтении их приходишь к



мысли, что писать о счастье, может быть, даже проще, чем фиксировать его мерцающий свет в Дневнике.

Но главное – многие прежде занимавшие его, убедительно изложенные в Дневнике идеи на какое-то время исказились, стали неузнаваемо-смутными и путаными. Свою возлюбленную, вполне в духе безумного «начала века», он сравнивает с революцией.

«У Ляли душа столь необъятно мятежная, что лучшие зерна большевистского мятежа в сравнении с ее мятежом надо рассматривать под микроскопом. Я давно это понял, и, наверное, это было главной силой души, которая меня к ней привлекла. Это революционное в священном смысле движение (...) В сущности, Ляля содержит в себе и весь „нигилизм-атеизм“ русской интеллигенции, поднимаемый на защиту Истинного Бога против Сатаны, именуемого тоже богом. В этом я ей по пути». Сильнее всего от пришвинской умственной и душевной сумятицы страдала сама Валерия Дмитриевна, волею, а точнее своеволием писателя превращенная в сверхъестественное, едва ли не демоническое существо, каким, при всей сложности ее духовного пути, она никогда не была.

Когда Пришвин писал: «Пусть наши потомки знают, какие родники таились в эту эпоху под скалами зла и насилия», когда сам с ужасом осознавал: «И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми мирами», когда говорил о творчестве жизни («У них любовь – движение в род; у нас – в личность, в поэзию, в небывалое») и о «страстной радости милующего внимания» – все это, прекрасное и возвышенное, драгоценное для потомков и почитателей пришвинского таланта, резало слух его более трезво мыслящей избранницы, повергая ее в мучительные сомнения:

«Дорогой М. М., пришла я от Вас домой и вижу: мама лежит как пласт беспомощная, лицо кроткое и жалкое, но крепится. Мама не спит от сильных болей – все тело ноет и дергает, как зуб, но ведь то один зуб, а тут все тело.

Она не спит, а я думаю: милый Берендей, мы оба «выскакиваем из себя» (это наше общее с Вами свойство) и потом, возвращаясь к своей жизни, пугаемся, будто напутали что-то. Мы создаем себе «творчески» желанный мир, и нам кажется, что он настоящий, но это еще не жизнь. И я думаю, никогда не проглотить Вам сосуд моей жизни со всеми моими долгами! (...) И я думаю дальше: все это около меня – моя настоящая жизнь. А где Ваша? Ваши книги? – но это Ваша игра. (...) Это шаткая почва, на ней нельзя строить дом».

В слишком неравном положении они были: он относительно свободен (писательская несвобода в данном случае не в счет), она – взята жизнью в плен. К тому же по советским меркам он был очень богат: замечательная квартира со стильной «павловской» передней, голубым кабинетом со старинной красной мебелью, с кружевной, как невеста, венецианской люстрой (которая особенно пугала Валерию Дмитриевну) в каменном доме с нарядным лифтом в центре Москвы, автомобиль, собаки, орден. Она жила в коммуналке, где даже не была прописана, с больной матерью на руках, с горьким жизненным опытом, прошлым и настоящим страданием и совершенно неясным будущим.

У Пришвина была своя правда: «Всю-то жизнь я только и делал, что служил голодным поваром у людей. Но вот пришел мой час, и мне подают кусок хлеба»; «Днем перед ее приходом я трепетал: мне представилось, будто во мне самом, как в торфяном болоте, скопился тысячелетний запас огня»; «Так

люблю, что уйдет – выброшусь из окна. Скажут: она вернется, только постой на горячей сковородке, и я постою».

У нее своя правда – она могла прийти к нему только вместе со своей больной матерью.

И бедная Аксюша, глядя на это светопреставление, ночи напролет рыдала, будучи не в силах смириться с тем, что происходит, и находя единственно возможное объяснение:

– Она колдунья!

Однако дело заключалось не только в обстоятельствах внешних. Вспоминая 1940 год, Пришвин то и дело ронял замечания о несовершенстве своей натуры и ставил себе за житейское поведение тройку. Внимательно вглядываясь в своего избранника, Валерия Дмитриевна, конечно, видела в нем еще больше, чем он, недостатков, из коих возраст был не самым главным. «Я не могу мириться с твоей податливостью, с твоей какой-то неразборчивостью мысли», – писала она ему.

«Вы трусите, что ошиблись и отдались в ненадежные руки», – признавал эти колебания Пришвин. «Похоже, она даже не только холодной водой окатила, но вытащила меня на солнечный свет, как старую залежалую шубу, повесила на забор и принялась выхлестывать из нее моль».

Пришвин чувствовал «холодный, изучающий, презирающий взгляд», и ему в какие-то моменты казалось, что она «нарочно заставляла пугаться, и нарочно мучила. Это жестокость, а не любовь... И если ей отдаться, как „подходящей“, возможно, и полюбит, но, возможно, меня, старика, просто замучит». Но в то же время он боялся, что она бросит его, уйдет и, если его сердце выдержит, ему ничего другого не останется, как сделаться странником и с палочкой пойти по Руси.

Валерии Дмитриевне все виделось иначе и, вспоминая то зыбкое время, она писала: «Если б он мог подозревать тогда, с какой дрожью в сердце я дожидалась к назначенному часу его приезда, замерев в неподвижности в его кабинете».

«Гигиена любви состоит в том, чтобы не смотреть на друга никогда со стороны и никогда не судить о нем с кем-то другим...» – заключал Михаил Михайлович, и, так подгоняемые неласковым временем, двое разных, но глубоко созвучных людей шли навстречу друг к другу.

А противная сторона между тем после короткого замешательства и выжидания пришла в себя. «Положение в Загорске такое: если я скажу, что ничего нет у меня, – то все будет по-старому. Если же иначе – дверь туда будет мне закрыта», – слишком легко представлял себе ситуацию Пришвин. Аксюша окончательно определилась в вопросе, с кем она, и написала Валерии Дмитриевне «оскорбительное письмо», которое «выбило» адресата в «определенность». Текст послания неизвестен, но можно догадаться, какими попреками осыпала уверчивая и запальчивая Аксюша, одолжившая в первый приход будущей хозяйке лаврушинской квартиры толстые деревенские чулки, чтобы спасти обмороженные ноги.

Ответ от Валерии Дмитриевны – не Аксюше, Пришвину – последовал незамедлительно: «Если вы меня любите не литературно и имеете силы, чтобы сделать все как надо, – мы получим свою долю человеческого счастья. Если нет – я прошу Вас, ради Бога, еще раз проверьте себя, не обманывайте нас обоих, – я круто поверну, так как должна жить, должна быть здоровой и сильной.

Не бойтесь мне сказать горькую о себе истину, – любить человека, недостаточно меня любящего, я не хочу, – не буду!»

И наконец еще одно, очень важное:

«...Не сердитесь на Аксюшу – это скорее ваша, чем ее вина: нельзя требовать от человека большего, чем способно вместить его сердце и ум, и надо самому быть больше человеком, чем писателем, в отношении той же Аксюши».

«И глаза у вас не такие, как прежде, и сердце ожесточенное, – в те дни обращалась Аксюша к своему хозяину. – Теперь вы не будете, как раньше, любить природу (...) Если бы не В. Д., вы, может быть, так в простоте и прожили, и хорошо! Сам Господь сказал: „Будьте как дети“. Сердце мое сжалось от этих слов и...»

Но... как ни сжималось сердце писателя, именно на этом беззащитном существе вымещал он теперь ярость оскорбленного человека, пытаюсь распространить свою житейскую историю на историю всей «исторически виновной» Церкви: «Церковное животное во многих своих разновидностях „Христовых невест“ вроде Аксюши, попов и дьяконов неверующих, старцев-самозванцев, кликуш – играет большую роль в деле разрушения Церкви».

Валерия Дмитриевна держалась в этой ситуации достойно, но дело заворачивалось по-советски круто, так как слишком вдруг остро встал квартирный вопрос. Домочадцы были убеждены, что разлучница стремится четырехкомнатной квартирой завладеть, что нужен ей не Пришвин, а его комфортное жилье, и тогда, чтобы квартиру не отдавать, претензии на жилплощадь в Лаврушинском переулке, из которой замоскворецкий мечтатель еще совсем недавно грозился создать бессмертный «Китеж», заявили и Аксюша, и Петя, и приехавшая в Москву «на лечение» Павловна.

Ситуация запуталась окончательно. Было в ней что-то не то от прошлых романов Федора Достоевского, не то от будущих московских повестей Юрия Трифонова...

«Я хочу просить Вас не видеться со мной, потому что я не могу быть сытой беседой на улице, и душа потом болит вдвое сильнее.

Не думайте, что это слова. Это правда. Я буду пока жить своей привычной жизнью, работать, заботиться о маме, считая Вашу любовь мечтой. Эта мысль будет защитой, потому что я, с тех пор как Вас люблю, стала беспомощной и мне становится сейчас не под силу. Мне легче было бы жить на Вашем месте: у Вас в руках действие, а у меня полная зависимость».

Из писем Валерии Дмитриевны видно, что она очень глубоко и верно понимала своего возлюбленного и, будучи женщиной проницательной и умной, более всего страдала от неспособности Пришвина на решительный поступок. Остаться в роли Прекрасной Дамы, на которой нельзя жениться и которую можно лишь воспевать, она не желала. Мучительно размышляя о безвыходности своей ситуации, она стала даже подумывать о том, чтобы вернуться к мужу, о чем и сообщила однажды Пришвину.

Для Михаила Михайловича проблема заключалась в том, что, как ни клял он на протяжении вот уже тридцати шести лет свою Ксантиппу, как ни выбирал намеренно квартиру на одном из верхних этажей, чтобы боявшаяся лифтов Ефросинья Павловна реже его навещала, ему было тяжело навсегда с ней расстаться.

«Все думаю о покинутой мною женщине. Мне тяжело не от ее страдания, столь простого, а от соседства моей сложнейшей любви (от которой должно родиться нечто не только для моего личного удовлетворения, а может быть, и еще для кого-нибудь), соседства этой любви со страданием впустую».

А вот голос Валерии Дмитриевны: «Если бы я знала, что Вы настолько связаны с Е. П., я не пошла бы Вам навстречу».

Павловна рыдала, она была готова его отпустить («Павловна, поплакав сильно, пришла в себя, села у окна. Я поцеловал ее в лоб, она стала тихая, и мы с полчаса с ней посидели рядом. Все может кончиться тем, что они смутно поймут, какая любовь настоящая») и... не отпускала. Слишком женщина была.

«Е. П. довела свой показ злобы до последнего: вот-вот и случится что-то! Она притворяется, лжет, когда говорит, что отпускает меня и скоро уедет»; «Павловна вдруг накинулась на меня: „Знаю, знаю, не погуляешь, все разрушу и ляпну в самое место“».

Иногда между супругами наступало примирение, потом война разгоралась с новой силой. Пришвин на коленях умолял Ефросинью Павловну о прощении, она грозила стрихнином ему и ножом Валерии Дмитриевне, он вызывал психиатров, одни полагали, что ничего страшного нет, другие находили, что и сам Пришвин болен. От невыносимости такого положения писатель бросился в Загорск.

Была середина марта, его драгоценная, им открытая и воспетая весна света, он бродил в одиночестве по лесам, писал своей возлюбленной лирические письма про зарайские страны и ангелов, которые, верно, могли вносить только раздражение в душу несчастной растревоженной Валерии Дмитриевны, понуждая ее к резким словам: «Вы стары, вам надо было сойтись со мной 10 лет назад».

Пришвин все понимал: «Она писала мне письма, не думая о том, хорошо ли они написаны или плохо. Я же старался из всех своих сил превратить свое чувство к ней в поэзию. Но если бы наши письма судить, то окажется (теперь уже оказалось), что мои письма прекрасны, а ее письма на весах тянут больше и что я, думая о поэзии, никогда не напишу такого письма, как она, ничего о поэзии не думающая».

Единственное, что он мог для нее сделать – подарить свой архив («Это будет крупным материальным фондом на случай катастрофы – это раз, а второе, изучив этот архив, присоединив к нему наш опыт вдвоем, ты легко можешь написать книгу, сбыт которой обеспечен значимостью моей в литературе.

Передачу тебе архива сделаю нотариальным порядком»). Но ей иного было нужно...

Наконец в апреле они уехали в небольшую подмосковную деревню Тяжино под Бронницами, а Павловна, прожившая все эти дни в Москве, отправилась в Загорск «огород сеять – весна не ждет». Пришвин с Валерией Дмитриевной поспешили в Москву, и в тот же день к нему прибыл «с новыми угрозами» от Павловны уже известный нам крестьянский писатель Ф. Каманин.

Для того чтобы взглянуть на ситуацию глазами тех, кто не просто сочувствовал Ефросинье Павловне, но и стремился ей как-то помочь, предоставим слово самому Ф. Каманину, в отдельных оценках весьма неточному. Свидетельство Каманина любопытно именно тем, что выражает общий настрой всех причастных к пришвинской семейной драме людей:

«На шестидесятом своем году он разошелся с Ефросиньей Павловной, с которой прожил лет сорок, прожил так, как дай бог каждому, имел двоих детей и трех внуков, и женился на другой женщине.

Всех, кто знал Пришвина, это потрясло ужасно. Одни бранили Михаила Михайловича за бессердечие и эгоизм, другие жалели его, и мало кто его оправдывал. И почти все осуждали Валерию Дмитриевну, новую жену, что, мол, вышла за него не по любви, а по расчету. Я-то знал, что полюбить его очень можно, но и у меня, признаюсь, были сомнения. А многие из друзей Пришвина, даже такие давние, как Фаворский и Кожевников, совсем отошли от него.



Волею случая я оказался втянут в семейную драму и рассказать о ней считаю своим долгом.

Итак, весной 1940 года я приехал в Москву, узнал всех взволновавшую новость и, не подумав, что нельзя вмешиваться в такое деликатное дело, тут же позвонил Пришвину. Ответил незнакомый женский голос, я назвал себя, потом слышал в трубку, как голос этот произнес: «Михаил Михайлович, какой-то Каманин хочет вас видеть», и его голос: «Ну что ж, пусть приходит и этот...» Такое начало не предвещало ничего доброго, но я к нему поехал. Двери открыла женщина, которая не показалась мне молодой, лет, наверное, сорока. «Значит, не в молодости тут дело», подумалось мне. А она, Валерия Дмитриевна, провела меня в кабинет и тотчас же ушла.

- Михаил Михайлович, что вы делаете? - начал я напрямик, словно в омут бросился. - Вы ведь наш учитель и в литературе, и в жизни, а чему вы учите? Как жен бросать на старости лет?

Он не дал мне больше говорить, вскочил как ужаленный.

- А-а! - закричал он. - Это Кожевниковы так настроили тебя? Ну и черт с вами, я вас ничуть не боюсь! Говорите, что хотите, а я наконец встретил женщину-друга, полюбил ее, как никого еще не любил, и буду с ней, если только она не покинет меня. Я должен с ней быть, поймите вы это! Хоть под старость я имею право жить с другом, который близок душе моей? Ты скажешь, что Ефросинья Павловна тоже была мне близка, что я ее любил? Да, любил и жил с ней согласно, а знаете ли вы, что был всегда одинок? Ведь она, хоть и умна, никогда не понимала меня, не могла понять, чем я живу. Вы этого не знали? Так узнайте теперь! А еще беретесь меня судить!

- Я вас, Михаил Михайлович, не сужу и судить не имею права, но мне жаль Ефросинью Павловну. И я, и

другие тоже – мы любим вас, но любим и ее, поймите вы это.

Так пытался я возражать, да он не слушал, он продолжал кричать, потому что вину свою все-таки ощущал, но тут вошла в кабинет Валерия Дмитриевна, и он, как увидел ее, сразу поутих.

– Вы меня простите, – говорит она, – но я услышала, какой у вас бурный пошел разговор, и решила войти. Тем более, что речь, кажется, идет обо мне, я тоже хочу свое слово сказать. Вот вы сказали, что вам жалко Ефросинью Павловну. Это по-человечески понятно. А Михаила Михайловича вам разве не жалко? Я знаю, что говорят обо мне, и хотела уйти, но вы знаете, что он мне сказал. Он сказал, что покончит с собой, если только я покину его.

– Да, покончу, – отозвался он. – У меня уже написаны три письма правительству, в Союз писателей и всем друзьям – и ружье заряжено. И я уйду из жизни, колебаться не буду.

Мне стало страшно, так спокойно были произнесены эти слова.

Поднялся я уходить, но Пришвин не пустил:

– Посиди немножко... Давай уж, раз начали, закончим этот тяжелый разговор. Я на тебя не сержусь, хоть и накричал на тебя. На твоём месте я, пожалуй, не то еще сказал бы... Вы скажете, что я немолод, пора бы и угомониться. Но ведь Гете влюбился в семьдесят лет? И потом, я же не бросаю ее, все ей оставил в Загорске и на жизнь буду давать, чтобы не нуждалась ни в чем. Ты скажешь, одинока она? Но я-то не могу с нею жить. Было бы подло жить с одним человеком, а любить другого, я так не могу... Вот и все, что я хотел тебе сказать. Можешь передать своим Кожевниковым». [\[1067\]](#)

Мемуаристы вообще склонны исказить реальную картину событий. Дневникам доверия больше, но в

самом главном – решимости Пришвина свести счеты с жизнью – этому свидетельству невозможно не доверять, потому что и Дневник, и воспоминания говорят об одном и том же. Сразу после ухода Каманина, о котором Пришвин отозвался весьма раздраженно, Михаил Михайлович записал: «Ночью дошли до того, что решили вместе умереть, „как Ромео и Джульетта“».

Ситуация казалась безвыходной, нервы были у всех на пределе («Лева кричал на меня в своем безумии, что „женку“ мою посадят, а с меня ордена снимут. Это было так непереносимо и больно и ужасно, что во мне что-то оборвалось навсегда»); «Она (Павловна. – А. В.) в крайнем возбуждении советовала «сушить сухари на дорогу в Сибирь вместе с В. Д.»; она, жена орденосца, постарается сделать «"им" это удовольствие», и тогда Пришвин решил обратиться к Ставскому: «искать защиты от клеветы».

Главный секретарь Союза писателей и главный редактор «Нового мира» был в курсе пришвинских семейных дел. Еще когда в феврале, раненый, он вернулся с финской войны, Пришвин пришел навестить его и рассказал о том, что встретил женщину, чей приход призывал в «Жень-шене», и «намекнул ему, с каким мещанством встретился (...), воюя со старой семьей за новую жизнь». Ставский предложил помощь, если возникнут трудности, и вот теперь этот час настал.

Аудиенция будущей пары у ком-попа закончилась победой: «Ставский обещал „в соответствующих учреждениях“ прекратить происки, какие бы они ни были, со стороны наших врагов и вызвать для внушения Леву». Но победа далась нелегкой ценой: «Я сидел как в корсете. Ставский допрашивал Л... Она врала как сукина дочь».

Врала, и ничего другого ей не оставалось. Если бы Ставский, или Лева, или Павловна, или даже Аксюша

узнали о ссыльном прошлом Валерии Дмитриевны, то эта история могла принять совершенно иной оборот, тем более что НКВД не оставил Валерию Дмитриевну в покое после возвращения из ссылки. К счастью, никто так ничего и не узнал. Или сделал вид, что не узнал. Ведь Ставский мог навести справки о пришвинской возлюбленной по другим каналам... Да и много ли мы знаем о Ставском, раненном на одной войне и через несколько лет погибшем на другой, чтобы бездумно его осуждать как советского функционера сталинских времен?

Но вернемся к мемуарам Каманина:

«Я простился с Пришвиным, а ночевать действительно поехал к Кожевниковым и в тот же вечер им все рассказал.

- Да-а... - вздохнул Кожевников, - я знал, что тут все кончено. Ефросинье Павловне доживать век одной.

Встретился я с нею. В этот приезд мне надо было пожить, поработать вблизи Москвы, и тот же Кожевников посоветовал съездить к Ефросинье Павловне. Она, мол, сейчас одна, гостям будет рада. Я знал, конечно, какие тоскливые у нас пойдут беседы, но выхода другого не было, да и повидать ее хотел.

Приняла она меня со своей обычной милой улыбкой, сразу хлопотала с угощениями, стала расспрашивать обо мне, о жене, о детях, я ей ответил, а потом перешел к тому, зачем приехал.

- Дорогой мой, я вас с удовольствием пущу, но куда? В полуподвале вам не ужиться. Отдала бы кабинет Михаила Михайловича, мне он ни к чему, да все еще жду. Все надеюсь, старая дура!

Она улыбалась, но на прекрасных, все еще прекрасных ее глазах сверкали слезы.

- И надо же, - сказала в другой раз, - никто мне не был мил кроме него. Вы думаете, ежели я

малограмотная, то не понимала, с кем жила? Нет, мне радостно было быть женою Пришвина».

## Глава XXVII СТАРШИЕ

Очевидно, что Каманин, который впоследствии у Ефросиньи Павловны поселился, симпатизировал своей хозяйке. Так ли великодушна и благородна она была, сказать трудно, в этой истории беспристрастных свидетелей не было, и тем дороже признания, вырвавшиеся против воли мемуаристов.

Как ни был Пришвин раздражен против Ефросиньи Павловны, отстраненным взглядом он видел и понимал, что верность Берендееву царству и его заповедям, которые «во всех букварях на весь многомиллионный народ печатаются», хранила именно она, в то время как сам автор этих заповедей изменил собственному прошлому, поскольку отныне смотрел и на него, и на атрибуты прежних волшебных царств по-иному: «Семейная жизнь есть нечто такое, чего осмыслить нельзя, пока из нее не вышел. Вот я то же самое создал из своей семьи, какую-то легенду о Великом Пане, а может быть, даже и патриархе родовом. А после оказалось все это маскировкой, прикрывающей свою неудачу, свою бедность».

Пришвин этот переворот представлял, как некий небывалый для него опыт, позволивший им с Валерией Дмитриевной подняться на новую, более совершенную ступень человеческого существования.

«Секрет наших отношений, что художник напал на своего рода художника с ярким лучом внимания, а не к принципу, как это делает Каренин».

Легче было бы не касаться всех этих подробностей и не нарушать созданную двумя любящими людьми сказку, которую они были готовы подарить всем и которую утверждали наперекор лжи и насилию эпохи.

«Во всеобщности моего переживания заключается секрет прочности моих писаний, их современность», – писал Пришвин; «Я для всех люблю», – отвергал он возможные упреки в эгоизме и легкомыслии, но не в его силах оказалось распространить эту всеобщность на своих современников и уж тем более на ближних, [\[1068\]](#) а потому он имел в виду людей будущего, находящихся на той стадии «беременности», то есть ожидания рождения личности, через которую он прошел много лет назад, невыносимо страдая от того, что называл в ту далекую пору «быть маленьким».

Идея обращения к подобной далекой личности была для Пришвина не нова. Еще в 1924 году он писал: «Мое заветное желание – открыть путь другим. Я один, я индивидуалист и отталкиваю всех от себя, потому что они мешают мне открывать путь для них же самих, я работаю для других, для тех других, а не этих. В жизни я индивидуалист, в идеале коллективист».

С годами ближние тем более не становились ему ближе, а скорее перемещались в будущее, в даль. Когда знаменитый русский физиолог А. А. Ухтомский в 1928 году писал о Пришвине, как об «открывателе нового (а для простых людей – старого, как мир!) метода, заключающегося одновременно в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом», этим другим был непременно человек далекий и неизвестный, отстоящий и во времени, и в пространстве.

Пришвин – и это едва ли не самое главное в нем – был убежденнейший утопист и рассматривал себя как человека будущего («Жизнь гениального человека лично пуста и вся целиком распределяется в деле для будущего», – писал он еще в 1928 году; «Правда в том, чтоб бороться с настоящим временем за будущее»).

Отсюда и проистекало его глубинное родство с коммунизмом, пусть даже называемым им этическим коммунизмом, как разновидностью утопии, призванной переиначить человеческую природу и освободить ее от предрассудков прошлого. На этом стремлении к утопии и основывался его договор с большевиками.

«"Моя свобода" – не фальшивая свобода либералов вроде Герцена, а то самое творчество, которое рано или поздно создаст для всех нас желанный мир на Земле», – писал он в черновике письма к Фадееву, которому не понравилось употребление Пришвиным в «Падуне» слова «свобода», и он сделал за это старейшему беспартийному писателю коммунистический выговор.

От этого противоречия с эпохой и ее вождями, со «слепым временем» Пришвин сильно страдал, но как человек будущего старался смотреть на текущее время извне, с высоты (не с висока) и, хотя никогда не смешивал свое призвание с проповедью или учительством, начал ощущать себя Старшим, более мудрым, зорким, чутким, более совершенным и духовно богатым человеком, нежели ограниченные несчастливые люди, которые его окружали и, сами взятые в плен либо церковностью, либо большевизмом, взяли в плен его возлюбленную, из ограниченности своей и косности мешая их большому счастью.

Вина или беда его ближних, окружения Валерии Дмитриевны, ее мужа Лебедева, Павловны, Аксюши, детей и всех, с кем вел писатель свою «суровую борьбу за любовь», в его глазах была в том, что эти люди недостаточно талантливы в любви и в жизни, что они – частичны и не могут вместить в себя открытого ему и его возлюбленной духовного богатства, космоса, Целого.

Все это не означало для Пришвина ницшеанского презрения к несовершенной твари, скорее наоборот, нечто снисходительное, жалостливое сквозило в его



записях: «Когда приходишь в дух и глядишь на мир, на землю и особенно на небо с творческим вниманием, то каждая тварь, каждая мелочь становится радостно-прекрасной в Целом. Вот истинный путь, наверно, и есть дело восстановления Целого, а не бездейственное пребывание в неподвижном порядке».

Однако в ту пору к реальной, непридуманной Валерии Дмитриевне, которая несла свой крест, ухаживая за больной матерью (как горько писала она Пришвину в пору апофеоза войны в его семействе: «Вы можете там все плакать, кричать, драться и не спать, потому что Вам можно болеть, лежать и утешать друг друга. Я же должна завтра идти на работу и работать хорошо, иначе я погублю свою мать и потеряю всякую почву в жизни»), пришвинские рассуждения могут быть отнесены не целиком, а частично.

Восхищенные слова о гениальности возлюбленной («Ляля была уверена, как великий художник, знающий, куда она идет...») говорились апологетом великого Целого от избытка чувств, от любви, нежности и умиления. Но главное в тех словах – снова греза, мечта, воплощенность которой в таком образе свидетельствовала о том, что еще вчера рассуждавший об исключительности и избранности любого, каждого человека и отрицавший за гением право на особую мораль, Пришвин на время своей домашней войны придерживался древнего принципа деления людей на человеческое стадо и избранных, на цельных и частичных. Коли человек гениален, избран, к нему и мерки другие должны быть приложены – не берендеевы, и такая логика заводила куда как далеко и в вопросах более глобального характера, нежели маленькая семейная драма, по-новому высветившая его личность.

Весной 1940 года двое влюбленных столкнулись с чудовищным одиночеством и непониманием, какое едва

ли им было по силам вынести, что и подтверждают воспоминания Каманина. Ставский не в счет. Исключением, поразительным исключением был Александр Михайлович Коноплянцев, «друг с гимназической скамьи, который, несмотря на Левину передачу, высказал мне сочувствие. Весть эта как первая ласточка из того мира, где все стоит за любовь».

Писатель потрясен был тем, что семья, ради которой он всю жизнь столько трудился, отнеслась к нему (более всего – дети) цинично и потребительски, как к вещи, обратив «всю ненависть» «к Ляле как к возможной наследнице».

Хорошо это сознавая, Пришвин писал позднее, в 1943 году: «Так несчастный В. В. Розанов возвеличил свой обезьянник-семью. Я был тоже на этом пути, но пришла Ляля и разогнала мой „обезьянник“, и тут только я увидел насквозь через себя самого, насколько несчастен был В. В. Розанов».

В. В. Розанов был несчастен по другим причинам, да и В. Д. Пришвина впоследствии «говорила, что мой путь будто бы противоположен розановскому», но что касается отношения Пришвина к детям, то, похоже, так дело и обстояло: «... И так вот они столько лет жили с примерно бескорыстным человеком и наживали себе корысть, и человек этот еще жив, а они уже делят вещи его, и страх его физический перед пошлостью они принимают за трусость. И все это мне приходит как расплата за безбожное „равенство“, в котором они росли и воспитывались».

«Тяжело это перенести, их эгоистическое горе. Тяжело думать, что всю жизнь провел в детской комнате и дети ничего-ничего хорошего от меня не взяли. Это конец всему».

Приведем еще одно воспоминание, А. С. Пришвина, дружившего с пришвинскими детьми:

«Молодость ничего не прощает. Она обо всем судит прямо и безапелляционно. Никаких переходов между „да“ и „нет“ не существует. Только так, а если не так, то ко всем чертям!

Вот так мы судили о дяде Мише, когда он круто сломал свою жизнь и пустил поезд по новым рельсам. Нам казалось, что он перечеркнул свою старую жизнь, выбросил вон все, что было хорошего в ней, не оставил ничего, все принес в жертву. Молодость, скитания по стране, «охота за счастьем», собаки, радость звонкого гона, дети, внуки – все полетело куда-то в тартарары».

Лева был взбешен, Петя слишком занят своими обстоятельствами, и положение короля Лира Пришвина ужасало. Он не держал на них зла («Павловна, Лева, Петя, даже Аксюша – вовсе не плохие люди, но я их разбаловал, мой грех в том, что не вел себя с ними как Старший, не утруждал этим себя»), однако с горечью написал воистину шекспировские строки: «Для сыновей я умер, испытав нечестивые похороны, и они умерли для меня».

История Пришвина вообще удивительным образом показывает, как связаны у иных художников, пусть даже сказочников, творчество и судьба, обстоятельства внешние и внутренние, что и утверждал он сам, говоря «жизнь – это роман», но точно так же верно было бы заметить, что «роман – это жизнь».

Когда летом 1940 года ситуация мало-помалу прояснилась и опасность поражения в войне с домашними миновала, писатель более взвешенно описал разницу между художником и человеком толпы:

«Человек, имеющий постоянное общение с вечностью, в малых земных делах должен быть образцом для всех маленьких людей, лишенных чувства вечного в мире. Вероятно, это до крайности трудно, и вот отчего пустынные жили в пустыне, а художники

создали себе особый растрепанный вид и обстановку художественного беспорядка».

По-пришвински замечательно, что в повести «Фацелия», которая в это время писалась и была любовью к Валерии Дмитриевне вдохновлена и ей посвящена, есть строки, прямо всему вышесказанному об особой жизни художника противоречащие, и я приведу эту заключительную, прекрасную главку поэмы целиком, дабы показать, как умел цельный по своей природе литератор отсекал в творчестве личную злость (да и вообще все лишнее) и очаровывать читателя чистой сказкой:

### **Любовь**

*Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радости от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...*

*Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое люблю.*

*Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:*

*- А что это значит «люблю»?*

*- Это значит, - сказал он, - что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь как осел...*

*И он еще много наказыал ей такого, что люди выносят из-за любви.*

*Фацелия напрасно ждала небывалого.*

*- Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, - повторила она, - да ведь это же у всех, все делают...*

*- А мне и хочется, - ответил художник, - чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.*

Искусство и жизнь рука об руку шли в судьбе Пришвина, и порою случалось так, что жизнь дописывала то, что он не мог выразить в слове, порою слово возмещало ему то, чего не было в жизни. «Книга как орудие моей души», - записал он в 1937 году.<sup>[1069]</sup> В равной мере и душа была орудием его творчества. Это верно по отношению к любому писателю, но в случае с Пришвиным, где художественному произведению соответствовали пласты дневниковых записей и наоборот, где каждый поступок и мысль переживались и облекались в слово, - связь творчества и личного проявилась особенно ощутимо, что и позволило ему впоследствии говорить о «творческом поведении».

Отступить от Валерии Дмитриевны значило бы для Пришвина не только пожертвовать личным счастьем, лишиться себя радости и любви, но - что более существенно для него - пожертвовать литературой, творчеством, призванием и долгом, той спасительной силой, которая удерживала и хранила его. Члены пришвинской семьи ни понять, ни принять этого не могли, Валерия Дмитриевна с ее трудной и совсем не баловавшей ее судьбой, пусть не сразу и не легко, но в конце концов - сумела.

Искренне любя пришедшую к нему женщину, Пришвин, который всех, кто его окружал, глубоко чувствовал и понимал, мучился, порой даже стыдился своей советской избранности и всего, что к ней прилагалось («Нужно всегда помнить и то, что я самый свободный человек и мне с жиру можно думать о Песне Песней. Она же наряду со всеми находится в неволе, и надо еще удивляться, что из-под тягости повседневного труда она находит силу взывать к Господу о ванне морской»), и боролся с наваждением суицида.

«Единственная опора – В., она как надежда».

Валерии Дмитриевне, которой как «разрушительнице семьи» счет предъявлялся более жесткий, приходилось в эту пору тяжелее, чем ему, так что позднее она написала: «Диву даюсь, как могли у нас сохраниться об этом злосчастном лете светлые воспоминания».

Даже после того, как они официально оформили брак, в августе 1940-го, в письме к Пришвину-мужу она роняла горькие строки:

«Р. В. (то есть Разумник Васильевич. – А. В.) говорит: Коноплянцев такого мнения, что, не будь Е. П., не было бы и тебя. Она источник твоего искусства. Кто внушил эту мысль людям? – Ты. И в свете этой мысли я авантюристка и разлучница».

Здесь, пожалуй, заносило уже ее, не представлявшую, что значила для Пришвина смоленская крестьянка с грустными красивыми глазами, которая уберегла молодого агронома от самоубийства, психического расстройства или вступления в секту «Начало века». Об этой самой Фросе совсем недавно, в 1937 году, он писал: «Я сам через Павловну вошел в народ и природу: на этом психологическом основании возникла моя природа, Родина, Россия, писательство и общество писателей как родственников»; но писал еще и так: «В моей жизни

было две звезды – звезда утренняя (29 лет) и звезда вечерняя (67 лет), и между ними 36 лет ожидания».

«Влюбленные – это эгоисты, любящие весь мир», – утверждал Пришвин в пору романа с позабытой им Коноплянцевой.

«Любовь такая не эгоизм, и, напротив, жизнь потому гибнет, что она – эгоизм, а любовь эта – свидетельство возможности жизни иной на земле», – писал он, защищаясь от упреков теперь.

«Почему же ты не умеешь, не смеешь меня защитить? – горько и обиженно жаловалась его Фацелия. – Почему тебе жалко их, которые тебя расценивают как источник своего благополучия, и только? Мне очень горько, и я не вижу, зачем мне это скрывать?»

Что же мне делать? Ты не изменишься – поздно ломать человека в твои годы. Да и права я на это не имею. А жить с этим сознанием, что все вокруг смотрят как на разрушительницу хорошей семьи, я не могу. Может быть, ты даже и не понимаешь, о чем я пишу, чем мучусь: ты всегда слишком упрощенно понимаешь это мое огорчение: «Ревность»... Нет, это неправда. Поверь мне, если Е. П. и сыновья станут на истинный путь – я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть тебя им. Я сделаю это. И поверь еще, что я уступлю дорогу всякому, кого я не буду достойна и кто придет за тобой.

Но сейчас, – сколько времени я просила тебя, чтобы ты сказал им, что я не причина, а повод, – причина в них. И разве ты сказал им это? Ты выжал из себя самые бледные, самые скупые слова, словно нарочно, чтобы они ничего не поняли.

На что же я могу опираться, где же ты настоящий, и как не стыдно тебе за эту трусость, или ложь, или слепоту!»

Позднее А. С. Пришвину все это виделось иначе: «Он был стоек и непреклонен. Все доводы разбивались о его каменное упорство. Он был одержим, захвачен этой внезапной вспыхнувшей любовью. Ему говорили одно, он твердил свое: „Люблю!“ Ему напоминали о долге, о взрослых уже внуках, а он упрямо повторял свое: „Люблю“».

«Обман ее слаще, умнее и надежнее правды», – писал влюбленный, себя не помнивший Пришвин, но иногда словно пелена не то спадала, не то застилала его глаза, и среди повторяющихся слов о целомудрии и любви появлялись резкие, как тени в солнечный день, мысли: «Пусть она гениальна в своем мастерстве, и если не обманет, то, как художник, самообманется; на самом же деле она вышла замуж за старого и некрасивого человека с целью, положим, помочь любимой матери и, может быть, даже самому писателю, даровитому и одинокому».

Валерия Дмитриевна протестовала и писала на полях: «Выдумал, все выдумал! Не было этого! Впрочем, это твое право выдумывать, на то ты и художник».

Двое единомышленников смотрели на историю их союза по-разному:

«По ее сокровенному убеждению, всю эту любовь нашу предстоит оправдать жизнью, и она еще очень сомневается, сумею ли я ее оправдать, не останется ли любовь у меня только поэзией. В моем мучительном раздумьи не раз вставала вопросом вся моя жизнь как счастливого баловня в сравнении с ее жизнью, и ее добро укоряло мою поэзию».

Этот покаянный подход был Пришвину неведом: грехом, и своим, и Валерии Дмитриевны, он считал не любовь (она не греховна, но преступна, и в этом ее достоинство, ибо «настоящая любовь всегда „преступна“, настоящее искусство действует как мина,



взрывающая обстановку привычных положений»,<sup>[1070]</sup> да и вообще к нему грех неприменим: «И тут вспомнилось библейское грехопадение, и в отношении себя протест: не может быть грехопадения!»; «Настоящий Бог, настоящий человек нам мешать не будет, потому что наше дело правое, на этом вся жизнь стоит, и без этого вся жизнь на земле просто бессмысленна»); грехом Пришвин считал то, что они оба, прежде, «сходились с неравными».

Вот почему, когда Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна уладили все формальности в прежних семьях и могли зарегистрировать свой союз, он был счастлив, а она – печальна:

«Чем лучше у нас дело идет, тем тяжелее у Л. на душе от мысли о брошенном А. В. С утра просит:

– Утешь меня!

И я утешал, вспоминая брошенных мною революционеров, когда я стал служить художеству».

Валерии Дмитриевне тяжело было мириться с позицией дорогих для нее людей («Староверов Гаврила. Старик – хранитель православия, безупречный человек, единственный, кто против нашего брака и разорвал отношения с Л., за то, что она оставила А. В. Единственный его порок и грех, что он не участвует в современности, что, значит, мертв. Но с мертвых и спроса нет: значит, нет у него ни греха, ни порока: безгрешный и беспорочный старик, неподвижная фигура»), – отвергавшему же пока церковность Пришвину – легче, он находил оправдание и утверждение своей «прекрасной, девственной, умной, жертвенной и обогащающей» любви, где облекались воедино дух и плоть, «где всякая грубая чувственность просветляется мыслью и всякая мысль и рождается и подпирается чувством», ибо он – Художник и на такую любовь имеет право, он ее выстрадал и заслужил.

Художник – не хранитель прошлого, «не верстовой столб», как говорил он когда-то, художник современен, подвижен, у него своя правда и своя мораль, свой бог, который его избрал и создал «самым счастливым человеком и поручил (...) прославлять любовь на земле». И стремление Пришвина как такого художника состояло в обновлении традиционного православного учения путем пересмотра устоявшихся истин и устранения из него уязвимых мест, к чему и подталкивала и утверждала в своей правоте писателя его последняя счастливая любовь.

Таковым видел он свое назначение в искусстве и жизни: через себя и личный опыт открывать людям подлинную дорогу к счастью («Сегодня утром вспомнил, скольким людям, начиная с Горького („Вы делаете великое дело“), я показал через окошко мучительной их жизни возможность радости и счастья. Мне стало хорошо на душе, и дальнейший мой путь осветился»). Препятствием же на этом пути было заблуждение как церковников, так и революционеров, которые, по Пришвину, «ограничены одной и той чертой, разделяющей мир небесный (там, на небе) и мир земной (здесь на земле). (...) Тип „земного человека“ Ставский, тип „небесного“ Гаврила, оба свое ограниченное закрепляют в форме и, подменя существо формой, поклоняются ей и призывают других, к тому и принуждают.

На самом деле черты такой между земным и небесным миром вовсе не существует».

Одним из своих союзников и предтеч Пришвин считал, как всегда, В. В. Розанова: «Розанов боролся на два фронта, один фронт – ему была безбожная интеллигенция, другой суеверие церковное». В качестве другого предшественника рассматривал бывшего возлюбленного Валерии Дмитриевны Олега Поля, ушедшего в середине 20-х годов в кавказские

пещеры, принявшего там постриг и после разгрома скита расстрелянного в 1930 году в Ростове-на-Дону.

Пришвина необыкновенно занимала личность этого незаурядного человека. Приведем лишь одно высказывание писателя, которое вряд ли имело отношение к самому Полю (чей духовный опыт очень мало покуда изучен, очевидно только, что он находился под сильным влиянием идей В. П. Свентицкого, одного из духовных отцов «голгофского христианства» – то есть того течения внутри Церкви, которое Пришвин решительно отвергал<sup>[1071]</sup>), но зато характеризует самого Михаила Михайловича:

«По существу своему он был поэт, стремящийся выбраться на волю из старых форм православия».

Замечателен также и заключительный из серии диалогов между двумя антагонистами Пришвиным и Аксюшей, обнаруживающий полную пропасть даже не между этими некогда сердечно привязанными друг к другу людьми, но между двумя мироощущениями, к которым каждый из них принадлежал:

«– Вы сознаете, М. М., что в свое время ошибку сделали?»

– Какую?

– Да что сошлись с Е. П.

– Сознаю.

– А если сознаете, то должны ошибку поправить и дожить с ней до конца.

– Это значит – и себя погубить, и свою любимую женщину.

– Вы веруете в Бога?

– Я считаю того бога, которому жертва нужна, как ты говоришь, Сатаной. Я же служу тому Богу, который творит любовь на земле».

Но, отвергая старое, мертвое, покойное христианство, религию «церковного животного»

Аксюши и неведомого нам Гаврилы Староверова, во что же предлагал верить Пришвин, подойдя к «роковой черте между поэзией и верой», к той границе, которая много лет его пугала, ибо переход через нее, по мнению писателя, погубил Гоголя и Толстого?

«После нее не захочется описывать мне своих собак, своих птиц, своих животных. Вот эта ее сладость духовная, поддерживаемая небывалой во мне силой телесного влечения, делает все остальное, включая художество, славу, имя и пр., чем-то несущественным – на всем лежит слепое пятно.

И в то же время это не Чертков и не о. Матфей. Ее смелость в критике бытовой Церкви... Она в нравственном мире такая же свободная, как я в поэзии. (...) Надо иметь в себе достаточно смелости, чтобы войти внутрь ее духовной природы, постигнуть ее до конца, обогатиться по существу (не поэтически) и потом с достигнутой высоты начать новое творчество по большому кругозору».

История Пришвина и Валерии Дмитриевны, по крайней мере с его стороны, – это не просто счастливая любовь, не просто дар или нечаянная радость, но воплотившаяся давняя мечта писателя, которую Пришвин вынашивал и ждал так мужественно и так долго, что когда наконец она воплотилась, душа его отозвалась с силой и страстью, способной поколебать любые устои. Однако свершившееся, при всей своей ослепительной неожиданности и новизне, накладывалось, резонировало с определенными ожиданиями, с неким, условно говоря, сценарием, существовавшим в голове великого жизнетворца, и корни этого ожидания уходили не куда-нибудь, но в хлыстовство: «Я по натуре своей искал в браке таинства, поглощающего меня целиком, отчего и захватила меня на всю жизнь любовь к призраку, с компенсацией видимости семейной. Так мы сохранились

с Лялей как жених (дух) и невеста (богородица), и случай нас свел»; «Эта сложная *Natura Naturata* (естество естества) ищет зачатия от Духа».

Вот еще одно очень важное и многое объясняющее свидетельство писателя, относящееся к 1925 году, когда этот сценарий был далек от реализации, но, без сомнения, существовал в сознании его автора и вещи назывались своими именами.

«"Богородица" - да, вот пример-то для меня: хлысты! Вот где творческий процесс наблюдается в чистом своем виде: когда пророки и христы доходят до плотского греха со своей звездой... В моем разборе психология художника отличается от психологии хлыста своей универсальностью (это для всех): ведь дело художника кончается вещью: его произведение вещь, а у хлыста - идея».

То есть художник отличается от хлыста лишь тем, что у него есть выход в творчество, есть некий вещественный результат его радения, в котором заинтересовано общество, а хлыст бесплоден, хлыст - оскотенный художник и индивидуалист. Художник - целое, а хлыст - часть, но как ни велика эта разница, изначально художник и хлыст братья и принадлежат одной территории. И вот почему: «Тем не менее для уяснения творческого процесса чрезвычайно важны хлыстовские образы: *cherchez la femme* значит: ищите Богородицу, в каждом произведении ищите мать его».

Когда-то этой матерью, этой творческо-хлыстовской «богородицей» была для Пришвина Варвара Петровна Измалкова («Мать моего художества, конечно, Варя, совершенно духовное существо») и - неожиданно и глубоко развивал эту мысль Пришвин - Ефросинья Павловна («Однако продолженное как-то (я этого еще понять не могу) в Павловне, которая мною теперь уже сознается совершенно как мать без всякой символики»), а точнее - поправляет он себя: «По правде говоря,

Павловна была не матерью ребеночка моего, а кормилицей ребеночка от Вари, и даже вид, весь облик она имела кормилицы: в этом вероятно, и ответ на вопрос: у Варвары Петровны молока не хватило, и потому произошло разделение...»

От этого разделения он и страдал, и мучился в тоске по Целому, по целомудренному, пытался найти его то в Коноплянцевой («Образец полной женщины Софья Павловна Мстиславская»), то в Козочке, то в Тасе, то в Клавдии Борисовне Сурковой, пока не пришла та, которой суждено было эту роль сыграть: «Коренное свойство Л. есть то, что (...) она всегда в духе».

Пришвин удержался от того, чтобы броситься в хлыстовский чан в 1908 и в 1918 годах, удержался в 1937-м, а вот в 1940-м – нашел смелости и бросился. Этим чаном оказалась женщина, которой он поклонялся, пусть не как хлыстовской богородице в полном смысле этого слова, но как некоему обожествляемому им посреднику, религиозному медиуму («Христа я понимаю со стороны и как хорошее Начало чувствую с детства. Но как живую Личность я его не чувствую. Это у нее Он живой. И я смогу воспринять Его только через нее. Сильней и сильней любя ее, я могу приблизиться к Нему»); «Раз Л. существует, значит, и Бог существует»); «В любви надо бороться за духовную высоту и сим побеждать».

На самом деле ничего особенного, сверхъестественного с Пришвиным в 1940 году не произошло, если не считать того, что он почти забросил охоту и переоценил свою прежнюю жизнь «со времени возвращения из Германии и до встречи с Л. как кокетливую игру в уединенного гения, как одну из форм эстетического демонизма». Он обрел счастье и начал создавать Дом (именно начал, все-таки создание подлинного Дома – это уже более поздний период), к которому шел всю долгую жизнь, написал прекрасную

повесть, [\[1072\]](#) и дело вовсе не в том, чтобы назвать его выстраданное, завоеванное счастье аморальным или незаконным, как полагали иные из его друзей и члены семьи, – нет, дело лишь в тех словах и понятиях, тех образах, которыми Пришвин для описания этого счастья и для защиты от недругов воспользовался.

Проблема духовной прелести или, может быть, точнее сказать, духовной интоксикации Пришвина кроется не столько в его поведении, которое нам неподсудно, сколько в высшем предмете его гордости – в языке, хотя отделить одно от другого в жизни человека, о себе говорившего «пишу как живу», довольно трудно. Своеобразное хлыстовство писателя проявилось не непосредственно-прямо и не в форме игры (как на религиозных игрищах «Начала века», когда декаденты собирались и устраивали радения), а в том – и это его беда как художника – что он не смог, не захотел, не получилось у него найти иных или, по меньшей мере, обойтись без хлыстовских слов для воспевания своей любви при том, что задачу автор себе поставил «сказать о любви такое, чего о ней еще не сказал ни один поэт и художник».

Хлыстовская лексика высыпала на страницах писательского Дневника и его любовной повести, как краснуха, и набросилась на традиционные религиозные образы, но кто знает, быть может, только так и могла быть болезнь прожита и преодолена. Не зря в 1942 году Пришвин записал: «Вспомнились отношения А. В. Карташова и Татьяны Н. Гиппиус, напоминающие наши отношения с Лялей. Эти отношения, со стороны глядя, не казались увлекательным примером». [\[1073\]](#)

Татьяна Николаевна Гиппиус была родной сестрой знаменитой поэтессы, а Антон Владимирович Карташов – известным историком Церкви, одним из активных участников Религиозно-философских собраний, а

впоследствии министром в правительстве А. Ф. Керенского. В начале века оба они входили в те самые «троебратства», которые основывали Мережковские, и принимали самое деятельное участие в их Главном (см. главу «Религиозно-философское общество»).

В характере А. В. Карташова, в его внутренней биографии было что-то от характера и биографии Пришвина, и вместе с тем в его лице как будто соединились пришвинский двойник и антагонист:

«Он дикарь (...) он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества, а теперь у него многое меняется (...) влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему (...) в связи с его „девственностью“ (он сказал мне о ней как-то у камина, после обеда), и с девственностью теперь, по его словам, не аскетической, а примиряющею плоть и красу мира (...) в К. было что-то робкое, значительное и таинственное (...) К. был робок, странен, мертвен (...) странный, юный культурностью, полуживой человек, полупонимающий, задерганный воспитанием, тянувшийся к культуре, ее не постигающий и – до конца не верующий (...) говорит, что не может более причащаться в Церкви, и умоляет меня и Дмитрия Сергеевича совершить с ним в Великий Четверг вечерю любви (...)».

Роман Карташова с Зинаидой Николаевной кончился ничем, точнее говоря, в решающую минуту, в минуту объяснения (как странно это перекликается с романом М. М. Пришвина и В. П. Измалковой, который примерно в эти же годы происходил в Париже) Антон Владимирович повел себя нерешительно.

«Взяв его за голову, я поцеловала дрожащие, детские – и, может быть, недетские – губы. Он испугался, вскочил, потом упал вниз и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразившие меня, которых я не ждала и которые были удивительны в тот



момент по красоте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым. Он сказал:

- Помолитесь за меня.

И повторял:

- Помолитесь, помолитесь: я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь, когда счастье такое большое.

Я наклонилась и еще раз поцеловала его, и потом еще.

А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых не помню, но в них не было теней».

Однако, хотя Карташов и не схватил свою Хуа-лу за копытце, с семейством Гиппиус интимные отношения будущего министра Временного правительства не прервались: в нем вспыхнула любовь к Татьяне Николаевне, которая была своей сестре очень духовно близка и держала ее в курсе нового романа.

«Я с Татой говорила все больше. И выяснилось, что она не только понимает, а у нее все точно и было, только не определено так (...) Тата тоже подошла к нам в Главном (...) Тата, Ната, Карташов и Кузнецов переселились в нашу квартиру (...) Тата, Ната и Карташов (...) Тата в Париж писала нам самые длинные письма, поддерживала близость - их с нами. Тата цельная, изумительная, верная. Не отступила, хранила, несла. Боролась за нас с Карташовым и с нами за него. Сцепляла свою тройку (...) Мы просили Тату приехать к нам на Ривьеру и там вместе с нами причаститься. Сказали ей все.

За час до отъезда были все у нас и вышло объяснение. Карташов говорил, что если Тата поедет, то этим она окончательно разорвет их тройственность и отделит его от нас. Предлагали так: что они совершат здесь то же, что мы - там (...) Жили тихо. Огорчались Татой. Писали.

Не знали, как быть, и вдруг телеграмма: приедем все трое (...)

Служили литургию по нашей. Так как она вся – тройная, то было двое 1-х, двое 2-х, и двое – 3-х. Я была с Натой милой, тихой, глубокой – третьими.

Все мы тут соединились. Оставалось жизнью связь оправдать», – писала в своем Дневнике Зинаида Гиппиус, и поразительно, что к точно таким же мыслям приходил и сам Пришвин, когда подводил итог своей истории любви: «Если я оправдаю ее, то тем самым и себя оправдаю. Как много в этом смысла – оправдать! Положу все на это – и Лялю свою оправдаю»; «Наша встреча дана нам в оправдание прошлого».

Совпадение во взглядах с Мережковским и Гиппиус не исчерпывалось отношением к традиционной Церкви, но странным образом отозвалось и на политических или, лучше сказать, внешнеполитических воззрениях писателя. Странная логика толкала Пришвина в 1940 году в оправдание государственного насилия, в том числе немецкого фашизма.

То, что мы знаем о фашизме сегодня, не равно тому, что знали о нем люди во второй половине 30-х годов, и когда Пришвин писал о том, что в спорах с Разумником он «как взнуданный стоял за Германию», а «Р. за французов, потому что они против нас („хуже нас никого нет“»)», это разногласие не выходило за рамки обычных интеллигентских кухонных споров. Тут любопытно иное: пройдет всего несколько лет, и Иванов-Разумник уйдет, пусть вынужденно, к немцам и будет печататься в профашистской газете, а Пришвин вспомнит немецкий язык и выступит с антифашистской речью по советскому радио для заграницы. Но это будет потом, а пока настроения Пришвина были совсем иными.

«Несоветские элементы все за англичан, то есть за демократию. Как странно выходит, что кто за Германию, тот и за коммунизм и за отечество и, конечно, верит в перемену к лучшему от их

объединенной победы. (...) Меня же при всем сознании легкомыслия наших споров, почему тянет к Германии, и я чувствую даже, как от глупости своей у меня шевелятся уши.<sup>[1074]</sup> И все-таки радуюсь ее (то есть Германии. – А. В.) победам и даже радуюсь, что СССР теперь вступает в границы старой России. (...) И если самому добраться до своего окончательного и неразложимого мотива, то это будет варварское сочувствие здоровой крови, победе и т. п. и еще врожденная неприязнь к упадничеству, как пассивному (обывательскому), так и интеллигентскому (в смысле сектантской претензии на трон). Я не люблю именно эту упадническую претензию. Когда из народничества выпала скорбь о несчастных (о мужике), то оно превратилось в эсерство, то есть вышло из сферы моральной и вошло в политическую аморальную сферу.

Возможно, мое «за Германию» есть мое отрицание нашей революционной интеллигенции (претенденты на трон)».

Все это было и понятно, и печально одновременно, потому что не одного Пришвина касалось, а значительной части консервативной, национальной мысли. Можно вспомнить и Гамсуна, приветствовавшего арийскую идею, и иных из русских эмигрантов, прямо поддерживавших Гитлера...

«Кто не верит в это, что Кащей можно убить, тот стоит за Англию, кто верит – стоит за Германию и за СССР.

Во всем мире наступает эпоха последнего изживания идей революции и восстановления идеи государственности. Идеи революции, как паразитирующие растения лианы, опутали когда-то здоровый конституционный индивидуализм, и так создалась демократия. Вот это теперь и рушится. Начинается всемирная реакция под началом Германии».

Все это не было окончательным разрешением реальной пришвинской любви и его философских и религиозных исканий. Михаила Михайловича и Валерию Дмитриевну ждала сложная, внутренне богатая и драматическая, долгая история.

А пока в квартире на одном из верхних этажей дома в Лаврушинском переулке продолжалась обыденная писательская жизнь, только теперь гораздо лучше устроенная, чем прежде («Пришел А. М. Коноплянецв и заметил, что впервые видит уход за мной»<sup>[1075]</sup>), вместо Аксюши была нанята новая домработница, М. В. Рыбина, тоже религиозная старая девушка, только уже совсем пожилая («Тонкая, белокурая, с фиалковыми глазами на удлинённом худом лице, она всегда улыбалась, если некому было, то самой себе, и не допускала и ни в чем никогда сомнений в худшую сторону», – вспоминала Валерия Дмитриевна; «Марья Васильевна, девушка в 57 лет, определилась как счастливая птица: она не знает времени, не считается с людьми, со своими силами, возможностями, долгом»; «Наша Марья Васильевна патологический тип, но только тем она и патологический, что тип древнерусский попал оттуда сюда, в быстрое точное время, и не может с ним справиться», – отзывался о ней Пришвин<sup>[1076]</sup>).

Несколько раз Пришвину казалось, что Валерия Дмитриевна забеременела, и он сам не знал, радоваться этому или нет («...она ночью с упреком спросила меня: „Если мужчина любит женщину, то он хочет иметь от нее ребенка, а ты как будто не хочешь. Почему ты не хочешь?“); зимой Пришвины ездили в Малеевку, а ранней весной Михаил Михайлович по командировке от редакции „Красной звезды“ посетил Весьегонское военно-охотничье хозяйство; „Новый мир“ сократил и без особой радости стал печатать в 9–10 номерах „Фацелию“, написанную весной 1940 года, и Пришвин

был недоволен тем, что жена не сумела новую вещь отстоять. Однако в ноябрьском номере журнала вместо продолжения „Лесной капли“, куда входила и „Фацелия“, была напечатана грубая и бессмысленная, дурно пахнувшая статья С. Мстиславского (полное убожество по сравнению даже с рапповской критикой 1930 года), где много кому из писателей попало, а Пришвин обвинялся даже не в аполитичности, эпигонстве и бегстве в природу, как прежде, а в откровенно враждебном мировоззрении: „Не пришвинским лозунгом – „Лови мгновение, как дитя, и будешь счастлив“ – должны мы напутствовать детей“.

Случись это году в 1937-м или 1938-м, Михаилу Михайловичу пришлось бы совсем несладко, теперь же он написал гневное письмо своему благодетелю Ставскому: «Предупреждаю Вас, что борьба за „Лесную каплю“, „Жень-шень“

и т. п. для меня есть такая же борьба за родину, как и для вас, военного, борьба за ту же родину на фронте... Я очень боюсь, что литераторы... умышленно не хотят понимать, что за моими цветочками и зверушками очень прозрачно виден человек нашей родины, что борьбу с ними мне еще предстоит вести упорную... Я это подозревал еще во время диктатуры РАППа, когда вы мне начали оказывать дружескую поддержку и когда я, именно обороняясь, написал «Женьшень». И вот почему нынешняя Ваша недооценка моей «Фацелии» и «Лесной капли» не могут ни в коем случае отнять уважение к Вам, доказавшему не словом, а физической кровью своей любовь к родине...»

Однако Валерии Дмитриевне прощал все: «У Л. нет малейшего интереса к жизненной игре. Пробовал совершенствовать ее в писании дневника – не принимает; фотографировать – нет; ездить на велосипеде научилась, но бесстрастно; автомобиль ненавидит; сидит над рукописями только ради меня;

политикой вовсе не интересуется. Единственный талант у нее – это любовь».<sup>[1077]</sup> Но заключил свою книгу об этой любви такими словами: «Наша встреча была Страшным Судом ее личности». В известном смысле и его тоже...

А мир между тем все больше и больше охватывала война, которую Пришвин, подобно революции, был склонен рассматривать в качестве Страшного суда над народами. «Первое было, это пришло ясное сознание войны как суда народа», – записал он 22 июня 1941 года, а позднее добавил: «Дни Суда всего нашего народа, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас».

## Глава XXVIII

### ВОЙНА

Диву даешься, сколько может вместить в себя одна человеческая судьба! Однако боюсь, как бы не устал, не заскучал читатель, разбираясь в хитросплетениях жизни человека, который сам называл себя не то простаком, не то хитрецом, играющим в простоту. Война обесмыслила эти игры и прояснила новый пришвинский лик, разбив все его былые представления о «великой шахматной доске», на которой расположились фигуры различных государств.

Она застала Пришвиных под Старой Рузой, где, недалеко от полюбившейся им Малеевки, супруги купили домик. Однако пожить в этом доме им суждено не было: война уничтожила его. Фадеев, к которому пришел Пришвин на прием ровно месяц спустя после начала войны, предлагал писателю уехать в эвакуацию в Нальчик вместе с заслуженными пожилыми людьми (Нестеровым, Москвиным, Качаловым), но Михаил Михайлович проявил неизменно-независимый характер и вместе с Валерией Дмитриевной отправился в свое возлюбленное Берендеево царство под Переславль-Залесский: сначала в деревню Заозерье, но та оказалась слишком далеко расположенной от магистральной дороги, и Пришвин, которого еще в 30-е годы стало общим местом упрекать в равнодушии к общественным делам, перебрался в менее живописную, изуродованную советскими временами деревню Усолье, которая когда-то была очень красива, а теперь в ней «был отвратительный хаос: люди вырубили прекрасный лес у реки, и лесная речка, такая раньше грациозная в своих излучинах, стала распутной и наглой».

«Мы поселились в деревне Усолье, расположенной в двадцати километрах от этой дороги и соединенной с нею ухабистым и вязким проселком, – вспоминала позднее Валерия Дмитриевна. – Здесь Михаил Михайлович не раз уже жывал и в 20-х и в 30-х годах. Здесь он охотился, здесь боролся с помощью газетных корреспонденций за охрану уничтожаемого торфоразработками леса. „Я приехал в Усолье, где написанное мною в газетах в защиту леса люди еще помнят“, – отмечает он в Дневнике.

Эта разнообразная, дикая природа и было то Берендеево царство, созданное «среди болот и простого народа» и описанное им в первой его после революции новой книге «Родники Берендея».

«Мы устроились на окраине села в небольшом бревенчатом частном доме, сняв половину с двумя комнатами. Их объединяла старинная голландская печь, в которой я готовила еду и даже ухитрялась печь хлеб. За домом сразу же начинался огромный хвойный лес с болотами и сосновыми сухими гривами, лес грибной, ягодный, богатый зверем и птицей. С другой стороны протекала неширокая тинистая и рыбная речка Векса. За рекой разросся рабочий поселок торфопредприятия, описанный некогда Пришвиным, контора и жилые бараки. Там шли разработки громадных торфяных залежей. Торфопредприятие так и называлось в народе „болото“, разумелось под этим словом и все население, в основном „сезонное“, часто сменявшееся, не получившее еще оседлости, легко нашедшее себе здесь временный заработок и кров».

Это место имело для Пришвина очень важное значение. Может быть, не менее важное, чем Край непуганых птиц в прошлом или деревня Дунино в будущем.

«Берендеево царство – это реальный мир человека, весь мир, вся вселенная, как мы с тобой. Это мир людей



равных, который носит в себе, в своей сокровенности каждый мобилизованный воин, несмотря на то, что он убивает другого. Это мир бедного Евгения, который бросил Медному всаднику сокровенное „мы“... Это мир поэзии, ожидающей себе защиты и оправдания временем».

Выше я уже говорил о том, что в сороковом году Пришвин в известном смысле изменил не столько бывшей жене и их общему трудному прошлому, тут-то измены никакой не было и не могло быть, ибо очень давно не было и любви, но именно этому волшебному и реальному Берендееву царству с его суровыми житейскими заповедями. Вот почему, привезя в эти края Валерию Дмитриевну, писатель совершал важное символическое действие. То было, пользуясь пришвинскими же словами, возвращение блудного сына к Дому, к одному из важнейших истоков и топонимов его творчества. В Усолье судьба писателя развивалась именно по тому сценарию, который предполагала его жена: они должны были жизнью оправдать любовь, и не случайно Пришвин назвал Усолье «пустыней», подразумевая под этим «жизнь личности в противоположность жизни светской».

«И теперь после новой исторической катастрофы, через двадцать лет я пришел сюда с твердой решимостью в третий раз в жизни начать что-то новое», – признавал писатель и, судя и по Дневнику, и по собственно художественной прозе, попытка эта оказалась более чем удавшейся.

«Мало-помалу пришел в себя и понял, как неразумно я вел себя в Москве, впитывая злобу времени. Пора с этой ориентировкой в политике совершенно покончить. Существует целый великий мир независимых ценностей, которые мой долг открывать людям всеми доступными мне средствами. Не нужно для этого куда-то ездить, надо их принимать к сердцу, жить ими и

действовать. Надо расстаться с червивой средой и дальше расти. Пусть зима скоро наступит, около зимы, как теперь глубокой осенью, бывает чистое время».

Собственно, этим чистым временем оказалась для Пришвина вся война или, по меньшей мере, усольская ссылка. Именно там, в Усолье, Пришвин написал о Валерии Дмитриевне и своей к ней любви строки, которые стоили, пожалуй, всей любовной повести «Мы с тобой» и которые вообще доказывают невероятную глубину в постижении Пришвиным сущностей и умение эту глубину удивительно поэтически передать.

«Всматриваюсь в образ Ляли и понимаю ее как соблазвившую меня Еву, и все грехопадение и сама Ева представляются мне не такими, как это воспринято в Библии. Рай, мне представляется, был тем „рай“, что в нем времени совсем не было, и Адам был благодаря этому существом бессмертным. Возможно, что он тоже, как и мы теперь, умирал и, как мы, возрождался, но он жил вне сознания времени, как живет теперь птичка и любое животное. Быть может, в раю случалось, что во время купания какой-нибудь райский крокодил хватал Адама за ногу и увлекал в недра райских вод, или тигр уносил его в тропики, как котенка. Быть может, рай оглашался на миг пронзительным криком. Но что из этого? Щебечет же радостно ласточка у нас на сучке в то время, как другая пищит в когтях ястреба. Рай был именно тем и рай, что в нем не было страшного нам сознания времени или смерти. Там было в раю точно так же, как было в природе у меня до встречи моей с Лялей, я жил как все в природе, не обращая на смерть никакого внимания, каждое радостное мгновение в природе принималось мною как вечность. И пусть это мгновение обрывалось криком уносимого крокодилом или тигром какого-нибудь Адама – все равно, после крика наступало вечное мгновение и плюсом соединялось с другим, и так плюс на плюс, одна

вечность на другую, и это-то и было райское состояние первого человека, не имевшего сознания времени. Я теперь очень хорошо понимаю состав яблока, поднесенного мне от древа познания добра и зла Лялей: змеиная ядовитость его состояла в том, что вкусивший этого яда начинал тяготиться покоем райского бытия, ему становилось скучно пребывать не только со своими сожителями в раю, но и с тем веществом, в которое заключен его пришедший от яда в движение Божественный Дух. В этом состоянии родилось в нем сознание времени и смерти, которую рано ли, поздно ли он должен преодолеть. Я так понимаю праматерь нашу Еву по опыту собственного грехопадения: Ляля извлекла меня из райского пребывания основной чертой своего духовного существа: подвижностью духа и отвращением к пребыванию, к бытию. Все ее столкновения с людьми именно происходят от необходимости равняться с ними в медленном движении. И всех женихов своих и мужей она не бросала, но они сами просто не поспевали за ней. Я же, вкусив яду, с такой стремительностью понесся из рая, что не отстаю. Мы с ней понесли с такой скоростью, что мне думается, обогнали все то время, в котором двигался и движется родовой строй Ветхого завета. Он и сейчас идет на наших глазах, движется вниз, как бесконечный поток повозок Израиля в пустыне, но только по их медленному ходу мы чувствуем еще быстроту нашего полета, мы еще сравниваем их и себя: мы еще во времени. Но рано ли, поздно ли – мы должны их обогнать, и тогда времени в нашем полете не будет, как все равно исчезает ручей, когда он приходит в океан.

И когда я теперь в этом страшном полете и, может быть, самом грешном, всматриваюсь в черты древней матери, породившей в мире движение и время, я вижу в новом свете лицо моей подруги: она давно мне мать;

эта же Ева, соблазнившая меня когда-то яблоком познания добра и зла, теперь уже не жена-соблазнительница, а мать, родившая меня на борьбу со временем и смертью.

Я смотрю на нее, больную, на подушке, и знаю, физически чувствую, что она не умрет. И пусть даже ее и похоронят, я знаю, для меня это не будет та страшная смерть, перед которой трепещет все живое. Для меня эта смерть будет последней повозкой бесконечной цепи повозок Израиля, медленно движущейся в пустыне в страну обетованную. Эта смерть будет моим окончательным освобождением, – после того времени больше не будет».

Я не решусь комментировать эти строки. Опровергают они или подтверждают мои предположения о «прелестной» сущности пришвинской любви, они все равно прекрасны, печальны и глубоки. Читая их, невозможно не поверить в реальность существования тех самых неоскорбляемых родников человеческой души, из которых пробивается творческая энергия писателя. И библейские образы здесь совсем не случайны. Пришвин вообще много читал в это время. Достоевского, Тютчева, но более всего – Библию, которую они нашли с Валерией Дмитриевной в старом деревянном сарае, и на шестьдесят девятом году жизни Пришвин впервые прочел ее целиком. Это чтение сильно повлияло на его творчество и ход мыслей, и он сам видел, что теперь, в дни величайших народных бедствий, в нем открывается что-то новое:

«Мне кажется, что я сейчас нахожусь накануне того же выхода из нравственного заключения, которым было мне путешествие в край непуганых птиц. С таким же чувством благоговения, как тогда в природу, я теперь направляюсь к человеку, и первый отрезок жизни возьму его в себя и к этому ничтожному серпику жизни

приставлю дополнительный – всего человека. Так и начну свой новый круг жизни».

Война вела Пришвина к переоценке всей его жизни, в особенности советского периода, и вспоминая, какую обиду испытал писатель, когда его обошли и дали не тот орден в 1939 году, читаешь в Дневнике сорок второго года:

«Часто мне кажется, будто в составе власти, определявшей положение писателя в Союзе, находились люди, понимавшие меня лучше, чем я сам. Мне кажется, что, например, кто-то не пустил меня к Сталину, когда я пришел к нему в своем неразумии (и рад бы прокомментировать, да нигде с упоминанием этого похода не сталкивался. – А. В.), и так много-много всего наберется. Я действительно не был достойным человеком, каким меня делали. Еще мне кажется всегда, что деятели советского общества силою вещей вынуждены говорить и делать совсем не то, что понимают они про себя разумным и нравственным, и что это делает их всех между собой врагами, стерегущими падение друг друга. И вот в этом необходимом состоянии им нужно было отводить свои души в тайную сторону любви, правды, милосердия. Вот эта потребность их и берегла меня, и я просидел все 25 лет совласти, как «отрок в печи огненной»».

Пришвинская душа, как, видимо, и всякая человеческая душа, и гения и не-гения, оказалась, несмотря на банальность этого сравнения, похожей на речку, которую можно и изуродовать, вроде той, что текла возле Усолья, и загрязнить страстями и наполнить обидами, но которая обладает способностью со временем, в своем течении самоочищаться. Вот это самоочищение и происходило с писателем во время войны. Сказалось ли здесь оторванность от литературной среды, от суетных мыслей, чтение духовной литературы, более глубокое и ровное общение

с Валерией Дмитриевной, но в годы войны мы сталкиваемся с совершенно иным, просветленным и смиренным и не ищущим счастья человеком:

«Падает снег на мою душу, и я молюсь об одном, чтобы дожидаться весны и прихода мысли в понимание пережитого конца в оправдание погибших и нас уцелевших». [\[1078\]](#)

Сознание Пришвина, и без того глубокое, вертикальное, охватывающее события в их развитии, с корнями и последствиями, становилось в эти годы все более историчным и метафизическим, в том числе и в отношении такого важного и не раз менявшегося на протяжении его творческого пути понятия, как народ: «Только теперь начинаю понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а сокровенный в нас самих, подземный, закрытый тяжелыми пластами земли огонь, и что не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о человеке, продолжающем начатое без него творчество мира. Только и чувствуя, и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться».

Все глубже он всматривался в русский характер и суть именно русского, а не советского человека: «Тем-то и силен русский человек, что он не резко очерчен: глядеть прямо – человек как человек, а по краям расплывается так, что и не поймешь, где именно кончается этот и начинается другой человек, и в этом вся сила: один выбыл, соседи сливаются, и опять сила...»

Более того, размышляя о соотношении русского и советского в характере своих соотечественников, Пришвин написал: «У людей, соединенных между собой общим языком, обычаями, культом, историей, ну вот, скажем, хотя бы людей русских, есть в душе какой-то

более или менее подходящий образ примерного своего человека (...) Этот образ, конечно, меняется в ходе русской истории, допетровский образ русского человека, наверно, не такой, какой создан в народе после него, точно так же, как кустарно-земледельческий образ не совсем такой, как образ советского времени.

Но если существует нация, народ, то в глубине его существует и непоколебимый образ, что-то остается и связывает эпохи переживаний, как все равно у дна морского не шевелится вода и в бурю. Вот об этом-то человеке я и говорю в «Мирской чаше» как о читателе десяти русских мудрецов».

Так война отделила в сознании писателя мысли случайные от сокровенных, и то, что осталось, укрепилось в нем, проверенное временем и судом войны. Но оставались мысли для Пришвина неизменные: «Занимала меня мысль о том, что будущее, хотя бы этот желанный будущий мир, рождается в настоящем, и его создают не одни слепцы с винтовкой в руке, жулики, дипломаты, политики и т. п. В сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтобы творить будущий мир».

В 1943 году Пришвину исполнилось семьдесят лет, и этот год был отмечен несколькими радостными для него событиями. Неожиданно вышла замуж замужеванная перед войной «Лесная капель», а к юбилею писатель был награжден орденом Красного Знамени.

Юбилейный вечер состоялся не в феврале, а 3 мая, на нем присутствовали, по свидетельству В. Д. Пришвиной, А. Твардовский, С. Михалков, С. Маршак, А. Фадеев, К. Федин, К. Тренев, был также Н. Семашко, от ЦК партии А. М. Еголин, Л. Сейфуллина и Н. Асеев.

И все же признание заслуг Пришвина перед советской культурой не означало приятия со стороны

государства всего, что он писал. Скорее наоборот, чем дальше, тем труднее пробивались, а по большей части не пробивались к читателю его новые вещи, и в первую очередь это относится ко второму после «Мирской чаши» обращению Пришвина к высшим руководителям страны за право напечататься и ко второму поражению в прямом диалоге с Кремлем.

По странному совпадению речь шла о повести, которую Пришвин одно время так и хотел назвать «Мирская чаша», по-видимому, старую «Мирскую чашу», посвященную 1919 году, навсегда похоронив, но позднее назвал иначе – «Повесть нашего времени», сменив по ходу работы над новым произведением несколько названий («Победа», «Ключ правды», «Странник»).

Эта повесть не просто одно из самых неизвестных и самых пронзительных произведений писателя, но своего рода реакция выздоравливающего организма на рецидивы серебряновекового модерна, своеобразное покаяние, и главное достоинство ее – удивительное смирение. Перефразируя известное высказывание Достоевского, – это и есть та книга, которой Пришвин мог бы оправдаться перед Богом (сам он, правда, называл в этом качестве иную вещь: «На Большом Суде, однако, я в оправдание свое могу показать „Женьшень“: в нем содержится моя победа»).

«Повесть нашего времени» – странная книга. В ней уходят на фронт солдаты, но не погибают, а чудесным образом спасаются и возвращаются домой; в ней женщины, получив похоронки, легко выходят снова замуж, а потом к ним возвращаются прежние мужья; бытовое страдание, тяжкий труд, голод – все это приглушено здесь, и можно было бы сказать, что описание военной деревни так же приблизительно и условно, как описание лагеря в «Осударевой дороге», но удивительную тайну прячет в себе искусство: то, что



в иных случаях оборачивается ложью, пусть даже и назовут это притчей или сказкой, в других звучит высшей правдой.

Быть может, секрет этой вещи в том, что здесь впервые Пришвин выбрал в роли рассказчика не себя, не всезнающего и мудрого художника, которого некий условный бог наделил особенными правами, но самого обычного человека («Мне же... хотелось самому сделаться писателем, но не для славы, а вот как Нестор был – летописцем, соединяющим поколения людей», – признается рассказчик), и, хотя не до конца эту ноту выдержал, новое измерение осветило военную повесть удивительным светом.

«Не из книг, друзья мои, беру слова, а как голыши собираю с дороги и точку их собственным опытом жизни. И если мне скажут теперь, что неверно о ком-нибудь высказываю, то я беру судью своего за рукав и привожу к тому, о ком говорил: „Вот он“. А если это вещь, то укажу и на вещь: „Вот она лежит“».

Сказать таких слов о той же «Осударевой дороге» он бы не смог, а вот про эту вещь – да, здесь он попал в самую точку и в одном месте, как бы осекая, смиря себя, что прежде как художнику уж точно было ему неведомо (художник может все!), почти по-платоновски заключил свои рассуждения: «Лучше открыто скажу и прямо, что не знаю, и о самом главном молчу: мое молчание есть моя правда», – да и вообще сама тема повести – «возвращение» человека домой после войны, встреча с людьми, которые в тылу прожили свой, очень тяжкий отрезок жизни, – все это заставляет вспомнить рассказ Платонова «Возвращение», и, читая неброскую, никак не прозвучавшую пришвинскую повесть, сравнивая с мучительными лесами к роману «Осударева дорога» и самим романом, с лихорадочной повестью «Мы с тобой», удивляешься, как мог один и тот же человек написать такие разные книги.

В этой повести все тоже начиналось со строительства дома и, более того, теперь из условных, абстрактных рассуждений о Китеже и Дриандии действие перенесено в практическую плоскость, в выход из скученности и тесноты советской жизни.

«Есть предел тесноте и обидам, когда нравственным долгом ставит себе человек дать обидчику сдачи и разломать тесноту».

В связи с этой вещью Пришвин записал:

«Наше творчество не противно только в том случае, если сам себя не считаешь гением (...), а зная, какой это мучительный труд, ставишь себя наравне с теми, кто добросовестно выполняет свой жизненный долг, смотря к чему кто приставлен: один воспитывает детей, другой пишет поэмы».

Эта повесть откровенно религиозна и даже церковна, в ней Пришвин не столько предъявляет счет, сколько кается, примиряется с Церковью, с церковными людьми, примиряется с русским народом, наконец, и, оказывается, что «неколебимый ни войнами, ни революциями» старик Гаврила Алексеевич Староверов, еще вчера мертвый в повести «Мы с тобой», становится даже против воли убирающего его с исторической сцены и осуждающего за неподвижность автора (Староверов – единственный умирающий в повести персонаж) выразителем подлинного духовного начала. Сцена переписи населения из «Повести нашего времени» достойна встать в ряд лучших образцов русской прозы минувшего столетия:

«Вспоминается мне то время, когда нас всех застала перепись в доме Гаврилы Алексеевича, в саду его. Хозяин только что нарезал меду, и все уселись под яблонями за стол пить чай с медом. Не помню, по какому случаю Гаврила сказал:

– В наших переславских властях вечности нет.

Ах, вот и вспомнил: разговор о «вечности» начался от Мирона Ивановича – он спросил, где бы теперь ему для своего улья вощину купить.

И тут оказалось, что в том доме, где продавали вощину, теперь сберкасса и что сберкасса эта за год уже шесть раз переезжала. Услыхав, что касса шесть раз переехала и опять выгнала общество пчеловодства, Гаврила Алексеевич тут-то и высказал свою твердую мысль, что у переславских властей вечности нет. Тогда-то озорной мальчишка Алешка и выпалил:

– Ни в чем вечности нет!

– Как ни в чем, – вспылил Гаврила, – а Бог?

И только-только Гаврила стал краснеть, чтобы разразиться гневом праведным и схватить озорника за ухо, вдруг к нам в сад и входят девушки-переписчицы, и все, кого они захватили тут в саду, немедленно должны были заполнить анкеты всесоюзной переписи населения.

Тогда-то вот Алеша, взяв у девушки свой лист, покосился злодейски на Гаврилу и в графе «исповедание» написал: неверующий.

«На-ка вот, выкуси!» – такое было у мальчишки выражение, когда он передавал свой лист Гавриле. И тогда роли переменились: старик только было хотел схватить мальчишку за ухо, и вдруг тот как бы сам ухватил его.

Сердце мое стеснилось от жалости: лицо старика в серебряной бороде, нежное, с легким румянцем, как у ребенка, всегда ясное, спокойное, вдруг стало белым как снег, исказилось страданием.

– Алеша, – сказал он, вставая, голосом притворно ласковым, – возьми с собой лист и зайди на минутку в дом.

Вскоре, смотрим, оба спускаются назад с лесенки. Гаврила радостный, а у Алеши глаза опущены и по щекам размазаны слезы. Спокойно собрав все наши

листы, Гаврила отдал их девушкам-переписчицам, и мы пили чай и об этом ничего между собой не говорили.

Только уже после смерти Гаврилы однажды у Алеши развязался язык, и мне одному с глазу на глаз он признался: Гаврила заставил его вычеркнуть из анкеты слово «неверующий». И как заставил! Когда они пришли в дом, старик посадил Алешу за стол, положил перед ним анкету, сам же опустился перед Алешей – озорником, мальчиком – на колени и с рыданиями умолял его:

– Алешенька, не губи свою душу! Нельзя, милый мой, написать о себе, что неверующий! От этого потом уже не откажешься, и это уже навсегда, на вечность, пойдет. На коленях тебя прошу, зачеркни!

Страшна вечность была Алеше, но страшнее вечности был ему этот седой старик перед ним на коленях.

И он зачеркнул».

Пришвин написал уже не просто об искании Бога и богоборчестве, но об обретении Бога, о русских мальчиках, идущих разными путями правды и истины в жизнь («Ее (повести. – А. В.) гражданский долг был противопоставить достойного гражданина православной культуры достойному гражданину революционной культуры как богоборцу»); о любви, о всемирном дьяволе в образе войны, о сиротской зиме тысяча девятьсот сорок четвертого года, о русских женщинах, выносящих всю тяжесть войны; она, по большому счету, очень сыра, незавершена, непрописана, но в этой необработанности, в этой сырости таятся удивительное обаяние и глубочайший смысл.

Диалогически обращенная не только к Гоголю и Достоевскому, но и к «подзаборной молитве» 1918 года «Повесть нашего времени» имела несколько вариантов концовок, поразному раскрывающих ее смысл.

Разрешение повести в первоначальном варианте состояло в том, что Пришвин идею страшной мести заменял идеей возмездия и отдавал ее своему центральному персонажу, тому самому борцу с вечностью, коммунисту Алексею, который три раза бежал из плена и «душа его свернулась, воображение и память оставили его совершенно», так что у глядящего на него героя-рассказчика вырывается признание:

«Только теперь, когда меня самого, душу мою при виде такого человека срывает с места, я наконец начинаю понимать в сокровенной сущности своей огненные слова „не мир, но меч“, – и добродетель прощения и забвения оставляю за собой, как пережиток детства».

После всего пережитого у измученного героя остается один долг:

«Связать времена возмездием и правдой». И именно ему, потому что «нужно, чтобы праведный человек не простил».

Впрочем, насколько Алексей именно праведник, сказать трудно, скорее уж он сливается с образом всадника-Мстителя с мертвыми очами, ему по-прежнему «Бог ни при чем», ему «времени нет, чтобы заниматься этими вопросами или, как раньше бывало, Бога искать».

«Минуточки времени теперь не истрочу: довольно у нас на Руси Бога искали, а я знаю только одно, что за правду иду, делать ее иду, а Бог, если он есть, пусть сам найдет меня, у него время неслитанное», – говорит он на прощание рассказчику и скрывается с его глаз как новый блудный сын.

И в тени молодого и страстного коммуниста остается его друг и оппонент в философских спорах садовник Иван Гаврилович Староверов, который, придя с войны, первым делом подошел к церкви, стал на колени и начал молиться. Этот персонаж оказался менее ярким лишь потому, что он законченный,

гармоничный образ – он уже дома («Я ведь домой пришел», – говорит он сам, стоя на Петров день у врат церкви, и оттуда выходит после поздней обедни ему навстречу жена), а вот второму герою, «враждующему с вечностью», в чьих больших серых глазах еще в детские его годы сам не понимал автор, чего больше – добра или зла,<sup>[1079]</sup> который заспорил с Богом не из-за волюшки и озорства, а потому что так надо, этот дом еще предстоит долго-долго искать и неизвестно, найдет ли он его.

Позднее Пришвин написал в Дневнике: «"Повесть нашего времени" тем неправильна, что в ней показано не наше время, а уже прошлое: смысл нашего времени состоит в поисках нравственного оправдания жизни, а не возмездия. Скорее всего это я только один, запоздалый гусь (...) хочу понять теперь силу возмездия, а на деле сила эта исчерпала себя».

Этой идее и соответствовал и иной вариант окончания повести, который обнаружила Валерия Дмитриевна после смерти писателя:

«Теперь старик Рассказчик смотрит вслед уходящему молодому другу своему и шепчет уже по-новому: "Дай тебе, Господи, Алешенька, мой любимый сыночек, снять с себя эту тяжесть свою: „Все понять, не забыть и не простить“».

И именно в этой повести получила подтверждение идея о высоком призвании русской литературы беречь народ и заступаться за народ, о чем Пришвин и сказал Калинину во время их личной встречи, а позднее сформулировал свое понимание в Дневнике: «Русские цари были заняты завоеваниями, расширением границ русской земли. Им некогда было думать о самом человеке. Русская литература взяла на себя это дело: напоминать о человеке. И через это стала великой литературой. Русский писатель русской истории

царского времени – это заступник за униженных и оскорбленных».

Пришвин тоже видел себя таким заступником, и то, что не вышло в «Осударевой дороге», могло бы прозвучать в «Повести нашего времени», будь она опубликована в то самое время, когда создавалась.

Удивительно не то, что издательская судьба этого произведения была несчастливой, удивительно, что Пришвину ее вообще простили и не стали заводить на него никакого дела. На что надеялся Михаил Михайлович, когда в апреле 1944 года сдал новую вещь в редакцию «Знамени», пусть даже и сопроводив ее письмом, в котором объяснял значение религиозных символов и главной идеей новой вещи назвал идею «не страданья, а состраданья, как источника любви и возмездия», «чтобы против ожесточения нравов, порождаемого войной, выставить творчески организующую силу любви»?<sup>[1080]</sup> Как мог он через неделю после этого идти в Кремль к Калинин ( «Собрались как на пожар, прибыли ровно в 2.20 и пробыли у Калинина 40 минут»), рассчитывая на благосклонный приговор?<sup>[1081]</sup>

Почему месяц спустя, когда состоялась вторая встреча в Кремле, записал («Ни малейшего волнения не чувствую за судьбу повести»), хотя волноваться можно было и за собственную судьбу, наконец, почему всесоюзный староста отказал в публикации в довольно мягкой форме? Вопросов сколько угодно, а ответ один:

«Это христианская повесть, и вот почему она встретила такой нехороший прием». И тут уж точно Бог был с ним!

Еще одна книга, над которой работал Пришвин в эти военные годы, была «Повесть о ленинградских детях» – цикл написанных на документальной основе и посвященных привезенным на Ботик детям из

блокадного Ленинграда. Вполне советские, проходные рассказы имели для писателя важный второй план. Он происходил, как записал в своем Дневнике Пришвин, из вопроса не то из Четырех миней, не то из сна, рассказанного женой:

«Вопрос этот был человека, попавшего в рай и пожелавшего видеть Божью Матерь. Ангелы будто ответили ему, что Божьей Матери сейчас в раю нет, что она пошла на землю помочь оставшимся без матерей бедным детям. Так вот, об этом хождении Богородицы и будет написана моя книга, в которой дети несчастные будут детьми Ленинграда, а Богородица сделается просто мамой, и вся книга, может быть, и назовется коротко и выразительно: Мама».

Возможно, само понятие Прекрасной Мамы, именно так – «Рассказы о Прекрасной Маме» – хотел назвать писатель этот цикл, было чуть претенциозно, и все же движение от декадентской Прекрасной Дамы, от хлыстовской богородицы в сторону русской Богоматери говорило само за себя.

Судьба этих очень трогательных и проникновенных рассказов тоже была непростой, и лучше всего свидетельствуют об их прохождении сквозь редакционное сито лаконичные записи из Дневника:

26. 12. 1943. «"Новый мир", приняв серию моих новых рассказов для напечатания, внезапно отверг их без всякого объяснения причин».

29. 01. 1944. «Со всех сторон потянулись ко мне руки журналов, и „Новый мир“ берет обратно отвергнутые было „Рассказы о прекрасной маме“».

26. 04. 1944. «Из рассказов о детях в „Новом мире“ все-таки выбросили два основных рассказа.

Очень возможно, что я нахожусь в положении той бабы, которая вместо двери «Входа» попала в дверь «Выхода» и решила одна пробиться через встречную толпу».



Однако детскую тему Пришвин все равно не оставил.

## Глава ХХІХ

# ВИСЕЛЬНАЯ ДОРОГА

В конце войны, потерпев неудачу с еще одним рассказом («Дунули на мой огонек»), неунывающий Пришвин решил принять участие в объявленном Детгизом конкурсе на лучшую книгу для детей.

Так, благодаря стечению обстоятельств, была написана «Кладовая солнца» – самая известная, самая прекрасная и совершенная пришвинская повесть, названная им «сказкой-былью», по сравнению с которой тускнеет даже другой кристалл писателя, его возлюбленный «Жень-шень», как меркнет – да простит меня читатель за банальное сравнение – экзотическая красота субтропиков перед нашей средней полосой.

Объяснить, в чем обаяние этой вещи, трудно, что и есть признак истинно великого произведения. Может быть, в очень точно найденном тоне, ритме фразы, начиная с самой первой («В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей»), и этот ритм, выдержанный на протяжении всего текста оказался очень важен («Сказку я понимаю в широком смысле слова как явление ритма, потому что сюжет сказки с этой точки зрения есть не что иное, как трансформация ритма»), в прекрасно очерченных детских характерах, за которыми угадываются вечные типы мужчины и женщины, в удивительной лаконичности, той самой, не свойственной Пришвину скупости, экономности изобразительных средств, о чем говорил Ф. Чертоков, стройности, легкости и некой завершенности, как в классицизме, – единстве места и времени, ведь действие повести, не считая предыстории героев, происходит в течение одного дня и в одном месте.

А вернее всего, сплав всех этих черт и при этом удивительное чувство меры, гармонии, отсутствие каких бы то ни было перекосов в ту или иную сторону (как в «Женьшене» – в сторону оленеводства) привели к тому, что «Кладовая солнца» и по сей день читается и, сколько будет существовать русский язык, будет читаться на одном дыхании и детьми, и взрослыми (что понимал и сам ее создатель: «А „Кладовую солнца“ будут читать как новое и через сто лет»). Вот она-то уж точно была человечна, к человеку обращена, ему посвящена, в ней максимально выразилось то трудное, лишенное каких бы то ни было пасторальных, идиллических мотивов обручение человека и природы, их сотворчество, о котором позднее писал В. Кожин, говоря о наступающем времени Пришвина; она единственная в полной мере выросла из «неоскорбляемой части» души писателя и заставляла вспомнить другой шедевр русской литературы XX века, принадлежавший перу недавнего пришвинского зоила – Андрея Платонова – рассказ «Июльская гроза» с его маленькими героями – и тоже братом и сестрой.

Новая повесть была написана всего за месяц, после нее не осталось никаких лесов, черновиков и разноречивых вариантов, она легко, безо всяких усилий выросла в душе Пришвина – как награда за четырехлетний военный пост, так же легко встала на полку русской классики и заслуженно принесла ее автору первую премию на том самом конкурсе, ради которого создавалась, огорчив лишь одним серьезным цензурным вмешательством: в очень важной, программной для писателя фразе «Правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь» слово «любовь» было заменено на «справедливость».

«Пишу свой „зверский рассказ“ для детей... и крепко надеюсь, что он меня вывезет»; «Пишу во весь

дух книгу для детей», – лаконично отмечал он в Дневнике.

По ходу работы он давал ей разные названия – одно хуже другого – «Сладкая клюква», «Дружные ребята», «Друзья», «Друг человека», пока не остановился на превосходном «Кладовая солнца» (и это тоже замечательная черта пришвинского творчества: из всех возможных вариантов названий, каковых у него всегда было множество, он выбирал наилучшие), отсылавшем и к образу корней, и к образу торфяной энергии, что таится в болоте и генетически связано с нашей землей («В славянстве всегда теплился огонь неудовлетворяемой родовой силы, и наша сила теперь именно родовая, сила огня. Наша история похожа на историю торфяных накоплений в лесах»), и к родникам огня, воды, слова...

Пришвин работал в очень приподнятом настроении духа, и радость победы в войне, радость труда мешались в душе с радостью Пасхи, пришедшейся в 1945 году на май. В тесной толпе возле храма Иоанна Воина (войти внутрь возможности не было) стоял не так давно еще не признававший церковных служб и противопоставлявший им свои зеленые леса писатель, в пасхальной радости видел он корни победы: «Нет, не только одним холодным расчетом была создана победа: корни победы надо искать здесь, в этой радости сомкнутых дыханий», – и именно с этой точки зрения глядел на пройденный страной путь: «У нас в русской жизни (интеллигенции) исстари осложнился выход из личной шкуры путем уничтожения самой личности, обращения ее на рабское служение обществу. Таков путь всех наших политических сект-группировок: народовольцев, народников, эсеров, меньшевиков, большевиков. Из этого самоуничтожения родилась победа в великой войне и новое русское государство-коммуна.

Как много в прошлом люди жили, страдали, думали, и сколько чудес на земле совершилось, пока не пришло чудо из чудес и человек, униженный, заброшенный, измученный, мог так высоко подняться, чтобы воскликнуть: Христос воскрес из мертвых!»

Казалось, теперь страна выйдет на свободу, все прощено, цена уплачена, в душе Пришвина произошел некий окончательный, очистительный переворот, однако Дневник свидетельствовал о новом общественном похолодании, а заключительная часть творческого пути писателя – о новом мороке: «Так и чувствовал, после войны придет новая тревога (...) учителям приказали усилить антирелигиозную пропаганду (...) Мы теперь снова входим в будни (...) Ясно, что церковь давно пережила нынешнее положение писателей, но в рабстве своем она сохраняет Христа (...) В 4 вечера начался Пленум ССП. Слушали доклад Тихонова о современной литературе. Доклад был цинично спокойной передачей духа ЦК. В отношении религии были приведены слова Ленина о том, что заигрывание с боженькой всегда приводит к мерзости. Вообще оратор дал понять, что победа – это стена, через которую не перепрыгнешь: писать – пиши, но не дерзай писать о том, что за стеной. Но в начале революции меня вывели из круга охотничьи рассказы. Теперь выведут детские».

Только все оказалось гораздо сложнее, и силы писателя ушли в последние годы отнюдь не на детские вещи...

Этим же летом 1945 года Пришвин написал: «Моя идея всего советского времени – это преодоление всего личного в оценке современности. Душу воротит от жизни, но не оттого ли воротит ее, что жизнь не такая, как тебе лично хочется?» – и запись эта имела прямо отношение и к «Осударевой дороге», работу над которой он продолжил в 1945 году, сразу после

«Кладовой солнца», а если быть более точным, то после неудачи с «Повестью нашего времени»: «Может быть, в этот раз, наконец, возьмусь и осилю? Тема о едином человеке: всем хочется жить по-своему, а надо, как надо: всех сколотить в одного». [\[1082\]](#)

Таким образом, случайно написанная сказка-быль оказалась лишь временным явлением, отдохновением на трудном пути писателя к созданию романа, и снова топил, вводил его под воду безумный, помрачающий ум и душу замысел. Снова бился он в тисках между индивидуальным и общественным («Несколько лет я в раздумье жил между „надо“ и „хочется“, и в последнее время долго жил в оправдание „надо“. В этом направлении я и „Царя“ писал: показать „необходимость“ природы»; «"Хочется" и „надо“ (свобода воли и долг, личность и общество) – это предмет размышления всей философии, и эта „тема“ забивала каменным обломком мой поэтический путь»), но теперь, обогащенная за годы войны религиозным содержанием, мысль искала еще более философского, библейского видения «пушкинской» проблемы, щедро мешая христианство с коммунизмом:

«Бог Иова есть тот же Медный всадник, а Иов – Евгений. „Да умирится же с тобой“ возможно лишь в признании Евгением за действиями Петра высшей силы, в чувстве страха Божия», – размышлял Пришвин, по мере работы над «Осударевой дорогой» все более убеждаясь в высшей, едва ли не божественной правоте содеянного большевиками дела и беря на себя роль защищать не столько их противников или пострадавших от них людей, сколько их самих и находить оправдание большевизму как историческому и метаисторическому явлению. Это была для него, во все времена остававшегося очень искренним человеком, невероятно сложная задача: «Трудность создания „Падуна“

заключается в том, что я хочу создать „ведущую“ вещь, в которой я честно отстаиваю наш коммунизм против индивидуализма».

В этих размышлениях все дальше и дальше уходил Пришвин в сторону возвеличивания Медного Всадника в ущерб Евгению, не потому что изменился его взгляд на Пушкина или открылись какие-то новые данные об эпохе (хотя было и это: «Узнал, что Петр ехал по „Осударевой дороге“, и за ним везли виселицу (а Пушкин – „Да умирится же с тобой“ и „Красуйся, град Петров“»); «Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличивать Петра?»), но потому, что иначе невозможно было написать произведение, «отвечающее требованиям времени и требованиям к себе самому».

Он все еще пытался держаться за Пушкина («Урок: фокус вещи, главный план – чистота души Зуйка; как вообще смысл таких катастроф есть рождение новых личностей, сосредотачивающих в себе смысл событий. На Пушкина надо смотреть»), и разделивший себя между Петром и Евгением поэт казался Пришвину «очень богатым душой и мудрым», находящимся в состоянии, близком к «люби врагов своих». К открытию такого же «большого чувства» в душе стремился автор «Осударевой дороги», но что-то здесь снова, и даже больше, чем перед войной, сходилось и складывалось совсем не по-евангельски, а по-коммунистически («... бывает Большое необходимо-беспощадное, имеющее оправдание в движении духа во времени (современность) (...) Маленький не тем плох, что мал, а что, будучи сам лишь частью Большого, выдает себя за целое»).

В пришвинском «евангелии коммунизма» Евангелие терялось и отлетало под напором коммунизма, так что через некоторое время писатель подвел под своими исканиями черту, каковая окончательно удалила его от Пушкина и Гёте, с которым он русского поэта

сравнивал: «Тут и там проблема личности и общества разрешается в пользу общества, причем исключительно благодаря скачку авторов: Гёте скачет через Филемона и Бавкиду, Пушкин – через Евгения».

И вслед за этим: «Медный всадник (Надо) есть образ безличный, образ человеческой необходимости, через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Он прав в своем движении и не он будет мириться, а с ним будет мириться „стихия“ путем рождения личности».

Итак, «да умирится же с тобой и покоренная стихия» означает рождение личности. И значит, Евгений (как тоже и еще сильнее Филемон и Бавкида) является нам как вестник наступающих родовых мук. И окончательное решение этой борьбы Хочется и Надо в пользу Хочется с воскрешением Евгения и Филемона с Бавкидой есть рождение Христа, есть явление света в темной борьбе, выход свободной личности из недр необходимости.

Примирение состоит в том, что личность приносит с собой новое измерение всех ценностей, создаваемых Медным Всадником. Примирение в том, что прошлое измерение было необходимо. Примирение заключается в улыбке личности и, может быть, в осторожно, шепотом и любовно сказанных словах: «Мы говорим на разных языках». И окончательно: «Любите врагов своих». [\[1083\]](#)

Все это имело отношение не только к роману, но и к истории России в двадцатом веке и новому для писателя пониманию той катастрофы, которая произошла со страной в семнадцатом году.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне заставила Пришвина не только окончательно встать на сторону большевиков, но и признать их историческую полноту во всем объеме, отпустить им,



если угодно, исторические грехи предыдущих лет, начиная с революции и кончая репрессиями, и выдать власть имущим своего рода индульгенцию, объявив о прекращении войны мужиков и большевиков и слиянии большевиков с народом:

«После разгрома немцев, какое может быть сомнение в правоте Ленина, и наше дело, художников, взлететь над фактами и вообразить или дать образы существующего».

«Вот и пришло наконец-то равновесие политического сознания. Чувствую, что ничего-то, ничего и совсем ничего другого, как у нас теперь, и не могло быть при таком прошлом русского народа.

Русский народ победил Гитлера, сделал большевиков своим орудием в борьбе, и так большевики стали народом».

Теперь, в свете победы, Пришвин был склонен рассматривать русскую революцию, о которой оставил столько горьких строк в период ее свершения, «как заслуженное, жестокое, необходимое возмездие и вместе с тем суровую школу для грядущего возрождения России».

Последние слова записаны в редакции Валерии Дмитриевны Пришвиной, которая, защищая мужа, объясняла позицию Михаила Михайловича тем, что больше всего писатель боялся быть «односторонним», «партийным» и всегда стремился «найти некую надысторическую объективность, такую высоту, с которой можно было бы охватить весь кругозор, весь процесс совершающегося единым взглядом и оттуда уловить его смысл».

Самое горькое противоречие эпохи, каким виделось оно Пришвину в его романе («Начальная мысль была именно в оправдании насилия»; «Своей работой „Осударева дорога“ я взял на себя героический подвиг сам пойти в эти рабы, чтобы снять только с души своей

моральные противоречия: проповедовать свободу, стоя на спинах рабов»), решалось Пришвиным, по мнению его жены, в «идее, до сих пор не понятой и не принятой миром: это глубочайшая тайна христианства о силе любви к врагу, – идея всепрощения – единственная, еще не реализованная в печальной истории человечества» (...) Мировая нравственная мысль еще не возвысилась до ее понимания. В ее свете живут только отдельные личности, возвышающиеся как звезды над общим полем людей, это святые люди, преодолевшие свой индивидуализм, свою самость, свое маленькое «я». [\[1084\]](#)

Если считать создателя «Осударевой дороги», который себя «не отличал от каналоармейца и все время как заключенный чувствовал себя, но вел себя как свободный, изо дня в день приближаясь к сознанию необходимости принуждения всего русского человека во всей совокупности...», страдавшего за ту «необходимую ложь, которая выходила из-под руки Сталина и Ленина», отдельной святой личностью, может быть, и так... Но только в те давно прошедшие уже времена оказалось, что своим романом Пришвин – редкий случай – не угодил никому – ни врагам, ни друзьям своим. «Осударева дорога» при жизни автора напечатана не была и не была понята немногочисленными читателями в рукописи.

Пришвин, правда, этого и сам сильно опасался еще до того, как отдал свое детище в чужие руки: «Раньше боялся удара с одной стороны, и теперь боюсь страшного, и с другой, неофициальной, с народной, где я признан по-настоящему. Боюсь того, что получил А. Толстой за свой „Хлеб“». Опасался он и того, что в художественном отношении (далее цитата) «Осудареву дорогу» назовут «деланной», как наши крестьяне называют гать на болоте «деланной дорогой (...) уж больно медленно все шло», [\[1085\]](#) «Тревожит только

таящаяся в недрах народной души оценка, от которой никуда не уйдешь, если сфальшивил»; «Как художественное произведение это не кристалл, подобный „Ж. Шеню“ или „Кладовой Солнца“».

Однако удары посыпались не с одной, а со всех сторон. Еще когда в начале 1947 года писателю предложили выступить с чтением новой вещи в Литературном музее, он «чувствовал, что все они опасаются, не примажусь ли я к большевикам». Еще определеннее было тогдашнее суждение о романе Валерии Дмитриевны, которая, как известно, хлебнула из гулаговского чана: «Ляля вчера высказала мысль, что роман мой затянулся на столько лет и поглотил меня, потому что была порочность в его замысле: порочность чувства примирения», на что «дерзнувший без Вергилия странствовать по аду» писатель справедливо ответил, что дело здесь было не в порочности, но в легкомыслии: «Я хотел найти доброе в нашем советском правительстве».

Пришвин не себя виноватым считал, а жизнь, которая «не дает свободы писателю: жизнь не вызрела для ее изображения, как в „Кашеевой цепи“ не вызрел художник для дела спасения своего героя». [\[1086\]](#)

И Валерии Дмитриевне отвечал: «Не порочность, – какая порочность в том, что я строительство канала пожелал отразить в детской душе, воспринимающей жизнь поэтически. Никакой порочности в этом нет, но, может быть, легкомыслие. Есть положения в жизни, когда легкомыслие обязательно и даже играет свою полезную производительную роль. Взять выбор супруга, а между тем от этого выбора зависит судьба нового человека на земле. А у кого нет легкомыслия, тот засмысливается и остается холодным и бесплодным».

Эта запись и словечко «засмысливается» заставляют не только в очередной раз вспомнить Зинаиду Гиппиус

или Александра Блока, но и другого героя тех лет – Павла Михайловича Легкобытова с его брошенным Мережковскому и его богоискательству «шалуны». В замысле Пришвина тоже была некая «шалость»...

И все же Пришвин сделал одну вещь очень важную, хотя и сам понимал всю ее невозможность в смысле публикации – изменил эпиграф и тем самым отчасти сдвинул коммунистическую (легкомысленную, если угодно) концепцию романа: «Аще сниду во ад, и Ты тамо еси» («Этот эпиграф не будет опубликован, но пусть будет как веха в душе»).

Однако властям и без этого, отсутствовавшего и подразумеваемого эпиграфа, взятого писателем из 138-го псалма царя Давида, мало не показалось, и судьбу неопубликованного эпиграфа разделил весь роман. Правители наши вообще предпочитали о Беломорканале не вспоминать, времена перековок давно миновали и факт использования в СССР принудительного труда более не афишировался, ибо бросал тень на светлое здание коммунистического будущего, и оттого можно только гадать, какая наступила на улице Правды растерянность, если не паника, куда бежать, в КГБ или ЦК, размышляли сотрудники редакции, когда осенью 1948 года писатель отвез в «Октябрь» свое новое произведение, идея которого «зрела 65 лет», то есть со дня бегства в «Азию».

Главный редактор журнала Панферов, который, как мы помним, в конце 30-х дружески советовал Пришвину не стоять в стороне и говорил: «Мы, конечно, и в подметки не годимся вам, Михаил Михайлович, в отношении культуры, и вы писатель настоящий, но позвольте сказать вам правду: вы держитесь в стороне», долго автору не звонил, а потом через сотрудника редакции Ильенкова передал требование «уничтожить труд заключенных» и пожелал, чтобы

«может быть, даже, что события были именно не на Беломорском канале», [\[1087\]](#) что и было в дальнейшем подтверждено во время обсуждения романа накануне нового, 1949 года в редакции и обесмысливало всю громадную работу, проделанную неудобным писателем.

«Ильенков объявил, что „Канал“ нецензурен, нельзя писать о канале: он скомпрометирован. Необходимо выдернуть всю географо-историческую часть и наvertеть все на другое. Это был такой удар по голове, что я заболел».

Там, наверху, хотели переписать историю, забыть которую Пришвин был не в силах и которую пытался оправдать, найти разрешение и выход. Все это понимал и сам писатель («Допускаю, что нынешние правящие коммунисты могут быть смущены моим романом и спросить: как же это так вышло, что принудительный труд, укрываемое и переживаемое преступление, может стать предметом восхищения поэта и...»), соглашался заменить мотив принуждения вербовкой («Остается надежда на то, что мысль о трудовом воспитании заполнит пустоты и оправдает произведение. А великолепное мастерство даст легкость чтению»), но все равно это было никому не нужно, и так получилось, что не в охотничьих и не в детских рассказах, а в самом что ни на есть злободневном романе с общественным пафосом, к чему призывала его когда-то настырная рапповская критика, разошлись старейший писатель, мечтавший послужить своему народу, государству, настоящему социализму и будущему коммунизму, и само государство в лице его литературных чиновников, и Пришвин печально заключил: «Если это так, то мне надо бы покупать корову и убраться с литературного поприща», а еще через год, осенью 1949 года, уточнил: «...Подумываю, не удрать ли вовсе из литературы. Можно бы дачу

продать... устроиться в маленькой избушке: корова, поросенок, куры... Да так бы и жить потихоньку? Так мы с Л., верно, и сделаем».

Последнее было уже не первой и довольно бессмысленной угрозой. Сколько Пришвина ни били за всю его долгую литературную жизнь, он всякий раз поднимался как ванька-встанька и продолжал свой труд. Вот и на этот раз, перечтя ночью, после разгрома своего романа «Даму с собачкой», заключил, что и его «"Царь природы" – настоящая вещь».

«Еще я увидел, что не только на безрыбье теперь я – писатель, но что и среди рыб я рыба», и нет в этом ни самонадеянности, ни нескромности – Пришвин этой уверенностью в принадлежности своей к литературе, к подлинному писательскому братству держался и спасался, а «быть настоящим писателем – это значит непременно быть одиноким», – заключил он бессонной предновогодней ночью.

Наступил 1949 год, и Пришвин принялся переделывать роман по указанию редакции «Октября», кромсая его «как пиджак на очень капризного заказчика». Действие было перенесено на новую стройку, без участия заключенных и надсмотрщиков, роман получил название «Новый свет», но на пути у него восстал Панферов, и Пришвина это «срезало до чувства смертной тоски (знакомое редкое и страшное чувство)».

Федор Иванович, по видимости, стоял, как танк, зная, что вещь непроходима, и может быть, из одного тонкого партийного иезуитства не сообщал этого Пришвину прямо, а мучил старого писателя хуже, чем злой мальчишка, и вот уже Пришвину начинало казаться, что он недостаточно прославил карательные органы: «До сих пор „Дорога“ не выходила у меня потому, что я не мог себе представить чекиста, как мне надо, хорошим человеком. Когда же я встретил О. и

понял этого коммуниста как человека в процессе современности с устремлением к лучшему – этот герой был найден (...) от меня потребовалось то, что я искал в чекисте: „исповедую“».

Но даже этот таинственный О. не помог, и в конце концов дело заглохло окончательно, впустую прошел «целый год сплошной пытки автору, задавшемуся искренно целью прославить коллектив!» – и единственное, что радовало в этой ситуации Пришвина: он не взял аванса и, следовательно, никаких обязательств перед редакцией не имел.

«Причесывание произведений литературных вошло в повадку, и каждая редакция стала похожа на парикмахерскую», – заключил он со вздохом в «Глазах земли».

Это может показаться поразительным, но в поздний период жизни, когда Пришвин «всем сердцем, всем телом и всем сознанием» находился ближе чем когда бы то ни было к власти и подобно герою «Корабельной чащи» Мануйле был готов все простить и вступить в большой советский колхоз, издательская судьба его произведений складывалась особенно тяжело. И дело здесь касалось не только «Осударевой дороги». В послевоенные годы Пришвин, как и официальная советская идеология, проповедовал грядущий коммунизм – любовь к которому, как уже говорилось, особенно усилилась в нем после победы над Германией. Только любовь эта и понимание коммунизма были у писателя и центрального комитета партии слишком различными. Всякие попытки монополизации светлого будущего вызывали у власти жгучее чувство соперничества.

«Сегодня выборы! Какой-то садизм! Чем больше страдают теперь живые люди, тем больше афоризмов о счастье будущего человека», – писал Пришвин, отвлекаясь от романа, и тут же предлагал свое,

пришвинское видение этого будущего: «В новой вещи своей я хочу дать путь к коммунизму не тот, каким дают его доктринеры, а каким я иду к нему, моя работа „коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме“, и такая моя, чтобы умный человек справа не подозревал меня в подхалимстве».<sup>[1088]</sup>

Подхалимства и в самом деле не было никакого, была вера в «коммунизм, который мы все носим в своем естестве», но только вера эта никак не укладывалась в прокрустово ложе советской идеологии.

Кое-кто это, может быть, и понимал («На моем юбилее умный редактор „Пионерской правды“ сказал: „Пришвин весьма тактично проповедует среди молодежи коммунизм“»), но большинство «редакторов» относилось иначе: «Там боятся, что правда выставляется не как этическая норма, исходящая от партии Ленина-Сталина, а как начало, присущее вообще душе человека, и в особенности ребенка».

Позднее, ощущая приближение смерти, Пришвин попытался примириться со своими неразумными и недалёковидными «недругами».

«...пришла минута понимания, и я их всех вдруг простил. И даже мало того! обещался впредь никогда не сердиться без понимания той стороны.

В большинстве случаев «та сторона» тоже хочет блага, но только всем, мы же хотим блага каждому, то есть блага личного, которое пропускает «та сторона»».

А еще через некоторое время заключил: «Тема нашего времени – это найти выход из любви к каждому любовью ко всем, и наоборот: как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому».

Судя по тому, что эти записи удалось опубликовать в издании 1986 года, Пришвину впоследствии простили своеобразное коммунистическое инакомыслие. Но в сороковые годы беда Пришвина, с точки зрения даже не



советских властей, до которых «Осударева дорога» не дотянулась (Калинина уже не было в живых, а больше никого из кремлевских жителей тревожить не стали), а советских писателей и, надо отдать им должное, они были по-своему правы или, по крайней мере, последовательны – беда была в том, что старейший мастер не за свое дело взялся, как не за свое дело взялся в «Батуме» Михаил Булгаков. Советская система отличалась во все времена, а при позднем Сталине особенно, строгой иерархичностью, и нарушение этой иерархии, пусть даже с самыми благими намерениями, каралось строже и больше любой аполитичности и бегства в Берендеево царство.

Пришвин нарушил неписанные законы литературной номенклатуры, грубо вторгся не на свою территорию, и, рассуждая практически, это было тем более странно, что подобный результат был очевиден уже в самом начале его второго обращения к заранее обреченному замыслу «Царя природы».

В 1946 году, когда вышло известное постановление ЦК об Ахматовой и Зощенке, Пришвин горько записал: «В этом выступлении скрытая в революционной этике ненависть чисто средневековая к искусству наконец-то откровенно раскрывается (...) Как мужики громили усадьбы помещиков, так теперь правительство выпустило своих мужиков от литературы на писателей с лозунгами из Ленина.

Сколько я потратил усилий, чтобы дать в своем Канале именно то, чего жаждет ЦК, художественного выражения нашей идеи в чистом ее виде, в идеале, противопоставлением европейской и американской традиции. И вот теперь руки отнимаются, хочется забросить всю десятилетнюю работу, и спрятаться опять в охотничьи рассказы».

Но не отнялись руки, но были забыты охотничьи рассказы, и должно было пройти три года тяжкого

труда, чтобы Пришвин окончательно убедился в том, что никогда не будет «официально признан „ведущим“ писателем», как, например, «насквозь просвеченный» Леонов (который как раз последние пятьдесят лет своей жизни писал совершенно крамольную «Пирамиду»), что ему суждено «стоять на своем» и оставаться «экстерриториальным писателем», большим мастером, который «вообще терпим, но не рекомендуется».

Лишь в 1951 году Пришвин наконец попытался определить для себя, что честного служения словом социалистической Родине в том виде, в каком она существует, не выйдет и примирить христианство с коммунизмом, равно как и коммунизм с реализмом, не получится:

«Итак, с коммунистами нельзя говорить: 1) О Боге, 2) о смерти и „Том свете“, 3) о дурных явлениях нашей общественной жизни (например, столкновении поездов, заключенных, безработице и т. п.)».

Но от идеи коммунизма это его нимало не отшатнуло, скорее наоборот. Неудача с публикацией заставила его очень трезво (хотя и по-пришвински очень ненадолго) взглянуть не столько на перспективы этического коммунизма и своего участия в его построении, сколько на саму свою работу. Отдавая без особой надежды в очередной раз переделанную «Осудареву дорогу» в симоновский «Новый мир», Пришвин признавал: «Три четверти этого романа есть результат мучительного приспособления к среде, и разве одна четверть, и то меньше, – я сам, чему же тут радоваться! Ничего не вижу постыдного в этом приспособлении для себя, стыд ложится на среду, и если среда не оценит, то стыд ляжет на нее, как и радость моя будет не за себя, а для нее». [\[1089\]](#)

Или вот такое, после того как роман без всякого движения пролежал целый год в высшей литературной

инстанции – Союзе писателей – у Фадеева: «Нужно было не пером, а молотом много поработать, чтобы пробить в камне коридор или траншею для продвижения своих героев», – что можно понимать по-разному, в том числе и так (пусть даже Пришвин и не вкладывал этого смысла): чтобы написать, нужно было самому там побывать.

И уж тем более поздняя, важная для Пришвина запись: «Чем я силен? только тем, что ценное людям слово покупаю сам ценою собственной жизни. Один читатель о моем рассказе „Смертный пробег“ сказал:

«Лисица не стоит того, сколько вы за ней ходите». Так и все мои писания...» к «Осударевой дороге» при всех усилиях, которые автор затратил на ее создание в течение четырнадцати лет, отнесена быть не может.

Никакого выхода из этого «круга жизни» Пришвин так и не нашел, и в конце концов история его борьбы за «Осудареву дорогу» свелась к тому, чтобы «осуществить замысел первоначальный: изобразить рождение коммуниста в мальчике Зуйке на фоне крушения старого мира и восхождения нового. Мудрость автора должна сказаться в том, чтобы дать картину возможного коммунизма, в который все мы верим, который должен победить и отделить его от картины провалов на пути к цели (например, заключенные)».

И дальше: «Но дело в том, что в моей душе содержится как возможность „евангелие“ коммунизма, и оттого все, что ниже его, все, что есть „заменитель“, как „подходящее“, не выйдет из-за моей совести».

Дело тут не в том, чтобы с позиций нашего «свободного» времени ерничать и насмешничать над старым совестливым человеком, который до конца дней пребывал в добровольном плену коммунистических иллюзий, но в отличие от очень многих других «пленников» не пытался извлечь из этого положения

личных выгод, а лишь больно ударялся и страдал и не мог, несмотря на всю свою гордость и сознание собственной значимости, подняться над литературной средой, как и сорок лет назад («На прогулке к лесу Л. высказала между прочим, что ее очень огорчает моя обидчивость, и ранимость и зависимость духа от мнений руководящих литературой людей»), но в единственном горячем протесте пишущего эти строки против любого «евангелия коммунизма», впервые провозглашенного на долгом пришвинском пути главой секты «Начало века» Павлом Михайловичем Легкобытовым и невольно отозвавшегося в душе любопытствующего сталкера сорок лет спустя.

Проблема «Осударевой дороги» и ее лесов состоит не в кажущемся сталинизме или консерватизме писателя, не в стремлении к примирению с эпохой и конформизме, как нынче утверждают иные из пришвинских недоброжелателей,<sup>[1090]</sup> но в том, что «Начало века» – как секта и как историческая эпоха – бродили и никак не могли перебродить в нем до самого конца.

«Я надеюсь так написать, чтобы сказка моя складывалась при свете современности. Стараюсь фонарик свой зажигать современностью, и первый вопрос современности – это что „ты“ больше „я"», – писал Пришвин про один из последних вариантов своего романа, помня или не помня, что последние слова есть не что иное, как прямая цитата из поучений другого, еще более отвратительного его старого хлыстовского знакомого А. Г. Щетинина, и именно этим заклинанием тот превращал свободных людей в рабов.

«– Я убедился, что ты более чем я, – сказал пророк, – и я отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им,

воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами».

Круг замкнулся...

Однако, говоря слишком много о лесах к роману, об истории его создания и контексте, мы ничего не говорили о том тексте, из-за которого было сломано столько копий и который в конце концов был предъявлен читающей публике по воле автора в первой его редакции («Свидетельством моего художества останется непереработанный экземпляр») в 1957 году в петрозаводском журнале «На рубеже» (№ 4-5) и в том же году – в шестом томе собрания сочинений.

Ахматова когда-то назвала «Доктора Живаго» гениальной неудачей. «Осудареву дорогу», при всей ее невезучести, гениальной не назовешь ни с какой точки зрения. Скорее наоборот, этот роман оставляет впечатление болезненного провала. При чтении его не очень понимаешь, к чему был весь этот многолетний сыр-бор о бедном Евгении и Медном Всаднике, если в романе первого (Евгения) попросту нет, а есть галерея угодивших на строительство канала уголовников и масса неизвестно за что попавших тысяч жителей земли, о которых вообще ничего не говорится (не считая разве что щемящего абзаца, посвященного степнякам – и тут сразу вспоминается «Черный араб»: «Они привыкли жить в степях на седле и, тюкая топорами, мечтой уносились туда на своих маленьких конях и были там возле своих юрт в стадах бесчисленных баранов и верблюдов, пили кумыс у младшей жены, ели баранину в юрте старшей жены, подумывали о третьей жене, а деревья валились по-своему, и степная природа брала верх над лесной наукой»), а что касается второго (Медного Всадника), то в его роли выступает вовсе не грозный, не величественный, а какой-то ходульный начальник строительства Сутулов, который, конечно, имеет власть

принять и «бросить в лес тысячу человек» или командовать операцией по ликвидации прорыва воды во время весеннего разлива, отправляя эту тысячу на гибель в ледяную воду, но по большому счету настолько весь выдуман и неестественен, что вызывает недоумение, неловкость и жалость (а между тем Пришвин-то стремился – страшно вымолвить – к тому, что «Сутулов – это Максим Максимыч в форме чекиста»).

Столь же недостоверен образ и главного героя – Зуйка. Формально юноше семнадцать лет, но психические реакции у него как у двенадцатилетнего в лучшем случае мальчика (не зря в одном месте автор называет его маленьким человечком), этакого недоросля, только без Митрофанушкинова здравомыслия и уж тем более без скромного обаяния Митраши из «Кладовой солнца», хотя и тут замысел у Пришвина был интересен: «обрисовать дикую застенчивость, староверскую особенную гордость (аристократический демократизм)». Немногим лучше смотрится Марья Моревна в ее новой редакции – комиссарша Мария Уланова – с любовной предысторией (она полюбила человека, который оказался алкоголиком и тем самым предал их общее дело) и каким-то водевильным, почти что фельетонным разрешением этой истории (приехавший к ней возлюбленный в ее отсутствие понюхал не закрытый в авральной спешке одеколон, да так и выпил весь флакон), хотя именно ей отдал Пришвин очень дорогую ему мысль о том, что «между тем, затопленным миром и новым есть какая-то связь, и ей хотелось это драгоценное в прошлом взять с собой в новый мир и не дать ему совсем затонуть».<sup>[1091]</sup>

Гораздо предпочтительнее выглядят сами представители затопляемого мира – староверы (особенно хороша история с банным веником, который погубил Выгорецию, или перекликающийся с идеями о.

Сергия Булгакова о двух образах Апокалипсиса спор Марьи Мироновны с табашниками «свет кончается» у нее и «свет начинается» у них), и все же эти образы, написанные как бы изнутри, включая и «мирскую няню» Марию Мироновну, уступают описаниям карельских жителей в первых пришвинских книгах.

Из людей по-настоящему великолепен в этом романе оказался только старый бродяга Куприяныч, еще одно авторское альтер эго, он же пузатый и круглый волшебник Берендей, который при поступлении в лагерь обещал хорошо трудиться на строительстве, но просил Уланову не записывать его в учетную книгу, спас сотню человек от гибели, щедро и коварно подарив авторство этого подвига глупому Зуйку, и наконец соблазнил неразумное дите совершить побег в лес, в царство бесчеловечности, туда, где нет принуждения и власти, где все – цари, а затем, весенним утром, описание которого напоминает финал «Кашеевой цепи», обратился в гугуя, оставив мальчика один на один с пробуждающейся природой. Страницы этого бегства были по-пришвински хороши, а образ Берендея создавал своеобразный двойной фокус и отбрасывал спасительную лесную тень на весь безжалостный «новый свет», предвосхищая тем самым тему будущей «Корабельной чащи» и «Зеркала человека», но все это было несколько вторично по отношению к более ранним вещам.

Словом, книга вышла не слишком удачная, и все же, хотя она не получила признания даже самых искренних поклонников пришвинского творчества, отмахиваться от нее не стоит.

Если верно, что каждое произведение нужно судить по тем законам, которые установлены для него самим автором, то упреки в малохудожественности и схематизме просто бессмысленны.

«Осударева дорога» – это роман идеологический, в гораздо большей степени, чем, например, «Что делать?», «Мать», «Как закалялась сталь» и т. п., это, быть может, вообще один из самых идеологических, идеологизированных романов во всей русской литературе. Психология, пластичность, поступки героев, их конфликты, язык, мысли, чувства – все, в ущерб художеству, подчинено идеям, носителями которых оказываются персонажи, и эти идеи заботили автора больше всего. Только идей столпилось так много, что роман оказался ими перегружен и утонул, как плавучий остров-ковчег, на котором странствовал по весеннему разливу Зук с живностью. Пришвин попытался вложить в эти двести пятьдесят страниц все, о чем передумал за без малого восемьдесят лет жизни. Кажется странным, что легконогий странник с ясными и зоркими глазами вместо сердца, как окрестила его когда-то Гиппиус, вообще мог за подобную затею взяться, но тем не менее именно это и произошло.

Он пытался спасти свой замысел, объявив написанное сначала «педагогической поэмой на материале строительства Беломорского канала», а потом сказкой, как когда-то объявлял все прежние очерками, говорил о том, что «сказка – это связь приходящих с уходящими»; «сказки мои – это могильные холмы, в которые я закладываю сокровища своей личности»; «в сказке благополучный конец есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшая ценность. Сказка – это выход из трагедии», но в результате в который раз написал книгу не о строительстве канала и не о погибшем мире староверов, но о самом себе и одновременно с этим себе противоречившую книгу, которая так же и даже еще больше обесмысливала его биографию, как обесмысливала ее не помогшая ему дружба со ставскими и панферовыми в конце 30-х годов. Так и



вспоминается тут письмо Иванова-Разумника к вдове Андрея Белого: «Так и хочется спросить в стиле этих же материалов из книги Б. Н.: „Что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?“»

В сущности, судьба Зуйка – это проекция всей пришвинской жизни: конфликт со Старшими, обида, уход в лес, трагедия и счастье одинокой жизни, чудодейственное спасение и возвращение к людям – все это – зеркало человека, но только сильно выгнутое, искривленное, пусть даже сказочное, отображающее в упрощенном виде. Пришвин шел на адаптацию сознательно, он приносил всю сложность своего пути в жертву читателю, не желая повторения обеих легших мертвым грузом в его архиве «Мирских чаш», и старался написать вещь совершенно легальную, проходную и доступную, но как художник совершил насилие даже не над своим романом, его героями, их прообразами и самой действительностью – а, что было для него страшнее всего, над самим собой, он оволил себя, и вот этого произвола художественное слово, художественная правда ему не простили и отозвались фальшью.

Но... но в то же время это неслучайная и знаковая книга. Несмотря на свою художественную несостоятельность, этот одновременно горький и неизбежный этап пришвинской судьбы, этап почти что венечный, замыкающий его творческий путь и его личное, им самим признанное поражение («...Эта книга мне показалась картиной моей борьбы и моего поражения»; «Осударева дорога, к счастью не напечатанная, есть картина совершенного посрамления автора в его попытке сомкнуть прошлое с настоящим»), в истории русской литературы и в истории нашей общественной мысли пришвинский «сказочный роман» занимает поистине выдающееся, хотя и не оцененное место.

Заслуга автора «Осударевой дороги» оказалась не в том тексте, который он в конце концов породил, и даже не в сопутствующих ему чрезвычайно противоречивых и дремучих человеческих лесах, где заблудилась в назидание его последователям душа русского государственника, а в том, что Пришвин первый в русской литературе назвал Великую Тему. Обозначил ее. Дал понять, что никуда от этой Темы не уйти, не забыть, не перешагнуть, не перескочить и не объехать, как не смог избежать ее он, и литература еще вернется к ней. Пусть не удалось ему ее решить, но он открыл дорогу другому.

Это не есть тема Пришвин и Пушкин, не «Осударева дорога» и «Медный всадник» – вещи на самом деле между собою не связанные. Подлинную «Осудареву дорогу» написал, подлинную проблему «Осударевой дороги», проблему уничтожения русского и не только русского народа большевиками, идею, которую Пришвин вложил в уста «конюшни», отбросов эковского мира, доходяг, как сказал бы современный, искушенный в лагерной литературе читатель – «Не канал цель легавых, а ненависть к свободному, как они, человеку», а от уголовников она перекинулась и мужикам: «Даже привычные к трудной земляной работе смоленские грабари начали склоняться к тому, что канал – это придумка, это предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным... – Канал – это фикция», тему эту раскрыл, решил и ответил Пришвину и как художник, и как гражданин через два десятка лет после мучительного пришвинского труда Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе», и особенно очевидно этот ответ обнаружился в главах, касавшихся строительства Беломорканала.

Однако удивительна не только эта все же очевидная связь. «Осударева дорога» перекликается с

еще одним замечательным произведением русской литературы второй половины XX века.

«- Мы запрем ваш падун.

- Падун запереть?!

- Запрем падун. Вода подыметя, и озеро станет глубоким, и по нем пойдут морские корабли.

- Сколько дней в году, - сказал Мироныч, - столько на озере островов, и на них всех есть пожни, есть нивы, деревни, люди живут. Что вы с людьми делать будете?

- Мы за большое дело взялись: лес рубят - щепки летят. Но все-таки мы не бросим этих людей. В три раза разольется озеро, старые острова будут залиты, новые объявятся, и новые станут берега, и старые звери придут напиться новой воды. Вот мы туда с островов и переселим людей».

Я не думаю, что Валентин Распутин диалогически обращался к «Осударевой дороге», когда писал «Прощание с Матерой», да и вообще не уверен в том, что он эту книгу читал (так же как не уверен, что читал ее Александр Солженицын), но все же и тему гибели старого мира, его затопления, и плача по этому миру первым наметил Пришвин, и даже старуха, остающаяся вопреки всему на острове дожидаться конца света и готовая в этих водах погибнуть, была сначала написана - Пришвиным.

«Перед нею была освещенная верхним огоньком широкая и опрятная лестница, вся устланная новыми чистыми половичками-дорожками. На маленьких лестничных окнах висели белоснежные занавески, убранные вверху разноцветными бумажными цветами. Так убирают у староверов лестницы только перед самыми большими праздниками или в ожидании редкого, самого желанного гостя, и в особенности, когда в доме свадьба или ждут жениха».

Так мыла перед затоплением Матеры свою избу и старуха Дарья...

Наконец, и в «Осударевой дороге» подвергается разграблению (правда, вроде бы с благими целями – спасти плотину во время аврала) старое кладбище.

Быть может, здесь тоже сказалась прозорливость, невольное пророчество, выразившееся не только в тематических совпадениях и идейном расхождении Пришвина с более поздними трудами русских писателей, но и вообще в выдающемся умении Михаила Михайловича видеть в настоящем ростки будущего, опережать свое время, о чем писал В. Кожин применительно к своему главному пришвинскому тезису: идее обручения человека с природой в художественном мире писателя.

Только вот с иными обручениями все оказалось гораздо сложнее...

## Глава XXX

# МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ

Несмотря на неудачи и горькие разочарования в литературных делах, было в жизни Пришвина в последние годы то, что смягчало все удары и приносило ему небывалое утешение.

«Поэзия, погуляв на людях, может вернуться к себе, в свой дом, и служить себе самой, как золотая рыбка. Тогда все, что было в мечте, как дружба, любовь, домашний уют, может воплотиться: явится друг, явится любимая женщина, устроится дом и все выйдет из поэзии, возвращенной к себе. Я могу об этом свидетельствовать: в моем доме нет гвоздя, не возникшего в бытие из моей мечты...»

Так писал Пришвин о своем последнем доме, доме в Дунине – живописной подмосковной деревеньке на правом берегу Москвы-реки, в нескольких километрах к востоку от Звенигорода.

Впервые он побывал в этих краях осенью 1940 года, когда вместе с Валерией Дмитриевной они подыскивали дачу недалеко от города. Однако в тот раз поездка получилась неудачной. Супруги долго плутали, в одном месте машина увязла на раскисшей дороге, и, когда наконец добрались до Дунина, в сумерках полуразрушенный дом на краю деревни не произвел на писателя впечатления, но воспоминание о нем осталось.

«1940. 2 октября. Ездили в Звенигород на Николину гору, в Дарьино и в Дунино. Дача делового человека – Николина гора и дача вольная Дунино».

В конце войны, вернувшись из Усолья в Москву, Пришвины несколько лет арендовали дачу в Пушкине, однако место это оказалось для Михаила Михайловича слишком многолюдным, и уже летом 1945 года ему

«стало ясно, что дача в Пушкине не дает выхода в природу, и, значит, ее надо бросать и находить в другом месте».

В марте 1946 года писатель отдыхал в санатории Академии наук «Поречье», от которого было рукой подать до Дунина: меньше двух километров по лесной дороге или берегом Москвы-реки. Так Пришвин снова оказался в тех краях, что не понравились ему шестью годами раньше. Но теперь что-то переменялось в его восприятии.

Вот как писала об этом Валерия Дмитриевна (хотя она была поначалу против приобретения новой дачи, ей было вообще не до переездов и перемен – в Пушкине лежала ее парализованная мать): «Летом 1946 года Дунино предстало перед нами совсем иным. За деревенскими домами расстилалось обширное поле. Оно было круглое, как чаша, то золотое под рожью, то малиновое под клевером, то розовое под гречихой. Леса окаймляли деревню и поле со всех сторон. Они шли вглубь на многие километры и состояли из смешанных пород – это было их красой и богатством. Поляны, красные от земляники. Тьма грибов. И совсем рядом – Москва-река. Кому, как не Пришвину, было оценить дунинскую природу! И Михаил Михайлович всем сердцем полюбил Дунино».

Однако дело было не только в географии. История дунинского дома странным образом напоминала судьбу самого Пришвина, так что, кажется, их встреча была неминуема. В дореволюционные годы в Дунине собиралась революционная интеллигенция, гостила после освобождения из Шлиссельбургской крепости и возвращения из эмиграции Вера Фигнер, бывали скульпторы А. С. Голубкина и С. Т. Коненков, которого Пришвин очень высоко ценил.

Купив за пятьдесят тысяч полуразрушенный и сильно пострадавший во время войны дом у последней

владелицы усадьбы Лебедевой-Критской и записав его на имя Валерии Дмитриевны, Пришвин подарил бывшей хозяйке усадьбы свою книгу с такой надписью «...на память о счастливом хомуте: я счастливо влез в хомут 13 мая 1946 года, а она счастливо из него вылезла».

Деревянный дом на высоком фундаменте с просторной, обхватывающей его по периметру террасой был окружен большим участком земли, где Пришвины посадили лесные деревья, фруктовый сад, кусты смородины, цветы и луговые травы. А вокруг тянулись смешанные леса, и новый хозяин дунинской усадьбы проводил в них долгие часы. Сил у него было уже не так много, и он уезжал в лес на машине, там работал, делал дневниковые записи, фотографировал, и на столе у него лежал вычерченный им самим план леса с отметками тех мест, где «водятся белые грибы».

В последние годы жизнь писателя-бродяги была подчинена довольно строгому распорядку дня. Лучше всего написала об этом режиме бесхитростная и добрая домработница Пришвиных Мария Васильевна Рыбина: «Михаил Михайлович строго придерживался определенного режима всю свою жизнь. Это доходило до того, что если обед вовремя не был готов, он брал стакан молока, кусок черного хлеба – лишь бы было вовремя.

Вставал очень рано, когда все в доме еще спали. Летом с восходом солнца. Сам ставил свой маленький самоварчик. Пил чай, ел хлеб с маслом и под дружеские песенки самовара писал свою работу. Самовар шумел, а он писал. Жалька тут же у ног. Так он просиживал до 8–8.30 или в столовой, или у себя в кабинете. Затем часов до 9.30 наслаждался в саду утренней природой. К тому времени вставала Валерия Дмитриевна. Тут был настоящий завтрак: яйца, каша, кофе, хлеб с маслом. За этим 2-м завтраком он собаку не кормил, потому что Валерия Дмитриевна этого не любила, а за первым,

когда он был один, – он готовит бутерброд собаке, она делает вид, что не знает, что будет, голову отвернет в сторону, а глаза заводит вбок и так следит за тем, что Михаил Михайлович делает, но сама не двигается, и только он скажет: «Хоп», ловит на лету. Михаил Михайлович это очень любил.

Поработав еще немного, Михаил Михайлович часов в 11 или 12 шел в лес, один. Гулял и думал. А иногда это была охота. Берет машину, собаку и отправляется на перепелов. Привозил по 5 штук (хоть маленькие, да очень жирные). В 1 час – обед. Супы бывали разные: бывал мясной, а то и грибной или гороховый. 2-е – или мясо отварное, или, например, котлеты. Михаил Михайлович очень любил, как я делала котлеты, он говорил: «Вот это хорошо – ровные и тонкие». 3-е делали или желе, или компот, или кисель, или ягоды.

Он кончал есть раньше других и, бывало, скажет: «Ну, вы кончайте без меня, а я отдыхать пойду». И уходит к себе отдыхать до 4 часов.

Ведь вставал-то он рано-ранехонько! Если за обедом бывали гости – он рассказывал что-нибудь, да так интересно, что гости забывали есть. В 4 часа у нас был чай. Потом он шел в лес или у себя работал до ужина; ужин – в семь часов. Делали часто гречневую кашу с маслом и крутыми яйцами. Ложился Михаил Михайлович рано, потому что рано вставал и в городе и на даче».

И все же бывали случаи, когда этот порядок нарушался самым возмутительным образом. Дадим слово другому мемуаристу:

«По рекомендации врачей и по настоянию Валерии Дмитриевны Михаил Михайлович обязан был соблюдать разгрузочный день один раз в неделю. Делать это ему страшно не хотелось, и он капризничал – должно быть, не чувствовал в этом необходимости. Валерия Дмитриевна вызвалась проводить разгрузочные дни вместе с ним. В этот день полагалось съесть два



килограмма яблок – и больше ничего. Валерия Дмитриевна честно выполняла свой обет. А Михаил Михайлович пробирался в кабину моей автомашины и с аппетитом поедал оставленные для него бутерброды, выпивая стопку водки и выкуривая папиросу „Беломорканал“.

Вечером же, в час ужина, подавалась последняя порция яблок, и Валерия Дмитриевна говорила: «Я рада, Миша, что ты выдержал». Михаил Михайлович в смущении решительно заявлял: «Да, Ляля, я привыкаю», – и лукаво при этом подмигивал мне».

Автор этих строк, сообщник М. М. Пришвина по антирежимным проделкам П. С. Оршанко, офицер Военно-морского флота, очень мужественный и обаятельный человек, проживший в Дунине целое лето и ставший прототипом Веселкина в «Корабельной чаще», оставил еще одно замечательное описание пришвинской жизни последних лет, характеризующее отношения любящих супругов:

«Валерия Дмитриевна сердилась, когда Михаил Михайлович по рассеянности что-либо терял, а это случалось нередко. Однажды он вернулся из лесу без берета, который я ему только что подарил. Он был очень к лицу Михаилу Михайловичу. Ему говорили: „Вы похожи на француза“. „Нет, – отвечал Михаил Михайлович, – я похож на себя, на Мишу-индивидуалиста“. Так же он переводил на номерном знаке своей машины литеры „МИ“.

И вот этот самый берет он потерял. Встретив его возвращающимся с прогулки, Валерия Дмитриевна спросила:

– А где же берет?

– Ляля, с беретом целая история. Берет я потерял, а где не знаю. Стал искать. Ищу час, другой. Силы покидают меня. Вдруг вижу, на луговине лежит мой берет. Стал ползти, ползу, ползу...

- Не стоило, Миша, из-за берета так мучиться, - не выдержала Валерия Дмитриевна.

- Дело не в берете, дело в тебе, Ляля. Не хотелось огорчать.

- Ну и что с беретом? - спросила Валерия Дмитриевна.

- А это оказался не берет, а лепешка, оставшаяся от коровы на луговине».

Исследовал Пришвин не только ближние леса, но и более отдаленные окрестности здешних мест, связанные с историей, благо было что посмотреть - древний Звенигород, церковь Успения на Городке с рублевскими фресками, Саввино-Сторожевский монастырь, и все же главным был для него - дом.

«Мой дом над рекой Москвой - это чудо. Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны. Это не дом, а талант мой, возвращенный к своему источнику.

Дом моего таланта - это природа. Талант мой вышел из природы, и слово оделось в дом. Да, это чудо - мой дом!»

Это не просто красивые слова или одно из маленьких стихотворений в прозе, которых так много в книге дневниковых записей «Глаза земли», собранных Пришвиным в последние годы и изданных после смерти писателя.

Дом был действительно куплен и, главное, отремонтирован на гонорары за пришвинские книги и, сидя на террасе, писатель погружался в благоговейное созерцание своей вечной жены-природы.

«Лес берегами, как руками, развел, и вышла река».

«Сумерки сегодня были теплые и тихие. Я сидел у реки, и пока смеркалось, мне казалось, что лишнее мое все понемногу расходилось в сумерки и оставляло меня больше и больше, пока, наконец, я совсем не осмеркся.

Какой был вечер вчера! Налево на западе река цвела после заката октябрьским цветом с подзолотою, на востоке река лежала под месяцем в его полнолунии. Было две реки, как две души: в одну сторону – человека под конец жизни в его робкой надежде на будущее, в другую – души там, на том свете, где мы все когда-нибудь будем.

Туда и сюда, на запад и на восток, я поминутно повертывался как будто в поисках точки зрения, откуда можно было бы смотреть и видеть то и другое». [\[1092\]](#)

Дунинский дом, откуда и открылось Пришвину великолепие этих закатных часов, – самая реальная точка соприкосновения его мечты и жизни.

«Кроме литературных вещей в жизни своей я никаких вещей не делал, и так приучил себя к мысли, что высокое удовлетворение могут давать только вещи поэтические. Впервые мне удалось сделать себе дом, как вещь, которую все хвалят, и она мне самому доставляет удовлетворение точно такое же, как в свое время доставляла поэма „Женьшень“. В этой литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений (...). Так мое Дунино стоит теперь в утверждение единства жизни и единства удовлетворения человека от всякого рода им сотворенных вещей: все авторы своей жизни и всякий радуется своим вещам».

Пришвин очень любил и в вынужденной разлуке тосковал по своим «пенатам». Когда в последний свой год он не мог из-за весенней сырости, холодов и плохого самочувствия в нем жить, как обычно в мае, и сначала поселился по соседству в «Поречье», сколько же радости доставило ему перейти из санатория в Дом!

«Переход из санатория в Дунино совершался празднично, и кажется, никакими словами невозможно

обнять и засвидетельствовать усилие всего живого на пути к единству любви».

«Ночевал сегодня я у себя, и это было счастье, о котором не скажешь никакими словами».

В Дунине часто бывали гости. Из писателей – Федин и Всеволод Иванов, А. Яшин и В. Казин, В. Боков и Ксения Некрасова. О последней, однажды внезапно появившейся на пороге их дома, Пришвин записал: «Была поэтесса Ксения Некрасова, невзрачная, нелепая, необразованная, неумеющая, но умная и почти что мудрая. У Ксении Некрасовой, у самого Розанова, и у Хлебникова, и у многих таких души на месте не сидят, как у всех людей, а сорваны с места и парят в красоте».

В последние годы жизни Пришвин также дружил с музыкантами, бывал на концертах М. В. Юдиной и Е. А. Мравинского. Бывал у него в доме художник-инвалид В. Никольский, которому Пришвин очень помогал, в том числе и деньгами, проявляя при этом удивительную тактичность по отношению к обезножевшему человеку. Он искренне возмущался, когда узнал о том, что В. Никольского не пропустили однажды на сельскохозяйственную выставку, ибо своим видом он мог испортить праздничную обстановку:

«– И это в стране, которая перенесла тяжелейшую войну, где тысячи покалеченных и инвалидов! До какой степени бесстыдства можно дойти!»

Должно быть, что-то родственное чудилось ему в судьбе этого человека: «Из всех убогих признаю и уважаю только художника Никольского и себя самого: по существу, я тоже убогий, но держу себя, до того укрывая убожество, что некоторые принимают меня за великого Пана».

Но, пожалуй, самое большое значение имели для Пришвина беседы с «опальным боярином советской власти» академиком П. Л. Капицей, который в 1946 году из-за конфликта со Сталиным был отстранен от научной

работы в Институте физических проблем, жил у себя на даче по соседству с Пришвиным на «деловой» Николиной Горе и, по воспоминаниям Оршанко, оттуда писал вождю, что «пока у пульта науки стоит Берия, держащий дирижерскую палочку, но не знающий партитуры, советская наука двигаться нормально вперед не сможет».

Дружба ученого и писателя протянулась до последних дней Михаила Михайловича и существенно расширила, углубила представления Пришвина об окружающем мире. С Капицей Пришвин мог быть предельно откровенен и обсуждать совместимость свободы и социализма, положение науки и искусства в стране; Пришвин видел в судьбах непечатавшегося автора и оказавшегося не у дел физика нечто родственное, и в то же время – «Петр Леонидович – человек большой, не позволяющий себе пребывать ущемленным человеком или обиженным. В этом его борьба похожа на мою, но языки у нас разные...».

Давно умерли писатели его поколения и даже те, кто был моложе: Новиков-Прибой, Толстой, Шишков, Тренев (о последнем есть удивительная запись: «Тренев всю жизнь проводил с маской на лице и умер с маской и никто не знал его лица»), Вересаев, которого Пришвин яростно критиковал за книгу «Пушкин в жизни», и, казалось, эти смерти не случайны, люди те, как и Блок, умерли от отсутствия воздуха.

Умирали бывшие его знакомые по литературным салонам начала века, которых давно разделила с ним граница времен и государств: Мережковский, Гиппиус, Бердяев. Наступала пора подводить итоги прожитым годам, охватывать их одним взглядом, пытаться понять, сведя воедино начала и концы, и именно к пониманию жизни во всей ее совокупности, цельности, с ее корнями и побегам, относится следующая необыкновенно глубокая запись из Дневника; любопытно посмотреть,

как теперь расставлял Пришвин акценты жизненного пути:

«Есть в человеке как бы роковая испуганность жизнью, принижающая, утупляющая веру в себя. Она давила душу и моей матери, жизнерадостной женщины. Вдруг появлялось у нее в глазах что-то темное, и лицо становилось сумрачным. Я понимаю теперь это как страх перед той роковой обреченностью человека. Вот это чувство передалось и мне, и оттого любовь моя первая была попыткой безумного скачка за пределы этой как бы родовой необходимости. Этот прыжок доказал мне самому, что я обречен быть привязанным к колу родовой необходимости. Так я и жил 30 лет, как и мать моя тоже 30 лет работала „на банк“ и как живет огромная масса испуганных людей. Встретив Лялю, я опять сделал прыжок и удержался там на какой-то высоте. И вот почему часто прихожу к Ляле с прежней мерой вещей в мире обреченности. И, меряя, узнаю, что все у меня не сходится, и моя женщина выходит из всяких мерок. А в конце концов я нахожу сам себя в мире иных измерений и догадываюсь, что это и есть та самая любовь, о чем я мечтал и чего не досталось мне ни от отца, рано умершего, ни от матери, работавшей как мужчина „на банк“, ни от жены, взятой от испуга и неверия в себя, ни от детей, обманутых моей славой, избалованных ею и, значит, тоже по-иному отстраненных от личных возможностей, тоже испуганных». [\[1093\]](#)

Пришвин мог сколько угодно писать о простых, хороших людях, которые спасли Корабельную чащу или построили канал по завету царя Петра, мог писать о себе: «Начинаю понимать себя как русского простейшего человека, имеющего способность сказать своим людям, что прекрасна на свете и та малая доля жизни, какая досталась себе». Он стремился сам быть

«как все хорошие люди», но по складу характера, по судьбе был обречен на непохожесть и одиночество, что и стало, вместе со стремлением это одиночество преодолеть, темой всего его творчества.

«Моя природа есть поэтическое чувство друга».

В конце жизни Пришвин, подобно Толстому, над судьбой которого непрерывно размышлял, стремился к своего рода опрощению:

«Сам по себе я не писатель, не ученый, не мудрец какой-нибудь и не сверхчеловек, а такой же, как и все, человек простой (...)

Я не отказываюсь и от своего писательства: я, конечно, писатель, человек знатный, и всего себя на это истратил, кое-чего достиг, заслужил. Но это писательство не было у меня идолом, а одним из средств понимания жизни. В существе же своем я самый простой человек, страстно ищущий на своем пути друга, чтобы хоть в дороге высказать ему все, что лежит на душе и давит ее. Выскажешь и вдруг станет много легче, как будто понял, что я не один такой урод на свете живу, что всякий настоящий простой человек меня поймет. (...)

Каждый из нас добирается до своего заключенного простого человека своим собственным путем и так «находит себя»».

Конечно, таким другом стала ему Валерия Дмитриевна, но и эта любовь не столько объединяла, сколько разъединяла его с миром, и слова: «постепенно вхожу с годами в тот самый основной поток, в котором мчится все человечество. Это какой-то общий для всех живущих на земле поток сходства и различия (...)» – оставались в известном смысле только словами.

Его внутренний КПД был выше, чем у обычного человека, он был действительно человеком иных возможностей, иных миров, иного зрения и слуха, и он физически не мог в этот общий поток войти и в нем

раствориться. В нем мерцала гениальность, пусть не до такой степени, чтобы ее не чувствовать, ею не стесняться и жить с ней свободно, печально и легко, как жили Пушкин, Грибоедов или Розанов. В очень важной клеточке своего существа он не то что презирал и недооценивал большинство «испуганных», обреченных на обыденную жизнь, на прозябание людей, окружавших его в советской действительности, но, ощущая себя выше, снисходил до них и... не мог снизить.

Предвидя возможные упреки, Пришвин писал: «Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет и надо будет зажечь на земле новый огонь. Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время».

Пришвину выпало жить в эпоху, когда реальная жизнь писателя отличалась так сильно от жизни его читателей (не всего народа, но именно читателей), как никогда не случалось в прошлые времена. Он не мог этого не видеть. В том же Дунине Пришвин жил фактически барином, пусть даже и жалуясь на бедность (не было денег построить забор), но что это были за жалобы по сравнению с тяготами послевоенной жизни большинства советских людей! Наследие «святых» русских народников – чувство вины, угрызение совести перед простым народом, провинциальная жалость к безлошадным – все было им изведено в молодости, прожито и пережито, обсмеяно и отвергнуто, и казалось теперь, что положение владельца советской усадьбы совершенно отлично от дореволюционного владения: «Очень чувствую, и это уже давно, что упрек наследственный за личное имущество сейчас исчез. В наследованных липах в Хрущеве этот упрек был (от



народа), в липах нынешних в Дунине этого упрека не существует. На этой почве безупречного бытия и вырастает новая интеллигенция».

Пришвин принимал как должное, что принадлежит к писательской элите, может отдыхать в Барвихе, лечиться в Кремлевской больнице и пользоваться недоступными простым смертным благами («Л. приехала из Москвы, была у министра, и он „Победу“ купить разрешил (а очередь на полтора года). Нанялся шофер с женой, закончено отопление, заканчивается повесть. Я богатею»). Он общался с крупными музыкантами, учеными и даже партийными работниками, и эта новая близость к власти заставляла его по-другому на нее взглянуть: «К преимуществам партийных людей мы уже привыкли, мы все поняли теперь, как им трудно работать и что если бы не они, так пришлось бы нам самим нести то самое, что они несут на себе».

Все это не значит, что критическое отношение к «реальному социализму» у Пришвина исчезло. Болезненно переживал он не только за свои литературные мытарства, но и за того же опального Капицу, за разгром биологической науки и торжество «бандита от науки», как называл он Т. Лысенко. В 1950 году Пришвин отказался подписать Стокгольмское воззвание за мир, ибо подобная безликая форма борьбы за мир ему претила, и снова, как в 30-е годы, не хотелось быть голосом в хоре.

Когда в 1952 году, после долгого перерыва прошел XIX съезд партии, событие это не оставило Пришвина равнодушным:

«XIX съезд проходит гладко, победоносно. Оглядываясь на положение, воочию убеждаемся в правде сущего. (...) Тревога в одном, что личностью предстает единственно Сталин, собирающий в себя все мнения».

В эти годы он сформулировал свою идею искусства как образа поведения. Он писал об этом чрезвычайно много, прибегая к самым различным понятиям и аналогиям: «Поведение» у меня скорее всего означает долг быть самим собой, а мастерство – быть как все».

«Поведение-то и есть, что каждый стал на свой путь».

«Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, и был мой родной язык».

«Есть у всякого настоящего творца свое творческое поведение в жизни – своя правда, а красота приходит сама. И живой пример этому для всего мира был Лев Толстой: он искал слово в правде, а красота в них потом находилась и определялась сама».

Но везде и всюду проводил главную мысль о своем собственном восхождении на эту высшую ступень (и, что любопытно, к писателям без поведения относил Алексея Толстого), и Вересаева не любил за то, что книгой «Пушкин в жизни» он разрушал эту целостную концепцию: «В полуночи души поэта, перед тем как написать стихотворение, непременно должен прилететь ангел гармонии».

В поисках источника поэзии я долго называл это состояние души поэта родственным вниманием. Но, исследуя природу того внимания, желая это внимание сцепить с сознанием, волей, личностью, я стал называть его поведением.

Одно из свойств этого поведения заключается в том, что произведение, исходящее из такого поведения, вынесенное на общественный суд, заставляет нас прощать автору его бытовое поведение».

Он снова писал о природе. Так создавалась книга «Глаза земли», «проникнутая единым стилем лирическая эпопея» (Кожин), о которой Б. Пастернак

отозвался в неопубликованном письме, процитированном Валерией Дмитриевной: «Я стал их читать и поражался, насколько афоризм или выдержка, превращенные в изречение, могут много выразить, почти заменяя целые книги».

«Пишу я о природе, а мои читатели хватаются за мои книги, как многие думают, чтобы забыться на стороне от мучительной действительности. Некоторые люди, мои недруги, говорят, что я обманом живу. Но я замечая, что когда они в моей природе вдруг узнают нашу же действительность с другой, хорошей стороны, то они особенно радуются. И я это так понимаю, что они очень ждут от писателя, чтобы он осмыслил и воодушевил их повседневный труд. Не обман они видят, а мысль сердечную своего же собственного дела».

«Совершенный человек, обогатив себя странствием в царстве мысли, возвращается домой с обостренным вниманием к ближнему».

Вот что я хотел сказать в романе своем «Кашеева цепь», но не сказал, потому что писал его в то время, когда сам-то уже возвращался домой, а народ мой только начинал путешествие туда, где я был».

«Я - писатель, который пишет свои книги как завещание о душе своей грядущим поколениям, чтобы ему самому непонятное они бы поняли и усвоили себе на пользу».

И все-таки, несмотря на веру в будущего читателя, который однажды догонит и поймет его, было в поздней философии Пришвина что-то небывало (любимое его слово в конце жизни - Небывалое) грустное... Он видел окружающий мир распавшимся на составные части, некогда принадлежавший ныне падшему великому существу, и части эти теперь находились в состоянии войны друг против друга, и, перефразируя известное выражение, можно сказать, эта война проходила через его сердце. Тогда природа

начинала казаться ему свободной, а человеческий разум принужденным, и задача человеческого общества виделась писателю в «преображении во времени, то есть в движении всех частей к воссоединению и возрождению».

«В конце жизни Михаил Михайлович ушел в философское созерцание мира», – вспоминала и сестра А. М. Коноплянцева М. М. Введенская, посетившая друга своих детских лет в Дунине в 1953 году. Но при всем углублении в философию жизни с литературой Пришвин не расставался и снова и снова пытался пробиться к читателю. К другу. И не только к будущему, но и к настоящему.

После неудачи с «Осударевой дорогой», когда были отвергнуты все новые варианты романа, Пришвин взялся за новую крупную работу.

«Ущемленность от „Нового Света“ проходит, ее смыкает радость нового замысла лесной повести. Сколько лет я был в плену у „Осударевой дороги“!»

Так начиналась работа над последним пришвинским произведением повестью-сказкой «Корабельная чаша». После нее не осталось таких могучих параллельных или зеркальных лесов, как после «Осударевой дороги», но сохранились наброски, показывающие, что первоначальный замысел повести, относящийся к 1949 году, был, возможно, интереснее ее заключительного воплощения. Основываясь на впечатлениях дунинской жизни, наблюдая за судьбами женщин окрестных деревень, Пришвин хотел написать своего рода деревенскую прозу, «бытовой роман» и показать новые отношения между людьми, столкновение старой и современной морали («Тайный дух колхоза – материнство»;<sup>[1094]</sup> «Мысль повести определяется: эта мысль в смене родовой, принудительной безликой любви старого времени и свободной (из „гулянья“)

наших дней. Итак, сюжет моей повести: дети ищут отца, находят и возвращают семье (...) В теме „колхоз“ веет свободная любовь»). Судя по сохранившимся наброскам, образы деревенских женщин получались у него очень яркими и живыми.

Однако после поездки на охоту в переславль-залесские края, в замысел повести неожиданно вторглись воспоминания, относящиеся к середине 30-х годов, когда Пришвин путешествовал по Пинеге и написал «Берендееву чащу», которой остался не вполне доволен. И вот теперь две идеи, старая и новая, наложились, столкнулись в его работе, как две морали в первоначальном замысле, и привели к тому, что «женский вопрос» оказался задвинут, и окончательный сюжет «романа без женщин», как полемически называл его в Дневнике Пришвин, возвращаясь к идее, высказанной им еще в полемике с Б. Пильняком и Н. Никитиным в 1922 году, завис в воздухе, а поступки героев оказались совершенно немотивированными и идеи опять перевешивали художественность.

Несмотря на кажущуюся простоту, даже упрощенность и невероятность, очевидную надуманность оставшегося сюжета – двое потерявших мать детей, хорошо знакомые читателю герои «Кладовой солнца» – Митраша и Настя – идут по земле в поисках своего отца, по возвращении с войны отправившегося искать заповедную лесную чащу на реке Пинеге с целью сделать из отборной древесины фанеру для победы над врагом и о детях, похоже, вообще не думающего («Мои герои – простаки новой повести – начинают и мне казаться неправдоподобными, а я сам себе – как неудачно приспособляющийся к текущему времени», – понимал и сам Пришвин), – в основе этой книги лежала очень важная для Пришвина философская тема борьбы света и тени на земле.

«Я беру лес и создаю свою сказку о борьбе света и тени».

Одна из основных идей «Корабельной чащи» в ее последней редакции – это идея правды, противопоставленная идее свободы, – своего рода новый поворот в теме «хочется» и «надо». Она вела к переосмыслению всего долгого пути писателя, некогда провозгласившего высшей ценностью человеческого бытия – «счастье».

«Не гонитесь, как звери, поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой», – говорит еще мальчику, будущему солдату Василию Веселкину традиционный пришвинский герой, старый лесник Антипыч в самом начале повести, и эти слова, полемизирующие с пришвинскими идеями 20-х годов, проходят лейтмотивом через весь текст.

В Дневнике Пришвин раскрыл очень важное значение этой, казалось бы, нехитрой истины.

«На берегу Атлантического океана умирала богиня свободы, и кончались века, посвященные этому слову. Мы, воспитанные с малолетства в почитании этого слова свободы, мы вдруг все увидели что-то, обратив внимание на явную неправду поклонников Свободы. (...) При подмене свободы, нам казалось – свет великий, огромный и страшный, как бы через полог какого-то огромного леса, закрывавшего от нас солнце, проник в нашу страну.

Вот при этом-то свете, помимо того, как нам хочется и не хочется, и начали складываться и показываться слова и образы нашей правды, к которой мы шли с тех пор, как было сказано первое слово нашей правды. (...) Простыми же совсем словами хочется сказать, чтобы века Правды сменили века Свободы, действительно освободили пребывающего в рабстве человека».

«Корабельная чаша» была итогом долгого пришвинского пути в искусстве и в жизни не только

потому, что оказалась менее внутренне противоречивой, чем «Осударева дорога», но потому, что в ней писатель окончательно вставал на сторону победившего большевизма и в этой победе видел одну-единственную историческую правду, именно таким образом разрешив мучившую его проблему Евгения и Медного Всадника.

Размышляя о переменах в собственном сознании и сознании «своего класса», от которого он, впрочем, давно отрекся, Пришвин писал: «Наш старый русский интеллигент приходит к новым убеждениям не потому, что у себя хорошо, а потому, что там, куда он с детства с верой смотрел, стало плохо, и не потому плохо, что там есть нечего, а что нечем стало там дышать».

Итак, делать нечего, я – коммунист, и как все мы: солдат красной армии, выступающей на бой за мир».

Эта запись, при всей ее полемичности («не потому, что у себя хорошо», «делать нечего, я – коммунист»), скорее отражала мировоззрение позднего Пришвина, нежели была очередной маской на лице Берендея.

Собственно теперь и счастливчик Берендей-то весь был да вышел, остался в прошлом, стал врагом, обратился в лешего, в гугуя, а значит, утратил силу и власть, и при том, что в пришвинских записях поздних лет можно по-прежнему встретить запоздалые «проклятия» в адрес темного прошлого («Нужно вспомнить всю совокупность темной деревенщины (чего-то стоящего), чтобы оправдать движение к лучшему»), мысль писателя теперь шла гораздо дальше, нежели противопоставление старого новому:

«Давно ли было, что о нашем новом времени нельзя было говорить, не отталкиваясь в отрицании своем от старого. И выходило, что тут должно быть хорошо потому, что тогда было плохо. Теперь судить о новом времени, по сравнению со старым, несовременно, новое время нам хорошо само по себе, и никто не будет

оспаривать даже, если хорошее в старом добром помянуть».

«Корабельная чаша» и есть самое советское, самое идеологически выдержанное, самое «правильное» произведение Пришвина, обходившее все острые углы своего времени и сочетавшее русский советский патриотизм с идеей мессианской: «На развернутом листке был напечатан портрет Белинского, и Веселкин прочитал под ним его знаменитые слова о том, что мы – русские призваны сказать всему миру новое слово, подать новую мысль».

Белинский здесь неслучаен. О нем Пришвин писал и в «Глазах земли»; его и идущую за ним традицию призывал в свидетели и союзники, возвращаясь к тому, с чего когда-то начал:

«Приближаюсь к пониманию возникновения нашего советского „надо“ в историческом порядке через Белинского, Добролюбова, Чернышевского, как идеи материнства». [\[1095\]](#)

Подобный эстетический сдвиг в сторону русских писателей, которых традиционно называют революционными демократами, очень показателен. Если еще в 1939 году Пришвин писал о том, что «Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Лев Толстой, как моралист, и Ленин – все вместе породили Сталина (с его РАППами и колхозами)», а «Тургенев-то ненавидел Чернышевского и Добролюбова, для него они были наш РАПП», и симпатии писателя были явно на стороне Тургенева (пусть даже это – «гуманизм, либерализм („барин“), бессилие»), и именно в связи с Тургеневым Михаил Михайлович формулировал свое художественное кредо: «Пусть кругом рабы, я и в этих гнусных условиях утверждаю право художника на красоту... я художник и хочу служить красоте сейчас, в этих условиях, вы же требуете того, чтобы я отложил



свое дело и работал бы над улучшением общественных условий, в которых люди могут заниматься искусством», то теперь сердцу Пришвина любезны были иные герои, и даже Белинского со товарищи оказалось недостаточно: «Слова Белинского сами по себе еще ничего не значат и нужен к этому плюс: коммунизм. Значит, Белинский предчувствовал слово, но не знал его, а Ленин это слово сказал для всего мира, это слово – коммуна».

Последнее звучит удивительнее всего: Пришвин мог неоднозначно, противоречиво относиться к чему и к кому угодно: Ленину, Сталину, русским классикам, евреям, формалистам, сектантам, большевикам, интеллигентам, православным верующим и мужикам, но вот к коммуне, которую он знал не понаслышке, относился, если мы помним, всегда с величайшей ненавистью. Теперь же и коммуна стала для него «школой радости», и вряд ли то была просто маска. Тут скорее прозвучала затаенная, очень глубокая для Пришвина мысль о неизбежности и освященности во всей своей целокупности всего коммунистического пути, по которому шла страна.

Строго говоря, коммунизм, по Пришвину, не был окончательной целью этого движения, а лишь промежуточной стадией («Общественные явления есть нечто временно-преходящее», – писал он еще в 1924 году). Высшей же целью было строительство мира-храма.

«Большевизм показал нам очертанья необходимого для нас внешнего двора нашего храма (всеобщую грамотность, индустриализацию, быть может, даже парламентаризм с его внешней стороны). Дальнейший процесс – это внутренняя переработка поставленных извне задач. Возвращение к православию неминуемо, потому что православие у нас – все».

И не случайно о «Корабельной чаше» он заключил: «"Слово правды" вышла повесть чистая, вроде храма, остается написать какую-нибудь страничку, которая будет значить, как крест на здании», и даже само это сочетание «слово правды» при его кажущейся советскости на самом деле восходит к псалмам царя Давида, которые Пришвин внимательно читал.

Пришвин искренне веровал и стремился к соединению православия и коммунизма, и хотя и к тому и к другому в их реальном историческом бытовании относился критически и утверждал необходимость третьего пути («Третье же понимание – это мое понимание, религиозное, принимающее ответственность за внешнее бытие человека на земле»), именно о коммунизме он искренне писал: «Как выдуманная семья привела меня к настоящей любви, так и выдуманный коммунизм должен привести к живому, настоящему».

А о церкви:

«Был разговор:

Я: – Столько церковь молилась, а зла не убыло.

Л.: – Много молилась, но мало делала: вера без дел мертва. Вот почему сейчас люди оставили молитвы и обратились к делам».

И для того чтобы церковь и коммунизм соединить, найти общие точки их соприкосновения, пускался, сознательно или нет, на искажение христианства, включая самую сокровенную его молитву, в которой произвольно переставлял слова:

«С особенной, небывалой в жизни своей ясностью Сергей Мироныч подумал:

«Нехитрая штука заморить себя на земле для жизни небесной. Трудно, и в том и есть сила человека, чтобы на земле жизнь устроить, как на небе».

И повторил много раз заученное с далекого детства из «Отче наш»:

«На земли, яко на небеси».

Каждый раз, повторяя, дивился он новому смыслу древней молитвы и не понимал сейчас, как это он мог тысячу раз за жизнь свою прочесть «Отче наш» и не заметить простого смысла таких простых слов: устраивать самому человеку разумную жизнь у себя на земле так, как представляется она совершенной далеко от нас где-то на небе». [\[1096\]](#)

Теперь, в соответствии с переделанной «древней» молитвой, жизненную задачу старейший писатель видел в делах и в утверждении этого пути переустройства: «В Союзе писателей катастрофа с рассказом, и я им ответил, что не меньшая катастрофа у нас и с романом, превратившимся в очерк, и что надо не жанр проповедовать, а коммунизм, и что если бы я был моложе, то повел бы проповедь коммунизма, и не в учреждении, а у себя на дому, и так вышло бы лучше, чем при посредстве пропаганды жанра».

Был ли он искренен в этих речах или так же по старой памяти дурачил слушателей, как дурачил их двадцать лет назад, в 1932 году, на первом Пленуме оргкомитета Союза советских писателей, приветствуя на словах ударников от литературы и в душе самозванцев презирая? Как знать, но только если и была это маска, то слишком уж привычная для того, кто эту маску носил.

Пришвин жил или, по крайней мере, стремился жить в последние годы в двух измерениях: «Художник должен чувствовать вечность и в то же самое время быть современным. Без чувства вечности невозможны прочные вещи, без чувства современности – художник останется непризнанным». [\[1097\]](#)

В известном смысле его Дневник был завещанием на будущее, вкладом в вечность, произведения последних лет – в современность, и был момент,

совершенно неожиданный на первый взгляд, когда последнее стало волновать его больше первого.

«Так, значит, я написал несколько томов дневников, драгоценных книг на время после моей смерти. Мне, однако, остается большая работа для отделки этих книг. И вот моя рабочая жизнь разделяется теперь на две части: одна часть для печати при моей жизни, другая – после. Вопрос: какой частью работы я больше дорожу, той большой, которая будет напечатана после меня, или той маленькой, которая еще может быть написана и напечатана при мне».

Казалось бы, ответ для писателя, а особенно для Пришвина, с его дневниковыми сокровищами, накопленными за полвека каждодневного подвижнического труда, с его драгоценными тетрадками, которые он спасал еще в 1909 году от пожара в Брыни, пожертвовав прочим имуществом, которые, рискуя жизнью, вел в самые страшные годы революции и террора; тетрадки, которые сами спасли его в 1919 году во время мамонтовского нашествия в Ельце, которые прятал он в разрезанной резиновой лодке, закопанной в землю, во время Великой Отечественной войны, – ответ, казалось бы, очевиден: «Мои тетрадки есть мое оправдание».

Но...

«Какой может быть разговор: конечно, на первом месте мое маленькое живое. И не знаю, может быть, если бы никто не знал, я бы все, что остается на после, очень недорого бы променял на возможность и написать и напечатать что-нибудь при себе».

Отчего же так? И тут Пришвин переводил разговор из области литературной в философскую, бытийную.

«И вот, наверное, это самое преимущество создаваемых ценностей при себе и есть „жизнь для себя“, или „я сам“, или то состояние духа, когда мне кажется, будто я делаю для себя, а оно на самом деле

выходит для всех. Подвиг святых, верней всего, и состоит в том, чтобы переделать всего себя на после себя, стать мертвецом для себя „здесь“ и воскреснуть „после себя“».

Этой святости, этому подвигу, как Пришвин его понимал, писатель противопоставлял свой путь:

«В моем сознании есть борьба за „здесь“, „за себя“, за землю, за жизнь (при себе) и т. п. как за самое святое. И, напротив, я почти равнодушен к тому, что будет после меня. Я смотрю на все, сделанное мной, как на удобрение для общества...

Итак, 1) жизнь при себе и 2) жизнь после себя не должны между собой разделяться: жизнь после себя должна содержаться в составе жизни при себе».

Для Пришвина с его жаждой жизни, с любовью к жизни, опьянением ею, не ослабевшим, а только усиливающимся к последним годам, этот разрыв и причинно-следственная связь были мучительны.

«Порочное разделение на жизнь при себе и на жизнь после себя: с чего это началось и как на этом разделении вышел обман, и спекуляция жрецов, и восстание атеистов?»

Последняя мысль о разделенности земного и небесного царства, привнесенного Церковью и священниками, была для него не нова. На протяжении многих лет он стремился через эту черту перейти, объединить разделенное в одно, перепрыгнуть, но в предчувствии смертного часа, когда выбор оказался неизбежен и иллюзия цельности рассыпалась, душа затосковала, и он стал страстно цепляться за земное.

«Переживаю слухи о премии и понимаю, что если премия будет, то больше меня радоваться ей будут мои читатели, и она вышла бы от этого настоящей, заслуженной премией, правильной в том смысле, что не премия красит человека, а сам человек красит свою премию».

Глухое упоминание о премии неслучайно. Пришвин был писателем до мозга костей, каких русская литература знала единицами. Этот лесной человек, Великий Пан и Берендей пожертвовал ради искусства слова всем и в восемьдесят лет оставался честолюбив и физически не мог прозябать в неизвестности, страдая от отсутствия той же Сталинской премии, которая в сороковые – пятидесятые годы была высшим мериллом писательского труда и государственно-всенародного признания и которую кому только не давали, и не по одному разу. Стремление к этой премии, к признанию современниками было одной из самых важных причин его позднего стиля и выбора темы.

Со смертью Сталина показалось, что-то начало меняться в лучшую сторону: «Вчера же ввалились ко мне люди из ВОКСа предупредить, что завтра приедет ко мне самый крупный писатель-коммунист в Голландии. Я понимаю этот случай как начало чего-то нового».

Но премии ему так и не дали...

Однако вернемся к последнему роману, который оказался все же сложнее, чем это может на первый взгляд показаться, и подобно тому, как «Осударева дорога» может быть понята в контексте ее «лесов», «Корабельную чащу» надо читать через призму лирической книги «Глаза земли».

Сложный путь от отрицания коммунизма к его утверждению осознавался Пришвиным как переход из царства тени к царству света, и образом такого перехода служила еще одна «героиня» «Корабельной чащи» – Васина елочка, небольшое, но очень старое хвойное деревце, которое росло в тени других деревьев и по этой причине не смогло вырасти, а лишь наращивало годовые кольца, и потом, освобожденное из плена, долго болело на свету, так что, глядя на него, Василий Веселкин размышлял:

«Если даже простая елка столько лет должна болеть и перестраивать теневые хвоинки на солнечные, то что же должен был преодолеть русский человек, переделываясь, чтобы вынести такой великий и страшный свет».

Казалось бы, здесь содержался ответ, своего рода «указующий перст» ко всей изломанной судьбе Пришвина на его путях от индивидуализма к марксизму, и дальше к декадентству и дальше, дальше – перескакивая через Розанова, Мережковского, Ремизова, Блока, Горького, Бунина, через православие и Тургенева, через Белинского и Чернышевского к новому пониманию коммунизма и к коммунистическому храму, от «Я – чающий евангелия революции, но разве Маркс – Евангелие?» до нынешнего «евангелия коммунизма», от насмешливого и горького «товарищи православные» в 1917 году («В этой фразе „Товарищи, мы православные“ соединилось столь разнородное, будто между теми и другими кто-то поставил знак сложения: товарищи + православные, а результат сложения ярость гориллы») до вполне серьезного сочетания этих понятий в начале пятидесятых, и «Корабельная чаша» – это окончательная перемена курса от «свободы» к «правде», от тени к свету, от Евгения к Медному Всаднику.

Но: «Все стремится к свету, но если бы всем сразу свет, жизни бы не было: облака облегают тенью своей солнечный свет, так и люди прикрывают друг друга тенью своей, она от нас самих, мы ею защищаем детей своих от непосильного света. Тепло нам или холодно – какое дело солнцу до нас, оно жарит и жарит, не считаясь с жизнью нашей нисколько. Это земля повертывается к солнцу той и другой стороной, укрывая нас своими тенями... Тени, тени земной мы обязаны

жизнью, но так устроена жизнь, что все живое тянется к свету». [\[1098\]](#)

Этими словами завершалась лирическая книга «Глаза земли», в известном смысле этим завершался и Пришвин, и следующие три строки отражают безо всякого упрощения и искажения весь драматизм его многолетнего духовного пути: «Свет – это пра-феномен солнца. Тень – пра-феномен земли. Я – встреча света и тени и разрешение их борьбы: я – путешественник на своей дороге между светом и тенью» [\[1099\]](#) [\[1100\]](#)

Издательская судьба «Корабельной чащи» была счастливее, чем «Осударевой дороги», но тоже нелегкой. Новую повесть-сказку собрался было печатать «Новый мир», во главе которого в 1950 году встал А. Т. Твардовский.

«На вопрос Л. по телефону Твардовскому, не очень ли забит журнал, найдется ли скоро место для „Слова правды“, он ответил: „Журнал, конечно, забит, но если церковь полна, для городничего потеснятся, и место всегда найдется“. Умный мужик, а между тем поэт настоящий, из тех, о ком Пушкин сказал: „Поэтами рождаются очень немногие“». [\[1101\]](#)

Но два месяца спустя: «Л. была в „Новом мире“ у Твардовского. „Слово правды“, оказалось, требует переработки.

- ... Я бы, - сказал Твардовский, - напечатал Пришвина: пусть. Пришвин отвечает сам за себя. Но время очень тяжелое, спустят всех собак на него, а я его люблю, мне его жаль...» [\[1102\]](#) [\[1103\]](#) «Хотел отказаться от переработки и уйти от всей этой „литературы“, вроде Пастернака, в подполье или принять все, как опалу, и воевать из своего угла, как воинственный Капица». [\[1104\]](#)

«Нашел выход из тупика литературного: вернусь к агрономии, как Фет вернулся в свое хозяйство на двадцать лет. Буду прочищать дорожки, а когда нечего



есть будет, стану за коровой ходить. Всем буду заниматься, только останусь на воле». [\[1105\]](#)

Но сил переносить подобные удары было все меньше и меньше: «На душе, однако, лежит густой туман, никуда ничего не видно, ни назад, ни вперед, везде Кашеева цепь». [\[1106\]](#)

И как знать, не получи Твардовский известия о смертельном заболевании Пришвина осенью 1953 года и не бойся он своим отказом взять грех на душу и добить старого писателя, быть может, «Корабельная чаща» так и не увидела бы света в «Новом мире»... Но в любом случае Пришвин подержать в руках журнал со своей повестью не успел.

Мой долгий и все же отнюдь не полный рассказ о Пришвине подходит к концу, и теперь остается сказать самое главное, действительно объединяющее всех людей, независимо ни от таланта, ни от убеждений, ни от творческого или иного поведения...

Для чего живет человек? На этот простой вопрос можно дать десятки ответов. Но один из них, быть может, самый глубокий, гласит – чтобы умереть.

С конца 40-х годов Пришвин все чаще задумывался о смерти. Боялся ли он ее?

«Смерти никогда бояться не надо (...) боязнь эта свойственна молодости и она значит только, что жить еще хочется.

Мне сейчас еще очень хочется жить, и я еще боюсь своего конца, но характер этой боязни стал какой-то иной. То был страх безотчетный и глубокий, как умирают весной, теперь, осенью, я знаю, что умирать нужно, что без этого не обойдешься (...).» [\[1107\]](#)

«Пришло мое время, лет мне много, силы падают, я падаю и дорожу своим днем для себя: я стал, как сухой лист». [\[1108\]](#)

Надо было приводить в порядок земные дела.

5 февраля 1953 года Пришвин отметил свое восьмидесятилетие. Был морозный солнечный день. Вечером праздновали юбилей в Союзе писателей, и на празднике выступал сам виновник торжества. И хотя ему не присвоили никаких наград и не было никаких официальных торжеств, ни именитых гостей по сравнению с прошлым юбилеем: «Чувствую, что жизнь обходит меня, и я остаюсь в прошлом „живым классиком“»,<sup>[1109]</sup> да и вообще февраль 1953 года с его делом врачей-отравителей, вновь вспыхнувшей подозрительностью и полной неопределенностью был не самым удачным временем для чествований и торжеств, тем не менее все было, насколько это возможно, хорошо и все были счастливы. Все, кроме Валерии Дмитриевны.

Так случилось, что именно в эти тревожные дни она узнала о неизлечимой болезни мужа. Любящая женщина была так раздавлена этим, что юбиляру показалось в какой-то миг, непоправимое может случиться с ней.

«Никого я никогда из своих не хоронил и неужели мне суждено испить эту чашу!»<sup>[1110]</sup> – писал Пришвин.

А между тем ровно через месяц после пришвинского восьмидесятилетия умерли в один день сразу два человека, на чьих похоронах он не был, но чьи имена часто и в очень противоречивом освещении встречались на страницах Дневника писателя: Ефросинья Павловна Пришвина (Смогалева) и Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).

Три дня спустя Пришвин написал в своей последней тетрадке, и трудно сказать, к кому из новопреставленных эта запись относится:

«8 марта. Воскресенье. Морозно (около – 15) и солнечно. За эти дни работа выпала из рук».<sup>[1111]</sup>

«10 марта. Вопрос стал о необходимости немедленно составить решение о своих рукописях на случай моей смерти. Начну завтра с юриста». [\[1112\]](#)

Пришвин не боялся смерти, но, «человек христианской природы», а он оставался таковым до конца дней, он видел: к смерти не готово само атеистическое общество, и это смущало его: «Заметил давно, что всякий разговор или даже намек на возможность конца своего в нашем обществе с возмущением отклоняется. Это настолько заметно сравнительно со временем „Смерти Ивана Ильича“, что начинаешь искать причину такой настроенности». [\[1113\]](#)

Прошла его последняя весна света и весна воды, прошло лето, которое он опять провел в Дунине, работая над окончанием «Кашеевой цепи», которую теперь хотел утопить в своей автобиографии, и эти новые главы даже по самому гамбургскому счету оказались очень удачными.

Он продолжал вести Дневник, и я приведу лишь несколько записей последнего пришвинского лета, когда в России начался новый отсчет времени:

«12 июня. Правильно делали в Оптиной, что запрещали монахам разводить розы, но ирисы надо бы поощрять: у настоящего аскета-творца розами устиляется пройденный путь, а впереди – из-за чего все! – виднеются ирисы».

«Все происходящее совершается в свете и тьме, и я все переживаю, но делаю то, что сам хочу и что надо для всех».

«13 июня. Быть русским, любить Россию – это духовное состояние».

«16 июня. Об ирисах пришел к заключению, что это аскеты-декаденты лишили себя аромата и засмыслились в претензии на иррациональную форму. Нормальный цветок – это роза и ландыш».

«Последний день июня этого года, дай Бог, чтобы хоть один еще июнь пережить, и хорошо».[\[1114\]](#)

Лето выдалось теплое («Опять роскошная погода, роскошные дни чудесного лета»), покойное, в свой черед наступили и прошли золотая осень и бабье лето, которые они провели в Дунине, лишь ненадолго съездив в Москву, когда у Пришвина резко упало зрение в правом глазу («Так и Фауст в свое время ослеп, а еще почетней Фауста у нас есть слепой музыкант N, которому предлагают уверенно, с положительным результатом операцию. Но он не соглашается из опасения, что вместе с возвращением зрения прекратится источник его искусства»[\[1115\]](#)). Он по-прежнему отмечал в Дневнике все милые его сердцу приметы готовящейся к зиме природы – царствующих в тишине петухов, опадающие листья на деревьях, слышал «доносящийся с высот серого неба крик и курлыканье улетающих журавлей», но уже не ходил по лесам, а смотрел на них из окна или «по-черепашьему» гулял по липовой аллее в саду.

Мысли его были печальны.

«...что-то плохое и безнадежное, безрадостное совершается во всем мире, и на это непонятное „что-то“ отвечает не разум, а чувство.

Листья стекают, одни прямо вниз и ложатся, как удобрительный пласт, другие пережидают на крыше, располагаясь листик возле листика, третьи улетают, табуясь вместе с маленькими перелетными птичками.

Мне кажется о себе, что я тоже какой-то лист, стремящийся избежать общего уплотнения внизу в удобрительную массу, и мало того! смешаться с птицами и улететь без крыльев, прямо по ветру».[\[1116\]](#)

Прошел в деревне последний его октябрь, в конце месяца Пришвин навсегда уехал из Дунина и сам вел машину, должно быть, тоже в последний раз в жизни, а

уже 2 ноября отправился в Барвиху. Однако пробыл в санатории ЦК всего неделю. Узнав о смертельном диагнозе (рак желудка), писателя распорядились отправить из санатория (хотели сделать это сразу же, боясь оставить его в Барвихе на праздники, чтобы он случайно не умер и не испортил другим отдыхающим торжества, но Валерия Дмитриевна упростила несколько дней подождать).

10 ноября из Барвихи его перевезли прямо в Кремлевскую больницу.

В эти же дни Валерия Дмитриевна сообщила мужу о восторженном приеме его романа (блестящие отзывы от Замошкина и Федина) и о решении опубликовать его с самыми незначительными поправками – требовалось только решить, какое оставить название (и в который раз было принято решение в пользу художественности, хотя Пришвин и сожалел, что у читателя «Корабельной чащи» будет отнят «указующий перст» «Слова правды»). Сама же она была занята иным – настаивала на операции, но врачи, и в том числе такие известные, как Бакулев и Родионов, делать операцию восьмидесятилетнему пациенту отказались. Последняя надежда была на знаменитого хирурга, который, по странной иронии судьбы, носил фамилию Розанов. Он осмотрел больного, сказал ему, что дело идет на поправку, велел пить сухое белое вино и есть все, что захочется, и отправил домой – умирать.

Перед выпиской, в больнице состоялся у Пришвина разговор со старухой-нянькой – быть может, один из самых важных разговоров в его жизни:

«Вчера нянька-старуха пришла со мной прощаться, и как-то само собой зашла речь о том, как лучше устроить себя, когда умрешь, – в землю или сжигаться.

– Вы-то как, Михаил Михайлович?

– Я в землю, конечно, милая бабушка.

– А из чего в землю?

- Как из чего? В земле лежат все мои родные, и отец, и мать, сестры, братья, многие друзья.

Чувствую, старуха моя захлебывается от радости.

- А еще, - говорю, - мне кажется, что с земли можно выбраться и на небо, если же сожгут, то и полетишь в трубу прямо к чертям.

Боже мой! Какая радость загорелась у старухи от моих слов! И это была не прежняя радость контрреволюционной кулацкой злобы, а чистейший фольклор или спокойный огонь на месте прошедшей борьбы». [\[1117\]](#)

Бог с ней, с кулацкой злобой, которую выкинули из Дневников, опубликованных в восьмом томе 1986 года, но оставили в шестом томе 1957-го - вот оно, движение времени и степени дозволенного! - главное, в этом диалоге словно высветилось взаимное прощение Пришвина и всех «церковных животных», начиная с безмысленной Аксюши...

Его перевезли домой, и там он провел последние недели. Приходили друзья - Капицы, Родионов, балерина Лепешинская, с которой Пришвин познакомился в Кремлевской больнице, куда она попала после того, как сломала ногу прямо во время спектакля. Незадолго до Нового года принесли ему прекрасно изданную книгу «Весна света».

«Мало ли чего в нашей жизни было разбито, но я спас и вывел людям „весну света“», [\[1118\]](#) - написал он меньше чем за три недели до смерти.

Смертельно больной Пришвин узнал о кончине Бунина (8 ноября). [\[1119\]](#)

Об этом эпизоде рассказывается в мемуарах писателя Ф. Е. Каманина:

«Я - не знаю уж, как это вышло, - спросил у Валерии Дмитриевны, читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил очень тихо, и так же тихо она

ответила, что нет, не читала, ей не до газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне.

– Что, что ты сказал?

Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову, с невыразимой тоской, несколько раз повторил:

– Бунин умер... Бунин умер!.. А-а!.. В Париже, в чужой земле. Бунин умер, а-а!»[\[1120\]](#)

Пришвин пережил его на два месяца и похоронен был в Москве, на Введенском кладбище.

Перед самой смертью, по свидетельству Валерии Дмитриевны, бывшей с ним до последнего вздоха, Михаил Михайлович сильно затосковал.

«А, может быть, это просто мелкие бесы...»[\[1121\]](#)

Он чувствовал, что должен замереть, до тех пор пока не пропоет петух, и обязательно этого часа дожждаться. Но дожить до новой «весны света» ее первооткрывателю суждено не было. «Лежу и ничем не могу возразить». Пожалуй, первый раз за всю свою жизнь...

И все же последняя запись в его великом Дневнике оказалась радостной, как если бы ему все-таки удалось подстрелить и посолить свое возлюбленное счастье: «Деньки сегодня и вчера (на солнце —15) играют чудесно, те самые деньки хорошие, когда вдруг опомнишься и почувствуешь себя здоровым».[\[1122\]](#)

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Д. ПРИШВИНА

*1873, 23 января* (4 февраля по новому стилю) – В имении Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии в семье Михаила Дмитриевича и Марии Ивановны Пришвиных, принадлежавших к купеческому званию, родился Михаил Михайлович Пришвин.

*1880*– Смерть отца, М. Д. Пришвина.

*1883* – Поступил в первый класс елецкой мужской гимназии.

*1885* – Оставлен на второй год во втором классе. Неудачный побег в Азию.

*1889* – Исключен из четвертого класса гимназии за грубость учителю географии В. В. Розанову. Переезд в Тюмень к дяде И. И. Игнатову, крупному сибирскому промышленнику.

*1892* – Окончил шесть классов тюменского реального училища.

*1893* – Переезд сначала в Красноуфимск, затем в Елабугу. Сдача экстерном экзаменов за седьмой класс. Поступление на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума.

*1894* – Поездка на Кавказ в Гори для работ на виноградниках. Сближение с марксистами.

*1895-1896* – Работа в марксистских кружках.

*1897* – Арест за революционную деятельность и одиночное заключение в Митавской тюрьме.

*1898-1900* – Высылка на родину в Елец.

*1900* – Поездка за границу. Учеба на агрономическом отделении философского факультета в Лейпциге.



*1902* - Окончание университета. Встреча с В. П. Измалковой. Возвращение в Россию. Жизнь в Хрущеве, Петербурге, Москве. Работа агрономом на хуторе графа Бобринского в Богородицком уезде Тульской губернии.

*1903* - Работа агрономом в Клинском земстве Московской губернии. Встреча с крестьянкой Е. П. Смогалевой (урожденной Бадыкиной). Начало совместной жизни с ней и пасынком Яковом (погиб в годы Гражданской войны на стороне Красной армии).

*1904* - Работа в вегетационной лаборатории профессора Д. Н. Прянишникова в Петровской сельскохозяйственной академии. Переезд в Петербург. Работа секретарем у крупного петербургского чиновника В. И. Филипьева. Первый рассказ «Домик в тумане» (не напечатан).

*1905* - Работа агрономом в г. Луге на опытной станции «Заполье» и в журнале «Опытная агрономия». Составление сельскохозяйственных книг: «Картофель в полевой и огородной культуре» и др. Первые записи в Дневнике. Начало работы корреспондентом в газетах «Русские ведомости», «Речь», «Утро России», «День» и др. Накануне Рождества смерть первого сына Сережи (родился в 1903 или 1904 г.).

*1906* - Жизнь в Петербурге. Рождение сына Льва (стал журналистом, фотографом, писал под фамилией Алпатов-Пришвин; умер в 1957 г.; оставил неопубликованные воспоминания об отце, которые хранятся в ИРЛИ). Знакомство с этнографом Н. Е. Ончуковым. Поездка в Олонецкую губернию за сбором фольклорного и этнографического материала. Первый напечатанный рассказ «Сашок» (в журнале «Родина»). Работа над книгой «В краю непуганых птиц» (издана в 1907 г. в Петербурге в издательстве А. Ф. Девриена).

*1907* - Поездка в Карелию и Норвегию. Работа над книгой «За волшебным колобком» (издана в 1908 г. в том же издательстве). Знакомство с А. М. Ремизовым.

*1908* – Поездка в Керженские леса Нижегородской губернии на Светлое озеро (к граду Китежу). Знакомство с З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковским и Д. В. Filosoфoвым. Работа над книгой «У стен града невидимого» (отдельные главы публиковались в журнале «Русская мысль» в первых трех номерах за 1909 г.; полностью опубликована в том же году в московской типолитографии т-ва И. Н. Кушнере и КО. Вступление в петербургское Религиозно-философское общество. Встреча с В. В. Розановым. Знакомство с религиозной сектой «Начало века» и ее вождем П. М. Легкобытовым.

*1909* – Укрепление связей с хлыстами и подготовка их к выступлению на заседании Религиозно-философского общества. Весна в Хрущеве. Знакомство с М. Волошиным. Поездка в заиртышские степи. Работа над «Черным арабом» (впервые опубликован в 1910 г. в «Русской мысли») и очерком «Адам и Ева» о судьбах переселенцев. Рождение сына Петра (зоотехник по образованию, помощник и участник многих путешествий писателя по стране, в том числе на Соловки и Беломорканал в 1933 г.; последние годы жизни работал в Завидовском военном охотничьем хозяйстве, умер в 1987 г., оставил неопубликованные воспоминания, которые хранятся в Государственном орловском Литературном музее). Новая встреча с В. В. Розановым и объяснение по поводу истории с исключением из гимназии. Окончание «романа» с Розановым.

*1910* – Избрание действительным членом Императорского Географического общества за книгу «В краю непуганых птиц». Статья Р. В. Иванова-Разумника «Великий Пан» о творчестве Пришвина. Работа над «Крутоярским зверем» и «Птичьим кладбищем».

*1911* – Начало знакомства с М. Горьким. Жизнь в Новгородской губернии (д. Лаптево, Мшага, Песочки).

*1912* - Публикация рассказа «Никон Староколенный» в альманахе «Шиповник».

*1912-1914* - Выход сочинений в трех томах в издательстве «Знание».

*1913* - Выход сборника «Заворошка» (Московское книгоиздательство). Поездка в Крым. Опубликована повесть «Славны бубны» (Заветы. 1913. № 10).

*1914* - Публикация очерка «Астраль». Смерть матери - М. И. Пришвиной (урожденной Игнатовой). Раздел родового имения. Начало систематического ведения Дневника.

*1915-1916* —Поездка на фронт в качестве военного корреспондента. Очерки «В Августовских лесах» («Биржевые ведомости»). Строительство дома в Хрущеве.

*1916-1917* - Работа секретарем в Министерстве торговли и промышленности в Петрограде.

*1917, весна* - Поездка в Хрущеве в качестве делегата Временного Комитета Государственной думы. Конфликты с крестьянами. Осенью возвращение в Петроград. Работа редактором литературного отдела газеты партии правых эсеров «Воля народа».

*1918* - Двухнедельное тюремное заключение в январе. Статья «Большевик из „Балаганчика“». Обмен резкими письмами с Блоком. Рассказ «Голубое знамя» (в газете «Раннее утро»). Весной поездка в Хрущеве. Летом начало романа с С. П. Коноплянцевой. Осенью изгнание из дома восставшими крестьянами. Отъезд жены и младшего сына Петра в Смоленскую губернию.

*1919* - Жизнь «коммуной» с Коноплянцевыми. Работа библиотекарем, экспертом по вопросам археологии, организатором краеведения, назначение на должность учителя географии в елецкую гимназию. Летом нашествие Мамонтова и отказ от перехода на сторону белых. Работа над пьесой «Чертова ступа» (опубликована в собрании сочинений 1935-1939 гг.).

*1920* – Разрыв с С. П. Коноплянцевой. Переезд к жене в Смоленскую губернию. Работа школьным учителем («шкрабом»), организатором Музея усадебного быта в бывшем имении Барышникова. Период «литературного молчания».

*1921* – Написана повесть «Мирская чаша» (впервые опубликована в сокращенном виде в 1979 г. в журнале «Север»). Переписка с Р. В. Ивановым-Разумником и Н. А. Семашко.

*1922-1924* – Получение комнаты в Москве в Доме писателя на Тверском бульваре. Переезд с семьей в Талдомский район Московской области. Работа над книгой «Башмаки», охотничьими рассказами. Публикации в новых советских газетах и журналах. Начало работы над автобиографическим романом «Кашеева цепь». Первая часть под названием «Хроника» опубликована в 1923 г. в журнале «Красная новь».

*1925* – Переезд в г. Переславль-Залесский, жизнь на «Ботике» (дворец Петра Великого). Краеведческая работа. В августе выходит книга «Родники Берендея» («Красная новь»).

*1926* – Покупка дома в Загорске. Опубликованы очерки «Торф» («Рабочая газета») и рассказ «Охота за счастьем» («Новый мир»).

*1927* – Выход собрания сочинений в семи томах в Гослитиздате с предисловием М. Горького (закончено в 1930 г.). Опубликованы завершающие звенья «Кашеевой цепи». Присоединение к литературной группе «Перевал».

*1928* – Встреча в Ленинграде с С. В. Ефимовой (Козочкой).

*1929* – Выход второго издания собрания сочинений в шести томах. Закончено в 1931 г. Полностью опубликована в «Новом мире» «Журавлиная родина».

*1930* – Травля со стороны РАППа.

*1931* - Статья «Нижнее чутье» в «Литературной газете». Выход из «Перевала». Поездка на Урал по командировке журнала «Наши достижения». Поездка на Дальний Восток от редакции газеты «Известия».

*1932* - Работа над книгой «Золотой рог» и повестью «Жень-шень». Осенью речь на Пленуме организационного бюро по подготовке Первого съезда советских писателей.

*1933* —Юбилей. Книга «Мой очерк» с предисловием А. М. Горького.

Поездка на Север: Соловки, Беломорский канал. Очерки «Отцы и дети» («Онего-Беломорский край») и «Соловки».

*1934* - Участие в работе Первого съезда советских писателей. Избрание в члены правления Союза писателей. Поездка в г. Горький для изучения автомобильного дела. Работа над киносценарием «Хижина старого Лувена». Помощь сосланному в г. Саратов Р. В. Иванову-Разумнику.

*1935* - Поездка в северные леса на Пинегу. Очерки «Берендеева чаща». Выход собрания сочинений в четырех томах (1935-1939).

*1936* - Конфликт с С. Я. Маршаком. Поездка в Кабарду по заданию редакции газеты «Известия».

*1937* - Вынужденное сближение с функционерами Союза писателей Ставским, Панферовым. Получение четырехкомнатной квартиры в Москве в писательском доме в Лаврушинском переулке. Фактический разрыв с Е. П. Смогалевой.

*1938* - Поездка на автомобиле в г. Кострому на весенний разлив. Работа над первой частью романа «Осударева дорога» («Падун») и над книгой «Серая Сова» (опубликована в журнале «Молодая гвардия»).

*1939* - Награждение орденом «Знак Почета». Написаны повесть «Неодетая весна» и цикл рассказов «Лисичкин хлеб».

*1940* - Передача архива Литературному музею. Знакомство и женитьба на В. Д. Лебедевой (1899-1979, многолетняя помощница писателя, хранитель его архива и Дома-музея Пришвина в Дунине; автор нескольких книг о творчестве Пришвина). Написаны «Фацелия», «Лесная капель». Их публикация начата и приостановлена «Новым миром».

*1941* - Командировка в Весьегонское военно-охотничье хозяйство.

*Август* - эвакуация в д. Усолье Ярославской области.

*1943* - Работа над «Повестью нашего времени». Возвращение в Москву. Написаны «Рассказы о ленинградских детях». Награждение в связи с семидесятилетием орденом Трудового Красного Знамени. В издательстве «Советский писатель» выходят «Фацелия» и «Лесная капель».

*1944* - Встреча с М. И. Калининым и отказ в публикации «Повести нашего времени» (опубликована в 1957 г.).

*1945* - Написана «Кладовая солнца» и рассказ «Старый гриб».

*1946* - Работа над «Осударевой дорогой». Покупка дома в д. Дунино Звенигородского района Московской области. Подготовка материалов к книге «Глаза земли».

*1947* - «Осударева дорога».

*1948* - Редакция журнала «Октябрь» (главный редактор Ф. Панферов) отвергает рукопись «Осударевой дороги» и требует значительной переработки романа.

*1949* - Новые редакции «Осударевой дороги». Роман отдан в «Новый мир» К. Симонову и пролежал год без движения (опубликован в 1957 г. в первой редакции согласно воле автора).

*1951* - Опубликован рассказ «Заполярный мед». Выход избранных произведений в двух томах в Гослитиздате.

*1952-1953* - Работа над «Корабельной чашей» (опубликована в 1954 г. в «Новом мире») и незаконченной книгой «Искусство как образ поведения», частично включенной в последнюю редакцию «Кашеевой цепи».

*1953, 5 марта* - Умерла первая жена М. М. Пришвина Е. П. Смогалева.

*1954, 16 января* - М. М. Пришвин скончался в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

*Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 7 т. М. – Л., 1927–1930.

*Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1935–1939.

*Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1956–1957.

*Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1982–1986.

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.

*Пришвин М. М.* Дневник. Т. 1. 1914–1917 гг. М., 1991.

*Пришвин М. М.* Дневник. Т. 2. 1918–1919 гг. М., 1994.

*Пришвин М. М.* Дневник. Т. 3. 1920–1922 гг. М., 1995.

*Пришвин М. М.* Дневник. Т. 4. 1923–1925 гг. М., 1999.

*Пришвин М. М.* Дневник 1927 года // Россия. 1997.

№ 7.

*Пришвин М. М.* Дневник 1930 года // Октябрь. 1989.

№ 7.

*Пришвин М. М.* Дневник 1931–1932 годов // Октябрь. 1990. № 1.

*Пришвин М. М.* Дневник 1936 года // Октябрь. 1993. № 10.

*Пришвин М. М.* Дневник 1937 года // Октябрь. 1994. № 11; 1995. № 9.

*Пришвин М. М.* Дневник 1938 года // Октябрь. 1997. № 1.

*Пришвин М. М.* Дневник 1939 года // Октябрь. 1998. № 2, 11.

*Пришвин М. М.* Дневник 1942 года // Человек. 1990. № 2–4.

*Пришвин М. М.* Из Дневника 1945 года // Образ. 1995. № 2.

*Пришвин М. М.* Леса к «Осударевой дороге». Из Дневников 1931–1952 гг. // Наше наследие. 1990. № 2.

Письма М. М. Пришвина А. М. Ремизову. Вступит. ст., подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3.



- Пришвин о Розанове // Контекст—1990. М., 1990.
- Пришвин М. М.* Творить будущий мир. М., 1989.
- Пришвин М. М., Пришвина В. Д.* Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996.
- Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., 1991.
- Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М. – Л., 1925.
- Гибет Е.* Михаил Пришвин рапортует XVII съезду // Вопросы литературы. 1977. № 8.
- Дворцова Н. П.* Творческий путь М. М. Пришвина и русская литература начала XX века / Дисс. на соиск. уч. степ. доктора филол. наук. М., 1994.
- Гиппиус З. Н.* Дневники. В 2 т. М., 1999.
- Григорьев М.* Бегство в Берендеево царство // На литературном посту. 1930. № 9—10.
- Григорьев М.* Пришвин, алпатовщина и «Перевал» // Литературная газета. 1930. № 57. 4 декабря.
- «Дорогая моя и любимая Варя...» Письма Р. В. Иванова-Разумника к В. Н. Ивановой из саратовской ссылки. Публ. В. Г. Белоуса // Минувшее. Вып. 23. СПб., 1998.
- Ефремин А.* Михаил Пришвин // Красная новь. 1930. № 9—10.
- Замошкин Н.* Творчество Мих. Пришвина. К вопросу о генезисе попутничества // Печать и революция. 1925. Кн. 8.
- Иванов-Разумник Р. В.* Черная Россия // Заветное. Пг., 1922.
- Иванов-Разумник Р. В.* Великий Пан // Творчество и критика. Пг., 1922.
- Иванов-Разумник Р. В.* Тюрьмы и ссылки. М., 2000.
- Курбатов В.* Михаил Пришвин. М., 1986.
- Литературный фронт. История политической цензуры. 1932–1946 гг. Сборник документов. М., 1994.
- Мамонтов О. Н.* Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Русская литература. 1986. № 2.

Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М., 1995.

Михаил Пришвин и русская культура XX века. Тюмень, 1998.

*Мстиславский С.* Мастерство жизни и мастера слова // Новый мир. 1940. № 11. С. 274. Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934.

*Платонов А.* Размышления читателя. М., 1980.

*Пришвин А. С.* Вечные строки // Дальний Восток. 1971. № 11. Пришвин и современность. М., 1978.

*Пришвина В. Д.* Жизнь как слово // Москва. 1972. № 9.

*Пришвина В. Д.* Пришвин в Дунине. М., 1978.

*Пришвина В. Д.* Наш Дом. М., 1980.

*Пришвина В. Д.* Круг жизни. М., 1981.

*Пришвина В. Д.* Путь к слову. М., 1984.

Против буржуазного либерализма в художественной литературе (Дискуссия о «Перевале»). М., 1931.

*Соколов-Микитов И. С.* На теплой земле. Л., 1978.

*Соколов-Микитов И. С.* Из карачаровских записей // Новый мир. 1991. № 12.

*Солнцева Н. М.* Китежский павлин. М., 1992.

*Тимрот А. Д.* Пришвин в Московском крае. М., 1973.

*Хмельницкая Т.* Творчество Михаила Пришвина. Л., 1969.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682), протопоп, идеолог раскола 108, 220

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1939), критик 331

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), критик 167

Аксюша, домработница в семье М. М. Пришвина в 30-е годы 278, 404–407, 410–412, 419, 421, 427, 434, 493

Акулина, знакомая Е. П. Смогалевой 84

Александр II, имп. (Романов Александр Николаевич) (1818–1881) 59, 163, 210

Александр Невский (Александр Ярославич, в схиме Алексей) (1220–1263), святой благоверный великий князь 277

Александр III, имп. (Романов Александр Александрович) (1845–1894) 38

Алпатов-Пришвин Лев Михайлович (1906–1957), сын М. М. Пришвина, журналист 87, 93, 164, 169, 197, 199–200, 202, 206, 222–224, 236, 304, 317, 324, 416, 420–421, 525

Альмединген Алексей Николаевич (1855–1908), журналист, педагог, издатель 390

Амвросий (в миру Гренков Александр Михайлович), старец Оптиной пустыни (1812–1891), 10, 14, 174

Андреев Андрей Андреевич (1895–1971), советский государственный партийный деятель 360

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель 10, 77, 114, 208

Андреева Мария Федоровна (наст. фам. Юрковская) (1868–1953), актриса 86

Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт 113

Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ 36

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930), этнограф, писатель 97, 108

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель 77

Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт 442

Ауслендер Сергей Абрамович (1886 или 1888–1943), писатель 115

Ахматова (наст. фам. Горенко) Анна Андреевна (1889–1966), поэтесса 102, 113, 357–358, 393, 460, 463

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), писатель 235

Бабореко Александр Кузьмич (1913–1999), литературовед 497, 509

Багрицкий (наст. фам. Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт 351

Бадыкины, семья, в которой родилась Е. П. Пришвина, первая жена М. М. Пришвина 83, 99

Бакулев Александр Николаевич (1890–1967), хирург 492

Бальзак Оноре де (1799–1850), писатель 91

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт 99, 107

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 19

Барков Иван Семенович (по другим данным Степанович) (1732–1768), поэт, переводчик 31

Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917), фольклорист, исследователь древнерусской письменности 96

Барышников, владелец усадьбы в Алексине 527

Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975), литературовед 257, 509

Бebelь Август (1840–1913), немецкий политический деятель, социал-демократ 54–55, 175, 433

Бедный Демьян (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) (1883-1945), поэт 234, 369, 376

Бейлис Мендель Тевье (1874-1934), приказчик кирпичного завода, обвиняемый в совершении ритуального убийства, оправданный судом 134

Бекренев, знакомый М. М. Пришвина по елецкой гимназии 36

Белинский (Белынский) Виссарион Григорьевич (1811-1848), критик 222, 263, 482-483, 487

Белоус Владимир Григорьевич (р. 1951), литературовед 356, 516, 529

Белый Андрей (наст. имя Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934), поэт 107, 113-114, 120-121, 123, 126, 167, 212, 331-333, 345-346, 350, 353-357, 380, 403, 466, 499, 515

Бердяев Николай Александрович (1874-1949), философ 53, 77, 107, 109, 113, 122, 124, 155, 400, 475, 499

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953), государственный деятель 360, 371, 474

Бжезинский Збигнев (р. 1928), американский политолог 209

Блок Александр Александрович (1880-1921), поэт 39, 43, 46, 74, 102, 107, 113-116, 118, 123-126, 128, 132, 152, 156, 165-171, 173, 177-178, 210, 212-213, 215, 217, 219, 224, 228, 231, 248, 258, 264, 268, 311, 346, 353, 355, 364, 402-403, 456, 475, 487, 495, 497, 499, 502, 506, 526

Бобринский, граф, владелец Богородских хуторов в Тульской губернии 90, 525

Богомолов, житель Ельца 24

Боков Виктор Федорович (р. 1914), поэт 45, 473

Большаков, агроном 398

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873-1955), деятель большевистской партии, автор работ по истории религиозно-общественных движений в России 109, 135, 398-399, 500

Бострем Георгий Эдуардович (1884-1977), художник, знакомый Пришвина по Загорску 262, 322

Брик Осип Максимович (Ося) (1888-1945), теоретик литературы 325—326

Брихничев Иона Пантелеймонович (1879-1968), публицист, поэт, издатель 165

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926), военачальник 181

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924), поэт 113-114, 123-124, 131, 273, 308

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), писатель 178, 208, 232, 292-293, 357, 460

Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944), философ, богослов 19-20, 53, 120, 122, 210, 357, 464, 499

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), писатель 6-8, 10-11, 15, 18-19, 27, 54, 58-59, 66, 77, 81, 90, 99, 103, 113-114, 117, 137-139, 144, 158-163, 165, 167, 172-174, 177, 203, 208-211, 214-215, 217-219, 228, 241, 251, 253-254, 257, 275-278, 303, 487, 493-494, 498-499, 501-503, 506

Бунин Юлий Алексеевич (1857-1921), литератор, брат И. А. Бунина 54, 58, 66

Буренин Виктор Петрович (1841-1926), поэт и публицист 167

Бутов Михаил Н., один из елецких руководителей при советской власти 176

Бутягина-Розанова (урожд. Руднева) Варвара Дмитриевна (ок. 1864-1923), вторая жена В. В. Розанова 40-41, 42

Бухарин Николай Иванович (1888-1938), советский партийный и государственный деятель 349, 359, 362-363, 381, 398

Варя см. Измалкова Варвара Петровна

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933), художник 387

Введенская (урожд. Коноплянцева) Мария Михайловна, родная сестра А. М. Коноплянцева 479

Ведекинд Франк (1864–1918), немецкий писатель, драматург 75

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), литературовед 107

Вересаев (наст. фамилия Смидович) Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель 13, 208, 292, 475, 478

Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), писатель 272

Волков Олег Васильевич (1900–1996), писатель 463

Волошин (наст. фамилия Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт 39, 174, 526

Волуйский Илья Мелитонович, знакомый Пришвина по Ельцу 61

Воробьев Константин Дмитриевич (1919–1975), писатель 10

Воронов Андрей Петрович (1864–1912), историк и этнограф Олонецкого края 93

Воронский Александр Константинович (1884–1937), партийный деятель, издатель, публицист 225–226, 235–236, 265, 374, 507

Выходцев Петр Созонтович (1923–1994), литературовед 153

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954), философ 77

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1939), юрист, дипломат, ректор Московского университета 223, 369

Вэша-Куонэзин (наст. имя Джорж Стеэнсфельд Белани) (1888–1938), канадский писатель и естествоиспытатель 390

Гамсун (Педерсен) Кнут (1859–1952), норвежский писатель 43, 120, 309, 433

Гарibaldi Джозеппе (1807–1882), народный герой Италии 13

Гельфанд М., рапповский критик 311—312

Герасимова Валерия Анатольевна (1903–1970), писательница 378

Гернеш, начальник культурно-воспитательной части Соловецкого лагеря 338, 340

Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, общественный деятель 196, 203, 419

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), политический деятель, депутат Государственной думы 12

Герценштейн Софья Яковлевна, сестра М. Я. Герценштейна, жена двоюродного брата М. М. Пришвина 12

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк литературы 97, 102, 104, 132, 180

Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель 178, 334, 393, 453

Гибет Е., литературовед 514, 529

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), славяновед, собиратель и исследователь былин 97

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, литературный критик, выступала под псевдонимом Антон Крайний 6, 11, 42, 77, 95, 104, 106–107, 109–116, 123, 126, 128, 155, 164, 168, 184, 215, 217, 250, 263, 311, 353, 379, 382, 407, 430–432, 456, 466, 475, 499, 501–502, 516, 520, 526, 529

Гиппиус Наталья Николаевна (Ната) (1880–1963), сестра З. Н. Гиппиус 431

Гиппиус Татьяна Николаевна (Тата) (1877–1957), сестра З. Н. Гиппиус 430—432

Гитлер (наст. фам. Шикльгруббер) Адольф (1889–1945) 433, 454

Гладков Федор Васильевич (1883–1958), писатель 355, 380



Глотова Анна Ивановна, приятельница М. М. Пришвина 65

Гоголь (Гоголь-Яновский) Николай Васильевич (1809–1852), писатель 10, 350, 367, 393, 427, 435, 445

Голикова Анна Харлампиевна (Жучка), знакомая М. М. Пришвина по Ельцу 62

Голофеев, однокашник М. М. Пришвина по елецкой гимназии 23—24

Голубкина Анна Семеновна (1864–1927), скульптор 470

Гончаров Иван Александрович (1812–1891), писатель 91, 216

Горбачев Василий Александрович (1870–1906), студент Рижского политехникума, политический ссыльный 58

Горбов Дмитрий Александрович (1894–1967), литературовед 513

Горнфельд Аркадий Григорьевич (1867–1941), литературовед 355

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт 115

Горшков Иван Никитич (1888–1961), председатель Елецкого уездного комитета РКП(б) 176

Горький Максим (наст. имя Пешков Алексей Максимович) (1868–1936), писатель, общественный деятель 12, 39, 45, 48, 53, 71, 74–75, 86, 102–103, 107, 113–114, 118, 120, 130, 137, 146, 159, 165, 202, 208, 224, 231, 237, 247–248, 267–268, 272, 284, 293–296, 308, 331, 334, 337, 341–342, 345, 350, 353, 356, 360, 365, 372–373, 375, 378, 384, 426, 487, 507, 526—527

Горячев Павел, прапорщик, знакомый С. В. Ефимовой 185

Греч Николай Иванович (1787–1867), литератор 161

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), писатель и дипломат 476

Григорьев Михаил Степанович (1890—?),  
литературовед 308-311, 513, 529

Григорьева, жена писателя Сергея Тимофеевича  
Григорьева (наст. фамилия Григорьев-Петрашкин)  
(1875-1953) 47

Грин (наст. фам. Гриневский) Александр Степанович  
(1880-1932), писатель 208

Гришунин Андрей Леопольдович (р. 1921),  
литературовед 63, 497—498

Громов Михаил Михайлович (1899-1985), летчик 379

Гронский Иван Михайлович (1894-1985),  
литературно-партийный деятель 331

Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт 74

Давыдов Константин Николаевич (1877-1960),  
ученый, зоолог-морфинист и эмбриолог 88, 103, 125, 129

Дворцова Наталья Петровна, литературовед 29, 39,  
136, 387, 496, 500, 529

Девриен Альфред Федорович (1842 - после 1918),  
издатель 102-103, 231, 525

Дедков Игорь Александрович (1934-1994), критик 30

Дедков Николай И., ученик М. М. Пришвина 205, 222  
—223

Деникин Антон Иванович (1872-1947), генерал  
Белой армии 217

Десницкий, учитель гимназии, где преподавал В. В.  
Розанов 36—37

Добролюбов Александр Михайлович (1876—?), поэт  
123—124

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861),  
критик, публицист 482

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881),  
писатель 11, 47, 92, 142, 160, 191, 232, 265, 277, 350,  
369, 379, 383, 385, 412, 435, 439, 441-442, 445

Дуничка см. Игнатова Е. Н.

Еголин Александр Михайлович (1896-1959),  
литературовед 442

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт 10, 74, 214, 235, 238, 353

Ефимова Софья Васильевна (Козочка) (р. около 1900—?), знакомая М. М. Пришвина 183–188, 190, 287–289, 429, 527

Ефремин Александр Владимирович (1888—?), критик 244, 255, 309–310, 508–509, 513, 529

Желудков, учитель женской гимназии в Ельце 36—37

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт 19

Закс Николай Александрович, директор елецкой гимназии 23, 27

Замошкин Николай Иванович (1896–1960), критик 33, 60, 76, 235, 310, 492, 496, 507, 529

Замятин Евгений Иванович (1884–1937), писатель 10, 53, 74, 133, 259, 272, 304, 319

Зарудин Николай Николаевич (1899–1937), писатель, председатель литературной группы «Перевал» 310  
Захар, елецкий крестьянин 196

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), писатель 302

Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель 460

Зоя, невестка М. М. Пришвина 370

Зубрилин, агроном 398

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург 320

Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич (1878–1946), критик 39, 43, 53, 94, 103, 113, 116–117, 132–133, 165, 168, 179, 210, 213–217, 219, 227, 233, 263, 272, 298, 317, 346, 353–365, 368, 370–372, 380–381, 399–403, 423, 432, 466, 496, 498–500, 506, 516–518, 526–527, 529

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель 235, 292, 473

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт 107, 125, 134, 180

Иванова Варвара Николаевна (урожд. Оттенберг) (1888–1946), жена Р. В. Иванова-Разумника 358, 371–372, 516, 529

Иванова Ирина Разумниковна, дочь Р. В. Иванова-Разумника (1908–1996) 371–372.

Ивнев Рюрик (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев) (1891–1981) 331

Игнатов Василий Николаевич, один из организаторов группы «Освобождение труда», племянник матери М. М. Пришвина 12

Игнатов Иван Иванович, дядя М. М. Пришвина 14, 50–51, 525 Игнатов Илья Николаевич (1858–1921), двоюродный брат М. М. Пришвина 90, 141

Игнатова Евдокия Николаевна (1852–1936) (Дуничка), двоюродная сестра М. М. Пришвина, учительница 12–14, 38, 141, 205

Игнатова Мария Васильевна (Марья Моревна) (18...—1908), двоюродная сестра М. М. Пришвина 15—16

Измалкова Варвара Петровна (Варя, В.), первая любовь М. М. Пришвина 63–66, 69, 71–75, 118–119, 136, 182–183, 200, 253, 288, 400, 428–429, 431, 497, 525

Ильенков Василий Павлович (1897–1967), писатель, сотрудник редакции журнала «Октябрь» 457

Ильин Иван Александрович (1882–1954), философ 400

Илья Исидорович см. Фондаминский И. И.

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), поэтесса 235

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), государственный и партийный деятель 331

Казин Василий Васильевич (1908–1981), поэт 473

Калинин Михаил Иванович (1875–1946), государственный партийный деятель 293, 447–448, 460, 528

Калмыков Бетал (1893–1940), руководитель Кабардино-Балкарии 359

Каманин Федор Георгиевич (1897–1979), писатель 414, 416–417, 420, 493

Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), деятель большевистской партии 292, 318–319, 357

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ 66

Капица Петр Леонидович (1894–1984), ученый-физик 474, 477, 489, 493

Каплан Фанни (наст. имя Фейга Хаимовна Ройтблат) (1887–1918), эсерка, совершившая покушение на Ленина 191

Караваева Анна Александровна (1893–1979), писательница 378

Карсавин Лев Платонович (1882–1952), историк 224

Карташов (Карташев) Антон Владимирович (1875, по другим данным, 1870–1960), философ, историк церкви 126, 128, 165, 430—432

Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель 223, 235, 273, 360

Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875–1948), актер 436

Кедринский, елецкий знакомый В. В. Розанова 36

Керенский Александр Федорович (1881–1970), политический деятель 163, 175, 307, 365, 430

Клычков (наст. фам. Лешенков) Сергей Антонович (1889–1937), поэт, прозаик 233

Клюев Николай Алексеевич (1887–1937), поэт 107, 123–124, 126, 165, 214, 357

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк 347

Кодрянская Наталья Владимировна (1906–1983), писательница 499—500

Кожевников Алексей Венедиктович (1891–1980), писатель 414—416

Кожин Вадим Валерьянович (1930–2001),  
литературовед 10, 450, 468, 478

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918), министр  
Временного правительства 164

Колосов Евгений Евгеньевич (1879–1937), эсер и  
депутат Учредительного собрания 356

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 10

Кольцов Михаил Ефимович (1898–1942), журналист  
351

Коля см. Пришвин Н. М.

Кондратович Алексей Иванович (1920–1984),  
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»  
489

Коненков Сергей Тимофеевич (1874–1971),  
скульптор 65, 470

Корде д'Армон Шарлотта (1768–1793), убийца Ж. П.  
Марата 184

Коноплянцев Александр Михайлович (1876—?),  
гимназический товарищ М. М. Пришвина 39, 60, 90, 92–  
93, 104, 140, 187–188, 195, 197, 201, 217, 331, 339, 348,  
420, 423, 434, 479, 527

Коноплянцев Михаил Алексеевич, сын А. М.  
Коноплянцева 434

Коноплянцева (урожд. Покровская) Софья Павловна  
(1883—?) (Соня, Ульяна, Липа, Ланская, Мстиславская,  
С., С. П.), жена А. М. Коноплянцева 81, 187–189, 193,  
195, 197–201, 216–217, 285, 290, 399, 423, 429, 526—527

Коншина Т. И., племянница И. И. Игнатова 51

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921),  
писатель, публицист 108

Крайний Антон см. Гиппиус З. Н.

Крупкин Н. П., елецкий знакомый М. М. Пришвина  
20, 24

Кугель Александр Рафаилович (1864–1928),  
театральный критик 186

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт 104, 107, 126

Кузнецов Василий Васильевич (?—1923), скульптор 431

Кузнецова Галина Николаевна (1900–1976), писательница, знакомая И. А. Бунина 215

Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель 77, 208, 241

Курбатов Валентин Яковлевич (р. 1939), литературовед 26, 34, 60, 71, 98, 387, 495–497, 530

Кушнер И. Н., издатель 526

Кютнер Роман Васильевич, товарищ М. М. Пришвина по революционному кружку 62

Лавров Александр Васильевич (р. 1949), литературовед 356

Лапин П. Н., знакомый Пришвина в 10-е годы 141

Лебедев Александр Владимирович (ум. в 1979), первый муж В. Д. Пришвиной 425

Лебедева-Критская Н. А., хозяйка усадьбы в Дунине 470

Левитан Исаак Ильич (1860–1900), художник 65

Левитов Александр Иванович (1835–1877), писатель 247

Легкобытов Павел Михайлович (1863–1937), один из руководителей хлыстовской секты «Новый Израиль» 109–110, 125–128, 134–136, 178, 183, 192, 232, 361, 378, 457, 462, 526

Лежнев (наст. фам. Альтшуллер) Исай Григорьевич (1891–1955), литературный критик 309, 513

Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) 124, 164, 175, 184, 191, 204, 226–227, 241, 262, 265, 293, 304, 367, 368, 380, 381, 451, 454–455, 460, 483

Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель 133, 256, 334, 360, 461

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), писатель, философ 187, 322, 385

Леонтьев Ярослав Викторович, литературовед 356  
Лепешинская Ольга Васильевна (р. 1916), балерина 493  
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт 19, 31,  
142, 274, 381, 408

Лесков Николай Семенович (1831-1895), писатель  
10, 350 Лидин (наст. фам. Гомберг) Владимир  
Германович (1894-1979), писатель 235

Локс Константин Григорьевич (1889-1956),  
литературный критик 345

Лосев Алексей Федорович (1893-1988), философ 400

Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965), философ  
224

Луговской Владимир Александрович (1901-1957),  
поэт 328

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933),  
деятель большевистской партии 197, 202, 273, 393—394

Лысенко Трофим Денисович (1898-1976), биолог и  
агроном 477

Львов-Рогачевский (наст. имя Василий Львович  
Рогачевский) (1873-1930), критик и литературовед 223

Любовь Александровна см. Ростовцева Любовь  
Александровна Майоров Александр Иванович, загорский  
графоман 333

Максимов Сергей Васильевич (1831-1901), писатель,  
этнограф 94, 100, 108

Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) Дмитрий  
Наркисович (1852-1912), писатель 51, 91-92, 400, 402

Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович  
(1869-1920), военачальник 199, 527

Мамонтов О. Н., литературовед 33, 496, 530

Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938), поэт  
224, 235, 357-358 Марат Жан Поль (1743-1793), один из  
вождей якобинцев 184

Мария Федоровна, имп. (1847-1928) 73

Маркс Карл (1818-1883) 30, 53, 58, 61, 175, 229, 273,  
393, 487



Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964), поэт 349-351, 360, 381, 442, 527

Марья Федоровна см. Андреева М. Ф.

Маслов Семен, знакомый Пришвина по Ельцу 61  
о. Матфей (Константиновский Матвей Александрович) (1791-1857), священник, духовник Н. В. Гоголя 427

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930), поэт 199, 212, 219, 234, 238, 261-262, 273, 308

Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский) (1818-1883), писатель 108

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907), ученый-химик 56 Менделеева (в замужестве Кузьмина) Мария Дмитриевна (1886-1952), дочь Д. И. Менделеева 382—383

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941), писатель 39, 42-43, 77, 95, 104-113, 116, 118-119, 123, 125-126, 130, 132, 134, 136-137, 168, 176, 178, 215, 217, 232, 250, 286, 312, 402-403, 408, 430-432, 457, 487, 526

Мерилиз Арчибальд (1797-1877), шотландский коммерсант 241

Мещерская Екатерина Александровна (1904-1985), писательница 271

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888), этнограф 298

Миндлин Эмилий Львович (1900-1980), писатель 519

Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855-1937), писатель 107

Мирбах Вильгельм (1871-1918), германский дипломат 191

Михайлов Е. В., литературовед 176

Михалков Сергей Владимирович (р. 1913), поэт 442

Мопассан Ги (полное имя Анри Рене Альберт Ги) (1850-1893), французский писатель 91

Москвин Иван Михайлович (1874-1946), актер 436

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор 272—273

Мравинский Евгений Александрович (1903–1988), дирижер 474

Мстиславский (наст. фам. Масловский) Сергей Дмитриевич (1876–1943), писатель 434, 520, 530

Муромцева-Бунина Вера Николаевна (1881–1961), жена И. А. Бунина 86, 215, 498, 500

о. Н., старец 405

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), писатель 341

Надежда Ивановна, знакомая М. М. Пришвина по Ельцу 179

Назаров Егор Иванович (1848 или 1849–1900), поэт, прозаик, краевед 138

Налепин Алексей Леонидович (р. 1946), литературовед 26, 495

Наполеон Бонапарт (1769–1821), французский император 158, 265

Нацкий Д. И., елецкий знакомый М. М. Пришвина 23

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт 161, 302, 356

Некрасова Ксения Александровна (1912–1958), поэтесса 474

Нерон, римский имп. (37–68) 13

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец 47, 387, 436

Нестор (XI нач. XII вв.), древнерусский писатель, летописец 443

Никитин Иван Саввич (1824–1861), поэт 10

Никитин Николай Николаевич (1895–1963), писатель 480

Николай Первый, имп. (Романов Николай Павлович) (1796–1855) 15, 94, 215, 243, 395

Николай Второй, имп. (Романов Николай Александрович) (1868–1918) 15, 149–150, 307

Никольский Валентин Михайлович (1923–1988), художник, знакомый М. М. Пришвина в 40—50-е гг. 474

Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед 496

Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ, писатель 38, 419

Новиков-Прибой (наст. фам. Новиков) Алексей Силыч (1877–1944), писатель 233, 360, 371, 475

Носов Евгений Иванович (1925–2002), писатель 10

Обатнина Е. Р., литературовед 500, 529

Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970), литературовед 355—356

Онучков Николай Евгеньевич (1872–1942), этнограф 93, 525

Орешин Петр Васильевич (1887–1938), поэт 214

Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Блэр) (1903–1950), английский писатель и публицист 262, 319, 328

Оршанко Петр Семенович, флотский капитан, друг М. М. Пришвина 471, 474

Островский Николай Алексеевич (1904–1936), писатель 272

Павловна см. Пришвина Ефросинья Павловна Пайпс Ричард (р. 1923), американский политолог 209

Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель, главный редактор журнала «Октябрь» 360, 374, 377, 379–380, 457–458, 528

Паскаль Блез (1623–1662), французский религиозный философ, писатель, математик и физик 36

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт 75, 82–83, 223, 227, 256, 293, 357–358, 478, 489

Пащенко (в замужестве Бибикова) Варвара Владимировна, первая любовь И. А. Бунина 66

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968), писатель 254

Первов Павел Дмитриевич, учитель елецкой гимназии 36

Перовская Софья Львовна (1853–1881), революционерка 42

Петр I, имп. (Петр Алексеевич Романов) (1672–1725) 121, 175, 182, 296, 306, 393–395, 397, 435, 452–453, 475

Петр Карлович, знакомый М. М. Пришвина в Клину 84

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), художник 102, 215, 304, 356

Пешкова Екатерина Павловна (1878–1965), жена А. М. Горького 355

Пильняк (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894–1937), писатель 211, 226, 233–235, 238, 248, 261, 292, 332, 351, 480

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист и литературный критик 483

Пичугин, знакомый М. М. Пришвина в 20-е гг. 246

Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель 10, 100, 179, 219, 229, 265, 267, 387–391, 393–395, 397, 443, 449–450, 519, 530

Платонова, елецкая учительница 179

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), деятель русской социал-демократии 58, 117, 365

Покровский Павел, протоиерей, отец С. П. Коноплянцевой 190, 192

Полежаев Александр Иванович (1804–1838), поэт 31

Полонский (наст. фамилия Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932), критик, историк 267, 269

Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт 10

Поль Олег Владимирович (в постриге Онисим) (1899–1930), религиозный мыслитель, возлюбленный В. Д. Пришвиной 426

Полякова М., критик 312

Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), русский путешественник 119

Пришвин Андрей Сергеевич (1907–1978), племянник Пришвина, писатель 13, 151, 195, 199, 223, 324, 404,

421, 424, 495, 514, 520, 530

Пришвин Михаил Дмитриевич (?—1880), отец М. М. Пришвина 15-16, 51, 525

Пришвин Николай Михайлович (1869-1919), брат М. М. Пришвина 199

Пришвин Петр Михайлович (1909-1987), сын М. М. Пришвина 335, 337-338, 370, 412, 421, 526—527

Пришвин Сергей Михайлович (1903 или 1904-1905), сын М. М. Пришвина 93, 525

Пришвин Сергей Михайлович (1875-1917), брат М. М. Пришвина 27

Пришвина (урожд. Лиорко, в первом браке Лебедева) Валерия Дмитриевна (Ляля, Л.) (1899-1979), вторая жена М. М. Пришвина 5-6, 20, 25-26, 34, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 80, 85, 92, 105, 183, 201, 205, 243, 252, 282, 289-291, 371, 383, 393, 400-417, 419-426, 428-430, 432-440, 442, 446-447, 454-456, 458, 462, 469, 471-472, 475-478, 484, 488, 490, 492-494, 495-496, 498-503, 505, 507-516, 519-523, 528-529.

Пришвина (урожд. Бадыкина, в первом браке Смогалева) Ефросинья Павловна (Фрося, Павловна, Е. П.) (1883-1953), первая жена М. М. Пришвина 47, 60, 80-81, 85-90, 92, 113, 118, 120, 124, 127, 136, 144, 146, 148, 151, 183, 188, 194-195, 197-202, 205, 207, 230, 246, 251-253, 280-281, 283, 289, 297, 316-317, 344, 352, 379, 383, 402-406, 412-417, 419, 421, 423-424, 427-429, 490, 525, 527—528

Пришвина Лидия Михайловна (1866-1918), сестра М. М. Пришвина 106, 199

Пришвина (урожд. Игнатова) Мария Ивановна (Маркиза) (1842-1914), мать М. М. Пришвина 11-13, 38, 85-86, 89, 144, 279, 525—526

Проханов Иван Степанович (1869-1935), русский сектант, издатель 125

Пругавин Александр Степанович (1850-1920), исследователь сектантства 123, 499

Прянишников Дмитрий Николаевич (1865–1948), профессор Петровской сельскохозяйственной академии 525

Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775), предводитель крестьянского восстания 210

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 19, 31, 99, 107, 142, 160–161, 222, 350, 381, 393–396, 441, 453, 467, 475–476, 478, 488

Пяст (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940), поэт 128, 168

Радек (наст. фам. Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939), деятель большевистской партии 362, 381

Радищев Александр Николаевич (1849–1802), революционный мыслитель, писатель 271

Раскольников Федор Федорович (1892–1939), большевик 236

Распутин Валентин Григорьевич (р. 1937), писатель 468

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865–1916), русский политический авантюрист 140, 150, 159

Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905), французский географ и социолог 320

Ремарк Эрих Мария (1898–1970), немецкий писатель 142

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель 5, 7, 31, 39, 40–43, 50, 53, 101–104, 106–107, 112–113, 116–117, 126, 130–133, 139, 148, 163, 168, 174, 184, 186, 214–216, 227, 233, 241, 243, 245, 255, 264, 309, 346, 353, 487, 499–500, 526, 529

Ремизов Алексей Никитич, знакомый М. М. Пришвина в 20-е гг. 307

Ремизова (урожд. Довгелло) Серафима Павловна (1876–1943), жена А. М. Ремизова 40–43, 104, 118, 126, 163, 184

Реформатская Надежда Васильевна (1901–1985),  
литературовед, критик, библиограф 327, 333, 352

Реформатский Александр Александрович (1900–  
1978), языковед 327

Решетовская Наталья Алексеевна (р. 1914), первая  
жена А. И. Солженицына 429

Римская-Корсакова Ирина Владимировна (в  
замужестве Головкина) (1904–1989), писательница 271

Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878–1940),  
музыковед, друг Р. В. Иванова-Разумника 358

Родионов, хирург 492

Родионов Константин Сергеевич (1892—?), ученый-  
пчеловод, знакомый М. М. Пришвина 493

Розанов, хирург Кремлевской больницы 492

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель,  
мыслитель 5, 19–21, 25–31, 34–50, 67, 71, 76–77, 80–81,  
85, 99—100, 102, 104–105, 107, 110–112, 114, 118, 126,  
134, 136–137, 146, 149, 167, 176, 187, 192, 203, 232, 234–  
235, 261, 278–279, 281, 290, 297, 365, 374, 382, 385–386,  
408, 418, 420, 426, 474, 476, 487, 495–500, 510–511, 516,  
518–519, 525–526, 529.

Розанова (урожд. Сулова) Аполлинария  
Прокофьевна (Суслиха) (1840–1916), первая жена В. В.  
Розанова 25, 47–48, 85

Розанова Татьяна Васильевна (1895–1975), дочь В. В.  
Розанова 40, 45, 47–50, 280–282, 496

Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель  
364—365

Романов Михаил Александрович (1878–1918),  
великий князь 149

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938),  
писатель 331

Ростовцева (урожд. Ладыженская) Любовь  
Александровна, соседка Пришвиных по имению 174

Рублев Андрей (ок. 1360—70 ок. 1430), иконописец  
387, 472

Руссо Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ 86, 94

Рыбина Мария Васильевна, домработница Пришвиных 434, 470

Рябинин Иван Тимофеевич, крестьянин Олонецкой губернии 97

Савинков (псевд. В. Ропшин) Борис Викторович (1879–1925), писатель, революционный деятель 238, 250

Савонарола Джироламо (1452–1498), религиозный деятель Италии 61

Салтыков (псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель 271, 302, 367

Сальери Антонио (1750–1825), итальянский композитор 272

Санников Григорий Александрович (1899–1969), поэт 355

Саушкин Юлиан Глебович (1911–1982), географ 95

Свентицкий (Свенцицкий) Валентин Павлович (1879 или 1881/1882—1931), священник 426

Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964), поэт, драматург 360

Свирский Алексей Иванович (1865–1942), писатель 235

Северянин Игорь (наст. имя Игорь Васильевич Лотарев) (1887–1941), поэт 114

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954), писательница 442

Семашко Николай Александрович (1874–1949), врач, деятель большевистской партии, товарищ М. М. Пришвина по гимназии 27–28, 34, 53, 58, 61, 177, 180, 191, 202, 206, 221–224, 263, 272, 292, 317–318, 348, 363, 442, 527

Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944), французский писатель 284

Сергей, муж С. В. Ефимовой 287



Сергий (Радонежский) (1314–1392), русский святой 48, 210

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), писатель 461, 528

Синявский Андрей Донатович (1925–1997), писатель 209, 272

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878), писатель 302

Смирнов Алексей, знакомый М. М. Пришвина по гимназии 37—38

Смирнов Михаил Иванович, директор краеведческого музея в Переславле-Залесском 260

Смирнов Николай Павлович (1898–1978), писатель, критик 26

Смирнова Дарья Васильевна, основательница религиозной секты в Петербурге («Охтенская богородица») 107, 110, 126

Смогалева Филипп, первый муж Е. П. Пришвиной 84

Смогалева Яков Филиппович (ум. 1919), пасынок М. М. Пришвина 84, 199, 525

Смогалева Ефросинья Павловна см. Пришвина Е. П.

Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971), писатель 235

Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович) (1888–1926), писатель 241

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975), писатель 7, 76, 94, 114, 197, 199, 495, 498, 530.

Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель 429, 467—468

Солнцева Наталья Михайловна, литературовед 516, 530

Соловьев Владимир Сергеевич (1863–1900), философ, поэт 77, 107, 120, 122

Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), писатель 126, 134, 137, 165

Ставский (наст. фам. Кирпичников) Владимир Петрович (1900–1943), писатель, журналист 373–374, 377–379, 416, 420, 426, 434, 528

Сталин (наст. фам. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) 56–57, 292–294, 297, 299, 304, 306, 314, 331, 335–337, 342, 348, 358, 360–361, 369, 363–366, 368, 375, 383, 393, 396, 440, 455, 460, 478, 483, 487, 490

Староверов Гаврила, знакомый В. Д. Пришвиной 425—427

Стахович Михаил Александрович (1861–1923), сосед Пришвиных по имению 39, 145

Степанида Максимовна, крестьянка Олонецкой губернии, профессиональная плакальщица 97

Страхов Николай Николаевич (1828–1896), литературный критик, философ, ученый 35

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, философ, публицист 53, 124, 131, 356

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель 26, 63, 208

Сукач В. Г., литературовед 28

Сурков Алексей Александрович (1899–1993), поэт 360

Суркова Клавдия Борисовна, секретарь В. Д. Бонч-Бруевича 399–401, 429

Таня (Тася), сотрудница издательства 286–287, 429

Татьяна Николаевна, мать Тани (Таси) 286

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, общественный деятель 99, 254, 389, 442, 488—489

Тимрот Александр Дмитриевич, литературовед 244, 508, 530

Тирман, соученик М. М. Пришвина по гимназии 23—24

св. Тихон (в миру Белавин Василий Иванович) (1865–1925), патриарх всея России 220, 506

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт 235, 292, 451

Толстая (урожд. гр. Толстая) Мария Николаевна (в постриге м. Мария) (1830–1912) 145

Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого 145

Толстой гр. Алексей Константинович (1817–1875), писатель 10, 215

Толстой Алексей Николаевич (1883–1946), писатель 39, 75, 101–102, 115, 197, 233, 235, 238, 261, 304, 324, 356, 360, 375, 456, 475, 478

Толстой Андрей Львович (1877–1916), сын Л. Н. Толстого 145

Толстой гр. Лев Николаевич (1828–1910), писатель 10, 44, 113, 123, 142, 144–146, 160, 196, 247, 281, 320, 328, 350, 375, 379, 427, 435, 441, 476, 478, 483

Тренев Константин Андреевич (1876–1945), писатель 442, 475

Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981), писатель 265, 379, 412

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), один из вождей большевистской революции 161, 184, 225–226, 292–293, 307, 318, 365, 369

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 7, 10, 12, 77, 172, 483, 487

Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт 10, 439

Удинцев Борис Дмитриевич (1891–1973), племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка 92

Ульрих Василий Данилович (1857–1932), социал-демократ, большевик 58

Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель 297, 302

Успенский Николай Васильевич (1837–1889), писатель 302

Устинов Георгий Феофанович (1888–1932),  
литератор 226

Устьянский Александр Петрович (1855–1922),  
протоиерей в Старой Руссе, затем в Новгороде 44, 386

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875–1942),  
физиолог 418

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский  
писатель 196

Фаворский Владимир Андреевич (1886–1964),  
график, живописец 360, 414

Фадеев Александр Александрович (1901–1956),  
писатель и общественный деятель 335, 374–375, 419,  
436, 442, 461

Федин Константин Александрович (1892–1977),  
писатель, общественный деятель 360, 442, 473, 492

Федоров Николай Николаевич (1828–1903), философ  
265

Федотов Георгий Петрович (1886–1951), философ 53

Фет (Фёт, до 1835 и с 1873/1874 Шеншин) Афанасий  
Афанасьевич (1820–1892), поэт 10, 489

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942),  
писательница, деятель революционного движения 470

Филипьев Виктор Иванович, петербургский  
чиновник 525

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940),  
публицист 106, 110–111, 126, 165, 526

Фишер Анни (1914–1995), венгерская пианистка 79

Флейшман Лазарь Соломонович (р. 1944),  
литературовед 356

Флоренский Павел Александрович (1882–1943),  
религиозный философ, ученый, инженер 47, 400

Фондаминский (Бунаков) Илья Исидорович (1880–  
1942), писатель, общественный деятель 215

Форш (урожд. Комарова) Ольга Дмитриевна (1873–  
1961), писательница 235

Франк Семен Людвигович (1877–1950) 53, 77

Франс Анатолий (наст. имя Анатолий Франсуа Тибо) (1844–1924), французский писатель 173

св. Франциск Асизский (1181(1182)—1226) 191

Фриче Владимир Максимович (1870–1929), литературовед и искусствовед 174

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922), поэт 474

Хмельницкая Тамара Юрьевна (1906–1997), литературовед 530

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939), поэт, критик 254

Хрущов, знакомый М. М. Пришвина по Ельцу 23

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961), американский писатель 142

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937), писатель 235, 372

Чернов Виктор Михайлович (1873–1962), один из основателей партии эсеров 175, 365

Черномашенцев, владелец лавки в Ельце 24

Чернышевский Николай Григорьевич (Гаврилович) (1828–1889), революционер-демократ, писатель, литературный критик 302, 482–483, 487

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), издатель, публицист 427

Чертов Николай, соученик М. М. Пришвина по гимназии 23—24

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель, драматург 12, 22, 63, 99, 113, 137, 208, 228, 362, 429

Чичирев Василий Алексеевич, знакомый М. М. Пришвина в 20-е гг. 245

Чкалов Валерий Павлович (1904–1938), летчик-испытатель 379

Чуковский Корней Иванович (наст. имя Корнейчук Николай Васильевич) (1882–1969), критик, поэт, переводчик 74, 137, 302

Чулков Георгий Иванович (1879–1939), поэт 115

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница 169, 235, 360

Шахматов Алексей Александрович (1864–1920), филолог 93

Шахов Александр Александрович (1895–1956), писатель 45

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт 59

Шестов Лев (наст. имя Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938), философ 104, 132

Шингарев Андрей Иванович (1867–1918), министр Временного правительства 164

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель 51, 102, 231, 235, 304, 475

Шкапская (урожд. Андреевская) Мария Михайловна (1891–1952), писательница 233

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель, литературовед 40, 259, 342, 350, 360

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), писатель 7, 77, 242

Шмоль Вильгельмина В., квартирная хозяйка М. М. Пришвина в Ельце 24

Штейнер Рудольф (1861–1925), немецкий религиозный философ 126, 403

Шукшин Василий Макарович (1929–1974), писатель, кинорежиссер, актер 333

Шумяцкий Борис Захарович (1888–1938), политический и государственный деятель 336

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931), литературовед 102

Щетинин Алексей Г., петербургский сектант 134–136, 322, 378, 463

Эллис (наст. фам. Кобылинский) Лев Львович (1879–1947), поэт и критик 53

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель, общественный деятель 273, 351

Эткинд Александр Маркович (р. 1955),  
литературовед 82, 109, 125, 266

Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970), пианистка  
474

Юшинский Андрей (1900–1911), подросток, в смерти  
которого обвиняли Бейлиса 134

Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938),  
государственный деятель 360, 365, 398

Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя  
Губельман Миней Израилевич) (1878–1943), советский  
государственный и партийный деятель 258

Яшин Александр Яковлевич (1913–1968), поэт 473

Яценко Александр Семенович (1877–1934),  
философ, юрист, литератор 25, 37, 228

# УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. М. ПРИШВИНА

- «Адам и Ева» 526
- «Архары» 237
- «Астраль» 117, 526
- «Башмаки» 231, 267, 527
- «Берендеева чаша» 348-349, 390, 480, 527
- «Большая звезда» 53
- «Большевик из „Балаганчика“ 166-168, 264, 526
- «В Августовских лесах» 526
- «Весна света» 493
- «В краю непуганых птиц» 46, 90, 93-97, 99, 102-103, 107, 132, 232, 334-336, 525—526
- «Глаза земли» 77, 115, 182, 459, 472, 478, 482, 487-488, 528
- «Голубое знамя» 168-169, 186, 260, 287, 526
- «Гусек» 102
- «Длинное ухо» 238
- «Домик в тумане» (неопубл.) 92
- «Жень-шень» («Корень жизни») 119, 142, 291, 329-331, 347, 355, 384, 387-388, 399-400, 416, 434-435, 442, 449-450, 456, 473, 527
- «Журавлиная родина» 46, 63, 85, 90, 97-98, 118, 234, 252, 257-260, 264, 297, 307, 334, 344, 357, 527
- «За волшебным колобком» 48, 98—100, 102-103, 114-115, 130-132, 232, 323, 299, 335-336, 338-339, 408, 526
- «Заворошка» 124, 526
- «Заполярный мед» 528
- «Зеленая дверь» (ненапис.) 286
- «Зеркало человека» 465



«Золотой рог» 355, 357, 362, 527  
«Иван-Осляничек» 133  
«Искусство как образ поведения» 528  
«Календарь природы» 243, 388  
«Картофель в полевой и огородной культуре» 103,  
525  
«Кашеева цепь» («Курымушка», «Детство»,  
«Голубые бобы») 9, 12, 13-14, 16-17, 20-22, 26-34, 37-  
38, 46-50, 52, 55-61, 64-67, 78-79, 83, 96, 128, 134, 174,  
178, 184, 204, 224, 234, 253-257, 264-265, 271, 274-279,  
288, 302, 306, 314, 322, 334-335, 354, 391, 428, 456, 465,  
479, 491, 527—528  
«Кладовая солнца» 26, 129, 449-450, 452, 456, 464,  
480, 528  
«Корабельная чаша» («Слово правды») 6, 129, 459,  
465, 472, 480-483, 487-489, 492, 528  
«Круглый корабль» 125, 135—136  
«Крутоярский зверь» 103, 526  
«Ленин на охоте» 226  
«Лесная капель» 434-435, 528  
«Лисичкин хлеб» 528  
«Любовь Ярика» 243  
«Медведь» 311—312  
«Мирская чаша» («Раб обезьяний») 181, 211-213,  
224-226, 232, 248, 258, 466, 527  
«Михаил Пришвин рапортует XVII съезду» 329, 335  
«Мой очерк» 46, 101, 333, 527  
«Мы с тобой» (Дневник любви) 290, 399-435, 438,  
443-444, 495-496, 503, 518—519  
«Начало века» (ненапис.) 78, 112, 126, 134, 137  
«Невидимый класс» («Радий») 183  
«Незабудки» 26  
«Неодетая весна» 387-390, 398, 404, 407, 528  
«Нижнее чутье» 310-311, 527  
«Никон Староколенный» 116, 210, 297, 526

«Осударева дорога» («Царь», «Царь природы», «Канал», «Новый свет») 6, 22, 26, 129, 175, 250, 344, 381, 390, 392, 442-443, 447, 452-453, 455-468, 479-481, 484, 487-488, 528

«Отец Спиридон» 44

«Отцы и дети» («Онего-Беломорский край») 335-343, 527

«Охота за счастьем» 91, 96, 105, 226, 232, 234, 245, 252, 257, 355, 389, 527

«Падун» («Аврал») 391, 397-398, 419

«Повесть нашего времени» («Мирская чаша») 142, 441-447, 452, 466, 528

«Полярный роман» 325 «Птичье кладбище» 103, 526

«Рассказы о ленинградских детях» («Рассказы о Прекрасной Маме») 448-449, 528

«Родники Берендея» 243-244, 252, 355, 436, 527

«Саморок» 105, 133 «Сашок» 525

«Семибратский курган» 133

«Серая Сова» 390, 528

«Славны бубны» 526

«Смертный пробег» 462

«Соловки» 335-343, 527

«Сопка Маира» 224

«Сорадование» 331

«Старый гриб» 223, 528

«Счастливая гора» (ненапис.) 349

«Сыр» 240 «Торф» 527

«У горелого пня» 103, 133

«У стен града невидимого» («Светлое озеро») 95, 105-109, 115, 131-132, 340, 526

«Фацелия» 119, 291, 387, 421-422, 429, 434-435, 528

«Хижина старого Лувена» 347, 527

«Черный араб» 103, 130-132, 146, 178, 232, 464, 526

«Чертова ступа» 199, 527

«Школьная робинзонада» 203, 226

---

## notes

## **Примечания**

**1**

Пришвин о Розанове // Контекст—1990. М, 1990. С. 196.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. 1923-1925. М., 1999. С. 309.

Пришвин М. М, Пришвина В. Д. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996. С. 28.

**4**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., 1991. С. 28.



Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1956-1957. Т. 6.  
С. 723.

Соколов-Микитов И. С. Из карачаровских записей // Новый мир. 1991. 12. С. 177.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 63.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 723.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 22.

Пришвина В. Д. Путь к слову. М., 1984. С. 13.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 33.

Пришвин А. С. Вечные строки // Дальний Восток.  
1971. № 11. С. 56.



Пришвин М. М. Собр. соч. В 8 т. М., 1982–1986. Т. 8. С. 299.

Вечные строки. С. 56.

Путь к слову. С. 35.

Там же. С. 13-14.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 98.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. 1920-1922. М., 1995. С. 274.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. 1914-1917. М., 1991. С. 180.

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
29.3.1928.



Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 545.

Там же. С. 426.

Там же. С. 530.

Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 712.

«В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии» («Жизнь Арсеньева»). И чуть дальше: «Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто „по вольности дворянства“, как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне „логично“, – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура». Сам же герой объясняет свое решение следующим образом: «И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать „вторым Пушкиным или Лермонтовым“, Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные».

В. Д. Пришвина в книге «Путь к слову», впервые публикуя эту запись, называет 1886 год, в шестом томе пришвинского собрания сочинений, где перечислены основные события жизни Пришвина, бегство датируется 1884 годом, и эта хронологическая путаница имеет, как мы увидим далее, весьма важное значение.

Путь к слову. С. 43.

Пришвин о Розанове. С. 163.



Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 19.

Блок А. А. Собр. соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 621.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 18-19.

Там же. С. 20.

Там же.

Там же.

Пришвин о Розанове. С. 162.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 274.



Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. 1918-1919. М., 1994. С. 365.

Вот что Розанов писал в автобиографии в 1890 году: «...через год я окончил курс в университете (Розанов окончил университет в 1882 году, это факт установленный. – А. В.) и, хотя был далек от мыслей об учительстве, самую жизнь был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства. (...) Когда прошло пять лет, я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как жизнь моя там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии. Здесь живу я 3-й год...» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 691). А вот примечание составителя к этой записи: «Летом 1886 года Аполлинария Прокофьевна (Суслова, первая жена Розанова. – А. В.) оставила Розанова, и он, глубоко переживая ее уход, перевелся в 1887 году в Елец» (Там же. С. 806).

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 569.

Налепин А. Л. Книга - это быть вместе // В кн.:  
Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 8.

Курбатов В. Я. Михаил Пришвин. М., 1986. С. 13.

Розанов В. В. Указ. соч. С. 114.

Там же. С. 71.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 45.



Розанов В. В. Указ. соч. С. 15.

Пришвин о Розанове. С. 198.

Там же. С. 167.

Дворцова Н. П. Творческий путь М. М. Пришвина и русская литература начала XX века. Дисс. на соиск. уч. степ. доктора филол. наук. М., 1994.

Пришвин о Розанове. С. 174.

Замечательно, что уже в наше время известный критик И. А. Дедков, прочитав «Кощееву цепь», записал в своем дневнике: «Чтение „Кощеевой цепи“ (так у Дедкова. – А. В.) Пришвина доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов), или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству?» (Новый мир. 2000. < 11. С. 151)

В самом конце жизни Пришвин о том же самом скажет совсем иначе: «Зачем я так неверно писал о падении Курымушки в публичном доме? Я писал о том, как бывает, если не удастся пасть. Но я помню этот восторг, когда удалось!» (21.7.1951) Ср. также у Ремизова в «Кукхе»: «Розанов говорил: когда он первый раз это сделал (...) так на другой день с утра он песни пел» (Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. – Царевна Мыпра. Тула, 1992. С. 23).

Там же. С. 198.



Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
29.3.1929.

Замошкин Н. И. Творчество Михаила Пришвина // Печать и революция. 1925. Кн. 8. С. 126.

Мамонтов О. Н. Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Русская литература. 1986. № 2. С. 177.

Хотя любопытно, что позднее Пришвин находил в своей неспособности к обучению некий позитивный смысл: «И вот как чудо: многое доставляет теперь счастье потому, что в школу не проходил и вообще скверно учился» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневники М. М. Пришвина. 17.4.1926).

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

Курбатов В. М. Указ. соч. С. 13.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 22.

Цит. по: Николюкин А. Н. Розанов. М., 2001. С. 418.



Розанов В. В. Указ. соч. С. 55.

Пришвин о Розанове. С. 163.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 631.

Цит. по: Розанов В. В. Указ. соч. С. 736.

Путь к слову. С. 47.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 274-275.

Пришвин о Розанове. С. 200.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 460.



Там же. С. 543.

Там же. С. 545.

Пришвин о Розанове. С. 164.

Там же. С. 206.

Там же. С. 211.

Там же. С. 181.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 155.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 39.



Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.

Пришвин о Розанове. С. 217.

Там же. С. 185.

Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан // Творчество и критика. Пг., 1922. С. 45-46.

Пришвин М. М., Пришвина В. Д. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996. С. 279.

Старорусского (а затем новгородского) протоиерея А. П. Устьянского Розанов необыкновенно высоко ценил: «Как я люблю его, и непрерывно люблю, этого мудрейшего священника наших дней, – со словом твердым, железным, с мыслью прямой и ясной» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 43). Пришвин же написал о нем рассказ «Отец Спиридон».

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 119.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 179.



Мы с тобой. С. 57.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 109.

И сегодня именно благодаря плану, сделанному Пришвиным, мы знаем, где находится могила Розанова.

Теперь этот стол украшает экспозицию Орловского государственного литературного музея.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 591.

Поразительна любовь Пришвина к этому неопределеннейшему из всех русских местоимений. В 1933 году в статье «Мой очерк» с подзаголовком «биографический анализ» он напишет: «Начиная от своего первого очерка „В краю непуганых птиц“, кончая очерком своей жизни „Кашеева цепь“ и книгой „Журавлиная родина“, Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то». В 1942 году: «... это что-то у Розанова и через него передалось мне, и не по существу, как у него, а по невозможному моему обезьянству» (Пришвин о Розанове. С. 201). А в 1949-м – о Розанове же – «...что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать)» (Там же. С.207). «Обезьянство» – и есть ключевое слово для характеристики пришвинской зависимости от Розанова. Отсюда и пожизненная задача Пришвина – освободиться от него.

Воспоминания Т. В. Розановой // Русская литература.  
1989. № 4. С. 166.

Пришвин о Розанове. С. 179.



Там же. С. 180.

Там же. С. 181.

Русская литература. 1989. № 4. С. 170.

Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.

Там же.

Пришвин о Розанове. С. 212.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

На самом деле это еще один пример если не сознательной мистификации, то смешения автобиографии и автобиографической прозы. В 1923 году, в одном из набросков к «Кашеевой цепи» читаем: «А он-то – дурак, дурак! – потратил три года неустанного труда и одиночества, чтобы сделаться первым учеником и получить золотую медаль(...)» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 38). И если уж совсем точно следовать букве истории, то в училище по успеваемости Михаил Пришвин был пятым учеником, но при этом имел «3» по поведению, и причина столь низкой оценки – «непосещение церковных служб» (Пришвин и современность. С. 203).



**101**

Там же. Т. 4. С. 25.

Путь к слову. С. 53.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М., 1995. С. 185.

Пришвин М. М. Дневник 1936 года // Октябрь. 1993.  
№ 10. С. 11.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 229.

Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.

Путь к слову. С. 57.



Там же.

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». Из Дневников 1931–1952 гг. // Наше наследие. 1990. № 2. С. 68.

Путь к слову. С. 56.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 74.

Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.

**114**

Там же.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 290.

**116**

Путь к слову. С. 60.



Цит. по: Курбатов В.М.Указ. соч. С. 24.

Образ этого полюса, как некоего идеала, который может быть достигнут, образ реализованной мечты в пришвинской философии чрезвычайно важен. Ср. также дневниковую запись 1905 года: «Фрося говорила, что она всех понимает, но во мне не понимает что-то последнее... И я сам этого не понимаю. Это последнее похоже на северный полюс, куда нельзя добраться. Там, может быть, ничего нет, пустая точка... И мне хочется стать ногой на эту точку» (Пришвин и современность. С. 249).

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 636.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 191.

Путь к слову. С. 66.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 339.

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 73.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 28.



Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 11.

Гришунин А. Л. Пришвин, Блок и В. П. Измалкова // Михаил Пришвин и русская культура XX века. Тюмень, 1998. С. 116-120.

Пришвин и современность. М., 1978. С. 256.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 273.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 64.

Пришвин и современность. М., 1978. С. 217.

Цит. по: Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917. М., 1983. С. 36.

Пришвин и современность. С. 232-233.



Там же. С. 250.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 332.

Пришвин и современность. С. 219.

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов // Октябрь.  
1990. № 1. С. 177.

Там же. С. 168.

Пришвин и современность. С. 219-220.

Там же. С. 212.

**140**

Там же. С. 254.



Там же. С. 254-256.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 136.

**143**

Путь к слову. С. 87.

Мы с тобой. С. 24.

**145**

Цит. по: Гришунин А. Л. Указ. соч. С. 116.

**146**

Там же.

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
15.12.1926, 17.07.1927.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 309.



Ср. у Б. Пастернака: «Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками – сама природа. И только в их взаимоотношениях – полнота ее замысла» (Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982. С. 221).

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 351.

Соколов-Микитов И. С. На теплой земле. Л., 1979. С. 654.

Пришвин о Розанове. С. 202-203.

Мы с тобой. С. 156.

Там же. С. 275-276.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 330.

**156**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 171.



Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
16.01.1927.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 486.

**159**

Там же. С. 654.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 537.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

Ср. также: «Сила, создающая горы, через которые река пробивается: сила тяготения, косность масс. Эта же сила тюрьмы, Кощеевой цепи.

Теперь перехожу к анализу силы, которая задерживает осуществление полового акта до такой степени, что человек накаляется и признает святость его (Розанов)» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневники М. М. Пришвина. 2.1.1927).

**163**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
24-25.10.1927.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 203.



Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 266.

**166**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 51.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

«До неприятности все близкое (елецкое) и так хорошо написано, будто не читаешь, а ликер пьешь» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 176).

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 20.

**170**

Там же. С. 336.

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
21.12.1926.

Воспоминания о Пришвине. С. 32–33.



Путь к слову. С. 104.

Воспоминания о Пришвине. С. 34.

**175**

Путь к слову. С. 103.

Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. М., 1989. С. 443.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 49.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

Воспоминания о Пришвине. С. 39-40.

Продолжу цитату: «...в мечту, за мечту получают деньги, на которые умелый человек мог бы устроить приличную среднюю жизнь. Получается что-то нелепое: тоска по среднему состоянию и коренное к нему презрение. Впрочем, твой завет бороться с претензиями я постоянно держу в уме». А в 1920-м Пришвин записал: «...из писем создалась литература (личное), а безличное ушло в пол (Ефр. Павл. и дети)».



Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 67.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 217.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 364.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 157.

Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан. С. 29.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 30.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 789.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 379.



Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
7.03.1927.

Ср. у Бунина: «Часто думалось мне за эти годы, будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как страдал бы он, если бы дожил до (...) гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов (...)» (Цит. по: А. Т. Твардовский «О Бунине» // Бунин И. А. Стихотворения. Рассказы. Повести. БВЛ. Т. 140. М., 1973. С. 17).

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 131.

Там же. С.703.

Воспоминания о Пришвине. С. 67-68.

Цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 322.

Воспоминания о Пришвине. С. 67.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 286.



Вот как высказался на эту тему в «Окаянных днях» Бунин: «А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного („ядренного и сочного“) народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью! (...) Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, „словеса золотые“ и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно».

Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. - Царевна Мыпра. Тула, 1992. С. 269.

**199**

Путь к слову. С. 145.

Самое интересное, что в том же 1908 году А. Ф. Девриен издал еще одну, первую по времени написания и последнюю в этом издательстве книгу Пришвина «Картофель в полевой и огородной культуре», которую высоко оценили специалисты.

**201**

Воспоминания о Пришвине. С. 65.

Ремизов А. М. Указ. соч. С. 252.

Воспоминания о Пришвине. С. 66.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.



Там же. С. 97-98.

Ремизов А. М. Указ. соч. С. 254.

Воспоминания о Пришвине. С. 67.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 158.

Контекст—1974. М., 1975. С. 319.

Правда, с изданием все оказалось не так просто. В первых номерах журнала «Русская мысль» за 1909 год удалось опубликовать несколько глав «Града», но летом этого же года Пришвин жаловался Ремизову, что не может найти издателя, и размышлял о том, стоит ли издавать книгу за свой счет, заняв для этой цели деньги у сестры Лидии.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 37.

Замечательно, что к брошенной Гиппиус идее о «Капитанской дочке» Пришвин вернулся много лет спустя: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология, а Петербург даже и официальное имя свое потерял; моя родина, непревзойденная в простой красоте, и что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней добротой и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина „Капитанская дочка“» (7.9.1933. Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 64).



Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 591.

Ср. у Бердяева: «Мережковский никогда не говорит от я, он всегда говорит от мы» (Бердяев. Новое христианство. Цит. по: Эткинд А. Хлыст. С. 207).

**215**

Путь к слову. С. 149.

**216**

Пришвин о Розанове. С. 164.

Розанов В. В. Указ. соч. С. 580.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 33–36.

Гиппиус З. Н. Дневники. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 138-139.

Там же. С. 89—100.



Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 62.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 67.

Ср. также у Соколова-Микитова: «Широкая известность писателя Пришвина пришла не скоро, первые его книги знал лишь небольшой круг избранных читателей. В те годы гремели иные, забытые теперь писательские имена» (Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 62).

**224**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
20.02.1926.

**225**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 475.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 9—10.

Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1965. Т. 5. С. 651.





Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан. С. 26.

Литературное наследство. Бунин И. А. М., 1973. Т. 84. Кн. 2. С. 461.

**231**

Русская литература. 1995. № 3. С. 161.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 34.

**233**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 111.

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 415.

И со свойственной ему непосредственностью продолжил: «Но в то же самое время упор в жизнь у меня так велик, что в наше время равными себе считаю только Горького и Гамсуна».

**236**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 343.



Булгаков С. Н. Православие. М., 1991. С. 373–374.

Белый А. Начало века. М., 1990. С. 535.

Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество: Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции // Вехи. 1909. С. 29, 42.

Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 164-165.

Пругавин А. Бунт против природы: О хлыстах и хлыстовщине. М., 1917. Вып. 1. С. 115.

Александр Михайлович Добролюбов (1876—год смерти неизвестен) - один из представителей раннего символизма. В 1898 году, после глубокого кризиса, отказался от литературного творчества и «ушел в народ». Много лет Добролюбов странствовал по Руси, жил в разных сектах, пока не основал свою собственную. Его личность интересовала таких писателей, как Л. Толстой, В. Брюсов, А. Блок, З. Гиппиус, Д. Мережковский.

**243**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 74.

**244**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 74.



**245**

Воспоминания о Пришвине. С. 42.

**246**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 792.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 204.

**248**

Пришвин о Розанове. С. 164.

Позднее, снабдив свою запись знаком NB, Пришвин отметил в Дневнике: «Жизнь писателей того времени в отношении размножения была до крайности болезненная:

1) Белый – импотент 2) Блок – попытка духовного брака 3) Гиппиус – вагизм 4) Философов – педераст 5) Ремизовы – как семьянины – жертвы 6) Розанов – философ пола 7) Карташев – монах 8) Кузмин – педераст 9) Сологуб... Такой очаг творчества» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 7.09.1928).

Ср. также: «Я охотно допускаю мысль, что у поющих птиц есть даже какой-нибудь дефект в половых органах, как у многих и многих поэтов» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 13.09.1928).

**250**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
6.5.1926.

**251**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 40.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 52-53.



**253**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 353.

**254**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
12.01.1927.

**255**

Там же. 3.03.1909.

**256**

Там же. 8.02.1927.

**257**

Пришвин о Розанове. С. 178.

**258**

Архив В. Д. Пришвиной. Ранний Дневник М. М. Пришвина.

**259**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 35–36.

**260**

Там же. С. 73.



Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 16.

Письма М. М. Пришвина А. М. Ремизову. Вступит. ст.,  
подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская  
литература. 1995. № 3. С. 175.

Литературный архив. Т. 5. М.-Л., 1960. С. 283-284.

**264**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 262.

**265**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 95.

**266**

Русская литература. 1995. № 3. С. 192.

Русская литература. 1995. № 3. С. 192.

**268**

Кодрянская Н. Указ. соч. С. 189.



Воспоминания о Пришвине. С. 67.

Иванов-Разумник Р. В. Заветы. 1912. № 8. С. 50.

**271**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 157.

«Перипетии отношений моих к М. – целая „история“, притом совершенно мне непонятная. Почему-то (совершенно непонятно, почему) он меня постоянно любил, и когда я делал „невозможнейшие“ свинства против него в печати, до последней степени оскорбляющие (были причины), которые всякого бы измучили, озлобили, восстановили, которых я никому бы не простил от себя, он продолжал удивительным образом меня любить» (Розанов В. В. Указ. соч. С. 253).

См. также у Пришвина: «Все́м известно, что Мережковский влюблен в Розанова» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 28).

Бонч-Бруевич В. Д. С. 105.

**274**

Дворцова Н. П. Указ. соч. С. 84.

**275**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 180.

Муромцева-Бунина В. Н. Указ. соч. С. 34.



**277**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 157.

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 64.

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 49.

**280**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 74.

**281**

Там же.

**282**

Пришвин А. С. Указ. соч. С. 50.

**283**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 170.

**284**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 84.



**285**

Там же.

**286**

Там же. С. 86.

**287**

Там же.

**288**

Там же.

**289**

Там же. С. 101.

Ср. с более поздней записью времен Отечественной войны: «Хэмингуэй – это фронтовая душа, то есть такое состояние души, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не останется, а между тем к удивлению самого себя, ум работает гораздо яснее даже, чем в гармонии с сердцем.

Это у него умные записи последнего сердечного стога. Нужно ли это? Наверно, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем, как возможность, как поддержку» (Москва. 1972. № 9. С. 218).

**291**

Там же. С. 144.

Пришвин М. М. Дневник 1939 года // Октябрь. 1998.  
№ 2, 11. С. 136.



**293**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 151.

**294**

Там же. С. 205.

**295**

Там же. С. 200.

**296**

Там же. С. 115.

**297**

Там же. С. 233.

**298**

Там же. С. 122.

**299**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 206.

**300**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 31.



**301**

Путь к слову. С. 219.

**302**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 233.

**303**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 99.

**304**

Там же. С. 249.

**305**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 235-236.

**306**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 237.

**307**

Там же.

**308**

Там же. С. 252.



**309**

Там же. С. 281.

**310**

Там же. С. 252.

Исключением был Розанов: «И мысль, что нет на Руси у нас Государя, он в Тобольске, в ссылке, в заключении – так обняло мою душу, охватило тоской (...) что болит моя душа, болит и болит. Я знаю, что правление его было ужасно, и ни в чем не оправдываю его. Но люблю и хочу любить Его. И по сердцу своему я знаю, что Царь вернется на Русь, что Русь без царя не выживет» (Розанов В. В. Указ. соч. С. 785).

**312**

Там же. С. 388.

**313**

Там же. С. 262.

**314**

Там же. С. 267.

**315**

Там же. С. 255.

**316**

Там же. С. 263.



**317**

Там же. С. 60.

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 56–57.

**319**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 261.

**320**

Там же. С. 380.

**321**

Там же. С. 274.

**322**

Там же. С. 328.

**323**

Там же. С. 293.

**324**

Там же. С. 274.



**325**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
17.10.1926.

**326**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 318.

**327**

Там же. С. 344.

**328**

Там же. С. 327.

**329**

Там же. С. 349-350.

**330**

Там же. С. 290-291.

**331**

Там же. С. 284.

**332**

Там же. С. 276.



**333**

Там же. С. 294-295.

**334**

Гиппиус З. Н. Дневник. Т. 1. С. 482.

**335**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 293.

**336**

Там же. С. 278.

**337**

Там же. С. 286.

**338**

Там же. С. 286-287.

**339**

Там же. С. 285.

**340**

Там же. С. 302.



**341**

Там же. С. 314.

**342**

Там же. С. 357.

**343**

Там же. С. 319.

**344**

Там же. С. 327.

**345**

Там же.

**346**

Там же. С. 344.

**347**

Там же. С. 366-367.

**348**

Там же. С. 307.



**349**

Там же. С. 283.

**350**

Там же. С. 291.

**351**

Там же. С. 299.

**352**

Там же. С. 288.

Русская литература. 1979. № 2. С. 153-154.

**354**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 17.

**355**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 68.

Пришвин: «...Кто же виноват? Я спрашиваю, и мне отвечают теперь: – Виноваты евреи.

И перечитывают, начиная с Бронштейна.

В чем же оказалась наша самая большая беда?

Конечно, в поругании святынь народных: неважно, что снаряд сделал дыру в Успенском Соборе – это легко заделать. А беда в том духе, который направил пушку на Успенский собор. Раз он посягнул на это, ему ничего посягнуть и на личность человеческую.

Кто же виноват?

Жиды виноваты!

Так и отвечают, что это они переставляли пушечные прицелы, и снаряды попадали в православные храмы.

Вот неправда: евреи никогда не оскорбляют святынь, потому что они люди культурные. Святыню оскорбить могут только варвары. Нет, православный русский народ, – это мы сами виноваты» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 29–30).

Бунин: «"Левые" все „эксцессы“ революции валят на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого – на соседа и на еврея: „Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили...“» (Окаянные дни).



**357**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 329.

Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1991. С. 93-94.

**359**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 377.

**360**

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 109.

**361**

Бунин. И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1995–2000. Т. 8. С. 60.

**362**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 378.

**363**

Там же. С. 380.

**364**

Там же. С. 365.



**365**

Там же. С. 361.

**366**

Там же. С. 388.

**367**

Там же. С. 391.

**368**

Там же. С. 394.

**369**

Там же. С. 393.

**370**

Там же. С. 390.

**371**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 183.

Ср. у Бунина: «Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму» (Окаянные дни).



**373**

Там же. С. 5.

**374**

Там же.

**375**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 375.

**376**

Гиппиус З. Н. Дневник. Т. 2. С. 237.

**377**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 12.

**378**

Там же. С. 20.

Кстати, столь нелестно охарактеризованный земляк тоже оставил об этом заседании ироническую и стилистически схожую с пришвинской запись: «Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленоватых шерстяных чулках.

Как беспорядочно несли вздор! «Вырабатывали» воззвание в защиту евреев» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1988. Т. 7. С. 379).

**380**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 121.



**381**

Блок А. А. Избранное. В 2 т. Т. 2. М., 1955. С. 401.

Блок и Пришвин // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 216.

**383**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 356.

А вот что думал по этому поводу Бунин (Из Дневника Бунина 17 апреля 1918 года): «Айхенвальд – да и не один он – всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, „нежный рыцарь Прекрасной Дамы“, стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукиных сына, два набитых дурака!» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 2000. Т. 8. С. 62).

**385**

Там же. С. 357.

**386**

Там же.

**387**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
9.02.1927.

**388**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 288.



**389**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 207.

**390**

Там же. С. 267.

**391**

Там же. С. 287.

**392**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 173.

**393**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
22.9.1926.

**394**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 540.

**395**

Путь к слову. С. 183.

**396**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 44.



**397**

Там же.

**398**

Там же. С. 45.

**399**

Там же. С. 53.

**400**

Там же. С. 54.

**401**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 172.

**402**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 267.

**403**

Там же. С. 35.

**404**

Там же. С. 46.



**405**

Там же. С. 52.

**406**

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 91.

**407**

Там же. С. 133.

Колют лед и у Бунина: «На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют: – Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!» (Окаянные дни)

**409**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 48.

**410**

Там же. С. 48-49.

**411**

Там же. С. 36.

**412**

Там же. С. 63.



**413**

Там же. С. 65.

**414**

Там же. С. 67.

**415**

Там же. С. 103.

**416**

Там же. С. 70.

**417**

Там же.

**418**

Там же. С. 87.

**419**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 91.

**420**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 99.



**421**

Там же. С. 361.

**422**

Там же. С. 104.

**423**

Там же. С. 103.

**424**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 20.

**425**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 187.

**426**

Там же. С. 137.

**427**

Там же. С. 176.

**428**

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 133.



**429**

Пришвин М. М.

**430**

Там же. Дневник. Т. 2. С. 107.

**431**

Там же. С. 248.

**432**

Там же. С. 192.

**433**

Там же. С. 327.

**434**

Пришвин М. М.

**435**

Там же. С. 384. Дневник. Т. 1. С. 170.

**436**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 791.



**437**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 368.

**438**

Пришвин М. М.

**439**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 188.

**440**

Там же. С. 179. Дневник. Т. 3. С. 327.

**441**

Пришвин М. М.

**442**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 331. Дневник. Т. 3. С. 119.

**443**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 238.

**444**

Там же. С. 291.



**445**

Там же. С. 189.

**446**

Там же. С. 191.

**447**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 15.

**448**

Там же. С. 218.

**449**

Там же. С. 246.

**450**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 122.

**451**

Там же. С. 128.

**452**

Там же. С. 193.



**453**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 40.

**454**

Там же. С. 285.

**455**

Там же. С. 67.

**456**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 165.

**457**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 201.

**458**

Там же. С. 210.

**459**

Там же. С. 308.

**460**

Там же. С. 207.



**461**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 72.

**462**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 310.

**463**

Мы с тобой. С. 49.

**464**

Там же. С. 8.

**465**

Там же. С. 9.

**466**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 233.

В рассказе «Невидимый класс» (в собр. соч. советского времени он вошел под названием «Радий») герой, купец по прозвищу Самородок (прообразом которого был все тот же Павел Михайлович Легкобытов), проповедуя половое воздержание, убеждал рассказчика: «Нет ничего драгоценнее металла радия, а капли, семена жизни, я считаю, еще дороже. (...) А они не берегли, – указал Самородок на проезжавших в автомобилях богатых людей. – Их дни сочтены...»

**468**

Там же. С. 376.



К этой идее противопоставления двух революций Пришвин вернулся три года спустя – в пору кронштадтского восстания: «Замечательно, что именно в Феврале каждый год поднимаются надежды, похожие на воспоминание февральского чувства свободы, пережитого в 1917 году, и каждый год в Октябре погружаются в безнадежность, как будто это два естественных праздника света и тьмы» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 146–147).

В «Черных тетрадах» у Зинаиды Гиппиус есть странная запись, относящаяся к освобождению Пришвина из неволи: «На досуге запишу, как (через барышню, снизошедшую ради этого к исканиям влюбленного под-комиссара) выпустили безобидного Пришвина» (Гиппиус З. Н. Дневник. Т. 2. С. 270). Досуг для Зинаиды Николаевны так и не настал и новых комментариев не последовало, но нет сомнения, что речь идет именно о Козочке – больше не о ком. Другое дело – верить или не верить г-же Гиппиус, да и откуда вообще эта версия возникла? Возможно, от Ремизовых, которые устроили очередную мистификацию.

**471**

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 70.

Поразительно, как в 1932 году Пришвин практически повторяет ту же мысль: «Мягкая погода, чуть метет. Бегут по улице барышни, их не видишь, – так они чем-то одна на другую похожи: бегут, бегут, как поземок, и больше ничего не остается от них» (Пришвин М. М. Дневник 1932 года. С. 163).

**473**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 33.

**474**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
16.04.1928.

**475**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 61-62.

**476**

Там же. С. 32.



**477**

Там же. С. 49.

**478**

Там же. С. 49.

**479**

Там же. С. 61, 62.

Правда, летом 1918 года покинув Петроград, Пришвин написал остававшемуся в городе А. М. Ремизову, с которым сам уже больше так и не увиделся: «Еще вот что прошу: наведайтесь в мою квартиру, цело ли там все мое добро и существует ли племянница моя София Васильевна. Она писала мне, что хочет покончить с собой из-за голода, а я ей послал уже месяц тому назад записку к Кугелю на получение 200 р<ублей>, но с тех пор писем от нее не имею. Не думаю, чтобы из-за голода она могла что-то проделать: с ней мать и брат, и не такого склада девица. Но все-таки надо же знать, в чем тут дело – узнайте и напишите» (Русская литература. 1995. № 3. С. 207).

**481**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 18.

**482**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 141.

**483**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 174.

**484**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 59.



**485**

Там же. С. 169.

**486**

Там же. С. 159.

**487**

Там же. С. 128.

**488**

Там же. С. 170.

**489**

Там же. С. 143.

**490**

Там же. С. 170.

**491**

Там же. С. 148.

**492**

Там же. С. 162, 166.



**493**

Там же. С. 152.

**494**

Там же. С. 108.

**495**

Там же. С. 133.

**496**

Там же. С. 114.

**497**

Там же. С. 116.

**498**

Там же. С. 143-144.

**499**

Там же. С. 131.

**500**

Там же. С. 151.



**501**

Там же. С. 148.

**502**

Там же. С. 150.

**503**

Там же. С. 153.

**504**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 289.

**505**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 159.

**506**

Там же. С. 167.

**507**

Там же. С. 222.

**508**

Там же. С. 164.



**509**

Там же. С. 130.

**510**

Там же. С. 133.

**511**

Там же. С. 136.

**512**

Там же. С. 181.

**513**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 35.

**514**

Там же. С. 59.

**515**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 182.

**516**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 96.



**517**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 22.

**518**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 182.

**519**

Русская литература. 1992. № 2. С. 185.

**520**

Там же.

**521**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 183.

**522**

Там же. С. 163.

**523**

Там же. С. 184.

**524**

Там же. С. 185.



**525**

Там же. С. 186.

**526**

Там же. С. 186.

**527**

Там же. С. 191.

**528**

Там же. С. 191.

**529**

Там же. С. 207.

**530**

Там же. С. 210.

**531**

Ср. у Маяковского:  
Не домой,  
не на суп,  
а к любимой  
в гости  
две морковинки  
несу  
за зеленый хвостик. (Хорошо!)

**532**

Там же. С. 238.



**533**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 11.

**534**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 329.

**535**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 10.

**536**

Там же.

**537**

Там же. С. 62.

**538**

Там же. С. 52.

**539**

Там же. С. 76.

**540**

Там же. С. 89.



**541**

Там же. С. 87.

**542**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
6.01.1928.

**543**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
14.12.1928.

**544**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
8.10.1929.

**545**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 131.

**546**

Там же. С. 73.

**547**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 84.

**548**

Там же. С. 209.



**549**

Там же. С. 248.

**550**

Там же. С. 188.

**551**

Там же. С. 177.

**552**

Встречи с прошлым. М., 1975. С. 172.

**553**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 21.

Выделено, потому что Бунин, но вот и у Розанова: «Страшно сказать: но я не хочу такой России, и она окаянна для меня» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 785).

**555**

Там же. С. 22.

**556**

Там же. С. 11.



**557**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 209.

**558**

Там же. С. 212.

**559**

Там же. С. 215.

**560**

Там же. С. 216.

**561**

Там же. С. 220.

**562**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 71.

**563**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 78.

**564**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 23.



**565**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 171.

**566**

Там же. С. 259.

**567**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 288.

**568**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 40.

**569**

Там же. С. 256.

**570**

Там же. С. 259.

**571**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 29.

**572**

Там же. С. 51.



**573**

Там же. С. 108.

**574**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 47.

**575**

Там же. С. 35.

**576**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 63.

**577**

Там же. С. 151.

**578**

Там же.

**579**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 151.

Не говоря уже о «Мужиках», взять хотя бы такие строки из письма к А. С. Суворину: «Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу все более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче» (21.7.1897).



Бунин писал в Дневнике: «17/30 апр. 1918 г. Москву украшают. Непередаваемое впечатление – какой цинизм, какое (...) издевательство над этим скотом русским народом! Это этот-то народ, дикарь, свинья грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать интернационалистический праздник. (...) Будь проклят день моего рождения в этой проклятой стране!» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 62)

**582**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 259.

**583**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 63.

**584**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 344.

**585**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 218.

**586**

Там же. С. 142.

**587**

Там же. С. 258.

Иванов-Разумник Р. В. Черная Россия // Заветное. Пг., 1922. С. 93-94.



**589**

Там же. С. 96.

**590**

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 108-109.

**591**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 110.

**592**

Там же. С. 265.

**593**

Там же. С. 265-266.

**594**

Там же. С. 256.

**595**

Там же. С. 265.

**596**

Там же. С. 133.



**597**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 153.

**598**

Там же. С. 160.

**599**

Там же. С. 157.

**600**

Там же. С. 8.

**601**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 93.

**602**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 170.

**603**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 103.

**604**

Иванов-Разумник Р. В. Скифы. СПб., 1918. Сб. 2. С. 203, 205.



«История русской литературы отведет много страниц жизни и творчеству писателя, который в смутное время русской литературы устраивал себе окопы из археологии и этнографии, доставая из родных глубин чистое народное слово, и цеплял его, как жемчужину, на шелковую нить своей русской души, создавая ожерелье и уборы на ризы родной земли. Это, конечно, Ремизов, никто, как он такой» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 269).

**606**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 229.

В «Грасском дневнике» Галина Кузнецова приводит такой эпизод (28.6.1929): «Я читала о Николае 1-м и о телесных наказаниях, о шпицрутенах. Дойдя до описания экзекуций, кончавшихся, как известно, по большей частью смертью, и затем до ответа Николая одному из министров: „Я не могу его казнить. Разве вы не знаете, что в России нет смертной казни? Дать ему двести шпицрутенов“ (что равносильно смерти), я не могла удержаться от слез и, выйдя затем в коридор, говорила об этом с негодованием В. Н. и Илье Исидоровичу.

И. А., услышав мои слова, позвал меня к себе в спальню, запер двери и, понизив голос, стал говорить, что понимает мои чувства, что они прекрасны, что он сам так же болел этим, как я, но что я не должна никому высказывать их...

– Все это так, все это так, – говорил он, – я сорок лет болел этим до революции и теперь десять лет болею зверствами революции. Я всю жизнь страдал сначала одним, потом другим... Но не надо говорить о том... не надо.

Так как у меня все еще текли слезы, он гладил меня по голове, продолжая говорить почти шепотом: – Я сам страдал этим... Но не время...» (Кузнецова Г. Н. М., 1995.).

**608**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 277.

**609**

Там же. С. 235.

**610**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 103.

**611**

Там же. С. 234-235.

**612**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 56.



**613**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 152.

**614**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 326.

**615**

Там же. С. 308.

**616**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 74.

**617**

Там же. С. 168.

**618**

Там же. С. 236.

**619**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 375.

**620**

Блок А. А. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 227.



**621**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 30.

**622**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 276.

**623**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 307.

**624**

Там же. С. 182.

**625**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 236.

**626**

Там же. С. 105.

**627**

Там же. С. 191.

**628**

Там же. С. 211.



**629**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 296.

**630**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 23.

**631**

Из послания святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, Совету Народных Комиссаров 13/26 октября 1918 г. // Православный календарь 2000 г. С. 336.

**632**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 125.

**633**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 27.

**634**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 108.

**635**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 261.

**636**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 80.



**637**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 17.

**638**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 207.

**639**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 114.

У этой истории была интересная рифма, замечательно раскрывающая характер М. М. Пришвина. Когда, несколько лет спустя, в середине 20-х годов племянника Михаила Михайловича Андрея Пришвина не приняли в университет, знаменитый дядюшка написал профессору Львову-Рогачевскому письмо с просьбой помочь талантливому и охочему до знаний юноше, закончив послание следующим образом: «Я даю этому молодому человеку десять рублей, чтобы он, если его не примут, напился и набил морду всему этому бездушному вузовскому механизму». Если верить А. С. Пришвину, профессор передал письмо тогдашнему ректору МГУ А. Я. Вышинскому с припиской, что язык у Пришвина «охотничий». Пришвинский протесте явился на прием к будущему главному прокурору страны, тот у него на глазах прочел петицию, дошел до конца, затрясся и выставил просителя за дверь. Однако в университет парня приняли.

**641**

Там же. С. 275.

Но о том же Семашке: «В сущности психология этих честолюбивых и честно бездарных людей, как разные Семашки, – (1 нрзб) была мне чужда, непонятна и по сей час остается» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 16).

**643**

Там же. С. 240.

Удивительно, как этот мотив – помощь большевика интеллигенту в Гражданскую войну – кочевал в те годы и по жизни, и по литературе. Вспомнить хотя бы «Доктора Живаго» Пастернака или «Волны Черного моря» Катаева – книгу, которую взыскательный Пришвин высоко и ревностно оценил (во всяком случае, первую ее часть «Белеет парус одинокий»).



**645**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 18.

**646**

Там же. С. 19.

**647**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 244.

**648**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 97.

**649**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 260.

**650**

Там же.

**651**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 97.

**652**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 260-261.



**653**

Там же. С. 267.

**654**

Там же.

**655**

Там же.

**656**

На литературном посту. 1930. № 8. С. 61.

**657**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 221.

**658**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 17.

Вечно раздвоенный на «за» и «против» Пришвин не был бы Пришвиным, если бы, обращаясь к тому же самому адресату через несколько месяцев, не написал, используя свой излюбленный образ птицы: «Друг мой, в советской России я, как ласточка, на которую дети накинули мертвую петлю на шею, повесили, но ласточка легкая, не давится, пырхат пырхает, и лететь не летит, и не виснет, как мертвая» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 27).

**660**

Там же.



**661**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 171.

**662**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 107.

**663**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 172.

А. А. Блок писал в статье «Интеллигенция и революция»: «Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят светлые, умытые сном мысли; среди бела дня они могут показаться дурацкими, эти мысли. Лжет белый день» (Блок А. А. Соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 223).

**665**

Там же. С. 176.

**666**

Там же.

**667**

Там же.

**668**

Там же.



**669**

Там же. С. 267.

**670**

Там же.

**671**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 351.

**672**

Там же. С. 273.

**673**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 86.

**674**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 273.

**675**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 324.

**676**

Там же. С. 345.



**677**

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949–1956. Т. 29. С. 452.

**678**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 273.

**679**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 88.

**680**

Там же. С. 336.

**681**

Там же. С. 14.

**682**

Там же. С. 6-7.

**683**

Там же. С. 21.

**684**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
19.10.1928.



**685**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 361.

**686**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
21.3.1927.

**687**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 361.

**688**

Там же. С. 22.

**689**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 169.

**690**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
12.08.1927.

**691**

Замошкин Н. И. Творчество Мих. Пришвина. К вопросу о генезисе попутничества // Печать и революция. 1925. № 8. С. 126.

**692**

Воронский А. К. Литературные типы. Б/г. С. 236.



**693**

Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М.-  
Л., 1925. С. 138.

**694**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 95–96.

Ср. также: «Ни спорить с дураком, ни обижаться на него было невозможно и деньги 100 р. до крайности нужны. Но снижение ценности себя самого как писателя так ущемило душу, что за работу, пожалуй, не скоро возьмешься» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 189).

**696**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 226.

**697**

Там же. С. 228.

**698**

Там же. С. 223.

**699**

Там же. С. 181.

**700**

Там же. С. 18.



**701**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 239.

**702**

Там же. С. 239.

**703**

Там же. С. 63.

**704**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
26.7.1927.

**705**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 181.

**706**

Там же. С. 162.

**707**

Там же. С. 223.

**708**

Там же. С. 182.



**709**

Там же. С. 192.

**710**

Там же. С. 179.

**711**

Там же. С. 196.

**712**

Там же.

**713**

Ефремин А. Михаил Пришвин // Красная новь. 1930.  
№ 9—10. С. 220.

**714**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 81.

**715**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
18.2.1926.

**716**

Там же. 24.11.1928.



**717**

Там же. 20.9.1926.

**718**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 180.

**719**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 75.

**720**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
3.7.1926.

**721**

Там же. 16.2.1927.

**722**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 232.

**723**

Там же. С. 183.

**724**

Там же. С. 19.



**725**

Там же. С. 319.

**726**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. С. 286.

**727**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. С. 195.

А вот продолжение этой мысли два месяца спустя, но уже в иной модальности: «Испытываю почти отвращение при взгляде на свои книги... потому что они писались взамен жизни и не могут заменить мне утраченное» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 2.5.1926).

**729**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
19.3.1926.

**730**

Тимрот А. Пришвин в Московском крае. М., 1973. С. 60.

**731**

Ефремин А. Указ. соч. С. 220.

**732**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 429.



**733**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
7.09.1927.

**734**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 124.

**735**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
31.12.1926.

**736**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 280.

**737**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
5.12.1926.

**738**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 66.

**739**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 50.

**740**

Там же. С. 97.



**741**

Там же. С. 93.

**742**

Там же. С. 91.

**743**

Там же. С. 104.

**744**

Там же. С. 136.

**745**

Там же.

**746**

Там же. С. 31.

**747**

Там же. С. 250.

**748**

Там же. С. 251.



**749**

Там же.

**750**

Там же. С. 185.

**751**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 181.

**752**

Там же. С. 369.

**753**

Красная новь. 1926. № 12. С. 230.

**754**

Там же. С. 230-232.

**755**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 254.

**756**

Там же. С. 262.



**757**

Там же. С. 154.

**758**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
11.5.1926.

**759**

Там же. 8.5.1926.

**760**

Там же. 23.2.1927.

**761**

Там же. 26.12.1929.

**762**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 108.

**763**

Там же. С. 149.

**764**

Там же. С. 160.



**765**

Там же. С. 149.

**766**

Там же. С. 112.

**767**

Там же. С. 298-299.

**768**

Там же. С. 304.

Ср. у Бунина: «Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была» (Окаянные дни).

**770**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
24.6.1926.

**771**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 216.

А если и высказывался Пришвин в эту пору о супруге критически, то старался быть объективным: «Е. П. – у нее доброта и злость, ум и глупость проникают друг в друга насквозь, как в природе» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 14.2.1926); «Если она не выходит из-под (скажем) руки – это превосходная, добрая и умная женщина и такая вся наша Россия, весь народ» (Там же. 2.11.1927). «Е. П-а вовсе разбаловалась (...) Сердиться на нее невозможно, но меня иногда бесит ее воркотня, потому что под ней скрывается неуважение и зависть раба к умственному труду: что-то не личное, а вообще русское» (Там же. 12.01.1928); «Меня страшат те вспышки ненависти, которые иногда пересекают в общем уютную нашу жизнь с Е. П., я боюсь, что в бешенстве когда-нибудь разломается эта жизнь» (Там же. 18.11.1927).



**773**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 332.

**774**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 280-281.

**775**

Там же. С. 352.

**776**

Там же. С. 352-353.

Схожий мотив есть и у Бунина в «Жизни Арсеньева»: «Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них». Такой молитвой и были оба романа.

**778**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
7.4.1926.

**779**

Бабореко А. К. Указ. соч. С. 47.

Любопытно, что А. Т. Твардовский, который сделал очень много для возвращения наследия Бунина на родину, в статье к девяти томному собранию сочинений назвал «Жизнь Арсеньева» книгой «насквозь автобиографической», а его оппонент К. Г. Паустовский писал в предисловии к изданию Бунина 1961 года: «Для автобиографии „Жизнь Арсеньева“ была написана слишком свободно, смело и глубоко. Это не автобиография. Это – слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это – удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средня Россия» (цит. по: Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 539–540).

А как метко сказал В. Ходасевич, рецензируя «Жизнь Арсеньева»: это – «вымышленная фотография», «автобиография вымышленного лица» (Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1. С. 37).



**781**

Там же. С. 48.

**782**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 657.

В комментариях к этой записи указано: «В рукописи вместо фамилии Алпатов первоначально стояла фамилия Ремизов, исправленная затем рукой Пришвина» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 710).

**784**

Там же. С. 255.

**785**

Ефремин А. Указ. соч. С. 279.

**786**

Там же.

**787**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 282.

**788**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
8.01.1927.



**789**

Там же. 10.10.1927.

**790**

Там же. 11.01.1927.

Вообще любопытно, как в пятидесятые годы исправлялись по доброй авторской воле книги двадцатых - начала тридцатых. Леонов создал новую редакцию «Вора», Пастернак - своей автобиографии.

**792**

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 224-225.

**793**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
5.12.1928.

Но справедливости ради надо сказать, что и в автобиографическом Алпатове из «Мирской чаши» Пришвин хотел показать «идеальную личность, пытающуюся идти по пути Христа и распятого с лишением имени» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 265).

**795**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 323.

**796**

Там же. С. 344.



**797**

Там же.

**798**

Там же. С. 345.

**799**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 186.

**800**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
4.10.1928.

**801**

Там же. 3.10.1929.

**802**

Там же.

**803**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
24.6.1926.

**804**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 169.



**805**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
1.6.1926.

**806**

Там же.

**807**

Там же. 3.5.1926.

**808**

Там же. 18.7.1926.

**809**

Там же. 7.3.1927.

Приведу несколько строк из поздних дневниковых записей, свидетельствующих о ее актуальности: «Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия – не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано – день пришпилен. И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 414). «Настоящее „слово правды“ требует решения: умереть в горе, как Блок, или броситься в чан, как Маяковский. Где же ты, Михаил?» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 627)

**811**

Там же. 21.7.1929.

**812**

Там же. 25.8.1929.



**813**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 289.

**814**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года // Октябрь. 1989.  
№ 7. С. 158.

**815**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 80.

**816**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
26.6.1926.

**817**

Там же. 21.5.1929.

**818**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 108.

**819**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
3.5.1926.

**820**

Там же. 27.3.1926.



**821**

Там же. 11.9.1929.

**822**

Там же. 18.11.1928.

**823**

Там же. 9.6.1928.

**824**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 175.

**825**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
18.11.1928.

**826**

Там же. 30.9.1928.

**827**

Там же. 25.8.1928.

**828**

Там же. 21.9.1927.



**829**

Там же. 15.6.1928.

**830**

Там же. 3.5.1926.

**831**

Там же. 1.7.1928.

**832**

Там же. 26.5.1927.

**833**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 180.

**834**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
16.11.1929.

**835**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 165.

**836**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
18.8.1929.



**837**

Там же. 11.1.1927.

**838**

Там же. 20.10.1929.

**839**

Там же.

**840**

Там же. 27.9.1928.

**841**

Там же. 25.3.1929.

**842**

Там же. 28.10.1929.

**843**

Там же. 12.10.1928.

**844**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. С. 759–760.



**845**

Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 8.

**846**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
24.4.1926.

**847**

Там же.

**848**

Там же. 20.1.1927.

**849**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 205.

**850**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 288.

**851**

Там же. С. 227.

**852**

Там же. С. 226.



**853**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
20.2.1928.

**854**

Там же. 11.4.1927.

**855**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
21.4.1926.

**856**

Там же. 10.10.1929.

**857**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 50.

**858**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 180.

Но буквально через несколько месяцев: «Социализм по существу есть голос материи, жаждущей формы, заявление самой материи о том, что и она живая. (...) Христианство есть человечески личное миропонимание, социализм – научное» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 115).

**860**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 64.



**861**

Там же. С. 285.

**862**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
29.3.1928.

**863**

Там же. 15.1.1928.

**864**

Там же. 7.4.1928.

**865**

Там же. 11.6.1927.

**866**

Пришвин о Розанове. С. 179.

**867**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
25.2.1928.

**868**

Там же. 1.8.1929.



**869**

Там же. 14.4.1927.

**870**

Там же. 22.3.1927.

**871**

Там же. 3.4.1927.

**872**

Там же.

**873**

Пришвин о Розанове. С. 213.

**874**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
14.4.1927.

**875**

Там же.

**876**

Там же. 15.5.1927.



**877**

Пришвин о Розанове. С. 185.

**878**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
3.4.1927.

**879**

Там же. 28.8.1928.

**880**

Там же. 24.5.1928.

**881**

Там же. 16.9.1928.

**882**

Там же. 28.11.1927.

**883**

Там же.

**884**

Там же. 5.9.1929.



**885**

Там же. 4.6.1926.

**886**

Там же. 14.5.1926.

**887**

Там же.

**888**

Там же. 17.1.1928.

**889**

Там же. 7.8.1928.

**890**

Там же. 17.7.1928.

**891**

Там же. 27.7.1926.

**892**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
22.3.1928.



**893**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 82.

**894**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
2.1.1927.

**895**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 279.

**896**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
28.10.1929.

**897**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 81.

**898**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 145.

**899**

Там же. С. 80.

**900**

Там же.



**901**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 79.

**902**

Там же. С. 81.

**903**

Там же. С. 87.

**904**

Там же. С. 145.

**905**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
24.1.1927.

**906**

Там же. 27.3.1928.

**907**

Там же. 7.7.1928.

**908**

Там же. 4.7.1928.



**909**

Там же. 7.7.1928.

**910**

Там же. 13.2.1928.

**911**

Там же. 10.4.1928.

**912**

Там же. 15.6.1928.

Теперь отыщет его она: «Вечером явилась Коза, у нее туберкулез. Узнал от нее, что и мать ее, и брат, и все уверены, что она моя любовница» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 19.11.1928).

**914**

Там же. 16.6.1928.

Одно слово Пришвин все же уничтожил. Увидев первый раз Валерию Дмитриевну, он назвал ее в Дневнике «поповной». «Впоследствии, – пишет В. Д., – любящий и потому возмущенный собою, Михаил Михайлович выскабливает в рукописи дневника „ужасное“ слово, которое я сейчас восстанавливаю по памяти» (Мы с тобой. С. 35). Чем же так ужасно безобидное слово «поповна»? В. Д. недоумевает, а причина, вернее всего, состоит в том, что для Пришвина оно устойчиво и негативно ассоциируется с Коноплянцевой.

**916**

Пришвин о Розанове. С. 203.



**917**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
16.6.1928.

**918**

Пришвин о Розанове. С. 203.

**919**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
12.12.1929.

**920**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 190.

**921**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
31.7.1927.

**922**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
23.3.1929.

**923**

Там же. 27.11.1929.

**924**

Там же. 6.12.1929.



**925**

Там же. 17.7.1928.

**926**

Там же. 7.10.1928.

**927**

Там же. 24.2.1927.

**928**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 153.

**929**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 175.

**930**

Там же.

**931**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 157.

**932**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
1.6.1928.



**933**

Там же. 13.11.1928.

**934**

Там же. 8.10.1929.

**935**

Там же. 17.7.1928.

**936**

Там же. 25.7.1928.

**937**

Там же. 21.8.1928.

**938**

Там же.

**939**

Там же. 27.7.1926.

**940**

Там же. 1.9.1927.



**941**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 171.

**942**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
23.10.1928.

**943**

Там же. 13.11.1928.

**944**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 40.

**945**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
5.12.1929.

**946**

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 192.

**947**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
6.2.1929.

**948**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 155.



**949**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 151.

**950**

Там же.

**951**

Там же.

Подобные утопические взгляды на колхозы, и именно в связи с идеей противостояния народничеству, высказывал в своем дневнике в эти же годы совершенно далекий и от Пришвина, и от русской деревни писатель (круглый дачник, так сказать) – Корней Иванович Чуковский: «Я изучал народничество – исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского – с одной точки: что предлагали эти люди мужику? Как хотели народники спасти свой любимый народ? Идиотскими сантиментальными, гомеопатическими средствами (...) И когда вчитаешься во все это, изучишь от А до Z, только тогда увидишь колхоз – это единственное спасение России, единственное разрешение крестьянского вопроса в стране! Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному, даже самому мудрому из народников, даже Щедрина, даже Чернышевскому – ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически – и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам. Некрасов ошибался, когда писал:

... нужны не годы,  
Нужны столетья, и кровь, и борьба,  
Чтоб человека создать из раба.

Столетий не понадобилось. К 1950 году производительность колхозной деревни повысится вчетверо» (Чуковский К. ЖДневник 1930–1969. М., 1997. С. 9).

**953**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 175.

**954**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 144.

**955**

Там же. С. 181.

Ср. у Бунина: «Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть „попа“, „обывателя“, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина – словом, вся и всех, за исключением какого-то „народа“ – безлошадного, конечно – и босяков» (Окаянные дни).



**957**

Там же. С. 170.

**958**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 154.

**959**

Там же. С. 163.

**960**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
4.4.1929.

**961**

Там же. 5.4.1929.

**962**

Там же. 21.5.1929.

**963**

Там же. 28.10.1929.

**964**

Там же. 31.10.1929.



**965**

Там же. 1.11.1929.

**966**

Там же. 7.12.1929.

**967**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 141.

**968**

Там же. С. 143.

**969**

Там же. С. 144.

**970**

Там же.

**971**

Там же. С. 145.

**972**

Там же. С. 146.



**973**

Там же. С. 151.

**974**

Там же. С. 150.

**975**

Там же. С. 153.

**976**

Там же. С. 156.

**977**

Там же. С. 161.

**978**

Там же. С. 163.

**979**

Там же. С. 167.

**980**

Там же. С. 174.



**981**

Там же. С. 174.

**982**

Там же. С. 179.

**983**

Там же. С. 175.

**984**

Там же. С. 177.

**985**

Там же. С. 179.

**986**

Там же. С. 151.

**987**

Там же. С. 142.

**988**

Там же. С. 157.



**989**

Там же. С. 150.

**990**

Там же. С. 161.

**991**

Там же. С. 157.

**992**

Там же. С. 145.

**993**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 82.

**994**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 212.

**995**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
31.10.1929.

**996**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 156.



**997**

Там же. С. 169.

**998**

Там же.

**999**

Там же. С. 171-172.

**1000**

Там же. С. 179.

**1001**

Григорьев М. Бегство в Берендеево царство // На литературном посту. 1930. № 9—10. С. 219-232. С. 57.

**1002**

Лежнев А. Литература революционного десятилетия, 1917-1927. 1929 (совместно с Д. А. Горбовым). С. 56-57.

**1003**

Григорьев М. Указ. соч. С. 61.

**1004**

Ефремин А. Указ. соч. С. 230.



**1005**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С.180.

**1006**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 101.

**1007**

Пришвин М. М. Творить будущий мир. М., 1989. С. 105.

**1008**

Там же.

**1009**

Там же.

**1010**

Против буржуазного либерализма в художественной литературе (Дискуссия о «Перевале»). М., 1931. С. 23.

**1011**

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина.  
28.10.1929

**1012**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 177.



**1013**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 83.

Символ разрушенного креста и образовавшейся на его месте пустоты был для Пришвина очень важен: «Птицы прилетели к тому месту, где был храм, чтобы рассестись в высоте под куполом. Но в высоте не было точки опоры: храм весь сверху донизу рассыпался. Так, наверное, и люди приходили, которые тут молились, и теперь, как птицы, не видя опоры, не могли молиться. Некуда было сесть, и птицы с криком полетели куда-то. Из людей многие были такие, что даже облегченно вздохнули: значит, Бога, действительно нет, раз он допустил разрушение храма. Другие пошли смущенные и озлобленные, и только очень немногие приняли разрушение храма к самому сердцу, понимая, как же трудно будет теперь держаться Бога без храма: ведь это почти то же самое, что птице держаться в воздухе без надежды присесть и отдохнуть на кресте» (Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 гг. С. 160).

К этой мысли Пришвин возвращался не раз, и она странным образом подпитывала его симпатию к советскому патриотизму и стала залогом будущего вхождения в большевистский колхоз со своим путиком: «Мы, славяне, для Европы не больше как кролики, которым они для опыта привили свое бешенство, и наблюдают теперь болезнь, и готовят фашизм, чтобы обрушиться на нас, в случае если болезнь станет опасной. Впрочем, рассчитывают больше на действие самой болезни, что мы погибнем, как кролики от привитого бешенства.

Когдаходишь в мировую политику и в свете большевизма расцениваешь все эти робкие и лживые попытки разоружения и открываются перспективы на хищнический расхват нашей страны, то без колебания становишься на сторону большевиков. Но когда оглянешься на внутреннюю сторону дела нашего, на те достижения социалистического строительства, которые свидетельствуют об изменении отношений людей между собой в лучшую сторону, то видишь громадное ухудшение в сравнении с отношениями людей в буржуазных странах» (Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 174).

**1016**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 172.

**1017**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 161.

**1018**

Там же.

**1019**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 267.

**1020**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 169.



**1021**

Там же. С. 170.

**1022**

Пришвин М. М. Дневник 1930 года. С. 165.

**1023**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 155.

Лишь много позднее, в Дневнике 50-х годов Пришвин написал об истории создания «Жень-шеня» и таинственной незнакомке: «Я облазил тайгу на материке по Амурскому заливу, был на островах и везде видел пятнистых оленей, и потом везде мне виделась их прекрасные глаза. Под конец я прибыл во Владивосток и тут однажды возле остановки трамвая увидел на солнце женщину, одетую в материю, переливающую из зеленого в синее. Сияние материи привлекло меня, и я захотел взглянуть ей в лицо. Я только успел заметить, что глаза у нее были, как у оленя, – она повернулась, прыгнула на ступеньку, и вагон покатился. Я бросился вагон догонять, но люди мне помешали. Во мне остались от женщины только глаза, а остальное в „Жень-шене“ все дополнило воображение» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 463).

**1025**

Пришвин М. М. Дневник 1931-1932 годов. С. 176.

**1026**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 12.

**1027**

Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 159.

**1028**

Пришвин М. М. Соловки // Красная новь. 1934. № 2. С. 40.



Шесть лет спустя к горьковскому сюжету Пришвин вернулся: «Сейчас только понял слезы Горького в Дмитрове, когда одна воровка благодарила советскую власть за свое исправление: Горький не то что бы не знал, что она не исправилась, а может быть, еще и больше испортилась, он это знал. Но он не мог удержаться от слез, просто слушая сюжет исправления, чувствительно переживая самую возможность его» (Пришвин М. М. Дневник 1939 года. С. 146).

Именно Владимира Набокова цитировал я во второй части этой книги, говоря об отношении Пришвина к революции (см. с. 266-267).

**1031**

Там же. С. 65.

**1032**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 711.

**1033**

Там же. 27.8.1934.

**1034**

Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 5.

**1035**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 270.

**1036**

Цит. по: Солнцева Н. М. Китежский павлин. М., 1992.  
С. 178.



**1037**

Так было не весь период предварительного заключения. Случалось ему попадать и в гораздо более тяжкие условия, но никогда его не били, не пытали, не шантажировали.

**1038**

Предисловие написал директор издательства «Асаётша» Л. Б. Каменев, и А. Белый пришел от него в ужас.

В письме к своей супруге В. Н. Ивановой от 4 февраля 1931 года Иванов-Разумник уточнил, кто именно: Петров-Водкин и Андрей Белый (к тому времени уже покойный) (Иванов-Разумник Р. В. Тюремы и ссылки. С. 493).

В обстоятельных примечаниях к книжке воспоминаний Иванова-Разумника имеется протокол допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича от 4 ноября 1937 года. Приведу ту часть, которая имеет отношение к Пришвину. «Вопрос: Почему не желаете называть фамилию друга, от которого получали помощь?

Ответ: Это я делаю потому, чтобы не запутывать его в это дело.

Вопрос: Следствие требует назвать лицо, которое оказывало Вам материальную помощь как ссыльному.

Ответ: Требования следствия выполнить не могу по чисто моральным моим качествам. Ответить на этот вопрос категорически отказываюсь.

Вопрос: В ходе предварительной беседы в начале допроса Вы назвали писателя Михаила Михайловича Пришвина и говорили, что Пришвин Михаил присылал Вам 200 руб. как материальную помощь. Вы это подтверждаете?

Ответ: Ответить на этот вопрос категорически отказываюсь.

Вопрос: Вы не имеете права отказываться от своего заявления о Пришвине, ведь это Вами было сказано в присутствии ряда сотрудников. Вы обязаны в этот вопрос внести ясность.

Ответ: Вторично отказываюсь отвечать на поставленный мне вопрос.

Вопрос: Это же дикое упорство?

Ответ: А это как Вам желательно, так и рассматривайте» (Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. С. 501).

**1041**

Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 110.

Вот еще один любопытный факт. В 1939 году, когда шла речь о награждении большой группы советских писателей, А. А. Андреев направил И. В. Сталину письмо, в котором по результатам совместной работы с Л. П. Берия были названы писатели (всего 31 фамилия), на которых в НКВД имелись «компрометирующие в той или иной степени материалы». Наиболее известные и – заметим – так и не репрессированные и, более того, несмотря ни на что награжденные среди них: М. Светлов, В. Катаев, С. Маршак, А. Новиков-Прибой, Л. Леонов, Ф. Панферов, А. Толстой, К. Федин, М. Шагинян, В. Шкловский и А. Сурков. Пришвина в черном списке не было. Подробнее об этом – в сборнике «Литературный фронт. История политической цензуры» (М., 1994).

**1043**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 66.

**1044**

Только чудо уберегло эту рукопись. Иванов-Разумник спрятал ее в стол у себя дома, при обыске она не была найдена, и впоследствии ему удалось ее вывезти и опубликовать.



Впоследствии о Бухарине, которого немного знал лично, Пришвин отзывался мягче: «Нашел – наконец-таки письма Бухарина, прочел их, и оказалось, он тогда был прав и написал их как исключительно хороший человек. Надо было уничтожить письма, но мне стало неудобно делать это в то время, когда самого автора уничтожают. Да и нет ничего дурного в этих письмах! Эти письма приблизили ко мне „самого героя века“, и стало жаль его: не знал, что творил... И если он не знал, то что же знают другие? Они все хотели остаться в живых хотя бы только для того, чтобы всю жизнь смотреть из-за (тюремной) решетки... Вот что надо человеку и чем он может удовлетвориться, и вот как мила жизнь...» (Пришвин М. М. Дневник 1938 года. С. 116).

**1046**

Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 160.

**1047**

Там же. С. 160.

**1048**

Пришвин М. М. Дневник 1938 года. С. 131.

Вероятно, речь идет о Зое – младшей невестке Пришвина. О ней остался замечательный пассаж из книги А. С. Пришвина, который я хочу привести, чтобы показать, насколько Михаил Михайлович, очевидно получающийся в моем повествовании слишком серьезным и печальным, на самом-то деле был или хотя бы бывал веселым и остроумным:

«Шутил он и над Петькиной невестой Зоей.

– Понимаете, – говорил он серьезным тоном, – иду я по Комсомольской улице. Задумался. Вдруг слышу где-то над собой голос: «Здравствуйте, Михаил Михайлович!» Поднимаю глаза, вижу – ноги. Выше поднял глаза: опять ноги. Задрал голову вверх: батюшки святы – все ноги! Я уже отчаялся увидеть что-нибудь иное, как вдруг слышу где-то над собой женский голос: «Это я, Михаил Михайлович, Зоя...» Тут задрал голову совсем вверх и разглядел действительно милovidную девушку» (Пришвин А. С. Хозяйка таежной речки. С. 463).

**1050**

Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 166.

Во время войны, вскоре после оккупации Царского Села немцами, Разумник Васильевич с супругой (урожденной Оттенберг, дочерью немца-лесничего из Владимирской губернии) покинули Россию. Некоторое время они находились в лагере в Литве, а потом оказались в Германии, где начался последний период жизни Иванова-Разумника. Об этих перипетиях ничего не знали не только Пришвин или дочь Иванова-Разумника И. Р. Иванова, но даже советские власти, объявившие в 1952 году, то есть шесть лет спустя после смерти критика, всесоюзный розыск Иванова Р. В. В Дневнике Пришвина за 1950 год содержится запись (где из осторожности не называется Разумник Васильевич, и, возможно, это обстоятельство сбило с толку комментаторов, указавших в примечаниях, что лицо И. Ивановой не установлено), показывающая, что писатель принимал близко к сердцу судьбу своего друга, не переставал о нем думать и встречался в Дунине с его дочерью: «И. Иванова вчера рассказывала о том, как она рассталась с родителями в 1943 году (точнее, в 1941-м. – А. В.). Она была в Ленинграде, они в Детском Селе. Они рвались к ней, но пропусков не давали (на самом деле Р. В. хотели выслать за пределы области как неблагонадежное лицо, а может быть, даже и арестовать, и только то обстоятельство, что его дочь служила в Красной армии, его спасло, об этом подробнее в комментариях к „Тюрьмам и ссылкам“. – А. В.). Наконец, объявили в Детском Селе, что немцы подходят, но поездов уже не было, и все, кто мог, пошли пешком. Родители ее в это время были очень слабы и держались друг друга, как попугаи-неразлучники. Варвара Николаевна была совсем седая,

белая, у него последние волосики стали белые. Ина полагает, что они пошли и не дошли... Слова коснулись сердца, и легла на душе тень мысли, и по этой тени явились догадки о встрече нас всех. А если иначе, то какое злодейство эта наша жизнь...» (21.9.1950. Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 530).



Пришвин приводит удивительно трогательную в своем нахальстве подробность творческого поведения Алексея Толстого. Во время награждения писателей орденами, когда Пришвина не позвали в президиум, «Толстой, – записал Пришвин, – пришел, прямо сел в президиум, и после, как сел, Фадеев объявил: „Предлагаю дополнительно выбрать Толстого“. Все засмеялись – до того отлично он сел. И даже мне, обиженному, понравилось» (Пришвин М. М. Дневник 1939 года. С. 149).

**1053**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 319.

**1054**

Там же. С. 113.

**1055**

Ср. также: «Достоевский - Толстой и Чкалов - Громов: те с Христом, эти с бомбами. И как это могло выйти из одной и той же страны» (Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 161).

## 1056

Удивительно стилистическое совпадение этой записи с речью Пришвина на оргплenumе Союза писателей в 1932 году, только там было не «они», а «вы» в значении «я».

**1057**

Там же.

Замечательно, что в письме к Менделеевой Пришвин написал о том, что «глаза на отдельный вполне самобытный и независимый (относительно) уголок души, в котором находятся истоки красоты» открыла ему Ефросинья Павловна. Не просто представить, чтобы Павловна могла так вычурно выражаться, но именно в это время, в июле 1937 года (сразу после получения московской квартиры) Пришвин принял окончательное решение, касавшееся их затянувшейся на десятилетия жизненной драмы, некогда начавшейся со случайной связи: «С завтрашнего дня я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне. Надо уйти как подготовил. Надо проститься, надо расстаться, не оскорбляя прошлого» (Пришвин М. М., Пришвина В. Д. Мы с тобой. С. 6). Таким образом, ссылка на Павловну звучала как своеобразное покаяние и прощание с ней.

**1059**

Там же.



**1060**

Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 145.

Наряду с отрицательной рецензией на «Неодетую весну» в критическом наследии Платонова имеется высокий отзыв на книгу канадского писателя Вэша-Куоннэзина «Серая Сова», которая была Пришвиным пересказана, очень любима, а в 50-е годы он даже включился в небольшую войну за доброе имя автора «Серой Совы».

**1062**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 304.

**1063**

Там же.

**1064**

Там же. С. 68.

**1065**

Миндлин Э. Андрей Платонов // Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. С. 48.

## 1066

Подробно о Валерии Дмитриевне Лиорко и ее жизни до встречи с Михаилом Михайловичем см.: Пришвина В. Д. Небесный град (серия «Близкое прошлое»). М.: Мол. гвардия, 2002.

**1067**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 116-117.



**1068**

«Писатель всегда эгоист и отчасти обманщик, потому что личную жизнь свою маскирует общественным служением» (Пришвин о Розанове. С. 181).

**1069**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 311.

**1070**

Ср. более позднюю запись: «Евангелие и есть книга о Величайшем Преступнике старого закона, охраняющего естественное размножение» (Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 75).

**1071**

Еще в 20-е годы Пришвин писал: «Попы – актеры Христовой трагедии – создали комедию обывателя, который, приняв Св. Тайны, чувствует себя искупленным и живет обманно-свободным до личной трагедии, когда вдруг оказывается, что Христос их не спас от страдания. На смену старым попам появляются новые, которые требуют личного страдания, стараясь погасить и самое солнце, обещая скорый конец света» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 29).

А. И. Солженицын писал жене Н. А. Решетовской в 1948 году: «Прочти „Фацелию“ Пришвина – это поэма в прозе, написанная с задушевностью Чехова и русской природы, – ты читала ли вообще Пришвина? Огромный мастер. В этой „Фацелии“ очень красиво проведена мысль о том, как автор – поэма автобиографична – самое красивое и ценное в своей жизни только потому и сделал, что был несчастлив в любви (...)» (Человек. 1990. № 2. С. 151).

**1073**

Пришвин о Розанове. С. 200-201.

Ср. с записями 1918–1919 годов: «Война: на одной стороне фитиль государства (немцы, большевики, марксисты), на другой – демократы с культом личности (эсеры, Америка, Англия)» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 36); «Мечта Бебея о катастрофе всего мира соединилась с бунтом русского народа, и так возник большевизм – явление германо-славянское, чуждое идее демократической эволюции Антанты. Вообще бюрократизм и социализм пришли к нам из Германии, очень хорошо если русские испытывают на себе влияние идей эволюционной демократии Англии и Франции» (Там же. С. 299).

## 1075

Ср.: «Вчера А. М. Коноплянцев рассказал, что живет на диване (все та же одна комната) и сыновья-комсомольцы, и зарастает его диван комсомолом: Миша женился, привел комсомолку. Так и зарастает старый богоискатель на диване комсомолом и октябрятами» (Пришвин М. М. Дневник 1939 года. С. 152-153).



**1076**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 355.

**1077**

Впрочем, ей это вспоминалось иначе. «Работать регулярно я не могла (или не умела) – меня отвлекало хозяйство, и болезнь матери, и разнообразные хлопоты, которых сейчас и не перечесать. М. М. не снисходил к этим помехам, требовал от меня тех же качеств в литературной работе, какими обладал сам, полный жесткой отдачности своему делу, и потому часто огорчался моими отвлечениями» (Москва. 1972. № 9. С. 213).

**1078**

Пришвин М. М. Дневник 1942 года. С. 137.

**1079**

Кстати, вот любопытная подробность из воспоминаний В. Д. Пришвиной, которую не стоит толковать прямо, и все же: «Глаза у Михаила Михайловича были серо-зеленые, менявшиеся в окраске, вероятно, в зависимости от самочувствия» (М. М. Пришвин // Из Русской думы. С. 176).

**1080**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 802.

Пришвин давно наблюдал за Калининным. Еще в 1918 году, когда симпатий к большевикам у писателя было гораздо меньше, он написал о приезжавшем в Елец Калининне: «Приехал Калинин, председатель ЦИКа, говорят, он рабочий, честный, хороший человек» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 319). И позднее, уже после смерти всесоюзного старосты: «Калинин был официальным заступником личного начала в народе, у него была для этого канцелярия, и народ туда валил со всех концов страны» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 615).

**1082**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 453.

**1083**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 75.



Подобный взгляд на творчество Пришвина, и в том числе на «Осудареву дорогу», нашел отражение в статье В. Д. Пришвиной «Промежуточная глава», написанной в середине шестидесятых годов, но опубликованной впервые в конце восьмидесятых. Позднее в подцензурной книге «Круг жизни» она высказывалась о романе более осторожно: «Некоторые друзья робко отговаривали Пришвина от работы над романом. Не буду скрывать, что это делала и я, хотя бессильно и даже вредно вмешательство в работу художника: он „обречен“ на это правом своего призвания.

Художник в подобном случае должен «изжить» себя в процессе писания, каковы бы ни были результаты его работы. Случается, иногда он их сжигает...» (Пришвина В. Д. Круг жизни. С. 164).

Ср. также: «Мы думаем, „ошибка“ романа-сказки у Пришвина заключалась в том, что он был именно сказкой, иными словами, в основе произведения лежала не документальность, которую рассчитывал увидеть читатель, привлекаемый внешним историческим сюжетом (строительство канала), а символ» (Там же. С. 171).

**1085**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 75.

**1086**

И очень по-пришвински продолжил эту мысль: «Возможно, что и тут тоже не жизнь виновата, а сам художник не дозрел до изображения необходимости» (4.4.1949. Леса к «Осударевой дороге». С. 80).

**1087**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 78.

**1088**

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 77.

**1089**

Там же. С. 81.

## 1090

Самая резкая и не самая справедливая оценка этого романа принадлежит писателю Олегу Волкову: «Думаю, что никто из перемалываемых тогда в жерновах ГУЛАГа не вспомнит без омерзения книги, брошюры и статьи, славившие „перековку трудом“. И тот же Пришвин, опубликовавший „Государеву дорогу“, одной этой лакейской стряпней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста, славившего жизнь!» (Волков О. Погружение во тьму. М., 1992)

**1091**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 491.



**1092**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 568.

**1093**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 515-516.

**1094**

Пришвина В. ДНаш Дом. М., 1979. С. 234.

**1095**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 89.

# 1096

В «Отче наш» - «Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли». Разница более чем существенная - и ни слова об устройстве жизни на земле на небесный лад.

**1097**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 514.

**1098**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 712.

## 1099

Ср. также: «Передать смену старой культуры новой и показать на душе человеческой, как одно переходит в другое и что реальность или утверждение находятся ни там, ни тут, а в движении души, в самом потоке жизни, в его необратимости и становлении» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 546).



**1100**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 543.

**1101**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 723.

Ср. с более поздним очень резким отзывом А. Т. Твардовского о Пришвине, который приводит в своем дневнике сотрудник «Нового мира» А. Кондратович: «Я честно признаюсь, что не люблю Пришвина, хотя природу он, конечно, знал. Но он был плохой, злой человек. И людей он не любил. Он мог написать прекрасно, красиво, и вы могли увидеть, как по засыпанному черемуховым цветом озеру плывет лодка и за ней остается голубой след. Но никакого отношения к человеку не имеет. А когда он писал о людях, а не вальдшнепах и собаках, то люди у него совсем не получались. Все выдуманное, воображенное. И философ был никакой, хотя очень любил философствовать. И хорошо опишет прогретый летним солнцем, отдающий запахом муравьиного спирта, смолы муравейник, хорошо все опишет, но вдруг скажет: „Это как китайцы“ – о муравьях, и чувствуешь, глупо до невообразимости» (цит. по: Кондратович А. Новомирский дневник 1967–1970, 12 декабря 1969 г. С. 455–458).

**1103**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 299.

**1104**

Там же. С. 311.

**1105**

Там же.

**1106**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 658.

**1107**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 566.



**1108**

Там же.

**1109**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 659.

**1110**

Там же. С. 628.

**1111**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 686.

**1112**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 633.

**1113**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 547.

**1114**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 645.

**1115**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 763.



**1116**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 611.

**1117**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 783.

**1118**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 668.

# 1119

Поразительная деталь. В бунинской «Деревне» есть такие слова: «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» - такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе».

И хотя Париж к числу последних никак не относится, близость чисел удивительна.

**1120**

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 121.

**1121**

Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. С.  
192.

**1122**

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 670.